

---

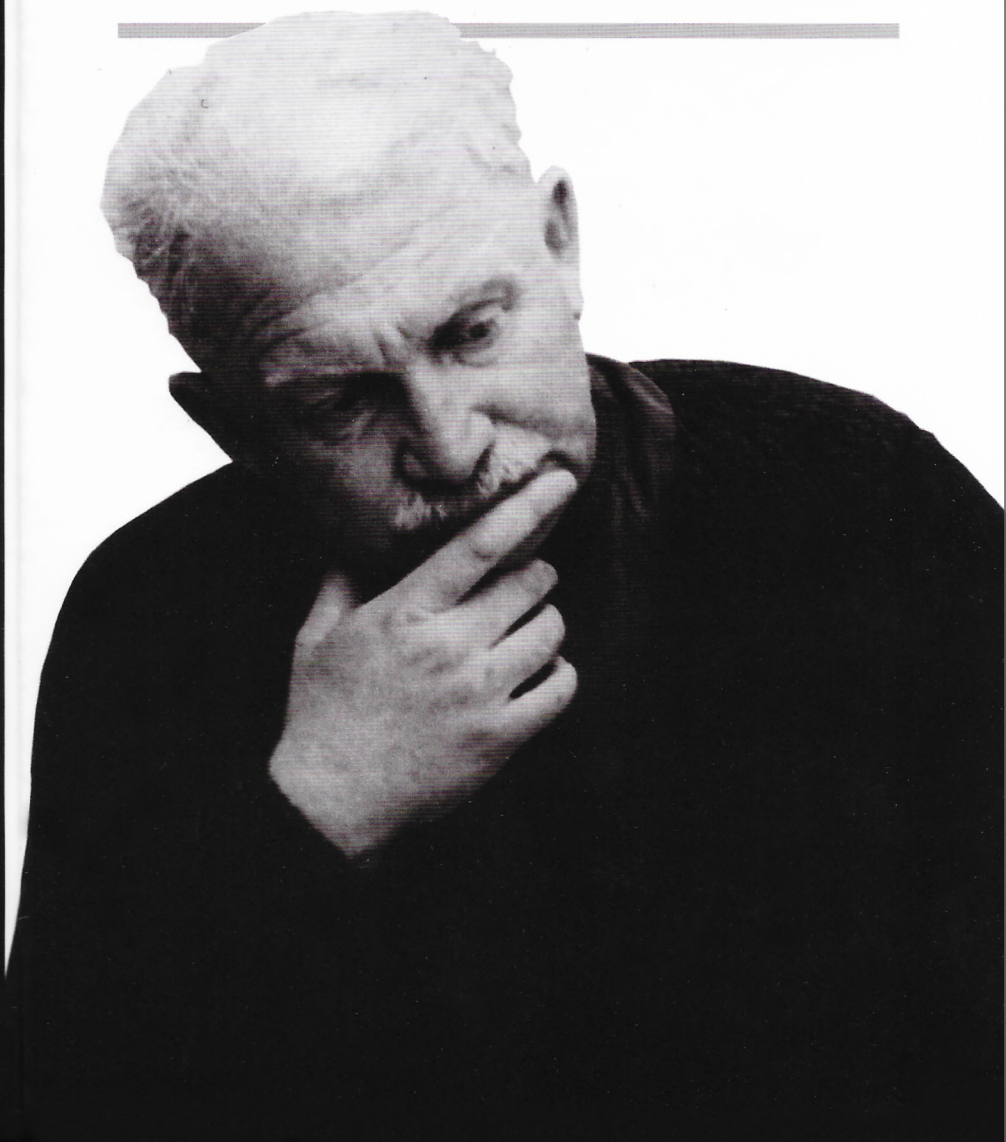
**БОРИС  
СЛУЦКИЙ:**  
ВОСПОМИНАНИЯ  
СОВРЕМЕННОКОВ

---

---

**БОРИС СЛУЦКИЙ:**  
ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННОКОВ

---







# БОРИС СЛУЦКИЙ: ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ

*Журнал • Нева*  
*Санкт-Петербург*  
*2006*



Федеральная программа «Культура России»  
(Подпрограмма «Поддержка полиграфии и книгоиздательства»)

**Б82** Борис Слуцкий: воспоминания современников. — СПб.: Издательство «Журнал „Нева“», 2006. — 560 с.; ил.

Книга о выдающемся поэте Борисе Абрамовиче Слуцком включает воспоминания людей, близко знавших Слуцкого и высоко ценивших его творчество. Среди авторов воспоминаний известные писатели и поэты, соученики по школе и сокурсники по двум институтам, в которых одновременно учился Слуцкий перед войной.

О Борисе Слуцком пишут люди различные по своим литературным пристрастиям. Их воспоминания рисуют читателю портрет Слуцкого солдата, художника, доброго и отзывчивого человека, ранимого и отважного, смелого не только в бою, но и в отстаивании права говорить правду, не всегда лицеприятную — но всегда правду.

Для широкого круга читателей.

*Второе издание*

ISBN 5-87516-092-6



© Коллектив авторов, 2005, 2006.  
© Горелик П. З., вступ. ст., составл.,  
2005, 2006.  
© Издательство «Журнал „Нева“»,  
оформление, 2005, 2006.

---

## ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Выдающийся поэт послевоенной России Борис Абрамович Слуцкий умер в 1986 году. За время, прошедшее после смерти поэта, написано и опубликовано немало воспоминаний людей, близко его знавших. Эти воспоминания составляют основное содержание первой части книги. Сюда же вошли и новые материалы, специально написанные для этой книги Н. Коржавиным, Б. Сарновым, Л. Мочаловым, Ал. Симоновым, А. Турковым, Н. Королевой.

Вторая часть составлена из опубликованных в периодической печати и литературоведческих работах отдельных высказываний о личности и творчестве Слуцкого.

Трудности, вставшие перед составителем заключались не столько в поисках воспоминаний, сколько в отборе. Приходилось считаться с объемом издания и часто встречающимися повторениями. По этой причине некоторые публикации сокращены, что оговорено пометами «Из книги», «Из воспоминаний». И все же полностью избежать повторений по вполне понятным причинам не удалось. Приводимые мемуаристами стихи сохранены полностью, если это обусловлено контекстом воспоминаний; в иных случаях оставлено название или первая строка (строфа) стихотворения.

Предлагаемая читателям книга не первая в ряду публикаций, посвященных личности и творчеству Бориса Слуцкого. К нашему стыду, первое монографическое издание о жизни и творчестве выдающегося русского поэта появилось далеко за пределами России, в Нью-Йоркском издательстве «Эрмитаж». Ее автор Григорий Ройтман — выходец из России, профессор университета Северной Каролины (США).

Почему подобная книга вышла за рубежом раньше, чем в России? И автор, и критики указывают ряд причин. Упомянут о большом количестве неопубликованных и мало исследованных архивных материалов, для изучения которых требуется время; о многих стихах, не увидевших свет при жизни поэта; о нежелании

близких Слуцкому людей «натягивать на поэта смирительную рубашку монографии» (Л. Пани).

Не вступая в полемику с небесспорными утверждениями критики и не умаляя заслуги Гр. Ройтмана, хочу лишь подчеркнуть, что имя Бориса Слуцкого никогда не оказывалось в России на обочине литературного процесса. Без опубликования в русской печати серьезных исследований, без титанической работы первого публикатора литературного наследия Слуцкого — Юрия Болдырева, без обширной литературы, посвященной прямо или косвенно жизни и творчеству Слуцкого (более 150 названий) монографическое издание было бы невозможно. Книга Гр. Ройтмана не лишена недостатков. Как, возможно, не лишен недостатков и предлагаемый читателю сборник воспоминаний. Общее в обеих книгах — признание значительности личности и поэзии Слуцкого. Вместе с тем большое, всестороннее и глубокое исследование творчества Бориса Слуцкого еще впереди.

В составлении книги и подготовке ее к печати мне оказали большую помощь А. Симонов, Л. Лазарев, Е. Ржевская, Л. Дубшан, И. Рафес, Б. Фрезинский, С. Бугло, Н. и З. Либерманы. В издании книги деятельное участие приняла племянница Бориса Слуцкого — Ольга Ефимовна Фризен. Всем им моя глубокая признательность и благодарность.

Издательство и составитель благодарят авторов или их наследников за безвозмездное предоставление воспоминаний для опубликования.

*Петр Горелик*

## ПАМЯТИ ДРУГА

Ушел Борис Слуцкий. Я немало мог бы сказать о нем. Мы дружили почти пятьдесят лет. Сегодня я скажу только о тех качествах, которые знают многие: честность, нелицеприятность, ум и строгость. Все эти качества являются частью поэтического и гражданского облика Слуцкого.

В военном поколении поэтов, богатом яркими талантами, Слуцкий был одним из признанных лидеров. Он был не только другом, он был учителем своих ровесников. У него мы учились верно-сти гражданским понятиям, накопленным еще в пору раннего формирования в трудные 30-е годы.

Один поэт говорил, что «фронтовое поколение не породило гения, но поэзия поколения была гениальной». Если это так, то Слуцкий был одной из составных частей этой гениальности...

Слуцкий казался суровым и всезнающим.

Те, кто близко его знал, хорошо понимали, что под этим жестким обличьем скрывалась душа ранимая, нежная и верная. Слуцкий не терпел сентиментальности в жизни и в стихах. Он отсекал в своей поэзии все, что могло показаться чувствительностью или слабостью. Он казался монолитом и действительно был целен, но эта цельность была достигнута преодолением природы не гармонической, раздираемой противоречиями и страстями. Слуцкий всегда считал, что идеал не терпит предательства, и никогда не менял своих взглядов.

Он так был устроен, что в каждой области духовной жизни должен был создавать шкалу ценностей, и на верху этой шкалы всегда было одно — высшая вера, высшая надежда и высшая, единственная любовь...

Рано проявились в поэзии Слуцкого черты, которые до сих пор скрыты от многих читателей. Он кажется порой поэтом якобинской беспощадности. В действительности он был поэтом жалости и сочувствия. С этого начиналась юношеская пора его поэзии, с этим он вернулся с войны.

Я уверен, что именно так надо рассматривать поэзию Слуцкого, и черты жалости и сочувствия, столь свойственные великой русской литературе, делают поэзию Слуцкого бессмертной. Фактичность, которую отмечают читатели поэта, является в поэзии преходящей и временной, меняются времена, меняется быт, меняется ощущение факта. Нетленность поэзии придает ей нравственный потенциал, и он с годами будет высветляться, ибо он составляет основу человеческой и поэтической цельности Слуцкого.

*Слово прощания над гробом поэта.*

## О СТИХАХ БОРИСА СЛУЦКОГО

Ход океанских волн хорошо изучен. Много темнее пути поэзии, ее подъемы и спады, приливы и отливы.

Вспомним первое десятилетие после Октябрьской революции. Тогда раскрылись такие большие и не похожие друг на друга поэты, как Маяковский и Есенин, Пастернак и Марина Цветаева; по-новому зазвучали голоса Александра Блока, Ахматовой, Мандельштама; входили в поэзию Багрицкий, Тихонов, Сельвинский. Вспомним годы войны, короткий, но яркий порыв сложившихся поэтов, появление молодых и среди них такого непосредственного, душевно громкого, как Семен Гудзенко. Мне кажется, что теперь мы присутствуем при новом подъеме поэзии. Об этом говорят и произведения хорошо всем известных поэтов — Твардовского, Заболоцкого, Смелякова, и выход в свет книги Мартынова, и плеяда молодых, среди которых видное место занимает Борис Слуцкий.

Конечно, ничто не приходит сразу, и сегодняшние радости читателей подготовлены годами, которые для многих поэтов были годами испытаний. Мне приходилось слышать от некоторых читателей восхищенные и удивленные восклицания: «Молодые очень талантливы — посмотрите книгу Леонида Мартынова». Они не подозревали, что еще накануне войны нас потрясали поэмы этого замечательного поэта. Если стихов Мартынова долго не печатали, то это не относится к его поэтической биографии: он продолжал писать, и я был счастлив, когда он читал мне свои стихи. Появление его сборника после длительного перерыва совпало с празднованием пятидесятилетия поэта.

Борис Слуцкий не юноша, хотя он много моложе Мартынова. В 1945 году молодой офицер показал мне свои записи военных лет. Я с увлечением читал едкую и своеобразную прозу неизвестного мне дотоле Бориса Слуцкого. Меня поразили некоторые стихи, вставленные в текст, как образцы анонимного солдатского творчества. Одно из них — стихи о Кельнской яме, где фашисты

умерщвляли пленных, — я привел в моем романе «Буря»; только много позднее я узнал, что эти стихи написаны самим Слуцким.

В печати имя Слуцкого стало появляться недавно — с 1953 года. Его стихи привлекли к себе внимание читателей, и мне захотелось о них написать. Наши критики не отличаются торопливостью. Прежде они ждали присуждения премии; теперь косятся друг на друга — кто первый осмелится похвалить или обругать. Критические статьи или заметки, по-моему, должны опережать те поздравления в дерматиновых папках, которые подносят седовласым юбилярам. О различных критических статьях, о второразрядных пьесах, о романах были написаны сотни печатных листов, но мне не попадались статьи о Светлове, о Заболоцком, о Мартынове, о Смелякове, о поэтах, которыми мы вправе гордиться.

Что меня привлекает в стихах Слуцкого? Органичность, жизненность, связь с мыслями и чувствами народа. Он знает словарь, интонации своих современников. Он умеет осознать то, что другие только смутно предчувствуют. Он сложен и в то же время прост, непосредствен. Именно поэтому я принял его военные стихи за творчество неизвестного солдата. Он не боится ни прозаизмов, ни грубости, ни чередования пафоса и иронии, ни резких перебоев ритма — порой язык запинается. Вот отрывок из «Кельнской ямы», о которой я упомянул:

Товарищ боец, остановись над нами.  
 Над нами, над нами, над белыми костями.  
 Нас было семьдесят тысяч пленных.  
 Мы пали за Родину в Кельнской яме.  
 Когда в подлецы вербовать нас хотели,  
 Когда нам о хлебе кричали с оврага,  
 Когда патефоны о женщинах пели,  
 Партийцы шептали: «Ни шагу, ни шагу».  
 Читайте надпись над нашей могилой!  
 Да будем достойны посмертной славы!  
 А если кто больше терпеть не в силах, —  
 Партком разрешает самоубийство слабым.  
 О вы, кто наши души живые  
 Хотели купить за похлебку с кашей,  
 Смотрите, как, мясо с ладоней выев,  
 Кончают жизнь товарищи наши.  
 Землю роем  
                     когтями-ногтями,  
 Зверем воем  
                     в Кельнской яме,



Но все остается — как было, как было —  
Каша с вами, а души с нами.

Неуклюжесть приведенных строк, которая потребовала большого мастерства, позволила поэтично передать то страшное, что было бы оскорбительным, кощунственным, изложенное в гладком стихе аккуратно литературными словами.

До войны Слуцкий вместе с покойным Кульчицким, на которого мы все возлагали большие надежды, с Лукониным и Наровчатовым учился в Московском литературном институте. Но поэтом его сделала война: война была его школой, и о чем бы он ни писал — будь то стихи о бане, о поэзии Мартынова, о доме отдыха или о московском вокзале, — в каждом его слове память о военных годах. Все знают, что с войны многие возвращаются инвалидами, контуженными, неполноценными, но именно на войне люди духовно вырастают, внешняя грубость обычно прикрывает обостренную чувствительность: сердце не может стать бронированным. Слуцкий пишет:

Вниз головой по гулкой мостовой  
Вслед за собой война меня влачила  
И выучила лишь себе самой,  
А больше ничему не научила.  
Итак, в моих ушах расчленена  
Лишь надвое война и тишина —  
На эти две — вся гамма мировая.  
Полутонов я не воспринимаю.  
Мир многозвучный!

Встань же предо мной  
Всей музыкой своей невероятной!  
Заведомо неполно и неверно  
Пою тебя войной и тишиной.

Разумеется, Слуцкий видит жизнь «неполной», но разве бывают поэты, воспринимающие все и всех? Вряд ли. Как бы ни был мудр поэт, у него есть и потолок и стены. Мир Слуцкого отнюдь не узок, и меньше всего можно назвать его поэзию камерной. Мне она представляется народной, но, конечно, нужно прежде всего договориться о значении этого слова. Народными чертами в поэзии иным кажутся внешние и порой поддельные приметы. Если в стихах гармошка, молодичица, старинный песенный склад и прилагательное после существительного — такие стихи причисляются

к народным, хотя даже в глухой деревне можно теперь услышать радио и патефон и хотя тем языком, который мерещится тому или иному поэту, никто вокруг него не разговаривает. Называя поэзию Слуцкого народной, я хочу сказать, что его вдохновляет жизнь народа — его подвиги и горе, его тяжелый труд и надежды, его смертельная усталость и непобедимая сила жизни:

А я не отвернулся от народа,  
С которым вместе голодал и стыл,  
Ругал похлебку, осуждал природу,  
Хвалил далекий, словно звезды, тыл.  
Когда годами делишь котелок  
И вытираешь, а не моешь ложку, —  
Не помнишь про обиды. Я бы мог.  
А вот не вспомню. Разве так, немножко.

Он противопоставляет себя и отщепенцам и льстецам:

Не лстить ему. Не ползать перед ним.  
Я — часть его. Он больше, а не выше.

Конечно, стих Слуцкого помечен нашим временем — после Блока, после Маяковского, — но если бы меня спросили, чью музу вспоминаешь, читая стихи Слуцкого, я бы, не колеблясь, ответил — музу Некрасова. Внешне нет никакого сходства. Но после стихов Блока я, кажется, редко встречал столь отчетливое продолжение гражданской поэзии Некрасова.

Вот о военных связистках:

Я встречал их немало, девчонок!  
Я им волосы гладил,  
У хозяйственников ожесточенных  
Добывал им отрезки на платье.  
Не за это, а так  
отчего-то,  
Не за это,  
а просто  
случайно  
Мне девчонки шептали без счета  
Свой тихие, бедные тайны.  
Я слышал их немало, секретов,  
Что слезами политы.  
Мне шептали про то и про это,  
Про большие обиды!

## О военных вдовах:

Она войну такую выиграла!  
 Поставила колхозы на ноги!  
 Но, как трава на солнце, выгорело  
 То счастье, что не встанет наново.  
 .....  
 Вот гармонисты гомон подняли,  
 И на скрипучих досках клуба  
 Танцуют эти вдовы. По двое.  
 Что, глупо, скажете?  
 Не глупо! Их пары птицами взвиваются,  
 Сияют утреннею зорькою.  
 И только сердце разрывается  
 От этого веселья горького.

## О булочниках... О бане...

Там по рисунку каждой травмы  
 Читаю каждый вторник я  
 Без лести и обмана драмы  
 Или романы без вранья.

Особенность гражданской поэзии Слуцкого в том, что она глубоко лирична. У нас часто под видом гражданской поэзии печатаются рифмованные передовицы, фельетоны, авторы которых подражают интонациям Маяковского и располагают слова «лесенкой», или, наконец, псевдоэпические оды. Слово «лирика» в литературном просторечье потеряло свой смысл: «лирикой» стали называть стихи о любви. Такой «лирики» у Слуцкого нет; я не знаю его любовных стихов; может быть, он их никому не показывает, а может быть, еще не написал. Однако все его стихи чрезвычайно лиричны, рождены душевным волнением, и о драмах своих соотечественников он говорит, как о пережитом им лично. Пожалуй, единственное «любственное» стихотворение посвящено чужой страсти:

По телефону из Москвы в Тагил  
 Кричала женщина с какой-то чудной силой:  
 Не забывай! Ты слышишь, милый, милый!  
 Не забывай! Ты так меня любил! —

А мы — в кабинах, в зале ожидания,  
 В Москве, в Тагиле и по всей земле —

Безмолвно, как влюбленные во мгле,  
Вдыхали эту радость и страданье.

Политические темы Слуцкий передает все с той же личной взволнованностью. Когда с Запада надвигались тучи, вспоминая освобожденного советскими солдатами итальянца, он писал:

Чернявый, маленький, хорошенький,  
Приятный, вежливый, старательный,  
Весь, как воробушек взъерошенный,  
В любой работе очень тщательный:  
Колол дрова для поваров,  
Толкал машины — будь здоров!  
И плакал горькими слезами,  
Закапывая мертвецов.  
Ты помнишь их глаза, усталые,  
Пустые, как пустые комнаты?  
Тех глаз не забывай

в Италии.

Пожалуйста, их в Риме вспомни ты.

.....  
Пускай запомнят итальянцы,  
И чтоб французы не забыли,  
Как умирали новобранцы,  
Как ветеранов хоронили...

Есть у Слуцкого суровое отношение к долгу поэта и к его работе. В одном из стихотворений он сравнивает стих с солдатом, который идет в атаку. Он хорошо понимает силу искусства, даже когда (как многие его предшественники) хочет скрыть умиление иронией:

Шел фильм, и билетерши плакали  
Семь раз подряд над ним одним,  
И парни девушек не лапали,  
Поскольку стыдно было им.  
Глазами грустными и грозными  
Они глядели на экран,  
А дети стать мечтали взрослыми,  
Чтоб их пустили на сеанс.  
Как много создано и сделано  
Под музыки дешевый гром  
Из смеси черного и белого  
С надеждой, правдой и добром.

Свободу восславляли образы,  
Сюжет кричал, как человек.  
И пробуждались чувства добрые  
В жестокий век, в двадцатый век.

Может быть, иной критик, увидав слова «жестокий век», вздумает причислить Слуцкого к пессимистам? Такое за некоторыми критиками водится. Но ведь война не тема для «розовой библиотеки», показывать ее как парад бесстыдно, да и бесцельно — никто не поверит. Слуцкий знает цену победы, знает жертвы и беду народа. Но он мужественно смотрит вперед. Он гордится тем, что создано народом:

У Белорусского и Курского  
Смотреть Москву за пять рублей  
Их собирали на экскурсию —  
Командировочных людей.

.....  
Закутавшись в одежи средние,  
Лягут на бронзу и гранит, —  
То с горделивым удивлением  
Россия на себя глядит.  
Она копила, экономила,  
Она вприглядку чай пила,  
Чтоб выросли заводы новые,  
Громады стали и стекла.

Встает естественно вопрос: почему не издают книги Бориса Слуцкого? Почему с такой осмотрительностью его печатают журналы? Не хочу быть голословным и приведу пример. Есть у Слуцкого стихотворение о военном транспорте, потопленном мины. Написал он его давно, а напечатано оно недавно в журнале «Пионер» после того, как его отклонили некоторые чрезмерно осторожные редакции. Вот отрывок из него:

Люди сели в лодки, в шлюпки влезли.  
Лошади поплыли просто так.  
Что ж им было делать, бедным, если  
В лодках нету мест и на плотках.  
Плыл по океану рыжий остров.  
В море, в синем, остров плыл гнедой.  
И сперва казалось — плавать просто,  
Океан казался им рекой.

Но не видно у реки той края...  
 На исходе лошадиных сил  
 Вдруг заржали кони, возражая  
 Тем, кто в океане их топил.  
 Кони шли ко дну и ржали, ржали,  
 Все на дно покуда не пошли.  
 Вот и все. А все-таки мне жаль их —  
 Рыжих, не увидевших земли.

Детям у нас везет. Повесть «Старик и море» Хемингуэя выпустил в свет Детгиз, а трагические стихи о потопленном транспорте опубликовал «Пионер». Все это очень хорошо, но когда же перестанут обходить взрослых?..

Три года назад я закончил статью «О работе писателя» заверением, что мы находимся накануне расцвета нашей литературы. Некоторые тогда говорили, что я слишком строг к прошлому, хотя я и писал, что в предшествующие годы были созданы некоторые прекрасные книги. Другие считали мой оптимизм необоснованным. Достаточно заглянуть в толстые журналы, в альманахи, чтобы увидеть как ожила наша поэзия. Было бы несправедливым сказать, что проза не оправдала надежд: проза требует больше времени. Литература всех народов начинается с поэзии, да и многие замечательные прозаики прошлого тоже начинали со стихов. Я убежден, что предстоит расцвет нашей прозы — расцвет поэзии тому порукой.

Говорят, что стихи особенно близки молодым. Вероятно, это так: в молодости чувства обостренные. Но признаюсь — стихи Слуцкого меня волнуют, хотя я и стар. Я нахожу в них мою землю, мой век, мои надежды и горечь — все, что позволило мне вместе с другими идти вперед, хотя порой это было нелегко, идти и дойти до наших дней.

Она копила, экономила,  
 Она вприглядку чай пила,  
 Чтоб выросли заводы новые,  
 Громады стали и стекла.

На чувствах мы никогда не экономим, и часто нам бывало обидно, когда мы читали пустые, холодные стихи, ничего и никого не выразившие. Ведь стихи — это не сахар, это, скорее, соль, — без поэзии не обойтись. Хорошо, что настало время стихов.

1956 г. Печатается по гранкам «Литературной газеты»  
 (собрание Б. Я. Фрезинского).

### Примечание публикатора

Статья Ильи Эренбурга «О стихах Бориса Слуцкого», без упоминания которой немыслима даже самая беглая биография поэта, появилась в «Литературной газете» 28 июля 1956 года. Здесь она впервые печатается не по тексту газеты, а по гранкам, которые у Эренбурга случайно сохранились.

Об этой статье замечательный знаток поэзии Слуцкого и ее публикатор Юрий Болдырев сказал: «Илья Григорьевич Эренбург был *первым*, кто по достоинству оценил поэтический талант Бориса Слуцкого, понял, явление какого характера и уровня входит в русскую литературу» («Огонек», 1991, №3, с. 20). Добавлю, что статья Эренбурга появилась в популярной газете, когда еще не вышла даже первая книжка Слуцкого (в периодике было напечатано лишь несколько его стихотворений). Имя поэта, вчера еще известного лишь знатокам, вдруг стало известным всей стране. Историю публикации этой статьи рассказали и сам Эренбург (в седьмой книге мемуаров «Люди, годы, жизнь»), и Л. Лазарев — в 1956 году сотрудник «Литературной газеты» (в книге мемуаров «Шестой этаж», М., 1999, с. 243–244).

Статья Эренбурга была напечатана только потому, что его антагонист, главный редактор «Литературной газеты» Вс. Кочетов (знаковая фигура тогдашней литературной жизни — одиозный своей оголтелой «идейностью» сталинист) находился в отпуске; но это не значит, что у заказавших статью «антикочетовцев» была возможность опубликовать ее не глядя.

Любопытно сравнить напечатанный газетой текст с публикуемым здесь первоначальным: цензурная правка, хотя и небольшая по объему, была существенной и четко характеризовала время. Исправили начало второго абзаца статьи, где давалось беглое перечисление вершин русской поэзии советского периода: «Вспомним первое десятилетие после Октябрьской революции. Тогда раскрылись такие большие и непохожие друг на друга поэты, как Маяковский и Есенин, Пастернак и Марина Цветаева; по-новому зазвучали голоса Александра Блока, Ахматовой, Мандельштама; входили в поэзию Багрицкий, Тихонов, Сельвинский». Этот текст сегодня у кого-то может вызвать вопрос, а где же Ходасевич, Гумилев, Кузмин или Клюев? Напомню, однако, что в 1956 году еще только-только после долгого перерыва начали выпускать книги Есенина, уже давно не издавали Пастернака и Ахматову, не вышло еще ни одной посмертной книги Цветаевой, не говоря уже о Мандельштаме, имя которого вообще было неведомо послевоенному поколению читателей. Поэтому текст Эренбурга газета откорректировала так: «Вспомним первое десятилетие после Октябрьской революции. Тогда раскрылись такие большие и непохожие друг на друга поэты, как Маяковский, Есенин, Пастернак, Асеев, по-новому



завучали голоса Александра Блока, Ахматовой, Цветаевой, входили в поэзию Багрицкий, Тихонов, Маршак, Сельвинский». Имя Мандельштама, таким образом, официально считалось абсолютно не упоминаемым; Пастернака в 1956 году (т. е. до скандала с Нобелевской премией) назвать рядом с официально главным советским поэтом Маяковским еще было можно, а вот Цветаеву — еще нельзя. Эренбургу навязали имена Асеева и Маршака (о детской поэзии в статье речи вовсе не было); это, однако, эренбурговский перечень от резких нападков не защитило.

Но зато все выкладки Эренбурга о Слуцком, включая рассуждения о народности его поэзии и, в частности, вызвавшую тогда у многих шок фразу: «Если бы меня спросили, чью музу вспоминаешь, читая стихи Слуцкого, я бы, не колеблясь, ответил — музу Некрасова» — напечатаны полностью, хотя официальный перечень поэтических наследников Некрасова давно уже был утвержден и никакого Слуцкого в нем не значилось. (Правда, страхуясь, от Эренбурга все же требовали к этому оговорку для твердолобых: «Я не хочу, конечно, сравнивать молодого поэта с одним из самых замечательных поэтов России»). Кроме того, убрали ремарку Эренбурга к строчкам Слуцкого о народе «Не лстыть ему. Не ползать перед ним. // Я — часть его. Он больше, а не выше»: «Он противопоставляет себя и отщепенцам и льстецам»... Наконец, полностью выкинули абзац, в котором автор возвращался к своей статье 1954 года, исполненной большой надежд на возрождение русской литературы после смерти Сталина, статье, содержание которой журнальные публикации той поры подтверждали.

Вернувшийся в Москву Кочетов, крайне разозленный статьей Эренбурга, мог только вослед напечатать дезавуирующий ее материал. Так появился в «Литгазете» сочиненный профессионалами этого дела опус «На пользу или во вред? По поводу статьи И. Эренбурга». Опус подписали именем школьного учителя физики Н. Вербицкого, который, проявляя недюжинные для тех лет познания, утверждал, что (сегодня это звучит анекдотично) дело историков литературы выяснить, было ли влияние на русскую поэзию Ахматовой, Цветаевой и Пастернака «положительным или отрицательным», и выражал надежду, что «возможно, Б.Слуцкий в будущем будет писать хорошие произведения» («Литгазета», № 96, 1956).

Вслед за публикацией «письма» Вербицкого «Литгазета» развернула дискуссию о «народности» в поэзии. В дискуссии принял участие и один из учителей Слуцкого — Илья Сельвинский. Эренбург, прочитав статью Сельвинского, написал ему резкое письмо, обвиняя в уклонении от защиты молодого автора.

Статья Эренбурга о Слуцком вызвала долговременные нападки, много пересудов и лжи (спустя полвека в них легко читается зависть

одних, ревность других, боязнь потерять незаслуженное, липовое «положение в советской поэзии» третьих). Но так или иначе, в марте 1957 года вопрос, заданный в статье Эренбурга («Почему не издают книги Бориса Слуцкого?»), был снят, и первую книжку поэта сдали в набор, а вскоре читатели мгновенно смели ее с книжных прилавков. На экземпляре, подаренном автором Эренбургу, написано: «Илье Григорьевичу Эренбургу. Без Вашей помощи эта книга не вышла бы в свет, а кроме того — от всей души. Борис Слуцкий».

Шлюз был открыт, с тех пор книги Слуцкого выходили сравнительно регулярно; они неизменно подносились автором Илье Эренбургу с неизменно же дружескими надписями.

*Борис Фрезинский*

---

*Юрий Болдырев*

## **«...В САМОМ ВАЖНОМ НЕ СТРУСИТЬ, НЕ СДАТЬСЯ»**

После кончины Бориса Слуцкого в 1986 году его огромное литературное наследство попало в очень надежные руки Юрия Леонгардовича Болдырева (1936–1993). Этого человека выбрал еще при жизни сам Слуцкий, Выбор был далеко не случаен. Это была судьба.

Ю. Л. Болдырев, воспитанник Хвалынского детского дома, безвестный саратовский библиофил, еще в юности по крохам достигавших российской провинции стихотворных списков различил в хоре советской послевоенной поэзии голос Бориса Слуцкого, признал его своим и кропотливо стал собирать все, что было связано с этим именем. Но не только собирать. Вместе со своим другом Б. Ямпольским он хранил и распространял в Саратове «самиздат» демократического направления. Обвиненный в антисоветской деятельности в статье саратовской газеты «Коммунист» («К позорному столбу»), Ю. Болдырев был тут же решением «коллектива» изгнан из букинистического магазина, где работал продавцом, и вынужден был, покинуть Саратов, переехать в Подмоскowie. Знакомство со Слуцким по переписке обратилось личным знакомством и дружбой.

В годы тяжелого недуга поэта, когда читателю могло показаться, что его муза умолкла, усилиями Юрия Болдырева во многих журналах и даже газетах стали появляться стихи Слуцкого. Этими постоянными публикациями Болдырев продолжил прерванную творческую жизнь, укрепил так необходимую умолкшему поэту живую связь с читателем. Эти публикации были органичны благодаря вневременному характеру поэзии Слуцкого — не утраченной с годами актуальности и современному звучанию его стихов. В сознании читателя продолжалось повседневное дело поэта.

То, что сделал Болдырев для ознакомления широкого русского читателя с уже известным и — особенно — с хранившимся в столе поэта наследием, переоценить невозможно. За три года (1988–1991) Юрий Леонгардович издал два сборника стихов объемом 17 печатных листов каждый и, наконец, трехтомное собрание сочинений,

заслуженно претендующее на полноту и научную подготовку текста, объемом более 70 печатных листов, с глубокой вступительной статьей и обширным комментарием. Титанический труд публикатора!

*Петр Горелик*

Как вспыхивает звезда Поэта? Почему звезда Пушкина возгорается сразу и видима всем, а звезду Баратынского видят немногие и лишь через полвека после его смерти как бы заново открывают? В чем тут дело — во внешних обстоятельствах? в особенностях творческой личности?

Наверное, сказывается и то, и другое, и еще что-то... Во всяком случае, когда Е. Евтушенко в статье, предназначенной для «Дня поэзии-86», написал, что «Слуцкий был одним из великих поэтов нашего времени», в редколлегии альманаха, по свидетельству его редактора А. Преловского, наступило замешательство: формула эта показалась неожиданной, непривычной и неверной. Эта смущенность понятна.

Как-то трудно, непросто взять и выговорить без обиняков: Борис Слуцкий — великий поэт. Еще вчера «он между нами жил», был одним из нас, ничем вроде бы не выделялся и, главное, сам себя не выделял: так же ходил по редакциям и издательствам со стихами, так же страдал от редактуры и цензуры, так же заботился земными заботами, и вдруг...

Уже не узнаешь, не спросишь (да и как спросить такое?), была ли капля горечи в том чувстве, с каким он писал: «Я слишком знаменитым не бывал, // но в перечнях меня перечисляли. // В обоях, правда, вовсе не в начале, // к концу поближе — часто пребывал». По стиху этого не заметно. Обычная для Слуцкого точная концентрация точного наблюдения.

Он действительно казался «одним из»: одним из поэтов военного поколения, одним из бурной кучки поэтов, ворвавшейся в литературную и общественную жизнь страны в середине 50-х годов и чуть позже, а когда прошли годы и десятилетия, стал одним из признанных мастеров стиха, учителей (любил это дело, постоянно вел какие-либо студии, семинары, кружки, читал тьму-тьмушую

поэтических и иных рукописей, откликался на письма и стихи молодых собратьев, помогал публиковаться, писал рецензии на первые книги). Читатель и критика — и та, что недружелюбно встретила его первые стихи и книги, и та, что приняла его поэтику и признала его талант, — отмечали то новое и необычное, что оказалось в его стихах, в их форме: небывалая степень прозаизации, отсутствие привычного благозвучия, — и содержание: изображение войны как тяжелого, изматывающего и смертельного труда, суровый и, на удивление, непатетичный пафос. Тем не менее резко выделить Слуцкого ни из возрастной, ни из поэтической генерации, с которыми он входил в жизнь и в литературу, не решился никто. Разве лишь К. Симонов незадолго до смерти, в одной из своих последних работ — предисловии к «Избранному» Слуцкого, — сказал: «Борис Слуцкий с годами стал самой прочной моей любовью» (впрочем, и здесь наибольшее внимание Симонов отдал военным стихам поэта, сказав о Слуцком, что он «знал о войне зачастую больше нас, много и глубоко думал о ней и видел ее по-своему, зорко и пронзительно»).

Так что, когда Слуцкий заявлял о себе что-нибудь вроде: «Я, как писатель, — средний», — охотников возражать не находилось, все молчаливо соглашались.

Впрочем, кроме этой общей формулы, существовали и более конкретные «самоопределения». Например, это:

На все веселье поэзии нашей,  
на звон, на гром, на сложность, на блеск  
нужен простой, как ячная каша,  
нужен один, чтоб звону без.  
И я занимаю это место.

Видимо, это «звону без» вместе с тем, что в 60-е годы творчество поэта переживало переломный момент и Слуцкий в поисках новых тем, нового подхода к действительности пошел на «запланированную неудачу», а стих его, утратив прежнюю громозвучность, не вдруг обрел новый голос и новый пафос (о чем в свое время точно и участливо писал Л. Лазарев), сыграло свою значительную роль в том, что новые стихи и книги Слуцкого читались вяло и невнимательно. Старый читатель отхлынул, новый не образовался. И крутые изменения в творчестве поэта оказались либо незамеченными, либо истолкованными неполно. А следовательно, и неверно.

Легко предъявлять претензии к другим. Спрошу-ка с себя. Я тоже писал не раз об усилении лирического тона в поэзии Слуцкого и не копнул глубже, не увидел, чему же в конечном счете служат эти новые для Слуцкого лирические средства. И не моим куцым ли умозаключениям отвечал поэт в двух строчках, брошенных на страницах одной из рабочих тетрадей:

Лирика — не обломки эпоса,  
как у меня, а обломки души.

«Обломки эпоса» — сказал о своих созданиях человек, самооценки которого, колеблясь «в ритме качелей», тем не менее никогда, ни разу (и какая же это редкость во времена «хвалебные» и в среде людей, падких на самовосхваление и самообожание) не превышали его действительного значения. Теперь, оглядывая все сделанное им и оставленное нам, можно смело сказать: эпос. Эпос нашей жизни со всеми ее радостями и страданиями, достижениями и прорехами, болью и счастьем, пафосом и враньем, реальностью и идеалами. Вот что он создавал своим «дневником в стихах». И когда сейчас читаешь в одноименном стихотворении «узнать меня нельзя без дневника», понимаешь более важное: без этого дневника, непостижимым образом, каким-то чудом обращющегося в «анналы» (именно так, в единственном числе, любил употреблять это слово Слуцкий), в летопись, нельзя будет узнать и понять многое в нашей недавней истории, нашей жизни, нас самих.

Как он оказался подготовлен к созданию такого эпоса? Как это могло стать? Благодаря рано постигшей его любви к русской литературе, ее доскональному изучению и знанию («Кланяюсь поэзии родной», — писал он, и еще о «романах из школьной программы»: «Вы родина самым безродным, вы самым бездомным нора, и вашим листкам благородным кричу троекратно «ура!».) Благодаря резко ощущенной и глубоко осознанной, особенно во время войны, сопричастности с советским народом во всем многообразии его наций и славян, с его идеалами, делами и судьбами («Я из него действительно не вышел. Вошел в него — и стал ему родным»). Благодаря русскому языку — самому великому памятнику нашей истории; живое и раскидистое древо его словаря шумит и волнуется в строках Слуцкого. Благодаря народному сознанию, бьющему из этих трех родников, трех источников,

чутко воспринятому, впитанному поэтом и проявившемуся в его отношении к жизни и ее явлениям, к современникам и их деяниям.

Именно это народное, мирское, общее сознание с эпическим взглядом на все внутри и вне себя, с исконным демократизмом, с глубоким милосердием, активным состраданием униженным и оскорбленным, поверженным и болящим, старикам и детям, с верой и надеждой, изо всех сил сопротивляющимися так часто охватывающим человека двадцатого века безнадежности и безверию, — и объединяет, скрепляет разрозненные стихи поэта, создавшиеся в различных настроениях и состояниях, все написанное Слуцким в нечто единое. В эпос, пусть лирический, но эпос нашей жизни.

Вот то новое и необычное, что внесено Слуцким в русскую поэзию, и предшествовал ему безмерно любимый им Некрасов.

В новой книге Л. Я. Гинзбург есть следующая запись: «Великие поэты — это не те, которые пишут самые лучшие стихи. Совместиться это может (Пушкин, например), но не обязательно.

Великий поэт — это тот, кто шире всех постиг „образ и давление времени“ (как говорил Шекспир). Для русского двадцатого века это Блок — как для девятнадцатого Пушкин, — и никто другой в такой мере... Он замыкает собой ряд русских писателей, которые отвечали за все и за все — Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов...»

«Отвечать на все и за все» было главным в жизненной и творческой позиции Бориса Слуцкого. И с Блоком при всей их разительной несхожести, при том, что Слуцкий однажды назвал «Стихи о Прекрасной Даме» одной из самых противоположенных ему книг мировой поэзии, их многое и важное связывает.

Но это тема отдельного размышления. Здесь же нужно сказать о том, что Блок предвидел двадцатый русский век и предупредил о нем. А Слуцкий честно и талантливо (наверное, в данном случае это синонимы) рассказал о нем, распутывая его узелки и узлы, не давая ни себе, ни вам заблудиться среди тупиков и распутий, помогая жить в будущем.

Поэтому-то у него было право на заклинание, оставшееся в его тетрадах:

Умоляю вас, Христа ради,  
с выбросом просящей руки:  
раскопайте мох тетради,  
расшифруйте черновики.



Не о себе он заботился, не о своей славе и бесславье думал — о нас, его современниках и потомках.

Нам действительно очень нужны его раздумья и прозрения, его слово и его мысль. Его воспоминания и его «мемуары передним числом». Уйдя от нас, он остался живым и необходимым, что видно уже по тем публикациям, которые состоялись, и что увидится затем еще яснее.

Но вот тут-то и запинка, затруднение. Борис Слуцкий не только не прочитан толком (а кто бывал прочитан при жизни? Это беда поправимая), не только не издан как следует быть (стыд и горечь охватывает, когда видишь тощий томик его «Избранного», изданный семь лет назад, рядом с пухлыми томами — иногда не одним, а двумя-тремя — его забытых при жизни, но оборотистых «коллег»), он ведь еще и не напечатан полностью. Огромная и важная часть его наследия, хранящаяся в архивных закромах, только начинает выходить к народу, который был для него опорой и надеждой и к которому он обращался в давнем (опубликовано в 1961 году) стихотворении:

Побудь с моими стихами,  
Постой хоть час со мною,  
Дай мне твое дыханье  
Почувствовать за спиною.

«Меня печатают уже много и охотно, но не то, что я хочу напечатать», — говорил Слуцкий в 70-е годы. Время, боящееся взглянуть в лицо самому себе, боялось и его стихов; оно тщательно процеживало их, отстраняя многое, отворачиваясь от правды и красоты, содержащихся в них.

Но время меняется и просит меняться нас. Пойдем же навстречу друг другу — мы и эти стихи, время и эта поэзия, наша жизнь и ее певец и толкователь Борис Слуцкий. Поэт.

*«Юность», 1987, № 11.*

---

*Петр Горелик*

## **ДРУГ ЮНОСТИ И ВСЕЙ ЖИЗНИ**

На подаренной мне, последней изданной при жизни книге «Избранное», Борис Слуцкий написал: «Другу юности и всей жизни Пете Горелику». Эти слова я вынес в заголовок воспоминаний о Борисе.

Есть дарственная надпись и на его первом сборнике стихов «Память» — «Пете Горелику, с которым я дружил в 20-х, 30-х, 40-х, 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годах, а также Ирочке, учитывая ее заслуги как жены и человека, и Татьяне Петровне как образованнейшей в семье». Нашей дочери Тане в это время было шесть лет. Надписывал мне Борис и все книги, изданные между «Памятью» и «Избранным». В его надписях всегда соседствовали теплая ирония и доброе остроумие. Но надпись на «Памяти» поражает сегодня своим печальным предвидением. Он сам ограничил свою жизнь восьмидесятью годами. И не ошибся.

Познакомились мы ранней весной 1930 года. Так случилось, что меня и Бориса наши родители в один и тот же день ранней весны 1930 года послали за керосином. Это предопределило наше знакомство и более чем полувековую дружбу. Если бы я мог в тот день это предвидеть, вряд ли бы с такой неохотой взял грязный бидон и поплелся в очередь.

С Борисом мы учились в одной школе в параллельных классах, но не знали друг друга, хотя жили рядом и наш путь в школу и из школы проходил по разным сторонам одной и той же Молочной улицы. Если быть точным, мы не были знакомы, но я был наслышан о Борисе Слуцком. Уже в третьем классе он был школьной знаменитостью. Его интерес и знание гуманитарных предметов поражали не только сверстников, но и учителей. Время стерло многие подробности, но то, что он мог назвать без запинки несколько десятков городов любой из крупных европейских стран и о многих из них рассказать интересное — помню хорошо. Особенно знаменит был Борис знанием истории, которую любил больше других предметов. Его коньком была история Великой француз-

ской революции. Он знал ее не по школьным учебникам, а по Жорессу. По русской истории его учителями были Карамзин и Ключевский.

Мальчик, который после школы не бежал на улицу играть, а садился за книгу, не предусмотренную программой и не заданную учителем, — такой мальчик был выше нашего понимания. Для нас — детей улицы, детей городской бедноты: рабочих, мелких служащих, кустарей — Борис был маленьким чудом из другой жизни, хотя он рос в семье, не отличавшейся большим достатком и жившей в таком же вросшем в землю доме на шумной базарной площади, в каких жили многие из нас.

Итак, мы познакомились в очереди за керосином и сразу подружились. Всякий раз, когда представлялась возможность, мы встречались на углу Молочной и Михайловской и отправлялись бродить по слабо освещенным переулкам вокруг Конного базара и Плехановки.

Затихающая к вечеру харьковская окраина в стороне от трамвайных улиц, редкие тусклые фонари, дымок самоваров над дворами, запахи разросшейся сирени и акаций за перекошенными заборчиками палисадников, цоканье копыт битюга, лениво переступавшего после трудового дня — все это располагало к неторопливому разговору и мечтам. Борис, переполненный миром, приоткрывшимся ему в книгах, нашел во мне благодарного слушателя. Борис рассказывал мне историю. Но чаще всего читал стихи. Здесь в пыльных переулках Старобельской и Конного базара Борис открылся мне той стороной, которая была неведома школьным поклонникам его недетской эрудиции. Его подлинной и пока еще глубоко скрытой страстью была поэзия.

Борис был серьезный, организованный ученик, книголюб и эрудит, поражающий окружающих не только количеством прочитанных книг, но и знанием ценностей книжного рынка. Уже в ранние годы на деньги, сэкономленные от школьных завтраков, он собрал библиотеку раритетов. Большим удовольствием для Бориса было рыться в книжных развалах и на полках букинистических магазинов. Он мог не только рассказать книгу. Было немало таких книг, о которых он знал все: кем и когда впервые издана, сколько выдержала переизданий, какое издание лучше и кем иллюстрировано, цензурные трудности и многое другое. Его невозможно было увидеть без книги. Помню, что когда в Харьковском театре русской драмы готовилась постановка «Гамлета», Борис подарил

режиссеру Крамову издание «Гамлета» на английском языке с пометами знаменитого английского режиссера. (Борис с детства учил английский и понимал, какая ценность попала в его руки.)

К тому времени, когда начались наши прогулки, Борис знал множество стихов. Очень хорошо помню толстую книгу страниц на 500–600 без переплета и титульного листа, одну из наиболее удачных его находок в хаосе базарного развала. Это была антология русской поэзии XX века, собранная Ежовым и Шамуриным. Многие стихи из этой книги Борис знал наизусть. Думаю, что эта книга значила много в формировании литературного вкуса и поэтических пристрастий Слуцкого.

Борис любил читать стихи. При этом он не столько стремился узнать мнение слушателей, сколько для самого себя проверить стихи на слух. Его собственное мнение трудно было опровергнуть, плохих стихов он просто не читал.

Читал Борис превосходно, он был начисто лишен юношеской застенчивости или скороговорки. С тех давних лет мне запомнились в манере его чтения смелость и стремление донести смысл, акцентирование главной мысли и удачной, яркой строки. На улице, пусть немногочисленной, но где все же встречались прохожие, Борис читал не стесняясь, внятно, высоко подняв голову и чеканя ритм жестом. Прохожие могли нас запросто принять за городских сумасшедших. У меня и сейчас, через 70 лет, перед глазами Борис, читающий наизусть монолог Антония над гробом Цезаря; с каким чувством он повторял: «...А Брут достопочтенный человек!»

Борис был страстным пропагандистом поэзии. Приобщение людей к поэзии было для него делом серьезным и ответственным. Он разбил представление многих своих сверстников, будто русская поэзия ограничивается именами школьной программы. Впервые от него мы узнали стихи Михайлова, Случевского, Иннокентия Анненского, Гумилева, Ахматовой, Цветаевой, Ходасевича, Тихонова, позже Сельвинского. Особенно любил и хорошо знал он в те годы Тютчева, Некрасова, Блока, Пастернака, Есенина. Часто читал пастернаковские и тихоновские переводы из грузинских поэтов. Я до сих пор помню с его голоса «Балладу о гвоздях», «Мы разучились нищим подавать...» Тихонова и его же перевод из Леонидзе — стихотворения «Поэту», «Капитанов» Гумилева и почти все, что знаю наизусть из Есенина.

Под влиянием Бориса я увлекся поэзией. Хорошие стихи сами ложились на память.

Но вернусь к воспоминаниям о семье Слуцких. Я стал бывать в их доме.

Борис был первенец, младше его были брат Ефим и сестра Мура. На правах абсолютно равноправного члена жила в семье немолодая Анна Николаевна — Аня — любимая няня. Шесть человек жили в двух среднего размера комнатах, из которых одна не имела окна, а другая, хоть и с окном, была полутемной. Хлипкий дощатый пол был на уровне земли. Выгороженный занавеской угол для керосинки служил кухней. К Слуцким можно было попасть из темного коридора, куда выходили двери соседей. Уборная была во дворе. Окна дома выходили на базарную площадь, а единственное окно Слуцких — во двор, который был не лучше шумной и грязной базарной площади: какая-то артель развернула здесь рыбокоптильню. К запахам рыбы примешивался сладковатый запах грохотавшего за стеной маслобойного завода.

Среди этой базарной стихии, в этой, с позволения сказать, квартире, как мирный островок, жила дружная семья, поражавшая меня, привыкшего к совсем другим внутрисемейным отношениям, своей сплоченностью и культом детей.

Хорошо помню родителей Бориса. Его мать, Александра Абрамовна, была женщиной мягкой, образованной, внушавшей к себе уважение. Борис был внешне похож на мать. Я помню ее высокой, стройной, светлоглазой. Прямые волосы придавали мужественность ее мягким чертам. Добрая улыбка не сходила с ее лица, и вместе с тем в ее лице чувствовалась способность к подвигу — во имя детей, во всяком случае. Ее сердце было открыто для других; чужие радости и горести вызывали в нем чуткий отклик. Это я сразу почувствовал по ее доброму отношению ко мне. Натура широкая, равнодушная ко всему, что происходило в мире, она всю себя без остатка отдала детям. Ее отличала глубокая интеллигентность — качество довольно редкое в окрестностях Конного базара. Интеллигентность проявлялась во всем: в воспитании детей, которых она учила музыке и английскому, в отношении к их товарищам, во взаимоотношениях с соседями, в отношении к Анне Николаевне. Люди, привыкшие к семейным скандалам и дворовым потасовкам, старались сдерживать себя в ее присутствии.

Ко мне Александра Абрамовна относилась с теплотой, без какого-либо намека на публичную благотворительность. У матери Бориса я получил первые уроки деликатности.

Детей она любила одинаково сильно. Но, думаю, Борис занимал в ее душе особое место. Он рано дал почувствовать свою незаурядность, и к той доле любви, которая ему, так сказать, причиталась, примешивалось в материнском сердце и чувство гордости. Она угадывала высокое предназначение сына, и чувство ее не обмануло. Дочь учителя русского языка, она не только поняла, но и одобрила выбор сыном литературного пути.

Отец Бориса, Абрам Наумович, был человеком другого склада. Хотя он не меньше жены любил детей, его духовное влияние на них было несравненно меньше. Кормилец большой семьи, он был, как сказали бы сейчас, прагматиком. Он не мешал жене воспитывать детей, но довольно скептически относился к гуманитарной направленности их воспитания. Он считал, что образование должно дать положение и материальное благополучие, то, чего он сам, изгнанный из второго класса церковно-приходского училища, был лишен в жизни. От него дети переняли упорство и трудолюбие.

Дружба с Борисом и теплое отношение ко мне его близких многое определили и в моем мировоззрении, и в моей жизни.

Начиная с восьмого класса мы с Борисом Слуцким оказались в одном классе. В эти годы и сложились мои представления о личности Слуцкого-юноши.

Прежде всего, конечно, Слуцкий был одарен «шишкой» дружбы. Но это я уже оценил в Борисе задолго до того, как мы стали одноклассниками. Здесь же я почувствовал в нем глубоко заложенные задатки трибуна и лидера. И это при том, что Борис никогда не первенствовал в официальных ситуациях — на собраниях, митингах, слетах, конференциях. Во всяком случае, в памяти это не сохранилось. Оберегая свою независимость и дорожа своим временем, он уклонялся от избрания в различные комитеты и президиумы. (В одном из своих стихотворений он говорит, будто четыре года был «председателем класса». Скорее всего, до восьмого класса, — в хороших стихах не врут. Но я этого в те годы не заметил. По-видимому, Борис не очень усердствовал в этой должности.) Его лидерство в школе и в классе было неформальным, но прочным, авторитет — непререкаемым. Это достигалось другим. Его выступления на уроках истории, литературы, обществоведения (именно выступления, а не ответы), споры с учителями, которые он позволял себе не часто, но всегда уместно, дышали страстью, обнаруживая в нем подлинного трибуна.

Лидером делала его эрудиция. Он был в полном смысле ходячей гуманитарной энциклопедией, о его феноменальной памяти и обширности знаний уже в школьные годы можно судить по любимой игре — угадывании знаменитых людей. (Как он говорил — людей, которых знает в мире не менее миллиона человек.) Обычно Борис выходил из комнаты, а мы загадывали какую-нибудь знаменитость, вычитав биографические данные из энциклопедии. После этого Борис возвращался в комнату и начинал задавать вопросы. Ему разрешалось задать не более двадцати вопросов, на которые мы должны были отвечать только «да» или «нет». «Жив?» — спрашивал Борис. — «Нет». — «Мужчина?» — «Да». — «Умер до Рождества Христова?» — «Нет» и т. д. Двадцати вопросов было более чем достаточно. Ответ, как правило, был безошибочным. (Уже после войны Борис приобщил к этой игре своих московских друзей. Несмотря на то, что это были люди высокообразованные, он чаще выходил победителем.)

При всей его отрешенности от официального положения, он не был в общественном смысле пассивным. Последний год учебы в школе совпал с началом Гражданской войны в Испании. Он понимал, что это прелюдия ко Второй мировой войне (одно из первых стихотворений Слуцкого «Генерал Миаха» навеяно войной в Испании). В классе любили слушать доклады Бориса об испанских событиях. В общественной жизни школы Борис, как сказали бы теперь, занимал свою нишу. У него был свой стиль. Продемонстрирую это на одном примере. На каждом комсомольском собрании, где почти всегда кого-нибудь принимали в комсомол, Борис задавал один и тот же вопрос: «Что вы читали за последние три месяца?» На фоне политических допросов, учиняемых поступающим, где самым легким считалось назвать всех членов Политбюро и всех народных комиссаров, вопрос Слуцкого выглядел неприлично легким, поначалу возмущал руководство своей глубоко скрытой иронией, вызывал замешательство принимаемых и смешки «старых» комсомольцев. Вскоре к вопросу привыкли. Заранее и не без посторонней помощи составлялся список «прочитанных» книг. Даже великовозрастные лентяи, не бравшие в руки книги, бойко отвечали, пока не спотыкались на сложных именах иностранных авторов. Многих этот вопрос действительно обратил в читателей. Через год спрашивать о чтении стало ритуалом. В отсутствие Слуцкого вопрос задавали другие, но ритуал был настолько неотделим от его автора, что и тогда Слуцкий как бы



незримо присутствовал на собрании. Борис рано прочитал Стендаля и знал, что «стиль — это человек». Думаю, однако, что в этом случае сказывалось не столько желание покрасоваться стилем — он хотел лишь приобщить ребят к книге.

Старшее поколение, учившееся в начале и в середине 30-х годов знает, как непросто было слыть в то время неформальным лидером. Тогда и понятия такого не знали. Живы были традиции революционной поры. Школьный комсомол занимал ведущее положение в общественной жизни, в комсомол принимали далеко не всех. Категории авангарда и массы были не декларацией, а реальностью. Общественные поручения воспринимались чуть ли не как задания революции. Школа была несравненно более демократичной, чем в послевоенные годы, меньше было заорганизованности, ни в какое сравнение с послевоенными не шли институты школьного самоуправления. Лучшие выдвигались, избирались, руководили. Неформальные становились формальными. Нужно было обладать какими-то особыми достоинствами, чтобы оставаться формально в стороне, быть выше *правил игры*, быть признанным авторитетом. Борис обладал такими достоинствами. Нас, его соучеников и товарищей, привлекали в нем не только эрудиция, образность языка, чудесная память. Всем этим он мог привлечь к себе наше внимание, но не сердца. Покоряла нас его цельность, недетская принципиальность, постоянство его привязанностей, верность, удивительно развитое в нем чувство дружбы и справедливости.

Дружеские отношения сложились у меня благодаря Борису и вне школы. В этих внешкольных дружбах первое место занимает Миша Кульчицкий. Нас познакомил Борис в начале 1937 года. Повидимому, знакомство с Мишей и самого Бориса произошло немногим раньше: приближавшееся столетие со дня гибели Пушкина способствовало консолидации начинающих поэтов Харькова. В то время они оба занимали верхнюю ступеньку в сложившейся среди старшеклассников и первокурсников поэтической «табели о рангах». Во всяком случае, память не подсказывает других имен, которые пользовались такой известностью и которые я мог бы поставить рядом с именами Миши и Бориса.

Наши «поэтические прогулки» с Борисом продолжались. Наступило время, когда Борис читал уже не только чужие стихи, но и свои. Самые первые свои лирические стихи, вызванные пробуждавшимся чувством к девушке, читал неохотно, можно даже ска-

зять, что он их стеснялся. Боюсь показаться нескромным, но почти уверен, что кроме меня никто этих стихов не слышал. Стихи эти не сохранились. Убежден, что в их исчезновении повинен сам автор. Гражданские же стихи, написанные во второй половине 30-х годов, любил и охотно читал. Сюжеты и темы этих стихов в большей части были навеяны прочитанным. Но уже тогда в ранней поэзии Слуцкого проявились черты сочувствия и сострадания, та боль и нерв, которые мы нашли в «Лошадях в океане», «Кельнской яме», «Мальчишках», в стихотворении «Последнюю усталостью устав...» и во всей его послевоенной поэзии. Стихи той довоенной поры ходили по рукам в многочисленных списках. Наиболее известными были стихотворения «Инвалиды» и «Генерал Миаха».

Запомнились строчки других известных в Харькове стихов:

Я ненавижу рабскую мечту  
О коммунизме в виде магазина,  
Где все дают, рекою льются вина  
И на деревьях пончики растут.

Не то, не то, не продуктовый рай.  
Когда б вся суть лишь в карточках и нормах,  
Меня любой фашизм к рукам прибрал  
Там больше платят и сытнее кормят.

Очень современно звучит написанное в то время стихотворение «Базис и надстройка» («Давайте деньги бедным...»). Менее известен «Рассказ старого еврея (Рассказ оттуда)», стихотворение, написанное Слуцким как гневный протест против преследования евреев в фашистской Германии в середине 30-х годов. Рукопись «Рассказа...» не сохранилась, и текст был восстановлен по памяти братом и друзьями Бориса. Это позволило опубликовать стихотворение впервые через 55 лет. В «Рассказе...» читатель, несомненно, отметит строки полные яркой поэтической выразительности:

...Адама Бог из глины сотворил  
По своему картавому подобию.

Бог был устал, и человек стал чахл,  
И хилость плеч пошла по поколениям,  
Но звезды заблудилися в очах,  
Сырые звезды первых дней творенья.

Не без влияния Бориса я и сам начал «грешить» стихами. Начиналось все с унылых виршей к пролетарским праздникам и памятным датам. Меня даже печатали в многотиражке подшефного завода. Но все написанное не выдерживало никакого сравнения со стихами Слуцкого и с высокими образцами русской поэзии, к которым приобщил меня Борис. К счастью, я своевременно понял, что взялся не за свое дело, и навсегда остался только читателем. Из всего, чем я «грешил», запомнилось несколько строф стихотворения «Пираты», и то только потому, что Борис всю жизнь напоминал мне о нем, впрочем, не без иронии. Стихотворение сильно подражательное, не то под Гумилева, не то под раннего Багрицкого. Борис, вспоминая это стихотворение, называл его обычно «Пираты, они же прохвосты». А вспоминал, когда хотел, хотя и беззлобно, поддеть меня.

Окончание школы означало расставание с друзьями. Борис уезжал в Москву. Не желая огорчать отца, он отказался от поступления на филфак. Как золотой медалист он был принят в Московский юридический институт. Миша оставался в Харькове на филфаке местного университета. Я уезжал в Одессу в артиллерийское училище. Через год в каникулы мы встретились в родном городе.

Харьков запомнился тем, будто вся наша школьная компания никогда не расставалась и праздник длился непрерывно. Помнятся шумные прогулки по Сумской и Клочковской, сорванная вывеска, долгие объяснения в милиции по этому поводу. Не обходилось и без возлияний в погребках в районе Павловской площади. И конечно — чтение стихов. Но читали больше стихи известных поэтов. Свои стихи в такой обстановке ни Борис, ни Миша читать не любили. Очень не хотелось бы создавать впечатление, будто наши встречи отличались этакой романтической «легкостью в мыслях». Мы были повзрослевшими детьми своего времени, у многих из нас были свои потери. Живя в атмосфере всеобщего доноительства, когда часто двое боялись третьего, мы все же не избегали критического взгляда на происходившее в те тяжелые годы. Это было опасно, но нас окрыляло такое чувство подлинной дружбы, такая уверенность друг в друге, что мы без страха высказывали рискованные мысли и не менее рискованные оценки происходящему. И жизнь показала, что наша вера друг в друга не подвела нас.

Я не пытаюсь восстановить содержание наших разговоров, передаю лишь общую атмосферу. Но один пример сохранился в виде документа. Сестра Миши Кульчицкого сохранила листочек,

нечто вроде анкеты, где мы, несколько друзей-харьковчан, попытались ответить на вопрос, что такое поэзия. Вся затея в целом, хотя и отдает юношеским максимализмом, позволяет представить уровень и направленность наших разговоров, да и характер участников затеи.

Борис писал вторым. Он привел строчку из «Высокой болезни» Пастернака: «Мы были музыкой во льду...» и добавил: «единственный род музыкальности, караемый Уголовным кодексом (см. 58 ст.). К сведению ниже пишущих».

ОРИНКОВ ПЕР., ДОМ 3, МАЛАЯ СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ  
 в М. Гимм. МУЗ. ИКАН  
 бо льду" единств. род музык. к. с. в. н.  
 музыкальн. коэф. кодексом мч. С. Луки т.ж. ст. п. с.  
 У. К. (см. 58 ст.)

Быстро пролетели две недели, но впереди была Москва, где меня уже ждал Борис. Он подготовился к моему приезду. Почти на все вечера были заранее куплены билеты. Лучшее, что я видел на московских сценах, показал мне Борис в тот первый мой приезд в Москву.

Днем мы бродили по Москве и как по расписанию ходили в любимый музей Бориса — Музей нового западного искусства на Кропоткинской (в этом здании сейчас Президиум Академии художеств). С постоянством, присущим ему изначально, он терпеливо перековывал мой провинциальный вкус. В эти дни я впервые увидел полотна покоровивших меня, французов-импрессионистов. Жил я у Бориса в студенческом общежитии в Алексеевском студгородке. Он познакомил меня со своими юридическими однокурсниками, с которыми я подружился.

Через год мы вновь встретились в Москве. На этот раз я приехал поступать в академию. В первый же вечер Борис привел меня в Козицкий переулок, в общежитие Юридического института. В комнате нас ожидали те же ребята, что и в Алексеевском студгородке в первый мой приезд в Москву. Был здесь и Миша Кульчицкий, перебравшийся учиться в Москву.

Вскоре Борис и его друзья разъехались на каникулы, а я засел в библиотеке академии готовиться к вступительным экза-

менам. К возвращению Бориса я уже был слушателем академии.

Человек дисциплинированный, я большую часть времени проводил в академии, подчиняясь довольно суровому распорядку. Но душа моя была в Козицком переулке, а потом и в домах друзей, которых я обрел стараниями Бориса Слуцкого.

В самом начале осени Борис привел меня в закухонную комнату в квартире Елены Ржевской на Ленинградском проспекте, где собирались поэты знаменитой теперь группы. Из присутствующих я знал только Мишу Кульчицкого. Здесь я впервые увидел похожего на Тиля Уленшпигеля Павла Когана, белокурого голубоглазого Сережу Наровчатова, скромного Мишу Львовского, напомнившего мне ученика хедера из моего раннего еврейского детства, юношу Давида Самойлова, показавшегося мне совсем еще мальчиком и даже маменькиным сыночком. Познакомился и с литературным критиком и писателем Исааком Крамовым, дружба с которым особенно окрепла после войны.

Я стал бывать в квартире на Ленинградском шоссе. Я был *допущен*.

Борис представил меня как друга школьных лет и автора знаменитого стихотворения «Пираты», добавив: «Они же прохвосты». Быстрее других на мое появление отреагировал Самойлов: «Он будет у нас наблюдателем от читателей стиха». Я хорошо знал широко известное в те годы стихотворение Ильи Сельвинского «Читатель стиха» и не увидел в реплике Самойлова не только ничего обидного, но, напротив, понял, что она давала мне кредит доверия, впрочем, обеспеченный авторитетом Слуцкого.

С годами я осознал, какой царский подарок сделал мне Борис, познакомив со своими друзьями.

С памятного дня знакомства мы подружились с Самойловым, и я обрел еще один дом, где был радушно принят, — дом Самойловых на площади Борьбы.

Предвоенный год быстро пролетел. Начавшаяся война разлучила нас на долгие четыре года.

В начале войны мы потеряли друг друга.

Борис ушел на войну добровольно, имея в кармане отсрочку по призыву, не успев сдать всех выпускных экзаменов. Ушел настолько внезапно для его друзей, что момент прощания не осел в памяти. Войну с фашизмом, как большинство наших сверстников, Борис предчувствовал задолго до ее начала и участие в ней считал не только главным делом поколения, но и персональным дол-

гом каждого. В оценке человека, близкого к нам по призывному возрасту, для Бориса много значило, был ли этот человек на фронте. Нередко этот взгляд доводил до крайности. Например, Борис отказал подарить сборник своих стихов одному нашему соученику, остававшемуся всю войну в тылу. Впрочем, в последующие годы он понял некоторую ущербность такого категоричного деления людей на «чистых» и «нечистых».

Каким был Борис на войне, как вел себя в бою? Я не могу дать прямого ответа — мы воевали далеко друг от друга. Но зная Бориса со школьных лет, я мог представить себе его на фронте как человека, на которого можно положиться во всем, с которым можно пойти на любое опасное задание.

В пору болезни Бориса в 70–80-х годах мне стало кое-что известно от его фронтовых начальников и сослуживцев, принявших близко к сердцу его состояние и оказавших ему поддержку и помощь.

Генерал Георгий Карпович Цинев, начальник политотдела 57 армии, где служил Слуцкий в последний год войны, писал мне, что в его памяти «Слуцкий сохранился не только как высокий профессионал — он занимался разложением войск противника и анализом политической обстановки в полосе армии, — но и как человек смелый, надежный товарищ, инициативный офицер. Для работы с МГУ (громкоговорящая агитационная установка) он выбирал позиции, не считаясь с опасностью. Во время Яссы-Кишиневской операции на МГУ, возглавляемую Слуцким, вышла группа немцев, пытавшихся вырваться из окружения. Известно, что такие группы противника действовали отчаянно, не считаясь с потерями. Борис Слуцкий и находившиеся под его командой бойцы не дрогнули. Немцам не удалось прорваться. Часть нападавших была пленена, а один из немецких солдат перешел на нашу сторону и до конца войны активно помогал в агитационной работе против фашистских войск». (Об этом солдате, «революционном эсэсовце» Себастьяне Барбье, Слуцкий вспоминает в «Записках о войне».)

Офицер политотдела 57 армии Алексей Михайлович Леонтьев вспомнил, как они с Борисом выполняли ответственное задание — используя связи с венгерским антифашистским подпольем и помощь местного населения, отыскивали в районе Надьканижа проложенный немцами трубопровод. Поиски пришлось вести на неосвоенной нашими войсками местности с риском наткнуться на

противника. Задание было выполнено. Трофейным горючим был заправлен мотоциклетный полк, который мог благодаря этому продолжать выполнение боевой задачи.

За время войны я получил от Бориса около двух десятков писем, большая часть которых, к счастью, сохранилась.

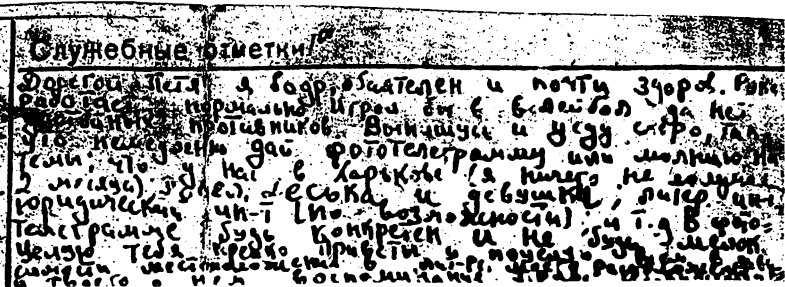
В июле 41 года Борис был тяжело ранен и несколько месяцев пролежал в госпитале в Свердловске. По свидетельству Давида Самойлова, сообщал о ранении не без шиксу: «Вырвало из плеча мяса на две котлеты».

В неразберихе летних отступлений 41 года мы долго не знали адреса друг друга. Переписка началась в то время, когда Борис оказался на госпитальной койке.

6 июля от него пришла фототелеграмма: «Дорогой Петя! Я бодр, обаятелен и почти здоров. Рука работает нормально. Играл бы в волейбол, да нет достойных противников. Выпишусь и уеду скоро, так что немедленно дай фототелеграмму или молнию на тему: что у нас в Харькове (я ничего не получал два месяца), где Дезька [Давид Самойлов. — П. Г.] и девушки; литературный институт, юридический институт (по возможности) и т. д. В фототелеграмме будь конкретен и не будь мелок. Целую тебя крепко. Приветты и поцелуи всем в зависимости от местоположения в литературе, моего расположения и твоего воспоминания о нем. Привет Исааку [Крамову. — П. Г.]»

Первое письмо пришло в самом начале сентября уже после госпиталя.

В ноябре Борис уже был в строю, но оставался в тылу, в составе формируемого соединения. 4 ноября он писал из Пугачева: «Я жив, здоров и т. п. Пиши мне и срочнируй обо всем по адресу... В Пугачеве я буду некоторое время».



В 1942 году Слуцкий на фронте, судя по письмам, в войсках, действовавших на южных направлениях наступления немцев. В разгар боев на Сталинградском направлении он не терял уверенности в нашей победе: «В надежде славы и добра я по-прежнему смотрю вперед без боязни, что в большей мере, чем раньше, свидетельствует о моем врожденном оптимизме...».

Из писем Бориса я узнал о перемене его военной судьбы.

Перед войной Борис заканчивал одновременно два института — Литературный Союза писателей и Московский юридический. Как студент последнего, он был военюристом по военно-учетной специальности и ушел на фронт следователем дивизионной прокуратуры. Но в должности следователя пробыл недолго. Карьеры военюриста не сделал. Обязанности следователя были для него тяжелы. Он писал мне: «О себе. Я начал службу с начала. Получил гвардии лейтенанта не юридической службы и с середины октября 42 года ушел на политработу. Замкомбатствовал. Сейчас инструктор политотдела дивизии... Начальство в некотором (очень небольшом) роде». Если отбросить время на госпитальной койке, в команде выздоравливающих и на формировании в Пугачеве, в должности следователя на фронте Слуцкий пробыл не более полугода.

В стихах, написанных вскоре после войны, но опубликованных уже после смерти, он писал:

Кто они, мои четыре пуда  
Мяса, чтоб судить чужое мясо?  
Больше никого судить не буду.  
Хорошо быть не вождем, а массой.  
Хорошо быть педагогом школьным,  
Иль сидельцем в книжном магазине,  
Иль судьей... Каким судьей? Футбольным...

Он не считал возможным судить других и для себя напрочь отметал всякую возможность легких путей на опасных дорогах войны.

Живой интерес к судьбе своих друзей и близких знакомых — школьных, институтских, литературных — едва ли не наиболее яркая черта фронтовых писем Бориса.

О себе писал мало. Все больше спрашивал о товарищах или сообщал добытые им сведения об общих друзьях и знакомых.



«Писем ни от кого не получал. Напиши все новости тебе известные. Особенно о Павле Когане.» В январском письме 1943 года пишет о гибели Павла Когана, сообщает, что Сергей Наровчатов в армейской газете, что Миша Кульчицкий недавно выехал на юг... (Борис не мог знать, что в эти январские дни Миша уже погиб), а Дезик в октябре был в одной из подмосковных школ лейтенантов-пулеметчиков.

В каждом письме к брату настойчивое требование зайти к родителям Давида Самойлова, узнать о его судьбе, добыть фронтовой адрес. В следующем письме: «...Львовский — сержант, где-то на юге. Дезька также в унтер-офицерских чинах — после ранения долгое время был в Горьком. Где сейчас, не знаю».

Во фронтовых письмах Бориса чаще других упоминается Миша Кульчицкий. Из всех молодых поэтов предвоенного московского кружка, с которыми Борис дружил, ближе других ему был Михаил Кульчицкий. И дело здесь не только в харьковских корнях. Для Бориса Кульчицкий был наиболее зрелым поэтом, близким по мировоззрению и, главное, по поэтическому самовыражению. Гибель Миши Кульчицкого была для Слуцкого не только потерей друга, но и самой большой потерей советской поэзии на войне.

Когда в начале 60-х годов Борису представилась возможность выступить в Политехническом музее на большом поэтическом вечере, он, широко известный к тому времени поэт, начал свое выступление с чтения стихов павших на войне товарищей. И первым среди них он вспомнил Мишу Кульчицкого.

Судя по письмам фронтовых лет, Борис долго не знал о судьбе Кульчицкого. Даже в февральском письме 1944 года, спустя год после гибели Миши под Сталинградом, Слуцкий писал мне: «От Миши Кульчицкого никаких вестей».

Вплоть до конца 1945 года Борис не терял надежды на то, что Миша жив. Эта надежда питалась довольно широко распространенными по Москве слухами, легендами и домыслами. То где-то в сибирских лагерях слышали стихи в исполнении Кульчицкого люди, вернувшиеся оттуда; то кто-то на станции Переделкино под Москвой подобрал записку, выброшенную из тюремного поезда самим Кульчицким. Упоминание Переделкина, где находится известный писательский Дом творчества, придавало слуху правдоподобие, хотя записки никто не видел. Находились люди, которые слышали голос из вагона «с нами едет Кульчицкий» и даже видевшие Мишу за оконной решеткой. Свою лепту в эту легенду

внес и наш харьковский товарищ Зюня Биркинблит — оперуполномоченный дивизионного «смерша». Вернувшись с войны, он, не моргнув глазом, уверял, что был знаком в Германии с женщиной (то ли он ее допрашивал, то ли был близок с ней), которая видела Кульчицкого, слышала его стихи в компании; к версии об аресте Кульчицкого прибавилась новая версия о Кульчицком — перебежчике. (Зная способность Зюни прихвастнуть и приврать, я не верил ни одному его слову.) Обнадеженная всеми этими слухами мать Миши Дарья Андреевна приезжала в Москву в поисках сына, хотя у нее было уже официальное извещение о гибели Миши под Сталинградом. Была она и у нас дома.

Надеялся на чудо и Борис. Осенью 1945 года он впервые после войны был в Москве в отпуске. Здесь ему представилась возможность организовать поиски. Он надеялся, что сможет через своих юридических однокурсников не только узнать о судьбе Миши, но и помочь ему. В декабре 1945 года, после возвращения к месту службы в Румынию, он писал мне: «...некоторые обстоятельства чуть колебнули мою уверенность в его (Миши) бытии. [По-видимому, в Харькове он видел «похоронку» у Дарьи Андреевны. — П. Г.] Так или иначе, по получении сего позвони по телефонам «...». Это телефоны Юлии Яковлевны Данковой [Ю. Я. Данкова — в те годы работник союзной прокуратуры. — П. Г.], занимающейся Мишкиной судьбой по моей просьбе. Скажи, что я доехал, целую ей ручки. После первого января позвони еще раз, повтори насчет ручки и справься о Мишке».

Через месяц в январском письме 1946 года Борис вновь возвращается к этому сюжету: «о Мишке. Нельзя ли через Нину «Колычеву» [Н. Колычева — сокурсница Бориса, работавшая в прокуратуре РСФСР. — П. Г.] проверить степень данковского усердия? Обeim от меня привет и воздушный поцелуй».

Поиски не могли увенчаться успехом. Младший лейтенант Михаил Кульчицкий погиб под Сталинградом в январе 1943 года, и его имя сохранилось не только в русской поэзии, не только на мраморной доске в Центральном доме литераторов, но и на стене мемориала на Мамаевом кургане. Борис Слуцкий посвятил Мише несколько стихотворений и среди них знаменитое «Давайте после драки...», о котором он сказал, что ему удалось прыгнуть «выше самого себя»...

Но вернусь к нашей фронтовой переписке.

В войну, после взятия немцами Харькова, меня не могла не волновать судьба двух школьных друзей — Коли Козлова и Нины

Катасоновой, о которых я точно знал, что они остались в городе. В 1943 году я наконец мог узнать подробности их существования. В февральском письме Борису удалось, обходя военно-цензурные рогадки, сообщить мне, что он воюет в районе нашего родного Харькова: «У меня появился шанс, — писал Борис, — посетить в ближайшее время Конную площадь, дом 9 [довоенный адрес Слуцких в Харькове. — П. Г.]. Принимаю поручения на Аптекарский переулок (двухэтажный кирпичный дом, не знаю номера) [дом, где в одном подъезде жили мои близкие школьные друзья, Коля Козлов и Нина Катасонова. — П. Г.] и в иные окрестности. Поручения, сам понимаешь, надо выслать немедленно по получении сего. Пишу перед боем. Целую. Борис». Спустя три недели после окончательного освобождения Харькова в августе 43-го года Борис попал в город. «В Харькове, — писал мне Борис, — я был меньше суток (11 сентября). У Нины — два часа. Вся семья и она произвели на меня очень советское впечатление. Та проклятая штука, о которой ты не дописываешь [я спрашивал у Бориса об антисемитизме в городе. — П. Г.], в Харькове была распространена, может быть даже больше, чем в других местах. Однако, к счастью для нашего народа, это не 100%, это даже не 50%, это позорная четверть. (Какое утешение! — четверть миллионного города — антисемиты!) И в меру моего понимания думаю, что Нина здесь ни при чем. Мне было стыдно, когда ее мать начала говорить об этом «ни при чем». Я чувствовал себя, как человек, заподозренный в очень непорядочных мыслях... Все Нинины родичи живы. То небольшое, что я мог им рассказать о тебе, было им, конечно, дорого. Твой отец, по слухам, эвакуировался. Дом твоей матери цел. Коля Козлов умер от голода в первую „немецкую“ зиму. Ольга Николаевна — жива. Наш дом, квартира — почти целы». Борис перечисляет в письме имена нескольких соучениц, с которыми встретился в Харькове.

Какова была сила дружбы, если менее чем за один день пребывания в разрушенном городе Борис успел позаботиться об Ане — второй своей матери, вселить ее в разоренную квартиру и обеспечить аттестатом как члена семьи офицера, найти оставшихся в городе соучеников, обо всех узнать, побывать в разных концах города, чтобы посмотреть, цел ли дом моей матери, и узнать о судьбе отца. Наконец, два часа провести в семье Нины и обо всем подробно сообщить.

В 1944 году мы обменялись с Борисом несколькими письмами. В февральском письме 44-го года Борис писал: «Поздравь меня с

орденом „Красной Звезды“; тем более, что он за Харьков... От Миши Кульчицкого по-прежнему никаких вестей... Погиб Борис Лебский... Сообщаю адрес брата...»

«О нашей переписке: я тебе, мой хороший, писал не 3 раза и не 7. За этот год, особенно в октябре-феврале и после получения розыскного на имя командира части. То-то! Из твоего письма мало разобрал о тебе и твоих военных судьбах. В каком ты звании, что делаешь, и где побывал за войну? Задул ли или нет искру божию?

Встрече твоей с Пастернаком — завидую. Трегуба ты переоцениваешь». [С. А. Трегуб — литературный критик, во время войны литературный сотрудник армейской газеты 3-й армии. — П. Г.]

В середине июня 1944 года получил от Бориса подробное письмо — ответ на мое майское, в котором я сообщал о том, что мне удалось побывать в Москве несколько дней (еще до орловского наступления). В ответном письме Борис писал:

«Дорогой Петя! Сейчас получил твое письмо от 29.5. Читаю и перечитываю. Москва для меня — птица весьма синяя (сейчас). Надеюсь на после войны, а пока завидую тебе и радуюсь за тебя. Стремление постучать сапожными подковками по асфальту приходится удовлетворять (и очень редко) в Тирасполе.

Желая пробить брешь в неведении судеб юридического контекста, я написал тете Рае (старой бандерше, которая сидела в швейцарской нашего общежития). Она пишет мне, что Фрейлих убит, а Фрейдин и Горбаткин не заходили к ней. Савицкий тебе, наверное, рассказал побольше. В особенности меня интересует судьба Горбаткина. Если он дал тебе какие-нибудь адреса — пришли обязательно. Из новостей — письмо от Дезьки — он работает не то во фронтовом разведупре, не то во фронтовом же разведподразделении, где-то совсем близко от тебя. Письмо из Литинститута — Сергей печатается в ленинградской „Звезде“; публично похвален Тихоновым. От Сергея ничего не получал уже два месяца. Борейша [помощник прокурора 3-й армии. — П. Г.] мне ничего не написал. Передай ему, что он — задница.

Спереездом в Харьков моей семьи — очень плохо. Отец пока что гниет от ташкентского климата — 3 года почти не выходит из постели. Фимину жену не видел уже, кажется, 7 лет и туго представляю себе, что она сейчас. Полагаюсь на практический ум своего братца.

Неужели ты не видел никого из нашего литературного цикла — Женечку Арнаутову, Вику Мальт [сокурсницы Д. Самойлова по ИФЛИ. — П. Г.], Нину Воркунову [жену С. Наровчатова. —

П. Г.] ? Если так — не одобряю. За последнее время я предпринял некоторые шаги для перехода на к.-л. более пехотную должность. Что выйдет — не знаю. Целую тебя. Борис».

Говоря о стремлении «занять более пехотное положение», Борис несправедлив к себе: работа на МГУ (громкоговорящей агитационной установке, смонтированной в автофургоне) была опасна, как всякая деятельность вблизи переднего края. Обычно противник обрушивал на МГУ такой шквал огня, что командиры подразделений, в районе которых «работала» МГУ, просили поскорее убраться и сменить позицию. Так что «более пехотного положения» искать не нужно было.

В довоенных письмах Борис присылал мне свои стихи. В письмах военной поры нет ни одной стихотворной строчки. Мои вопросы об этом он постоянно обходил молчанием. Только в одном из писем 1944 года впервые ответил: «Стихов не пишу два с половиной года — два по военно-уважительной причине, а последние шесть месяцев — без всякой причины, по образовавшейся у меня за последнее время лени».

В последнем письме с фронта писал более подробно: «... мои новости внутренние — стихов не пишу более трех лет. Примерно раз в год — контрольная треть стихотворения, которая обычно свидетельствует, что при нормально идущем процессе технической деквалификации я сохраняю все прочие позиции. Об этом свидетельствуют также всякие бытовые и деловые сумасшедшинки, иногда мешающие мне в работе. Впрочем, для всех я человек с литературным образованием (критический! факультет литинститута) и все. Никакой не поэт!».

Скупые строки о *неписании* стихов меня огорчали. Конечно, я не рискнул задать ему вопрос из его же давнего письма ко мне: «Задул ли или не задул искру божию?» Я в него верил. Но слова о лирике Сергея: «крепко сделанные *технически*» и о своем «нормально идущем процессе *технической* деквалификации» — настораживали. Раздельность «лирики» и «техники» не воспринималась моим сознанием.

В октябре 1945 года в Москву из армии приехал Борис. Прошло почти полгода после Победы. Борис не собирался оставаться кадровым военным, но у политотдельского начальства были другие планы: ему дали лишь короткий отпуск.

Можно понять мои чувства. Приехал мой первый друг, с которым не виделись четыре года, и каких — четыре года войны. Мы

встретились в Проезде, в маленькой комнатенке, куда я незадолго до того переехал. Это был тот же Борис и все же немного не тот. В кителе он казался стройнее и выше. Форма шла ему. Что-то изменили в лице пшеничные усы. На правой стороне груди три ордена: Отечественной войны I и II степени и Красной Звезды — «малый джентльменский набор», как он сам любил говорить; здесь же гвардейский значок и нашивка за тяжелое ранение. На левой — медали и, предмет особой гордости, болгарский орден «За храбрость». Борис называл его по-болгарски, опуская гласные. Была в нем этакая гвардейская молодцеватость. Чувствовалось, что сам себе нравится.

Изменился Борис не только внешне. В его отношении даже к близким людям появилось трудно скрываемое чувство некоторого превосходства, подчеркивание своей причастности к армии-победительнице. Учитывая, что мы все воевали, это могло показаться немного смешным, но мы были снисходительны. Я был склонен думать, что форс его — комплекс пока не восполненных лет без стихов. Со временем внешние проявления превосходства потускнели, но не исчезли совсем, особенно по отношению к невоевавшим. Правда, к Крамову это не относилось.

Остановился Борис у Лены. Но почти ежедневно бывал в Проезде. Приходил, когда я еще был в академии. В ожидании моего возвращения общался с Ирой, хозяйской дочерью, ставшей через год моей женой. С этих дней началась их многолетняя дружба.

Я возвращался, и мы по давней, еще с юношеских лет, традиции отправлялись бродить. Такие походы, особенно располагавшие к общению, всегда были мне дороги. А тут, после войны, надо было наговориться. Ходили по городу и обретали друг друга заново, хотя знали друг о друге многое по фронтовой переписке.

Иногда возвращались ко мне, и разговоры продолжались в моей комнатухе. Если засиживались до вечера, нас приглашали к чаю. Живой интерес Бориса к тому, как мои хозяева перенесли тяжелые годы, его остроумие, простота общения и ненавязчивая эрудиция расположили к нему моих хозяев. Забегая вперед, скажу, что в последующем они не только приняли Бориса, но и полюбили его. Это чувство было взаимным.

Моя комната в центре Москвы стала удобным местом встреч с молодыми официально не признанными поэтами. Сюда к Борису приходили Глазков, Урин, Долгин; сюда же он привел и Эму Манделя (Наума Коржавина), оставшегося близким всем нам и после

отъезда Бориса. Поэты читали свои стихи, бурно их обсуждали, а иногда и шумно спорили. Я узнавал об этих встречах от Иры, которая была поражена незаурядностью Бориса, его лидерством.

В одном из писем после возвращения из Москвы Борис передавал привет моим хозяевам и извинялся перед ними «за громкий стук дверью» (он помнил, что за стеной находилась парализованная бабушка и стук ее пугал). Извинялся за «шумные споры». «Из молодой поэзии, — писал Борис, — води к себе только тех, кто окончательно охрип и говорит шепотом». Эту часть письма я воспринимал тогда как дань красному словцу. Никто не попрекал Бориса за шумные споры.

Борис, которого я воспринимал исключительно как поэта, в этот свой приезд раскрылся для меня как прозаик. Он привез в Москву несколько машинописных экземпляров «Записок о войне». Зная его как великолепного рассказчика, я не мог быть этим удивлен, но когда он успел ее написать? Многим фронтовикам еще предстояло написать свои книги, а тут за короткое время послеобедного затишья им уже написана и положена на стол большая, многостраничная книга!.. То был один из первых «самиздатов» в прозе. Книга Бориса состояла из десятка глав. Среди них главы, посвященные политическим партиям и обстановке в балканских странах, религии, русской эмиграции, девушкам Европы, евреям, и великолепная глава «Основы» — о российском солдате, Красной Армии, мужестве и великодушии, ошибках и пороках.

Определив «Записки» как жанр деловой прозы, Борис, конечно же, скромничал. Уже тогда, осенью 1945 года, друзья, которых Борис познакомил с рукописью, отметили не только ее подлинную документальность, но и высокий художественный уровень: колорит времени, живое восприятие событий, запах пороха и лязг гусениц, страх и отвагу, соседство трагического и смешного — всего этого не передать сухим языком «деловой прозы». В последующие годы у друзей росло понимание написанного Борисом буквально на одном дыхании.

Многие удивлялись, почему Борис не продолжил работы над военной прозой; в послевоенные годы и вплоть до болезни в конце 70-х не обращался к своим «Запискам», не предпринимал никаких попыток их опубликовать, что-либо в них уточнить или дополнить. Он верил, что время для его книги придет и не хотел ничего в ней менять, чтобы сохранить остроту и свежесть первых, еще не остывших впечатлений.

Тогда, в 45-м, о публикации книги нечего было и думать. Борис хорошо понимал, что даже хождение рукописи по рукам близких и знакомых было опасным. Сразу же после отъезда к месту службы он в письме (6.12.45) просил меня «купно с Давидом и Исааком изъять из всякого обращения экземпляры основ, девушек, попов и т. д.»

Сейчас, когда я пишу эти страницы, мне удалось опубликовать «Записки о войне». Книга получила высокую оценку критики и признание читателей. Сошлюсь только на мнение Д. Гранина, высказанное им в предисловии к «Запискам»: «...удивительна прочность неопубликованной книги Бориса Слуцкого. Какое счастье, что она не пропала».

На завершающем этапе войны на долю Бориса выпало куда как больше «экзотики», чем воевавшим на западных направлениях. Его военные дороги пролегли через Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, Австрию. Для Бориса оказались доступными мемуары вождей русской контрреволюции и либеральных деятелей — эмигрантов первой волны, осевших в славяноязычных странах. В одном из писем он писал: «Усердно штудирую историю России в XX веке». Ясно, что не по учебникам: в объеме учебников история России была ему хорошо известна. Позже Слуцкий рассказывал, что в поисках стихов перерыл многолетние подшивки десятков эмигрантских изданий. В Москву он привез множество стихов неизвестных нам авторов. С его легкой руки, например, пошло по Москве знаменитое стихотворение Алексея Эйснера, из которого я запомнил строку «...И поскакали кашевары в Булонский лес рубить дрова».

В первый свой послевоенный приезд Борис дал мне поручение организовать ему вызов в Москву. Я начал действовать через соученицу Иры — дочь известного академика-историка И. Минца. Академик проявил интерес. Обещал вызов для поступления в аспирантуру одного из исторических институтов Академии наук. Я запросил письмом согласие Бориса. В январе 1946 года он ответил: «Привет тебе от Ваньки Езопова. Ты его должен помнить, он учился с тобой в одном классе. Писал в свое время унылые вирши: «Произошла такая тишина» и т. д. Он в том же звании, что и мы, едет в Москву (я встретил его в Одессе на вокзале), где будет работать в «Истории отечественной войны» или «Истории гражданской» или учиться в соответствующей аспирантуре. Очень доволен своей судьбой». Для Бориного начальства весь



этот «езоповский» пассаж был не более, чем информация о будущем нашего школьного товарища и не мог вызвать подозрений. Для меня же он означал согласие и одобрение моих действий. Вскоре Борис прислал с оказией анкету (листок по учету кадров) и заявление. Я передал документы академику. После этого интерес академика увял, он вернул анкету и дело прервалось.

Последующие письма свидетельствуют, что Борис и в открытую просил начальство отпустить его. В феврале 1946 года он писал: «Пытался поступить в адъюнктуру Высших Военно-партийных курсов. Отказали в низовых инстанциях (по кафедре истории СССР или истории КПСС), кажется, лучший для меня вариант, если не считать полной демобилизации. Из заочного юридического не получил ничего. Впрочем, бумажки такой calorificности здесь обливают презрением». Перечитывая письма того времени, я думаю, какое было бы несчастье для Бориса, как сломало бы его жизнь поступление в «военно-партийное» учебное заведение. Все его ходатайства были от невозможности уйти из армии.

Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Началось обострение пансинусита — противной болезни, подхваченной на фронте. Первые признаки дали о себе знать вскоре после войны. В январском письме (1946 года) Борис писал мне: «...болел довольно долго. По ходу болезни у меня были головные боли, которые четыре недели мешали мне писать. Впрочем, читать они мне не вполне мешали... Сейчас это почти проходит». В феврале снова о болезни, но уже более тревожно: «Зиму проболел (пансинусит со многими осложнениями). Болею и сейчас. Честно пытаюсь вылечиться, тем более, что ничего серьезного делать не могу уже два месяца, даже читать. При первой возможности (хорошие врачи) буду оперироваться». В письме, адресованном мне, Дезику и Изе, написанном в апреле уже из госпиталя, Борис, оправдывая свое молчание, писал: «Не отвечал я потому, что с декабря и до сих пор болен — все тот же пансинусит, но дошедший до того, что у меня нет возможности не только писать что-либо (даже письма), но и соображать как следует». Госпитальная комиссия признала его негодным к службе, и летом 1946 года он приехал в Харьков. У меня был каникулярный отпуск, и я на несколько дней поехал встретиться с другом. Эти дни мы не разлучались с Борисом — виделись со школьными товарищами, не без пользы рылись в книжных развалах, где еще можно было найти много интересного

среди недосоженных в холодные зимы оккупации книг, часами бродили по переулкам нашей юности, разрушенным и обгоревшим, но сохранившим для нас очарование прошлого.

Внешне Борис сильно изменился по сравнению с тем, каким он запомнился в первый его приезд в Москву. Хотя он все еще ходил в кителе при регалиях, это был уже не тот бравый офицер, который приезжал осенью 45-го года. Незаметна была гвардейская молодцеватость, чувствовалась усталость, давали знать о себе головные боли, бессонница. Я уже был подготовлен к тому, что он болеет, его письмами из армии; в них он не столько жаловался, сколько оправдывал болезненным состоянием нерегулярность ответов на письма друзей. Тревогой за его здоровье были проникнуты и письма Александры Абрамовны, матери Бориса (некоторое время Борис подолгу не писал родным, и она обращалась ко мне, рассчитывая на мою большую осведомленность).

Возвратившись в Москву, Борис прошел комиссию и получил инвалидность.

Состояние его ухудшалось. Избавить от болезни могла только операция.

Оперировал Бориса известный московский ларинголог профессор Бакштейн. Ухаживать за сыном приехала Александра Абрамовна. Операция была тяжелая, связанная с трепанацией; в надбровной части лба долго оставался след, со временем прикрытый бровью. Но операция оставила не только зримый след, к сожалению, она не избавила от головных болей и бессонницы.

Два года, оставшиеся мне до окончания академии, в определенном смысле сравнимы с годами начала нашей дружбы в Харькове. Мы часто виделись. Много бродили по Москве. Как и в первый свой приезд, он запросто бывал у нас дома. Нередко приходил с друзьями-поэтами, назначал им встречи в нашей квартире. Очень был дружен с Ирой и Наташей; у него сложились хорошие отношения с их родителями да и со всеми соседями в нашей квартире. Все ценили его юмор и прощали то, что другим, может быть, и не сошло бы с рук. Он, например, имел обыкновение передавать привет часто бывавшему в доме Ириному и Наташиному другу детских лет Карлуше и любимому квартирному коту Кузе, как сказали бы сейчас, в «одном флаконе». Звучало это так: «Привет Кузьке и Карлушке!» Ему прощали. Не обижался даже Карлушка.

Наша семья чувствовала Бориса своим, и он это ценил. Месяц, который Борис прожил у нас, пока я был на стажировке за

границей, был временем очень интенсивных встреч поэтов в нашей квартире, которая на этот период стала своеобразным штабом молодой поэзии. И вместе с тем — временем еще большего укрепления отношений между Борисом и семьей Ириных родителей; отношения эти сохранились и после того, как мы с Ирой уехали из Москвы.

Всякий раз, когда я бывал наездами в Москве, Борис брал меня с собой на малодоступные для многих москвичей вечера, вернисажи, просмотры. Многие из них остались в памяти просто как неприменные атрибуты моих московских командировок; некоторые глубоко врезались в память не только своей уникальностью, но, скорее всего, потому, что обнаруживали или подтверждали какие-то черты характера самого Бориса.

Особенно запомнились дни осени 1956 года, когда в Москве отмечали семидесятилетие Пикассо. Выставка картин великого художника XX века даже для Москвы, переживавшей первые месяцы хрущевской весны, была событием незаурядным.

На ступенях Пушкинского музея Борис получил два билета на открытие выставки от Эренбурга, и мы вместе с Ильей Григорьевичем вошли. Открытию просмотра предшествовала краткая официальная часть на верхней площадке парадной лестницы. Мы с Борисом оказались рядом с импровизированной трибуной. За нами до самого входа и далеко на улице плотно стояли люди, ожидавшие осмотра. Но вот убрали трибуну, разрезали ленточку и людей запустили внутрь.

Вначале все шло, как и полагается в подобных случаях, была возможность задерживаться у той или иной картины. Но вскоре зал стал заполняться все больше и больше, нас с Борисом стали теснить; мы в темпе прошли несколько залов, не имея возможности даже мельком взглянуть на картины. Толпа все прибывала. Наконец мы оказались в последнем зале левого крыла музея, прижатыми к глухой стене и к висевшим на ней картинам. Дышать становилось все труднее. Мне вспомнилась в этот момент тесная рубка бронепоезда — такая же духота, такая же стесненность движений и прижатость к броне. Потом пронзило уже литературное воспоминание о Ходынке, и я почувствовал, как холодеют конечности. Все это продолжалось какой-то миг.

Я посмотрел на Бориса. Насколько было возможно в тех условиях, он работал локтями, пробираясь к Эренбургу. Лицо его стало красным от напряжения. Продвигаясь, Борис громко кричал, что-

бы прекратили выпуск. Я присоединился к нему, и нам удалось вместе с несколькими людьми образовать небольшое полукольцо вокруг Эренбурга. Крик наш был услышан, и постепенно начался отток людей. Не знаю, предшествовала ли решимости Бориса предотвратить опасность, грозившую Эренбургу, минутная слабость, которую испытал я сам, но в тот момент, когда я взглянул на него, он был деловит и только покрасневшее и напряженное лицо выдавало его волнение.

В другой мой приезд Борис повел меня в ЦДЛ на просмотр французского фильма о Пикассо.

В те дни Борис снимал комнату в районе Кропоткинской, и мы из ЦДЛ пошли к нему пешком. Время приближалось к полуночи. Недалеко от Волхонки к нам подошел сравнительно молодой человек и мирно попросил закурить. Мы оба некурящие и, естественно, ничем помочь ему не могли. Человек отошел от нас, но тут же возвратился и таким же мирным тоном, обращаясь ко мне (я был в форме), говорит: «Полковник, если на улице будут предлагать золото, никогда не покупай. Оно дутое». Сказал и отошел. Мы еще не успели осмыслить услышанного, как он снова приблизился к нам. На этот раз вежливости как не бывало, он был грозен. Со словами «на фронте вы нас посылали под пулеметы, а сейчас отказываете в папиросе» он набросился на нас с кулаками. Драка не успела разгореться — наш «противник» оказался в железных объятиях милицейского старшины, охранявшего музей и наблюдавшего сцену со ступеней музея. Втроем мы оказались в ближайшем к Музею участке. Личность драчуна быстро установили: он был известен милиции как «золотушник». Милиционер, увидев на лбу Бориса глубокую царапину, попросил подписать протокол о «нанесении телесного повреждения». «Этого будет достаточно, чтобы выдворить хулигана из Москвы», — сказал он, но Борис отказался подписывать, ссылаясь на то, что царапина давняя. Пожалел человека. Пожалел и себя — не хотелось ему фигурировать в криминальной хронике, даже в качестве потерпевшего, тем более, что после статьи Эренбурга в «Литературной газете» его начали печатать и имя его было на слуху.

Я вновь забежал вперед. Но это все зигзаги памяти, которым я бессилен противиться. Возвращаюсь к осени 1946 года.

Приезд Бориса Слуцкого после более чем пятилетнего перерыва, несомненно, стал событием поэтической жизни столицы. У

меня сохранилась написанная Дезиком шуточная «Ода на приезд бывшего гвардии майора и кавалера отечественных и иностранных орденов Слуцкого Бориса Абрамовича в столицу из Харькова». Отдав должное «воплям и стонам» харьковских поэтов и красавиц-харьковчанок по поводу быстрого убегтия Бориса в столицу, Самойлов писал:

...А здесь ликующий Долгин,  
М. Львовский, Ксюша и Пазков —  
Столпы ямбических вершин,  
Освобождаясь от оков —  
Кричат подобьем голосов,  
Что ты «подрос и крепок стал,  
Как синий камень скал»  
(Как Пеца некогда сказал).

(Из известного стихотворения П. Горелика «Пираты»)

Уже с восторга обалдел  
Весь детский радиоотдел...  
Приди сюда на этот крик!  
Ждем указаний мы, пииты:  
Привет тебе, «Старик»  
Слегка на пенсии, подагрой чуть разбитый».

(Из стихотворения Слуцкого «Генерал Миаха...»)

При всей шуточности «Оды» она содержит несколько неоспоримо серьезных утверждений: и то, что Слуцкого заждалась московская официально непризнанная поэзия в лице ее лучших представителей; и то, что «поэты ждут указаний» от него; и, наконец, признание его высокого авторитета «мэтра», признание его неформального лидерства на основании довоенных заслуг, так как ни одного нового, написанного в войну или после войны стихотворения Слуцкого известно не было.

В те первые послевоенные годы, когда мы часто и близко общались, «делание стихов» как-то не выходило наружу, было скрыто даже от близких. Хотя именно в то время были написаны стихи, составившие первую книгу «Память» и принесшие автору широкую известность. На виду было другое: поэтическая деятельность, собиранье сил молодой поэзии, возвращение имен павших на войне поэтов. Одним словом «комиссарство», как окрестил кто-то из друзей (а может быть, и недругов) активность Бориса. И отдавался он этому со всей страстью и неутомимостью.

Вплоть до середины пятидесятых Борис вел жизнь скитальца по углам и комнатам в разных концах Москвы.

Источником существования Слуцкого была военная пенсия плюс кое-какие фронтовые накопления и довольно скромный заработок на радио, где он делал композиции для детских передач. Стихи не кормили — Слуцкого не печатали. Жил скромно, питался всухомятку (периодически ездил в Харьков «подкормиться на домашних харчах»). Зато не отказывал себе в посещении театров и приобретении книг да в баню ходил только в «„высший“ десятирублевый разряд», где по приемлемым ценам гладили костюм и стирали белье, что, по его словам, «составляло немалую экономию». Книг покупал много и со знанием дела.

Потом уже пошли переводы, главным образом из славянских поэтов. Переводы кормили сытнее. Работа на радио и переводы были необходимостью, отвлекавшей от главного дела.

Несмотря на скромный достаток, Борис всегда был готов помочь товарищам, а нередко и малознакомым людям. Вопрос «не нужны ли тебе деньги?» был таким же постоянным, как в свое время вопрос «что вы читали за последние три месяца?» при приеме в комсомол. Способность чувствовать затруднительное положение друзей и готовность прийти на помощь были в нем очень развиты.

Вспоминая Бориса, не могу обойти вниманием его интерес к художникам, к живописи и скульптуре: он познакомил и меня с Юрием Васильевым, Вадимом Сидуром, Владимиром Лемпортом, Николаем Силисом, Олегом Целковым, Дмитрием Краснопевцевым. Эти яркие индивидуальности объединяла официальная непризнанность.

Нередко наши прогулки по Москве заканчивались в чьей-нибудь мастерской. Чаще всего мы бывали на Комсомольском проспекте в тесном подвале — мастерской скульпторов Сидура, Лемпорта и Силиса. Может быть, мне она казалась непроходимо тесной из-за того, что была сплошь заставлена работами.

Как мог помогал художникам. Однажды мы пошли с Борисом к Краснопевцеву смотреть его натюрморты. Борис предупредил меня о тяжелом положении художника, и мы оба приобрели у него по картине.

В почтении, с которым относился Борис к моему тестю, человеку замечательному во многих отношениях, немало значила художественная натура Павла Михайловича. Бориса особенно подкупало равно серьезное отношение Павла Михайловича к

основному делу его жизни — биологической науке — и к художественной фотографии. Борис познакомил тестя со скульпторами с Комсомольского проспекта, где тот сделал несколько интересных фотографий, в том числе знаменитую «Чужую тень», побывавшую на многих известных выставках. Кстати, к лучшим работам Павла Михайловича относятся портреты самого Бориса. Здесь сказался не только вкус и мастерство, но и понимание крупной личности «объекта». Успех можно объяснить и тем, что Павел Михайлович находился в несравненно более выгодном положении, чем другие снимавшие Слуцкого — он мог фотографировать Бориса в непринужденной обстановке домашнего общения «зеркалкой», что почти соответствовало фотографированию скрытой камерой.

XX съезд партии и все, что последовало за ним, Слуцкий воспринял с энтузиазмом. И не потому, что доклад Хрущева повлиял на его оценку Сталина. Отношение к Сталину прошло у Слуцкого сложный путь от «признания значения, понимания его поступков» через стремление «понять, объяснить, оправдать» до полного «непонимания». Еще до доклада Хрущева были известны стихи «Бог» и «Хозяин».

Борис пустил в оборот словечко «дебюстизация», которым он окрестил кампанию по уничтожению памятников и портретов вождя. Энтузиазм я могу объяснить тем, что Слуцкий не только надеялся на коренной поворот к лучшему, но и *верил*, что такой поворот произошел. Более того, верил в его необратимость.

При мне Борис и Дезик неоднократно спорили на эти темы. Самойлов считал XX съезд и последовавшее за ним известное постановление ЦК 1956 года высшей точкой «синусоиды», допускал возможность нисходящих и новых восходящих ветвей развития. Слуцкий настаивал на том, что теперь развитие пойдет по «прямой» вверх. Я в своих оценках колебался между мнениями своих друзей: хотелось, чтобы все сложилось «по Слуцкому», но не верилось «по-самойловски». Есть ли необходимость говорить, что жизнь подтвердила правоту Самойлова и заблуждение Бориса? Не это ли объясняет (но не оправдывает) мотивы, приведшие Бориса Слуцкого на трибуну печально известного собрания московской писательской организации, подвергшего избиению Бориса Пастернака? Не хочется воскрешать эту печальную страницу в биографии моего друга, но из песни слова не выкинешь.

Прежде чем передать запомнившееся мне объяснение самого Бориса, должен со всей определенностью сказать: Слуцкий не тот человек, который мог пойти на это по каким-либо конъюнктурным соображениям. Вся его жизнь, вся его поэзия тому подтверждение!

Думаю, нет необходимости объяснять, как я отнесся к антипастернаковской кампании и как меня потрясла причастность к ней Слуцкого. Я жил в то время в Ленинграде. Узнал обо всем из газет. Не скрою, первая реакция не соответствовала моему окончательному отношению. Для меня всегда так много значило мнение Бориса, я знал его отношение к Пастернаку-поэту и не мог представить себе, что он способен выступить против Пастернака. Потом был ошеломлен, подавлен и ощутил всю глубину трагедии Бориса.

Один-единственный раз говорили мы с ним об этом. Да и другие его друзья старались не напоминать ему, понимая, как он сам трагически переживает случившееся. Не напоминали не сговариваясь.

Наш разговор состоялся, когда мы впервые после случившегося встретились в Москве. Я рискнул спросить Бориса о его выступлении. Не помню точно своего вопроса. В нем не было одобрительного подтекста, но и не начинался он со слов «Как ты мог?..»

Борис не оправдывался, ссылаясь на сильный нажим, на вызов в ЦК. Он был, что называется, прижат к стенке положением секретаря парторганизации поэтической секции московской писательской организации. Положение обязывало. Ему оставалось, по его собственному выражению, «выступить как можно менее неприлично». Разговор он закончил прямо и однозначно: «Отказавшись, я должен был положить партийный билет. После XX съезда я этого не хотел и не мог сделать». Я понял его слова как выражение поддержки «оттепели». Больше к этой теме мы никогда не возвращались.

С появлением стенографического отчета этого позорного собрания можно сравнить выступление Слуцкого с другими выступлениями и убедиться, как удалось Борису реализовать свой замысел.

Почти все выступавшие солидаризировались с Семичастным, тогдашним председателем КГБ, назвавшем Пастернака «свиньей, которая гадит там, где ест». Приведу несколько примеров:

С. С. Смирнов (основной докладчик и председательствующий): «Меня не очень волнует во всем этом деле судьба самого Пастернака. Я, когда закрыл книгу [«Доктор Живаго». — П. Г.], как-то невольно согласился с словами товарища Семичастного... Может



быть, это были несколько грубоватые слова и сравнения со свинством, но по существу это действительно так... Мне особенно понравилась та часть выступления т. Семичастного, когда он говорил о том, что надо превратить из эмигранта внутреннего в эмигранта полноценного ... пусть он и фактически будет находиться в антисоветском лагере...»

Л. Ошанин: «Если этот человек не желает жить с нашим народом, если он не хочет работать на коммунизм, не понимая, что это единственное, что есть в мире, что может спасти человечество от того пути, на который его толкает империализм, если человек последние годы находил время возиться с боженькой, если этот человек держит все время нож, который все-таки всадил нам в спину, то не надо нам такого человека, такого члена ССП, не надо нам такого советского гражданина!»

К. Зелинский: «Я совершенно согласен с тем, что мы должны сказать этому человеку, который перестал быть советским гражданином: „Иди и получай свои 30 серебренников! Ты нам сегодня здесь не нужен...“

В. Перцов: «Тов. Семичастный прав... Я не могу себе представить, что у меня [в писательском поселке. — П. Г.] останется такое соседство. Пусть он туда уезжает, чтобы не попал в предстоящую перепись населения».

А. Безыменский: «Пастернак внутренний эмигрант, и пусть бы он действительно стал эмигрантом и отправился в свой капиталистический рай... Этот его уход от нашей среды освежил бы воздух».

А. Софронов: «...я слышал речь Семичастного о Пастернаке. У нас двух мнений по поводу Пастернака быть не может. Не хотел быть советским человеком, советским писателем — вон из нашей страны!»

Выступление С. С. Смирнова заняло одиннадцать страниц отчета, выступления других писателей от двух до пяти страниц. В 42-страничном отчете выступление Бориса Слуцкого заняло 18 строк(!). Приведу его полностью.

Борис Слуцкий: «Поэт обязан добиваться признания у своего народа, а не у его врагов. Поэт должен искать славы на родной земле, а не у заморского дяди. Господа шведские академики знают о Советской земле только то, что там произошла ненавистная им Полтавская битва и еще более ненавистная им Октябрьская революция (в зале шум). Что им наша литература?! В год смерти Льва Николаевича Толстого Нобелевская премия присуждалась

десятый раз. Десять раз подряд шведские академики не заметили гения автора „Анны Карениной“. Такова справедливость и такова компетентность шведских литературных судей! Вот у кого Пастернак принимает награду и вот у кого он ищет поддержки!

Все, что делаем мы, писатели самых разных направлений, прямо и откровенно направлено на торжество идей коммунизма во всем мире. Лауреат Нобелевской премии этого года почти официально именуется лауреатом Нобелевской премии против коммунизма. Стыдно носить такое звание человеку, выросшему на нашей земле».

Борис, единственный из выступавших, не вспомнил о Семичастном и его отвратительном сравнении; в его словах не было и намека на требование изгнать Пастернака из страны и из Союза писателей, не было никаких отрицательных высказываний о художественных достоинствах поэзии Бориса Пастернака. А что «поэт должен искать признания на родной земле, а не у заморского дяди», так это соответствовало глубокому убеждению Слуцкого. Ему самому никогда не приходило в голову напечатать за границей свою «деловую прозу» или сотни своих стихов, не имевших шанса быть напечатанными на родине, хотя там нашлось бы немало желающих. Думаю, что резко отрицательное отношение Бориса к публикациям за границей было одной из тех щелочек, сквозь которую удалось убедить его выступить.

Все последующие годы я видел, какая тяжесть легла на его душу. Трагедию сталинщины он переживал как трагедию народную. Причастность к «пастернаковской» истории — как свою личную трагедию.

...Где-то струсил. И этот случай,  
как его там ни назови,  
солью самой злой, колючей  
оседает в моей крови.

Солит мысли мои, поступки,  
вместе, рядом ест и пьет,  
и подрагивает, и постукивает,  
и покоя мне не дает.

Вспоминаю слова, написанные Борисом на придуманном им заглавном листе моих будущих мемуаров: «Я рос под непосред-

ственным идейным влиянием Б. А. Слуцкого». Эти слова были написаны в шуточной обстановке, но это было правдой. Я часто над ними задумывался, думаю и сейчас. В чем именно выражалось это влияние? За более чем полувековую дружбу мы были рядом не так много времени: всего семь школьных лет. Потом он в Москве, я в Одессе и в Западной Украине — три года. Предвоенный год снова вместе в Москве. Война разлучила нас почти на пять лет. Два года, пока я учился в академии и год в адъютантуре, мы были рядом в Москве. А после окончания академии — многие годы моей службы в Калининне и Ленинграде.

Не знаю, почему я прибегнул к арифметике. Дружба, как одна из вершин человеческого общения, подчиняется более сложным законам. Здесь уместно сравнение с законами всемирного тяготения, действующими незримо и неотвратимо. Были ли мы рядом или вдали друг от друга, наша дружба не ослабевала, незримые нити единомыслия, сопереживания и верности прочно связывали нас. Перерывы в общении не способны были ослабить нашу духовную близость.

И все же я уверен, что решающими в смысле «его на меня идейного влияния» оказались школьные годы. Если уместно такое сравнение, Борис оказался стрелочником. Он вовремя перевел меня с накатанного школой и комсомолом пути, нивелировавшего личность, открыв передо мной иной мир. «Стрелочным переводом» оказалась поэзия. Образно говоря, Борис превратил меня из «читателя газет, глотателя корост» (М. Цветаева) в «читателя стиха» (И. Сельвинский). Первоначального толчка хватило на всю оставшуюся жизнь. Новые друзья, знакомством с которыми я тоже обязан Борису, поддерживали и помогали мне держаться на этом пути.

Конечно, влияние не ограничивалось поэзией. Оно было всеохватным. Как в поэзии я шел от восторга к осмыслению, так и в жизни я стремился от первого впечатления прийти к сути.

О том, что составляло «лирический элемент личности» (А. И. Герцен) Бориса писать нелегко. Эту сторону жизни он тщательно скрывал от стороннего взгляда. Отсюда и довольно устойчиво бытовавшее в послевоенные годы несправедливое представление об отсутствии «лирического элемента», о его «робости и непосягательстве» (Д. Самойлов).

Робость и непосягательство характерны и для Бориса-юноши. При всем том, что Борис скрывал свои привязанности, в юности

даже такие цельные натуры не могут обойтись без «доверенного лица». От меня Борис не скрывал своего сильного чувства к нашей соученице по параллельному классу. Только после войны, уже через много лет, Борис признался в этом публично. В очерке «Знакомство с О. М. Бриком» Борис писал: «Осенью 1937 года я поступил в МЮИ — Московский юридический институт. Из трех букв его названия меня интересовала только первая. В Москву ехала девушка, которую я *тайно* любил весь девятый класс. Меня не слишком интересовало, чему учиться, важно было жить в Москве, не слишком далеко от этой самой Н.»

Теперь можно назвать имя девушки. Ее звали Надя Мирза. Это была милая скромная девушка, с красивым умным лицом, интуитивно чувствующая интерес к себе со стороны Бориса и также тайно переживавшая свои чувства к нему. Она и не подозревала, что ей были посвящены его первые стихи. Их отношения держались на флюидах, чувства были скрытые, стихи сентиментальные. Борис читал их мне и не скрывал, что стыдится их. В последующем сделал все, чтобы забыть эти стихи. Того же требовал и от меня. Запомнилось лишь несколько строчек:

Закреть письмо и мякишем заклеить,  
Закреть конверт и плакать до утра.

Или

..... гроб дубовый  
И выстелю зеленым шелком дно.

Надя и мне запомнилась в зеленом платье — девушки во времена нашей юности редко имели больше одного выходного платья.

Они оба, и Надя и Борис, из Москвы ушли на фронт. Наши фронтовые адреса, мой и Бориса, Наде сообщила школьная подруга. Мне Надя писала: «Я часто вспоминаю Бориса... Надеюсь, возможно и зря, что удастся завязать переписку с Борисом. Мне этого хочется. Хочется потому, что с Борисом связаны хорошие воспоминания о прошлом. А оно дорого мне... Ведь мы *почти* встречались с ним...» Это *почти* говорит о многом.

Вскоре Борис писал мне: «Получил письмо от Нади. Написал ей большое письмо — соответственно хорошим воспоминаниям, которые у меня сохранились. Всю молодость вспомнил. Она на Волховском фронте с начала войны». Их переписка, насколько мне известно, продолжения не имела.

Сразу после войны, пока Борис оставался в армии, а я уже учился в Москве, он давал мне поручения, казавшиеся матримониальными. Все они касались одной девушки, но позже оказалось, что она замужем. Так я узнал о существовании в жизни Бориса Вики Левитиной. Как и где они познакомились, для меня осталось неизвестным. Но поручения свидетельствовали о романтических отношениях: передать флакон «Коти», присланный через однополчанина, передать книгу П. Арапова «Летопись русского театра» (как писал Борис, «довольно глупую книгу»), помочь ее сестре Тамаре устроиться в театр (Борис сильно преувеличивал возможности моих театральных знакомств).

Отношения их продолжались и в 1947 году. Каковы были подлинные отношения Бориса и Вики и почему они вскоре оборвались, осталось неизвестным.

Потом ходили слухи о других увлечениях. Сам Борис об этом не говорил и болезненно реагировал на такого рода вопросы. Так продолжалось до 1957 года, когда Борис познакомил друзей со своей женой Таней Дашковской. Брак еще не мог быть в то время оформлен: Тане предстоял развод с первым мужем. Период ухаживания за будущей женой Борис от нас скрыл.

Время до женитьбы было для Бориса временем социальной непристроенности, скитаний по углам и зависимости от квартирных хозяев, отсутствия постоянных заработков. Женитьба совпала с наступлением стабильности и появлением достатка. В 1956 году он получил первую в своей жизни комнату на проспекте Вернадского, в одной квартире с Григорием Баклановым. Помню, как мы вместе с Борисом пошли покупать шесть стульев. В 1957 году Бориса приняли в Союз писателей, начали печатать, появились деньги. «Прыгнул из царства необходимости в царство свободы», — цитировал Борис Маркса.

Мы в то время жили уже в Ленинграде. Приезжая в Москву и бывая у них, видели, как менялась жизнь Бориса. Таня создавала свой дом. Это чувствовалось и на проспекте Вернадского и особенно в отдельной квартире во 2-м Балтийском переулке, куда они переехали после обмена. Во всем были видны вкус и рука современной женщины и хорошей хозяйки. В доме чувствовался достаток. Они хорошо питались и очень любили вкусно и необычно угощать. Борис был ухожен, но не разрешал никакой модной одежды для себя и в этом был непреклонен. На стенах появились картины современных художников.

Но дом не стал светским салоном, как того хотелось Тане: там бывали лишь духовно близкие Борису люди. Мне довелось чаще других встречать у них Юрия Трифонова, Владимира Корнилова, Бориса Рунина, конечно, бывали и другие. Борис познакомил меня с Василием Гроссманом (еще до переезда в Балтийский переулок), с Леонидом Мартыновым, с художниками Ю. Васильевым и Дм. Краснопевцевым. Эти люди были интересны и Тане. Но все же это были люди по выбору Бориса — его друзья и единомышленники. К нам с Ирой она относилась по-доброму, но такими близкими, как с Борисом, наши отношения не стали.

Борис дорожил своей независимостью, возможностью уединиться. Даже к посещению школьных товарищей относился избирательно. Все в квартире было во власти Тани, кроме кабинета Бориса, где царил поэтический хаос — книги, рукописи, толстые амбарные книги, куда Борис набело записывал стихи, «запасник» приобретенных картин.

Борису нравилось, как вела дом Таня, он ценил устойчивый быт и не желал перемен. Не любил «гадюшника» — ЦДЛ с его ресторанно-купеческим духом и бывал там только по делу. Не любил и писательские дома творчества с их шумом, суетой, непременными застольями.

Несмотря на стремление Тани переехать из ведомственного (железнодорожного) флигеля в престижный писательский дом в центре, он ничего не предпринимал, хотя мог осуществить ее желание без большого труда и не поступаясь принципами. Опасался, что это приведет к общению с более широким кругом писательских семей и нарушит его, в известном смысле, замкнутый образ жизни. Все это требовало уступок от Тани; она шла на это осознанно, понимая Бориса-поэта.

Наблюдая их жизнь в нечастые приезды из Ленинграда, я видел, что Борис счастлив. Хотя признаний с его стороны не было — такими чувствами делятся только в юности. Зная Бориса ближе, чем Таню, я надеялся, что для нее не осталось незамеченным большое нерастратенное чувство любви и доброты. Я верил, что и она ответила столь же искренним и глубоким чувством. Так ли это было на самом деле? Мне хотелось этого, Борис был этого достоин.

В их приезд к нам в Ленинград в 1958 году мы видели, какой любовью и вниманием окружил Борис свою молодую жену, как

он был к ней чуток. Они смотрелись красивой парой. Таня, стройная, ростом под стать Борису, дорого и со вкусом одетая, кареглазая, с большой копной волос, и рядом Борис, в меру плотный, с пышными усами и умными голубыми глазами.

Они приехали, когда наша дочка, тоже Таня, пошла в первый класс. Борис и Таня были с ней дружественно ласковы. Борис называл ее «Зайцекролик» и «чемпион по поведению». 1-го сентября они устроили для Танюши праздник: встретили ее из школы цветами и дорогим подарком. Обедали в «Европейской». Танюша, впервые побывавшая в ресторане, вспоминала об обеде в «европейской столовой», где подавали мороженое «с огнем».

В первые годы Таня продолжала работать (она была дипломированный химик). Борис этим гордился. Вместе с тем он не препятствовал ее сближению с обществом жен известных и модных поэтов, где Таня могла реализовать свои светские амбиции.

Таня была веселой, цветущей женщиной. Борис называл ее «образцом здорового человека» и добродушно продолжал: «Как всякий здоровый человек, она засыпает, когда я читаю ей стихи».

Он всегда хотел ее баловать. Как-то мы были у них вскоре после его приезда из Югославии. На тахте лежали горькой большие плитки шоколада. Увидев наше удивление, шутливо сказал: «Привез столько шоколада Тане, чтобы ей слаще было читать мои стихи».

И вдруг над этим так поздно обретенным счастьем нависла грозная опасность: Таня тяжело заболела. Диагноз был безжалостным, исход трагически неотвратимым. Лимфогранулематоз. Таня догадывалась, Борис знал. Трагедия подвергла жестокому испытанию как силу воли Тани, так и верность и любовь Бориса. Они оба выдержали этот экзамен. Борис окружил Таню еще большей лаской и вниманием, ни в чем она не знала отказа. Бессильный предотвратить конец, он делал все, чтобы продлить ее жизнь и уменьшить страдания — лучшие врачи и клиники Москвы, самые современные лекарства, лечение за границей, где ее оперировали. В феврале 1977 года Тани не стало.

На похоронах Борис был мужественно сдержан. Но что творилось в его душе? Чувствовал ли он, что прощается не только с любимой женщиной, но и с поэзией?

После смерти Слуцкого, когда я с его братом Ефимом и Юрой Болдыревым собирали в опустевшей квартире в Балтийском переулке бумаги Бориса для отправки в архив, мы нашли его последнюю записную книжку в простеньком синем переплете. В числе

нескольких других реликвий семьи, Фима оставил мне и эту записную книжку. В ней оказались стихи, написанные в трагические дни февраля 1977 года. Думаю, что среди них наиболее значимыми для Бориса были стихи, посвященные покойной жене:

Кучка праха, горстка пепла,  
Всыпанные в черепок.  
Все оглохло и ослепло.  
Обессилел, изнемог.

Непомерную расплатой,  
за какой-то малый грех —  
свет погасший, мир разъятый,  
заносящий душу снег.

\* \* \*

Не на кого оглядываться,  
не перед кем стыдиться.  
Вроде бы жить и радоваться.  
Мне это не годится.

Мне свобода постыла  
та, что бы ты не простила.  
Мне не угодна воля  
та, где тебя нет боле.

Никогда до этого он, поэт суровой военной темы, не писал таких пронзительных лирических стихов.

Стихи из «синей» книжки оказались последними его стихами. Через три месяца после смерти Тани, в мае того же года, Борис заболел и до самой своей кончины не написал ни строчки.

Смерть Тани оказалась последним и наиболее сильным ударом в череде ударов, нанесенных ему судьбой.

Неизбывная тяжесть лежала на душе Бориса еще с 1958 года.

Не молью побитая совесть,  
а Пушкина твердая повесть  
и Чехова честный рассказ,  
меня удержали не раз.

А если я струсил и сдался,  
а если пошел на обман,  
я, значит, не крепко держался  
за старый и добрый роман.



Что это строки признания и раскаяния — сомневаться не приходится. Убежден — это был первый сильный удар по его душевному покою.

1964 год нанес новый удар. Тяжело пережил Борис конец «оттепели». Октябрь 1964 года, который Борис рассматривал как государственный переворот и откат назад, обернулся для него не только крушением надежд. Он понимал, что жертва, принесенная им в 1958 году во имя «оттепели», оказалась напрасной.

Смерть жены окончательно надломила его. Он впал в глубокую депрессию, из которой врачам так и не удалось вывести его полностью. Лежал он в психосоматическом отделении 1-й Градской больницы. Лечивший Бориса заведующий отделением доктор Берлин любил и почитал поэта Слуцкого; ему удалось поместить Бориса в каком-то жалком закуточке при туалете и тем самым изолировать от кошмаров психосоматического отделения.

Когда к Борису приходили друзья-поэты (иногда вопреки его запрету), доктор Берлин присоединялся к ним и активно участвовал в общей беседе.

Я был в это время в Москве, в отпуске, и ежедневно посещал Бориса. Бывали у него Лена Ржевская и Изя Крамов; больше он никого не хотел видеть. Когда я простудился и не смог поехать в больницу, вместо меня поехала Ира. Как человек более организованный, чем я, она по живым следам записала свои впечатления. Ее записки (см. на стр. 347) представляют картину первых месяцев болезни Слуцкого куда как лучше, чем я мог бы вспомнить по прошествии стольких лет.

Ко всем «фобиям», о которых вспоминает Ира, прибавилась новая — страх перед выходом из больницы.

При появлении признаков улучшения удалось убедить Бориса покинуть 1-ю Градскую. Некоторое время он жил дома. С ним был брат. Непродолжительные ремиссии сменялись новыми проявлениями депрессии. Сменил две больницы, вновь на короткое время возвращался домой. Мы стали думать о смене врачей, искали новые, современные лекарства — к этому подключились фронтовые товарищи Бориса. Все шло к тому, что больницы не избежать. Стараниями К. Симонова и генерала Цинева, фронтового начальника Слуцкого, Борис был помещен в Центральную клиническую больницу, «кремлевку». Я посетил там Бориса несколько раз. Условия здесь были отличные, но конечный медицинский результат тот же.

Лежали в отделении в основном люди пожилые, бывшие большие начальники. Некоторых Борису удалось разговорить. Он делил больных стариков на «отсажавших» (таких было больше) и «отсидевших». Однажды показал на двух мирно разговаривавших людей: «Вон на диване отсажавший рассказывает отсидевшему, за что его посадил».

Но бесконечное пребывание в клинике было невозможно, и после «кремлевки» Борис переехал в Тулу, к брату. Там, как и в Москве, мы с Ирой навещали его.

Самойлов, определивший болезнь Бориса как душевную, был прав: депрессия, парализовавшая его волю, оказалась бессильной перед его удивительной памятью и могучим интеллектом. В определенном смысле это был тот же Борис Слуцкий — он помнил многие подробности нашей харьковской жизни, которые давно улетучились из моей памяти, помнил друзей и знакомых, по-прежнему, вспоминая их, давал точные и острые характеристики, интересовался новостями, особенно политическими (правда, его ничем нельзя было особенно удивить), имел собственное представление о раскладах в высших эшелонах власти и свои оценки окололитературных интриг. Жаловался только на то, что не может писать. «Пытаюсь писать стихи, — сказал он как-то, — но строчка к строчке не подходит». На вопрос, читает ли, постоянно отвечал отрицательно. Но, думаю, что лукавил: его осведомленность свидетельствовала, что читает не только газеты (и не одну); хвалил только что прочитанную в журнале повесть Лены Ржевской.

За два года до смерти Тани и до болезни Бориса, осенью 1975 года, отдыхая в Подмосковье, недалеко от Александровки, где Слуцкие уже не первый год снимали покосившийся домик на берегу Москвы-реки, я почти каждый день приезжал к Борису. С ним, а иногда и с Таней, мы бродили по окрестностям Архангельского. Никогда Борис не читал мне столько стихов, сколько в те дни. Однажды, когда я удивился, сколько написано за год, он сказал: «О чем ты! У меня в столе больше пятисот непечатных стихов». Даже я, привыкший к точности и взвешенности слов Бориса, посчитал это преувеличением. Но в действительности он сильно скромничал. После смерти Бориса мы узнали, что стихов было много больше.

Прошло уже около двадцати лет, как не стало Бориса. Теперь я вспоминаю и перечитываю его стихи. Покоя мне не дает одно: «Мои друзья не верили в меня. Мне — верили. В меня — нисколько».

Кто-то, кажется, Давид Самойлов, назвал эти стихи несправедливыми. Хотя я уверен, что эти строки скорее от настроения, чем от убежденности в таком к нему отношении друзей, какой-то холодок все равно сжимает сердце. Не внес ли и я свою лепту в это настроение?

Мне приходит на память один разговор с Борисом в самом начале пятидесятых. Шансов на публикацию его стихов тогда не было. Он не был мрачен, но и не скрывал, как это его угнетает. Не задумываясь над последствиями, я сказал Борису, что он, по складу характера и таланта, хорошо чувствует драматическую ситуацию, — так не попробовать ли ему себя в драматургии? По реакции я понял, что он расценил мой совет как проявление неверия в него как поэта. Я пытался загладить свой промах, но, думаю, какой-то осадок остался.

Горький ком подкатывает к горлу при воспоминании о последнем десятилетии жизни Бориса, отравленном болезнью. Еще больше, чем «Мои друзья не верили в меня...», мучают строки одиночества и тоски, нет-нет да встречающиеся в его стихах:

Хоть бы кошка пришла  
потереться  
о штанину мою  
спиной...

Невольно чувствуешь себя в этом виноватым. Были ли мы, его друзья, достаточно внимательны к нему? Всегда ли мы были рядом? Или одиночество — необходимое поэту состояние, которое он сам создает, имея многочисленных единомышленников, почитателей и друзей? За эту мысль ухватываешься, как за соломинку оправдания.

---

*Юлия Данкова*

## «ЗАКАЛЕННЫМ ТОСКОЙ И БЕДОЙ УКРЕПЛЕННЫМ...»

Мы познакомились с Борисом Слуцким в 1937 году, когда мы стали студентами Московского юридического института и попали в одну группу. На курсе я считалась старшей — не по возрасту а по семейному положению: я была замужем и матерью маленькой дочурки. Однажды опоздавший на семинарское занятие Борис подошел ко мне, чтобы объяснить причину опоздания. Так завязалась наша дружба.

Борис выделялся среди наших студентов своей серьезностью и общим развитием. Жил он в общежитии в одной комнате с однокурсником Зейдой Фрейдиным. Одевался скромно, питался скудно. Жил на стипендию, вечерами подрабатывал, преподавая историю в школе для взрослых. Активно участвовал в работе институтского литкружка. На третьем курсе начал учиться параллельно в Литинституте Союза писателей.

В марте 1941 года в журнале «Октябрь» были впервые опубликованы стихи Бориса. Мы, студенты юридического института очень гордились тем, что среди нас есть поэт.

В июне 1941 года мальчики нашего института ушли на фронт. Ушел на фронт и Борис, Воевал под Москвой, в Белоруссии, на Балканах.

Был ранен. После госпиталя вернулся на фронт. Был награжден боевыми орденами.

Осенью 1945 разыскал меня в Москве. Я работала тогда в Прокуратуре Союза, в отделе по надзору за местами заключения. Борис обратился ко мне с просьбой помочь разыскать его пропавшего без вести друга Михаила Кульчицкого. Я сделала все что могла. Ответ поступил быстро: «Поэт Кульчицкий в местах лишения свободы не числился».

После демобилизации в 1946 году Борис поселился в Москве. Это было трудное для него время. Прописался у родителей Зейды Фрейдина. Снимал углы, все еще «ходил» в молодых поэтах, не имел постоянного заработка. Это в 27 лет!

Широкая известность Слуцкому пришла после публикации в «Литературной газете» стихотворения «Памятник» и статьи Ильи Эренбурга.

В 1951 году я заболела и ушла на инвалидность, Мы часто встречались, ходили на выставки. Я призналась Борису, что не понимаю Пикассо. Он привел меня в музей на Кропоткинской и три часа объяснял «тайну треугольников и квадратов» Пикассо. Вместе ходили на выставку Коненкова. Борис никогда не смеялся над моим невежеством в области искусства, терпеливо объяснял мне то, чего я не понимала.

Во время наших прогулок часто читал свои стихи. Иногда мне становилось страшно за Бориса (и немного за себя). Однажды прочитал стихотворение «Бог» и рассказал историю его написания: как-то, идя Арбатом, он услышал шум приближавшихся машин и тут же почувствовал, как кто-то толкнул его в спину и прижал лицом к стене подворотни. Когда кортеж проехал, он увидел бывшего однокурсника Славу Пирятинского, работавшего в охране Сталина. Оказывается, всех, кто находился в этот час на пути кортежа, забирали и даднейшая их судьба была неизвестна. Узнав Бориса, Слава спас его от этой участи <sup>1</sup>.

Сталин был еще жив, когда Борис прочитал мне «Хозяина» Я спросила: «Ты не боишься читать мне эти стихи?» Он ответил: «Нет не боюсь. Но если завтра я тебе не позвоню, ты поймешь причину». Он все время ждал, что его арестуют.

Как-то я зашла к Борису днем, он снимал тогда комнату в Сытинском переулке. У него сидели двое юношей. Он меня представил. Один из них был Евгений Евтушенко, второго я не запомнила. Когда ребята ушли, Борис, сказал мне: «Тот, что повыше, — Женя Евтушенко, надежда российской поэзии».

Борис был человеком добрым, но не терпел угодничества и протекционизма. Сокурсники считали его за это гордецом. Он очень избирательно давал рекомендации, многим отказывал и нажил себе немало врагов.

Однажды и мне пришлось испить эту же горькую чашу. Я как-то попросила помочь племяннице и приобщить ее к переводческой

---

<sup>1</sup> Автор воспоминаний, описывая этот эпизод, сильно сгустила краски. Даже при том размахе террора, который был характерен для конца 40-х и начала 50-х годов, память не фиксирует даже слухов о поголовном аресте всех, оказавшихся на Арбате в момент проезда кортежа Сталина. — *Примеч. сост.*

работе. Она не могла устроиться на работу после окончания института иностранных языков. Борис дал ей на пробу перевести рассказ Дж. Лондона. Племянница вернулась от Бориса вся в слезах и долго ничего не рассказывала. Мне Борис сказал, что языком она владеет, но дара переводчика у нее нет. Если ей нужны деньги, то он может ей помочь, но от такой помощи она отказалась.

Меня удивляло его отношение к критике. Однажды я позвонила ему и с ужасом сообщила о том, что его сильно ругают в газетах, Борис рассмеялся: чем больше будут ругать, тем больше поклонников его поэзии у него будет.

Борис жил очень скромно, одевался строго, питался по-холостяцки. Видя неустроенность Бориса я спрашивала его, почему он не женится? Борис отвечал, что не сможет обеспечить семью материально, а уподобиться тем, кто сочиняет репризы для цирка ради «хлеба насущного», он себе позволить не может.

Хотя у него своей крыши над головой не было, он помогал друзьям в поисках жилья. Я помогла ему устроить семью критика Огнева в квартире сестры. По просьбе Бориса мы подыскивали жилье для писателя-эмигранта из Германии.

Шло время. Борис получил квартиру, женился. Наша дружба возобновилась, но на совсем невеселой основе. Тяжелее заболела Таня, заболел и мой муж. Мы с Борисом помогали друг другу доставать лекарства. Борис с Таней жили очень замкнуто. Когда умерла мать Тани, они выменяли две комнаты на отдельную квартиру. Обмен был неудачным. Но все же они были довольны.

В феврале 1977 года Таня умерла. Он впал в глубокую депрессию. Лежал в больнице. Только однажды разрешил навестить его. Лежал он в маленькой палате, худой, изможденный. Я пришла, мы расцеловались. Он расспрашивал меня о моей жизни, помнил всех моих близких. Я поздравила с выходом его «Избранного». Он мне сказал: «В этой книге не все так как я хотел... Я не могу работать, значит я не должен жить». Все что я ему принесла, все велел унести. Я стала прощаться и невольно заплакала. Он поцеловал меня и прошептал: «За всю свою жизнь я один раз совершил сделку с совестью. Это меня мучит, я не могу работать, и поэтому я не должен жить». Медсестра вывела меня, и больше я Бориса не видела.

Прав ли был Слуцкий когда писал: «Грехи прощают за стихи. Грехи большие — за большие», я не знаю, но его мольба, обращенная к потомку: «Ударь, но не забудь, убей, но не забудь» пронзает предсмертным мужеством самоосуждения.

---

*Олеся Кульчицкая*

## ОН БЫЛ ДРУГОМ МОЕГО БРАТА

Борис Слуцкий... Помню его шестнадцатилетним, еще до войны. Он часто приходил к нам, к брату. Держался спокойно, с достоинством. Другие ребята запросто, иногда шумно, проходили прямо в комнату к Мише. Борис же задерживался, обязательно здоровался с домашними. Наш отец, Валентин Михайлович, если бывал дома, любил беседовать с Борисом — не столько беседовал, сколько задавал ему вопросы, а потом заинтересованно выслушивал все, что тот отвечал. Миша, посмеиваясь, приобняв Бориса за плечи, старался поскорее увести друга к себе. Ребяту у Миши бывало много, но приходу Бориса он особенно радовался. В семье хорошо относились к их дружбе.

Я была гораздо младше Миши, но не чувствовала особой разницы в годах — он был свой, домашний. Борис же выглядел ужасно взрослым и серьезным. Мне казалось, что он смотрел на меня как на несмышленную девчущку... Ощущение это осталось навсегда.

После окончания школы Борис уехал в Москву, поступил на юридический факультет. Мой отец — юрист по профессии — одобрял выбор Бориса и не раз принимался убеждать Мишу в том, что нет более интересной профессии, что нигде человек не приобретает столь широкого кругозора и подлинного знания жизни, как на юридическом факультете. Они спорили, и как-то Миша сказал:

— Понимаешь, папа, он — Поэт... Поэт — и юристом никогда не будет!

Так я узнала, что бывают, оказывается, и живые поэты, а строгий Борис — один из них... Михаил же поступил на литературный факультет Харьковского университета, но после второго курса уехал в Москву.

Не без влияния Бориса, как полагали мои родители.

\* \* \*

Война... Черное время оккупации Харькова. И самым страшным было то, что мы ничего не знали о судьбе Миши, Бориса и

других ребят. Особенно тяжело это было для мамы. Страшнее голода и холода... Отца замучили в гестапо, и родные и близкие погибли. Немцы выселили жителей нескольких улиц, чтобы очистить зону вокруг железнодорожной станции Левада. Пришлось и нам покинуть дом, в котором семья прожила полвека.

После долгих мытарств, вдвоем с мамой, мы оказались в мало-пригодной для жилья комнате, с окнами, забитыми фанерой, обвалившимся потолком. Отопления не было, и, чтобы хоть немного согреться, приходилось натягивать на себя всю одежку, что была. Так жили мы до освобождения Харькова, но и после наш быт оставался почти таким же.

Уже в самом конце войны, в один из сумрачных промозглых дней, раздался стук в дверь. На вопрос «Кто там?» мы услышали четкий ответ: «Майор Слуцкий!» На пороге стоял стройный, перетянутый блестящими офицерскими ремнями, очень красивый Борис. Первым движением было — броситься к нему... но в ушах звучит официальное «майор Слуцкий», значит, надо соблюдать дистанцию... Стало обидно, обидно до слез.

Борис вошел, поздоровался, огляделся. Мама обрадовалась: жив! Но после первых восклицаний, обмена вопросами обо всех близких и друзьях (разговор шел в основном между мамой и Борисом, а я стояла, разглядывая его) Борис, задрав голову и уставившись на наш дырявый потолок, начал рассказывать о том, какая мебель в Германии и Румынии, какие интерьеры квартир. Во мне все кипело, и было стыдно за наш «интерьер», за тряпки, в которые мы кутались, за все неустройство наше... Зачем этот разговор о какой-то дурацкой мебели! Когда Борис ушел, я фыркала и возмущалась.

Где мне, девчонке, было понять его чувства. Он явился к нам, бывшим в оккупации, а значит, по тем временам, запятанным. Не было никаких вестей о Мише, и Борис говорил с матерью, возможно, погибшего друга, вдовой Валентина Михайловича, замученного в застенке. Все это оглушило его. Ну, а вместо маленькой девочки перед ним оказалась взрослая хорохорившаяся девица.

Борис по натуре был скромен, даже застенчив. Как бы защищаясь, он надевал на себя броню сдержанности и сухости, почти высокомерия. Наверное, от смущения говорил не то, что хотел сказать. Я тогда и представить не могла, что он и вовсе в ту пору не имел крыши над головой и был житейски неустроен совсем.



В последующие годы в каждый свой приезд в Харьков к родным Борис непременно навещал нас и семью осужденного за «космополитизм» Льва Лившица (позднее реабилитированного). Стоит ли говорить, чем были чреватые для Бориса эти посещения, но он не изменял себе. Верность дружбе, преданность, благородство — этими, ныне все более редкими, чертами характера щедро наградила его природа.

Как ни странно, но я всегда ощущала какое-то внутреннее сходство между Борисом и моим отцом — Валентином Михайловичем. Та же сдержанность, лаконичность, доброжелательная серьезность, логичность суждений. Даже что-то в выражении глаз Бориса напоминало мне отца. Уж не знаю, что играло здесь роль, но похожесть была. Миша же — сын — был человеком совсем другого склада. И всех троих — отца, Михаила и Бориса, — таких разных в своих судьбах, связывало общее: одержимость делом, чистота помыслов, честность во всем и патриотизм — настоящий, а не словоблудие на эту тему.

К людям Борис предъявлял высокие требования. Ему было свойственно категорическое неприятие низких поступков, моральной распушенности. Оправдания отвергались, Борис просто прекращал всякие отношения, и восстановить их уже было нельзя.

Особенно это касалось личных отношений. Любовь бывает только однажды, считал Борис. Иное он просто отметал... Бывая у нас в Харькове, Борис с некоторых пор перестал упоминать о нашей общей знакомой. Моя мама стала расспрашивать, не случилось ли чего с нею. Борис помолчал, подумал и как-то нехотя сказал, что с ней все в порядке, более того, она время от времени выходит замуж. Как выяснилось, из-за этого он и перестал поддерживать с ней отношения. Знакомая настойчиво звонила, писала, просила друзей замолвить за нее слово, полагая, что произошло досадное недоразумение. Все было тщетно, отношения наладить не удалось. Как-то, когда мы с мамой возвращались в Харьков, эта знакомая провожала нас на Курском вокзале. Борис тоже пришел проститься, но, увидев ее в нашем купе, буквально потемнел лицом и пулей вылетел из вагона. Я бросилась за ним, что-то говорила, пыталась наладить их отношения, но он резко сказал, что не хочет видеть ее и уж тем более общаться с нею. Наскоро попрощавшись, он ушел, не дожидаясь отправления поезда.

\* \* \*

Уже не помню, по какому поводу я зашла к Борису. Дело было в конце 40-х или в самом начале 50-х, в Москве. Борис снимал комнату у вдовы художника в районе Неглинной. В комнате висело много картин, стояли они и у стен. Борис уважительно показал на них — вот, мол, сколько человеком наработано... Перед этим посещением я долго раздумывала — удобно ли идти... Но как он обрадовался! Засуетился, снял шлепанцы, зачем-то стал надевать туфли... Заволновался, чем угостить меня, откуда-то извлек бутылку, всю в пестрых наклейках. Сказал:

— Закусить нечем, ну да это французский коньяк. А пить мы будем за Мишу.

Я пытаюсь отказаться, но не мне спорить с Борисом. Первый раз в жизни я ощущаю вкус огненной жидкости, таращу глаза от ужаса и надолго закашливаюсь.

Борис печально и негромко говорит:

— С Мишей бы выпили... Он оценил бы...

Отдышавшись, смущенная, что не оправдала, так сказать, надежд, собираюсь уходить. Борис протягивает билет.

— Вот, возьмите...

Я ахнула — во МХАТ! Чтобы попасть в этот театр, люди ночами стояли в очереди.

— А вы, Борис?

— Сегодня я занят, пойти не могу...

\* \* \*

Возвращаясь из Коктебеля в Москву, Борис сделал остановку в Харькове и, как всегда неожиданно, явился к нам. Стал рассказывать о своем посещении вдовы Максимилиана Волошина.

Надо сказать, что в присутствии Бориса до меня не всегда сразу доходил смысл сказанного им. Из-за этого на его вопросы я отвечала не так, как нужно, и очень потом переживала.

— Ведь он еще и великолепный художник! — говорит Борис, поглядывая на меня, и спрашивает:

— Вы ведь знаете такого поэта Максимилиана Волошина?

Я эдак лихо отвечаю: нет, мол, понятия не имею. Мама с изумлением смотрит на меня: ведь стихи Волошина стоят в книжном шкафу среди других книг брата, читанные-перечитанные.

— Нехорошо. Такого поэта надо знать, — тускнеет Борис. Поправляться; исправлять сказанное поздно...

\* \* \*

В один из моих приездов в Москву Борис сообщил мне, что нам предстоит принять участие в радиопередаче, посвященной памяти Михаила Кульчицкого. Подробно разъяснил, как проехать до радиостудии, где сделать пересадки, предупредил, чтобы ни в коем случае не опаздывала. В тот день он был очень занят, и встреча на радио была «в окне» между другими делами. Благополучно добравшись, увидела Бориса, вышагивающего неподалеку от входа и поглядывающего на часы. Но я была точна, как английская королева!

Нас радушно встретил чудесный Константин Ибряев. Вместе с Борисом они принялись меня усаживать, успокаивать. Я же совершенно не волновалась, так как здесь мне было не в диковинку: постоянно приходилось участвовать в концертах на харьковском радио, где очень редко записывали на пленку, а обычно все шло прямо в эфир. И я спокойно ожидала, когда в студию войдет диктор.

Слуцкий же с Ибряевым так заботливо и настойчиво уговаривали меня не волноваться, что в конце концов мне действительно стало не по себе. Потом Ибряев отвел Бориса в сторонку и коротко о чем-то переговорил. Сказал: «Вы тут пока побеседуйте, а я скоро вернусь и объясню, как и что» — и мгновенно исчез. Борис сел рядом:

— Давайте условимся, о чем будем говорить. Я начну задавать вопросы, а вы отвечайте так, будто нас уже слушают.

Наша репетиция длилась довольно долго. Отвечала я весьма скупно, приберегая главное, о чем хотела сказать, для передачи, и все удивлялась, почему так долго не начинают.

Наконец появился сияющий Ибряев.

— Записали. Спасибо, все хорошо!

Я очень расстроилась: ну почему не предупредили о записи!

— Это чтобы не волновалась, — сказал Борис. — Зато сейчас мы поедем в такси — я обещал!

Вышли на улицу, а такси нет как нет. Мимо проскакивают занятые машины. Борис занервничал. Я стала умолять его: метро же рядом, поедем, вы же опаздываете, ведь такси есть и в Харькове. Борис отошел от меня, долго семафорил, пока не поймал машину и не отвез меня домой... Если не ошибаюсь, это было в 1968 году.

\* \* \*

Снова возвращаюсь к такому, уже далекому послевоенному времени.

Мы с мамой приехали в Москву в надежде выхлопотать ей пенсию. Денег у нас не было, покупок никаких не предвиделось, и был у нас на двоих небольшой чемодан. Перед самым отъездом, не знаю, серьезно или в шутку, Борис спросил: много ли отрезвов закупили? Тут спохватилась мама:

— Может быть, нужно что-нибудь передать в Харьков, ведь мы налегке?

Борис на минуту задумался и сказал, что и в самом деле, если нас не затруднит, то он передаст книги своим родителям. И действительно притащил на вокзал два изящно упакованных тючка, перевязанных шпагатом. На прощание сказал, что если станет скучно в поезде, то книги можно читать.

Мне не хотелось трогать аккуратную упаковку, и я решила, что когда буду передавать книги матери Бориса Александре Абрамовне, то попрошу у нее почитать.

На харьковском вокзале мне нужно было срочно позвонить на работу. Оставив маму с вещами, я пошла искать телефон. А когда вернулась, застала ее вконец растерянной: едва я отлучилась, к ней подошли три дюжих парня, схватили тючки с книгами и были таковы. Старенький наш чемодан их не прельстил.

Вот когда я пожалела, что не воспользовалась разрешением Бориса и не просмотрела книги в поезде! Знала бы, что там, попыталась бы достать, восстановить...

Иду к милой Александре Абрамовне с повинной, прошу узнать у Бориса, что за книги были в тючках. А она с улыбкой успокаивает меня:

— Это все чепуха. А вот прошлым летом было куда похуже. Боб был в Харькове (она всегда называла его — Боб), отправился за город на пляж в Лозовеньки. Полез купаться, а тем временем у него брюки украли. Красивые, дорогие. Как домой добираться? Спасибо, какой-то шофер одолжил свои рабочие штаны, все в масляных пятнах, огромные. Когда Боб появился в них поздно вечером, я глазам своим не поверила... Мы посмеялись, но мне от этого легче не стало. В письме к Пете Юрелику, товарищу Бориса, я попросила его потихоньку выведать, какие книги были переданы в Харьков. Но этот «предатель» письмо мое отдал Борису. Тот отмахнулся и сказал, что все ерунда, да и ничего ценного там не было.

Так и осталась я навеки его должницей.

\* \* \*

Начиная с конца войны, с тех самых пор, как Борис Слуцкий восстановил с нами связь, он приложил неимоверно много усилий, чтобы хоть что-нибудь узнать о судьбе Михаила Кульчицкого. Активно включился в поиски, писал и справлялся во всех инстанциях, где это только было возможно и невозможно, помогал нам советом и делом. Он необыкновенно много сделал для того, чтобы поэзия Михаила Кульчицкого не оказалась в забвении. Наверное, не было в Москве редакции, куда бы Слуцкий не предлагал в те годы никому не известные стихи Кульчицкого. Есть об этом у Слуцкого пронзительные стихи — это «Просьбы».

Нам с мамой тогда казалось, что Борис больше заботится о судьбе стихов Михаила, чем о собственных...

После войны Борис часто болел, сказывалось перенесенное на фронте. Помню, как-то он спросил, помогает ли мне валидол. Я что-то ответила.

— А мне уже нет... — грустно сказал он.

Смерть его, безвременная, прозвучала дальним эхом войны.

\* \* \*

Однажды в Харькове, во время концерта на летней площадке Дома культуры «Металлист», меня неожиданно вызвали за кулисы. Это был Борис. Я удивилась: как меня нашел? «По афише», — улыбнулся он. Дождался окончания концерта, а потом мы бродили по летнему Харькову. Слуцкий читал свои стихи...

В фильме «Сквозь время», по неясным причинам так и не вышедшем на экраны страны, Борис Слуцкий читает стихи своего друга Михаила Кульчицкого. Есть пластинка, она называется «Реквием и Победа», на ней записаны стихи поэтов, погибших на фронтах Великой Отечественной. Она навеки сохранила голос Бориса, произносящего «Слово о друге» и читающего стихи Кульчицкого.

Поднявшим голову, устремившим взгляд вдаль, весомо произносившим каждое слово — таким запомнился мне Борис Слуцкий, поэт и очень дорогой мне человек.

*Эти воспоминания написаны по просьбе сестры поэта  
М. Слуцкой и его друга П. Горелика*

## **ДРУГ И СОПЕРНИК**

Впервые я встретился с Борисом Слуцким в доме Ильи Лапшина, только что поступившего в Литинститут. Привел меня, кажется, Борис Смоленский, школьный товарищ хозяина. Это было весной 1939 года.

Воспоминания о Слуцком я уже один раз написал — еще при его жизни, в начале 70-х годов — и прочитал их ему.

Слушая, он сильно краснел, что было признаком волнения. Выслушав, сказал несколько коротких фраз.

— Ты написал некролог... В общем верно... Не знал, что оказывал на тебя такое влияние...

Больше к этому никогда не возвращались.

Воспоминания те я сейчас перечитал. Они несправедливы. Они писаны в раздражении. Думаю, что их можно дополнить, исправить...

Итак, у Ильи Лапшина я встретился со Слуцким. Он сразу произвел на меня большое впечатление.

Слуцкий занимался тогда инвентаризацией московской молодой поэзии. Ему нужно было знать всех, чтобы определить, кто лучше, кто хуже. Он искал единомышленников, а если удастся — последователей.

Мы вышли вместе из продымленной комнаты. Слуцкий был худощав и по-юношески прыщеват. Легко краснел. Голову носил высоко и как-то на отлете. Руки длинные торчали из заурядного пиджачка не первого года носки.

Он ходил, рассекая воздух.

Он не лез за словом в карман. У него была масса сведений. Он знал уйму дат и имен. Он знал всех политических деятелей мира. И мог назвать весь центральный комитет гондурасской компартии. Он знал наизусть массу стихов. Он понимал, что такое талант, и был выше зависти. Он умел отличать ум от глупости. Он умел разбираться в законах. Он умел различать добро и зло. Он был частью общества и государства. Он был блестящ. Он умел покорять и управлять. Он был человек невиданный.

Он действительно рассекал воздух.

Можно себе представить, с какой гордостью я шагал рядом с ним, обшагивая который раз клумбу в сквере бывшей Александровской площади, ныне площади Борьбы, радуясь невероятному открытию и ликуя, что наконец-то, наконец-то открылся тот, кто может превосходно мыслить и решать за меня, неведомо как одаренный ранней мудростью, давать оценку стихам и вести за руку куда угодно.

Слуцкий учинил мне допрос. Он всегда гордился умением учинять допросы. Через час он знал обо мне все.

Мы подружились быстро...

Приехал Кульчицкий. Слуцкий познакомил с ним нас, ифлийцев, — Павла Когана, Сергея Наровчатова и меня.

Кульчицкого он любил верно, нежно и восторженно. Ему отдавал пальму первенства. На него возлагал главные надежды. После гибели Кульчицкого постоянно тосковал о нем. Часто вспоминал. Испытывал чувство одиночества:

И я, как собака, вою  
над бедной твоей головою...

Слуцкий сыграл главную роль в организации нашей компании, уже не внутриинститутской, а как бы всемосковской, ставшей чем-то вроде маленькой партии, впрочем, вполне ортодоксальной. Само наличие такой компании, где происходили откровенные разговоры о литературе и политике, разговоры по гамбургскому счету, разговоры, которые мы называли «откровенным марксизмом», могло в ту пору окончиться плохо. Но среди нас не было предателя...

Слуцкий жаждал деятельности. Он был прирожденный лидер. Тогда и долго еще потом был честолюбив. Лидером по натуре был и Павел.

Кульчицкий жил Франсуа Вийоном между щедрыми стихами и нищенскими пирами. Наровчатов был упоен обретением знаний, своей красотой, силой и звучащими в нем стихами. Львовский и я на лидерство не претендовали.

Впрочем, нетерпимость Павла в нашей компании амортизировалась. А Слуцкому даже он отдавал предпочтение в организационных делах...

Чего мы хотели?

Хотели стать следующим поколением советской поэзии, очередным отрядом политической поэзии, призванным сменить не удавшееся, на наш взгляд, предыдущее поколение.

Трагические условия формирования этого поколения мы не понимали, не видели, что, отделенное от нас всего несколькими годами, оно еще не раскрылось. За Твардовским была одна «Муравия», за Смеляковым — «Любка Фейгельман». Симонов иногда нравился. Мартынов жил на отшибе, поэмы его иногда доходили до нас, но он не вписывался в поколение, не воспринимался нами в его контексте. Борис Корнилов и Павел Васильев были убиты. И они в поколение не вписывались. Тарковский, Петровых и Липкин не были известны. Оставались только те, кто «на плаву». Их-то мы и считали предыдущими.

Все они для нас были одним миром мазаны. Их мы собирались вытолкнуть из литературы. Мы мечтали о поэзии политической, злободневной, но не приспособленческой. Нам казалось, что государство ищет талантов, чтобы призвать, пожать руки и доверить. Мол, действуйте, пишите правду, громите врагов, защищайте нас. Те не годятся. Но теперь есть вы. Входите, ребята, располагайтесь в литературе.

Вот как мы представляли себе схему ближайшего будущего и тщательно готовили себя к высокой службе государственных поэтов. Разочароваться не успели. С этими идеями ушли на войну. В наибольшей готовности находился Слуцкий. И долго еще находился. Уже после войны сказал мне:

— Я хочу писать для умных секретарей обкомов. Идею слияния поэзии с властью не мы придумали. Она перешла к нам от старших. Такова была атмосфера, в которой мы росли, такова была традиция Маяковского, которому мы верили...

«Готовились в пророки товарищи мои», — позже скажет тот же Слуцкий. Время было такое: верили в молитву и в разговор с земными богами.

Отношения поэзии с властью в России порой бывали интимными. Так было при Екатерине, когда поэзия была делом придворным; и при Александре, когда она стала делом светским. Незадолго до нас литература была еще вхожа к власти. Совсем недавно Сталин и члены Политбюро бывали у Юрького и беседовали с основателем соцреализма и его соратниками о литературных делах...

Компания наша к осени собиралась регулярно. Читали стихи, часами спорили о литературе и политике.



Недавнее сближение с Германией рассматривали как тактическую необходимость. Войну с фашизмом считали близкой и неизбежной. Идея различия нравственных норм тактики и стратегии принималась всеми нами. В Слуцком она глубоко и надолго засела.

У меня он стал бывать часто. С порога заявлял:

— Есть пара любопытных фактов.

Излагал какую-нибудь политическую или литературную новость. Или про встречу с интересным человеком. Ценил знакомство с информированными людьми. Таких было несколько в Юридическом институте. Рассказывал интересно. Был весел, оживлен, энергичен. Острил.

Совсем не походил на сурового Слуцкого, образ которого сложился у тех, кто узнал его позднее.

Однажды пришел встревоженный.

— Белинков сказал, что я похож на раннего Сюпервеля.

Такого поэта он не знал, что было ударом по его эрудиции. Предприняли расследование. Выяснилось, что из Сюпервеля на русский язык переведены два стихотворения в антологии Бенедикта Лившица. Выяснилось также, что Белинков французского не знает. Слуцкий успокоился. На Сюпервеля он не был похож. К Белинкову с тех пор не относились всерьез.

Поделившись со мной «парой любопытных фактов», часто доставал с полки сборник стихов — «Тяжелую лиру» Ходасевича, «Версты» Цветаевой, Сельвинского или из классики — Пушкина, Баратынского, Некрасова. Выбирал стихотворение. Читал.

Стихи читал громко, отдельно, с характерным южнорусским «г». От него так и не отучился. Но с придыханием его чтение казалось еще убедительнее. Ему чужды были поэтические завывания и распевы. Читал убедительно, выделяя смысл, а не ритм, без захлеба, как бы несколько прозаизируя текст. Никто лучше него стихи Слуцкого прочитывать не может.

Чаще, чем свои стихи, читал вслух чужие.

Ставил книгу на место. Говорил:

— Вот, пицик, как надо писать. («Пицик» было харьковское слово, означавшее нечто вроде «несмышлениш».)

Спрашивал строго:

— Есть новые стихи?

Их чаще всего у меня не было. Предлагал:

— Послушай стишок.

Требовал оценки. Стихи обычно мне нравились. А если делал замечание, он либо соглашался, либо говорил:

— Есть и другие мнения.

Спрашивал:

— На кого тянет?

Нужно было назвать поэта, на которого тянет. Если затруднялся, спрашивал конкретно:

— На Тихонова? На Сельвинского?

Он любил сравнивать, создавать шкалу успехов, точно определять место: кто входит в первую десятку современных поэтов? А вообще русских поэтов? А мировых? Эту особенность Слуцкого друзья называли субординационным мышлением.

Его систематический ум требовал постоянной систематизации. Но он понимал, что истинные поэтические ценности не поддаются классификации. Сам же он утверждал идеал поэта «самостоятельного», то есть вне систематизации, и ценил именно «непохожесть».

Однажды по его инициативе, собравшись вместе, провели голосование на тему: десять самых любимых поэтов. На первых местах оказались Маяковский и Пастернак. На последних — Рембо и Шекспир. Предложил тайное голосование — кто из нас шестерых какое занимает место. Дружно отказались.

Уже после войны рассуждал, какое бы кто получил звание, если бы в Союзе писателей ввели военные звания. Мне сказал:

— Больше чем на майора, не потянешь.

Субординационная манера оценок породила ложное мнение о характере ума Слуцкого и его поэзии. Ум его считался рациональным, да и он сам и его стихи малоэмоциональными. Для человека, знавшего его так хорошо и так близко, как я, было очевидно, что это заблуждение. Слуцкий был чрезвычайно эмоционален, высоко одарен поэтически. Он просто до сих пор еще не прочитан, да и не полностью опубликован. Для знавших его лично его манера держаться и манера читать стихи порождали искаженное восприятие его личности и поэзии.

Слуцкий, как и многие поэты, создавал образ, нарочито лишенный всякой поэтической растрепанности. И немало потратил на это сил. В нем абсолютно не было актерства. Но всю жизнь он строил образ. И это давалось ему с трудом. Ему трудно было быть «в образе», но он никогда из него не выходил. Он стеснялся своей непосредственности и пытался рационализировать свой

ум. Это удавалось ему только внешне. На самом деле даже его система субординации была выражением конкретности поэтического мышления, той самой конкретности, которой он добивался в своих поэтических описаниях.

Несмотря на свой якобы систематический ум и рациональное строение, Слуцкий был типичным представителем довоенного вселенского утопизма. С верой в грядущую утопию связана одна особенность ума Слуцкого, ставившая в тупик близко его знавших.

Он точно умел определить, что происходит, но не умел или не хотел предвидеть, что произойдет из того, что происходит. В этом недостатке предвидения усматривалась некая немужьяльность, которую связывали с немужьяльностью поэзии Слуцкого.

На самом деле в этом проявлялись убежденность в осуществимости утопии и нежелание представлять себе будущее иначе.

Мне уже приходилось писать в связи с Велемиром Хлебниковым о том, что наличие социальной утопии — черта крупных писателей. Была эта утопия и в творчестве Маяковского.

Слуцкий — их верный ученик. А до времени — и продолжатель.

Он и стиху учился у левых поэтов 20-х годов. Будучи любителем систематизации, стих он искал без систем, вне традиционных ритмов, рифм и образов. Он хотел писать нетрадиционно. Он был сторонником стиха, который И. Шайтанов удачно назвал «одно-разовым», то есть неповторимым. Воспроизвести вторично его нельзя, ибо сразу обнаружится эпигонство. Мне казалось, что в ту пору Слуцкий не отпускал стиха на волю, а постоянно производил над ним формальное усилие.

Однажды спросил:

— Не надоело тебе ломать строку о колено?

Ответил:

— А тебе не надоело не спотыкаться на гладком месте?

Он ценил содержательность стиха. Но еще отдельно и «левизну», новаторство формы. Этому вкусу он остался верен навсегда. Хотя вкус этот порой подводил его: нравилось иногда и малоталантливое. Ошибался в перспективах начинающих поэтов. Попытки эпатажа и формальное самоутверждение принимал за талант.

Своего он все же добился: стих его ни на чей не похож.

Слуцкий не всегда писал хорошо. Но читать его всегда интересно. Есть поэты, которые всегда хорошо пишут, а читать их скучно.

Трудно излагать настроения того времени. У каждого из нас они приняли разную окраску. А у меня, например, было немало ифлийской путаницы в мозгах.

Яснее и проще всех мыслил Слуцкий, и потому приняты за основу были его формулы, приправленные устремлениями Павла, поэзией Кульчицкого, безоблачной верой Наровчатова и моим незрелым гегельянством.

Трудно писать про это, потому что тогдашнее наше мировоззрение оказалось во многом слабым, ложным и постепенно распалось.

Но твердо могу сказать, что оно было честным мировоззрением и отнюдь не исчерпывалось идеей служения искусства власти.

Наше как бы согласие с властью не было полной гармонией. Мы требовали признания прав литературы откровенно говорить с народом. У нас было представление о гражданском назначении поэзии.

И ощущение эпохи у нас было. Тут уж я могу сказать, что оно компенсировало неполноту или неточность помыслов. Оно не было заблуждением.

Умники того времени гордятся тем, что уже тогда все понимали. А они не понимали одного и самого главного: что назначение нашего поколения — воевать и умирать за нашу действительность, что иного исторического выбора у нас нет, что для многих это и будет главным назначением жизни. Потому голоса мудрых скептиков всегда звучали для меня, как карканье ворон над полем боя.

Мы тоже ощущали приближение войны и внутренне снаряжались для нее, потому и посейчас продолжается наш спор с всеведущими змиями довоенных времен, посейчас, когда как бы и нету предмета для спора и надо бы признать их правоту. Но дело в том, что важна не только истина, а и путь к ней. А пути у нас разные. В нашем довоенном мышлении и самоощущении если и было трагическое начало, то только объективно, как в каждом поколении, предназначенном для войны. На деле у нас не было чувства фатальной обреченности, мы были веселыми и здоровыми молодыми людьми. Но не пришлось еще прилагать наши схемы на практике.

И в первый же раз это оказалось сложным. В первый же раз в лоб предложенный историей вопрос поверг почти всех нас в смущение.

Это было в начале незначительной финской войны.

Почему на фронт пошел тогда без колебаний один Наровчатов? Кажется, Слуцкий был решительно лучше нас подготовлен к войне. А он, говорят, ушел из добровольческого батальона.

Почему не пошел Павел, человек, чья храбрость ярко проявилась в большой войне? Не пошел и Кульчицкий. Его военные письма тоже свидетельствуют о мужестве. О себе и Львовском не говорю. Я поздно созрел для войны. А он не созрел никогда.

Странным и сомнительным оказалось в ту пору поведение нашей поэтической компании. Героем был один Наровчатов. Значит, вера его была подлинная. И, может, раннее его восхождение и отсутствие сомнения и преобладание киплинггианского порыва привели потом к более быстрому слому и выхолащиванию веры? Может быть, все это свидетельствует об изъяне нравственного чувства у Наровчатова?

Наверное, никто из нас не думал тогда о нравственном значении той малой войны. Не думал и Наровчатов. Не думал, но и не почувствовал, ибо только подспудным нравственным чувством, неосознанным и свербящим, объясняется нерешительность всех остальных в начале финской.

В ту зиму финской войны Слуцкий появлялся редко. Жестоко тосковал Павел. Это казалось угрызениями совести. В том, как ринулись на войну с Германией Павел и Слуцкий, было и некое чувство искупления.

После финской мы продолжали встречаться. Слуцкий познакомил меня с Петром Гуреликом, лейтенантом, учившимся в военной академии, с той поры одним из ближайших моих друзей.

Были какие-то вечера, нас впервые напечатали в «Октябре». Но в компании наступил разброд. Какие-то личные сломы и кактаклизмы. Со Слуцким было легче, чем с другими. Свои личные чувства он не любил выставлять напоказ. Только мучительно краснел от любви.

Я продолжал питаться его соображениями и формулами, как личинка муравьиным медом. Он меня выкармливал, а я ему подражал. И это надолго.

Я усвоил его отрывистую речь и так усовершенствовался, что многие думали, что я всегда так разговаривал. Изучил я и Борисову манеру острить. Некоторые остроты в духе Слуцкого мы и сейчас оспариваем друг у друга. В частности, остроту о Жуковке, приведенную в книге С. А. [Светланы Аллилуевой. — П. Г.]. В любом случае, половина авторства — его. Это работа из мастерской Слуцкого...

...Началась война. Помню фразу Слуцкого: «Если кто-нибудь из нас погибнет, какую икону сотворят из него остальные». В этих

словах — тяга познать будущее и обычное неумение предвидеть. Иконы из погибших создавали не друзья, не мы дорисовывали недорисованный портрет. Первый день войны я описал. Слуцкий вскоре ушел на фронт. Посылал короткие директивные открытки. Вскоре был ранен и сообщал не без шику: «Вывало из плеча на две котлеты».

Мы встретились в октябре 41-го, Слуцкий — лихой уже вояка, прошедший трудные бои и госпиталя, снисходительный к моей штатской растерянности.

— Таким, как ты, на войне делать нечего, — решительно заявил он. Он, как и другие мои друзья, соглашались воевать за меня. Мне как бы предназначалась роль историографа.

Слуцкий побыл у меня недолго. Эти дни перед 16 октября он был деятелен, увлечен, полон какого-то азарта. Тут была его стихия. На улицах растерявшейся Москвы энергичные люди спасали архивы, организовывали эвакуацию. Слуцкий потом рассказывал, как участвовал в спасении архива журнала «Интернациональная литература». Пришел проститься.

— Ну, прощай, брат, — сказал он, похлопав меня по плечу. — Уезжай из Москвы поскорей.

Я малодушно всхлипнул. Слуцкий, слегка отворотясь лицом, вновь похлопал меня, быстро вышел в переднюю и побежал вниз по лестнице.

Всю войну мы изредка перебрасывались письмами. Вскоре после моей демобилизации мы увиделись — Слуцкий был в коротком отпуску, — но как-то несосредоточенно, и от встречи мало что у меня осталось. Он воротился в Москву в сентябре 1946 года блестящим майором. Похорошевший, возмужавший, с пшеничными усами, грудь в орденах, он в тот же день явился ко мне. Я был уже женат, и жили мы на улице Мархлевского, в центре города.

Слуцкий был великолепен. Мы двое суток не могли наговориться.

Он тогда замечательно рассказывал о войне, и часть его рассказов, остроумных, забавных, сюжетных, он записал и давал читать друзьям машинописные брошюры: «Женщины Европы», «Попы», «Евреи» и т. д.

Памятуя о военных записках, сказал ему:

— Будешь писать воспоминания? У тебя получается.

— Не буду. Хочу написать историю нескольких своих стихов. Все, что надо, решил вложить в стихи.

Разговаривали мы всласть и в эти двое суток, и после много лет подряд...

На другой день после приезда Слуцкого пришел Наровчатов. Надо было обсудить серьезные проблемы. Время не давало отдыха. Победа, как оказалось, была не только победой народа над врагом, победой советской власти над фашизмом, но и победой чего-то еще над довоенным советским идеализмом. Это чувствовалось в общественной атмосфере, в печати, в озадачивающих постановлениях ЦК.

Наша тройственная беседа происходила в духе откровенного марксизма. Мы пытались рассуждать как государственные люди. И понять суть происходящего.

Концепция Сергея была такова: постановление о ленинградцах — часть обширного идеологического поворота, который является следствием уже совершившегося послевоенного поворота в политике. Соглашение с Западом окончилось. Европа стала провинцией. Складывается коалиция для будущей войны, где нам будут противостоять англичане и американцы. Отсюда резкое размежевание идеологий. Возможно восстановление коминтерновских лозунгов.

Литература отстала от политики. Постановление спасает ее от мешанской узости и провинциального прозябания...

Как видим, откровенный марксизм по-своему довольно толково оценивал ситуацию.

Нам не было особенно жаль ленинградцев, ибо мы считали их прошедшим днем литературы, а себя — сегодняшним и завтрашним. Мы не хотели сильно обижать Ахматову, Зощенку или Пастернака, но считали, что обижают их из тактических соображений. И гордились тем, что умеем четко отличать стратегию от тактики.

Тактикой, как видно, мы считали начало великодержавной и шовинистической политики. Ждали восстановления коминтерновских лозунгов.

Беда откровенного марксизма состояла в том, что он был явлением односторонним. Власть не признавала ни откровенности, ни марксизма. Тактика оказалась стратегией. И те, поруганные и ошельмованные, были за то и поруганы, что поняли раньше нас смысл стратегии. Опыт и талант придали им силы устоять, противостоять, остаться самими собой и подготовиться к следующей эпохе лучше, чем мы, потратившие столько сил в поисках откоро-

венности и доброго смысла там, где была сплошная ложь и злонамеренность.

Ближайшие два года показали подлинный смысл государственной стратегии. Держава окончательно отливала в азиатско-византийские формы. Требовались новые идеологии. Пресловутая борьба с космополитизмом была тридцать седьмым годом для ортодоксально марксистских идеологов довоенного типа. Из них уцелели только самые прожженные. Обнаружилось, что во время войны руками и кровью народа одержало победу бюрократическое государство, что незаметно новая государственная идеология подменила довоенную, что некий новый слой, выдвинутый к власти, воевавший за нее ради себя, нуждался в новой своей идеологии, которую для удобства именовал тоже марксизмом, марксизмом творческим.

Прежние идеологи действительно устарели, потеряли почву. Они стояли на почве «последнего», последний оказался предпоследним. Напрасно они доказывали ссылками и цитатами свою никому не нужную верность теории. Их изничтожали жестоко и грубо. И это даже нас коробило. Но Слуцкий все же со свойственной ему ясностью ума выстраивал новую концепцию.

С Петра I до наших дней происходит бурное развитие государственности и культуры России. Растет ее значение в исторической жизни человечества. Причины этого ее бурного развития лежат где-то в истоках русской истории, русского народного характера и государственности. В XIX веке Россия сравнялась с Европой. Белинскому, Герцену и Чернышевскому для осознания этого факта достаточно было проследить отечественную историю до Петра. Для них русская история начинается с Петра I.

Октябрь, революционное переустройство России и победа в последней войне как результат этих событий сделали Россию главной движущей силой истории и прогресса. Для объяснения факта выхода России в главные двигатели современной цивилизации требуются исследования более отдаленных истоков. Важное значение приобретает то, что игнорировалось прежде в истории духовной, общественной и государственной жизни России. Проследить это нужно до самых отдаленных времен.

С этой точки зрения живопись Рублева может быть важнее живописи Джотто. Преобразования Ивана Грозного значительнее кромвелевской революции. «Слово о полку Игореве» серьезнее песни о Роланде и нибелунгах. Нужно пересмотреть всю



историю человечества с древнейших времен с позиций русской революции. Схема такова: Восток — античность — Византия — русское средневековье — Россия XVIII—XIX веков — русская революция.

Эта концепция была последним усилием откровенного марксизма. Он не выдержал ударов реальности, мерзких статей в газетах, распоясавшегося хамства и всего, чем богата была эпоха послевоенного переустройства жизни.

В середине 48-го года Наровчатов принес верстку своей первой книги «Костер», там были строки: «Быть на Одре славянским заставам, // Воевать им славу мечом».

Остатки довоенной поэтической компании окончательно распались. Только мы со Слуцким еще несколько лет держались вместе.

Слуцкий, вернувшись с войны, привез мало стихов. Но вскоре расписался и именно в ту пору создал лучшие, на мой взгляд, стихи. Они были в духе откровенного марксизма, но это не делало их печатными. Слуцкий ждал своего часа, но кривить душой не умел. В тех стихах перевешивала откровенность. Они были посвящены в основном войне, судьбе поколения. В них были острые сюжеты, ясные чувства, трагические ситуации, хлесткие формулы.

Война была временем сближения интеллигенции с народом, временем гармонического единства. Это чувство единения было одним из самых счастливых, было изживанием интеллигентских комплексов и ощущением собственной полноценности. Это чувство очень сильно в творчестве и сознании Слуцкого.

Глобалистские замыслы, идущие от идеологии 20-х годов, которые проявились в творчестве Когана и Кульчицкого, в общем были лишь идеальной абстракцией и так понимались самими молодыми поэтами. Во главе угла стоял реальный патриотизм, воспитанный в нас государством и временем. Он преобладал в нас и был реальным побудителем поступков. В Слуцком глобалистские идеи никогда не были сильны. Он был политическим реалистом и патриотом.

Я усердно пытался ему подражать, но во мне не было той органики и убежденности, марксизм мешал откровенности.

Мой поэтический дебют был во всех отношениях неудачен, от него стихов не осталось.

Слуцкий не был в восторге от своего верного последователя. Он всегда умно и откровенно высказывался о моих стихах. Отме-

чал хорошие строки, некоторую раскованность (теперь она мне кажется раздрызганностью), некий свой облик, но и замах на печатность, утрату независимости, которая была в довоенных «Мамонте» и «Софье Палеолог». Все это верно.

Некоторые из друзей объясняют неудачу моих громоздких и неоконченных поэм послевоенного времени пагубным влиянием Слуцкого, его диктатом и давлением. Действительное отношение Слуцкого к моим стихам опровергает этот взгляд.

Натужность, внутренняя неоткровенность моих стихов, их романтическое велеречие проистекали из страха, настолько вошедшего в плоть тогдашнего времени, что он становился формирующим началом духа, движущей силой фарисейства, обоснованием приятия действительности. Это был высший страх, почти Страх Божий. Он был настолько высший страх, что существовал отдельно от низшего — от страха расправы, который нарастал с каждым годом и сопровождал повсюду в часы бодрствования.

Страшные были годы, ни с чем не сравнимые.

Два молодых поэта, Слуцкий и я, оба — поэты, принимающие действительность, — мы каждый день могли ожидать ареста, а дальше — известно что — методы, «бессрочные» лагеря, гибель. За что, собственно? Только за то, что не умели мы приспособиться к действительности, печатать стихи, где-то числиться и служить. За то, что собирались кучками больше трех, разговаривали, общались, встречались.

Каково было Слуцкому, майору запаса, пенсионеру по военной инвалидности, кавалеру болгарского креста «За храбрость», члену партии и прочее, расставаться с мечтой о победном въезде в литературу и отматывать от ласковых стукачей, пытавшихся поймать его на слове? Каково было ему ночью прислушиваться к выстрелам входной двери в парадном и к чужим шагам по лестнице? Он, впрочем, был дисциплинирован, отучал и меня от болтовни, мало с кем разговаривал откровенно.

Я был ежедневным его собеседником.

Наши ровесники хорошо помнят спертую, накаленную атмосферу тех лет, нашу постоянную взвинченность.

Но вспоминается и другое. Был не только ужас, но и веселье. Ужас не разогнал нас по норам, а сблизил.

Слуцкий бывал во множестве компаний, его стихи нравились. А объяснения успокаивали. Он умел находить лазейки для надежды и видеть во всем некую целесообразность.

Подрабатывали мы более или менее регулярно на радио. Слуцкий создавал политические композиции типа «Народы мира славят вождя». Это ему не в упрек, я, например, начинал переводческую карьеру албанской поэмой «Сталин с нами» Алекса Чачи.

На радио Слуцкий познакомился с Ю. Тимофеевым, заведовавшим тогда детским отделом, и стал бывать в его доме на Сытинском, где толклось всегда множество народу и куда можно было забрести в любой час до глубокой ночи. Как-то притащил с собой и меня. Тимофеев умел нравиться. Понравились и его гости: молодые литераторы, актеры, актрисы.

О тимофеевской компании скажу здесь только несколько слов. Кстати, впервые будущую жену Слуцкого я увидел у Тоома, куда Тимофеев привел ее в качестве своей невесты.

После женитьбы отношения Слуцкого с Тимофеевым прекратились. (Одна из причин.)

Слуцкий заставил меня читать стихи. Указывал, что надо читать. Первое выступление мое в этой компании прошло бледно. Я не знаю подлинной дружбы без спора, без «тягания». Почти до конца 40-х годов (до начала 50-х) я находился под сильным творческим влиянием Слуцкого. Стихи, которые ему не нравились, я считал неудачными. Но и те, которые нравились, внутренне меня не устраивали. Большую их часть я потом отбросил. Одним из толчков послужило неудачное чтение в тимофеевской компании, куда меня привел Слуцкий и где я читал стихи по его выбору. После «Чайной» я стал писать, как сам умел. Только постепенно мою новую линию признал Слуцкий. Однако с Тимофеевым мы вскоре подружились. Я начал часто бывать у него.

В тимофеевском кружке Слуцкий был пророком, первым по-этом, непререкаемым авторитетом.

Жизнь его тогда была кочевая. Любитель статистики, он уверял, что переменял 22 квартиры. Переезды бывали не сложны, и я в них всегда участвовал. Собирались в чемодан вещи, связывались в пачки книги. И на такси происходила передислокация.

Все свободные средства Борис тратил на книги. Он умел отыскивать у букинистов редкие книги по искусству 20-х годов, редкие поэтические сборники, вроде довоенного Хлебникова, имажинистов, Тихона Чурилина; покупал множество книг по новой и новейшей истории. Справедливо полагая, что нельзя объять необъятное, мы в шутку разделили области знания между собой. Борис взял новую историю и изобразительное искусство. Я — средневе-

ковье и музыку. Мы вполне доверяли друг другу составлять общие мнения по своим отраслям знаний.

Над своей немзыкальностью Борис посмеивался. Рассказывал, что в детстве насильно был отдан в музыкальную школу имени Бетховена, где был последним учеником, пока не уговорил поступить туда же своего кузена.

...Страшное восьмилетие было долгим. Вдвое дольше войны. Долгим, ибо в страхе отшелушивались от души фикции, ложная вера; медленно шло прозрение. Да и трудно было догадаться, что ты прозреваешь, ибо прозревшие глаза видели ту же тьму, что и незрячие.

Мы со Слуцким сблизились и сдружились совершенно. Навсегда стали друзьями он и Ляля, моя жена. Кажется, многое в нем ей было понятней, чем во мне. Поссорились тогда лишь однажды, по пустяку. Я осмелился где-то назвать имя его любимой женщины, по правде и не подозревая о его чувствах. Недоразумение скоро разъяснилось.

Слуцкий нравился женскому полу. Его неженатое положение внушало надежды. Опять-таки в шутку мы составили список 24-х его официальных невест. При всей внешней лихости, с женщинами он был робок и греховодником так и не стал. Несмотря на все свои преимущества и на огромное количество послевоенных непристроенных девиц. Непосыгательство Слуцкого вызывало толки, нелестные для его мужества, исходившие, главным образом, от разочарованных невест. Объясняется оно, на мой взгляд, чрезвычайной щепетильностью Слуцкого и старомодным уже понятием о нравственности, а отчасти тщеславной заботой о репутации лихого во всех делах майора, которая, вероятно, была бы поколеблена, если бы перед какой-либо особой женского пола вдруг открылась его юношеская робость, чистота и отсутствие мужского опыта. В каком-то смысле те годы были временем высших внутренних достижений Слуцкого. Отсутствие выходов вовне умеряло утилитарность его поэтических принципов. Поэт государственный по заданию, но не признанный государством, готовый служить, но не ставший прислуживать, он формировался по-этом гражданским в самом лучшем варианте этого понятия. Отсутствие форума придавало оттенок горечи тщеславию. Честолюбие было бескорыстным. Душа была свободна для доброты и участия, глубоко ему присущих и тогда ничем не подавляемых. Сама ортодоксальность была бескорыстным подвигом

веры, спасавшим от озлобления, была явлением веры и надежды, которые источались на всех, кто его окружал. Мысль порой побеждала надежду и веру, уставая выстраивать домыслы, и приобретала грусть, которая переводит рассудок в план поэзии. Он писал: «Всем лозунгам я верил до конца // И молчаливо следовал за ними. // Как шли в огонь во Сына, во Отца, // Во голубя Святого Духа имя».

В 1951 году я спросил его:

— Ты любишь Сталина?

Помолчав, ответил:

— В общем, да. А ты?

— В общем, нет.

В общем. В частности мы были согласны. Целесообразность послевоенных мероприятий Сталина была нам непонятна. В 37-м году мы предполагали наличие непостижимой нам политической цели. Теперь, как ни крутили, — не выходило. Думаю, что сейчас, разбираясь в этом, мало учитывают один простой фактор: тяжелую старческую болезнь Сталина, усугубившую его природную подозрительность и жестокость.

Он сумел заразить всю страну. Мы жили манией преследования и манией величия.

Когда умер Сталин, Слуцкий находился в возбуждении.

Своих коротких определений не выдавал. Зашел и убежал смотреть вождя в Колонном зале. Чуть его не раздавили на Трубной. Он должен был быть там, где творилась история, — при закрытии занавеса.

Вечером пришел усталый, угрюмый.

— Хуже не будет, — сказал я.

Согласился:

— Не будет.

Через немногие годы он стал автором известных по всему свету стихов «Бог» и «Хозяин». Где-то Евтушенко писал, что «Бог» и «Хозяин» были написаны при жизни Сталина. Написаны после смерти, но вскоре, еще до XX съезда. Там все глаголы в прошедшем времени. Про одно произведение кто-то сказал: «Там все глаголы врут». У Слуцкого все глаголы говорят правду.

Любовь к Сталину рухнула и в Слуцком. Но и от себя не освободился.

Он сказал мне по поводу каких-то моих стихов:

— Это стихи ученика, сбежавшего с уроков. Урок — наша литература.

Живя рядом, мы обучались каждый своим наукам. Я — сбегать с уроков. А Борис — сидеть в классе даже во время большой перемены. В этом — наше различие.

С первой большой переменной настал час Слуцкого, которого он так долго ждал. Он снова стал рассекать воздух.

Воздух был ему благоприятен. В нем носилось ожидание. В том числе и ожидание Слуцкого.

Проницательный Эренбург, приуговорясь к новой службе, обозначил обнадеживающее веяние словом «оттепель». Оно было точным, потому и не понравилось наверху.

У нас эпитеты идут по курсу керенок — меньше, чем за «расцвет» или за «буйное цветение», ничего не купишь.

Эренбург не осторожничал, он свободно выразил упование. За оттепелью предполагалась весна.

Один из первых споров был у нас по поводу этой книги. Мне она не понравилась. Эренбург — старый метрдотель в правительственном ресторане — был в восторге, что с ним стали здороваться за ручку. Лакейские упования многим казались тогда пророчеством. Слуцкого тянуло к Эренбургу. Эренбург нашел Слуцкого. И назвал его. Оттепели полагалась поэтическая капель. Эренбургу казалось, что он нашел подходящего поэта.

Нравственные принципы, изложенные в поэзии Слуцкого, были ясны, просты и реалистичны. Он не призывал к немедленному, решительному пересмотру основ. И давал время на отдых. Эстетика Слуцкого как бы специально предназначена для решения подобной задачи. Он принципиальный последователь поэзии 20-х годов, ее левовского, отчасти — конструктивистского направления. Басам той политической поэзии он хотел придать более мягкий баритональный оттенок.

Слуцкий никогда не менял веры, не менял идеала, не изменял ему. Политическую реальность он до какого-то времени считал очередным этапом на пути к осуществлению идеала. Он остро интересовался политикой именно поэтому и всегда искал в политической ситуации признаки продвижения к идеалу. С этой точки зрения он долго был оптимистом и ортодоксом. С этой точки зрения рассматривал и роль Сталина.

Он впоследствии разочаровался в политике и в реальности, убедившись, что они не приближаются, а удаляются от его идеи. Теперь уже его интересовала степень отдаления политики от идеала. Он записывал в стихах свои горькие наблюдения.

Он всегда старался определить свое место в поэзии, в обществе, в мире. Испробовал разные шкалы измерения: по официальному признаку, по славе. Во всем этом разочаровался. Стал судить себя по шкале истории. Трудно было с точками отсчета.

В стихах, как и в принципах его, всегда ощущается некое усилие. Иногда — и насилие над собой. Но усилию внутри стиха и внутри природы противостоят поэзия и правда. Слуцкий не жлет, а верит и объясняет веру себе и другим. Но талант его выше веры, сильнее формул и насильственных метафор. Это проявляется очень рано и даже в самых декларативных стихах.

Расту из хребта,  
как вершина хребта.  
И выше вершин  
над землей вырастаю.  
И ниже меня остается крутая,  
не взятая мною в бою  
высота.

Эта «не взятая в бою высота» оказывается в конечном счете выше метафорических вершин. Правда невзятой высоты всегда тайно присутствует в поэзии Слуцкого. Потому так точны и жгучи некоторые его формулы, формулы, где сентиментальность спрессована и отжата. Все многосопливые дольнички какой-нибудь Ю. Друниной не стоят двух строк Слуцкого о женской судьбе на войне:

Слишком тяжело даются вам войны.  
Лучше б дома сидели.

Как щемяще верны эти строки — из лучших строк о войне! Спрессованная сентиментальность вообще часто присутствует в стихах Слуцкого, та же самая, что и в день нашего расставания, когда он, похлопав меня по плечу, побежал вниз по лестнице. И эта сентиментальность, не показная, не распущенная, не любующаяся собой, украшает поэзию, приближает декларации к сердцу.

Не любовь, не гнев — главное поэтическое чувство Слуцкого. Он жалеет детей, лошадей, девушек, вдов, солдат, писарей, даже немца, пленного врага, ему жалко, хотя и принуждает себя не жалеть:

Мне что!  
Детей у немцев я крестил?

От их потерь ни холодно, ни жарко!  
Мне всех — не жалко!  
Одного мне жалко,  
Того,  
что на гармошке  
вальс крутил.

Жалко. «А все-таки мне жаль их». «Здесь рядом дети спят...» «А вдова Ковалева все помнит о нем». Пляшут вдовы: «их пары птицами взвиваются, сияют утреннею зорькою, и только сердце разрывается от этого веселья горького». Стихи, глубоко присущие Слуцкому. Талант, в сущности, состоит в свойстве выразить в искусстве свой характер. Зазор между характером и творчеством тем меньше, чем больше таланта. У Слуцкого этого зазора нет; его поэтика — это он сам.

В. Соколов говорит, что стихи Слуцкого — баллады, сперва романтические, потом без романтизма. Слуцкий любил сюжет. Но его стихи — не баллады, а отрывки из дневника. Он исповедуется и размышляет. В его стихах есть непосредственность юношеского дневника. Он исследует себя. В этом смысле надо понимать слова Слуцкого о том, что он не профессиональный поэт.

Профессиональным поэтом он считал Евтушенко. Тот мог загореться от внешней темы.

Жалостливость почти бабья сочетается с внешней угловатостью и резкостью строки. Сломы. Сломы внутренние и стиховые. Боязнь обнажить ранимое нутро. Волевое усилие формы для прикрытия содержания. Гипс на ране — вот поэтика Слуцкого. Перевес формы, и не только по вкусу, но и по натуре. Попытка прояснить содержание времени, текучего, непрояснившегося, непроявившегося четкостью гипсовой отливки...

Весь материал поэзии Слуцкого был шит по времени, по его росту и размеру. Слуцкий возликовал. Для того чтобы широко осуществиться, ему нужно было сделать одно усилие — порвать со средой, которая по интеллигентскому занудству и вьедливости не умела быть счастливой и тут же начала ставить неудобный вопрос о личной ответственности; да и в надеждах была поумеренней.

Всякая среда консервативна, ибо должна сохранять себя как нечто сложившееся и усредненное целое. Среда неохотно отпускает своих завсегдатаев, а особенно кумиров. Она с трудом отпускает от себя человека. Любое новаторское действие требует



разрыва, ухода из среды, освобождения от ее нравственных, политических или эстетических запретов. Я не знаю ни одной истории таланта, где бы не было выхода за рамки среды.

Среда мешала Слуцкому осуществиться. Друзья всегда восхищались им. Правда, как бы часто он ни создавал для других рабочие гипотезы и мнения, идеальным выразителем идей своей послевоенной среды Слуцкий быть не мог. Да и не хотел. Ему нужна была иная аудитория...

Он вновь стал деятелен и энергичен. Ввиду больших забот у меня стал бывать редко. Обнаруживал некую снисходительность. Подарил мне фотографию с надписью: «Побежденному ученику от победившего учителя»...

Для удобства Слуцкий тогда себе составил иерархический список наличной поэзии. Справедливости ради следует сказать, что себе он отводил второе место. Мартынов — № 1; Слуцкий — № 2. В списочном составе литературного ренессанса не было места для Пастернака и Ахматовой. Слуцкий тогда всерьез мне говорил, что Мартынов — явление поважнее и поэт поталантливее.

Субординация подвела. История с «Доктором Живаго» и с Нобелевской премией потребовала от Слуцкого и от Мартынова ясного решения — встать ли на защиту Пастернака и тем раздражить власти и повредить ренессансу, либо защищать ренессанс.

После некоторого колебания Слуцкий и Мартынов публично осудили Пастернака. Мягче других, уклончивей, как тогда казалось, но осудили.

Свой ренессанс оказался ближе к телу. Но тогда логика этого поступка казалась убедительней, чем сейчас.

Исай Кузнецов рассказывал, что в день собрания по поводу Пастернака Евтушенко разыскивал Слуцкого, чтобы удержать его от выступления. Я о предстоящем выступлении не знал. Он со мной не советовался.

После отвратительного собрания, где все это происходило, Слуцкий, взволнованный, пришел ко мне. Принес свою речь, напечатанную на машинке. Я прочитал. И, каюсь, не ужаснулся. Так еще действовала на меня логика Слуцкого, его как бы историческая, тактическая правота.

Слуцкий сам ужаснулся, но позже, когда окончательно обрисовались границы хилого ренессанса. Он раскаялся в своем поступке. И внутренне давно за него расплатился.

Поминают Слуцкому его выступление люди вроде Евтушенко или Межирова, которые никогда не были выше него нравственно, разве что оглядчивей. Почему по поводу исключения Пастернака чаще всего поминают Слуцкого, совсем не помяная Мартынова и вскользь Смирнова?

Со Слуцкого спрос больший.

Евг. Бор. Пастернак сказал, что Борис Леонидович Слуцкого простил бы. Слуцкий не пошел к Пастернаку каяться. Сам себя судил.

Случай этот многому научил Слуцкого, в частности развенчал в его глазах давнюю и любимую мысль о стратегии и тактике. Нет никакой тактики в нравственных вопросах. Малым грехом великой справедливости не купишь.

Тактика отпущения грехов поколению закончилась тактикой продажи Пастернака. С этого момента пошел на убыль авторитет лидеров нью-ренессанса. На первый план литературного процесса выдвинулись другие фигуры.

Чтобы показать, каковы были наши с ним тогдашние споры, приведу письмо, написанное мной и адресованное ему, видимо, летом 1956 года. Разговаривать мы уже не могли. Слуцкий прочитал письмо, приехав ко мне на дачу в Мамонтовку. Сказал коротко:

— Ты для меня не идеолог....

«...Прежде всего о тактике. Если тактикой называть стремление печататься, намерение издать книгу, звучать по радио или выглядывать из телевизора, стать в ряду «наших талантливых» или «наших уважаемых» — что ж, это естественное для поэта намерение, но никакой тактики во всем этом нет, как нет ее и в моей пассивности. Это естественное проявление поэта, который считает, что он готов к встрече с читателем. И это естественное проявление свойственно и Суркову, и Захарченко, и Долматовскому, можно сказать, что в этом у всех поэтов одна тактика.

«Смешное» в тебе именно и идет от попытки убедить себя и окружающих в том, что ты занят особой тактикой, то есть неким важным, существенным для общества делом, организацией литературной жизни. Однако куда еще масштабы этого дела более чем скромные. Шуму подымать не стоит.

Твоя тактика исходит из тезиса о том, что за последние два-три года в литературе произошли серьезные, коренные, существенные изменения, позволяющие говорить даже о некоем

ренессансе, новом периоде нашей литературы, новой ее общественной функции.

Ты вписываешь в актив книгу стихов Мартынова, несколько стихов Заболоцкого, поэму Смелякова, кое-что из Твардовского, конечно, стихи Слуцкого и особенно — готовящийся сборник московских поэтов.

Даже Володя Огнев постесняется называть это ренессансом. Пока это еще слабые проблески поэзии, довольно мирной, довольно законопослушной, просто более талантливой, чем поэзия предыдущего периода. И оттого, может быть, более опасной. По сути же, она еще поэзия предыдущего периода, периода духовного плена, ибо самое существенное, что в ней есть, — это робкая попытка сказать правду о том, что уже миновало. Причем эта правда по своей остроте далеко отстоит от той доли правды, которая была высказана «сверху» о нашей политической и общественной жизни предыдущего периода.

Большого в литературе не произошло. По-прежнему она плетется в хвосте событий.

То, что Ян Котт называет «мифологией», не рухнуло, не отошло в область предания, наоборот, мифология окрепла, поумнела, перекрасилась.

И объективно твоя тактика — это камуфлирование нового мифа, поддержка мифологии, подкрашивание ее под правду и телячий восторг по этому поводу.

Да, определенная доля правды сказана о нашей жизни, о нашей морали, о нашей экономике, о нашем правосудии. Сказана отнюдь не поэзией. Где в твоём «ренессансе» попытка разбить старые догмы, хотя бы литературные?

Правда о нашем обществе сказана по необходимости. В период «культы» жизнью страны управлял чиновник, обезличенный культом, исполнитель, отвыкший думать и решать что-либо. «Культ» снимал с него всякую моральную ответственность. И это его устраивало. Он работал на «культ», «культ» работал на него, предоставив ему целый ряд общественных и экономических привилегий. Этими привилегиями пользовался и литературный чиновник. И он работал на «культ», пользуясь привилегиями чиновника и сняв с себя моральную ответственность за свое творчество.

Осиротевший чиновник начал бороться с культом. Начал бороться не потому, что ему нравится литературная тактика Слуц-

кого. Борясь с культом, он борется за себя в новых условиях. И тоже называет это тактикой и даже стратегией.

А дело в том, что уже не культ, а именно он, чиновник, реально управляет государством, что государство досталось в наследство ему, и он как подлинный хозяин должен сделать опись всему, что досталось ему от культа. Когда ждешь наследства, можно преувеличивать его ценность. Когда оно тебе достается, ты узнаешь его реальную стоимость. Чиновник произвел инвентаризацию. Хозяин узнал правду о своем хозяйстве. Узнал, что оно не в блестящем состоянии. Узнал ту правду, которую способен постичь и которая необходима для дальнейшего хозяйствования. Раздавать свое имущество бедным, в том числе и бедным поэтам, он не собирается. Он считает, что реальное положение дел ему известно, и не намерен вести хозяйство каким-нибудь принципиально новым способом. Он полагает, что полезно ругнуть старого хозяина, чтобы подчеркнуть достоинства нового.

Он ведь более не живет за спиной культа, ему нужен здравый смысл, практическая сметка, некое пробуждение разума.

Он критикует не только культ. Он готов критиковать и своего тупого, не применившегося к новым обстоятельствам собрата. Он вырабатывает свой идеал умного, толкового, правдивого чиновника, верного долгу, закону и так далее.

В нем самом происходят изменения, как в приказчике, ставшем компаньоном хозяина. Вот это произошло. Это действительно произошло.

Произошло и другое. Он перехитрил литературу, дозволив небольшую правду себе (по необходимости), он дозволил кое-что и поэзии. Старой мифологии не хватало «чувства», «сентиментальности», «человечности», «уютя». А чиновник — тот же мещанин. Поэтому, восторженно преклоняясь перед аляповатым величием, он в основе своей любит нечто более домашнее, сентиментальное, красивенькое.

Новый чиновник хочет, чтобы литератор стал новым, он готов дать литератору кое-какие права, соответственно своим новым потребностям.

Поэт имеет право на творческое своеобразие в той же мере, в какой, после отмены ведомственного мундира, чиновник имеет право на костюм любого покроя (не слишком экстравагантный, впрочем). Поэт имеет право на человеческие чувства, поскольку новому сентиментальному чиновнику вменяется в обязанность

их иметь. Поэт имеет право размахивать кулаками после драки, поскольку драка закончилась в пользу нового чиновника.

Вот покуда и все. Таковы объективные условия «ренессанса». Сводятся они к тому, что несколько расширились рамки печатности. Ряд новых или старых поэтов получили право жительствова. Но право жительствова не отменяет черты оседлости. Право жительствова еще не демократия. Право жительствова каждого поэта в литературе есть его нормальное естественное право.

В литературе создана обстановка, благоприятная для создания нового камуфлированного сентиментального мифа.

Может быть, поэзия воспользовалась этой обстановкой для чего-то большего?

Пока незаметно. Поэзия показала, что она эти годы все же существовала, текла где-то подземным ручейком, не исчезла вовсе. Но она еще поэзия «старая». Старые стихи публикуют и Заболоцкий, и Пастернак, и Мартынов, старые стихи шести- или десятилетней давности печатают многие из молодых. А новое, что написано уже сейчас, в пору ренессанса, для приспособления к нему, оказывается хуже, мельче, пассивнее старых стихов. Так и у тебя.

Всего этого для ренессанса маловато.

Идеи, которые можно извлечь из поэзии последнего времени, немногочисленны и неопределенны.

Во-первых, — это признание правильности происходящего. Некоторое недовольство темпами, как сам ты говоришь. Хотелось бы скорей, но можно и так. Разногласия с умным чиновником касаются частного вопроса о скорости, а не главного — о направлении.

Вот тут-то и спотыкается «новый ренессанс», тут он не идет дальше «умного чиновника». Он, по существу, крепко держится за этого чиновника, ибо так же боится демократизации, свободы мнений, свободы печати. Он опасается, что реакционные тенденции в обществе сильнее демократических. Он за постепенное административное изменение основ. Он за административный ренессанс.

Во-вторых, — «новый ренессанс» хочет правды о человеке. Правды, не пугающей администратора, правды в административных рамках. А эта правда и есть сентиментальный миф.

Сентиментальный миф — это новый Симонов. Это миф о добрых намерениях умного чиновника. Мечта об административном рае.

Кстати, это твоя давняя мечта — писать для умных секретарей обкомов. Это — одна из твоих военных тем: умный политработник, нач. отдела кадров. Отчасти это тема твоих военных запи-

сок — толковый образованный офицер, организующий правительства и партии в освобожденных странах.

Не продолжай этой темы — она опорочила себя.

О «новом ренессансе» говорить можно очень много. Думаю, что и сказанного достаточно, чтоб понять, что речь идет не о новых явлениях, а о новых именах и отдельных публикациях.

Стоит подумать о «честном Растиньяке».

Честного и бесчестного Растиньяка объединяет одно — инстинктивный восторг перед официальной иерархией и стремление занять в ней место. «Честным Растиньяком» был Симонов. «Честным Растиньяком» пытался быть покойный Гудзенко, с его «критерием печатного станка». И Сашка Межиров с его «хочу писать про то же, но лучше». Из всего этого не получится ни ренессанс, ни «поэзия поколения».

Та же опасность грозит и тебе. Это видно вовсе не из твоей тактики, которая вовсе не тактика, а желание печатать стихи. Это видно из стратегии, из того, что ты пишешь, говоришь и думаешь последнее время.

А это — разговор особый».

Этим письмом завершились наши серьезные разговоры со Слуцким... Мы друг другу не нравились, но крепко любили друг друга. Наблюдая друг друга, думали про себя: это мне не подходит, это подходит.

Тот же Кузнецов вспоминает, что на дне рождения у Вероники Тушновой своя компания поддевала Слуцкого, особенно отличался я, называя его на «вы» и «Борисы Абрамовичи».

Не к этому ли относится фраза Слуцкого:

— Никто не доводил меня до такой ярости, как ты.

Таня усвоила со мной обычную для нашего общения с Борисом иронию. Это не было уместно. В ее тоне не было ласковой доброты, которой всегда отличалась его ирония по отношению к близким друзьям. Мы ему отвечали тем же. Ей ответить было невозможно. Может быть, ее тон означал, что я — человек из прошлого общения, а не из настоящего и будущего. Возможно. Ибо круг общения Слуцкого менялся.

Прервалась дружба с Мартыновым. Однажды спросил у него:

— Как Леонид Николаевич?

Ответил сухо:

— Я его не вижу.

После опалы Эренбурга Мартынов перестал к нему ходить. Не это ли причина разрыва с Мартыновым?

С начала 60-х годов Слуцкий заметно переменялся. У него отпало честолюбие. Перестал ездить за границу. Наверное, мог бы, если бы захотел. Перестал встречаться с зарубежными деятелями и литературоведами, знакомством с которыми до этого гордился. Отпала его энергия общения и любопытство к разным сборищам. Редко и только по крайней необходимости выступал, избегая «модных вечеров». Никогда не устраивал персональных вечеров. Никогда не занимался «пробиванием» книг. Так и умер, не издав давно положенного ему однотомника.

Близкого общения его тех лет не знаю. В начале 60-х продолжал дружить с Межелайтисом. Ценил его ум и талант. Несколько лет жил на даче рядом с Окуджавой. Жена его дружила с семьей Евтушенко. Кажется, она стремилась к «светскому» общению.

Круг общения был узок. Высоко ценил Трифонова как умного собеседника. Трифонов был один из тех, с кем встречался регулярно.

Много уделял времени молодым. Старался помочь им, учил их. Даже однажды, помню, поехал в Софрино на семинар молодых. Вел семинар совместно с Окуджавой. К ним валили молодые с других семинаров. Выделил двух-трех по степени «левизны». Ошибся. Это с ним нередко бывало.

Говорили о суде над Бродским. Я спрашивал, почему никто из имеющих вес писателей, кроме Маршака и Чуковского, за него не вступился. Сказал:

— Таких, как он, много. Тогда судил не по той шкале.

После отъезда Бродского говорили о нем, сравнивая его почему-то с Горбаневской (видимо, пытались определить, как его примут на Западе). Сказал:

— По погоням она намного выше.

Диссидентов Слуцкий сторонился. Они шумно разрушали его мир. Он предпочитал это делать сам. К тому же, по привычке не хотел, видимо, привлекать внимания органов.

Помню — петушком налетал на него Якобсон у нас на даче. Слуцкий сердился. Скоро уехал.

В начале 60-х годов мы виделись крайне редко. А одно время даже были в ссоре. Потом встретились, кажется, на вечере памяти Цветаевой и буквально бросились друг к другу. Снова стали встречаться, хотя и не так часто. Однако всегда дружественно и

приятно. В 63-м году прогнозы Слуцкого были мрачные. Перспективы хрущевской оттепели исчерпывались. Но какое-то время в Слуцком еще оставался рефлекс деятельности.

Когда умер Иванов, Слуцкий сказал:

— Старики умирают, потеряв надежду.

С Ахматовой встречался. И она отзывалась о нем с неизменным уважением, хотя несколько отстраненно. Они не могли сойтись, и знакомство расстроилось по какому-то пустяку. Будто бы Слуцкий где-то, говоря о тиражах поэтических книг, заметил, что Ахматова весь свой тираж могла увезти на извозчике.

Один из ахматовских пажей, склонных к сплетням, передал эту фразу в искаженном смысле. На что Ахматова гордо сказала:

— Я никогда не возила сама своих тиражей.

Конечно, не это была подлинная причина их охлаждения.

После смерти и похорон Хикмета приехали к Слуцкому. Говорили о наследстве Хикмета. Слуцкий предлагал посмертные гонорары отдавать тем, кому посвящены стихи. Симонов посмеялся: тогда, мол, за стихи, посвященные Серовой, должна получать она.

Мы как бы друг от друга отвыкали, а может быть, и отдохали, уже в другом качестве — не ежедневного общения.

На одном из первых моих вечеров в ЦДЛ произнес очень теплое запоминающееся вступительное слово.

В 76-м тоже, в ЦДРИ. Через год он заболел.

Часто говорят о причинах болезни Слуцкого. Говорят, что это болезнь совести после пастернаковской истории. Другие — смерть Тани.

На самом деле причин было много. Во-первых, дурная наследственность. Мать Слуцкого страдала тяжелым склерозом.

Сам рассказывал. Ее привезли в Москву. Слуцкий снял ей дачу на Николиной горе. Однажды, прогуливая мать, встретил Людмилу Ильиничну Толстую, вдову Алексея Николаевича. Поздоровались. Поговорили. Когда расстались, мама сказала:

— А Софья Андреевна еще совсем неплохо выглядит.

Плавной болезни Слуцкого способствовали побочные. Осколок в спине, причинявший ему боли. Простуда лобных пазух, полученная на войне, в результате которой была тяжелая операция (шрамик между лбом и носом) и тяжелейшая многолетняя бессонница. Слуцкий не спал годами. Рано выезжал в Коктебель. Купался в ледяной воде. Немного помогало.



А главная причина ускорившейся болезни — постоянное напряжение. Он напрягался всю жизнь. К докторам ходил редко — за снотворным. О болезнях не говорил. На вопрос о самочувствии коротко отвечал: «Плохо».

Несколько лет тяжело болела Таня. Однажды сказал:

— В семье должен быть один больной человек.

Этим больным была Таня.

Смерть жены тяжело на нем сказалась. Он был глубоко к ней привязан. Не из-за комфорта, ухода и прочего. Этого в доме не было, хоть и был достаток. Он просто ее любил.

В ответ на его обычное:

— Ну как твои романы и адюльтеры? — спросил однажды:

— А у тебя есть романы и адюльтеры?

Ответил: «Есть!» Однако развивать эту тему не стал. Может, и были, но он твердо и преданно любил Таню. Их отношений я не знаю. Однажды неожиданно сказал:

— Я сказал Таньке: изменишь — прогоню.

Что-то, может быть, и было. Не знаю.

Во время последней болезни сказал мне:

— После смерти Таньки я написал двести стихотворений и сошел с ума.

Это последнее напряжение окончательно сломило его здоровье.

Он не сошел с ума. Он не был лишенным ума. Ум остался. Была тяжелая душевная болезнь. Вот и гадай теперь, где помещается душа.

В характере его, как это и положено по классической схеме болезни, происходили заметные изменения. Например, он стал тревожиться о своем финансовом будущем, бояться бедности. Это ему не грозило, но он постоянно при посещениях говорил об этом. Это была не скупость, а еще более обострившееся чувство независимости, боязни за независимость.

Когда мы с женой впервые пришли к нему в 1-ю Градскую, он категорически отказался принять принесенные нами соки, фрукты, что-то еще. Так и заставил унести все обратно. Это тоже казалось ему посягательством на независимость.

Но в целом многие черты его личности остались нетронутыми. Он изображал себя более больным умственно, чем был на самом деле.

Так же внимательно, как и всегда, наблюдал за окружающими. Немало историй рассказывал о больных, лежавших с ним в клини-

ках. Например, об одном склеротическом генерале, который воображал себя маршалом.

Расспрашивал всегда обо всех знакомых, о событиях в литературном мире, о политических событиях. Утверждал, что не читает, но на самом деле читал, конечно, не так много, как прежде.

Когда он находился уже в Туле у брата, спросил его по телефону:

— Послать тебе новую мою книжку?

— Не посылай. Я ничего не читаю.

Я, однако, послал. Сказал мне по телефону:

— Прочитал. Это лучшая твоя книжка.

С болезнью Слуцкого окончился наш спор. Остались любовь, жалость, сочувствие.

Никого не хотел видеть. Однажды сказал:

— Хочу видеть только Гурелика и Самойлова.

*Из книги: Д. Самойлов. Памятные записки.  
М., 1995.*

## «ПОКУДА НАД СТИХАМИ ПЛАЧУТ...»

Написал он много. Составленное покойным критиком и литературоведом Ю. Болдыревым трехтомное собрание сочинений (каждый том — порядка тридцати печатных листов, то есть двадцати с лишним тысяч строк) не охватывает всего им сделанного. И сегодня еще журналы публикуют его неизвестные стихотворения, причем не черновики, а законченные вещи. Черновики как таковых у Слуцкого не было, потому что стихи он сочинял в уме и переписывал их набело в большие, переплетенные в ситец тетради. За долгую с ним дружбу я немало перелистал этих амбарных книг и не помню, чтобы на какой-нибудь странице мне попала хотя бы одна пометка. Все строки были переписаны неровными, но вполне разборчивыми, почти печатными буквами, так похожими на самого Слуцкого, на его голос, на его походку и на его стихи.

Вообще в Борисе все было характерно *слуцким*. Его разговорная речь несколько не отличалась от стихотворной. Такую особенность я замечал только у Пастернака. Обычно, когда поэты, прерывая общий разговор или застолье, читают *свое*, они на глазах преобразуются, меняется их голос, они, как бы отстранившись от самих себя, восходят на невидимый пьедестал. Даже Ахматова, сказавшая о себе:

Я тишайшая, я простая...

читала стихи торжественно.

И только у Пастернака и у Слуцкого разговорная речь совершенно естественно, без малейших усилий переходила в стихотворную.

Если учесть, что после войны его полтора десятилетия мучила головная боль — следствие контузии, фронтальной простуды и нескольких черепных операций, а затем уже до самой смерти не отпускала бессонница и он, все увеличивая дозы снотворных, все равно спал не более трех часов в сутки, работоспособность Бориса следует признать титанической.





Звук этих строк, а еще точнее — гул, напоминает стихи Державина, Ходасевича и предсмертного Маяковского, но по сути дела в этом стихе уже настоящий Слуцкий.

Хотя никто его не видел пишущим, Борис писал много, на мой взгляд, чересчур много. Порой это бежит с горы и не может остановиться. Для поэтов не такого крупного масштаба и мощи подобная инерция извинительна, но Слуцкий был поэтом трагедии, а не мелкотемья.

Трагичность Слуцкого шла, как мне кажется, от его доброты, от его сочувствия человеческим страданиям. Слуцкому часто вменяли в вину дисгармоничность, противопоставляли ему поэтов светлых и легких. Но, по моим наблюдениям, поэты светлые и легкие часто и в жизни и в работе отворачиваются от человеческих несчастий, словно те мешают их гармонии. Слуцкий же в высшей степени был наделен пронзительным и в то же время необыкновенно действенным даром сочувствия. Трагичность мировосприятия всегда и предполагает крупность личности. Слуцкий был поэтом дальнего действия. Как орудие крупного калибра он предназначался для поражения серьезных целей, а не для стрельбы по воробьям. Однако советская власть не признавала больших тем, особенно тем трагических. Сочиняя стихи про пейзаж или погоду, еще можно было слегка отклониться от заданного партией маршрута. Но по центральным магистралям следовало шагать в ногу.

Про пейзаж и погоду Слуцкий писать не любил. Не то чтобы эти темы его не волновали, но они не были для него магистральными. Удача приходила к нему, лишь когда он говорил о главном и причем без оглядки. Но последнее случалось далеко не всегда.

— Борис, а стоит ли сочинять столько стихов? — не так уж редко, но всегда почтительно спрашивал я его, на что он мне неизменно отвечал, мол, раз уж так случилось, что он земли не пашет, у станка не стоит, то должен выполнять что умеет, а не бездельничать и не дожидаться, пока нахлынет вдохновение.

Я робко возражал, мол, стихи не обязательные молитвы и часами не измеряются. Они дело штучное, тут не может быть никакой нормы. К тому же он поэт трагический, а трагедию не запустишь на конвейер...

Слуцкий со мной не соглашался и приводил в пример своих друзей живописцев и скульпторов, которые как проклятые работают каждый день с утра до вечера.

Я что-то мекал насчет болдинской осени или приводил слова Маяковского, мол, у Блока из десяти стихов только два удачны... (Высказывание весьма спорное, потому что блоковский третий том сплошь состоит из удач!)

— История нас рассудит, — усмехаясь в усы, отвечал Борис, не желая дискутировать на эту, по-видимому, слишком личную для него тему. Он вообще был человек закрытый, никогда не лез (даже выпив, — впрочем, пьяным, хотя выпивал с ним не так уж редко, я его ни разу не видел) вам в душу, но и в свою не впускал. Впрочем, иногда, но очень ненадолго раскрывался. Так, незадолго до смерти жены (видимо, в году 76-м) он признался мне, что, как Жанна д'Арк, с детства слышит голоса, отчего отец называл его идиотом. Кстати, «Идиот» Достоевского был его любимой книгой.

Впрочем, кто знает, — я и по сей день не решил, связано ли наше дело с подобными отклонениями. Хотя поэты — люди и со странностями, однако их стихи заряжены душевным здоровьем. Помню, как я впервые прочел Слуцкого, еще в машинописи. Это было зимой 53-го. Еще не умер Сталин, и ждать можно было всего самого страшного. Стихи Бориса меня потрясли. Я понял, что он поэт удивительный, ни на кого не похожий, со своей формой, своим звуком, своими ритмами, рифмами, тропами, словно он вырос на своем, отдельном ото всех месте. Но при этом укорененность в державинские традиции ощущалась — да и как ей было не ощущаться?! Несмотря на печаль и, казалось бы, полную безнадегу, в стихах Бориса было то, что определил Маяковский бессмертной строкой: «И стоило жить, и работать стоило».

За два с лишним десятка лет нашей дружбы Слуцкий не раз повторял, что самым счастливым для него временем были четыре года войны. Видимо, это происходило потому, что стихов на фронте он не писал и разлада между поступком и осознанием поступка для него, как ему тогда казалось, не было. Но так ли? Стихи как раз это опровергают:

Я судил людей и знаю точно,  
Что судить людей совсем не сложно, —  
Только погода бывает тошно,  
Если вспомнишь как-нибудь оплошно.  
Кто они, мои четыре пуда  
Мяса, чтоб судить чужое мясо?  
Больше никого судить не буду.  
Хорошо быть не вождем, а массой.

Хорошо быть педагогом школьным,  
Иль сидельцем в книжном магазине,  
Иль судьей... Каким судьей? Футбольным:  
Быть на матчах пристальным разиней.  
Если сны приснятся этим судьям,  
То они кричать во сне не станут.  
Ну а мы? Мы закричим, мы будем  
Вспоминать былое неустанно.

Опыт мой особенный и скверный —  
Как забыть его себя заставить?  
Этот стих — ошибочный, неверный.  
Я не прав.  
Пускай меня поправят.

Этот стих он прочел мне летом 54-го года. Характерна его концовка: тогда еще он признавал за властью право поправлять. Однако и в то время его поэтический дар был прозорливее его политических взглядов. В своих вершинных стихах он себя не «смирал», не становился «на горло собственной песне». Смирал он себя лишь как член КПСС. В пятидесятых годах он мне говорил, что хочет писать для умных секретарей обкомов, и не скоро понял, что у них другого рода ум и что такие стихи, как пишет он, им не нужны.

Его наивность была удивительной. Помню, уже в самом конце шестидесятых он пытался объяснить директору издательства «Молодая гвардия», одному из столпов отечественного шовинизма, каких поэтов совершенно иного направления тому следует издавать. Немудрено, что молодогвардейский директор тотчас убрал Слуцкого из редакционного совета, куда Бориса ввели в более либеральные времена. Наверняка такая наивность шла от его доброты и от его никогда не убывающей веры в человечество.

Что же до счастливых дней войны, то они привели Бориса поначалу к полной инвалидности. После Победы он долго лежал в госпиталях, его кое-как подлечивали, но так до конца и не вылечили.

Я был мальчишкою с душою вещей,  
Каких в любой поэзии не счесть.  
Сейчас я знаю некоторые вещи  
Из тех вещей, что в этом мире есть!  
Из всех вещей я знаю вещество  
Войны.  
И больше ничего.



Вниз головой по гулкой мостовой  
 Вслед за собой война меня влачила  
 И выучила лишь себе самой,  
 А больше ничему не научила.

Эти стихи я услышал от него через девять лет после Победы. Тогда они меня ошеломили, но и сейчас, как мне кажется, они звучат с прежней убедительностью. Ведь «от победы и от беды», как сказал он в другом замечательном стихе «Сон», мы и сегодня, спустя более полувека, не оправились...

С середины пятидесятых годов Слуцкого уже щедро печатали, но ни одно его стихотворение не обходилось без редакторского или даже цензурного членовредительства. Так, например, в первом напечатанном после войны вполне патриотическом и весьма невинном стихе «Памятник» («Литературная газета», июль 1953 г.) было сделано семнадцать редакционных поправок.

Но он все равно надеялся на перемены к лучшему, причем как человек мечтал об очеловечивании строя, а как поэт чувствовал, что этот строй никакому очеловечиванию не поддается.

Лакирую действительность —  
 Исправляю стихи.  
 Посмотреть — удивительно —  
 И смиры и тихи.  
 И не только покорны  
 Всем законам страны —  
 Соответствуют норме!  
 Расписанью верны.

Чтобы с черного хода  
 Их пустили в печать,  
 Мне за правдой охоту  
 Поручили начать.  
 Чтоб дорога прямая  
 Привела их к рублю,  
 Я им руки ломаю,  
 Я им ноги рублю,  
 Выдаю с головою,  
 Лакирую и лгу...

Все же кое-что скрою,  
 Кое-что сберегу.  
 Самых сильных и храбрых  
 Никому не отдам.

Я еще без поправок  
Эту книгу издам!

Но без *поправок* не получалось. К тому же во все книги Слуцкого, выходявшие при его жизни, талантливые стихи проникали не так уж часто, а самые талантливые оставались в переплетенных тетрадах. Может быть, именно поэтому Борису при жизни явно недодали. Он как-то обронил в разговоре: «Считается, что я поэт *так себе*, а ведь я поэт *ничего себе*...»

Немалую роль в этой недодаче сыграла, как мне кажется, нелюбовь Бориса к литературной тусовке. Тогда еще этого слова не было и роль тусовки в какой-то мере выполняла поэтическая эстрада. Не хочу преуменьшать ее роль: она привлекла, помимо всего прочего, к стихам студенческую молодежь. Но Борис, несмотря на то, что читал стихи замечательно (лучше, чем он, не читал, как мне кажется, никто), своих поэтических вечеров не устраивал, хотя шумный успех в Большом зале Дома литераторов да и в других аудиториях ему был бы обеспечен.

Член КПСС, Слуцкий долго, почти всю свою жизнь, продолжал верить в партию, вернее, упорно заставлял себя в нее верить, но поэт Слуцкий мучительно понимал тщету такой веры:

Я строю на песке, а тот песок  
Еще недавно мне скалой казался.  
Он был скалой, для всех скалой остался,  
А для меня распался и потек.

Я мог бы руки долу опустить,  
Я мог бы отдых пальцам дать корявым.  
Я мог бы возмутиться и спросить,  
За что меня и по какому праву...

Но верен я строительной программе...  
Прижат к стене, вися на волоске,  
Я строю на плывущем под ногами,  
На уходящем из-под ног песке.

Эти стихи он прочел мне в конце 1956 года. В какой-то мере они объясняют, почему он выступил в ноябре 1958 года против Пастернака. Он вовсе не струсил, как считали многие, и не солгал. Он был просто «верен строительной программе», хотя и понимал, что «строит на песке». А любил он или не любил Пастернака, в данном случае значения не имело. (Военных пастернаковских

стихов он действительно не любил, да и к другим относился, на мой взгляд, незаслуженно прохладно, но это был, так сказать, факт его поэтической биографии. Мало ли кто кого не любит?! Не станешь ведь из-за этого предавать человека анафеме, лишать куска хлеба и требовать выдворения из страны?! Я не хочу задним числом оправдывать Бориса, я лишь пытаюсь объяснить, что с ним, на мой взгляд, случилось. Должен сказать, что это трехминутное выступление перебуровило и отравило его жизнь, а прожил он после него еще почти тридцать лет, из которых девять тяжело болел, и этот его душевный недуг, по-видимому, тоже был связан с пастернаковской историей.

Вскоре, видимо, после нее Слуцкий написал:

Уменья нет сослаться на болезнь.  
Таланту нет не оказаться дома.  
Приходится, перекрестившись, лезть  
В такую грязь, где не бывать другому.

Это четверостишие удивительно напоминает строки Багрицкого:

Неудобно коммунисту  
Бегать, как борзая...

Говоря о Слуцком, нельзя не упомянуть его, так сказать, еврейские стихи, как правило, всегда сильные.

А нам, евреям, повезло.  
Не прячась под фальшивым флагом,  
На нас без маски лезло зло.  
Оно не прикрывалось благом.

Еще не начинались споры  
В торжественно-глухой стране.  
А мы — припертые к стене —  
В ней точку обрели опоры.

Еврейская тема была для него, может быть, одной из самых мучительных. Правда, при этом Слуцкий не ставил знака равенства между бытовым антисемитизмом и антисемитизмом власти.

А я не отвернулся от народа,  
С которым вместе

голодал и стыл.

Ругал баланду,  
обсуждал природу,  
хвалил

далекий, словно звезды,

тыл.

Когда

годами делишь котелок  
и вытираешь, а не моешь ложку -  
не помнишь про обиды.

Я бы мог:

А вот — не вспомню.

Разве так, немножко.

Не лстить ему,  
не ползать перед ним!

Я — часть его.

Он — больше, а не выше.

Я из него действительно не вышел.

Вошел в него —  
и стал ему родным.

Расставание с коммунистическим мировоззрением и его производным — преданностью уже умершей идее и верностью ее дисциплине — было для Слуцкого делом не только долгим, но и бесконечно мучительным. Правда, Борис никогда покорно не плелся в общем строю, а сопротивлялся, как мог, нет-нет его выбрасывало из ряда, и именно тогда рождались лучшие его строки:

Всем лозунгам я верил до конца  
И молчаливо следовал за ними,  
Как шли в огонь во Сына, во Отца,  
Во голубя Святого Духа имя —

строки чрезвычайно важные, потому что говорят о почти религиозном отношении поэта к почившей в Боге идее.

А стих:

Люди сметки и люди хватки  
победили людей ума —  
положили на обе лопатки,  
наложили сверху дерьма.

Люди сметки, люди смекалки  
точно знают, где что дают,  
фигли-мигли и елки-палки  
за хорошее продают.

Люди хватки, люди сноровки  
знают, где что плохо лежат.  
Ежедневно дают уроки,  
что нам делать и как нам жить —

вряд ли сопрягается с желанием писать для умных секретарей обкомов. Потому что, когда Аполлон звал Слуцкого «к священной жертве», его иллюзии рассеивались, как дым.

О том же самом говорит и другое стихотворение:

В революцию, типа русской,  
лейтенантам, типа Шмидта,  
совершенно незачем лезть:  
не выдерживают нагрузки,  
словно известняк — динамита,  
их порядочность, совесть, честь.

Не выдерживают разрыва,  
то ли честь, то ли лейтенанты,  
чаще лейтенанты, чем честь.  
Все у них то косо, то криво,  
и поэтому им не надо,  
совершенно не надо лезть.

Революциям русского типа,  
то есть типа гражданской войны,  
вовсе не такие типы,  
не такие типы нужны,  
совершенно другие типы  
революции русской нужны.

Замечательно по трагической силе восьмистишие, в котором он наконец прощается с проклятым прошлым:

Я в ваших хороводах отплясал.  
Я в ваших водоемах откупался.  
Наверно, полужизнью откупался  
за то, что в это дело я влезал.  
Я был в игре. Теперь я вне игры.  
Теперь я ваши разгадал кроссворды.

Я требую раскола и развода  
и права удирать в тартарары

Не могу сказать, когда эти стихи написаны, но куда важней, что они написаны. В этом, как, впрочем, во всех лучших стихах Слуцкого, поэт одолел человека, свобода одолела косность идеи. Жаль, конечно, что это произошло так поздно, что плодами такой победы Борис уже воспользоваться не мог. Впрочем, если бы он все понял с самого начала, мир не узнал бы поэта Слуцкого.

Там, где Борису не все было понятно, там, где ему приходилось преодолевать себя, спорить с собой, выходить за пределы им же очерченного табу, там у него вырастала высокая, ни на кого не похожая поэзия.

Но там, где он что-то излагал или доказывал, получались только строчки, иногда получше, иногда похуже, правда, тоже собственные, ни с кем не схожие, но и только. И таких стихов у него немало...

Надо думать, а не улыбаться,  
Надо книжки трудные читать,  
Надо проверять — и ушибаться,  
Мнения не слишком почитать.

Мелкие пожизненные хлопоты  
По добыче славы и денег  
К жизненному опыту  
Не принадлежат.

Все высказанные в этом восьмистишье мысли абсолютно верны и полезны для подрастающего поколения. Их можно было бы высечь даже на скрижалях, но все равно большой поэзией они бы от этого не стали. При этом *все* в них — интонация, жест, походка стиха, манера изложения, зачин и концовка — собственные, *слуцкие*. Но в них нет горения, нет противоречия, нет, наконец, ошибки, а без этих качеств стихи Слуцкого не становятся чудом.

Хотя их интонация все равно неподражаема. Может быть, именно поэтому ей подражали и подражают. Впрочем, Слуцкий предпочитал выражаться точнее. В стихе «Коля Пазков» он прямо написал:

Сколько мы у него воровали,  
а всего мы не утянули.

Стихотворцы моего поколения и много меня моложе всю обдирали Слуцкого. Но главная заслуга Слуцкого не в том, что он создал школу и породил множество последователей. Куда важнее, что он поэт трагедии. В лучших своих стихах он поэт горы и бездны, поэт взлетов и падений. Его талант, как мне кажется, можно определить строками Цветаевой:

Говорят — тягою к пропасти  
Измеряют уровень гор.

Для такого дара одного ума, одной личной пристрастности было недостаточно. Вот восемь строк, по сути своей — молитва, но тайны в них нет, хотя они, несомненно, искренни и написаны о самом для Бориса главном:

Хорошо, когда хулят и славят,  
Превозносят или наземь велят,  
Хорошо стыдиться и гордиться  
И на что-нибудь годиться.  
Не хочу быть вычеркнутым словом  
В телеграмме — без него дойдет! —  
А хочу быть вытянутым ломом,  
В будущее продолбавшим ход.

Здесь все свое, *слуцкое*, интонация превосходна, но чего-то основного все-таки не хватает. Может быть, не только тайны, но еще звука, гула высокой торжественности, как у Державина:

Плагол времен! металла звон! —

или у Ходасевича:

И вот, Россия, «громкая держава»,  
Ее сосцы губами теребя,  
Я высосал мучительное право  
Тебя любить и проклинать тебя... —

или у Маяковского:

Мой стих  
трудо́м  
гро́маду лет прорвет





То же самое, но еще с большим правом, можно сказать и о самых, на мой взгляд, вершинных, ставших уже хрестоматийными, но от этого ничуть не утеревших своей первозданности стихах Слуцкого. (Их первая строка дала название моей книге.)<sup>1</sup>

Покуда над стихами плачут,  
и то возносят, то поносят,  
покуда их, как деньги, прячут,  
покуда их, как хлеба, просят,

до той поры не оскудело,  
не отзвенело наше дело.  
Оно, как Польша, не згинело,  
хоть выдержало три раздела.

Для тех, кто до сравнений лаком,  
я точности не знаю большей,  
чем русский стих сравнить с поляком,  
поэзию родную — с Польшей.

Еще вчера она бежала,  
заламывая руки в страхе,  
еще вчера она лежала  
почти что на десятой плахе.

И вот она романы крутит  
и наглым хохотом хохочет.  
А то, что было,  
то, что будет, —  
про это знать она не хочет.

Сегодня, когда людям не до стихов, на первый взгляд кажется, будто время Слуцкого ушло. Но поэзия в небытие не уходит, а, как ветер Екклесиаста, «возвращается на круги своя». И хотя одни стихи Слуцкого отсеяло время, другие отсеялись сами, но он написал столько мощных и прекрасных строк, что вошел в когорту российских лириков. А войти в нее ох как непросто — ведь за два с четвертью века, начиная с Державина, которому Слуцкий стольким обязан, наша поэзия породила немало гигантов.

---

<sup>1</sup> Не надо удивляться тому, что первая строфа звучит иначе, чем в «Собрании сочинений». В таком виде (и без четвертой строфы) стихи преодолели цензуру и были опубликованы в «Юности» (1965, № 2). — *Примеч. сост.*

---

*Ольга Наровчатова*

## «...ОТ БОРИСА СЛУЦКОГО»

В Борисе Слуцком поражало слияние его внутренней и внешней значительности, глубокой утвержденности в своих взглядах; твердая и определенная манера держаться, не делающая скидок, но внимательно учитывающая собеседника, сразу вызывала глубокое и стойкое уважение. Монументальность, решительность мышления, крупность всей его личности отпечатывались во всех чертах облика. Беспощадная наблюдательность в соединении с глубоко спрятанной ранимостью поэта выплескивалась в стихах пронзительных без сентимента. И лишь конец его жизни показал, насколько этот человек был потрясающе нежен и уязвим, насколько он не мог жить без любви. Смерть любимой, прекрасной, любящей жены потрясла его до полного основания, вызвала тяжелую муку болезни и, как всегда у поэтов, — щемящие стихи, щемящие чувства.

Мой отец, поэт фронтового поколения, Сергей Наровчатов, познакомился и подружился со Слуцким в литературном кружке при Гослитиздате, которым руководил Сельвинский. Там ифлийцы — Павел Коган, Дезик Самойлов и Сергей Наровчатов — встретились и подружился с Майоровым, Кульчицким, Слуцким и Львовским. Каждый из них не мыслил себя отдельно от поколения. Кто-то погиб на «той войне незначимой» — финской, кто-то — на Отечественной, оставшиеся в живых писали о них до конца жизни. Время приносило новые связи и новые потери. И не утратилась возникшая с военных лет привычка писать друг другу и дарить новые стихи. В 1964 году Борис Слуцкий вручил моему отцу книжку стихов «Работа» и подписал на ней: «Серее Наровчатову в год и месяц серебряной свадьбы нашей дружбы».

Отрывки из писем Бориса Слуцкого, оставшихся в архиве отца с военных лет, лучше, чем я, скажут о его характере.

«12 августа 1945

Дорогой Сергей!

Так таки ничего о тебе не знаю. С незапамятных времен. Дожил ли ты до Дня Победы? Где ты сейчас? Не сушишь ли портяночки

на Восходящем Солнце в соответствующей стране. Я же мирно околеваю — от жары, скуки и малярии — в Южной Румынии...

Перспективы отпуска (наиболее радужные) — конец октября. Буду в Москве. Хочу тебя там встретить. Все связи с друзьями — нарушены. Кроме П. Юрелика, который где-то в Германии. Стихи не пишутся. Книги не читаются. Работа не работается — да ее и нет почти. 40° по Цельсию — в тени. Хочу получить от тебя прохладное письмо с северными стихами и спокойными соображениями. Планы. Перспективы. Сурков говорил о тебе на пленуме, а я узнаю о сем из эпиграммы в „Литературной газете“: „Нехорошо! Пока все. Целую тебя. Борис»

«25.1.45 г.

Дорогой Сергей!

... От всей души завидую только твоим польским наблюдениям. Хочу сообщить тебе об удивительном варианте русских поэтов (и русских людей), встреченном мною в Белграде. Это раскаявшиеся враждебисты и (преимущественно) дети их. «Союз Советских патриотов», который более трех лет довольно успешно конспирировал против немцев. Во главе стояли Илья Кутузов — граф, внучатый племянник фельдмаршала, способный поэт в Гумилевском (ныне ревГумилевском) духе, профессор Алексеев и несколько других хороших людей. Подробности устно. Стихи, присланные тобой, — хороши. Читал их множество раз — так и сяк. Задержал ответ — неправильно было бы отсылать его без критико-библиографического отдела. Первые 2 строки — несусветны. Обычное ораторское покашливание перед речью, но обращенной к одному человеку. С точки зрения нашей архо-строочечной теории особенно хороши строки о свете, звуке, кладоискателях, «как время сквозит в новизну». Со всех точек зрения правилен и хорош поворот!

... Возражение вызывает гипертрофия образов на 1 см. кв. внимания. Техника не только вполне уверенная сама по себе, но и выше довоенной нормы, что не скажу сейчас про себя.

... Пришли мне свои баллады и истории, вообще побольше стихов, для устроения обстоятельного разговора о них. Целую тебя за обнаруженные на фотографиях награды ... Борис Сл.»

Юрист, поэт, политработник, разведчик во время войны, потом переводчик, педагог, советчик и помощник своим ученикам, Борис

Слуцкий оставил по себе добрую память. Помог он и мне верой в мои творческие возможности и приглашением посещать лит. семинар, который он вел в Моковской лит. студии в 1972 году. Таким образом, Борис Слуцкий воздействовал и на мою судьбу. Первая моя с ним встреча состоялась, когда мне было четыре года. Слуцкий дружил с моей мамой — искусствоведом, остроумной собеседницей, оригинальной, умной женщиной. После развода моих родителей он часто навещал нас.

Временами мама бралась реставрировать редкие иконы. Одна из них висела в тот раз на стене. Пришел Слуцкий. Мама зачем-то вышла, а Борис Абрамович встал прямо перед иконой и очень внимательно всматривался в лик Христа. Я с интересом наблюдала за ним. Мы долго молчали в этом положении. Наконец, почувствовав, что все это неспроста, я простодушно предположила: «Это ваш сын?» Слуцкий быстро оторвался от иконы и серьезно взглянув на меня, спросил: «А что? — Похож?» — «Да, похож», — твердо ответила я. Несколько секунд помолчав, Слуцкий доверительно и еще более серьезно сказал мне, указав на Христа: «Это я — Его сын».

В последний раз я видела Б. Слуцкого на похоронах моего отца. В какой-то момент в густой толпе по направлению ко мне быстро образовался коридор: это люди расступались перед Слуцким. В нем будто проступало величие и внешнее бесстрашие самой Судьбы. Монументальным спокойным шагом он подошел ко мне, коротко пожал руку и толпа стала расступаться уже от меня. «Вы не останетесь?» — спросила я вдогонку. Не поворачивая головы, он сказал: «У меня депрессия». И ушел. Это был 1981 год. Ему оставалось жить пять лет.

## **БОРИС СЛУЦКИЙ В МОЕЙ ЖИЗНИ**

Довоенные московские студенческие поэты — Михаил Кульчицкий, Павел Коган, Николай Майоров, Дезик Кауфман (Давид Самойлов), Сергей Наровчатов, Борис Слуцкий, Михаил Львовский, Михаил Луконин и другие, — слухи о которых доходили и до Киева, волновали мое воображение. Неудивительно, что, приехав в апреле 1944 года в Москву, я прежде всего хотел разыскать кого-либо из них. Они мне казались (а некоторые и были) близкими по своим творческим установкам. Но меня на первых порах постигло разочарование — никого из них в Москве в это время не было. Я с огорчением узнал, что Коган, Кульчицкий и Майоров погибли на фронте, а остальные — что было для того времени естественно — в действующей армии. И поневоле знакомился я с ними только по мере их появления в Москве.

Если мне не изменяет память, Борис Слуцкий был первым из этой группы, с кем я познакомился. По-видимому, это произошло в конце 1945-го или в 1946-м году, уже после Победы, когда я уже был студентом Литинститута и жил в общежитии. Как это организовалось — не помню. Безусловно, я жаждал этой встречи. И если я знал, что он в Москве, то сделал все, чтобы она состоялась. Но кажется, я этого не знал, и инициатива исходила от него. Видимо, кто-то рассказал ему обо мне, и он просто пришел за мной в общежитие. Скорее всего, его приходу все же предшествовала какая-то договоренность через кого-то из общих знакомых, а может быть, он и не заходил за мной, а наоборот, я пришел к нему — туда, где он остановился, — уверенности у меня нет, подробности за шестьдесят лет могли и спутаться. Но мог и прийти, и дело тут не в моих исключительных качествах. Ему, как вспоминает Самойлов, и до войны было свойственно носиться по Москве и обзирать молодую поэзию, вести, так сказать, учет поэтического хозяйства. А кроме того, я действительно во многом стоял к нему и его товарищам ближе, чем кто-либо другой из стихотворцев следующего субпоколения (тогда казалось, просто поколения).

Так или иначе, встреча состоялась, и мы с ним отправились в один из „коммерческих“ ресторанов. Тогда как раз открылась сеть таких торговых точек — магазинов, кафе, пивных и ресторанов, — где торговля и обслуживание осуществлялись без карточек, но по «коммерческим» (значит, весьма повышенным) ценам. Я тогда и не мечтал о такой фешенебельности. Впрочем, следует признать, что это было первым, но отнюдь не последним моим посещением подобного заведения. Все рестораны и пивные моей юности — а их было хоть и не так много, как хотелось, но все же немало — все были коммерческими. Их прекращение было связано с отменой карточек и совпало с моим арестом. Но в первый раз в такое заведение привел меня Слуцкий.

Конечно, он отнюдь не был ни толстосумом, ни прожигателем жизни. Просто ему, фронтовому майору, находящемуся в Москве в отпуске или в командировке, было в тот момент это доступно, и он был рад так реализовать эти свои возможности. Он чуточку даже бравировал этим. Впрочем, это, как и все его последующие бравирования, было, как я потом понял, наивной и невинной игрой перед самим собой. А по-настоящему в тот момент главным его желанием было накормить меня. Это проявлялась та естественная доброта Слуцкого, которой, наряду с сочувствием людям, он был наделен в высшей степени. Она побеждала в нем любые, даже самые жесткие идеологические конструкции, к которым он был тоже склонен.

Его уже упомянутый интерес к тому, что представляет собой мое, как мы тогда оба считали, поколение, объяснялся не только естественным любопытством, а был содержателен. Один его вопрос кажется мне в этой связи особенно показательным. Он спросил, считаем ли мы нашу эпоху просто дежурной эпохой, доставшейся дежурному поколению, или эпохой исторически особой, отличной от всех остальных. Передаю я за давностью лет только суть его вопроса, а не прямую речь. Хотя определение «дежурной», врезалось мне в память и принадлежит ему — я бы сказал «очередной». Что эпоха наша особая — в этом усомниться трудно. Весь вопрос в оценке этой «особости». Даже Ахматова признавала, что жила во времена, «которым не было равных». Выражение дипломатичное, но со смыслом этой ее оценки я и теперь согласен.

Но Слуцкий хотел знать другое: согласны ли мы, что именно на наше время и наши поколения легла задача сознательно ценой

невероятных жертв, усилий и насилий решить главные проблемы человечества, то есть, говоря моим нынешним языком, преодолеть все преграды на его пути к мировой гармонии.

Вопрос этот был отнюдь не безосновательный. Именно этим жил он и его товарищи перед войной (и оправдывали происходившее), именно это жило в его и в их тогдашних стихах — особенно в поэме Майорова «Мы» и лирических отступлениях из романа в стихах Павла Когана. Именно это как-то помогало молодым людям в тех фантастических обстоятельствах сохранять причастность к духу и культуре. Потому так широко и ходили эти стихи в тогдашнем студенческом странном суперортодоксальном «самиздате» (хотя тогда этого слова не знал еще и сам его изобретатель Николай Глазков).

Вопрос был в самую точку. Большинство ребят, вернувшихся с фронта, но не относящихся к «ифлийцам», были, о чем уже шла речь, вообще далеки от таких обобщений. Обобщения их не шли дальше так называемой «правды о войне» — потом она была названа «окопной правдой». Обойти такую правду было нельзя, не обошли ее ни Наровчатов, ни Самойлов, ни Слуцкий, ни один подлинный поэт, прошедший войну. Но в поэзии, да и вообще в литературе, дело не только в самой этой правде (впрочем, и ее Сталин вскоре запретил), а то, с чем человек вошел в эту правду и как она отразилась на том, с чем он в нее вошел, на его внутреннем мире. Слуцкий это понимал. Отсутствие этого он тогда же назвал «натурализмом мысли». Неприятие такого натурализма нас всегда сближало. Этому натурализму противостоял тогда только, как ни обидно это признать, сложный мир коммунистической идеологии при Сталине — внешне официальный, а по существу подпольный. Ничего другого ни я, ни все, кого я знал, вокруг себя не видели.

Но все-таки подспудно что-то меня с ним и разделяло. Думаю, это сказывалась разница субпоколений. Дело в том, что такое — «идейное» —приятие действительности уже ломалось. Постепенно брала верх сама жизнь. Нет, приятие оставалось, но оно постепенно вытесняло эту «идейность». И это действовало на меня больше, чем на Бориса, — не думаю, что разница эта всецело в мою пользу. По-человечески он, как уже говорилось, не всегда соответствовал своим представлениям о должном даже чаще, чем я. Для меня же так или иначе постепенно восстанавливалась естественная историческая связь времен.

И я, стоявший к таким, как он, наиболее близко и даже (во всяком случае в те месяцы) оценивавший ситуацию так же, как он (в смысле витиеватости и неукоснительности приятия) — тоже не мог обрадовать его идентичностью отношения и восприятия.

Кстати, и поныне многие, искренне отказываясь от утопии, исходят только из ее недостижимости. В ее благодати, если бы она была достигнута, до сих пор мало кто сомневается. Но тогда я еще вообще полностью жил в этой системе координат.

Тем не менее идентичности не было. Война, общение с людьми самых разных слоев — все это внесло свои изменения. И видимо, в связи с этим гораздо больше стала значить и живей выглядеть для меня история — уже не история революционных движений, а вообще, особенно история России. Война заставила ощутить ее реальность и ценность, ощутить патриотизм. Но это несмотря на официозную «патриотическую» пропаганду, а не благодаря ей. И это как-то вплеталось в мое тогдашнее, еще революционное мировоззрение...

Думаю, что то же происходило со Слуцким, но он больше меня этому не поддавался. И твердо стоял на своем идейном, даже партийном отношении к жизни. Во всем — исключая только главное в ней — поэзию. И как уже говорилось, доброту и жалость к людям. Но все это существовало в нем как бы подпольно. Этого я тогда еще не знал.

Помню, что несмотря на весь пиетет перед ним (ведь помимо всего, он тогда еще казался мне неизмеримо старше меня, хотя тоже был еще очень молод), я даже возражал ему. Впрочем, литературные мальчишки в двадцать лет, в предвкушении неминуемых побед и славы, относятся к уважаемым ими старшим поэтам в лучшем случае как к равным. И я не был исключением. Я спорил со Слуцким. И тогда, и не раз потом. Всегда. И чаще бывал, наверное, более прав, чем он. Чаще, но не всегда и не во всем. У меня ведь — и как раз тогда — бывали завихрения, которых я теперь стыжусь, и порой заходил я в них дальше, чем он. Может быть, по младости.

Впрочем, часто я был к нему и близок. Мне было тогда понятно, почему он «недемократически» делил военную, да и всякую иную молодую поэзию на офицерскую и солдатскую. Себя он, конечно, относил к офицерской, но дело тут было совсем не в субординации. Давида Самойлова, вернувшегося с войны сержантом, он не колеблясь относил к поэзии офицерской. Когда Виктор Урин, услышав это, стал выдавать по этому поводу солдатские



комплексы (мол, нечего солдат дискриминировать), Борис улыбнувшись ответил:

— А ты не кипятись. Пока что солдатские стихи печатают, а офицерские не очень...

Речь, конечно, шла не о чинах, а о некоем духовно-культурном кругозоре, о «сложном», «идейном», «диалектическом» осмыслении и приятии действительности, якобы присущем офицерству как духовно-интеллектуальному стержню армии и войны. Представление это было не вовсе беспочвенное, но обобщенное — офицерский корпус в культурном отношении был далеко не столь однороден.

Но и с этой «мужественной» диалектичностью приятия было у него не все просто. Однажды, уже года через два, я прочел ему стихи, представлявшие пик такого приятия и всех завихрений моего интеллектуального этатизма. Стихи эти, как я полагал, должны были быть идеологически близки Борису. И идеологически, вероятно, и были. Я ожидал сочувствия. Но не дождался. Выслушав их, он сказал:

— Это стихи о моральном превосходстве литерной карточки над рабочей.

Разумеется речь в стихах шла не о карточках, а о том, что людям большой работы свойствен кругозор и глубинное понимание событий, недоступное тем, кто видит их изнанку. Смысл сказанного Слуцким был ясен. Я от этих слов опешил. Нет, не от того, к стыду моему, что они были справедливы. Я ведь и раньше знал, что это так, но считал, что сознательно отказываюсь от обычной «мещанской», (то есть единственно возможной, но это я как раз и отрицал) справедливости ради «высшей», и считал это духовным достижением. А Слуцкого ощущал не только своим единомышленником, но и учителем. И то, что эти слова произнес именно Слуцкий, подрывало основы моего мироощущения.

Но именно он их и произнес. Хотя его мировоззрение оставалось тем же. Просто сквозь искусственные завесы этого мировоззрения прорвалась его естественная доброта. Та щемящая доброта и жалость к людям, которая пронизывает многие его стихи разных лет и в чем ему практически нет равных. Как это уживалось с его столь долго сохранявшимся «железным», даже безжалостным мировоззрением и представлением о должном — я до сих пор не пойму. Может быть, та болезнь, которая омрачила последние годы его жизни и в конце концов свела его в могилу, явилась в значительной степени следствием противостояния этих

двух противоречащих друг другу факторов, все годы определявших его внутреннюю жизнь. Правда, говорят, что перед болезнью мировоззрение его сильно смягчилось. Охотно верю, но свидетелем этому я уже быть не мог: жил в эмиграции.

Конечно, были отношения наши вечно-полюемическими, со взаимными «подкалываниями» (многое нас сближало, но многое и разделяло), иногда довольно острыми, но до обид дело никогда не доходило.

Но случилось так, что это подтрунивание с высоты возраста явилось причиной несерьезного отношения к очень серьезному моему свидетельству в очень серьезном деле. Однажды в начале 1955 года мы с ним шли по Тверской и на Пушкинской площади встретили его знакомого и моего сокурсника по Литинституту — назовем его Х. Когда тот распрощался с нами, я сказал Слуцкому:

— Знаешь, Боря, по-моему, этот человек — стукач. Может быть, для суда моих доказательств недостаточно, но я абсолютно уверен, что это так.

Доводы мои были вескими. Приводить я их тут не буду, ибо стукачество этого человека — установленный факт, зафиксированный в литературе, и отнюдь не в связи со мной. Я просто не хочу лишний раз называть фамилию этого несчастного. В конце концов речь здесь идет не о нем.

— Действительно, ни один суд не принял бы этого. Это не доказательства, — отмахнулся Слуцкий. — Ты скажешь!

Но еще через несколько дней вернулся из лагеря другой человек, прямо посаженный этим Х. (в моем деле тоже был отчетливый след его стукачества, но важной роли в нем он не сыграл), и все гадательное стало явным. Прибыл он с благородной целью публично набить Х. морду. Этой задачи он в жизнь не воплотил (что делает ему честь), но факт стал общеизвестным. Теперь с ним согласился и Слуцкий.

Честно говоря, мне это было обидно. Мои факты говорили сами за себя. Отмахиваться от них было не больше оснований, чем от того, что он узнал после меня. Я не понял (и до сих пор не понимаю), откуда взялось это «Ты скажешь!» — ни в какой склонности обзывать людей стукачами я замечен не был<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> За всю жизнь я сказал такое (если не считать этого Х) только о Сергее Хмельницком, «заложившем» группу студентов-историков, что тоже факт подтвержденный. Потом он выступал свидетелем на про-

Однако эта обида не отразилась на наших отношениях.

Не отразилась на них и моя эпиграмма на него. Она была написана и прочитана ему примерно в конце пятидесятых. Вот эта эпиграмма:

Он комиссаром быть рожден.  
И облечен разумной властью,  
Людские толпы гнал бы он  
К непонятому ими счастью.  
Но получилось все не так :  
Иная жизнь, иные нормы.  
И комиссарит он в стихах —  
Над содержанием и формой.<sup>1</sup>

Борис стойчески выслушал эти строки и сказал:  
— Ну что ж... Про Симонова ты обидней написал.  
Про Симонова я действительно написал обидней:

Вам навеки остаться хочется  
Либералом среди черносотенцев.  
Ваше место на белом свете  
Образ точный определит.  
Вы — лучина.  
Во тьме она — светит,  
А при свете она — коптит.

Но тут ведь и повод был другой — возмутившее меня участие Симонова в травле Пастернака, развязанной начальством после выхода «Знамени» с подборкой стихов из «Живаго». Эпиграмма же на Слуцкого — результат многолетней, хотя и ожесточенной, но дружеской полемики, и обидной быть она не могла<sup>2</sup>.

---

цессе Синявского и Даниэля. Больше ни о ком никогда — тем более облыжно.

<sup>1</sup> Впервые она была напечатана уже в эмиграции, в моем «посевском» сборнике «Времена» под названием «Другу-поэту».

<sup>2</sup> Тем не менее, считаю необходимым здесь отметить, что принятого в некоторых кругах дурного или презрительного отношения к Симонову я не разделял и не разделяю. Он был человеком своего страшно-го времени, оно его формировало и ломало, но он был талантлив и при всех заблуждениях все равно всегда оставался человеком доброй воли, которую по возможности проявлял.

Могут сказать, что после возмущившего многих выступления Слуцкого на собрании в Союзе писателей, посвященном травле Пастернака, все это выглядит иначе. Не думаю. Я и тогда несколько ни на одну минуту не усомнился в честности и порядочности Слуцкого и поэтому отнесся к его проступку не с возмущением, а иронически — понимал, что к этому его привел не расчет, а честно и буквально исповедуемый принцип партийности, от следования которому никаких благ он никогда не получал.

Дружеские, хоть и не слишком тесные, но доброжелательные отношения продолжались у нас всю жизнь, до моей эмиграции. Хотя при всем обилии общих друзей встречались мы больше случайно в общественных местах, Одно время в «Литературной газете» в период ее Sturm und Drang'a, в конце пятидесятых, когда я там внештатно подвизался. Приходил он к нам как к своим, был остроумен. Однажды увидев груды «самотека», в значительной мере состоявшую из графоманских рукописей, он усмехнулся: «Это оборотная сторона ликвидации неграмотности в нашей стране». Современный читатель может в этих словах усмотреть снобистское высокомерие. Но его тут и близко не было. Ибо графоманскими эти рукописи были просто по причине не только литературной, но и общей малограмотности их авторов, в принципе не так давно научившихся и читать. Так что причину этой болезни, от последствий которой страдала не только «Литгазета», а все редакции Советского Союза, Слуцкий определил не только остроумно, но и весьма точно. Впрочем, болезнь эта имела более общий характер и в литературе проявлялась не в самой опасной форме.

Часто он выражался с поражающей точностью. Чего, например, стоит такое высказывание, относящееся к войне: «Героизм перестал быть категорией доблести, а стал категорией долга».

Слуцкий занимал и занимает большое место в моей жизни и мыслях — о поэзии и вообще. Но история этих отношений, которые, как я говорил, не были слишком тесными, плохо укладывается в жанр воспоминаний. Встреч и душевных бесед было не так уж много. Мне были близки многие его стихи, но не его мысли о поэзии. Мне казалось, что здесь он, как и в идеологии, был слишком механистичен. Например, его приверженность к новаторству. Впрочем, как и в идеологии, он в своем творчестве следовал не им, а своей натуре. При этом отношения оставались дружескими. И относились мы друг к другу как к поэтам — несмотря на все

подкалывания — серьезно. Ведь это именно Слуцкий рекомендовал меня Ахматовой, благодаря чему я имел счастье с ней познакомиться. Потом, когда я уже был уже в эмиграции, мне передали его теплые слова о моей первой посевской книге.

Последний раз мы с ним виделись в Доме литераторов перед моим отъездом. Он изо всех сил пытался предотвратить мой отъезд, который считал для меня гибельным. Не без остроумия увещевал меня:

— Ты требуешь, чтобы Союз писателей защитил твой *Habeas corpus* [прокуратура мне ставила на вид чтение запрещенной литературы, а я на этом праве настаивал, как на требовании профессии. — *Н. К.*], а его у самих руководителей Союза нет.

Он пытался даже остановить мое исключение из Союза, хлопотал об этом, хотя потом при случае ему могли это припомнить. И преуспел бы в этом. Но все было тщетно — я уже закусил удила. Был я прав или не прав и какой выход в наших условиях лучше, я не знаю до сих пор, но эта его последняя озабоченность моей судьбой до сих пор отзывается во мне теплотой и благодарностью. Такой была наша жизнь.

## «ДЕЛО, ЧТО БЫЛО ВНАЧАЛЕ...»

Борис Абрамович Слуцкий — самый, на мой взгляд, значительный поэт советской эпохи. Да, да, настаиваю на этом, потому что Пастернаку, Мандельштаму, Ахматовой или Цветаевой эта эпоха была навязана, в них не было родовой к ней причастности. Им было с чем ее сравнивать, в том числе и в себе. И Маяковский, когда писал о революции: «принимать или не принимать — такого вопроса для меня не было...» — лукавил. Такой вопрос был. А вот Слуцкому пришлось разбираться с эпохой по самой ее сути, и отрывать ее от себя порой приходилось с кровью, как присохшие бинты. Всю работу своего освобождения он проделал сам, никому не передоверяя, ни на кого не рассчитывая.

Из всей биографии Слуцкого в благодарной памяти современников больше всего запечатлелся факт его участия в знаменитом писательском «толковище» по осуждению Пастернака.

Почему всем забыли, а ему — не забыли? Почему никто не напоминает иным любимым народом деятелям культуры об участии в антиссионистском шабаше на телевидении или десяткам авторов сольных и коллективных писем в осуждение Сахарова и Солженицына и почему вспоминают об этом именно те, кто Слуцкого любил, кому ни до, ни после он не был безразличен?

Говорят, мы живем в жестокий век. Лично я не согласен. Не знаю, как век целиком, а вторая его половина — о которой я могу судить как участник, — начинающаяся со смерти Сталина, представляется мне периодом всепрощения со все уменьшающимся расстоянием между преступлением и отсутствием наказания. Полувека короткой памяти. Полувека, где в полную меру расцвели плоды теорий, переводивших совесть из категории личной ответственности в категорию общей безответственности.

Возвращаясь к Слуцкому, тем я и объясняю феномен избирательности нашей памяти по отношению к нему, что он испытывал муки совести там, где остальные себя давно и безнадежно простили.

Когда пытаются понять этот «феномен» Слуцкого, обычно вспоминают его стихи:

Всем лозунгам я верил до конца  
И молчаливо следовал за ними,  
Как шли в огонь во Сына, во Отца,  
Во голубя Святого Духа имя...

От этого четверостишия читателю легко отмежеваться — уж я-то им верил сугубо избирательно, — с некоторым снисхождением признав такое признание своеобразной чертой мира Бориса Слуцкого: «Чем упрямее Слуцкий намеревался (цитирую Станислава Рассадина) следовать тому, чему присягнул, во что хотел, вопреки многому, верить, тем очевиднее проступала общая драма обманутых и обманывающихся людей, общая, всех нивелирующая, такая, при которой индивидуальный и недюжинный ум излишен». Но ведь в стихотворении два четверостишия! И вот — второе:

И если в прах рассыпалась скала,  
И бездна разверзается, немая,  
И ежели ошибочка была —  
Вину и на себя я принимаю.

И если есть разгадка «феномена» Слуцкого, то она (лично для меня это безусловно) лежит не в первой, а во второй, редко цитируемой строфе. В отличие от абсолютного большинства своих современников, в том числе и от меня, Слуцкий считал участие в общем обмане и своей личной виной. И об этом помнил практически всегда.

Бесстрашие в поэтическом мышлении было свойственно многим поэтам — современникам Слуцкого. Бесстрашие в мышлении политическом — единицам. А в какой-то момент (или так мне кажется по недостатку образования) — только ему:

Я строю на песке. А тот песок  
Еще недавно мне скалой казался.  
Он был скалой, для всех скалой остался,  
А для меня — распался и потек.  
.....  
Но верен я строительной программе...  
Прижат к стене, вися на волоске,  
Я строю на плывущем под ногами,  
На уходящем из-под ног песке.

Эту исповедь шестидесятников, эту трагическую или, если кому-то так больше нравится, трагифарсовую суть шестидесятиничества, от Дубчека до Гурбачева в политике и от Евтушенко до Солженицына в литературе, написал Слуцкий еще в пятидесятых — (пред)чувствовал, (пред)сказал, напечатать только не смог.

Замок на песке, рационализм иррационального времени, сапоги всмятку, социализм с человеческим лицом — все это метафоры сути, которую ощутил и выразил Слуцкий.

Отсюда, от этого драматического провидения судьбы, напряженный, угловатый, въедливый серьез Слуцкого. Поэтому стихи Слуцкого — тяжелые стихи. Не трудные для восприятия, а именно тяжелые, весомые, где слова и строки сохраняют следы трудной обработки, огранки, формовки. И истины Слуцкого — тяжелые истины, оплаченные каждодневным трудом ума, совести и сомнений, обретаемые и опровергаемые, но всегда измеряемые одним — собственным — аршином.

Слуцкий очень часто напоминает мне врача, который наблюдает пациента с застарелой болезнью, время от времени возвращаясь и вновь и вновь пересматривая диагноз. Иногда оказывается, что диагноз точен и, возвращаясь, он только зря тратит свой талант на повторение истины, уже открывшейся ему, а иногда, ошибаясь и сомневаясь, он вновь и вновь сверяет симптомы, приближаясь к абсолютной формуле, когда это уже не диагноз, не история болезни, а справка о летальном исходе.

Чтобы не быть голословным, возьму столь популярную в творчестве Слуцкого тему Сталина, начинающуюся знаменитыми «Мы все ходили под богом...» или «А мой хозяин не любил меня» (напечатаны в 1962 году, написаны в начале 50-х), продолженную «Современными размышлениями» — стихотворением, которое начинается строками: «В то утро в мавзолее был похоронен Сталин» и заканчивается вполне в традициях того времени: «Социализм был выстроен, поселим в нем людей» (написано тогда же, напечатано в 1987-м). И ту же тему, — для меня — заканчивающуюся четверостишием-формулой:

Провинция, периферия, тыл,  
Который так замерз, так не оттаял,  
Где до сих пор еще не умер Сталин.  
Нет, умер! Но доселе не остыл.

(Напечатано в 1988 г.)



Пусть кто-нибудь из нынешних демократов-политологов, окидывая взглядом красный и другие политико-географические пояса России, поставит сегодняшнему дню более точный диагноз! А ведь Слуцкого нет с нами с февраля 86-го, а стихи он перестал писать в 76-м.

В Слуцком с отчетливым драматизмом, впрочем, вполне объяснимым, уживались пророк и писарь. Отсюда и прозрения, и тяжкий труд дозревания, додумывания, договаривания. Если Слуцкий чего и боится, то боится быть неверно понятым и потому — часто тяжеловато и не всегда уклуже — пытается все разъяснить и договорить до конца. Его писарство — это поэтический дневник ежедневной душевной работы понимания себя, времени, профессии... И, как и всякий дневник, естественно, разный по масштабу и мысли, и стиха. Разные события возбуждают движения души и таланта. Иногда события большие, чаще небольшие, но прямой зависимости: масштаб события — масштаб стиха — нет. Есть мелкое, незначительное, проходное, писарское, а есть пропущенное через такой душевный резонатор, что только держись! Но все прозрения эпохи и все пришедшие к ним на смену заблуждения следующего времени Слуцкий в свой дневник заносил с писарской пунктуальностью. Обольщениям времени поддавался, и не раз, но с дотошностью следователя вновь и вновь проверял свои выводы и, не правя стихов задним числом, вносил в дневник исправленные мысли. Поэтому, если можно так выразиться, у Слуцкого много «пристрелочных» стихов, лежащих вокруг черного яблочка темы, но, даже попав в признанную «десятку», он не оставлял темы, отходил подальше и снова сомневался: попал ли? в десятку ли?

Один известный современник Слуцкого сказал однажды: «Написал стихотворение о любви. Закрыв тему». Слуцкий не выговорил бы этого даже в шутку. А ведь о многом сказал так, что после него долго еще сказать будет нечего. Как это — о Родине:

Зачем, великая, тебе  
Со мной, обиденным, считаться?  
Не лучше ль попросту расстаться?  
Что значу я в твоей судьбе?

Отдельные стихи его бывали популярны и даже общеизвестны. Талант замечен. Поэзия слышна, хотя никогда не звучала

громко. В пятидесятых печатали мало, в шестидесятых — больше, в семидесятых, как говорил сам Слуцкий, «печатают много и охотно», но «не то, что я хотел бы напечатать». Приходилось, «лакируя действительность», рубить стихам руки и ноги, подгоняя их под прокрустов стандарт тогдашнего «дозволенного к печати». Никогда не забуду шок, который испытал, увидев напечатанным любимое наизусть стихотворение «Словно именно я был такая-то мать, всех всегда посылали ко мне». Из его тридцати двух строк в книжке осталось, по-моему, двенадцать. Тем не менее в напечатанных книжках хороших стихов было немало, но больше — средних. А вот когда к шестидесятилетию Слуцкого вышло первое «Избранное», у лучших его стихов, стоявших отдельно, как острова, обнаружилась прочная соединенность коралловой гряды. И было это (по крайней мере для меня) открытием не поэта, а поэтического материка. Но и тогда никто, даже близкие друзья, не знал еще, как велик этот материк.

Слуцкий замолчал в 76-м, и надежда умирала между «надолго» и «навсегда». А стихи продолжали печататься. Ежедневным, пчелиным по усердию трудом никому тогда не известный Юрий Болдырев добывал из доверенного ему Слуцким архива новые и новые стихи. Прошло восемь лет. Уже самого Слуцкого не стало, а стихи все шли, и шли, и шли. Это были стихи пятидесятых, шестидесятых, семидесятых. Они соединяли уже известные нам вершины в единую систему, некоторые становились с вершинами вровень, некоторые заполняли бреши между хорошими стихами и стихами, казавшимися никакими, проходными, обнаруживая прочность монолитной кладки, единство судьбы и мировоззрения.

\* \* \*

Мне довелось быть членом Комиссии по литературному наследию Слуцкого. А председателем ее был Евгений Александрович Евтушенко. И вот сидим мы в «предбаннике» ЦДЛ, и Болдырев раскладывает перед нами откопанные в черновых тетрадах очередные шедевры.

- Юра, — спрашивает Евтушенко, — сколько же их там?
- Наверное, тысячи две, — отвечает Болдырев.
- А очень хороших?
- Да не меньше пятисот.
- Так не бывает!

Но так было. И это был уже 87-й год, и стихов этих было действительно много, и были еще и другие, те, что выпустили в печать инвалидами, которым предстояло восстанавливать обломанные руки и обрубленные ноги.

Интересно сравнить два поэтических дневника, которые вели эти два современника.

Вот дневник Евтушенко: Куба, Америка, станция Зима, Италия, Испания, сплав по Лене, Братск, Париж.

Слуцкий после войны словно не ездил никуда. Переезжал из одной снимаемой комнаты в другую (есть свидетельство самого Бориса Абрамовича, что московских жилищ он насчитал двадцать три), ходил в журналы, искал работу, переводил коллег, хоронил коллег. Словом, в одном дневнике полно внешних событий, а главное, внутреннее: «Я — тут. Был, видел, воспел или проклял». У Слуцкого внешних событий — одна война, и потому с нею — всю жизнь. Но всю — по-разному. Один — дневник артиста, даже когда что-то происходит с ним самим, он как-бы чуть-чуть, но непременно в образе. Слуцкий всегда остается самим собой, он даже нарочито избегает соблазна легкости, свойственного поэтам желания блеснуть, станцевать на лезвии таланта. Тяжелая работа познания самого себя через обстоятельства. Начинал, поставив себе «Памятник», а в 73-м без страха и кокетства признал себя автором одного-единственного стоящего стихотворения:

Про меня вспоминают и сразу же про лошадей  
Рыжих, тонущих в океане.  
Ничего не осталось: ни строк, ни идей,  
Только лошади, тонущие в океане.

\* \* \*

Слуцкий и Самойлов — отдельная тема. К ней подступались многие, в том числе и сам Самойлов, но пока эта тема — может быть, одна из самых интересных во всей поэтической эпохе первой оттепели, — не нашла, на мой взгляд, достойного исследователя. В свете сказанного выше интересно сравнить их отношение к ненапечатанным стихам. Самойлов свои не прошедшие в печать стихи, как мне кажется, недолюбливал. Когда по прошествии времени кто-нибудь из поклонников, таких, как я, с железно оттренированной теми годами памятью на стихи, напоминал их ему, Давид Самойлович от них отмахивался, и в более поздние книги просто не включал. Я до сих пор помню два или три, так в книги и

не попавшие. У Слуцкого этот непроходимый запас был как минимум равен напечатанному. Поэтому, когда появились одно за другим их первые «Избранные», в самойловском все любимые вершины были на своих местах, география сохранялась. У Слуцкого, словно сработанный неустанными кораллами, поднялся из океана новых очертаний материк. Я, любивший обоих, одаренный дружеским отношением и того и другого, в тот час как бы заново пересмотрел приоритеты и — теперь уж, видимо, навсегда — отдал предпочтение Слуцкому. Поэтому, возможно, то, что я хочу сказать дальше, на первый взгляд прозвучит кощунством.

Пушкинское «поэзия должна быть глуповата» — Самойлову в кайф, он сам мудр, и легок, и крылат. Слуцкий это отвергал с порога. Поэзия была работой, делом жизни — какое там «глуповата»! Шампанское и спирт, воздухоплаватель и каменотес, все никак не решаюсь выговорить: Моцарт и Сальери, только ровесники... Общая юность, общая война, общие друзья, общая память. Только в понятие «моцартианства» в пятидесятые и до конца семидесятых входила не только легкость, но и проходимость, а «сальеризм» не был оснащен inferнальностью и ядом. Но алгебра и вправду была не менее жизненно необходима, чем гармония.

Они такие пленительно разные, что особенно хороши, когда общие по теме стихи, написанные в одни годы, ставишь рядом:

Последнюю усталостью устав,  
Предсмертным ожиданием охвачен... —

Слуцкий,

Жаль мне тех, кто умирает дома.  
Счастье тем, кто умирает в поле... —

Самойлов,

И мрамор лейтенантов — фанерный монумент  
Венчанье тех талантов, разгадка тех легенд... —

Слуцкий,

Они шумели буйным лесом.  
В них были вера и доверье... —

Самойлов.

А что Слуцкий любил рассуждать, кто из писателей на какое воинское звание потянет, в чем его почему-то упрекает Рассадин,

так ведь хочу напомнить, что и Самойлов ранжиров не чуждался. Придумал поэтическую единицу измерения в «один мандель» (так и произносил вопреки Коржавину) и года два развлекался, прикидывая, кто из коллег на сколько манделей потянет. Между прочим, о себе и Слуцком говаривал: «Мы с Бобой потянем манделя на три с половиной».

Самое, наверное, существенное их отличие, определяющее многое в их отношении друг к другу, было то, что у Слуцкого чувство юмора если и наличествовало, то было как минимум весьма своеобразным, хотя и ухитрился после смерти поэта неутомимый Болдырев напечатать его книжку в «Библиотечке „Крокодила“». Самому Слуцкому это и в голову не пришло бы. Что касается Самойлова, то и в жизни, и в стихах чувство юмора он имел безупречное, то есть в том числе не чуждое и самоиронии.

\* \* \*

В 1957-м мы со Слуцким снимали две соседние комнаты на Чистом переулке, в квартире старого артиста Ивана Романовича Пельтцера, отца Татьяны Пельтцер. Вернее, снимала мама, я тогда уже был в экспедиции.

Любопытно проследить, как отразилось это общежительство в надписях на книгах Слуцкого, подаренных матери тогда и позже:

«Память» — 1957-й:

«Жене Ласкиной — лучшей из моих 23-х соседок и не только поэтому».

«Сегодня и вчера» — 1961-й:

«Евг. Сам. Ласкиной — председателю потребительской коммуны, в которой я состоял два месяца».

«Работа» — 1964-й:

«Е. С. Ласкиной, возглавившей единственный колхоз, в котором я состоял («Председательше»)»<sup>1</sup>.

«Современные истории» — 1969-й:

«Евгении Ласкиной в знак признания ее заслуг перед родной словесностью. Может быть представлено вместо справки». Подпись: «Современный историк».

«Доброта дня» — 1974-й:

---

<sup>1</sup> Тогда хитом был фильм «Председатель» Нагибина и Салтыкова, отсюда и «Председательша».

«Дорогой Жене — с благодарностью моей и всей нашей семьи за то, что в трудное для нас время она оказалась настоящим человеком на настоящем месте. Борис Слуцкий. Накануне 75 года».

\* \* \*

В том же 1957-м году он и женился, первый и единственный раз в жизни, на Тане Дашковской и двадцать лет, до самой ее безвременной кончины, был трогательным, заботливым и нежным мужем. Считают, что Танина смерть подтолкнула Слуцкого к болезни и немоте. И, наверно, так и было. Таня была смазкой на железных колесах, соединявших механизм Слуцкого с механизмом его времени. И когда жены не стало, Слуцкого заклинило, колеса перестали вертеться, механизм остановился. Еще целых восемь лет сердце продолжало биться, но оно было не в силах сдвинуть его с мертвой точки. Слуцкий был жив, но не жил, то есть не писал стихов, не виделся с людьми, изредка отзывался короткими безличными записочками на письма. Получил такую и я в ответ на восторженное письмо по поводу только что вышедшего «Избранного».

После нескольких клиник жил он у брата Ефима в Туле. Брат был человек замечательный — один из крупнейших советских специалистов по стрелковому оружию, автор исследований, книг, наставлений, — глуховатый, как многие оружейники, очень похожий на своего старшего брата и нежно и преданно его любивший. Ефима Абрамовича не стало в 1997 году. А двумя годами раньше ушел из жизни Юра Болдырев, саратовский книжник и московский литератор, которому литература обязана тем, что именно он отрыл, очистил и отдал людям материк поэзии Слуцкого. Юра сам был прекрасным критиком и эссеистом, но делом жизни его стал трехтомник Слуцкого, который он выстрадал в буквальном смысле слова.

Трехтомник вышел в 1991 году. Он дал нам наконец возможность увидеть весь масштаб сделанного Слуцким. Я не решился бы сравнить трехтомник с современным архитектурным ансамблем. Слуцкий в трехтомнике не архитектор, а каменщик, мастеровой, даже когда обращается к мирозданию и миротворению. Его архитекторы — Бог и Поэзия, и им он посвящает свою ежедневную тяжкую кладку. И в этом его смирение и его гордыня — его вера в то, что именно Бог Поэзии дал ему ни на кого не похожую сноровку, манеру, свой голос, свою хрипловатую мелодию.

Так сложилось, что позвоночником нашего поколения, его кальцием — были стихи. Конечно, у каждого свои, и все-таки во многом общие. Иногда это нам мешает, подменяет мысль уже готовой ее формулой. Не без стыда, например, вспоминаю, как, шагая в многотысячной толпе демонстраций 90–91-го годов, я чуть не со слезами повторял Маяковского: «Я счастлив, что я этой силы частица, что общие — даже слезы из глаз». Попробуй меня сегодня вытащить на такую прогулку...

Таких формул за жизнь накопились десятки. От чего-то они нас защитили, оградили, а в чем-то зашорили и стреножили. Мы с трудом отдаем себе отчет, что на дворе новое время, с иным масштабом поступков, и когда в душевной сумятице вываливаем на бумажный лист свой испуг перед временем и неспособность найти в нем свою тропу, я мысленно возвращаюсь к чеканной, «тяжелозвонной» поступи Слуцкого, выверяя по нему душевный ритм.

Вы только подумайте: на каждое напечатанное стихотворение у Слуцкого приходилось как минимум два ненапечатанных, причем зачастую эти подспудные были лучше, точней, бескомпромиссней по отношению к себе и времени. И Слуцкий это знал. Но в нем нет ни уныния, ни отчаяния, он торит и торит свою личную дорогу, лично отвечая за качество работы. Рядом с этим рыхлость и невнятность мысли, истерика и остервенелость, которые мы без стыда, сырыми, непропеченными выносим на лист и на площадь, — кажутся такой мышшиной возней. Нам все время хочется к кому-то прислониться, в то время как он — один и сам готов отвечать за слова и дела: стихом, совестью, судьбой.

Мне когда-то пришло в голову, что великая поэзия — это запечатленное дыхание: не в смысле ритма или размера, а в смысле обескураживающей невозможности прочесть это иначе, чем написал поэт.

Читайте Слуцкого — очень помогает правильно дышать!

---

*В. Кардин*

## «СНОВА НАС ЧИТАЕТ РОССИЯ...»

(Борис Слуцкий и его время)

Это знакомо многим: вдруг настигает чья-то строка, двестишье, строфа. И не отступает, преследует, раз за разом прокручивается в памяти. Пока так же непредвиденно не исчезнет сама собой. Или не натолкнет на размышления о чем-то оставшемся позади, о пройденном, как говорится, этапе.

Наступили, однако, времена, когда «пройденные этапы» тревожат не менее грядущих, а удобный метод аналогий все чаще обнаруживает свою недостаточность. Особенно когда речь заходит о трагической судьбе, и трагедия эта не безотносительна ко времени, когда она разыгралась.

Преследующее меня двестишье звучит так:

Если зовет своих мертвых  
Россия, значат — беда.

Слова эти принадлежат не тому поэту, о котором я сейчас хочу писать. Для эпиграфа они не годятся. Связь между ними и тем, что предлагается читательскому вниманию, не столько прямая, сколько субъективная. Могу настаивать на бесспорности фактов, сохранившихся в памяти. Но трактовка не свободна от симпатий и антипатий. Попытаюсь, однако, убедить в ее обоснованности. В значительности жизни Бориса Слуцкого и его поэзии.

После первых публикаций, после статьи И. Эренбурга в «Литгазете» к Слуцкому пришла известность.

По-моему, он был к этому не готов. Семь лет перебивался, вначале получая грошовую пенсию инвалида Отечественной войны. (Инвалидность надлежало периодически подтверждать; Слуцкий, как и многие, не хотел терпеть унижение постоянных переосвидетельствований и в конце концов махнул рукой на пенсию.) Жил на случайные гонорары от переводов. Не имея пристанища, скитался по углам.

Вынужденное бродяжничество невольно продолжало фронтovou бездомность, неприкаянность. Одновременно шло постижение



«важных сторон», которые, как заведено было считать, не должны привлекать поэтов. Слуцкий же их постигал, не бросая никому вызова. Лишь чувствуя свою прямую причастность к этим людям. Скорее к ним, чем к коллегам.

Летом пятьдесят шестого года Слуцкий снимал комнату на Тверском бульваре. Ту самую: «У меня была комната с отдельным ходом. Я был холост и жил один».

Мы были едва знакомы. Я недавно демобилизовался, начал печататься, получил первые подзатыльники. Возможно, они и вызвали сочувственный интерес Слуцкого ко мне. При одной из первых встреч он спросил: убедительна ли статья Эренбурга? Я сказал, что мало знаю его стихи. Тогда последовало приглашение на Тверской. Но не на вечерний час, а среди дня.

— Нам хватит тем допоздна, — заверил Слуцкий.

Первое впечатление от него не вязалось с образом поэта. Рыжеусый, коренастый, мрачноватый, он походил на ответработника районного звена откуда-нибудь с родной своей Харьковщины. Говорил отрывисто, категорично. Вот-вот начнет отдавать команды.

Но дальше такой предкомандной стадии не шло. Напротив, в разговоре мягчал, умел сосредоточенно выслушивать, не спеша соглашаться или оспаривать.

Не знаю, как другие, но я не сразу почувствовал притягательность Слуцкого, не сразу понял, почему к нему тянутся самые разные люди, почему дорожат его советом.

И только постепенно попадал под обаяние этого человека с живым и сильным умом, очень начитанного, много знающего, напряженно думающего, но менее всего склонного поражать собеседника, выглядеть оригиналом, глушить эрудицией.

Короче говоря, предложение Слуцкого провести с ним полдния и вечер вызвало у меня не столько энтузиазм, сколько легкое смущение.

Он мгновенно это уловил и вдруг улыбнулся с мальчишеским озорством и простодушием, не вязавшимся с непререкаемым тоном, в каком было сделано приглашение.

И я отправился в гости.

Московские квартиры тех лет были загромождены всевозможной рухлядью: продавленные кресла, колченогие обеденные столы под убогой клеенкой, ветхие шторы, ширмы с выцветшими драконами, дряхлые буфеты-мастодонты. В квартире, снятой Слуцким, имелась особенность: закуток, образующий вторую комнатенку, отделялся от первой не дверью, а невысокими резными створками.

Слуцкий сказал, что у него много не напечатанных еще стихов, он дает их читать желающим. И положил передо мной толстую потрепанную канцелярскую папку. Но прежде чем развязать тесемки, учинил нечто вроде допроса. Потом я убеждался не раз: это обычная его манера. Не дипломатическая беседа о том о сем, но в лоб, с напористой последовательностью поставленные вопросы. Он хотел знать, кто сидит перед ним. Как этот человек живет, чем дышит. Не праздное любопытство, но острый, несколько деловой даже интерес к любому. Удивительная веротерпимость, желание понять и чуждые ему взгляды, вкусы. Переубеждать он, по моему, не очень любил, не стремился к дебатам. Зато всегда старался прийти на помощь.

Он сокрушенно покачал головой, услышав, что я не выслужил офицерской пенсии. Будет трудно, периоды непечатания неизбежны. Да, и после XX съезда...

Он оставался вне эйфории, охватившей тогда многих. Он начал десталинизацию года два назад: в папке лежали «Бог» и «Хозяин». Но не ставил их себе в заслугу, не гордился досрочным прозрением. Впрямь ли оно досрочное?

Совершавшееся с нами и вокруг нас после XX съезда было беспримерным. Но уже рождалось недоумение. Нигде не напечатанный, но повсеместно читанный доклад Н. С. Хрущева вызывал бесчисленные вопросы, предоставляя людям в полутьме искать на них ответы.

Об этом мы тоже говорили со Слуцким. Он старался сохранять спокойную сдержанность, словно боясь новых разочарований. Слишком много накопилось их в нашей жизни.

Со школьной скамьи Слуцкий, как известно, дружил с Михаилом Кульчицким. Вместе учились в Литинституте. Кульчицкий, по убеждению Слуцкого, самый одаренный из поэтов-сверстников, пал под Сталинградом. «Пропал без вести» — сообщили родным<sup>1</sup>.

Эта формулировка, и вообще настораживающая, по отношению к Кульчицкому звучала особенно недоброжелательно. Его отец некогда служил офицером в царской армии и был арестован в советское время. В 1942 году он, правда, погиб в гитлеровском застенке. Но какое это имело значение?

---

<sup>1</sup> Впоследствии мать получила «похоронку», а имя младшего лейтенанта Михаила Кульчицкого высечено на стене Пантеона на Мамевом кургане. — *Примеч. сост.*

Слуцкий тщетно пытался напечатать немногие стихи, оставшиеся после Кульчицкого, добивался формулировки: «Пал смертью храбрых».

Воспоминания о Кульчицком, весь разговор исподволь готовил меня к стихам, лежавшим в папке Слуцкого. Они, я увидел, вышли из-под пера человека, в упор смотревшего на мир и без малейшей расслабленности взиравшего на самого себя.

Так не принято говорить о стихах, но у меня тогда возникло чувство, будто я читаю нечто близкое к отчету. Автор строго и вполне конкретно хотел объяснить людям, себе самому все, что он делал и что делалось окрест. Этот стиль, пожалуй, не очень точно назовут «прозой в стихах». Одни такую «прозу» станут хвалить, другие — бранить.

В папке мне не повалось ни одного лирического стихотворения. Война, быт, человеческие судьбы на трудном изломе, исторические катаклизмы.

Ни следов подражательства кому-либо, ни ученичества. Почти не печатавшийся еще Слуцкий годами изо дня в день обращался к тем, кто квартировал «рядышком», чтобы вставить слово в общий разговор. Или, вернее, в разговор, которому надлежит быть общим. Это слово — грубоватое, шероховатое, сугубо разговорное. Обычность лексики сообщала необычность стиху.

Поэзия его поражала прямоотой выражения, точностью сформулированной мысли. Мысль набирала размах, энергию. Но чувство не спешило выплеснуться. Эмоциональное воздействие на читающего осуществлялось исподволь. Это воздействие я испытал не с первых минут.

Слуцкий чем-то занимался, скрывшись за узорными створками. Иногда входил, глядя на меня, на стопку прочитанных стихов. В какой-то момент подвинул ко мне настольную лампу — комната была темновата и днем. Спросил, как я отношусь к пельменям, и принялся их жарить на электрической плитке. Не варить, а именно жарить. Достал водку, мне налил стакан, себе — на доньшке. Оказывается, он не умел пить — быстро хмелел.

Озадачил меня вопросом: нет ли провинциальности в его стихах?

Я не сразу сообразил, о чем речь. Видимо, он опасался, что приверженность к житейской прозе, ее негромким подробностям может восприниматься как провинциальность, «пережитки» харьковского детства.

И в этот первый совместно проведенный день, и в дальнейшем меня удивляло отсутствие в нем самонадеянности, столь распространенной среди его собратьев. Самолюбие имелось. Но самолюбие труженика, работника. Оттого и сомнения, желание узнать, что думают о его работе другие.

Когда Слуцкого через несколько лет введут в приемную комиссию Московского отделения Союза писателей, он прослышет самым снисходительным ее членом. Жесткие требования, будет полагать он, надо предъявлять только себе. К другим, прежде всего к молодым, лучше всего относиться снисходительно и с величайшей осторожностью: не обидеть бы невзначай, не затоптать бы талант.

Но к вечно умиленным покровителям молодых дарований его не причислишь. С годами делался тверже, зорче, непримиримее. Больше много развелось стихотворцев, умеющих и предпочитающих действовать локтями.

...И хотя в нем смыслу нет,  
с грамотешкой худо,  
может, молодой поэт  
сотворяет чудо?

Нет, не сотворит чудес —  
чудес не бывает, —  
он блюдет свой интерес,  
книжку пробивает.

«Свой интерес», «пробивание» — источник копящейся неприязни: «пробивные» все больше входят в силу.

К нему тянулись молодые поэты, дорожили его терпеливым вниманием. А если кто-то из учеников, еще вчера смотревший ему в рот, откровенно подражавший, возомнив, позволит себе наглость по отношению к недавнему кумиру, Слуцкий проявит ироничную невозмутимость.

Но обычно ироничностью не отличался, редко и не всегда удачно острил. Разговоры с приятельницами начинал неизменным вопросом: «Как, матушка, романы и адюльтеры?» Другого послали бы подальше. Слуцкому прощали. Уже следующие его вопросы не претендовали на остроумие. Он принимал близко к сердцу все происходившее с человеком. Пусть и малознакомым...

Позвонив, Борис спросил, известно ли мне имя такого-то художника. Я слышал имя впервые. Слуцкий посоветовал проявлять

большую любознательность и предложил через час встретиться у станции метро «Кропоткинские ворота».

В назначенное время он ждал меня вместе с итальянским литературоведом Витторио Страда, кончавшим тогда аспирантуру МГУ. Обращаясь к нам обоим, Слуцкий строго предупредил:

— Если картины понравятся, восторгайтесь. Не понравятся — вежливо молчите.

Мы двинулись по Метростроевской, через глубокую сводчатую подворотню, какие нередки в старых московских домах, вышли в запущенный двор, по грязной лестнице поднялись на третий этаж.

Слуцкий перехватил мой смущенный взгляд и заверил, что Страда — «свой» иностранец, привыкший к перекосам нашей жизни:

— В конце концов, итальянский неореализм невозможен без замусоренных дворов и загаженных лестниц...

Художник и его жена мне чрезвычайно понравились — милая скромная пара. Картины, по преимуществу зеленоватые, модернистского толка натюрморты, понравились не шибко. Я молчал, Витторио Страда восхищался. Слуцкий солидно похваливал.

Когда вышли на улицу, он укоризненно поглядел на меня.

Мы гуляли по бульвару. Страда рассказывал о своей диссертации «Политика ВКП(б) в области литературы в 30-е годы».

Слуцкий с пониманием отнесся к нескольким странностям научным интересам литературоведа, приехавшего с берегов Средиземного моря. Разумеется, пояснил он, для Итальянской компартии полезен такой опыт, на ошибках учатся.

Его действительно занимала деятельность Итальянской компартии в случае ее прихода к власти. Хотя, как мне казалось, такая перспектива пока не обозначилась.

В день, о котором я сейчас пишу, Слуцкий, как минимум, решал три задачи.

Прежде всего хотел ободрить способного художника, не избалованного вниманием МОСХа. Во-вторых, показать Витторио, что у нас имеется живопись, отличающаяся от официально узаконенных полотен. Третья задача преследовала, видимо, просветительские цели, и я выступал объектом просветительства.

Не стану утверждать, будто мы были сердечными друзьями. Между нами установились ровные товарищеские отношения. Тем большей неожиданностью для меня явилась его долгая ночная исповедь.

Мы шли с Ленинского проспекта (Слуцкий получил комнату в коммунальной квартире) до Колхозной площади, где жил я.

Слуцкий говорил о том, о чем разговаривать — мне доподлинно известно — избегал. И вдруг все выложил не самому близкому приятелю.

Может, не совсем вдруг?

Я уже знал эту его привычку: гуляя, он останавливался, иногда замолкал на полуслове, иногда стоя продолжал развивать мысль. Почему-то ему надо было время от времени останавливаться. Словно хотело переvestи дыхание.

Сколько раз он останавливался на том долгом пути через пустую ночную Москву?

Гнусная кампания против Пастернака уже была в прошлом, но не шла из памяти. После XX съезда делать грязные дела в литературе только лишь руками софронных становилось «несолидно». Среди молодых, конечно, хватало «боевитых». Однако для громкой политической акции желательны были и писатели талантливые, с безупречной репутацией. Кроме того, предполагалось: замаравшись сейчас, они и впредь не станут ершиться. (Именно этой целью — любой ценой замарать, опорочить, сломать — и руководствовались, принуждая честных писателей сочинять и публиковать покаянные письма по вздорным чаще всего поводам, из-за публикаций за рубежом и т. д.)

Борису Слуцкому позвонили из парткома: во исполнение долга коммуниста он обязан заклеить Пастернака на собрании московских писателей. Таково партийное задание.

Сейчас опубликован полный текст всех тогдашних выступлений и нетрудно установить меру ретивости каждого выступающего. Речь Слуцкого — с этим согласились все — самая сдержанная. Он тщательно выбирал слова, стараясь смягчить удар.

Обстоятельно рассказывая мне о собрании, Слуцкий не искал оправдания. Однако хотел понять — как с ним стряслось такое. Почему он, стремившийся думать и поступать самостоятельно, оказался пешкой в грязной игре?

В поисках объяснения он сказал (я отчетливо помню):

— Сработал механизм партийной дисциплины.

Видимо, ему представлялось, что мне это внятно.

Мы оба вступили в партию на фронте, когда немцам до Москвы было куда ближе, чем нам до Берлина, и пребывание в правящей

партии не сулило преимуществ. Разве что возрастала степень личного риска, — тобой могли заткнуть любую дыру.

Люди устремлялись в партию, повинуюсь жертвенному порыву, желая сблизиться, плотнее объединиться.

Среди вступающих было немало бойцов и офицеров с «нежелательными» биографиями. На такое смотрели сквозь пальцы, даже когда знали, что этот — сын священника, этот — «кулака», этот — «врага народа». Война если и не излечила от анкетомании, то все же ее ослабила. И это обнадеживало.

На фронте, да не покажется странным, откровенность значительно превышала довоенный уровень. Бойцы из крестьян не скрывали надежду на ликвидацию колхозов. Надежда укреплялась по меньшей мере двумя обстоятельствами. Гитлер сохранил колхозы на многих оккупированных землях, — ему явно пришла мысль по нраву такая форма порабощения русской деревни. И второе. Стоило нашим войскам перейти государственную границу, и каждый непредубежденно глядящий вокруг убеждался: разоренный войной закордонный мужик, как правило, благополучнее нашего колхозника мирного времени.

Единодушные порыва вступающих в партию не исключало различий в понимании своего долга и своего места. На войне и в будущей послевоенной жизни. Мой ближайший фронтовой друг (мы дружим поныне) стал коммунистом в 1942 году; в 1943-м его назначили комсоргом стрелкового батальона. («Давай, Ванюшка, поднимай народ в атаку», — говорил комбат.) Еще тогда Иван признавался мне: «„За Родину!“ — это я всегда. Но „За Сталина!“ пусть другие кричат».

Той ночью я рассказал Борису Слуцкому об Иване. Рассказал и о своем дяде, наотрез отказавшемся вступить в партию, несмотря на увещевания высокого начальства.

В 1917 году его, молодого офицера, солдаты избрали командиром полка и делегировали в Питер, чтобы он лично от Ленина узнал, чего добиваются большевики.

В Смольном Ленин беседовал с дядей Алексеем. И тот вступил в партию. Отличился на гражданской войне, выдвинулся.

В 1929 году он, носивший уже три ромба в петлице, положил на стол партийный билет — из родной деревни под Казанью дошли вести о раскулачивании земляков. Его лишили звания, уволили из армии. Он «затерялся в толпе», одно время жил в провинции и уцелел.

В 1941 году, будучи начальником штаба дивизии, вывел из окружения ее остатки, вынес знамя. Удостоился ордена Красного Знамени, получил пост в штабе одной из армий. Теперь его постоянно убеждали вступить в партию, — иначе-де не видать ему генеральских погон. Он неизменно отказывался...

— Мы не обладали таким опытом, — заметил Слуцкий. И, опровергая себя, добавил: — О том, как в тридцатые годы вымирала украинская деревня, знали даже харьковские пацаны...

— Но пацанов легко убедить: это — перегибы, «головокружение» у местных властей. Позже руководителей украинского ЦК и правительства объявили «врагами народа». Вчерашние пацаны вполне могли все грехи списать на них.

— То есть партия, Сталин ни при чем? То есть в конечном счете: все действительно разумно.

Война, несмотря на поражения, ошибки, снимала, приглушала сомнения.

Оглядываясь назад, мы убеждались, насколько глубоко въелось в наши души безмолвное повиновение партийным решениям. На фронте это не вызывало протеста. Но мы не догадывались, что, единожды отказавшись от своего «я», крайне трудно его потом вернуть. До поры до времени мы вообще не испытывали потребности в возвращении. Даже гордились тем, как просто растворились в пестрой массе, свято верившей в мудрость вышестоящих инстанций.

О нашей жизни и о смерти мыслящая,  
Все знающая о добре и зле,  
Бригадная партийная комиссия  
Сидела прямо на сырой земле.

Один спросил:

— Не сдрейфишь?

Не сбрешешь?

— Не струсит, не солжет, — другой сказал.

А лунный свет, валивший через бреши,

Светить луне усердно помогал...

... Так в этот вечер я был принят в партию,

Где лгать — нельзя

И трусом быть — нельзя.



Самое страшное: партия требовала именно трусить и лгать, меняла это в обязанность. Особенно после войны.

На фронте многое воспринималось иначе. В «Кельнской яме» — одном из самых известных, самых запомнившихся стихотворений Слуцкого 50-х годов — партийцы поддерживают дух многих тысяч пленных, согнанных на гибель в огромный овраг под Кельном. Партийцы, прежде всего они, опровергают сталинский принцип: «Сдавшийся в плен — предатель». Подпольный партком обладает высшей моральной властью в Кельнском овраге — «разрешает самоубийство слабым».

Столь безграничной властью наделяет не сама по себе принадлежность к партии, но готовность ее членов первыми принять смерть. Она, только она, кстати, дает право вести «политработу — трудную работу».

«От имени России» говорил политработник Слуцкий, от ее имени он хочет говорить в «новой должности — поэта», не подозревая, что спустя годы это право будет поставлено под сомнение, а его побратимам-стихотворцам, павшим на фронте, предъявят обвинения в недостатке патриотизма и в чрезмерной приверженности изжившим себя внациональным идеям Коминтерна, за кои они, как ныне установлено, и воевали.

Можно ли было предугадать, что дело примет такой оборот?

Сейчас, задним, разумеется, числом, я бы дал положительный ответ. К тому шло. К тому вела относительно откровенная смена вех, усиливавшееся год от года перерождение. Трусовость и многоликое ханжество теснили и норовили вытеснить подлинное мужество. Оно требовалось не столько для действий, поступков, как повелось на фронте, а для бесстрашного осмысления происходящего на наших глазах и происходившего в предвоенные годы, ибо великая трагедия войны смыкалась с трагедиями предыдущих десятилетий.

Приходится печально признать: большинство из нас к такому пониманию было не готово, и мы — каждый на свой лад — старались убедить себя: я не трушу, не лгу. Иные, впрочем, смекнули: у лжи, трусовости свои преимущества. И неплохо этим воспользовались.

На роль уполномоченных говорить «от имени России» претендовали многие, и нелегко было определить, кто действительно обладает правом.

Летом пятьдесят третьего года на улице в Ворошилове Уссурийском я разговорился со знакомым полковником, возглавляв-

шим партийную комиссию. Полковник слыл человеком непримиримо-принципиальным. Его тревожило брожение умов, начавшееся после смерти Сталина и ареста Берии.

«Партия держится на дисциплине и вере в вождя, — объяснял он. — Я работал когда-то вместе с одной киевлянкой. Ее мужа разоблачили как врага народа, она публично его заклеила и сделала аборт — не желала рожать от вражеского отродья. Личные чувства подчинила авторитету партии...»

Но одной лишь партийной дисциплиной все не объяснишь.

Мы с Борисом той ночью вспомнили нашу общую знакомую, вернувшуюся после семнадцати лет Колымы. Мужа и брата ее расстреляли, дочь посадили, а она сама, вернувшись в Москву, принялась хлопотать о восстановлении в партии. «Зачем?» — удивлялся я. Она ответила: «Мы всё начинали, нам за всё отвечать».

Наше со Слуцким поколение не относилось к начинавшим. Но мы приняли их идеи и идеалы. Их приняла значительная часть русской интеллигенции, очень многие на Западе. Партия никогда открыто от них не отрекалась. Более того, провозглашала как незыблемо святые.

Всем лозунгам я верил до конца  
И молчаливо следовал за ними...

Безропотность повиновения соединилась с почти религиозной верой в девизы. Стихотворение Слуцкого о лозунгах продолжается и завершается так:

...Как шли в огонь во Сына, во Отца,  
Во голубя Святого Духа имя.

И если в прах рассыпалась скала,  
И бездна разверзается немая,  
И ежели ошибочка была —  
Вину и на себя я принимаю.

Распространено мнение, будто трагедия Слуцкого, повлекшая тяжкую болезнь, вызвана злосчастным его выступлением против Пастернака. Я так не думаю. Если бы только это, дело, вероятно, не приняло бы роковой оборот. Не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься.

Кто из нас, людей фронтового поколения, прожил безгрешно? Не кривил душой, участвуя в каких-то навязанных сверху кампаниях, голосованиях, фальшивых выборах?

История Слуцкого — особая. Он признавал свою вину не только за речь против Пастернака, но и за другие «ошибочки», ведшие к общим бедам. Пусть они совершались помимо него, пусть партия не спешила брать на себя ответственность за них. По собственной воле, по велению совести он принял на свои плечи непомерный груз, который норовил отпихнуть едва не каждый.

На известный, зачастую риторический вопрос: «Кто виноват?» — он давал нетрадиционный ответ: «Я!»

То не картинный жест, который позволительно было бы назвать «Вызываю огонь на себя». Вообще жесты, позы не по части Бориса Слуцкого. Да и слишком серьезно признание, слишком нелегко далось, и нет уверенности, что будет понято. Делается оно не на публику, а прежде всего для самого себя в надежде вырваться из порочного круга и наконец, с опозданием приблизиться к здравомыслию, то есть к тому, что всего труднее и от чего по естественной человеческой слабости хочется уйти, уклониться.

Слуцкий нашел в себе силы и будет настойчиво пробиваться к правде, которую столь старательно и умело изгоняли. Ему принадлежит стихотворение о проводках правды, о самой процедуре:

...В гроб ли кладут или в стену вколачивают,  
Бреют, стригут или укорачивают:

Молча работают, словно прядут,  
Тихо шумят, словно варежки вяжут.

Сделают дело, а слова не скажут.  
Вымоют руки и тотчас уйдут.

Постижение правды — еще не искупление собственной вины. Но шаг в достойном, верном направлении. В конечном счете, он важен не только для того, кто его предпринимает. Правда рано или поздно должна стать всеобщим достоянием. Лучше, однако, чтобы рано и чтоб искали именно ее, а не отыгрывались на очередном козле отпущения.

Так уж повелось: привычнее, сподручнее кого-то пригвоздить, заклеить, нежели пробиться к подлинной правде. И всего труд-

нее прийти к выводу, что сами мы не так уж безупречны. Упорное неведение зачастую оборачивается потаканием злу, в чем до- нельзя не хочется отдавать себе отчет.

В этом отношении признание Слуцкого даже поучительно. Коль допустимо так говорить о строках, родившихся в душевных муках, в отчаянии.

Но, признавая свою вину за «ошибочки», поэт не намеревался стать мальчиком для битья, на коем срывают злобу, обвиняя во всех смертных грехах. Не намеревался, потому что это несправедливо и потому еще, что уводит от истинных виновников. Больно уж соблазнительно любые беды, неудачи и срывы объяснять происками злокозненных недругов или списать на инородцев. Слуцкий это хорошо понимает, готов к этому и сохраняет достоинство, ироническую невозмутимость.

Не торговавший ни разу,  
Не воровавший ни разу,  
Ношу в себе, как заразу,  
Проклятую эту расу.

Ему не суждено было дожить до резни в Сумгаите и в Фергане, до дней, когда копившиеся десятилетиями «ошибочки», прежде всего в экономике и культуре, привели к разгулу низменных страстей, к уму непостижимой блокаде Армении.

Нам предоставилась горькая возможность убедиться: за политические просчеты и ошибки расплачиваются отнюдь не те, кто их совершил, кто спесиво пренебрегал предостережением. Темная стихия, звериная ярость обрушиваются на людей, виноватых лишь в том, что они составляют этническое меньшинство. И кто-то всегда греет на этом руки, удовлетворенно хмыкает, лезет в национальные герои.

Никогда, даже в годы военного ожесточения, Слуцкий не опуссался до национальной ненависти. Пожалел пленного немецкого солдата, игравшего на губной гармошке, в вагон к пленным итальянцам, изнемогавшим от жажды, вкатил снежную бабу — пусть напьются растаявшего снега.

А я был в форме, я в погонах был  
И сохранил, по-видимому, тот пыл,  
Что образован чтением Толстого  
И Чехова, и вовсе не остыл.

Пыл, что неистово разжигали в годы войны, совсем иного свойства. Об этом сегодня нелишне вспомнить.

По-моему, Сталин был прав, настаивая: нельзя победить врага, не научившись ненавидеть его всеми силами души.

Только необходимо точно определить, кто именно истинный враг, что он собой представляет, какова социальная и психологическая природа фашизма, на чем он замешан, какими средствами действует на массы.

Гитлер воевал не против социализма как идеологии и государственной структуры. Он сам ходил в фюрерах партии, именовавшей себя национал-социалистской, рабочей. Он удовлетворял свои имперские вожделения, добывая «жизненное пространство» для великой расы, лишая пространства и самой жизни «неполноценные» народы — славян, французов. Это льстило немцам, пьянило их, поднимало ратный дух. Но, с другой стороны, возбуждало национальные чувства, стимулировало сопротивление «неполноценных».

Сталин убедился, насколько сильно, безотказно оружие, избранное Гитлером, и вознамерился бить его тем же оружием, направив благородную ненависть советских людей на немцев, как на нацию, искони, извечно враждебную России, ее народу. На немцев, составляющих вермахт, и заодно на немцев, живущих в Советском Союзе. Все они одного поля ягоды, все хороши. Не фашизм, развративший немецкое воинство, но немецкая нация — средоточие всех пороков, всех уродств.

Пропаганда ревностно включилась в дело. О фашизме почти забыли, антифашистский характер войны обходили и после ее завершения. Сталин отлично понимал: объективное истолкование фашизма, фашистской тирании способно вызвать нежелательные аналогии. Неспроста он воспротивился демонстрации у нас гениального чаплинского фильма «Великий диктатор».

С легкой руки И. Эренбурга, чья популярность во фронтовые годы была беспримерной, в обиход вошли «фрицы». Итальянцев, тех, кого пожалел Слуцкий, недолго думая окрестили «макаронниками».

Я касаюсь достаточно сложной проблемы и не надеюсь мимолетно решить ее, ответить на все вопросы. Но хочу по ходу разговора напомнить азбучную истину. Азбучные всего легче забываются.

Когда в обиход, в сознание целенаправленно внедряются «фрицы», то не надо удивленно круглить глаза, если ими начинается

цепная реакция и всплывают «хохлы», «армяшки», «кацапы», «жиды», «чучмеки»<sup>1</sup>... Но это — отнюдь не завершение реакции, а лишь начальный этап. Многие еще остаются впереди. Словечко «месть», внедрявшееся вместе с «фрицами» и «макаронниками», тоже обладает опасной, годами не иссякающей, никому ничего хорошего не сулящей силой...

Борис Слуцкий рано почувствовал неблагополучие, хотя и не предвидел всех его губительных последствий и проявлений. Не мог, вероятно, предвидеть.

В папке, которую я читал у него на Тверском бульваре, мне запомнилось стихотворение, датированное 1952 годом. Оно открывалось словами «Я строю на песке», а первая строчка заключительного четверостишия провозглашала: «Но верен я строительной программе...»

Сопричастность к «ошибочкам» возросла после вступления Слуцкого в партию, приобщения к политработе, и он их оправдывал, насилуя самого себя. Пока не дошло до критического порога. До трагической ситуации; ее тяжесть придавила Слуцкого, вынудила произнести позорную речь и — увидеть (не сразу) всю беду и весь позор, выпавшие тем, кто пытался цепляться за идеалы, уже видя, как изменяют им. Они, именно они оказались в положении аутсайдеров, а то и парий. Очень кстати пришелся спланированный на Старой площади и на площади Дзержинского разгул послевоенной бдительности. Об этом я еще скажу.

Но прежде несколько слов об идеале. Отнюдь не все в нем было изначально ложным и фальшивым. Фальшь и ложь шли от нетерпимости к любым другим идеалам, от жестокого подавления несогласных. Подавление сделалось главным методом утверждения партийной правоты. Неудивительно, что в монопольно правящую партию хлынула всякая нечисть; принципы негативного отбора помогали ей занять господствующее положение, насаждая политиканство, цинизм, карьеризм. Удивления достоин приток честных людей, пытавшихся удержать веру в идеал, некогда захвативший миллионы. Не ради румяного пирога и гром-

---

<sup>1</sup> Автор одной из литературно-критических статей упрекнул С. Каледина: тот в «Стройбате» «обогастил» русский язык «чучеком». Меня умилило трогательное неведение коллеги. «Чучмеки» вольготно бытуют в нашем языке со времен войны. Еще до С. Каледина это слово употребил А. Приставкин в своей «Тучке...».

ких титулов вступали в партию Твардовский, Некрасов, Слуцкий, Окуджав, Овечкин, Нилин, Любимов, Яшин, Тендряков... Сознавая свою обреченность, они грезили: над их могилами склонятся «комиссары в пыльных шлемах». Однако ореол легендарных комиссаров Булата Окуджавы поблек. Заправляли гонители и душители, шельмовавшие неугодных как «очернителей», «ревизионистов», «отщепенцев», «антипатриотов», создателей «враждебных народу произведений». Неугодных сживали со света, изгоняли из своей страны. И так во всех областях жизни, вплоть до армии. В начале 60-х под удар угодил Герой Советского Союза генерал Матвей Кузьмич Шапошников, отказавшийся расстреливать мирных сограждан в Новочеркаске...

Драма вечно травимого партийного меньшинства зачастую оборачивалась дискредитацией большинства, послушного аппарата. Аппарат считал: так тому и быть. Его не тревожили неумолимо роковые последствия мнимой монолитности, показного единодушия, официозной туфты, выдаваемой за правду...

Последнее время немало написано о фронтовых поэтах — товарищах и сверстниках Слуцкого. Какие только обвинения им не предъявляли: нехватка патриотизма, одержимость глобально-революционными идеями, безразличие к общечеловеческим ценностям. В состоянии суетливой запальчивости одна критикесса отнесла поэтов, близких Слуцкому, к комсомольской поэзии 30-х годов, предрекая ей потерю идейной привлекательности при сохранении, правда, историко-литературного значения.

Однако стихотворцы, о которых сейчас разговор, не имеют отношения к комсомольской поэзии 30-х годов, то есть к поздним Безыменскому и Жарову, ранним Алигер и Долматовскому. Они отвергали эту поэзию казенного оптимизма, для них, начинавших, она не обладала идейной привлекательностью и была лишена историко-литературного значения. Они совершенно по-другому видели мир и себя в нем. Они были, слов нет, наивными романтиками. Но догматиками не были. Прочитайте «Первую треть» — роман в стихах, который писался Павлом Коганом накануне войны. Там защищается — ни больше ни меньше — «буржуазный гуманизм» (сцена избиения кукол-«буржуев»).

Не изведавшие и десятой доли того, что тем пришлось хлебнуть, сегодня свысока бросают: комсомольская поэзия 30-х годов! Словно Коган, Кульчицкий, Майоров сочиняли вирши типа: «Бухают краны у котлована...»

Им, тогдашним молодым, принадлежат решительно другие строки, не пробившиеся в печать.

...Мы кофены. Мы понимаем сами,  
Потомки викингов, преемники пиратов.  
Честнейшие — мы были подлецами,  
Смелейшие — мы были ренегаты.  
Я понимаю все. И я не спорю.  
Высокий век идет высоким трактором.  
Я говорю: «Да здравствует история!» —  
И головою падаю под трактор.

Так писал восемнадцатилетний Павел Коган еще в 1936 году. Вряд ли они понимали все. Но кое-что уже распознали, силились понять и нередко приходили в отчаяние. Старались с ним справиться, но это далеко не всегда удавалось.

Когда официально обласканные стихотворцы захлебывались от восторгов и энтузиазма, молодые, никем не признанные и нигде не печатаемые поэты писали о расстрелах, крови, вшах, о человеческих лицах, изуродованных пулей или осколком.

В пятнадцатой аудитории Института истории, философии и литературы, что помещался на далекой окраине Сокольников, Д. Самойлов читал стихи о раненых, умирающих на «вокзале тифозном», Б. Слуцкий — своих «Инвалидов» — о парижском доме для калек мировой войны, для «гнусных рож».

Из всех стихотворений, прочитанных тогда, за год до Великой Отечественной, сильнее всего, пожалуй, поразили эти «Инвалиды». Своей жестокой необычностью, своей непривычностью для времени, словно бы не желавшего вглядываться в тревожное завтра, сознавать драматизм сегодняшнего дня, помнить трагедии недавнего прошлого.

Теперь нам известно, что они — далеко не единственные в литературе, кто жил, писал с ощущением беды и отвергал участие в сотворении сладостных легенд, триумфальных гимнов. Но у них был невелик жизненный опыт. Тем примечательнее их восприятие былого и настоящего. Внутреннее, не всегда осознаваемое и не обязательно прямое родство с Платоновым и Булгаковым, с Мандельштамом и Ахматовой.

Я не пытаюсь «пристроить» тогдашних молодых поэтов в высокий ряд и тем поднять их акции. Такие объединения, присоединения, как правило, искусственны и напрасны. Хочу лишь еще раз



напомнить о чувстве обреченности, рано пробудившемся у этих поэтов, почти неизменно им сопутствующем. Многих ждала смерть на войне, и они не пытались с ней разминуться, воспринимали как должное, на роду написанное.

Слуцкий уцелел на фронте, узнал такое, что достается только на войне. Предстояло осмыслить и этот беспримерный опыт, и давние предчувствия, и лозунги, которым он верил на фронте, заставлял себя верить во имя Победы. Противоречивость лозунгов, а то и их фарисейство в предвоенные годы (чего только стоит сталинское угодничество перед Гитлером) снимались — насколько возможно — войной против Гитлера. Она сводила к минимуму внутренние терзания. На кон была поставлена судьба Родины. Прием в партию на фронте — средство повысить боеспособность части. Не больше, но и не меньше того.

Могли ли мы предвидеть, что нас ждет участь побежденных победителей!

Слуцкому принадлежит горькое открытие:

Когда мы вернулись с войны,  
Я понял, что мы не нужны.

Не только не нужны — нежелательны. Волны арестов перекачивались по стране, одержавшей Великую Победу. В лагеря и тюрьмы отправляли партизан, пленных, подпольщиков, вчерашних фронтовиков. Неприкаянно колесили по стране бывшие солдаты и офицеры, ища крова, работы и частенько наталкиваясь на равнодушные чиновничьего взгляда. Кромешный ад сражений им мнился теперь чуть ли не раем.

Безраздельно, авторитарно господствующую систему донельзя устраивали солдафонские методы. Они царили и в партии. Одна кампания сменялась другой, партийные инстанции изнемогали под сладостным бременем персональных дел, насаждали клевету, науськивали людей друг на друга. Надо быть слепцом, чтобы не видеть связь между, например, «ленинградским делом» и «делом врачей».

Посмертно напечатают бесщадные строки Слуцкого:

Люди сметки и люди хватки  
победили людей ума —  
положили на обе лопатки,  
наложили сверху дерьма.

Сталин издавна лелеял мечту о партии, подобной ордену меченосцев: замкнутая каста со строжайшей иерархией. Широкий приток в партию фронтовиков угрожал этой мечте. Иные фронтовики, несмотря на армейский закрут, набрались вольного духа. Его-то и вытравливали «люди сметки и люди хватки», образовав свой привилегированный круг — своеобразный церковно-рыцарский орден, невнятно именуемый «номенклатурой».

Что помогло рыцарям-«номенклатурщикам» одержать свою победу? Причин, вероятно, много. Не последняя среди них — сталинизм, растрепавший души, проникавший в глубины подсознания «людей ума».

Немцам было легче избавиться от наследия Гитлера, чем нам от сталинщины. При всем своем коварстве Гитлер откровеннее, его демагогия примитивнее. Он впрямую проповедовал расизм, не таил презрения к культуре и демократии, совесть именовал химерой. Сталин не отрекался от девизов революции, даже когда уничтожал революционеров, славил демократию и — строил лагерь. Осуществляя геноцид, распинался в приверженности к дружбе народов, интернационализму и т. д.

В папке Слуцкого, которую я читал у него дома, лежали антисталинские стихи — «Современные размышления», «Бог», «Хозяин» (Е. Евтушенко ошибается, утверждая, будто они написаны еще при Сталине. Они безусловно создавались после его смерти). Но антисталинизм этих стихов робок, их автор еще и сам не избавился от страха, о котором говорит, и не излечился от любви, в которой запоздало признается. Ему неприятен Сталин, внушавший ужас. Однако он еще «бог» и «хозяин». Эта неизжитая зависимость от «бога» и «хозяина», вероятно, тоже сработала, когда партком потребовал выступления против Пастернака.

Дисциплина дисциплиной, привычка «капель литься с массами» привычкой, но тут еще сыграла свою роль не преодоленная до конца мистическая вера: «наверху» ведают нечто нам неведомое, недоступное. Весь зал московского писательского клуба, весь до единого, проголосовал за резолюцию, клеймившую великого поэта.

И все-таки это было липовое, на ладан дышавшее единодушие. Не чета фронтовому. Наступало время разъединенности, бед, тревог, запоздалых личных прозрений. Каждый в одиночку решал свои проблемы в жизни, где двоедушие и цинизм становились нормой существования. В словах Слуцкого о рухнувшей скале, о

развершейся бездне, о взятой на себя вине нет и грана поэтического преувеличения. Он судил себя гораздо строже других и не признавал смягчающих обстоятельств.

От судьбы Слуцкий хотел одного — узнать день и место своей кончины.

А за что, я знаю и так,  
Об этом рассуждать неуместно.

Еще в ту ночь, когда мы дошли с Ленинского до Колхозной и прощались у кинотеатра «Форум», он вдруг сказал о неуместности нашего разговора. Именно о неуместности. Поэтому меня так резанула много позже прочитанная строка: «Об этом рассуждать неуместно» .

Когда увидели свет не печатавшиеся ранее стихи Слуцкого, бросилась в глаза неотступная, разными гранями поворачивающаяся мысль о самоубийстве. Например, стихи о японском обычае смертью карать себя за единожды допущенную трусость. Или стихи во славу самоубийства:

...Одним рывком — бросок в свободу,  
минуя месяцы и годы,  
минуя все огни и воды  
и медные трубопроводы.

Не знаю, что легче: покончить с собой или годами жить мыслью об этом, пока мысль не обретет все признаки навязчивой идеи.

Многие замечали, как Слуцкий, утратив потребность ораторствовать и вещать (она была ему не вовсе чужда на первых порах), начал драматичнее воспринимать личную свою судьбу, судьбы людей вокруг, не идеализируя ни себя, ни их. Это — закономерное движение: Слуцкий лишен эгоцентризма и неизменно демократичен. По-моему, неправомерно выводить эту демократичность из чего-то одного: из армейского прошлого, из причастности к литературной традиции, из разочарования в лозунгах. Вероятно и то, и другое, и третье, и еще что-то.

Идеи и идеалы изначально настаивали на демократизме. Да и лозунги его не отвергали. Его отвергала навязанная людям система, жизнь, обрекавшая их на бесправие и незащитность, делавшая униженными и оскорбленными. Слуцкий хотел быть по-этом этих людей и все более им становился.

Еще в ранние годы Слуцкий принял в свое сердце не предусмотренную лозунгами человеческую боль, чужую смерть, отчетливо увидел, что такое быть пленным или заключенным, травмированным и преследуемым. Не перечисляя названий, напомним лишь о стихотворении «Прозаики», сам ритм которого передает поступь конвоируемой колонны. Слуцкий верит в утешающую силу стиха. Рифмы и строчки не выпрямляют согбенные спины. Но ямб помогал вспомнить марш солдат к фронту, хорей — сочинить песню по заказу вора и получить от него в награду кусок сахара.

Ни в «лагерных» стихах, ни в каких иных Слуцкий не делил людей по анкетным признакам и не отмеривал соответственно свое сострадание. Вообще нет у него такого деления и нет придыхания ни перед кем. Он в общей толпе, в общей очереди: «Я желаю стоять, как все». Ни придыхания, ни упований на «нутрянную мудрость». К кому обращен его призыв: «Надо думать, а не улыбаться. Надо книжки трудные читать»? К себе самому, к кому угодно. Мысль, недоверчиво подвергающая все сомнению, спасет человека, не даст захлебнуться в потоках лжи, полулжи и пропаганды.

У меня сложилось впечатление — не только по стихам, но и по нашим с ним беседам, — что Слуцкий все же больше верил в чувство сострадания, нежели в «книжки трудные».

Это сейчас на всех перекрестках слышно о милосердии. Тогда слово такое забыли. Слуцкий его тоже не употреблял. Но он жалел людей. Не потому, что решил: так надо. В нем не угасла жалость, и количество людей, вызывавших ее, не шло на убыль.

Я не пытаюсь последовательно рассматривать многотрудный путь поэта, подъемы и спады на пути. Впереди книги о Борисе Слуцком, поэте, который вынес все отмеренные ему напасти, способные раздавить личность, загубить Божий дар. Они, авторы будущих книг, свободные от наших нынешних пристрастий, задумаются над тем, что такое беспощадность Слуцкого к самому себе, почему он годами казнил, так и не узнав облегчения от раскаяния. Но пускай не спешат. Уже и так столько благоглупостей наговорено относительно того, «отпускать» Слуцкому грехи или нет...

Самое, по-моему, прекрасное и трагическое в этой жизни — любовь Слуцкого. Она, прежде всего она, удержала его перед пропастью. А потом вплотную подтолкнула к ней.

Ни в молодые годы, ни позже у него не было любовных стихов. О женщинах разговоры он не вел.

Жизнь его резко изменилась после женитьбы. Женился он поздно, однако счастливо. Эта женитьба сблизила нас, благо у меня с самого начала сложились хорошие отношения с Татьяной.

Она отличалась от распространенного варианта писательской жены прежде всего тем, что не считала мужа гением. Перепечатывала на машинке стихотворения, могла скривиться, выказать, как признавался потом Слуцкий, самое натуральное пренебрежение.

Это шокировало некоторых его приятелей. Молодая женщина, инженер, проявляет неудовольствие по поводу творений уже признанного Мастера, окруженного учениками и почитателями.

Слуцкий спокойно реагировал на замечания жены. Ему нравилась ее чуть насмешливый тон, трогала ее забота, восхищала удивительная красота.

В обмен на свои комнаты они получили маленькую квартиру в неказистом доме застройки 30-х годов возле метро «Сокол». Дом принадлежал какому-то ведомству, звонить Слуцкому по телефону надо было через коммутатор. Но все это — пустяки, когда своя квартира, две разделенные коридором комнаты. Когда Таня хлопчет на кухне или стучит на машинке!

Смеясь, Таня однажды рассказала, как Борис с его вечной готовностью помочь каждому пытался ссудить деньгами Светлану Аллилуеву, пришедшую к ним в гости.

К Слуцкому тянулись и люди из верхних, как говорится, эшелонов. Делились с ним новостями, выслушивали его. Он был внимательным, вдумчивым, серьезным собеседником.

Каким-то ветром занесло в квартиру Слуцкого и дочь генералиссимуса, охваченную в те дни испугательным пылом. Она помогла Тане убирать со стола и мыть посуду. Охотно отвечала на вопросы об отце. Тогда Борис отважился:

— Вам, наверно, сейчас туговато в материальном отношении. Возьмите у нас в долг. Когда появится возможность, вернете.

Светлана Иосифовна отказалась от денег и заверила: она, ее дети вполне обеспечены.

— Иногда кажется, — сказала мне Таня, — что Борис хорошо, наверно, ориентируется в политике, но кое-какие житейские детали упускает из виду. Правда?

Борис действительно хорошо ориентировался в политике. Таню эти проблемы не слишком занимали. Чтобы она не скучала, разговоры на политические темы Слуцкий предпочитал вести во время прогулок.

Его не интересовали сплетни и сенсации. Он предпочитал повседневные факты, старался выстроить их в систему.

Когда один из близких сотрудников Хрущева сказал после 1964 года Слуцкому: «Я в этом театре больше не играю», — он понял далекий смысл этих слов, истолковал их.

Политик, не без увлечения и самодовольства, не без успеха игравший «в этом театре», отказывается от дальнейшей «сценической» деятельности. Он умен, циничен, честолюбив. Однако предпочитает, чтобы следующий акт разыгрывали без него.

— Выходит, нас ждут дурные времена, возможно, совсем дурные. Я вполне искренне предлагал Аллилуевой деньги. Не проводил политический зондаж. Но ее чрезмерное благополучие тоже чем-то тревожно. Нет ли связи между этим благополучием и следующим действием на сцене политического театра?

Слуцкий раньше многих уловил начало попятного движения. Предугадал его гибельность. Понял, насколько велики силы, стремящиеся к реставрации сталинизма.

Однако слишком соблазнительно было все списать на «отца и учителя». Немалое мужество понадобилось, чтобы признать:

Мировая мечта, что кружила нам голову,  
например, в виде негра, почти полуголого,  
что читал бы кириллицу не по слогам,  
а прочитанное землякам излагал.

Мировая мечта, мировая тщета,  
высота ее взлета, затем нищета  
ее долгого, как монастырское бдение,  
и медлительного падения.

Утопическая мировая мечта, как не однажды случалось в истории, увлекала высотой взлета, манила простотой воплощения. Но простота оборачивалась примитивностью, нигилистическим безразличием к истокам, корням человека и народа. Негр, овладев кириллицей, призван открывать соплеменникам глаза на жизнь. Этот вариант мировой идеи обречен уже потому хотя бы, что заранее нетерпимо исключал какие-либо иные идеи, излагаемые при посредстве кириллицы или любого другого алфавита.

Слуцкий признает неумолимую закономерность падения мировой мечты и более не держится за нее. Но восторга не испытывает. Люди обречены на поиски объединяющей идеи, которую не заменит никакая национальная, социальная, религиозная.

В строках Слуцкого ни злорадства, ни надрыва. Но печаль и поэтапная тревога.

Отказавшись от мировой идеи, «что кружила нам голову», всего легче отказаться от диалога с тем же негром. Хуже того — признать его недостойным быть собеседником: он черен, кириллицы не знает. Впрочем, и он может отвергнуть нас: мы — белые и не владем его языком.

Слуцкий страшился человеческой разобщенности — она ведет к вражде. Об этом писал из года в год. Есть у него и два стихотворения, объединенные названием «Московские негры». Не лучшие это стихи, созданы они, видимо, лет на десять раньше, чем стихи о мировой идее. Но чувство, наполняющее их, дорого стоит. Та самая любовь к «дальнему», над которой сейчас кое-кто неразумно потешается, не понимая, что без нее прольется кровь и «дальних» и «близких». Уже льется...

Не худо бы, кстати, вспомнить слова польского поэта о том, что людей объединяет не кровь, льющаяся в жилах, а кровь, льющаяся из жил.

Причины, побудившие Слуцкого снять дачу в Переделкине, мне сделались известны не сразу. Постепенно дошло: Тане из-за болезни крови рекомендовано жить за городом. Держалась она с обычной своей веселой естественностью. Борис был радушен, гостеприимен. Но минутами делался сумрачен, чаще замирал на прогулках.

Он много занимался переводами. Еще с послевоенных лет. Охотно вспоминал, как однажды в те полуголодные годы вместе с Самойловым зашел в какую-то журнальную редакцию. Там требовалось спешно перевести длиннущее стихотворение о Мао Цзэдуне. Секретарь редакции разделил подстрочник пополам и каждого переводчика посадил в отдельный кабинет. К вечеру они закончили работу. Но выяснилось, что в спешке не условились о стихотворном размере. В редакции это, однако, никого не смутило. Так и печаталось, перепечатывалось стихотворение: половина — ямб, половина — дольник...

Теперь он выбирал переводы, отвергая «любой земли фразеров и лгунов». Находил оправдание своей работе, видел в ней смысл. Это Арсений Тарковский воскликнул: «Ах, восточные переводы, как болит от вас голова!» Слуцкий в своей постоянной головной боли (следствие контузии) переводы не винил. Наоборот.

Работаю с неслыханной охотою  
Я только потому над переводами,  
Что переводы кажутся пехотою,  
Взрывающей валы между народами.

Когда Таня заболела, он переводил не только по этой причине. Дача, лекарства, врачи стоили бешеных денег.

Болезнь брала свое, хотя внешне Таня почти не менялась. Стала чуть бледнее. А Борис сделался еще внимательнее к ней, старался угадать любое желание, удовлетворить любую прихоть.

Иногда Таня сама отправляла нас гулять. Возможно, ей хотелось отдохнуть. Возможно, ей хотелось, чтобы отдохнул Борис.

Часами мы бродили со Слуцким по переделкинской роще. За Мичуринцем веселый светлый березняк переходил в смешанный лес. Однажды, взяв западнее, дошли до Баковки. В пристанционной аптеке, поразив воображение молоденькой провизорши, купили на двадцатку снотворных (оба мучились бессонницей).

Когда возвращались, Борис вдруг остановился и спросил, сколько надо проглотить таблеток, чтобы уже не проснуться.

Я на минуту опешил от вопроса, но лишь через много лет понял его неслучайность...

Слуцкий и прежде редко говорил о своих стихах, еще реже их читал. Однажды признался, что пишет в ящик.

Меня это донельзя изумило. Он всегда хотел публиковаться. Пусть редактора цепляются, обдирают углы и выдирают фразы. Но все должно лечь на редакторский стол, а не покоиться в столе автора.

Работой, делами других он интересовался по-прежнему. Обо всем выспрашивал, не довольствовался отговорками.

Сейчас, когда я восстанавливаю в памяти тогдашние разговоры, у меня возникает предположение, что о чем-то он расспрашивал по инерции. Думал совсем о другом, думал об одном.

На той стадии Таниной болезни он совершил нечто даже по нынешним временам почти фантастическое. В те годы — без «почти». Таню отправили в Париж, положили в гематологическую клинику, располагавшую препаратами, которых у нас нет.

Вероятно, это несколько продлило ее жизнь. Но не спасло.

На поминках Борис выпил стакан водки, потом — еще. И ни в одном глазу. Поднялся, отрешенно произнес:

— Соседский мальчик сказал: «Тети Тани больше не будет». Вот и все.



Стихи о Таниной смерти читать невозможно — такова беззаветность и самосжигающая власть чувства.

Мне легче представить тебя в огне, чем в земле...

.....  
Останься огнем, теплотой и светом,  
а я, как могу, помогу тебе в этом.

Он отходил, отделялся от жизни, отстранял себя от нее, «переобучался одиночеству».

Потом больница. Сперва 1-я Градская — для обыкновенного населения. Потом, благодаря хлопотам К. Симонова, Кунцевская — для «начальства».

После долгих больничных месяцев Слуцкого выписали. По моему, в том же состоянии, в каком положили.

Изредка он звонил, задавал два-три стандартных вопроса. От встречи уклонялся: «Как-нибудь потом...»

Однажды по телефону сказал: «Я уже не тот поэт, за кого меня принимают. Когда-нибудь в этом удостоверитесь...» И положил трубку.

Он переехал в Тулу к брату — отставному полковнику-артиллеристу. Помогал по дому: ходил в булочную, выносил помойное ведро, следил, как внучатый племянник готовит уроки.

Меж тем в журналах публиковались стихи. Преимущественно из папок, что лежали в столе. Или из толстых тетрадей, исписанных за два с половиной месяца после Таниной смерти.

Когда Бориса Слуцкого не стало, поток этот усилился. Его воистину выстраданное слово набирает мощь, и дерзким пророчеством звучит давняя, ожившая строка: «Снова нас читает Россия...»

Читает Пастернака, Цветаеву, Клюева, Мандельштама, Слуцкого, запрещенные прежде поэмы Ахматовой и Твардовского.

Читает поэтов, увидевших глубины народного бедствия, бесстрашно сказавших о том и тяжело поплатившихся за свое прозрение.

«Если зовет своих мертвых Россия...» Нет, сейчас она зовет их в надежде избежать новых трагедий.

*Из книги: В. Кардин. Где собака зарыта.  
М., 1991.*

## «С НАДЕЖДОЙ, ПРАВДОЙ И ДОБРОМ...»

В одной из статей Реми де Гурмона прочитал: «Крупный писатель всегда находится в становлении, даже после смерти — возможно, даже более всего после смерти. С ним никогда не бывает все ясно, и судьба его развивается от поколения к поколению». Прочитал и сразу подумал о Борисе Слуцком — о его прижизненном положении и о грядущей судьбе его стихов. Звезда его поэзии, как мне кажется, только начала по-настоящему восходить, но она движется на поэтическом небосклоне вверх и светит все ярче и ярче...

Назым Хикмет говорил: «Поэты ревнивы, как красивые женщины». Вот почему признание поэтов-современников немало значит. Недавно Александр Межиров принадлежащий к тому же, что и Слуцкий, фронтовому поколению, писал: «Вероятно, Я. Смеляков и Б. Слуцкий были последними перед нынешним промежутком крупными поэтами России». Поэты следующих, младших поколений говорят еще определеннее. «Теперь можно сказать то, что почему-то не принято говорить при жизни: назвать его великим, — это слова Евгения Евтушенко. — Да, я убежден: Слуцкий был одним из великих поэтов нашего времени». Я слышал выступления Владимира Соколова и Дмитрия Сухарева, они говорили то же самое: Слуцкий — самый большой поэт последних десятилетий.

Если сегодня еще не очень широк круг читателей и почитателей, понимающих масштаб и подлинное значение поэзии Слуцкого, знающих ее истинную цену, уверен, не за горами время, когда необъяснимо странным будет казаться, как это могли не видеть, не понимать в ту пору, когда он был жив-здоров, шагал по московским улицам, приносил в редакцию свои стихи, которым нередко приходилось публикации дожидаться в длиннющей очереди, а порой их и вовсе отвергали, когда диким будет казаться, что на вечерах поэзии шумными аплодисментами встречали не его, а других поэтов. Впрочем, так уже бывало — и на нашем веку тоже: какие-то фигуры, находившиеся при жизни в тени, потом выступали

вперед, вырастали, вызывали жгучий интерес, заслоняя былых кумиров. И будут те, кто придет нам на смену, недоумевать, почему замечательных художников не осаждали интервьюеры, не снимали кинооператоры, почему так мало сохранилось живых свидетельств очевидцев об их жизни. Разве не так случилось с Андреем Платоновым, Михаилом Булгаковым, Василием Гроссманом, на наших глазах превратившимися в классиков?

Слуцкий прозревал те времена — пусть, как ему казалось, еще не близкие, — когда будет восстановлена историческая и эстетическая справедливость, утвердится «гамбургский счет». Нет, при этом думал не о себе, не о судьбе своих стихов — во всяком случае, об этом не в первую очередь, — а прежде всего об общем порядке вещей, который должен непременно измениться так, чтобы все встало на свои места. Об этом одно из его стихотворений, опубликованное после смерти, при жизни, в «застойные» времена, нельзя было и помыслить его напечатать:

Долголетье исправит  
все долги лихолетья.  
И Ахматову славят,  
кто стегал ее плетью.

Все случится и выйдет,  
если небо поможет,  
долгожитель увидит  
то, что житель не сможет.

Начал вспоминать Бориса Слуцкого, а в памяти вдруг возникло другое, вроде бы к нему прямого отношения не имеющее. В начале 60-х годов Вера Смирнова делала доклад на обсуждении первых книг прозаиков фронтового поколения, вокруг которых на страницах печати уже завязались ожесточенные бои. Непонятно, почему доклад был поручен ей, не имевшей ни малейшего представления о фронтовой жизни, о действующей армии, о переднем крае. Правда, может быть, именно поэтому и поручили; легче и проще было обличать и осуждать, — и делала это она весьма решительно и уверенно. Доказывая, что повести Бондарева и Бакланова от лукавого, имя которому Ремарк, она уличала их героев в безыдейности, в том, что они погрязли в окопных буднях и совершенно не интересуются теми большими и героическими делами, которыми тогда жила страна. Авторы, заявляла она, исказили

реальный облик советских воинов. Подумать только, голос ее наливался металлом: на своем плацдарме герои «Пяди земли» газет не читают, радио не слушают! «И магазинов ТЭЖЭ там нет» бросил ей из зала реплику Григорий Поженян. Она не поняла и переспросила, он повторил громче. В зале зашумели, но докладчица все равно не поняла смысла реплики и продолжала нести всю эту постыдную околесицу. Смешно? Тогда все это смешным не казалось. «Окопная правда», «ремаркизм», «натурализм», «кочка зрелищия» — этим не шутили, «лейтенантская» литература и в устных выступлениях, и в печати атаквалась по всем критическим параметрам того времени, бой шел на уничтожение...

Нет, не случайно мне это вспомнилось — подобным нападкам подвергались с самого начала и стихи Бориса Слуцкого, атака на них шла с тех же позиций. У Слуцкого еще не вышла книжка, несколько стихотворений было напечатано в «Литературной газете», появились первые подборки в «Знамени», «Октябре», «Новом мире», какие-то стихи любители поэзии знали со слуха, а уже вокруг его поэзии закипели критические баталии. В меньшей степени, чем это было с прозой фронтового поколения, они выплеснулись на страницы литературной периодики, но накала достигли не меньшего. Правда, Слуцкого с самого начала признали и оценили некоторые крупные поэты старшего поколения. Когда в 1954 году Борис читал свои стихи на секции поэтов, Михаил Светлов сказал на обсуждении — и в этом не было ни вызова, ни желания кого-то уечь: «По-моему, нам всем ясно, что пришел поэт лучше нас». Ясно это было, конечно, далеко не всем. Даже среди тех, кто, в общем, доброжелательно отнесся к стихам Слуцкого, было немало людей, воспринявших слова Светлова как опрометчивое, непозволительное преувеличение, а уж противники были вне себя от негодования.

Следующая схватка произошла в январе 1956 года, когда на бюро секции поэтов стоял вопрос о приеме Слуцкого в Союз писателей. Казалось бы, дело было ясное и простое, тем более что у Слуцкого были весьма солидные рекомендатели: Николай Асеев, Павел Антокольский, Степан Щипачев. Рекомендации эти никогда не публиковались, а они небезынтересны уже хотя бы тем, что рекомендатели, предугадывая возможные нападки на гражданскую позицию Слуцкого, заранее выдвигают заслон именно здесь, упреждают они и вполне вероятное предложение отложить прием до выхода книги. Асеев: «С хорошим чувством рекомендую в

члены ССП Б. Слуцкого. Поэт Борис Слуцкий известен мне как талантливый человек с чистым сердцем и ясным взглядом на жизнь. Знаю его еще с литинститутских времен и после, когда он после фронтовой страды остался тем же строгим коммунистом и верным своей юношеской честности товарищем». Антокольский: «Борис Слуцкий значительно и остро талантливый поэт. Стихи его вполне своеобразны, богаты мыслью и большим опытом — жизненным, военным, общегражданским. Как известно, Слуцкому пришлось преодолеть немалые трудности, прежде нежели его стихи появились в печати, в журналах. Тем не менее за последние полтора года они печатались нередко и достаточно широко, так что по количеству и особенно по качеству напечатанного Борис Слуцкий может стоять в одном ряду с теми, кто является автором книги стихов. Не может быть сомнений в том, что книга стихов Бориса Слуцкого в скором времени действительно будет существовать реально и наверняка будет замечена». Щипачев: «Считаю Бориса Слуцкого одаренным и ярко самобытным поэтом».

Все это было на заседании бюро оспорено. Особенно свирепо против приема Слуцкого возражал один мало одаренный, но в ту пору весьма влиятельный в Союзе писателей поэт. Он злобно нападал на стихи Слуцкого, утверждая, что они насквозь проникнуты формализмом, а некоторые вообще политически вредны, что война предстает в них в неверном свете, к тому же у Слуцкого нет книжки и вряд ли будет — кто рискнет издать такие стихи. И все-таки после острой дискуссии в Союз Слуцкого приняли. Впрочем, это был не последний раунд боев вокруг его поэзии...

Все эти события, очень волновавшие «болельщиков» Слуцкого, происходили, когда я уже был знаком с Борисом. Познакомил нас Владимир Огнев, занимавшийся в «Литературной газете», где работал тогда и я, поэзией. Я попросил его, потому что стихи Слуцкого произвели на меня очень большое впечатление, просто покорили меня. Поразило меня первое же опубликованное его стихотворение «Памятник» — оно было напечатано в «Литературной газете» в августе 1953 года, до сих пор помню, с каким чувством потрясения читал его (потом, когда писал о поэзии Слуцкого, выяснил, что его первое стихотворение появилось перед самой войной в журнале «Октябрь», — это была единственная до «Памятника» публикация).

Как ни странно, фамилии автора «Памятника» я никогда прежде не слышал. Говорю: как ни странно, потому что с тех пор, как

осенью сорок пятого года оказался в Москве, я старался не пропускать ни одного вечера молодых тогда поэтов, которых позже стали называть поэтами военного поколения, — вечера эти проходили и в Политехническом, и в Литературном институте, и в Комаудитории МГУ, и во второй аудитории филологического факультета, и в университетском общежитии на Стромынке, еще в каких-то местах, сейчас уже не вспомню где. Читал все, что ими печаталось, вернее, что печатали, знал кое-что и ненапечатанное. С некоторыми поэтами был знаком. С довоенных времен с Сергеем Наровчатовым. Приятельские отношения возникли у меня с Семеном Гудзенко — близким это знакомство стало после того, как мы стали жить по соседству. Встречался с Давидом Самойловым, он после войны учился у нас на филологическом факультете, в «Комсомолии» — стенной газете филологов — были напечатаны его стихи, он читал стихи на вечере во второй аудитории — некоторые из них, до сих пор не опубликованные, я помню и сейчас. Знал я тогда еще не напечатанные стихи погибших на войне друзей Слуцкого — Михаила Кульчицкого и Павла Когана, мы их отыскивали для «Комсомолии». О книжках некоторых поэтов военного поколения я напечатал свои первые рецензии.

А вот фамилии Слуцкого, который, как я потом узнал, был «широко известен в узких кругах» еще в довоенную пору, до публикации «Памятника» ни разу ни от кого не слышал. Сейчас мне это кажется неправдоподобным, необъяснимым, но так было...

Для того чтобы понять, почему «Памятник» произвел такое большое впечатление (и не на меня одного, я слышал от самых разных людей — литераторов, и просто любителей поэзии, что фамилию Слуцкого они так же, как и я, запомнили, прочитав «Памятник»), надо представить себе, что происходило тогда в литературе. Очень нелегко ей жилось в ту пору запретов, проработок и политических ярлыков. Но особенно плачевным, поистине драматическим было положение молодых поэтов, возвратившихся с фронта.

«...Нам, тогдашним начинающим, — вспоминал потом Константин Ваншенкин, — уверенно внушали критики и редакторы — не все, разумеется, но многие [хочу тут заметить, что это не была «самодеятельность», такова была «установка». — Л. Л.], — что, мол, хватит, военная тема отражена, нужно отражать (или „отображать“) мирный восстановительный период. И кое-кто из наших сверстников бросил эту неблагодарную и такую ненадежную „тему“ и, конечно же, потерял себя, потому что писательская



почти впрямую, — «гримасу лица, искаженного криком, расправил, разгладил резцом ножевым».

Стихотворение строится на перемежающихся контрастах, благодаря которым высокое не превращается в риторику: «Я умер простым, а поднялся великим», живой человек — и гранитный памятник, прах солдата-пехотинца, который «с пылью подножной смешался», — и «пример и маяк» для целых народов. Поразителен ритм «Памятника», соединивший трудное дыхание человека, штурмующего высоту, и величавый покой реквиема, возносящий над всем бранным.

Когда и в более поздние годы Слуцкий снова и снова возвращался в стихах к войне, никогда не было в них столь часто уже возникавших в ту пору у других поэтов умиленно-элегических ноток — он писал сурово, жестко, без каких-либо смягчений. Вот только в присланной мне к 30-летию Победы открытке слышался вздох грусти, но относился он не к войне, а к ушедшей молодости, которая совпала с войной: «Поверить трудно, но каждое утро, открывая пятки от земли для очередной пробежки, убеждаюсь: да, 30 лет не менее, а, может, даже более прошло с молодости. В Крыму холодно и прекрасно. Жизнь течет среди цветов, изображенных на открытке».

Появившиеся вскоре после «Памятника» в журналах стихи Слуцкого подтвердили, что в литературу вошел поэт со зрелым взглядом на мир, с выношенными эстетическими представлениями, со сложившейся самобытной манерой. Он последовательно отвергал какую-либо приглаженность, ретушь, «домалевыванье», ненатуральный пафос. Был неизменно верен обыденному, не освященному поэтической традицией житейскому факту, привержен к «точности дотошной», к «прямоте и краткости». Один из любимых его эпитетов — «толковый», «фактовик, натуралист, эмпирик, а не беспардонный лирик!» — не без иронии представлялся читателям Слуцкий, но ирония корректирует скорее форму выражения, чем суть сказанного. Действительно, воспроизвести «натуру» — вполне будничную, примелькавшуюся, если и способную привлечь наше внимание, то как раз явным отсутствием привычных поэтических «примет», — к этому стремился Слуцкий, это один из краеугольных камней его поэтики. Поэтическое для него вообще начиналось с этого.

То была не только эстетическая, но и жизненная позиция, проверенная войной и нелегкими послевоенными годами. Не было



тогда в стихах Слуцкого ни молодой задиристости, ни часто возникающего у вступающего в литературу желания непременно выделиться, ошеломить демонстративной неординарностью, во что бы то ни стало привлечь к себе внимание — он просто неуклонно гнул свое, не стараясь произвести впечатление, понравиться. Он не числился в молодых, не ходил в начинающих — разве что в предвоенные годы, для него еще внелитературные. Но не в середине 50-х годов, когда он начал печататься. И когда на него нападали — это были не легкие критические шлепки, а настоящие удары, которыми норовят свалить с ног. Но и хвалили его не в кредит, не авансом, а без каких-либо оговорок — за то, что уже было добыто, заработано. Он потом напишет об этом:

Я не был молодым поэтом.  
Ни дня не числился. Поэтому  
не получал я наградных,  
что выделяются для них.

Я этой взятки, этой скидки  
не взял. И до последней нитки  
записанное на меня  
сдал! И расчелся, расплатился.  
Но не вертелся, не крутился  
и не был молодым — ни дня!

Хорошо помню то первое впечатление, которое произвел на меня Слуцкий, потому что представлял себе автора «Памятника» совсем другим. Я почему-то ожидал увидеть молодого человека, а Борис для начинающего был уже явно не молод, да и выглядел он к тому же старше своих тридцати пяти-тридцати шести лет. Широкоплечий, крепкий, плотный (потом с годами он погрузнел), с твердой, быстрой походкой — так ходят те, у кого никогда не было времени на прогулки, — седой (с трудом можно было распознать первоначальный, рыжий, цвет волос), он производил впечатление человека, случайно забредшего в отдел литературы: такого вида люди — педагоги, научные работники, инженеры-изобретатели — ходили на другой этаж, в отдел внутренней жизни. В его облике и манере держаться не было ничего, что соответствовало бы общепринятым представлениям о «поэтической натуре». Больше всего он был похож на кадрового военного, который на время отпуска облачился в штатский костюм (я тогда еще

не знал его жизненных обстоятельств, не знал, чем он занимается, кроме писания стихов, на что живет).

Армейское, комиссарское засело в нем глубже, чем во всех знакомых мне литераторах, прошедших войну. Он вернулся после Победы майором — кажется, никто из этого поколения и круга (кроме Бориса Балтера, который, правда, еще до войны окончил командное училище, был кадровым военным) до такого чина не дослужился; не случайно всю литературу этого поколения называли «лейтенантской». А может быть, служба в армии лишь наложила на характер Слуцкого, в котором были какие-то черты, связанные в нашем сознании с понятием «военная косточка». Не зря позднее по Москве гуляла эпиграмма Наума Коржавина на Слуцкого, начинавшаяся фразой: «Он комиссаром быть рожден» (заканчивалась она так: «Но получилось все не так: иная жизнь, иные нормы... И комиссарит он в стихах — над содержанием и формой»).

Борис был сдержан и немногословен, предпочитал не рассказывать, а расспрашивать и слушать, вопросы его часто бывали неожиданными, иногда заставляли собеседника врасплох. Говорил он кратко — это были обычно не монологи, а реплики, — уверенным тоном человека, привыкшего без малейшего промедления принимать трудные решения и готового нести за них ответственность. Говорил, как рубил, как отрезал. Его суждения иной раз выглядели безапелляционными: он часто не выкладывал своих аргументов, обычно все «за» и «против» взвешивал мысленно, а сообщал только конечный вывод. Современных поэтов оценивал строго и без малейшей дипломатии, но даже о несправедливо вознесенных говорил без всякой злобы.

О себе и тогда и потом Борис рассказывал редко и неохотно; все, что я знаю сейчас о его прошлом, сложилось постепенно из каких-то крупниц, в разное время случайно, к слову оброненных им в разговорах на другие темы. Говорили в связи с документальным фильмом «Если дорог тебе твой дом» о боях на западном направлении в сорок первом, о вяземском окружении, и Борис где-то в середине разговора заметил, что кое-что видел сам, потому что в июле попал на фронт, через две недели на Смоленщине был ранен, после госпиталя оказался снова в действующей армии лишь в декабре под Москвой, когда началось наше наступление, Вязьма его, к счастью, миновала. Расспрашивал меня, задавая новые и новые вопросы, где и кем я служил в войну, и по какому-то поводу —

тоже мимоходом, одной фразой — сказал, что, работая в 7-м отделе, занимавшемся агитацией среди войск противника, в последний год войны несколько раз переходил с разведчиками линию фронта — переправляли в немецкий тыл военнопленных, окончивших антифашистскую школу. С писательской делегацией я побывал в Югославии, возили нас и в Крагуевац на так называемый Большой школьный урок — это траурное действо, на которое приезжают тысячи людей, в память о расстрелянных вместе со взрослыми учениках местной гимназии. Впечатление было оглушающее. Я поделился им с Борисом. «Я был в этом Крагуеваце в день освобождения, — заметил он. — Это было накануне после того, как все было кончено в Белграде. И тогда услышал об этом расстреле гимназистов». Как-то Борис рассказал — о чем говорили, не помню, — что после войны он два года провалялся в госпиталях, дважды ему делали трепанацию черепа, но самым тяжелым было — именно этим он хотел поделиться, я это точно помню — месяцами не прекращавшаяся бессонница.

Как правило, все это говорилось сухо, односложно — так пишут, заполняя анкету, — без каких-либо подробностей. Впрочем, нет, как-то всплыли и некоторые подробности: речь шла об одном талантливом поэте, плохо приспособленном к жизни, очень бедствовавшем в послевоенные годы, — его кормили и кое-как одевали друзья, иначе он бы просто пропал. И Борис вдруг сказал: «В отличие от него, у меня и в самые трудные мои времена был собственноручно купленный мною костюм и деньги на одноразовое питание» — в те годы он существовал в основном на скудную пенсию инвалида Великой Отечественной.

Лишь однажды я слышал, как Борис более или менее подробно рассказывал о себе: было это в присутствии большой аудитории в Доме литераторов. В феврале 1967 года я уговорил его выступить в Народном университете при ЦДЛ. Занятие было посвящено литературе о Великой Отечественной войне. Начиналось оно небольшой вступительной лекцией, а затем каждый из приглашенных писателей — так было задумано, мы всех просили об этом — должен был рассказать историю какого-то своего произведения. Видимо, это обстоятельство больше всего смущало Бориса, и мне пришлось потратить много слов, чтобы убедить его принять участие в этом мероприятии. И выступая, он сначала довольно долго говорил не о себе, а о Симонове и Твардовском, о том, какую вели-

кую роль играла их поэзия во время войны, как их читали на фронте. А потом рассказал историю своего стихотворения «Кельнская яма». У меня сохранилась стенограмма, и это место я процитирую: «Я был политработником и разведчиком и по-настоящему написал одно стихотворение за войну. Но при любопытных обстоятельствах. Дело было в Югославии, когда брали Белград. Город был уже наполовину занят, а немцы, отступавшие из Греции, силами четырех-пяти дивизий прорывали наш район коммуникаций. Под Белградом есть гора Авала, где стоит памятник Неизвестному герою, сооруженный еще после Первой мировой войны. Это красивый памятник из красноватого гранита. И на этой горе поставили тогда две МГУ [мощные говорящие установки. — Л. Л.]... И эти два передатчика день и ночь посылали призывы немецким солдатам. И на большое количество их повлиял этот голос разума, и они сдавались нам. Охрану этих машин несли две бригады югославских партизан. Причем интересно отметить, что в каждой бригаде была русская рота. Это были пленные, бежавшие из расположенных во Франции и Италии лагерей, бежавшие в направлении Югославии и примкнувшие к партизанам. Тито сводил их в роты, которые действовали на стороне партизан против немцев...

И вот однажды ко мне подошел партизан, он оказался бойцом русской роты, родом был с Алтая. Он начал рассказывать о большом лагере для военнопленных под Кельном, в котором он сидел, пока не добрался до Югославии. Это Кельнская яма. Там погибло несколько тысяч наших бойцов и офицеров. Он говорил медленно. Рассказ он начал словами: „Нас было семьдесят тысяч пленных“. Потом помолчал и сказал: „В большом овраге с крутыми краями“:

Я перед этим несколько лет не писал ни строчки. И когда он сказал: „Нас было семьдесят тысяч пленных. В большом овраге с крутыми краями“, мне показалось, что это начало стихотворения...»

Перечитывая стихи Слуцкого, я теперь без особого труда обнаруживаю там подробности и пережитого им на фронте, и послевоенных его невзгод и мытарств. Он редко делился ими в разговорах, может быть, потому, что они как бы сами собой подразумевались, — ведь это было с великим множеством людей. О своем первом дне на передовой он писал в стихотворении «Одиннадцатое июля»:

Перематывает обмотку,  
размотавшуюся обормотку,  
сорок первого года солдат.  
Доживет до сорок второго —  
там ему сапоги предстоят,  
а покудова он сурово  
бестолковый поносит снаряд.

Увидено вроде бы со стороны, но это о себе, потому что кончатся стихотворение так:

...и как точно помнится мне —  
резь в глазах от сильного света.

В стихах есть и о том, как он первый раз был ранен: «Руку при-тянув к бедру потуже, я пополз на правой, на одной. Было худо». И о том, что делал дальше на войне: «Я был политработником. Три года — сорок второй и два еще потом». И в другом стихотворе-нии — о том же:

Не умел воевать, но умел я вставать,  
Отрывать гимнастерку от глины  
И солдат за собой поднимать  
Ради родины и дисциплины.

В стихах всплывают и невеселые подробности его жизни в первые послевоенные годы: и как не удавалось устроиться на ра-боту, и как приходилось то там, то здесь снимать углы — своего жилья долгие годы не было, — и каково было маяться по госпита-лям и больницам:

У меня болела голова,  
что и продолжалось года два,  
но без перерывов, передышек,  
ставши главной формой бытия.  
О причинах, это породивших,  
долго толковать не стану я.

Вкратце: был я ранен и контужен,  
и четыре года — на войне.  
Был в болотах навсегда простужен.  
На всю жизнь — тогда казалось мне.

Стал я второй группы инвалид.  
Голова моя болит, болит.

Эти несколько цитат лишь для примера — их могло быть много больше. Хочу подчеркнуть при этом, что во всех автобиографических деталях Слуцкий безупречно точен (что совсем не обязательно для лирической поэзии), ни грана домысла, он чурается какого-либо поэтического маскарада. Если, скажем, пишет: «Двадцать лет я жил всухомятку — в общежитиях и на войне...», то цифра эта не для звонкости, так было в действительности: в Москву приехал учиться в тридцать седьмом, а собственное жилье получил в пятьдесят седьмом. И «всухомятку» тут тоже не красного словца ради. В одном из довоенных писем Михаила Кульчицкого родным в Харьков — они были с Борисом земляками и дружили со школьных лет — есть место, проливающее свет на происхождение этого «всухомятку»: «Боря болеет, так как расшатал здоровье голодовками в прошлом году. Лежит».

Вот еще одна в этом смысле характерная история. В стихотворении «Памяти товарища» речь идет о том, что перед войной его автор написал статью, в которой довольно круто обошелся со сборником одного поэта-ленинградца; статью не напечатали — «как хорошо, что был редактор зол // И мой подвал крестами переметил // И что товарищ павший, перед смертью // Его, скрипя зубами, не прочел». Такая история вполне могла быть и не о себе. Но недавно в ЦГАОР в фонде газеты «Известия» Р. М. Романова (с ее любезного разрешения я ссылаюсь на этот факт) обнаружила рукопись той непошедшей статьи Слуцкого, испещренную редакторскими пометками.

Но вернусь к нашему знакомству. Время от времени Борис стал заходить ко мне в газету по каким-то делам, большей частью не своим, он вечно за кого-то хлопотал, кого-то патронировал. Скажем, в «Новый мир», где его самого при Твардовском не печатали, отправлялся проталкивать прозу Юрия Трифонова. А потом Борис стал приходить ко мне и просто так — узнать новости, поговорить, — сначала изредка, а затем все чаще.

Подобного рода визиты в газету самых разных литераторов — и молодых, и маститых — были тогда в порядке вещей, редакция стала вторым писательским клубом. Здесь иногда писатели даже назначали друг другу свидания, причем случалось, что ни у одного из них в тот момент никакого дела в газете не было. Обычно приходили со своими предложениями и идеями, читали стихи, обсуждали литературные новинки — редакция становилась

аэродинамической трубой, в которой они испытывались на прочность. Споры — не только о вышедшей книге или новом фильме, но и о последнем футбольном матче или демонстрации у американского посольства, шум, смех, розыгрыши — безобидные и не-безобидные. Заглянул Иракий Андроников, включился в общий разговор, подал реплику — одну, другую, — и вот он уже держит площадку, все покатываются, кто вошел на минутку по какому-то делу, не уходит — добрая половина рабочего дня сорвана. Илья Фейнберг пришел с идеей статьи о Пушкине, он набрел на что-то очень интересное. «Приносите статью». — «Конечно, принесу (что он делал потом далеко не всегда), но вы сначала послушайте, что я выяснил». Подробно рассказывает, все слушают, начинают задавать вопросы, кто-то выдвигает контраргументы — и пошло-поехало, не остановишь. Очередной тур тогдашних дискуссий о кого-то вдохновляющем, кого-то пугающем могуществе науки: Эрэнбург, инженер Полетаев, «Что-то физики в почете...» Слуцкого.

Бедлам, кажется, работать в такой обстановке совершенно невозможно. Но при этом каким-то образом редактируются статьи, утрясается с авторами правка, сокращаются по требованию секретариата «хвосты», кого-то требуют «вниз» — к главному редактору или его заместителям. Думаю, что вообще живую, острую, привлекающую читателей газету можно делать только в такой обстановке. Для работающих на газету писателей и журналистов должны быть притягательны не только ее полосы, но и коридоры и комнаты редакции, где идет соревнование умов, где блистают острословы, где бывает интересно. Потом, когда на посту главного редактора газеты оказался Кочетов, вся эта «вольница» сильно пошла на убыль, новое начальство совершенно не выносило такого демократического духа, да и писатели стали утрачивать интерес к газете, авторитет которой стремительно падал, изменился и состав сотрудников — к сожалению, не к лучшему. Только при пришедшем после Кочетова Смирнове в редакции возродились многолюдные писательские «посиделки», вновь установилась атмосфера дружной, азартной работы...

Борис обычно в редакции надолго не задерживался — посидит какое-то время, послушает, о чем говорят и спорят, что-то спросит, с кем-то перекинется парой-другой фраз. Поднимался неожиданно, прощался и решительной походкой направлялся к дверям. Как-то при нем сотрудник, вычитывавший материал, стоявший

уже в полосе, задумчиво спросил: «А правильно ли, что этого писателя называют „выдающийся“? Не лучше ли написать „крупный“?» Этот ни к кому конкретно не обращенный вопрос вызвал короткий обмен весьма энергичными репликами из разных углов комнаты — не все они поддаются воспроизведению в печатном виде, — очень нелестно характеризующими и интеллектуальные способности сотрудника, у которого могла возникнуть такая мысль, и саму природу подобных иерархических представлений, прикладываемых к искусству. И вдруг на полном серьезе Борис сказал: «Вы не правы. Иерархия — вещь полезная и важная в искусстве, но выработать ее непросто. Но у меня есть одна идея». От изумления все замолчали, ожидая, что же он скажет дальше. «Надо, — продолжал тем же тоном Борис, — ввести для всех писателей звания и форму. Самое высокое — маршал литературы. На погонах — знаки отличия для каждого жанра». Идея была подхвачена, Бориса засыпали вопросами, он отвечал мгновенно. «Первое офицерское звание?» — «Только с вступлением в Союз — лейтенант прозы, лейтенант поэзии и так далее». — «Может ли лейтенант критики, критиковать подполковника прозы?» — «Ни в коем случае. Только восхвалять. Звания вводятся для неуклонного проведения в литературе четкой субординации». — «Можно ли на коктебельском пляже появляться одетым не по форме?» — «Этот вопрос решит специальная комиссия». — «Как быть с поручиками Лермонтовым и Толстым?» — «Присвоить посмертно звание маршалов». — «А у вас какое будет звание?» — «Майор поэзии. Звания, присвоенные другими ведомствами, должны засчитываться». Это напоминало партию пинг-понга, и провел ее Борис с полным блеском. Ни разу не улыбнулся. На прощание бросил: «Вот так-то, товарищи лейтенанты и старшины литературы...»

Этим, однако, дело не кончилось, игра потом продолжалась: обсуждали, кому из писателей какое звание присвоить, какой должна быть форма, надо ли вводить строевую подготовку. Не так часто острословам перепадала такая замечательная возможность оттачивать языки. Когда в редакции появлялся Борис, к нему как к автору «проекта» обращались с самыми заковырыстыми вопросами: например, станут ли писателей увольнять в отставку — только по возрасту и состоянию здоровья или и за какие-то провинности; что будет считаться самовольной отлучкой: кто кого должен приветствовать первым, если встречаются майор прозы



и майор критики? Когда мне сейчас попадаются на глаза какие-то статьи, авторы которых прибавляют к своему имени — секретарь правления Союза писателей СССР или РСФСР, лауреат Государственной премии или премии Ленинского комсомола, Герой Социалистического Труда, сразу же вспоминаю давний «проект» Бориса.

Не знаю, запомнил ли бы я все это, — каких только розыгрышей и дурачеств не придумывали тогда в редакции, — если бы не появившийся вскоре в газете Кочетов, который стал железной рукой вводить свою иерархию литературных ценностей. Многое здесь смахивало на гротескную идею Слуцкого. Одни писатели — «свои» — прочно ограждались от малейшей критики, им на льготных условиях отводились в литературе самые первые места. «Чужим» спуска не давали, их книги, статьи сплошь да рядом разносились в пух и прах. Очень скоро стали возникать серьезные конфликты с писательским общественным мнением, некоторые из них приобрели скандальный характер.

Один из них был связан со Слуцким. Вот как это произошло. На первых порах в редакции не до конца поняли, какую иерархию литературных ценностей намерен установить главный редактор, — это казалось невозможным, немыслимым. Как-то в его отсутствие — то ли он был в отпуске, то ли в зарубежной поездке — обратились с просьбой к Эренбургу, не напишет ли он что-нибудь для газеты. Догадывались, что главный не испытывает к Эренбургу симпатий, но никому и в голову не могло прийти, что Эренбург попал в разряд тех авторов, которых печатать не следует. Эренбург предложил статью о поэзии Слуцкого. Кое-что в этой статье смущало заместителя главного, Косолапова, — прежде всего, очень уж высокая оценка стихов Слуцкого. «Мне кажется, что теперь мы присутствуем при новом подъеме поэзии, — писал Эренбург. — Об этом говорят и произведения хорошо всем известных поэтов — Твардовского, Заболоцкого, Смелякова, и выход в свет книги Мартынова, и плеяда молодых, среди которых видное место занимает Борис Слуцкий». Стоило ли подъем поэзии связывать с именем поэта, у которого и книжки еще нет, ставить его рядом с Твардовским и Смеляковым? А тем более с классиками — в статье было такое место: «Конечно, стих Слуцкого помечен нашим временем — после Блока, после Маяковского, — но если бы меня спросили, чью музу вспоминаешь, читая стихи Слуцкого, я бы, не колеблясь, ответил — музу Некрасо-

ва. Я не хочу, конечно, сравнивать молодого поэта с одним из самых замечательных поэтов России. Да и внешне нет никакого сходства. Но после стихов Блока я, кажется, редко встречал столь отчетливое продолжение гражданской поэзии Некрасова». А в ту пору связь с гражданской поэзией Некрасова не только неизвестного Слуцкого, но и Блока вызывала большие сомнения. И лучше бы Эренбург не поднимал таких вопросов: «Почему не издают книгу Бориса Слуцкого? Почему с такой осмотрительностью его печатают журналы?» — было не принято этого касаться в печати. Все это беспокоило Косолапова.

Но Эренбург не больно давал себя править и сокращать — подобные посягательства встречал в штгыки, максимум, чего можно от него добиться, — вставит что-нибудь вроде «мне кажется», «я думаю», «по моему мнению» и наговорит при этом кучу неприятного. В отличие от Кочетова, для его заместителя Эренбург оставался Эренбургом, самым блистательным нашим публицистом, писателем с мировым именем, а то, что он пишет, — украшением газетных страниц. Статью напечатали. Возвратившийся из поездки главный был вне себя от ярости. Если Косолапов видел в статье Эренбурга некоторое отступление от принятой литературной субординации, позволительное крупному писателю, то Кочетов воспринял ее как дерзкий, возмутительный, недопустимый вызов тому порядку, который он изо всех сил старался утвердить в литературе. Скорее всего, стихов Слуцкого он не читал (кроме тех, что цитировал Эренбург), да его и не интересовало, хороши они или плохи. На планерке без каких-либо дипломатических околичностей он заявил: «Надо выдать Илье сполна». Потребовал, чтобы отдел литературы немедленно организовал статью с зубодробительной критикой Эренбурга и стихов Слуцкого. Все это «навалилось» на временного сотрудника, поэта Григория Левина, заменившего находившегося в отпуске Огнева. Левин же очень уважал Эренбурга, любил стихи Слуцкого и не проявлял никакого рвения, чтобы выполнить кочетовское указание. Да и не так просто было найти человека с именем, который ввязался бы в эту историю, даже среди тех, кому стихи Слуцкого не нравились. Очень высок был авторитет Эренбурга — в том числе как знатока и ценителя поэзии (кстати, он с особым вниманием относился к поэтам военного поколения, некоторые из них — Семен Гудзенко, Сергей Наровчатов, Михаил Львов, Евгений Винокуров — входили в литературу с его добрым напутствием).

Наконец, такая статья появилась в редакции. Вернее, это была не статья, а читательское письмо. Откуда оно взялось, я не знаю. Называлось оно «На пользу или во вред?», но вопрос этот, если знать «знаковую» систему газетного языка тех лет, был чисто риторическим. Да и подзаголовок «По поводу статьи И. Эренбурга» не оставлял никаких сомнений в ответе на вынесенный в название вопрос: конечно, «во вред». Подписано письмо было Н. Вербицким, преподавателем физики 715-й московской средней школы. «Подписано» — я сказал неслучайно, не нашел я в библиографии следов того, что этот человек до или после выступления в «Литературке» проявлял какой-либо интерес к литературе. Скорее всего это был «ретранслятор» — такой же, как и автор письма Александру Твардовскому, опубликованного в свое время в «Социалистической индустрии». Такого рода письма выдавались за «глас народа», возводились в ранг «руководящих указаний»

Две цитаты из письма «На пользу или во вред?», показывающие, как его автор учил уму-разуму Эренбурга. Он сурово язвил писателя за — подумайте только! — посягательство на свободу мнений (не напоминает ли это филиппики некоторых нынешних пылких защитников культуры дискуссий?): «Если бы вы в своей статье высказывали просто свое мнение, это было бы вполне правильно. У каждого может быть свое мнение по любому вопросу, а другие, в меру своего разумения, могут соглашаться или не соглашаться с ним. Но мнение, высказанное вами в статье, носит декларативный характер». Н. Вербицкий затем выводил Эренбурга на чистую воду, указывая на политическую неблагонадежность его симпатий в поэзии; «Я отнюдь не собираюсь утверждать, что названные вами в статье Ахматова Цветаева, Пастернак в какой-то степени не влияли на развитие советской поэзии в после-революционные годы. Выяснить, было ли это влияние положительным или отрицательным, — дело историков литературы». Этот защитник свободы мнений по любому вопросу, разумеется, твердо знал, что должны сказать об этом историки литературы.

Если Н. Вербицкий не очень-то сдерживался, разговаривая с Эренбургом, то уж когда дело касалось стихов Слуцкого, он и во все не церемонился: «мало похоже на поэзию», «вызывает большое недоумение тот язык, которым довольно часто пользуется Б. Слуцкий», «читаешь и невольно думаешь, что перед тобой очень плохой перевод с иностранного языка», «убого выглядит и умственный и душевный мир автора, прошедшего Великую Оте-

чественную войну и в результате научившегося только войне», и так далее и тому подобное...

Надо сказать, что Борис с полным спокойствием отнесся к этому малоприятному происшествию. И оказался прав. Как ни странно, оно даже сослужило его стихам добрую службу — сразу же пробудило к ним интерес у читателей. У нас, однако, были опасения, не помешает ли этот скандал выходу книги Слуцкого — в «Советском писателе» был запланирован в следующем году его первый сборник. Все обошлось: сборник вышел. Но тоненький — его читали в издательстве через микроскоп, одни стихи вынули, другие «подстригли». В широко известном «Сне» была другая концовка, более глубокая по мысли:

Потому что так пелось с детства..  
Потому что некуда деться.  
И по многим еще «потому»,  
Я когда-нибудь их пойму.

Более сильным было начало стихотворения «Броненосец „Потемкин“», его привел Эренбург в своей статье (в сборнике «Память» это стихотворение и в исправленном виде не устояло):

Шел фильм, и билетерши плакали  
Семь раз подряд над ним одним,  
И парни девушек не лапали,  
Поскольку стыдно было им.

В подаренную мне книгу Борис вписал выброшенную концовку стихотворения «Зоопарк ночью»:

И старинное слово:  
«Свобода!»  
И древнее:  
«Воля»  
Мне припомнились снова  
И снова задели до боли.

О редакторском и цензорском карандаше, оскопляющем и губящем произведения, об этой тяжелой и широко распространенной в пережитые нами мрачные десятилетия драме художника Слуцкий написал горькие, пронзительные стихи:

Лакирую действительность —  
Исправляю стихи.  
Перечесать — удивительно —  
И смирны и тихи.  
И не только покорны  
Всем законам страны —  
Соответствуют норме!  
Расписанью верны!

Чтобы с черного хода  
Их пустили в печать,  
Мне за правдой охоту  
Поручили начать.  
Чтоб дорога прямая  
Привела их к рублю,  
Я им руки ломаю,  
Я им ноги рублю,  
Выдаю с головою,  
Лакирую и лгу...

Все же кое-что скрою,  
Кое-что сберегу.  
Самых сильных и бравых  
Никому не отдам.

Я еще без поправок  
Эту книгу издам!

Вот и напечатаны наконец «самые сильные и бравые», годами ходившие в списках, выйдут, надо думать, книги, в которых стихи Слуцкого будут без купюр, без вынужденной правки. Жаль, что Борис до этого не дожил. И кто знает, если бы это произошло лет восемь-десять назад, может быть, он осилил бы свою болезнь.

Когда вышла «Память» — первая его книга, — мы уже были близко знакомы, Борис бывал у нас дома — сужу об этом по дарственной надписи на сборнике, которая обращена не только ко мне, но и к моей жене. Потом, когда подросли дочери, к которым Борис относился с вниманием и интересом, его занимали их учеба, дела, планы, окружение, он подолгу расспрашивал их о житье-бытье молодежи. Они тоже стали фигурировать в надписях на подаренных нам книгах. Вообще у Бориса было неутолимое любопытство к людям, как сказали бы в старину, разных сословий и

состояний, привлекавших его либо богатым жизненным опытом, либо неординарной точкой зрения. Иногда этот интерес его далеко уводил. Как-то в Малеевке Борис повадился гулять с одним пожилым литературоведом, который в свое время был причастен к верхним этажам власти в Средней Азии. Человек этот производил впечатление малоприятное, да и репутация у него была не из лучших. «Зачем он вам? — сказал я ему. — Слава у него дурная. Гуляли бы лучше с другими...» — «Да, старикашка мусорный, ничего не скажешь, — ответил Борис, — но знает бездну интересного. А наш приятель, — он назвал другого литератора, нашего общего знакомого, жившего тогда в Малеевке, — человек милый, но скучный, мало чем в жизни интересовался. Потом, он хочет, чтобы я ему все время что-то рассказывал, а я люблю слушать».

Когда в 1961 году мне пришлось перейти из «Литературной газеты» в журнал «Вопросы литературы», некоторые человеческие связи, возникшие у меня за годы работы в газете, стали постепенно истончаться, а какие-то и вовсе оборвались. Наверное, это объяснялось и тем, что сотрудник газеты представляет практический интерес для большего числа литераторов, нежели работник специального журнала критики и литературоведения. Не хочу, чтобы в сказанном почудился укор, — наверное, это естественно, что крепче всего людей связывает общее дело. С Борисом же наши отношения со временем стались все прочнее и теснее. Быть может, свою роль здесь сыграло и то, что он, человек редкой начитанности, основательнейшей эрудиции и в общей истории, и в истории русской литературы, оказался одним из самых внимательных читателей нашего журнала. Когда «Вопли» перебрались на Пушечную, а потом в Большой Гнездиновский, Борис, попадая в эти края, частенько заходил ко мне, как до этого в «Литературку». Приходил — иногда один, иногда с Таней — к нам домой в гости, Бывали и мы у них, в их маленькой двухкомнатной, с крохотной прихожей квартире с очень скромной обстановкой — вот только несколько хороших картин, да книги, многие из них были библиографической редкостью, обращали на себя внимание — в неказистом доме с угрюмым двором на московской окраине, опасно темноватой по вечерам. Похоже, что это был какой-то старый ведомственный дом, звонить Борису надо было через коммутатор, а в ту пору коммутаторы в Москве превратились уже в реликтовое явление.

Перезванивались мы чаще, чем виделись, — каждые несколько дней. И инициатива здесь большей частью принадлежала Борису.

В его воспоминаниях об Асееве я наткнулся на такое место: «...в добром расположении духа наносил длительные визиты (по телефону). В его звонках не было никакого конкретного дела. Это были беседы, споры, диспуты, перемежаемые легким ворчанием». Подобного рода визиты по телефону стали привычкой и у Бориса. Они тоже обычно не вызывались каким-то конкретным делом, но манера и темп их были сугубо деловыми. Эта аскетическая деловитость тона вступала в противоречие со свойственной Борису любознательностью, с его живым интересом к тому, что происходило на белом свете, круг кровно занимавших его тем был очень широк — от международного положения до молодой живописи; кстати, могу утверждать, что его мысли не были сосредоточены преимущественно на литературе, литературоцентристом — тип весьма распространенный среди писательской братии, особенно поэтов — он не был. Показательно, что Борис стал постоянным собеседником Эренбурга, часто у него бывал. Заговорив в книге «Люди, годы, жизнь» о Слуцком, Эренбург заметил: «Никогда прежде я не думал, что смогу разговаривать с человеком, который на тридцать лет моложе меня, как со сверстником; оказалось, что это возможно».

Выслушав во время телефонных визитов новости, Борис еще более кратко, в стиле, смахивающем на военные донесения, сообщал то, что, по его мнению, могло представлять для меня интерес. Иногда к этому добавлялись лаконичные рекомендации: чем бы мне лично или журналу следовало в ближайшее время заняться, на что или кого обратить внимание. Он, например, предложил в одном из разговоров напечатать в журнале цикл статей, посвященных русским второстепенным поэтам. Ему принадлежала идея — более или менее регулярно публиковать в журнале стихи, посвященные поэзии, литературе. Циклом стихов Слуцкого журнал открыл новую рубрику: «Диалог поэта и критика». Когда мы (Станислав Рассадин, Бенедикт Сарнов и я) стали писать пародии, составившие потом книжечку «Липовые аллеи», Борис горячо поддерживал это наше то ли занятие, то ли развлечение. Он считал удачными и смешными пародии не только на других (такие комплименты нам приходилось слышать довольно часто), но и на себя (в этих случаях, что греха таить, далеко не все обнаруживали чувство юмора). В порядке поощрения он подарил мне книгу пародий А. А. Измайлова «Кривое зеркало», вышедшую в 1912 году в «Шиповнике». Прочитав в «Вопросах литературы» мою

довольно пространный беседу с Константином Симоновым, Борис стал убеждать меня, что я должен провести еще несколько такого рода бесед с Симоновым, чтобы на их основе сделать большую книгу не только о Симонове, но и о нашей литературе, о нашем времени. Несколько раз возвращался к этой идее, всячески доказывая мне ее важность.

К Симонову он вообще относился с уважением и симпатией, особенно ценил его знание войны. Прочитав мою статью о фронтовых дневниках Симонова «Разные дни войны», Борис принес мне свои записи сорок пятого года — последних месяцев войны и первых послевоенных недель, записи, как выяснилось, когда я их прочел, отличающиеся жестокой, неуклончивой правдой, плотно набитые неповторимыми подробностями тех дней, мест, армейских частей. Насколько я понял, Борис не собирался — во всяком случае тогда — куда-либо их предлагать для печати, это было немыслимо, а мне дал, полагая, что там есть вещи для меня, занимающегося войной, небезынтересные; а может быть, ему хотелось на мне проверить, как воспринимаются нынче эти давние записи. Когда я их прочитал, у нас был длинный разговор. Борис, как ему было свойственно, задал ряд неожиданных вопросов, касавшихся разных запечатленных в записях событий сорок пятого, — интересовало его мое отношение к тому, что было в действительности, а не то, как он это описал.

А потом рукопись надолго, очень надолго — на год или даже на два — застряла у меня. Борису, когда он заходил ко мне, было почему-то не с руки забрать ее, когда же я время от времени предлагал ее привезти, это тоже по разным причинам не получалось. Борис просил меня не беспокоиться, не держать это в голове, потому что рукопись ему сейчас не нужна, никому он в ближайшее время не собирает ее давать читать. У меня осталось такое чувство, что не он сам ее забрал, а я заставил его взять ее у меня. Позже у меня даже возникла странная мысль: а не хотел ли Борис по каким-то неведомым мне соображениям, чтобы экземпляр рукописи оставался у меня, но из деликатности не стал говорить об этом впрямую, а я не догадывался и, опасаясь попасть в положение человека, который по невниманию или небрежности зажал чужое произведение, настырно напоминал ему, что у меня все еще лежит его рукопись. Может быть, мне все это кажется, но какая-то странность была в этой истории с рукописью, которую столько времени мне не удавалось вернуть Борису.



Подумал о Слуцком, прочитав в заметках Лидии Гинзбург: «Г. С. написал мне: когда поэт пробует быть как все — у него это все равно не получается.

Конечно, не получается... Поэт не может быть как все. Но современный поэт должен этого хотеть. Чем он и отличается от романтика».

Это свойство современного поэта — стремление быть как все, последовательный принципиальный демократизм — многое определяло в облике и поведении Слуцкого. Оно было отшлифовано, усилено в Борисе армией и войной: по правилам, вынесенным оттуда, нельзя себя ставить в особое положение, негоже устраиваться удобнее, чем другие, искать льгот, работать локтями. Известный венгерский журналист и литературный критик Пал Е. Фехер рассказал мне, что Борису, когда он был в Будапеште, предложили выпустить сборник своих стихов. Он в ответ спросил принимавших его издателей, кто из современных советских поэтов уже переведен на венгерский. Они перечислили вышедшие книги. А этот, этот, этот, — допрашивал Борис, назвав пять или шесть фамилий. Эти не были изданы. «Надо сначала их перевести, а потом можно, наверное, и меня», — сказал без тени кокетства и позы Борис. Издатели были поражены: с такой реакцией на их предложение им никогда прежде не приходилось сталкиваться. «Впрочем, и потом, пожалуй, тоже», — добавил Пал.

Когда Борис заболел, меня попросили написать предисловие к очередному выпуску выходившего в издательстве «Искусство» репертуарного сборника «Стихи, стихи...», предназначенного для самодеятельных театров. Два предыдущих открывались вступительными заметками Слуцкого. Я не знал о существовании такого издания и, откровенно признаюсь, был удивлен, что Борис этим занимался. Но прочитав предисловие, я понял, почему он за это взялся. Смысл сборника Слуцкий видел в том, чтобы «привлечь внимание читателя и посетителя вечеров поэзии... к стихотворениям, еще не вошедшим в культурный обиход», которые принадлежат перу малоизвестных авторов, хотя их художественный уровень «ничуть не ниже качества стихотворений прославленных поэтов». Он жаждал в поэзии для всех справедливого, равного счета.

Когда Слуцкий выступал с критическими заметками, рецензиями, чаще всего, охотнее всего он писал о тех, кто оказался в тени, кого не заметили или недооценили, кому по разным причинам «не-

додано». То были начинающие, обычно не москвичи — А. Жигулин и В. Соснора, И. Шкляревский и Ю. Воронов, В. Леонович и О. Хлебников. Но не только молодые — он всегда старался сказать доброе слово о тех поэтах старшего поколения, с оценкой сделанного которыми, по его мнению, тогда было не все ладно, — о Н. Асееве, Н. Заболоцком, В. Каменском, Л. Мартынове, Д. Хармсе. И из своих ровесников Слуцкий тоже выбирал прежде всего тех, кто был несправедливо обделен, — как проникновенно он написал о К. Некрасовой и Н. К. Глазкове...

Стремление быть таким, как все, жить, как все, распространялось и на то, что называют презренным бытом. Известно, что демократизм и милосердие легче воспевать в стихах, чем следовать этим принципам в коммунальной квартире или больничной палате на десятерых. Борис прошел нелегкую школу и коммуналки, и больничной палаты, знал, почем фунт лиха, и не терпел поэтому небожительства, отстраненности от чужих бед и неурядиц. Когда я заболел и слег в больницу, Борис, позвонив жене, сразу же стал выяснять, не нужны ли деньги. И я не был исключением, несколько человек рассказывали мне, как в минуты для них трудные он звонил, предлагая помощь, спрашивая, не нужны ли деньги, — таково было его железное правило. Он хорошо знал, что такое безденежье. Ему не удавалось из него выбратья почти все первое послевоенное десятилетие. Непросто, видимо, было сводить концы с концами и в те годы, когда тяжело болела Таня. Борис тогда работал не разгибая спины. И когда он заболел сам, одним из кошмаров, преследовавших его, был страх, будут ли у него деньги на жизнь.

Иногда в сущих, казалось бы, мелочах с неожиданной глубиной и резкостью обнаруживают себя душевные качества и жизненные правила человека. Такого рода мимолетное впечатление — вроде бы совершеннейший пустяк — врезалось мне в память. Произошло это на одном из вечеров, цикл которых проводила «Юность» в начале 60-х в Ленинграде, куда приехала большая группа авторов журнала, в том числе Борис и я. Журнал тогда был очень популярен, всюду, где мы выступали, зал бывал битком набит, толпа у входа, милиция, даже с билетами было не просто пробиться: помню пустой тамбур какого-то дворца культуры (я уходил до окончания вечера), пол которого усеян множеством оборванных пуговиц. Утрясти порядок выступлений на подобных вечерах — дело непростое: сталкиваются самолюбия, амбиции, желания получить не меньшую, чем другие, долю успеха.

Владимир Солоухин в связи с этим один из своих «камешков на ладони» швыряет в друзей по поэтическому цеху:

«Друзья-то друзья, но вот вдруг начинается легкое летучее препирательство, этакая торговля, кому, когда, вслед за кем выступать».

Дело в том, что у аудитории, у течения вечера есть свои закономерности. Внимание аудитории можно было бы даже изобразить графически: за пиками следуют спады, ямы, провалы. Например, когда выступает первый, публика еще не сосредоточилась, не собралась, первого выступавшего она может как бы пропустить мимо ушей. Или другой случай. Если у выступавшего был бурный успех, аплодисменты и прочее, то можно смело сказать, что публика выплеснула на него свои эмоции и следующему их не доставится, следующий оказывается в слабой позиции, в точке резкого спада внимания аудитории. Напротив, если выступал слабый и нудный поэт, то это выгодный фон, после него самый благоприятный момент для выхода.

И вот начинается перед началом вечера легкое препирательство: кому когда выступать? Каждый старается поставить себя в наиболее выгодные, выигрышные условия. За счет кого, чего? За счет других выступающих, разумеется. Пусть они оказываются в слабых позициях, а не я».

Я это процитировал, чтобы яснее была суть того, что я рассказываю. «Юности» еще предстояло продолжать свои выступления в Ленинграде, а я в тот вечер должен был уезжать в Москву и поэтому попросил выпустить меня с чтением наших пародий пораньше. «Будете выступать передо мной», — сразу же сказал Борис, других предложений не последовало. Пародии — жанр, который слушается охотно и обычно имеет успех, так было и на этот раз. Когда, закончив выступление, я шел на место, а Борис, которого объявили, к микрофону, он задержал меня на мгновение и тоном, который мне очень трудно передать, сказал: «Вы сорвали мне выступление». Тон решительно расходился со смыслом слов: Борис радовался моему успеху, даже торжествовал — это было каким-то удивительным проявлением безоглядной душевной щедрости... Об одном нашем женатом приятеле, переживавшем бурный роман, как многим из нас казалось, сильно осложнившийся и запутавший его и без того непростую жизнь, Борис сказал с веселым цинизмом: «Не придавайте этой истории значения. Для лирического поэта такой роман — это все равно что прозаику».

съездить в творческую командировку». Все, мол, просто, какие тут проблемы.

Но, видимо, все-таки права Лидия Гинзбург: настоящий поэт не может быть таким, как все. Наш прозаический век внушал нам, что от любви не умирают, это бывало лишь в пору романтической поэзии, если вообще бывало. А смерть Тани убила Бориса, от этой потери он не смог оправиться, не смог вернуться к жизни — это было призрачное, бесцельное, тягостное существование в больнице и дома. Быть может, мучили его и другие незаживающие душевные раны, но погубила безвременная кончина Тани.

Да, настоящий поэт не может быть таким, как все. Казалось бы, в своем отношении к жизни, в своем поведении — подчеркнуть деловитом, непрестанно деятельном, сугубо прозаическом — Борис был последовательно «антипоэтичен». Но это тоже было какой-то крайностью — неожиданным, странным образом проявлявшееся свойственное истинному поэту «безумие», его непохожесть на всех. Слуцкий был привержен «прозе», отвергал привычные «поэтизмы», но все это делалось для того, чтобы вскрыть глубинный, прежде редко достигаемый пласт поэзии. Такой прорыв «прозы» в стих, как у Слуцкого, случается не часто. Вторжение «прозы» оказало воздействие на все элементы поэтики: образный строй, язык, ритм, интонацию. Смело и широко Слуцкий использовал солдатский жаргон военных лет, просторечия, даже канцеляризмы. И перебой ритма, и недосказанная, оборванная или намеренно нескладная фраза, и повторение какого-либо характерного словечка — все это от сегодняшнего говора улицы, который чутко схватывал Слуцкий. Но угловатость, «несделанность» стихов Слуцкого обманчива — он из тех поэтов, которые огромное значение придают форме, «технике», инструментровке, — это результат не небрежности, а стремления разрушить, взорвать гладкость, зализанность. Сочетание внешне ничем не примечательного, будничного, начисто лишённого каких-либо привычных «поэтизмов» и внутренне прекрасного и создает поэтическое поле в стихах Слуцкого. Это подлинная «подъемная» сила его поэзии. Как часто в его стихах нас захватывает внутренняя мелодия. Она преобразует «прозу», властно подчиняет ее себе, окрыляет ее. Сила и энергия этой мелодии творит чудеса. Вот как она звучит в разных вещах Слуцкого:

Словно именно я был такая-то мать,  
всех всегда посылали ко мне.

Я обязан был все до конца понимать  
В этой сложной и длинной войне.  
То я письма писал,  
то я души спасал,  
то трофеи считал,  
то газеты читал.

Или:

Забытых поэтов забыли.  
Забыли о том, как запели.  
Забыли, как после забили  
в какие-то темные щели  
их слабую славу. Их строки.  
Неловкие юные книги.  
Но вот исполняются сроки,  
но вот начинаются сдвиги.

Я коснулся поэтики, хотя, вроде бы, этому разговору не место в воспоминаниях, но личность Слуцкого и на таком «атомарном» уровне выразилась в его стихах...

Болезнь Бориса многих поразила: он ведь казался таким крепким, уравновешенным, так прочно стоящим на земле — и вдруг выяснилось, что был хрупким, ранимым, с необычайно низким болевым порогом, он только никогда не показывал этого, считая, что должен быть как все. До тех пор пока Бориса не перевели в кунцевскую больницу, куда непросто было получить пропуск, пока он лежал в 1-й Градской, я бывал у него каждую неделю. Впервые столкнувшись с подобного рода болезнью, признаюсь, я сначала не отдавал себе отчета в серьезности его положения. Успокаивало, что Борис не утратил ни ясности разума, ни замечательной памяти — все оставалось при нем. Он только лишился воли и интереса к жизни. Мне казалось, что если его сильно встряхнуть, втянуть в какое-то важное для него дело, сильно обрадовать или пусть даже огорчить, Борис почувствует вкус к жизни, придет в себя. Но проходила неделя за неделей, а лучше ему не становилось, пожалуй, даже хуже. Если на первых порах мне удавалось несколько раз вытащить его на прогулку в больничный дворик, потом эти недолгие прогулки прекратились: он не поддавался никаким уговорам. Все чаще я заставал его лежащим лицом к стене в полудреме — ушедшего в себя, погруженного в какие-то мрачные думы, — он односложно отвечал на вопросы, ничем не интересовался. Как-то я спросил у него, не хочется ли ему писать сти-

хи. Он сказал: «Иногда какие-то строчки вертятся в голове, нет сил их соединить». Однажды я был у Бориса в больнице вместе с Симоновым. Речь зашла о стихах, и Симонов сказал: «Мне теперь мало что нравится из моих стихов. А ваши, — обратился он к Борису, — нравятся». Борис пожал плечами: «А мне все мои стихи не нравятся». Он сказал это каким-то отстраненным тоном, словно говорили о том, что к нему не имеет никакого отношения. (Мог ли я тогда думать, что Симонову осталось жить меньше чем два года, что Борис будет болеть девять лет и что последний раз я его увижу на открытии мемориальной доски на доме, где был рабочий кабинет Симонова?)

В Берлине вышла книга Слуцкого, стихи на русском и в переводе на немецкий, изящно оформленная, в престижной серии. Так случилось, что я принимал в этом деле некоторое участие, утряс с Борисом состав, попросил написать для книги небольшое предисловие, получил у него для факсимильного воспроизведения автограф «Лошадей в океане». Сборник вышел, когда Борис уже лежал в больнице. Надеясь, что книга обрадует его, я попросил поскорее ее прислать. С оказией мне передали два экземпляра сборника и благодарственное письмо директора издательства Слуцкому. Все это я сразу же повез в больницу. Увы, Борис даже не глянул на сборник и письмо. Когда я собрался уходить, он, видимо, почувствовав, что я огорчен (а я и в самом деле расстроился, потому что надеялся — а вдруг сборник станет каким-то толчком к лучшему?), сказал мне: «Давайте я вам надпишу книгу». И, даже не полистав ее, написал (надпись свидетельствует, что он все помнил):

*«Лазарю, без которого этой книги не было бы  
Борис Слуцкий  
9.1977. Больница».*

«Оставить второй экземпляр и письмо?» — спросил я. — «Зачем мне, заберите», — совершенно бесцветным голосом сказал Борис. Так и лежит до сих пор у меня это письмо, а сборник я кому-то подарил.

Чем дальше, тем больше удручало и состояние Бориса, и обстановка, окружавшая его в больнице. Незадолго перед этим у меня умер брат, полгода тяжело и мучительно болевший. Борис знал его. Несколько раз он принимался меня расспрашивать, не пытался ли брат, чтобы не мучиться, покончить с собой.

Эти разговоры меня пугали. К тому же условия в больнице — даже при внимании врачей и сестер — были таковы, что вряд ли могли способствовать пробуждению бодрости и оптимизма. Правда, у Бориса была отдельная палата, но мрачная, смахивающая на тюремную камеру, без дверей, несколько раз при мне в коридоре или соседних палатах раздавались ужасные крики — это бились в припадке белой горячки. Побывав у Бориса, Симонов стал изо всех сил добиваться, чтобы его перевели в лучшую больницу. Это было непросто. Симонов обратился к одному из тогдашних руководителей здравоохранения: «Любой из нас не все знает о масштабе таланта других людей — и в своей профессиональной среде, и вне ее. Да и никто не может знать всего — это просто-напросто невозможно. Но я, человек, не привыкший бросаться словами и писать похвальные грамоты, хочу с полной уверенностью и ответственностью за свои слова сказать, что, по моему глубокому убеждению, Борис Слуцкий один из тех русских поэтов, прошедших насквозь всю войну, который написал о ней самые лучшие, самые проникновенные и самые доходящие до моего сердца стихи. Поэтов, так написавших о войне, как он, можно сосчитать по пальцам. Да и то на обе руки, пожалуй, не наберется. Вот почему еще и по этой причине я хочу попросить Вас попытаться помочь вернуть к нормальной жизни этого нашего товарища». Письмо подействовало, но многомесячное пребывание в другой больнице тоже мало что дало — выписался Борис без кардинальных улучшений. Пока не переехал в Тулу, к брату, время от времени звонил мне, но видеться не хотел, просил не приходить, не соглашался, чтобы я как-нибудь хотя бы проводил его из литфондовской поликлиники домой. «Я уже не тот Борис, которого вы знали, осталась только оболочка», — сказал он мне однажды. Потом из Тулы доходили известия, большей частью малоутешительные: «Ничего нового», «Все без перемен». Изредка возникали проблески надежды: «Стал читать газеты» или «Интересовался публикациями своих стихов». С Юрием Болдыревым, самоотверженным душеприказчиком поэтического наследия Слуцкого, мы начали хлопоты об издании двухтомника. В начале февраля 1986 года я получил письмо от брата Бориса, Ефима Абрамовича, который интересовался, в каком состоянии дела. В его письмо была вложена написанная на клочке бумаги записка от Бориса — ответ на мое поздравление с Новым годом. Написана она явно изменившимся почерком, но память ему не изменяла:

«Дорогой Лазарь!

Получил и с большим удовольствием прочитал Вашу милую открытку. Рад приветствовать Вас, Наю, Иру, Катю и Ваших зятьев. Целую Вас и поздравляю. Моя семья присоединяется к поздравлениям.

Ваш Борис Слуцкий».

Это последний привет от Бориса — его не стало через три недели. На похоронах Ефим Абрамович мне сказал, что Борис успел прочитать мое ответное письмо...

За время болезни Бориса Юрий Болдырев подготовил книгу его новых стихов, опубликовал, наверное, несколько десятков подборок в журналах и газетах. Стихи Слуцкого появлялись без больших пауз. Многие читатели — даже причастные к литературе и слышавшие о его болезни — были уверены, что Слуцкий продолжает писать: не могло же все это быть наработано до болезни и лежать столько времени без движения? Особенно интенсивно стихи Слуцкого стали печататься после его смерти, в наше время, когда была открыта дорога многим вещам, прежде считавшимися непроходимыми. Но и это тоже далеко еще не все, немало стихов дожидается публикации... Так что поэзию Слуцкого в полном объеме нам еще предстоит узнать. Только тогда мы сможем по-настоящему, до конца осмыслить и оценить эту, одну из самых честных и беспощадных по отношению к себе и нашему времени поэтическую исповедь.

За вычетом «непроходимых» — с этими все ясно, — трудно сказать, почему одни стихи Слуцкий предлагал в печать, а другие — не менее сильные — откладывал. В этом еще придется разбираться критикам и литературоведам. Одно предположение я, однако, рискну высказать. Два чувства, сталкиваясь, противоборствуя, должны уживаться в душе художника: строгий самоконтроль, недовольство сделанным, без которого невозможно движение к совершенству, и крепкая уверенность в себе, рождающая сознание насущной необходимости его творения. Мне кажется, что Борису, производившему впечатление человека, не знающего сомнений и рефлексии, как ни странно, в действительности не хватало уверенности в себе, он боялся самообольщения. Может быть, это происходило потому, что он, хорошо зная повседневную жизнь обыкновенных людей, понимал, какое малое место занимает в ней искусство, а тем более поэзия того направления, которое ему было ближе всего. Он считал, что представляет в



поэзии их взгляд на мир, а для них родовым признаком поэзии были те затасканные «поэтизмы», которые он решительно отбрасывал как антипоэтические.

В те два с половиной месяца, которые пролегли между смертью Тани и болезнью Бориса, он, стараясь заглушить тоску и неприкаянность запойной, без продыха работой, написал очень много стихов — так, перед тем как погаснуть, лампочка ярко вспыхивает. Он сам предложил собраться у Ирины Ильиничны Эренбург: хотел почитать эти стихи. Это было очень на него не похоже — он не любил ни «эстрадного», ни «домашнего» чтения своих стихов. У меня после этого вечера осталось смутное чувство, что он хотел о чем-то для него важном поговорить, что-то для себя выяснить, проверить, но почему-то разговор не получился.

Как-то Борис позвонил мне и пригласил пойти с ним пообедать в «Будапешт». Стал заказывать там роскошный обед, я пытался его удержать. Он отмахнулся: «Тани нет, мне не на что теперь тратить, раньше ведь почти все уходило на ее болезнь». Я старался отвлечь его от мрачных мыслей, переключить на предметы, которые прежде всегда были ему интересны. Он слушал меня, старался даже поддержать разговор, но я видел, что все это проходит мимо него, не задерживая по-настоящему его внимания, думает он о чем-то своем.

И вдруг он спросил меня с обескураживающей, совершенно детской непосредственностью и незащищенностью: «А как вы думаете, будут меня читать после смерти, останутся какие-нибудь из моих стихов?» Нет, он не жаждал комплиментов, не ждал от меня фимиама, да и вообще «искал не славу, а слова» (это не только характеристика Кульчицкого, это и о себе), он ощущал себя не баловнем, которому все должно идти в руки, а работягой поэзии, делающим свое дело на совесть, не заносясь, ни на что не претендуя. И второстепенные поэты так занимали Слуцкого еще и потому, что мысленно он причислял к ним и себя. Он надеялся, но уверен не был, иногда ему казалось, что так и будет, иногда он в этом сомневался — наверное, именно в такую минуту одолевавших его сомнений он и задал мне свой вопрос. Не знаю, сумел ли я тогда ответить ему так, как следовало, чтобы поддержать его угасавшую веру в себя, но и тогда — не только сейчас — я был убежден, что его стихи переживут наше время, что им суждена долгая жизнь и завидная участь...

Когда-то в журнале «Юность» было напечатано стихотворение Слуцкого, посвященное польскому поэту Броневскому. Этому прекрасному стихотворению потом не везло, ни в одном из сборников Слуцкого оно не устояло: то в Польше что-то происходило, то нашу поэзию в очередной раз укрощали. Вылетело оно в последний момент и из выходявшего в 1969 году первого избранного Слуцкого, хотя мое предисловие к сборнику заканчивалось цитатой из этого стихотворения (ее оставили, но подрезали). И свои воспоминания о Борисе Слуцком я хочу закончить тоже этим стихотворением (печатаю его без тех исправлений в первой строфе, которые вынужден был сделать автор в единственной публикации) — оно настоящий гимн жизнестойкости и свободолюбию русской поэзии, которой с юных лет беззаветно, верой и правдой служил Борис Слуцкий:

Покуда над стихами плачут,  
пока в газетах их порочат,  
пока их в дальний ящик прячут,  
покуда в лагеря их прочат, —

до той поры не оскудело,  
не отзвенело наше дело.  
Оно, как Польша, не згинело,  
хоть выдержало три раздела.

Для тех, кто до сравнений лаком,  
я точности не знаю большей,  
чем русский стих сравнить с поляком,  
поэзию родную — с Польшей.

Еще вчера она бежала,  
заламывая руки в страхе,  
еще вчера она лежала  
почти что на десятой плахе.

И вот она романы крутит,  
и наглым голосом хохочет.  
А то, что было,  
то, что будет, —  
про это знать она не хочет!

*Из книги: Л. Лазарев. Шестой этаж.  
М., 1999.*

---

Олег Хлебников

## ВЫСОКАЯ БОЛЕЗНЬ БОРИСА СЛУЦКОГО

...мы и гибнем, и поем  
Не для девического вздоха.  
В. Ходасевич

Мы были музыкой во льду...  
Б. Пастернак, «Высокая болезнь»

Большой поэт приходит не только со своим пониманием того, что такое поэзия, но и — что такое стихи. Конечно, общекультурные тенденции влияют на это понимание, однако не определяют его.

Борис Слуцкий, бесспорно, один из самых крупных советских поэтов. Точнее — один из лучших поэтов советского периода русской литературы. (Тех, кто начинал писать до советской власти, называть советскими поэтами можно только с оговоркой.)

Вся его жизнь (1919–1986) и, конечно, все творчество уложились в этот период. А состав его мышления, выйдя из точки «Всем лозунгам я верил до конца...», дошел до конечного пункта под названием Крах иллюзий («Иллюзия давала стол и кров...», «Я строю на песке...», «Запах лжи...», «...Это время — распада...», «...Но дела исключительно плохи...» — эти строчки только из пяти стихотворений, а можно было бы процитировать и из пятидесяти). Движение не было равномерным и прямолинейным. А пути поэт прокладывал сам, еще не подозревая, куда они приведут. При этом состав мышления Слуцкого был переполнен, как поезда времен гражданской войны, как вагонзаки, как эшелоны второй мировой...

Мышление применительно к поэзии Слуцкого — слово ключевое. Стихи для него были не столько способом высказывания, самовыражения, даже «говорения», сколько именно способом мышления. Потому и писал он — до самой своей болезни — очень много и практически непрерывно: человек не может не думать. Потому и не имело решающего значения то, что огромное количество его стихов — в том числе лучших — не было напечатано:

мысли-то уже были зафиксированы на бумаге и жила надежда: «Я еще без поправок эту книгу издам...»

Когда Толстой, чрезвычайно важный для Слуцкого писатель («От Толстого происхожу, ото Льва, через деда...», «Народ, прочитавший Толстого...», «И воевали тоже по Толстому...»), сомневался в самой возможности существования стихов — как это: идти за плугом и при этом пританцовывать?! — он не думал о возможности появления другой стихотворной эстетики, такой, как у Слуцкого, без пританцовывания.

Слуцкий именно идет за плугом, поднимая те пласты народной жизни, которые во времена Толстого считались исключительно объектом эпической прозы. Он не думает об изяществе, очевидно, уповая на то, что красив сам процесс тяжелой работы, если она выполняется добросовестно и сноровисто. На этом пути много потерь, но есть и бесценные приобретения. «Шепот, робкое дыханье» практически отсутствуют, а вот «трели соловья» получают даже социальное звучание:

И военной птицей стал не сокол  
и не черный ворон, не орел —  
соловей,  
который трели цокал  
и колена вел.

Вел,  
и слушали его живые,  
и к погибшим  
залетал во сны.  
Заглушив оркестры духовые,  
стал он  
главной музыкой  
войны.

А вот после войны исчез:

В щелях, в окопах выжил человек,  
зверье в своих берлогах уцелело,  
а птицы все ушли куда-то вверх,  
куда-то вправо и куда-то влево...

Подобные наблюдения-свидетельства составляют значительную часть стихов Слуцкого. И зачастую они куда более, чем процитированные, существенны для понимания произошедшего со страной и людьми:

Странная была свобода:  
 делай все, что хочешь,  
 говори, пиши, печатай  
 все, что хочешь.  
 Но хотеть того, что хочешь,  
 было невозможно.  
 Надо было жаждать  
 только то, что надо.  
 .....  
 Лишь котлеты дорого ценились  
 без гарнира  
 и особенно с гарниром  
 Легче было  
 победить, чем пообедать  
 Победитель гитлеровских полчищ  
 и рубля не получил на водку,  
 хоть освободил полмира...

По стихам-свидетельствам Слуцкого можно и нужно изучать историю СССР — по крайней мере с середины 20-х до конца 70-х. Литература — действительно лучшая история. Особенно поэзия. Правда языка, точность поэтического слова становятся критерием исторической истины.

Впрочем исторические истины подтверждаются искренностью и болью и другого рода стихотворений Слуцкого, которые точнее всего можно определить как исповеди. Вот, быть может, самое знаменитое из них:

Я строю на песке, а тот песок  
 еще недавно мне скалой казался.  
 Он был скалой, для всех скалой остался,  
 а для меня распался и потек.

Я мог бы руки долу опустить,  
 я мог бы отдых пальцам дать корявым.  
 Я мог бы возмутиться и спросить,  
 за что меня и по какому праву...

Но верен я строительной программе.  
 Прижат к стене, вися на волоске,  
 я строю на плывущем под ногами,  
 на уходящем из-под ног песке

Библейское звучание строчек «Я мог бы руки долу опустить, я мог бы отдых пальцам дать корявым...» придает личной трагедии

поэта поистине вселенский масштаб, а историческая обреченность советской утопии предстает непреложным фактом, причем задолго до краха СССР и саморазрушения советской власти.

Так исповедь становится пророчеством.

Но неужели пророком может быть атеист? Ведь сознание Слуцкого как будто внерелигиозно. Хотя нет, скорее, не «вне» — «анти». А отрицание, как известно, активно взаимодействует с отрицаемым явлением:

Что ты значил, Господи,  
в длинной моей судьбе?  
Я тебе не молился —  
взмаливался тебе.  
.....  
В самый темный угол  
меж фетишей и пугал  
я тебя поместил.  
Господи, ты простил?

И все-таки в своих стихах Слуцкий исповедовался скорее не Богу, а народу, своим гипотетическим читателям. Такая исповедь не предполагает причастия. По крайней мере, в двадцатом веке.

Не это ли привело к трагедии Слуцкого — его восьмилетней медицинской депрессии, основным симптомом которой было категорическое нежелание участвовать в литературном процессе и даже разговаривать с людьми на любые не бытовые темы?

В одном из последних стихотворений, написанных перед самой болезнью, он, отвечая на поставленный самому себе вопрос: «А чем теперь мне стать бы?», говорит:

... словом, оборотом,  
исполненным огня,  
излюбленным народом,  
забывшим про меня.

То есть Слуцкий по поводу отношения своего исповедника к себе отнюдь не ободрялся. Какое уж тут могло быть причастие!

Конечно, одной из главных причин болезни Слуцкого стала смерть самого близкого ему человека — жены Тани:

Жена умирала и умерла —  
в последний раз на меня поглядела, —

и стали надолго мои дела,  
до них мне больше не было дела...

И все же его уход из литературной и общественной жизни нельзя объяснить только этой невосполнимой утратой.

Он, прошедший «длинную войну» от самого начала до конца, получивший на ней, помимо трех советских орденов и болгарского ордена «За храбрость», тяжелую контузию, которую лечил стихами («Но вдруг я решил написать стих, // потряхнуть стариной. // И вот головной тик — стих, // что-то случилось со мной...») и преодолел, он, воспринявший государственный антисемитизм как личное оскорбление, переживший крах идеалов юности и иллюзий оттепели, — так вот он не хотел и не мог проживать нашу новейшую историю, которую предвидел и в которой не находил места ни для себя, ни для поэзии вообще, как он ее понимал:

Наш номер снят уже с афиш.  
Хранители этого дара  
дарителям вернули дар.

И — еще страшнее и определеннее;

Раньше думал, что мне места нету  
в этой долговечной, как планета,  
эре!  
Ей во мне отныне места нет.  
Следующая, новая эпоха  
топчется у входа.  
В ней мне точно так же будет плохо.

А основные составляющие поэтического дара Слуцкого — скрупулезная честность перед собой и больная совесть — оказались как ни странно необходимыми условиями его болезни. Он не мог позволить себе не осознавать происходящего и забыть о том, что мучило:

Где-то струсил. И этот случай,  
Как его там ни назови,  
Солью самую злой, колючей  
Оседает в моей крови.

Солит мысли мои, поступки,  
Вместе, рядом ест и пьет.

И подрагивает, и постукивает,  
И покоя мне не дает.

Это, несомненно, об истории с Пастернаком.

О ней пишет многолетний (еще со школьной скамьи) друг Слуцкого, полковник в отставке Петр Гурелик.

Практически то же самое о причинах грехопадения Слуцкого, об этой драме двух поэтов, мне рассказывал третий поэт и также близкий друг Бориса Абрамовича Давид Самойлов. А вот еще один поэт фронтового поколения, Александр Межиров, говорил, что сам тогда поступил трусливее: чтобы только не оказаться на том собрании, улетел в Тбилиси, а оттуда на такси уехал в Ереван, дабы наверняка не нашли. Словом, нельзя судить одно время с позиций другого. Сам же Слуцкий, как будто отвечая Межинову, написал:

Уменья нет сослаться на болезнь,  
таланту нет не оказаться дома.  
Приходится, перекрестившись, лезть  
в такую грязь, где не бывать другому...

Кстати, именно Межиров в самый расцвет застоя показал мне вышедшую в Мюнхене антологию советской неподцензурной поэзии, в которой было напечатано много неизвестных тогда российским читателям стихотворений Слуцкого. Но Слуцкий и тут оказался верен себе — он не передавал свои рукописи за границу. Это сделал кто-то из его поклонников: стихи Слуцкого тогда расходились в списках. А немцы поступили корректно по отношению к поэту: напечатали его большую подборку, не указав имени автора. Более того: подборка была разбита на две части и над обеими значилось «Аноним». Но для тех, кто понимает, «фирменная» узнаваемая интонация Слуцкого говорила об авторстве красноречивее подписи. К счастью, литературоведы в штатском не слишком квалифицированы, а уж к поэзии точно глухи.

Вообще же это был абсолютный феномен: у «известного советского поэта», как значилось в аннотациях его книг, оказалась неопубликованной львиная доля стихов, многие из которых относятся к вершинам его творчества. Можно сказать, что «известный советский поэт Слуцкий» оказался, наряду с Галичем, самым значительным антисоветским поэтом. И разгадка этого парадокса только в том, что, отнюдь не будучи врагом советской власти и



электрификации всей страны, Слуцкий писал и о том и о другом правду — так же как о войне, о довоенном терроре, о сталинизме вообще, о послевоенном государственном антисемитизме, о ма-разме застоя...

Читатели узнали эту правду Слуцкого только в годы перестройки — благодаря усилиям его добровольного секретаря, литературного критика Юрия Болдырева, составившего и опубликовавшего множество журнальных и газетных подборок и несколько книг поэта. И что такое реальное, осязаемое бессмертие поэта, мы увидели тоже благодаря Болдыреву. Слуцкого уже не было в живых, а его новые (!) для читателей стихи продолжали выходить несколько лет — с частотой, которая и не снилась большинству, так сказать, действующих поэтов. (Есть высшая справедливость в том, что сейчас прах Юрия Болдырева покоится рядом с прахом Бориса Слуцкого на Пятницком кладбище в Москве.) Так во второй раз к Слуцкому пришла слава — хотя он этого уже не увидел.

Первый ее приход датирован серединой пятидесятых, когда вышли его первая книга стихов «Память» и первая большая статья Ильи Эренбурга о Слуцком в «Литгазете». Тогда же, на волне XX съезда, были опубликованы его ставшие знаменитыми стихи о Сталине: «Бог» и «Хозяин». Но прошло совсем немного времени, и эти стихи уже стало невозможно включать в сборники.

...Однажды я шел Арбатом,  
Бог ехал в пяти машинах...

И еще:

А мой хозяин не любил меня —  
Не знал меня, не слышал и не видел,  
А все-таки боялся, как огня,  
И сумрачно, угрюмо ненавидел...

В результате для большинства Слуцкий многие годы оставался только автором «Лошадей в океане» (спасибо Виктору Берковскому, написавшему замечательную песню на эти стихи), да еще разве что — знаменитой антиномии, термина многих дискуссий: «Физики и лирики».

Собственно, и я знал о Слуцком не многим больше, когда увидел его впервые. Тогда в «Комсомольской правде» была такая газета в газете — «Алый парус», страничка для подростков. Кроме всего прочего здесь публиковались и стихи. Письма с рифмо-

ванными опытами начинающих приходили сюда мешками. Тогдашний капитан «Алого паруса» Юрий Щекочихин рассказывает, что Борис Абрамович Слуцкий ходил к ним в комнатку на знаменитом 6-м этаже, как на работу — интересовался, что пишут «маленькие».

Когда шестнадцатилетним посылал свои стихи в «Алый парус», я, конечно, этого не знал. И после мгновенной публикации не подозревал, что мной заинтересовался поэт фронтового поколения. Только когда из своего родного Ижевска приехал в Москву, удивился, что Юра отправляет меня в литературную студию, которую вел Слуцкий. (Надо сказать, что студия эта существовала при МГК ВЛКСМ на общественных началах и посещали ее многие известные сейчас литераторы.)

... Скалообразно возвышавшийся над столом Борис Абрамович (видать, у каждого времени в России свои Борисы Абрамовичи — но какая же между ними пропасть!) спросил участников литстудии, прочитали ли они за последнее время что-то интересное. Казалось, все занятие пройдет в подробных ответах на этот вопрос, но вдруг Слуцкий, прервав это устное рецензирование, сказал; «Кто тут Хлебников? Выходите!»

Я почувствовал тошноту в коленках, но как-то все-таки сумел подняться. «Читайте! Только громко и членораздельно» — услышал я приказ майора Слуцкого, который в поэзии (это-то я уже тогда понимал) тянул на генерала. Я начал. «Еще!» Я не понимал, что значит это «еще» — то ли Слуцкий хочет убедиться, что я полная бездарность, то ли оставляет мне последний шанс.

Наконец я отчитался, но оказалось, что мой отчет еще не кончен: Слуцкий стал задавать вопросы — и о родителях, и о цели приезда в Москву, и о родстве или «однофамильстве» с Велимиром Хлебниковым... Я отвечал так подробно, как хотел бы иметь возможность отвечать на Страшном Суде. Но вот допрос окончился, и Борис Абрамович обратился к своему семинару — чтобы высказывали мнения об услышанном. На счастье, семинар одобрил мое существование в качестве стихотворца. Сам Слуцкий, выслушав всех, не сказал ни слова и предложил задавать ему вопросы — «только связанные с литературой».

Когда все закончилось, Борис Абрамович спросил, как мне понравилось занятие, и велел звонить по его домашнему телефону. А на следующее утро от ребят из «Комсомолки» я узнал, что Слуцкий продиктовал им вступительную статью к моим стихам.

Боюсь, что до сих пор никто не сказал о них ничего более существенного...

А потом я стал получать от Слуцкого приказы: прочитать то-то, отправить стихи туда-то. Оказывается, он ходил по журналам и «пропагандировал» меня, в сущности нахального мальчишку из провинциального города. Такая армейская детерминированность в литературе мне столь понравилась, что со звонками Борису Абрамовичу я начал явно перебирать. Однажды почувствовал некоторую отрывочность в его ответах и только спустя время узнал, что в те месяцы у него умирала горячо любимая жена, которую он всеми силами пытался спасти.

До сих пор стыдно за те неуместные звонки.

А последний мой телефонный разговор со Слуцким был предельно лаконичен. Я знал, что он болеет и живет в Туле у брата, но все-таки решил поздравить его с днем рождения. Слуцкий поблагодарил и, извинившись, сказал, что болен и ни с кем не общается. Так закончилось и мое общение с одним из самых замечательных людей из тех, с кем посчастливилось встретиться.

Слуцкий был не только большим поэтом, но и таким «дядькой» (в понимании XIX века) при литературе. Мог позвонить незнакомому стихотворцу и похвалить его стихи, напечатанные чуть ли не в районной газете (читал, казалось, буквально все). Первое, о чем спрашивал молодых литераторов, — не надо ли денег, хорошо помнил, как бедствовал сам. Сейчас такого «дядьки» в нашей литературе нет. Да и время изменилось...

Приметы изменения времени Слуцкий ловил внимательно и жадно. И если так можно выразиться, третий род его стихов (наряду со стихами-свидетельствами и стихами-исповедями) — это стихи-исследования будущего:

Самолеты бьются, а прежде  
так не бились. Это и то, что  
так небрежно работает почта,  
телевиденье так неясно,  
глухо радио так вещанье,  
не позволит боле надежде,  
именуемой ныне прогрессом,  
отвлекать, завлекать, морочить...

Кажется, что это сказано сегодня, в пору происходящих и надвигающихся техногенных катастроф. И таких стихов, написанных

как бы изнутри сознания человека XXI века, у Слуцкого много.

Не только временной отрезок от двадцатых до семидесятых лет прошлого века покрывает его поэзия. Пошире. А опыт души поэта вообще не укладывается ни в какие временные рамки.

При чтении стихов Слуцкого надо помнить, что помимо пушкинской гармонии в нашей поэзии существует гармония Державина и Маяковского, вот на подобную гармонию и следует настроить свое ухо, тогда упреки в «неизящности» Слуцкого отпадут сами собой.

«...Поют, конечно, тенорами, но и басами хриплыми поют» — так поэт сам определил свой голос. А вот его поэзию, пользуясь термином Лидии Гинзбург, я бы назвал скорее дедуктивной, чем индуктивной: очень многие стихи начинаются с формулировки, с сильного утверждения и только потом «разматываются» до осязаемой конкретности.

Убежден, что стихи Слуцкого можно читать от начала до конца — как классический исторический роман. Слуцкий — летописец, Но при этом их можно и нужно перечитывать. Слуцкий — поэт.

Сам автор этой поэзии был читателем блестящим. Между прочим, это не менее высокое звание, чем поэт.

*Из предисловия к книге: Борис Слуцкий. Странная свобода.  
М.: Русская книга, 2001. С. 3–15.*

## СИЛА СОВЕСТИ

С Борисом Слуцким я познакомился благодаря В. С. Гроссману, который, в свою очередь, услышал о Слуцком от Эренбурга. Слуцкий, служивший во время войны в армии в качестве юриста<sup>1</sup>, принес Гроссману свои записки о солдатах и офицерах, судимых военным судом за различного рода преступления.

Записки эти показались Гроссману чрезвычайно ценными, лично изложенными. Он мне сказал, что материальные обстоятельства складываются у молодого литератора неважно, просил меня помочь Слуцкому раздобыть переводы и, конечно, послушать его стихи.

Слуцкий пришел ко мне на Беговую. Насколько я помню, произошло это еще в сталинское время, но, может быть, в ранне-хрущевское. Переводческий вопрос был решен быстро: я предложил Слуцкому перевести несколько стихотворений из одного сборника, который я тогда редактировал. Забегая вперед, скажу, что Слуцкий справился с этой новой для него работой на хорошем профессиональном уровне.

В день знакомства Слуцкий прочел мне много своих стихов. Некоторые из них вскоре стали знаменитыми, как, например, баллада о тонущих лошадях. Стало ясно, что мой гость принадлежит не к распространенному у нас виду сочинителей стихов, а к чрезвычайно редкой и драгоценной породе поэтов. Хотя те, от которых явно шел Слуцкий, — Маяковский, Асеев, Сельвинский — были мне чужды, талант поэта был неоспорим в своей значимости и объемности. Оказалось, что литературные взгляды Слуцкого вовсе не были узкими, он понимал красоту и важность других наших поэтических направлений, отдавал должное Хлеб-

---

<sup>1</sup> «В качестве юриста» Слуцкий служил до ранения 1941 года — был следователем дивизионной прокуратуры. В трибунале не служил ни дня. Большую часть войны был политработником батальонного, дивизионного, а затем и армейского звена. — *Примеч. сост.*

никову, Цветаевой, Белому, Кузмину, Ходасевичу и даже Бунину, о стихах которого мало кто из советских стихотворцев тогда знал.

Собственные стихи Слуцкий читал не совсем обычно — не в эстрадной манере левого толка и не в спокойной классической. Казалось, он зачитывает рапорт или приказ, и при этом бесстрастными были его голос и глаза, да и весь его внутренний облик. Он знал, что и я не только перевожу, но и пишу в стол, послушал меня и, что называется, принял. Между нами установились приятельские отношения, постепенно переходящие в дружеские.

Мне нравился характер Слуцкого. Человек серьезный, уверенный в себе, преданный друзьям. Убежденный коммунист, но противник Сталина. Поклонник Маркса, но читающий и порой читающий Бердяева и других веховцев. Интересы широкие, не только литература, но и политика, история, живопись, и острое любопытство к людям, к повседневному быту. Непрочь был поделиться литературной или политической сплетней — кто ее не любит?

Гроссмана и меня он приохотил к художественным выставкам, приводил в мастерские художников, весьма разных, — к Тышлеру, к Сидуру, к Глазунову в крохотное ателье на Сретенке, к Вейсбергу. Прелестная его черта — желание, когда стал известен, помочь поэтам, молодым и не очень молодым, много тратил времени на то, чтобы пробить их сочинения в редакциях журналов, издательств, подробно рассказывал о том, как движутся его усилия в этой области. Он привел ко мне Глазкова, Куняева, Лимонова, красивого блондина, который продал мне, рублей, кажется, за пять, машинописную тетрадку своих стихов и предложил сшить мне брюки. Когда я сказал Слуцкому, что Глазков — талантливый, Куняев — способный, Лимонов — вздор, он обрадовался за Глазкова, горячо возражал против оценок двух других. Осторожно хвалил знаменитостей — Евтушенко, Рождественского, Вознесенского, отдавая предпочтение последнему. Ахмадулина его удивляла и умиляла. С большой симпатией отзывался о тогда менее известных — Самойлове и Корнилове. О стихотворении Межирова «Коммунисты, вперед!» (а ставил он этого поэта высоко) сказал: «Сам-то он не коммунист, коммунист — я, в этом-то и наши расхождения. Хотя у него есть партбилет».

После войны Слуцкий, не имея собственного жилья в Москве, вынужден был снимать пристанище за большие для него деньги. Наконец Союз писателей предоставил ему и его жене Тане

небольшую комнату в писательском доме на Ломоносовском проспекте, в коммунальной квартире. В Москве это называлось подселенка. Благодаря энергии Тани комнату в коммуналке удалось обменять на двухкомнатную квартиру в доме полубарачного типа у самой рижской железной дороги. Таня превратила это бедное жилище в нечто уютное и милое. Мы сделались довольно близкими соседями, стали с Борисом видеться гораздо чаще, чем прежде, совершали прогулки по нашим аэропортовским местам. О чем говорили? О разном: о политике, о еврейском вопросе, о литературных делах, о прочитанных книгах по истории и философии, о стихах. Радость бесед заключалась в их откровенности.

Началась травля Пастернака в связи с выходом за рубежом «Доктора Живаго». Членов Союза писателей вызвали на общее антипастернаковское собрание. Сосед по писательскому дому, всегда внушавший мне недоверие, позвонил мне, приглашая в собственную машину. Я ответил, что мне надо в поликлинику, покинул дом, чтобы вернуться поздним вечером. Потом выяснилось, что такой же путь абсентеизма избрали все литераторы, считавшие себя порядочными людьми. На большую храбрость не осмеливались.

Вернувшись домой, я с помощью телефона узнал, что против Пастернака выступил Слуцкий. Через несколько дней он ко мне пришел без предварительного звонка. Он был небрит, его обычно бесстрастное, командирское лицо налилось краской. Вот что он мне рассказал.

Его, члена партии, партком обязал уговорить обрушиться на Пастернака поэта Леонида Мартынова, с которым Слуцкий почтительно дружил. Кандидатура Мартынова нравилась парткому потому, что Мартынов был беспартийным, талантливым и негосударственным. Было известно, что Пастернак его ценил. Мартынов нехотя согласился, но за полчаса до начала собрания сказал Слуцкому: «А почему вы не берете слова? Я выступлю только в том случае, если выступите вы».

Растерявшись, Слуцкий повел Мартынова в партком. Секретарь парткома (забыл его фамилию) обратился к Слуцкому: «В самом деле, почему тебе не выступить? Леонид Николаевич прав». Слуцкий вынужден был согласиться. Все это он мне рассказывал зло, злясь, как я подумал, на себя. Но и я не был расположен к добродушной беседе:

— Боря, вы понимаете не хуже меня, что никакое общее собрание не может исключить из русской литературы великого поэта.

Вы, умный человек, совершили поступок не только дурной, но и бессмысленный.

Слуцкий беспомощно возразил:

— Я не считаю Пастернака великим поэтом. Я не люблю его стихи.

— А стихи Софронова вы обожаете? Почему же вы не потребовали исключения Софронова?

— Софронов не опубликовал антисоветского романа за рубежом.

— Но ведь он уголовник, руки его в крови. И этого бездарного виршеплета вы оставляете в Союзе писателей, а Пастернака изгоняете?

...Когда Слуцкий тяжело заболел, я почувствовал, что не должен был с ним так разговаривать. Несколько лет назад Межиров сказал мне, что симптомы психического заболевания случались у Слуцкого и раньше, например сразу же после войны<sup>1</sup>.

Пастернак умер. Когда я вернулся с похорон, домашние мне сообщили, что звонил Слуцкий. Я протелефонировал ему, мы условились о завтрашней встрече на углу Черняховского и Планетной. Слуцкий нервно стал меня расспрашивать о похоронах. Я рассказывал: у входа на ступеньках стояла Ивинская в траурном платье, из известных писателей я запомнил Паустовского, с которым стоял в почетном карауле, Каверина, Вознесенского, гроб с телом поэта несли на руках через поле, а напротив, вдоль забора, выстроились писательские и иные аппаратчики, я узнал Воронкова, тогдашнего секретаря Союза писателей по оргвопросам, на нас нацелили фотоаппараты, у могилы прекрасно, умно говорил В. Ф. Асмус, потом замечательно выступил молодой монах... Слуцкий вбирал в себя каждое слово. Мне стало его жаль.

Мы продолжали встречаться, читали друг другу свои стихи. Однажды, выслушав мою поэму «Техник-интендант», Слуцкий сказал:

— Хватит вам сидеть дома. Вот Тарковский наконец издал книгу. Теперь ваша очередь.

— Ничего из этого не выйдет.

— Выйдет. Дайте мне рукопись. Я отнесу в «Советский писатель».

---

<sup>1</sup> Три года после войны я почти ежедневно встречался с ним, часто виделся и в 60-х и 70-х годах и никогда не замечал никаких признаков психического заболевания. Правда, я не врач, но и Межиров не психиатр. — *Примеч. сост.*



И отнес. Мало того, сопроводил рукопись своей рецензией. Официальной силы рецензия не имела, так как Слуцкий не значился в списке рецензентов, утвержденном высшей инстанцией, но сочувственные, даже хвалебные слова известного поэта сделали свое дело. Книгой заинтересовались, ее дали на отзыв Адалис и Кожинуву, отзывы были положительные, и через три года, в урезанном виде, на 56-м году моей жизни, издали первую книгу моих стихов «Очевидец». Я храню в сердце благодарность Слуцкому.

Основной круг моих знакомых составляли переводчики, в смысле культуры — передовой отряд Союза писателей. Когда я начал общаться с советскими поэтами, меня удивили две их черты: они в большинстве своем были малообразованны и любили говорить о себе. Слуцкий был очень начитан, книгу любил, как жизнь, и крайне редко говорил о себе — только в случаях необычных. Вот один из них: подготавлилось выступление по телевизору известных деятелей литературы и искусства еврейского происхождения, направленное против агентов ЦРУ — сионистов, против государства Израиль, которым управляют «фашисты с голубой звездой». Я знал об этой акции, так как, хотя не принадлежал к известным, выступить предложили и мне: один из секретарей Союза писателей (московского отделения), генерал-лейтенант КГБ Ильин, прельстился такой коллизией: я — еврей и в то же время народный поэт Калмыкии, здесь — дружба народов, там — фашистская нечисть. Чтобы закончить о себе: я немедленно вылетел в Душанбе для переводческой работы.

Слуцкого вызвали высокие инстанции, может быть, ЦК КПСС (не ручаюсь за точность памяти). Слуцкий так сказал: «Меня интересуют заботы русского мужика, заботы израильского мужика оставляют меня равнодушным». Ответ, видимо, понравился, к Слуцкому больше не приставали.

Я ничего не знаю об интимной жизни Слуцкого до Тани, разговоры на такого рода темы Слуцкий не терпел (и в этом он отличался от своих сверстников — советских стихотворцев), я видел только, что Таню он любил всем своим существом, гордился ее красотой и умом — и было чем гордиться. Она заболела смертельной болезнью, и он боролся за ее жизнь, добился того (а это было нелегко), что она получила возможность лечиться во Франции, здоровье ее несколько улучшилось. Последние дни ее жизни мы — двумя семьями — провели в писательском Доме творче-

ства в Малеевке. Таня участвовала в наших беседах, молодая, прелестная, смеялась шуткам, воля у нее была сильная. Много гуляли, Слуцкий принаравливался к тому, что Таня и я (сердечник) шли медленно. Случалось, что Таня не выходила, ей недужилось, мы прогуливались вдвоем, о состоянии Тани Слуцкий сообщал отрывисто, кратко. Однажды он мне так же отрывисто, глядя не на меня, а в снежное пространство, неожиданно сказал: «Мое выступление против Пастернака — мой позор». И замолчал. Молчание длилось долго.

Тане стало очень плохо. Инна Лиснянская находилась неотлучно у ее постели. Слуцкий вызвал «скорую помощь». Таню увезли в больницу. В больнице она скончалась. Мы хоронили ее в новом — дальнем — крематории. Во время похорон Слуцкий несколько раз благодарил Инну Львовну, видимо забывая, что повторяется. Держался он по-солдатски стойко, но напряжения не выдержал, заболел, слег в больницу.

Началась метропольская история, мы со Слуцким не встречались год или больше. Причина — наше с Инной Львовной особенное положение и болезнь Слуцкого. Случайно я встретился с ним на улице, пошли по направлению к его дому. Глаза у него были больные, неподвижные, он не смотрел на собеседника, пересохшие губы покрылись какими-то мелкими белыми точечками. Он сказал, глядя не на меня, а перед собой;

— У меня цензура выкинула из сборника шесть стихотворений. — Помолчал и добавил: — О вас и Инне слышал по радио. Ваш выход из Союза писателей не одобряю.

Когда мы проходили мимо нашего дома, я позвал его к нам пообедать. Он отказался:

— Привет Инне. Я помню ее заботу о Тане. — И замолчал, по-прежнему не гаядя на спутника. У Ленинградского рынка прервал молчание: — Я был в поликлинике. Врачи мне не помогут. Я пропал.

— Вам прописали лекарства? Вы их принимаете?

— Я скоро умру.

Через некоторое время мы снова встретились на улице. В руках у него была сумка. Я опять позвал его к нам, он опять отказался, с безумным упорством просил передать привет и благодарность Инне. Сказал: «Я никого не хочу и не могу видеть. Кроме брата. Уеду к нему в Калугу (или в Тулу?). Я скоро умру».

Ему надо было в молочный. Их было несколько по дороге к его дому, но он повел меня в противоположную сторону, по направлению

к «Соколу». Объяснил: «Там меня знают». И действительно, продавщица встретила его приветливо, как знакомого.

Я проводил его до дому. Он немного оживился, начал разговор на политические темы, вполне разумно, но глаза его были как бы из замутненного стекла, болезненными казались подрагивающие губы и даже усы. Одет он был нормально, кепка, чистая куртка, но выбрит был плохо. Спросил меня:

— Вы пишете?

— Как это ни странно, и я, и Инна пишем много, как никогда раньше.

— И я пишу много.

— Почитаем друг другу?

— Не могу. Я очень болен. Скоро умру.

Мы расстались у его дома. К себе он меня не позвал.

В годы, последующие за его смертью, опубликовано огромное количество его стихов. Поражает и огромность их содержания. Даты не всегда обозначены. Когда Слуцкий писал эти стихи — до болезни или во время болезни? Жуковский говорил, что поэзия — это добродетель. Мандельштам считал поэзию сознанием своей правоты. Нельзя ли предположить, что поэзия — это сила совести, и мощь этой силы побеждает страшную немощь безумия.

*Из книги: С. Липкин. Квадрига.  
М., 1997.*

## ЖГУЧАЯ СИЛА

Слуцкого-поэта я открыла для себя самостоятельно, в девятнадцать лет. Особой заслуги тут нет — его первую книжку «Память» труднее было бы не заметить. Помню ее и сейчас: в скромной бумажной обложке, оранжево-черной, цвета пламени, пробивающегося сквозь мрак. Символично для «оттепели», которая проживалась как новая эра. Стихи были свежие и внятные, написанные «от себя», а не «от имени и по поручению». Покоряло редкостное в ту пору излучение столь чаемой искренности. Это была честная работа. Запали строчки: «Бронзовея, прямые, как совесть, смотрят старые сосны в закат».

Где-то вскоре моя подруга и соученица по университету начала писать маленькие, кружевного плетения новеллы, походившие на видения из какой-то иной жизни, чем та, что нас окружала: ни тебе комсомольского задора, ни лозунговой активности, порожденной двадцатым съездом. Ее отец, видный деятель литературно-идеологического фронта, отправил дочь на консультацию не к Симонову, допустим, а к Слуцкому. Она вернулась, окрыленная его поддержкой. Я удивилась: вроде бы тексты далеки от его собственной стилистики. Но и порадовалась тонкому вкусу и широте взгляда. Становилась более понятной близость Слуцкого к европейцу Эренбургу. На этом мои личные и заочные впечатления исчерпывались.

О противопастернаковском выступлении в годы студенчества я не ведала. А если бы и случилось узнать, любые резоны разбились бы о скалу молодого ригоризма — Пастернак был чтим высоко и восхищенно. Да и позже трудно понималась роковая ошибка Слуцкого, так смазавшая и надломившая блестящее начало пути. Честолюбивое желание стать в первые ряды чуть вольнее вздохнувшей литературы, вполне законное, но если бы без человеческих жертв... За то, что Слуцкий сам себя казнил, ему простилось. Даже неподкупная Л. К. Чуковская говорила о его раскаянии сочувственно и мягко. Но как по-человечески жаль этой горестной муки, этой пытки совестью...

До 1965 года я Слуцкого не видела, хотя порядком наслышана была от моего будущего мужа Д. Самойлова. Знакомство смахивало то ли на смотрины, то ли на инспекцию личной жизни ближайшего друга. Борису Абрамовичу было известно, что Дезик на пороге ухода из первой семьи и что я жду ребенка. Я стеснялась своей убывающей стройности, мне не хотелось представлять в таком виде перед незнакомым мужчиной. Борис Абрамович должен был вникнуть в непростые обстоятельства, его цельной натуры неблизкие. Он был не из тех, кто способен уклониться от товарищеского долга и занять позицию, удобную ему самому. Словом, драматургия встречи складывалась острой и неудобной. Превалировал сухой протокол, не способствовавший мгновенно возникающему теплоту и приятному чувству. Я была довольно ершистая особа, и только почтительность к солидному до важности облику Бориса Абрамовича да то, что Дезик огорчился бы, удерживали от готовой сорваться с языка дерзости в ответ на быстрые короткие вопросы (кто это ставит их так сразу и в лоб?): «Сколько комнат снимали?» («А я — двадцать две»), «Сколько статей написали?» («А я — больше»). По-моему, и ему и мне хотелось одного: поскорее закруглиться и с облегчением расстаться. Когда он ушел, я спросила у Дезика: «Зачем он так?» — «Не обращай внимания, он стеснялся не меньше твоего». Резкий, определенный, прямо-таки бронированный Слуцкий — застенчив? Быть того не может! Однако было.

Потом, при налаженном общении, я и сама ощущала за отшлифованной формой поведения нечто иное, глубинное. Порой как бы помимо воли проглядывала такая голубоглазая нежная беззащитность, какая бывает лишь у детей и у поэтов.

В первую же встречу по небогатому житейскому опыту где мне было отрешиться от элемента заполнения анкеты, бывшего на поверхности. Сейчас-то я слышу ту давнюю пронзительную мелодию тревоги за будущее жизнеустройство друга и его творческую судьбу. И охотно отринула бы глубоко эшелонированную оборону, ибо за внешней суровостью Бориса Абрамовича стоял главный незадаанный вопрос: понимаю ли я свою ответственность, становясь женой поэта? Но тогда — нет, ничто не заставило бы отказаться от самолюбивой и робеющей гордыни, уязвленной в готовности уважать и фронтовое поколение в целом, и Слуцкого отдельно.

Уважение к Слуцкому, впрочем, уцелело и когда поколение, уже распадавшееся, распалось окончательно.

Какое-то время продолжались расспросы-допросы. Попривыкнув, я реагировала спокойнее: в конце концов, это его способ внимания к человеку.

Как-то Слуцкий появился в Институте истории искусств. Я там работала и была уже им просвещена насчет небольшого старинного особняка в Козицком переулке с невытравимым патриархальным уютом. Перед войной здесь располагалось, оказывается, общежитие юридического института, а когда-то, до того, — публичный дом. Смена декораций по принципу «нарочно не придумаешь» могла бы позабавить. Борис Абрамович нажимал, однако, не на юмористический, а на назидательный аспект. Он, мол, давным-давно водрузил знамя на территории, куда я только что вступила. В жажде первенства по любому поводу просвечивало то детское соревновательное начало, та бесхитростность похвалы, на механизме которой Михалков построил стихотворение «А у вас? — А у нас в квартире газ». Единственной целью этого краткого забега было отыскать в многократно перестроенном помещении и показать мне место, где находилась его бывшая общежитская комната. Отыскал, конечно, без труда. Меня поразила легкость вхождения в прошлое. Не в смысле топографических ориентиров, а — отсутствием запретного барьера, щадящей боязни искаженного временем образа. Он помнил все так, как будто это было вчера. Опасно жить с такого рода памятью, не смягченной спасительными провалами и угодными душе фантазиями, вырастающими на их месте.

Однажды встретились на выставке художников-нонконформистов в каком-то захудалом клубе на шоссе Энтузиастов. Открыта она была, видимо, по недосмотру надзирающих инстанций, и ее торопились посмотреть: информация передавалась из уст в уста. Борис Абрамович живописью интересовался, покупал работы непризнанных авторов. У него дома было приличное собрание, помню кое-что из А. Зверева, В. Лемпорта, Н. Силиса, много Ю. Васильева. Так что его появление на вернисаже не было случайным. Он уже закончил осмотр, когда я пришла. Однако прошелся со мной вместе, советуя обратить внимание на Оскара Рабина. Мне же милее его барачных фантазий были мозаики и натюрморты Д. Плавинского. Велел подумать.

На одной из домашних посиделок Борис Абрамович устроил мне настоящий экзамен. Ему хотелось знать, как я думаю, на кого из поэтов XIX века тянет Дезик. На Анненского? Фофанова?

Случевского? Сначала я решила, что это шутка, но экзаменатор сохранял серьезность и сосредоточенность. Всех имен не запомнила, но перечислялись они долго. Перебиралась обойма совершенно разных поэтов. Интересовала не похожесть, а масштаб, итоговое значение, обсуждать которое по отношению к Дезику было достаточно бессмысленно в разгаре осуществления. Соизмерение кого-то с кем-то — излюбленная установка Слуцкого, и он ее прокатывал на мне как на свежем кадре. Не без ревнивой заинтересованности. Я не находчива в такого рода поединках, не догадалась сказать, что Самойлов тянет на самого себя.

Сразу после глазной операции Дезику нельзя было читать. Борис Абрамович хотел послушать новые его стихи. И решил прочесть их сам, вслух. Я слушала и не узнавала написанного. Описательную, фактографическую сторону Слуцкий превращал в смысловую, а второй план, тот, что между строк, размышлялся в волевом нажиме исполнения. Стихи при этом нравились, хвалил.

Мне было интересно, почему Слуцкий так редко выступает и совсем не устраивает персональных вечеров. Вроде бы все при нем — и читатель, и есть, с чем предстать перед ним, и яркая, отточенная речь, и статья, и медальный профиль. Ан нет. Все спрашивала у Дезика, как думает, почему? Будто бы Борис Абрамович утверждал, что пробовал и получилось неудачно. Но что ему показалось неудачным, так и не поняла. Боялся, что ударят по больному месту, спросят: «Зачем вы предали Пастернака?» Так это на всяком общественном мероприятии могли предъявить. Участвовал же он в вечерах памяти ушедших поэтов, да и живых представлял с благородной отдачей. Поэтические вечера в подцензурную пору были, быть может, основным видом неформального общения, недаром народ валил на них валом, и все больше качественный народ, с понятием. И записки из зала сыпались самого острого и животрепещущего содержания. Можно было высказаться, правда, не без учета последствий. Но при любом раскладе дело было стоящее: взаимовливание свежей крови. Слуцкий, мне кажется, уклонялся от него по двум причинам. Общение с аудиторией складывалось спонтанно, не им самим организованное, а это он переносил плохо. И более важное: он был из тех поэтов, что целеустремленно берегут себя для главного — писания стихов — и не хотят, не рискуют размениваться на иные жанры, ни устно, ни письменно.

Многолюдье вообще не было его стихией, во всяком случае, в том возрасте, что я его узнала. На Дезиковых днях рождения без специального приглашения собиралось у нас в Опалихе до пятидесяти человек. Легкость на подъем и жажда общения воистину были необыкновенны. Борис Абрамович произносил положенные имениннику слова, недолго обменивался репликами с соседями по столу, но при нарастании веселья и мельтешении все новых прибывающих лиц скучнел, уходил в сад посидеть на скамеечке под яблоней и вскоре отбывал. Ироничная, раскованная публика добродушно насмешничала над мимолетной ролью свадебного генерала. Соблюдать дистанцию в дружеском кругу между собой и остальными никому, кроме Бориса Абрамовича, не приходило в голову. Справедливости ради надо сказать, что представительствовал он как бы вынужденно, не видя для себя иного занятия на широкошумных искристых пирах души и духа. Он был не то что одинок, а один, когда все были и чувствовали себя вместе.

Слуцкий стоял тогда ближе к публичабельности, казался удовлетворенным своим положением дел в литературе. Держался как кое-чего достигший человек. Вхож был и в начальственные кабинеты, никак этим для себя не пользуясь. Ценил свою материальную самостоятельность, то, что жил на заработанное собственным горбом. За других — просил. Хлопотал за репрессированных, вернувшихся из небытия, возился с молодыми поэтами. Помогал по-рыцарски доблестно, красиво, не только не выставляя своих заслуг, а делая вид, что их не было вовсе: справедливость восторжествовала как бы сама по себе. Переживая наше первоначальное бездомье, ходил вместе с Л. Копелевым в Союз писателей: что же это — Самойлов без квартиры. Ее, как ни странно, дали, видно, хорошо, убедительно аргументировал. Ордер принесли аж в Институт Гельмгольца, где Дезик лечился.

Помню их тихо беседующими в больничной палате. Ни острот, ни взаимных подкальваний. Как будто ангел пролетел.

Я сновала туда-сюда — разогреть-подать привезенный из дому обед (казенный был ужасен), а потом ушла курить на лестничную площадку, чтобы не мешать. Так слаженно, убогостворенно принимали они друг к другу, как редко бывало при ровном течении жизни.

Слуцкий, однако, приглядчивый к низовой, прагматической стороне, не преминул заметить и тут: «Гаяля очень организованная». Что уж он увидал такого особенного в самых обыкновенных бытовых движениях, право, не знаю: сам будучи чемпионом



по собранности всякого рода. Он был даже слишком туго свинчен, без воздушных зазоров, без блаженства рассеянья, без отпуска-ния себя на свободу. Сын и летописец железного века — ему срод-ни и подстать.

Когда Слуцкий заболел, Наровчатов сказал: «Сойти с ума из-за женщины — невероятно, какой-то девятнадцатый век!» Взгляд бывшего романтика на романтика неисправимого соответствует действительности лишь частично. Смерть жены Тани, тяжело пережитая, послужила скорее толчком, чем причиной тотальной депрессии. Врачи, в сущности, оказались бессильны: пациент был сильнее их. Он не больно-то и желал выходить из болезни, как из кокона. В воздухе зависла несуществующая цель: а для чего? Личная жизнь рухнула; возрождение для Слуцкого, человека одно-го варианта, маловероятно. Детей не было, и жаль безумно: при трепетной, вьедливой, действенной доброте каким бы он мог быть выдающимся отцом и как бы это занимало и привязывало. Чес-толюбие отпало? отмерло? было перекрыто мощью сказанного слова? Стихи — написаны. И в каком множестве! Лавиной обру-шились они после кончины Бориса Абрамовича в публикациях Ю. Болдырева. И до сих пор еще не все напечатано.

Показатель писучести, масса сработанного всегда были в зоне внимания Слуцкого. Доказывал (прежде всего себе), что он поэт, боялся перестать им быть или задарма носить высокое звание. На одно только количественное выражение потребны были ги-гантские усилия воли и души. Высказался, выпотрошился и, опу-стошенный, расхотел жить. Он иссяк, расставаясь со вскормившей его эпохой и, значит, с самим собой. Не диссидент и не подполь-щик по складу, вместе с тем он умел держать только прямую речь. Что превратило его из печатного поэта в непечатного. Романти-ческая потребность идти не сворачивая, не огибая углов, была утолена трагической ценой.

Слуцкий вышел из жизни, как выходят из комнаты. Чтобы по-пасть в Дантов ад. Телесная оболочка продолжала существовать и маяться еще девять лет. Получше, похуже, одна больница, дру-гая, межбольничные промежутки, доживание у брата Фимы в Туле — все это внутри болезни. Даже думать, каково ему, и то было страшно. Видеть почему-то легче. Быть может, от похожес-ти на самого себя, той, что долго обманывала и питала надежды. Он был как бы прежний, всегдашний Слуцкий, про всех расспра-шивал, все помнил, только ничего не хотел. Уговорить погулять в

больничном дворе и то стоило труда. Участие его не размягчало. Знал, конечно, — никто и ничто не поможет.

На похоронах Наровчатова Борис Абрамович подошел к его матери и сказал: «Я — Борис Слуцкий, пришел разделить ваше горе». В заранее, видимо, обдуманной, *по-слуцки* лапидарной фразе с милосердной точностью отсекались и труд узнавания и неподъемное, быть может, встречное движение. Тяжесть прикосновения к потере единственного, горячо любимого сына ощущали все. Когда Лидию Яковлевну, маленькую, старенькую, хрупкую, под руки ввели в траурный зал, произошло замирание в людских рядах, томительно колыхавшихся в невыносимой душноте июльского полдня. Слуцкий был уже нездоров. Я стояла рядом и видела: ему совсем нелегко. Обычно твердое лицо как бы распалось на части, двигались усы, подбородок. В какой-то момент он покачнулся, я испугалась, что упадет, и взяла его за руку, вроде бы сама опираясь и отворачиваясь. Замеченная слабость была бы для него нестерпима. Бесмысленным — и настоящим на том, чтобы покинуть место скорби. Чувство сердечно понятого долга так часто не оставляло у Слуцкого места для сочувствия себе. О, это нежалеющие себя — до беспощадности, до варварства, до безрассудства!

Больше я его не видела. Только в гробу.

На сороковой день собирались у Бориса Абрамовича дома, в 3-м Балтийском переулке. Я понуро брела в ранней зимней темноте одна (Дезик — в больнице с гипертоническим кризом), и щемяще всплывало, как, подчеркнуто торжественно позванные, мы были в гостях у Слуцкого первый раз вместе. И как он показывал мне свое обиталище — две комнаты, кухню, ванную, туалет. Квартира более чем скромная даже по тогдашним временам. Но в экскурсионных подробностях сквозили гордость и удовольствие от того, что она есть. Острое чувство неприкаянности, миновавшей, но длившейся годы и годы, ранило, видно, навсегда. Дорого ему все доставалось — и Москва, и жизнь, и поэзия...

За поминальным столом говорили о будущем — о наследии Слуцкого. Начиналась посмертная судьба.

«Знамя», 1999, № 5.

---

*Григорий Бакланов*

## **В ЛИТЕРАТУРУ ОН ВОШЕЛ РАНЬШЕ, ЧЕМ В СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ.**

Однажды в Чехословакии, тогда еще — Чехословакии, спросил меня знакомый литератор: слушайте, как это у вас люди живут в общих квартирах? Как вообще можно жить с кем-то в общей квартире?.. Ну что тут объяснишь? И как объяснить? И сейчас, более чем через пятьдесят с лишним лет после войны, победители, старики-ветераны, все еще живут в городах в так называемых коммуналках. Все ждут, когда дойдет до них очередь, а она растянулась на полвека с лишним. Большинство не дождалось.

Нашим соседом по квартире несколько лет был Борис Слуцкий. Не он напросился к нам, мы к нему напросились: он был холостяк. И когда в Союзе писателей распределяли квартиры, к нему выстроилась очередь, мы в ней были пятыми по счету. Но тем, четверым, дали отдельные квартиры, и вот мы — соседи, я об этом писал однажды.

В быту он был совершенно беспомощен. Рассказывать об этом все равно что рассказывать серию анекдотов. Обычно часа два-три с утра он переводил стихи, с каких языков — не суть важно, переводил по подстрочнику: это был заработок, на это он жил, как многие поэты в то время. Так вот, с утра, как обычно, переводит Слуцкий стихи. Сажу и я в своей комнате, работаю. Вдруг — взрыв на кухне, звон металла. Что такое? Оказалось, Боря решил почистить ботинки, куда-то он собрался, но вакса, долго не востребованная, засохла. Чтоб растопить ее, он зажег газ, поставил банку на огонь, а сам тем временем продолжал переводить стихи, и мысль его далеко витала. Жестяная банка грелась, накалялась, да и взорвалась, на потолке остался черный след. Хорошо, хоть дверь была закрыта, сквозь стекло в двери мы увидели, как по всей кухне крупными хлопьями оседает жирный черный снег.

Переводы его печатали, а его поэзию печатать не стремились. Ну кто из тогдашних редакторов, при тогдашней цензуре посмел бы напечатать вот это:



Не торговавши ни разу,  
 Не воровавши ни разу,  
 Ношу в себе, как заразу,  
 Проклятую эту расу.

Пуля меня миновала,  
 Чтоб говорилось нелживо:  
 «Евреев не убивало!  
 Все воротились живы!»

Он был ранен, контужен, демобилизован в чине майора. Война кончилась, но контузия долго не отпускала его: страшные головные боли, две трепанации черепа он перенес после войны. «Эти года, послевоенные, вспоминаются серой, нерасчлененной массой, — писал он. — Точнее, двумя комками. 1946–1948, когда я лежал в госпиталях или дома на диване, и 1948–1953, когда я постепенно оживал. Сначала я был инвалидом Отечественной войны. Потом был непечатающимся поэтом.

Очень разные положения. Рубеж: осень 1948 года, когда путем полного напряжения я за месяц сочинил четыре стихотворных строки, рифмованных».

Да, хозяин не любил его. И хозяева поменьше и еще поменьше... Но если б только хозяева от мала до велика на всех ступенях этой длинной лестницы, а то ведь братья-поэты, они в первую очередь не прощали ему таланта. Бездарные люди таланта не прощают. Помните, у Блока: «Здесь жили поэты, и каждый встречал другого надменной улыбкой». Стихи Слуцкого ходили по Москве, но в Союз писателей приняли его не сразу, в два захода. Не случайно говорилось, что в литературу он вошел раньше, чем в Союз писателей. Впрочем, так и должно бы быть. Если б так было!

А тут еще такое обстоятельство: Илья Эренбург написал статью: «О стихах Бориса Слуцкого». Да не вглухую, как хвалят бездарей, хвалят, а процитировать нечего. Он приводил строки его стихов, в том числе — ненапечатанных. Можно представить себе, сколько сразу прибавилось доброжелателей. И это после «дела врачей», после длительной борьбы с так называемыми космополитами, а в том и в другом деле — почти сплошь еврейские фамилии. В городе Гурьком, не помню уж кого, но совсем не «космополита» зачислили по злому умыслу в космополиты, он оправдывался стихами: «Бываю раз в неделю сытым, // Хожу не стрижен и не брит, // Зовут меня космополитом, // Какой же я космополит?» После

длительной промывки мозгов, после того как настроение общества соответственно было подогрето, сидеть бы им всем тихо, так нет же, Эренбург выдвигает и не кого-нибудь, а — заметьте — Слуцкого! Ну?

По пальцам можно перечесть, кто из писателей в годы войны сделал столько, сколько сделал Эренбург; не случайно Питлер много назначил за его голову. Но война кончилась, пошли в писательской среде свои сборы-разборы, если б могли, расклевали бы Эренбурга живьем. Но видит око, да зуб неймет: было известно, к нему хозяин благоволит. А ведь, как писал Слуцкий: «Мы все ходили под богом. // У бога под самым боком. // Он жил не в небесной дали, // Его иногда видали. // Живого. На мавзолее. // Он был умнее и злее // Того — иного, другого...»

Не могу вспомнить, чтобы Боря когда-либо улыбался, шутил. Может быть, где-то в компании, но все-таки мы жили рядом не один год, а смеха его я не слышал. Впрочем, один раз он пошутил, помню. Было это под Новый год, мы принесли елку, холодную с мороза, поставили на кухне оттаивать, и наш тогда еще двухгодовалый сын, увидев, начал вдруг ходить вокруг нее, приседая, и запел: «В лесу родилась елочка...» Он рано начал говорить, а слух у него абсолютный. Тут как раз вышел из своей комнаты Боря Слуцкий, увидел, наставил на него строго указательный палец: «Ты — заяц, а я — нет!» И Мишутка, испугавшись: «Сам ты заяц...» Не то чтоб лицо у него было хмурое или расстроенное, но, как правило, напряжено, а профиль чеканный: высокий, немного покаты́й лоб, надбровье, нос, ус, подбородок, намечавшийся под ним второй подбородок — медаль можно было чеканить, я говорю это серьезно.

Он любил покровительствовать. Например, молодой, никак еще не прославившийся Илья Глазунов приходил к нему, и Боря кому-то о нем звонил, говорил что-то рекомендательное, а у стенки стоял большой карандашный рисунок Глазунова. Сейчас это покажется странным, особенно если учесть житейскую неприспособленность рекомендателя и таранную мощь рекомендуемого, не ведающего стыда.

Но не забудем, даже мудрецы, мудрые наедине с листом бумаги, в живой жизни плохо разбираются в людях. Эрнст Неизвестный, с которым мы знакомы давно, он читал мою повесть «Пядь земли», не единожды говорил мне о ней, словом, мы одного, скажем так, военного поколения, рассказал интересную подробность о Глазунове. Не то чтоб разнесся слух, но поговаривали, что Неизвестный

уезжает. Я позвонил ему, сказал, что мы с женой хотим посмотреть последние его работы, и поехали к нему в мастерскую. Я знал, это — прощание, захватил с собой бутылку коньяка, которую мы с ним и выпили, Элла только пригубила. Засиделись мы поздно, говорили о многом, у каждого целая жизнь была позади, а увидимся ли когда еще — Бог весть. Мог ли я тогда представить себе, что пройдут годы, и с моей дочерью Шурой мы приедем однажды в Нью-Йорке к нему в мастерскую, там все было огромно, даже шоколад лежал глыбой, как дикий камень, и Эрнст, угощая, откалывал от него куски молотком. Или, еще ранее, — что я буду печатать в «Знамени» его рассказы «Лик — лицо — личина»: об аппаратчиках ЦК. Это были первые мгновения перестройки, аппаратчики еще сидели на своих местах, и Эрнст спросил: «А ты не боишься это печатать?» — «Боюсь». — «Но печатаешь?» — «Печатаю».

Все это было непредставимо в те годы, когда верховные старцы, уже потерявшие человеческий облик, несменяемо возвышались над нами, объявив, что отныне 70 лет — средний возраст. Это сейчас развелись прозорливцы, которые утверждают задним числом: «Мы были уверены, мы знали, что вернемся». Знали? Нет, из этой жизни уезжали навсегда.

Так вот, в том прощальном разговоре, затянувшемся за полночь, услышал я от Эрнста историю о том, как миллионерша-еврейка из Америки тайно помогала деньгами молодому Глазунову. Зачем-то она приезжала сюда, и Глазунов под строжайшим секретом будто бы рассказал ей, что он — сын еврейских родителей, погибших от голода в Ленинграде в блокаду, но вынужден это скрывать, она же видит, какой в стране антисемитизм... Разумеется, за достоверность не поручусь, но верится.

От «...Любил его. И за него был ранен... Возил с собой его портрет. // В землянке вешал и в палатке вешал...» до «И ныне настроенья мне не губит // Тот явный факт, что испокон веков // Таких, как я, хозяева не любят» Слуцкий прошел огромный путь. Все мы этот путь прошли. И хоть портрета его я не возил с собой, но кто из нас, молодых, в то время не отдал бы за него своей жизни. В закупоренной банке да под тоталитарным прессом не только любящих, но и слепых молодых фанатиков воспитать легко. Не пережив, не испытав на себе, этого не понять. Сейчас пишут и говорят, что такова уж особенность России, российской истории: самых жестоких тиранов всегда боготворили, например — Ивана

Грозного, Сталина. Ну, а в Германии сколько лет потребовалось, чтобы Гитлер стал превыше Бога? Восемь? Или всего четыре? А Мао? Про мусульманские страны уж не говорю. Пожалуй, тут не об особенностях России речь, а о природе человечества.

В ту пору, когда мы с Борисом Слуцким жили по-соседски, крушения идеалов в нем еще не произошло, оно происходило. И политрук еще жив был в нем. Он ведь в конце войны работал в политотделе 57-й армии. В автобиографии он писал о себе, считал нужным это написать: «Был во многих сражениях и во многих странах. Писал листовки для войск противника, доклады о политическом положении в Болгарии, Венгрии, Австрии, Румынии для командования. Написал даже две книги для служебного пользования о Югославии и о юго-западной Венгрии. Писал текст первой политической шифровки „Политическое положение в Белграде“... В конце войны участвовал в формировании властей и демократических партий в Венгрии и Австрии.

Формировал первое демократическое правительство в Штирии (Южная Австрия)».

Жажда деятельности была в нем осязаема. Если бы руководство Союза писателей и те отделы ЦК, которые руководили сверху, если бы они чуть лучше соображали, Слуцкому надо было дать в Союзе писателей руководящую должность. И он бы, думаю, руководил непреклонно. Но, в отличие от всех от них, кто рвался к власти, к должностям и сидел на них, как на троне, он бы делал это не за ордена, не ради получения благ и выгод, а бескорыстно. Он был умен, временами даже мудр, но он все еще был человеком идеи и, сам того не замечая, играл бы роль в чуждом ему спектакле. Это потом, потом, когда свергнут Хрущева, он одним из первых поймет, какие настают времена. И напишет:

Устал тот ветер, что листал  
Страницы мировой истории.  
Какой-то перерыв настал,  
Словно антракт в консерватории.  
Мелодий — нет. Гармоний — нет.  
Все устремляются в буфет.

Теперь эти годы называют застоем, но немало наших сограждан и ныне считают их лучшими годами своей жизни. Не казнили, как при Сталине, чиновный люд обрел устойчивость, пайки, вторая зарплата в конвертах, за которую даже партвзносы платить



не надо. А что кого-то судят, ссылают, кого-то упрятали в психушку, так ведь не нас. У нас, как потешал тогда публику Райкин, есть все, но не для всех. И сами над собой охотно смеялись. Зато пенсия была 132 рубля.

Впрочем, уже и сейчас многие хотят немногого: чуть бы пенсия и зарплата побольше, чтоб жить было можно, и — хватит, устали от потрясений, целый век трясло, да как трясло! А назовут ли это в дальнейшем застоем или еще что-то похлеще придумают — без разницы, как теперь привычно говорить.

Вот читаю стихи Слуцкого: он, конечно, любил людей и писал о людях проникновенно. Но живые, не обобщенные люди, они в живой жизни создают массу неудобств. Мы ждали дочку, Боря заметил, а не заметить было невозможно, и, наставив на меня указательный палец, как ствол пистолета, спросил:

— Этот ребенок случайный или запланированный?..

В общей нашей квартире и телефон был общий. Снимаешь трубку, Боря разговаривает, вроде бы, ты его торопишь. Мы говорим, он снимает трубку и раз, и два, чувствуешь себя, как в телефоне-автомате, когда тебе стучат монеткой в стекло. Теперь, когда столько мобильных звенит в Москве повсюду, боюсь, многим не понять, в чем, собственно, проблема. Поставили бы себе второй телефон. Но это был конец пятидесятых, и, если ты не руководящее должностное лицо, если у тебя нет обширных связей или ты не хочешь ходить и кланчить, ходить и кланчить, взятку подсунуть, жди. Да ведь и сейчас, сорок с лишним лет спустя, в России очередь на установку телефона — 6 миллионов человек. Короче говоря, мы поставили в передней самодельный переключатель: кому надо говорить, переключает на себя. Но дети имеют то свойство, что иногда они болеют, да и теща моя была уже немолода, страдала гипертонией. Не помню, для кого, но потребовалось вызвать неотложку, как всегда в таких случаях, — срочно. А телефон занят, тут уж само просится на язык: «вечно занят телефон». Я постучал в дверь:

— Боря, мне надо вызвать неотложку!

Он встрепенулся, метнул в меня взгляд, поднятая рука его задрожала в воздухе: не прерывать, разговор идет о высшем. Уж не с Господом ли Богом по прямому проводу?

И вызывал я неотложку из телефона-автомата на улице, благо, автомат был недалеко. Если бы в тот момент от него требовалось подвиг совершить, он бы совершил, не колеблясь, но от мелочей

жизни он был далек. Он был закоренелый холостяк, а тут — семья. Помню, привезли мы Шурочку из роддома, пришли родственники смотреть ее, а она спит в коляске. Вся, как булочка белая, щечки розовые, реснички уже темные. И всего-то спит. А — радость. Ну как это объяснишь? И что объяснять? Тут все наоборот: чем трудней дались дети, чем больше с ними пережито, тем они дороже. Однако закоренелым холостяком он был до тех пор, пока не появилась Таня, высокая, интересная, с характером. И Боре, и нам стало ясно: надо разъезжаться. Но как? В те времена купить квартиру было невозможно, да и денег таких не было ни у нас, ни у него. Построить в кооперативе? Но это надо ждать годы. Осталось одно: меняться. У тещи моей была комната, у нас две комнаты, у Бори с Таней по комнате. Вскоре мы нашли квартиру, прочли объявление, приклеенное на водосточной трубе. И все бы хорошо: и нам подходило, и тем понравилось, но...

— А где тут у вас сушить валенки?

Живые люди, строители, работа у них такая, не высушишь валенки, как на целый день на мороз идти? Но мы представили себе в этой ситуации Борю... Ведь это не он к нам, мы напросились к нему в соседи. Сказали ему все как есть. Он думал несколько дней и наконец сформулировал нам условия. Главных условий было пять. Чтобы комната, куда он переедет, была не меньше той, в которой он живет, — это раз. Чтоб была она в этом районе и даже где-нибудь поблизости, — два. Чтобы, как в нашем доме, была там финская кухня, — три. Чтобы квартира, куда он въедет, была двухкомнатная, — четыре. Чтобы во второй комнате жили мать и дочь, но дочь такого возраста, когда опасность, что она выйдет замуж, уже исключена. Это, пятое, условие было практически невыполнимо.

Вы не поверите, но немислимый этот обмен состоялся. Случайно и тоже на водосточной трубе прочли мы объявление. Все сходилось. На Университетском проспекте, то есть — рядом, в доме с такой же финской кухней, в двухкомнатной квартире жили мать и перезрелая дочь. Незамужняя! Мать говорила про нее: она пробует. А в другой комнате немолодая наркоманка жила с молодым парнем. Огромная доплата, и она согласилась переехать в комнату моей тещи, кстати сказать, та комната была и больше, и лучше, но — в другом районе. Когда этот первичный обмен состоялся, Боря пришел, осмотрел все, сказал сделать раздвигающуюся решетку на балконную дверь и — еще ряд усовершенствований.

И был перевезен. Соседки, мать и незамужняя дочь, нарадоваться не могли: холостяк, это ж счастье какое! За ним и ухаживали, и убирали у него, и готовили. Только радость их была не столь долгой:

Боря и Таня съехались в квартиру на улице Левитана.

Много лет спустя, когда наша дочка Шура уже не в коляске лежала, а закончила первый курс института, мы на студенческие каникулы поехали в Малеевку четвером: дети и мы с Эллой. Там в это время жили Слуцкие. Таня была плоха, от столовой до своей комнаты доходила в два приема, по дороге сядет на диванчик, вяжет, набирается сил. Лицо пергаментное, глаза темней стали на этом бескровном лице. Но такие же, как прежде, прекрасные пышные волосы, страшно подумать — мертвые волосы. Ее лечили, посылали лечиться в Париж, но и тамошние врачи ничего сделать не смогли: рак лимфатических желез. А зима стояла снежная, солнечная, мороз небольшой, градусов 10, ели в снегу, иней по утрам на лыжне. Возвращаемся с лыжной прогулки надъшавшиеся, стоит у крыльца машина «скорой помощи». Я счищал снег с лыж, вдруг вижу — бежит Боря Слуцкий в расстегнутой шубе, без шапки, ветерок был, и редкие волосы на его голове, казалось, стоят дыбом. Никогда не забуду, как он метался, совсем потерявшийся, да только никто уже и ничем не мог помочь.

В последовавшие три месяца после смерти Тани он написал книгу стихов, он продолжал говорить с ней, сказал в них то, что, может быть, не сказал ей при жизни. Злые языки утверждали: конечно, это она женила его на себе. А он писал:

Каждое утро вставал и радовался,  
как ты добра, как ты хороша,  
как в небольшом достижимом радиусе  
дышит твоя душа.

Ночью по несколько раз прислушивался:  
спишь ли, читаешь ли, сносишь ли боль?  
Не было в длинной жизни лучшего,  
чем эти жалость, страх, любовь.

Чем только мог, с судьбою рассчитывался,  
лишь бы не гас язычок огня,  
лишь бы еще оставался и числился,  
лился, как прежде, твой свет на меня.

Куда девался рубленый, временами просто командный стих Слуцкого? Таня открыла ему то, чего он и сам в себе не знал. А

поначалу все было так житейски просто: за полночь он захлопывал за ней дверь и даже не шел провожать к метро.

Я был кругом виноват, а Таня мне  
все же нежно сказала: Прости! —  
почти в последней точке скитания  
по долгому мучающему пути.

Преодолевая страшную связь  
больничной койки и бедного тела,  
она мучительно приподнялась —  
прощенья попросить захотела.

А я ничего не видел кругом —  
слеза горела, не перегорала,  
поскольку был виноват кругом,  
и я был жив,  
а она умирала.

Три месяца длился этот последний его разговор с Таней.

...Улетела, оставив меня одного  
в изумленьи, печали и гнев,  
не оставив мне ничего, ничего,  
и теперь — с журавлями в небе.

Успел ли сказать все, что хотел и мог? Или только то, что успел? Дальше — пустота. Эта контузия оказалась тяжелей той, фронтовой. Лежал в больницах, дома в пустой квартире. Депрессия. Не написал больше ни строчки. Ему звонили друзья, хотели прийти. Он отвечал: «Не к кому приходиться». Избавление от мук настало в феврале 1986 года. Последняя его просьба: «Умоляю вас, Христа ради, // с выбросом просящей руки, // раскопайте мои тетради, // расшифруйте дневники».

Раскопал, расшифровал, собрал Юрий Болдырев. Иногда подвижнически собирал по строчке. Трехтомник Бориса Слуцкого вышел посмертно, при жизни он этого не удостоился.

*Г. Бакланов. Из двух книг.  
«Знамя», 2002, № 9.*

---

*Бенедикт Сарнов*

## **ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДИАЛЕКТИКА**

(Из воспоминаний о Борисе Слуцком)

Году этак что-нибудь в 1963-м на протяжении двух месяцев сидели мы с Борисом в Коктебеле за одним столом. Вместе завтракали, обедали, ужинали и рассказывали друг другу разные истории, или, как сказано у Бабея, замечания из жизни. Я расскажу — он расскажет. Истории цеплялись одна за другую, и казалось тогда, что сиди мы вот так хоть целый год, не оскудеет наш запас, не будет этим нашим историям ни конца и ни края.

В какой-то день случилось так, что все эти наши устные мемуары упорно, словно каким-то невидимым магнитом притягиваемые, склонялись к одной теме: причудам нашей родной социалистической экономики.

Началось с того, что я рассказал про забавный казус, приключившийся с моим соседом по дому Рудольфом Бершадским.

Когда кооперативный дом наш на Аэропортовской еще только строился, мы, будущие его обитатели, то и дело приходили полюбоваться, как идет стройка, и уходили счастливые, увидав, что дом вырос еще на пол-этажа. Почти все мы до этого ютились по коммуналкам, и грядущее вселение в отдельную квартиру представлялось нам немислимым счастьем. И вот, когда дом уже подбирался к последнему — девятому — этажу, нам объявили, что каждый может заказать себе индивидуальную планировку. Скажем, увеличить кухню за счет прилегающей к ней комнаты. Или наоборот.

Соответствующие расходы надо было, понятно, предварительно оплатить. Но цены тогда на все эти дела были божеские, а по нашим нынешним временам так и вовсе символические.

Я, тем не менее, на эту удочку не клюнул. А Рудя Бершадский — клюнул. Он заказал себе тамбур. Это значило, что длинную кишку коридора, тянущуюся через всю его квартиру, он решил перегородить: в полутора метрах от входа навесить вторую дверь. Получалось очень элегантно: входя в квартиру, вы попадали в крохотную прихожую, снимали там пальто, шапку, если хозяин прикажет, и обувь меняли на тапочки, и только после этого, от-

ворив вторую дверь, попадали уже в собственно апартаменты. И вот, оплатив соответствующим образом эту свою индивидуальную планировку, Рудя стал чуть ли не каждый день навещать свою будущую квартиру, чтобы поглядеть, не сделали ли ему, наконец, этот его вожаделенный тамбур. Но всякий раз ему отвечали, что нет, пока не сделали, поскольку до сих пор на стройку не завезли дверей.

Но всякому ожиданию, как известно, рано или поздно приходит конец, и в один прекрасный день, явившись на свой пост, Рудя услышал, что его тамбур вроде бы наконец готов. Ликуя и содрогаюсь, как сказано у того же Бабеля, он взбежал по лестнице, толкнул дверь своей будущей квартиры, и... Нет, его не обманули. Прихожая, которая так долго являлась ему в мечтах, была именно такой, какой он ее себе представлял. Но когда он сделал попытку открыть вторую дверь и пройти в квартиру, из этого ничего не вышло. Дело было в том, что первая, входная дверь открывалась внутрь квартиры, то есть от себя. А вторая, — та, которую рабочие наконец навесили, — на себя. А поскольку тамбур, как я уже сказал, был крохотный, две двери — первая, входная, и вторая, ведущая в квартиру, — сталкивались друг с дружкой, и проникнуть в квартиру при такой раскладке не было никакой физической возможности.

— Мужики, вы что же мне это сделали? — спросил ошеломленный Рудя у неспешно копошившихся в его квартире работяг.

— Чего?... А-а, это? — невозмутимо ответствовали они. — Да нам тут, понимаешь, завезли только левые двери. Правых, говорят, сейчас нету...

— Так ведь в квартиру же не войти... Как же я...

— Да ты, хозяин, не волнуйся, — успокоили его. — На той неделе завезут нам правые двери, и мы тебе её навесим.

— Так какого же дьявола вы навешивали эту дверь, если она не годится? Зачем двойную работу делать?

Тут на него посмотрели как на малолетку-несмышленища:

— То есть как, зачем? Ведь если бы мы не навесили, нам бы ведомость не закрыли. Мы бы расчет не получили... Да ты, хозяин, не волнуйся! Все будет путем. Приходи на той неделе, увидишь: будет у тебя нормальная дверь.

Выслушав эту историю, Слуцкий в ответ рассказал свою.

До какого-то высокого начальства дошло, что наш отечественный трактор существенно тяжелее американского трактора той

же мощности. Тут же в соответствующий НИИ было спущено задание: довести вес отечественного трактора до американского стандарта.

Ученые мужи в НИИ решили эту задачу просто. Всюду, где можно было, они заменили тяжелые металлы (железо? сталь?) на более легкие (дюраль? алюминий?). Себестоимость трактора при таком раскладе сильно выросла, но фирма не стояла перед затратами: задание-то было не удешевить машину, а сделать ее легче. А это было выполнено даже и с превышением: новый трактор, наполовину сделанный из цветных металлов, оказался даже легче американского. Выходило, таким образом, что наши конструкторы не только догнали, но даже и перегнали Америку.

Но у нового трактора оказался один довольно существенный недостаток. Он не мог нормально двигаться. Он не передвигался по земле обычным способом, как ему полагалось, а прыгал, как лягушка.

Вероятно, новый вес трактора требовал какой-то новой, совершенно иной его конструкции.

Но ученые ребята из НИИ и тут не растерялись. Они стали загружать трактор балластом, подвешивать ему какую-то там чугунную гирьку, что ли. И в конце концов пришли к результату, при котором и волки были сыты, и овцы целы. Трактор стал хоть и не таким легким, как в начале эксперимента, но все-таки не тяжелее американского. И при этом нормально двигался.

Ну, а что касается стоимости драгоценных цветных металлов, пошедших на его «усовершенствование», так до этого, естественно, никому не было дела. Никто ведь за них не платил. Да и кому платить, если все — свое, то есть — государственное, то есть — ничье.

Выслушав эту историю, я вспомнил рассказ своего приятеля, побывавшего на целине, о том, как они возили на грузовиках зерно по тамошнему бездорожью. Когда грузовик буксовал, черпали зерно ведрами, щедро сыпали его под колеса и двигались дальше, до следующей заминки.

Тут же, к слову, вспомнил и рассказ возившего меня таксиста, который раньше работал на грузовике. Выполненный план им считали не по числу сделанных ездов, и не по пройденному километражу, а по количеству израсходованного за рабочий день бензина. Поэтому часть бензина они сливали прямо на дорогу.

Была, кажется, в ответ рассказана еще какая-то история — в том же духе — Борисом. Потом — снова мною. Потом пошли другие рассказы, уже не про экономику, а про дела писательские, литературные. Но и в них тоже открывалась все та же нелепая, фантазмагорическая, уродливая, смешная и грустная, уникальная наша советская реальность.

А потом Борис вдруг спросил:

— Сколько вы знаете таких историй?.. Сто?.. Двести?.. Триста?.. Пятьсот? Вопрос был совершенно в его стиле. Один наш общий приятель любил пародировать эту его офицерско-комиссарскую манеру знаменитой репликой Остапа Бендера: «В каком полку служили?»

Слуцкий между тем требовательно ждал от меня ответа.

— Ну откуда же я знаю, Боря? — сказал я. — Разве я их считал? Вот вы расскажете что-нибудь, и тут же, как сказано у Льва Николаевича, по странной филиации идей, и у меня что-то всплывает. А так, по заказу, я, наверно, и десятка не припомню.

— Ну, хорошо, — подытожил Борис. — Возьмем минимум: сто. И у меня, я думаю, набралось бы столько же. Если бы мы не поленились и все их записали, получилась бы недурная книжка. А озглавить ее можно было бы так: «Занимательная диалектика».

На протяжении всего нашего долголетнего — довольно близкого — знакомства, даже в очень откровенных, безусловно доверительных разговорах Борис никогда не позволял себе и тени насмешки над идеалами. Он мог сколько угодно и как угодно глумиться над советской действительностью. Над Хрущевым. Над Сталиным. Но при одном единственном неременном условии: глумление это неизменно исходило из представления, что и Сталин, и Хрущев, и «ареопаг мудрейших» — «наш славный ленинский ЦК», да и сама коммунистическая партия — «ум, честь и совесть нашей эпохи», что все это — не что иное, как искажение, извращение великого идеала.

Рассказывая (в стихах) о своем вступлении — на фронте, после боя — в коммунистическую партию, он заключил этот свой рассказ выводом:

Так я был принят в партию,  
Где лгать — нельзя  
и трусом быть — нельзя.



Это означало:

— Вот в какую партию я вступал. Не в вашу нынешнюю, в которой удержаться могут только лгуны и трусы, состоять в которой — это значит ежедневно лгать и трусить, трусить и лгать.

Предложив озаглавить собрание рассказываемых нами друг другу историй ироническим словосочетанием «Занимательная диалектика», Борис — кажется, единственный раз за все время нашего многолетнего знакомства — приотдвинул на миг маску, скрывающую от посторонних глаз его истинное лицо. Ведь святое слово «диалектика» в этом контексте — это был камешек уже не в Хрущева, и не в Сталина, и не в советскую власть, а прямо и непосредственно в основоположников великого учения: вот, мол, полюбуйтесь, бородачи, каким бредом обернулась ваша хваленая диалектика.

Комические истории, на протяжении двух месяцев рассказываемые нами друг другу, эти исполненные черного юмора анекдоты в один миг вдруг представили передо мной все уродство нашего советского бытия не как искажение, а как единственно возможное, закономерное и неизбежное воплощение пресловутой марксистско-ленинской диалектики в реальность.

Но Слуцкий, — скажете вы, — вовсе ведь и не вкладывал в эту свою реплику такой глубокий, обобщающий смысл. Он ведь говорил не всерьез. Это была не мысль, а всего-навсего острота!

Да, конечно. Но ведь острота, как объяснял Фрейд, — это «внезапный разряд интеллектуального напряжения», неожиданный даже и для того, у кого она родилась, выплеск из бессознательно-го — в сознание.

В этой внезапно сорвавшейся у Бориса с языка остроте выплеснулось, я думаю, тайное, глубоко спрятанное, на протяжении многих лет тщательно вытесняемое в подсознание, подлинное отношение прославившегося своим «комиссарством» Слуцкого к его родной советской реальности.

Но это — так, к слову.

А вспомнил я сейчас тот наш разговор потому, что, собрав свои разрозненные, в разное время записанные воспоминания о Борисе, я подумал, что их тоже вполне можно озаглавить тем, им самим придуманным названием.

В Союзе писателей шло заседание бюро творческого объединения поэтов. Разбирались разные кляузы, жалобы, просьбы. Все шло как обычно. Вполне обычной была и та жалоба, о которой я

хочу рассказать. Она исходила от одного провинциального поэта. Поэт этот был инвалид войны, тяжело больной человек, прикованный к постели, почти ослепший после тяжелого черепно-мозгового ранения. В общем, что-то вроде нового Николая Островского. Восемь лет тому назад он послал в издательство «Советский писатель» сборник своих лирических стихов. Рукопись была одобрена и принята к печати. Автору было обещано, что на следующий год она будет включена в план выпуска. Но прошел год, за ним второй, третий, а рукопись несчастного поэта так и лежала без движения. И никаких шансов увидеть свет у нее, кажется, уже не было.

Зачитав эту жалобу, председательствующий предоставил слово заведующему редакцией поэзии издательства «Советский писатель», потребовал, чтобы тот дал объяснение этому вопиющему факту.

Заведующий не отрицал, что все изложенное в письме — чистая правда. Но книга слабая. В ней есть несколько приличных стихотворений, редакция надеялась, что автор дотянет остальные до их уровня. Но этого, к сожалению, не произошло. Издать книгу в том виде, в каком она сложилась, не представляется возможным.

Начались прения. Все выступавшие выражали сочувствие обманувшемуся в своих ожиданиях поэту. Но в то же время признавали серьезными и резоны работников издательства. Обсуждение, похоже, зашло в тупик.

И тут слово попросил Слуцкий. И произнес такую речь.

— У нас только среди членов бюро по меньшей мере десятков поэтов фронтового поколения, — сказал он. — Неужели мы не протянем руку помощи нашему товарищу, попавшему в беду? Чего же стоит тогда наше фронтовое братство!.. Вот мое предложение. Пусть каждый из нас, поэтов-фронтовиков, напишет в эту книгу по стихотворению. Давайте спасем эту книгу нашими общими усилиями, как мы, бывало, выносили из сражения на своих руках раненого товарища!

Шел я однажды по нашей улице и встретил Виктора Борисовича Шкловского. Постояли, поговорили. На мой вопрос: как жизнь? что нового? — Шкловский сказал:

— Понимаете, история такая! Был в Италии. Еду во Францию. В Германии переводится моя книга. В общем, я от бабушки ушел! — заключил он, улыбнувшись своей «улыбкой Будды».

Поговорив еще немного о том, как славно складываются наконец после многолетних мытарств его дела, мы расстались.

Я пошел дальше и, пройдя еще несколько шагов, встретил Слуцкого.

— Что пишете? Против кого? Как романы и адюльтеры? — обрушил он на меня весь джентльменский набор обычных своих вопросов.

Не имея в запасе никаких интересных сведений о чьих-либо романах и адюльтерах, я рассказал, что только что встретил Шкловского, который известил меня, что был в Италии, едет во Францию и вообще «от бабушки ушел».

Выслушав мое сообщение, Слуцкий сказал:

— Боюсь, он недостаточно хорошо представляет себе характер этой бабушки.

Исключали из комсомола Гришу Поженяна. Он тоже попал в космополиты. В паспорте у него значилось — «еврей». Он уверял, что евреем записался из чистого благородства, хотя и не скрывал, что мама его — еврейка. Но отец — чистопородный армянин.

— А у вас в институте считалось, что Поженян наполовину еврей, наполовину армянин? — спросил меня однажды (много лет спустя) Борис Слуцкий.

— Да, — сказал я. — А у вас в Харькове?

— У нас в Харькове, — без тени улыбки ответил он, — считалось, что он наполовину еврей, наполовину еврей.

В середине пятидесятых Володя Файнберг — молодой поэт, тогдашний мой приятель, — попросил меня, чтобы я показал его стихи Слуцкому. Борис стихи Файнберга прочитал, снисходительно одобрил (он любил покровительствовать молодым поэтам) и дал ряд указаний. Первым — по важности — было такое:

— Скажите ему, чтобы ни в коем случае не подписывался настоящей своей фамилией. Пусть возьмет псевдоним.

— Почему, Боря? — слегка придуриваясь, спросил я. Вопрос был провокационный: еврейская фамилия в то время была уже почти непреодолимым препятствием для литератора, стремящегося проникнуть в печать. — Вот вы же ведь не взяли себе псевдонима?

— Мне поздно было менять мое литературное имя. Задолго до того как меня стали печатать, я был уже был широко известен в

узких кругах. Ну, а кроме того, Слуцкий — фамилия не еврейская. Были князья Слуцкие.

Впоследствии кто-то сочинил про Бориса такую эпиграмму:

- Вы еврейский или русский?
- Я еврейский русский.
- Вы советский или Слуцкий?
- Я советский Слуцкий.

Этот коротенький шуточный стихотворный диалог был бы, наверно, самым метким ответом на упоминание князей Слуцких. Но в описываемые времена я этой эпиграммы еще не знал (а может быть, она еще даже и не была сочинена), поэтому ответил попросту, прозой:

— Да ладно вам, Боря. Князья Слуцкие, может, и были, но сегодня-то фамилия ваша всеми воспринимается как еврейская.

— Ну что ж, — сухо возразил Борис. — Если этот ваш Файнберг полагает, что он настолько сильный игрок, что может играть без лады, — пусть остается Файнбергом.

Тут уж спорить было нечего. Сам Борис, безусловно, играл без лады. И к тому времени, когда происходил этот разговор, шахматную партию свою уже уверенно выигрывал.

В одном разговоре Борис вдруг спросил меня (он любил задавать такие неожиданные «провокационные» вопросы):

— Как по-вашему, кто правильнее прожил свою жизнь: Эренбург или Паустовский?

Я ответил, не задумываясь:

— Конечно, Паустовский.

— Почему?

— Не выгрался в эту грязную игру, был дальше от власти. Не приходилось врать, изворачиваться, кривить душой.

Он, конечно, ждал именно такого ответа. И у него уже готово было возражение.

— Нет, вы не правы, — покачал он головой. — Конечно, Эренбургу приходилось идти на компромиссы. Но зато скольким людям он помог! А кое-кого так даже и вытащил с того света...

Тогда я, конечно, остался при своем мнении. (Он, разумеется, при своем.) Но сейчас я уже не так уверен, что прав тогда был я, а не он.

Мы стояли втроем в нашем литгазетском коридоре: молодой, совсем юный Андриюша Вознесенский, Боря Слуцкий и я. Я только что познакомил Бориса с Андреем (делая вид, что понимаю историческую значимость момента, церемонно представил их друг другу), и Борис, еще не маститый, но уже привычно ощущающий себя мэтром, не без удовольствия выказывал Андрею свое благо-расположение.

— В Союз документы уже подали? — осведомился он в обычном своем начальственном стиле.

Андрей ответил, что находится в процессе. Вот только завершит сбор всех необходимых для этой процедуры бумаг и сразу подаст. Борис сказал:

— Я охотно дам вам рекомендацию.

— Нет-нет, спасибо, не надо, — неожиданно отреагировал Андрей. — Две рекомендации от «своих» у меня уже есть, а третью я возьму у Грибачева.

Надо было знать Бориса, чтобы в полной мере ощутить, какой пощечиной был для него этот ответ.

Он обожал покровительствовать молодым поэтам. Сколько големов он породил на свет! (Куняева, Передреева... Последнего даже не без моего участия). Но тут был случай особый.

Борис был человек глубоко партийный. Не в смысле коммунистической партийности (хотя и в этом смысле тоже), а в своей приверженности авангарду, так называемой «левой» поэтике. Однажды он с важностью сказал мне:

— Вчера я был у Митурича, и — можете себе представить? — оказалось, что за тридцать лет я был первый футурист, который его посетил.

Фраза показалась мне забавной и я отреагировал на нее юмористически:

— А вы разве футурист, Боря?

Но Борис этого моего юмористического тона не принял: к своему футуризму он относился вполне серьезно. Вот и сейчас, предлагая Андрею дать ему рекомендацию, он, помимо радости, что может оказать покровительство молодому талантливому поэту, испытывал еще и другую, стократ более сильную радость от сознания, что, быть может, впервые в жизни ему, последнему оставшемуся в живых футуристу, представился случай рекомендовать в Союз писателей своего брата-футуриста.

И вдруг — такой пассаж.

Борис побагровел. Да и у меня было такое чувство, словно я невольно оказался свидетелем полученной им не моральной, а такой что ни на есть натуральной, физической пощечины.

Простодушно-циничный ответ Андрея был, конечно, верхом бестактности. Да и сама его готовность взять рекомендацию у одного из самых выдающихся тогдашних литературных негодяев была проявлением какой-то особой, я бы сказал, предельной небрежливости.

Однажды я столкнулся с Борисом в своем подъезде — у лифта. Я решил было, что он идет ко мне, но оказалось, — не ко мне, а к Фазилю. (Тот жил тогда в точно такой же квартире, как моя, но — этажом выше.) В руках у Бориса был внушительных размеров сверток. Он сказал, что это рукопись искандеровского «Сандро из Чегема», которую он только что прочел и вот, собирается вернуть автору.

А как раз в это самое время в «Новом мире» был напечатан сильно сокращенный и сильно изувеченный журнальный вариант «Сандро», который я, конечно, читать не стал (зачем, если я читал полный?), а Борис, как оказалось, прочел.

— Ну и как? Велика разница? — спросил я.

— Разница, — медленно начал Борис, видимо, стараясь подыскать как можно более точную формулировку, — как между живым... членом и муляжом означенного органа, сделанным из папье-маше.

Слегка смутившись (не оттого, что прибег к ненормативной лексике, а потому, что, зная мои близкие отношения с Фазилем, пожалел, что высказался с чрезмерной откровенностью), он тут же добавил:

— Только вы ему, пожалуйста, этого не говорите.

Говорить об этом Фазилю я, конечно, и не собирался (зачем его огорчать?), но формулировке Бориса в душе обрадовался: вот, даже и он, «наш советский Слуцкий», тоже понимает, каким убудочным становится все, что выварено в семи щелоках советской цензуры.

Позвал как-то меня к себе Боря Слуцкий. Сказал, что будет еще Юра Трифионов. И он почитает мне с Юрой свои новые стихи.

По инерции я написал «к себе», — но это сказано не совсем точно, потому что никакого постоянного пристанища в Москве у

Бориса тогда не было. Он скитался по разным углам. А в тот раз квартировал у своего приятеля Юры Тимофеева в старом деревянном доме на Большой Бронной. (Теперь от этой развалюхи, разумеется, не осталось и следа.)

Мы с Юрой явились почти одновременно. Борис усадил нас за стол, покрытый старенькой клеенкой. Сам сел напротив. Положил перед собой стопку бумажных листков — в половину машинописной страницы каждый. Сказал:

— Вы готовы?.. В таком случае, начнем работать...

Это был его стиль, унаследованный им от Маяковского. Не могу поручиться, что слово «работать» было действительно произнесено, но тон и смысл сказанного был именно такой: вы пришли сюда не развлекаться, не лясь точить, а работать.

Мы поняли и настроили себя на соответствующий лад. Борис прочел первое стихотворение... Второе... Третье... Начал читать четвертое.

— «Лопаты», — объявил он. И стал читать, как всегда, медленно, буднично, без всякого актерства, ровным, «жестяным» голосом:

На рассвете с утра пораньше  
По сигналу пустеют нары.  
Потолкавшись возле параша,  
На работу идут коммунары.

Основатели этой державы,  
Революции слава и совесть —  
На работу!  
С лопатой ржавой.  
Ничего! Им лопата не новость.

Землекопами некогда были.  
А потом — комиссарами стали.  
А потом их сюда посадили  
И лопаты корявые дали...

Тут вдруг большой, грузный Юра как-то странно всхлипнул, встал и вышел из комнаты.

Мы с Борисом растерянно смотрели друг на друга. Молчали. Слышно было, как где-то (в кухне? в ванной?) льется вода.

Потом Юра вернулся. Сел на свое место. Глаза у него были красные.

Никто из нас не произнес ни слова.

Последний законный наследник Маяковского продолжил свою работу. Прочел пятое стихотворение... шестое... седьмое... Наверно, это были хорошие стихи. Но я их уже не слышал. В голове моей, заглушая ровный голос Бориса, звучали совсем другие стихотворные строчки:

Мальчишка плачет, если он побит.  
Он маленький, он слез еще не прячет.  
Большой мужчина плачет от обид.  
Не дай вам Бог  
увидеть, как он плачет.

Да... Не дай вам Бог.

После этого инцидента дальнейшая наша «работа» как-то не задалась.

Юра вскоре ушел. А мне Борис взглядом дал понять, чтобы я остался. И я остался.

Мы попили чаю, поговорили немного о последних политических новостях, связанных с недавно отгремевшим XX съездом, и вернулись к прерванному занятию.

Стихи, которые потом читал мне в тот вечер Борис, почти сплошь были о Сталине.

Сперва он прочел уже известные мне (они уже довольно широко ходили тогда по Москве) «Бог» и «Хозяин».

Поскольку это было не просто чтение, а работа, после каждого прочитанного стихотворения мне полагалось высказываться.

О «Бог» я сказал, что это — гениально. Стихотворение и в самом деле — как и при первом чтении — поразило меня своей мощью:

О «Хозяине» я отозвался более сдержанно. Хотя первая строчка («А мой хозяин не любил меня...») сразу захватила меня своей грубой откровенностью. Да и другие строки тоже впечатляли:

А я всю жизнь работал на него,  
Ложился поздно, поднимался рано.  
Любил его. И за него был ранен.  
Но мне не помогало ничего.  
А я возил с собой его портрет.  
В землянке вешал и в палатке вешал —





Высотных зданий башни,  
Квадраты площадей...

Социализм был выстроен.  
Поселим в нем людей.

Отдав должное смелости его главной мысли (заклучавшейся в том, что сталинский социализм — бесчеловечен, поселить в нем людей нам только предстоит), я сказал, что в основе своей стихотворение все-таки фальшиво. Что я, как Станиславсий, не верю ему, что он действительно в тот день думал и чувствовал все, о чем тут рассказывает. И вообще, полно врать, никакой социализм у нас не выстроен...

Он опять промолчал, и все опять шло довольно гладко, пока он не прочел такое — тоже только что тогда написанное — стихотворение:

Толпа на Театральной площади.  
Вокруг столичный люд шумит.  
Над ней четыре мощных лошади,  
Пред ней экскурсовод стоит.  
.....  
Я вижу пиджаки стандартные —  
Фасон двуборт и одnobорт,  
Косovorотки аккуратные,  
Косынки тоже первый сорт.

И старые и малолетние  
Плядут на бронзу и гранит, —  
То с горделивым удивлением  
Россия на себя глядит.

Она копила, экономила,  
Она вприглядку чай пила,  
Чтоб выросли заводы новые,  
Громады стали и стекла.  
.....  
Здрав башку и тщетно сиясь  
Запомнить каждый новый вид,  
Стоит хозяин и кормилец,  
На дело рук своих глядит.

Тут я снова ввязался в спор. Хотя на самом деле никакого спора не было. Юворил один я, Борис молчал.

— Вы только подумайте, что вы написали! — горячился я. — Вот эти плохо одетые, замордованные, затраханые чудовищным нашим государством-Левиафаном люди, — это они-то хозяйева? А те, что разъезжают в казенных автомобилях, жируют в своих государственных кабинетах, — они, значит, слуги народа? Да? Вы это хотели сказать?

Когда я исчерпал все свои доводы и напоследок обвинил его в том, что он повторяет зады самой подлой официальной пропагандистской лжи, он произнес в ответ одну только фразу:

— Ладно. Поглядим.

Тем самым он довольно ясно дал мне понять, что еще не вечер. Придет время, и истинный хозяин еще скажет свое слово.

Намек я понял. И хоть остался при своем, поверил, что он, во всяком случае, не врет, на самом деле верит, что сказанное им в этом стихотворении — правда.

Но главный скандал разразился после того как он прочел мне — тоже только что написанное — стихотворение про Зою. Про то, как она крикнула с эшафота:

«Сталин придет!».

Завершали стихотворение такие строки:

О Сталине я в жизни думал разное,  
Еще не скоро подобью итог...

И далее следовало мутноватое рассуждение насчет того, что, как бы там ни было, а это тоже было, и эту страницу тоже, мол, не вычеркнуть из истории и из нашей жизни.

— Как вы могли! — опять кипятился я. — Да как у вас рука поднялась! Как язык повернулся!

— А вы что же, не верите, что так было? — кажется, с искренним интересом поинтересовался он. (Мне показалось, что он и сам не слишком в это верит.)

— Да хоть бы и было! — ответил я. — Если даже и было, ведь это же ужасно, что чистая, самоотверженная девочка умерла с именем палача и убийцы на устах!

Когда я откричался, он — довольно спокойно — разъяснил:

— У меня около сотни стихов о Сталине. Пусть среди них будет и такое...

Но самый большой скандал разразился по поводу таких его строк:

«Художники рисуют Ленина, // Как раньше рисовали Сталина, // А Сталина теперь не велено: // На Сталина все беды свалены.

Их столько, бед, такое множество! // Такого качества, количества! // Он был не злобное ничтожество, // Скорей — жестокое величество»

Сейчас, когда я отыскал в его трехтомнике это стихотворение, запомнившееся мне только первым четверостишием, да последними двумя строчками: «Уволенная и отставленная, // Лежит в подвале слава Сталина», меня особенно покорило в нем слово «величество». Не само слово даже, а интонация, с какой оно произнесено: что бы, мол, вы там ни говорили...

Но тогда возмутило меня там совсем другое.

— Ах, вот как! — иронизировал я. — Свалены, значит? А сам он, бедный, выходит, ни в чем не виноват?

В этом слове («свалены», как это мне запомнилось, или «взвалены», как это теперь напечатано) мне тогда померещилось стремление Бориса выгородить Сталина, защитить его от «несправедливых» нападок.

Хотя тут, вероятно, скорее был прав он, а не я. В основе чувства, вызвавшего к жизни эти стихи, лежало более глубокое, чем мое, осознание той простой истины, что главной причиной наших бед был не Сталин, а порожденная не им (во всяком случае, не только им) система.

И еще один — тоже тогдашний — наш разговор на эту же тему. Речь зашла о молодых тогда Евтушенко и Вознесенском. Я напал на них, Боря их защищал. Как и всегда в этих наших разговорах, каждый остался при своем. Но в заключение Борис довольно жестко подвел итог:

— Все дело в том, что вам не нравится двадцатый век. Вам не нравятся его вожди, вам не нравятся его поэты...

Я сказал, что с поэтами дело обстоит сложнее, но вожди действительно не нравятся.

Ему они, конечно, тогда тоже уже не нравились. И я это прекрасно понимал: ведь только что им были прочитаны «Бог» и «Хозяин». Но распаленный его невозмутимостью, в запальчивости я стал кидаться уже и на «Хозяина», и на «Бога». Сказал, что, в отличие от него, своим хозяином Сталина никогда не считал, портретов его нигде не вешал, да и как бога тоже его никогда не воспринимал.

Он сказал:

— Я не хочу рисовать картину той нашей жизни извне, как бы со стороны. Я был внутри.

Я сказал, что тоже был внутри. И тоже о Сталине в жизни думал разное. Но, в отличие от него, уже «подбил итог».

И тут он — первый раз за весь этот вечер — тоже съехидничал:

— Ну да, когда прочли об этом в газетах.

— Да я, если хотите знать, — оскорбился я, — уже в 15 лет сочинял эпиграммы на Сталина!

Сам не знаю, как это вдруг из меня выскочило. За минуту до того, как у меня вырвалась эта надменная фраза, я и сам не догадывался, что помню об этом. Но это действительно было. Во всяком случае, одну эпиграмму на Сталина я однажды действительно сочинил.

Но это уже совсем другая история и к моим воспоминаниям о Борисе она отношения не имеет.

*Из выступления на вечере,  
посвященном 85-летию Бориса Слуцкого  
(18.05.2004)*

...Когда я вспоминаю Бориса, когда думаю о нем, меня не покидает чувство вины. Я виноват перед ним в том, что ни разу не написал о нем, а он в этом нуждался... Это чувство вины меня постоянно гложет. Хотя не могу и не похвастаться тем, что у меня есть и одна заслуга перед ним. Я напечатал в журнале «Пионер», где я заведовал отделом литературы (это была моя первая служба) стихотворение Бориса «Лошади в океане». Это был странный ход. В журнале работали прекрасные люди, умные, понимающие поэзию. Но эта идея их ошаршила. И все же они пошли мне навстречу. Стихотворение было напечатано. А потом появилась знаменитая статья Эренбурга, которая сделала Борису имя. После публикации «Лошадей» в «Пионере» стали говорить: когда же взрослым повезет так же как детям.

В день открытия XX съезда мы с ним встретились. Он спросил меня, читал ли я сообщение мандатной комиссии? Я говорю:

— Зачем мне читать это сообщение, что за глупость? Даже не подумал.

— Напрасно, — говорит Борис, — я внимательно изучил сообщение; примерно две трети делегатов вступили в партию позже, чем я.

Я подумал: если это его греет, ради бога. А потом сообразил, что Слуцкий имел в виду нечто серьезное: может быть, Никита Сергеевич так талантливо подготовил съезд, чтобы там было больше молодых людей, другое поколение. Может быть, если бы там были большевики с другим стажем, они бы так не проглотили его доклад.

Вспоминаю вопрос Бориса: кто правильнее прожил жизнь — Эренбург или Паустовский? Борис считал, что Эренбург: хотя он был приближен к власти и ему приходилось идти на компромиссы и выкручиваться, но при этом он мог помогать людям, выручать, иногда спасать от гибели. До сих пор вопрос о том, кто правильнее прожил свою жизнь, я оставляю открытым. Но хочу сказать: для Бориса важно было вот это последнее обстоятельство — помогать людям, выручать людей... Он очень рано понял ценность человеческой жизни на войне, у него об этом множество прекрасных стихов... он видел свою задачу в том, чтобы протянуть человеку руку, вытащить его из беды...

В заключение о книге «Записки о войне». Книга эта поразительна тем, что Борис — человек идеологизированный, чувствовавший себя победителем, человеком, пришедшим в освобожденные нами страны с армией-освободительницей, творящей правое дело... Ну а потом времена уже были другие — Венгрия, Чехословакия... и, я думаю, чувство это выветрилось, но стихи писал: «Я роздал земли графские... крестьянам южной Венгрии... Величие цели вызвало великую энергию... Я был внутри энергии...». Мне все это показалось настолько несоответствующим реальности, что я сочинил довольно злую пародию и читал ее некоторым людям, хотя по тем временам это было и небезопасно: «Я подразверстку у крестьян брал строго по инструкции, // Я села по миру пускал, я города кормил. // Мы строили нелепую железную конструкцию, // Я был внутри конструкции, ее деталью был. // Не винтиками были мы, нет, были мы шурупами. // Болтами были, гайками и шайбами подчас, // Наш путь был устлан трупами, // Но с этим не считается сейчас никто из нас». Сочинив такой экспромт не бог весть какого качества, но по смыслу он мне нравился, я его читал, и до Бориса он каким-то боком дошел, потому что я почувствовал какой-то холод возник. Потом это прошло.

Так вот я хочу сказать, что чувство освободителя, сознание освободителя и его комиссарство, над которым посмеивались и даже была знаменитая эпиграмма Коржавина, вы ее, наверное,

помните, не помешало ему написать книгу о войне поразительно правдивую, настолько правдивую, что сегодня, шестьдесят лет спустя, она читается как абсолютно не устаревшая ни одной своей буквой. Это просто свидетельствует, во-первых, об огромном чувстве правды, во-вторых, о том, что идеология не съела его душу, не съела его живое восприятие реальности. Это бывает очень редко. Идеология съедает, необязательно коммунистическая, например, националистическая идеология съела душу одного из самых крупных писателей современности, известно во что он превратился. Идеология страшная вещь. Борис остался живым в лучших своих стихах, я не знаю, «великий» он или «не великий», дело не в этом. Дело в том, что бывают поэты, бывают писатели, значение, масштаб, рост, сила слова которых убывают. Борис Слуцкий принадлежит к числу поэтов, которые растут. Сегодня для меня Борис более крупный поэт, чем тот, каким я знал его пятьдесят лет тому назад, и стихи его звучат сегодня, не скажу: лучше, крепче, но мощнее и впечатляют сильнее, чем они звучали тогда, когда я услышал их впервые.

## «РАСШИФРУЙТЕ МОИ ТЕТРАДИ...»

Он умер 23 февраля 1986 года в городе Туле — великий русский поэт советской эпохи Борис Абрамович Слуцкий. Умер в доме брата Ефима, где последние лет восемь прожил, уйдя в необратимую душевную депрессию, схимником и отшельником — в здравом уме и твердой памяти, но сомкнув поэтические уста, но отгораживаясь от литературного общения, но затворяясь от какой бы то ни было прилюдности и публичности.

Было очень холодно, ветрено и горько. Гроб стоял в узком больничном морге на Филевской окраине Москвы. Много народу пришло с ним попрощаться. И большинство увидело его строгое, бледное, отмучившееся лицо после долгой разлуки — впервые: в Тулу он никого к себе не пускал. «Вот и свиделись...»

Этот февральский день по свежим следам описал Дмитрий Сухарев:

Ради будничного дела, дела скучного,  
Ради срочного прощания с Москвой  
Привезли из Тулы тело, тело Слуцкого,  
Положили у дороги кольцевой.  
Раздобыли по знакомству, то ли случаю  
Кубатурку без ковров и покрывал,  
Дали вытянуться телу, дали Слуцкому  
Растянуться, дали путнику привал.  
А у гроба что ни скажется, то к лучшему,  
И лежит могучий Слуцкий, бывший мученик,  
Не болит его седая голова...

Смерть всегда неожиданна и убийственна для оставшихся жить. В этом случае боль усугублялась и осознанием той страдальческой, той долгой, той одинокой немоты, которая уходу Слуцкого предшествовала. Усугублялась боль — виной.

Панихидные слова запомнились слабо. Помню только стоящих по разные стороны гроба В. Корнилова и С. Куняева. Помню еще сгорбленного тоскою и совсем вдруг осунувшегося,



сжавшегося, постаревшего Давида Самойлова. Что-то он сказал, стоя в изголовье, в том роде, что скоро и мы — за тобою... (Самойлов умрет точь-в-точь в «военный праздник» четыре года спустя.)

Каждый год, весной, 7 мая, в день рождения Слуцкого — накануне Победы, и зимой, в эту февральскую годовщину, на старом Пятницком кладбище, что за Рижским вокзалом, собирается невеликая, но и нежалкая группа людей. Приносят цветы, читают стихи, молча стоят у скульптурного надгробия Бориса Слуцкого. Постепенно круг редеет: вот и не стало среди собравшихся Самойлова, вот ушел из жизни и Юрий Болдырев — преданный товарищ, а затем душеприказчик, архивист, публикатор Слуцкого, которому мы обязаны вторым, посмертным, рождением поэта (высшая близость: теперь они лежат в одной ограде), вот скончался и Ефим Абрамович...

Перечитывая Слуцкого, видишь, как смолоду пристально и бесстрашно думал он о смерти — можно сказать даже, что так жизнь ощущалась им полнее и острее: «О покой покойников! Смиренье // усмиренных! Тишина могил...» (Заметим попутно, что этот поэт с будетлянской настойчивостью любил сталкивать однокоренные слова, тем самым их остраниа и смысл укрупняя.) В его поэтическом наследии — обилие могил, кладбищ, «кучек праха, горсток пепла», панихид, похорон и даже перепохорон. Бесценность единственной жизни представлялась поэту как —

Черта меж датами двумя —  
река, ревущая ревмя...  
Черта меж датами —  
черта меж дотами,  
с ее закатами,  
с ее высотами...

Слуцкий — поэт колоссального напряжения, возникавшего всегда меж полярными знаками: рождения и смерти, злобы дня и вечности, страха и бесстрашия, свободы и закрепощенности. Пожалуй, с максимальной силой этот дышащий парадокс личности и характера, которые были сформированы (от слова «форма»), но в сути своей не подавлены и не мимикрированы тоталитарной эпохой. В его поздних стихах есть удивительный и, кажется, вовсе не замеченный образ цепной ласточки, то есть закрепощенной, стесненной, скованной воли:

Я слышу звон и точно знаю, где он,  
и пусть меня романтик извинит:  
не колокол, не ангел и не демон,  
цепная ласточка  
железами звенит.

Здесь трагедия русской музыки, попавшей в большевистский квадрат, выражена ясно, как, пожалуй, ни в одном ином стихотворении XX века. Разве что у Ходасевича, прививавшего «классическую розу советскому дичку», — не именно ли эту и духовную, и стилистическую линию подхватил и заострил до предела Слуцкий? Найдя свой собственный образ несвободной свободы, поэт на наших глазах, словно впадая в самопроверяющее черное бормотание, начинает себя перебивать и в словах метаться: «Цепной, но ласточке, нет, все-таки цепной, // хоть трижды ласточке, хоть трижды птице, // ей до смерти приходится ютиться // здесь...»

Наречие «здесь» (в подразумеваемом союзе с «теперь») часто возникает в стихах Слуцкого как предпочтительный своим аскетизмом синоним к высоким «родина», «отечество», «отчизна»:

Хочу умереть здесь  
и здесь же дожить рад.  
Не то чтобы эта весь,  
не то чтобы этот град  
внушают большую спесь,  
но мне не преодолеть  
того, что родился здесь  
и здесь хочу умереть.

Мужская мужественная рифма звучит кратко и резко — так заколачивают сваи и гвозди. Обыкновенно склонный к логическим построениям и объяснениям, поэт в данном случае «не устаивает быть рассудительным». Так, потому что так. Так, потому что —

Хочу понимать язык  
соседа  
в предсмертном бреде.

Кстати, о языке. Лексика Слуцкого столь же контрастна и парадоксальна, как и его лирический (и в той же мере эпический) характер. С одной стороны — словарь пушкинской эпохи, с другой — масса слов и словечек «современности, нынешности, сегодняшности». Создавая своеобразную энциклопедию советской

жизни, поэт ввел в свою речь массу советизмов — все эти областные активы, и расширенные бюро, и председателей райисполкома, и политруков, и месткомы, и жакты, и жэки. К его поэзии в XXI веке понадобятся обширные и толковые комментарии, как к «Евгению Онегину»: многие приметы канувшего времени, его быта, его институтов, его иерархии скоро станут историзмами и архаизмами. Но сквозь эти наносные слои временного, сквозь фреску злободневного проступят вечные, допотопные темы, поднятые Слуцким с несравненной честностью и остротой, — темы власти и подчинения, рабства и страха, личности и государства. Ибо он, притворяясь всего лишь репортером, хроникером и документалистом, был на деле исследователем, интерпретатором времен и нравов. Он, если вспомнить его же формулу, писал не милицейские истории, а Историю, начатую Ключевским и Соловьевым.

Поэт Борис Слуцкий был в равной мере традиционалистом и новатором. В его стихах — обилие державинских и пушкинских реминисценций, причудливо смонтированных с общим новоязом и персональными неологизмами. Известно, что ближайший друг Слуцкого по Харькову, давший ему в юности поэтический толчок, — Михаил Кульчицкий<sup>1</sup>, который вскоре погибнет на войне, любил в раннюю пору в качестве упражнения переписывать баллады Жуковского языком и ритмом Маяковского. Если воспринять это как метафору нелюбезной творческой преемственности, то нечто подобное сделал в дальнейшем и Слуцкий. Он «переписал» русскую поэтическую классику на языке выпавшего ему времени (пропустив свой уникальный опыт и сквозь промежуточные реторты Хлебникова и прочих футуристов). Так возник обогащенный рядом стилистических превращений новый — уникальный и независимый — мир.

Поэзия Слуцкого была сильнейшим образом политизирована. Я, повторюсь, понимаю это так. В стране, где журналистика, и социология, и историческая наука многие десятилетия были мнимостями, состоящими из умолчаний и лжи, нашелся милостью Божь-

---

<sup>1</sup> Утверждение не бесспорное. Кто кого толкнул — не установить. Исходить следует из того, что в Харькове счастливо встретились два поэта. Произошло это 36–37 году, во время консолидации пишущей молодежи в преддверии столетнего юбилея со дня гибели Пушкина. Кстати, именно Слуцкий уговорил Кульчицкого оставить филфак Харьковского университета и поступить в московский Литературный институт ССП. — *Примеч. сост.*

ей поэт, который, жертвуя лирическим пространством, взял на себя груз, обычно лирикой презируемый. Слуцкий вообще был склонен бросаться на помощь к униженным, и отвергнутым, и посланным в неги (отсюда его столь настойчивое внимание к старикам и старухам как маргиналам советского «гуманизма»). Вот он и кинулся к ушедшим в тень фактам, обстоятельствам и событиям. Советская реальность в ее уродливых подробностях псевдопоэзией искажалась и лакировалась, а поэзией подлинной — по преимуществу брезгливо игнорировалась. Кажется, Слуцкий единственный в своем поколении углубился в кровавую грязь с вниманием (а подчас — и с сочувствием) ответственного участника и регистратора. И уже в этом — его бессмертная, диковинная, асимметричная неповторимость.

...Только что ушел из жизни Иосиф Бродский, и в нынешние дни естественно обращаться в мыслях к нему. Год назад он в беседе с Адамом Михником высказался в том смысле, что трактовать советскую власть всерьез всегда казалось ему неуместным. «В лучшем случае власть была темой анекдотов и шуток... Было ясно, что это воплощение зла». Борису Слуцкому это, по всей видимости, было в последние годы ясно тоже — все настойчивее и отчетливее. Однако — демократичный до мозга костей — он данное зло игнорировать не мог, ибо внутри такового разместились живые и ни в чем не повинные персонажи. Люди, наделенные и душой, и Божьим замыслом, но помещенные в рамки зла. Вдруг вспоминаешь, от какого корня идет идиома «злоба дня» и почему Слуцкий одну из своих книг назвал в злом 73-м году по отношению к этой идиоме с вызовом — «Доброта дня». Он приходил со своим поэтическим и философским инструментарием в ужасную явь, как подвижник-врач и ученый — в палату смертников. Кстати, я свидетельствую, что Бродский — несмотря на вышеприведенное категоричное утверждение — глубочайшим образом поэзию Бориса Слуцкого почитал. Да-да, я присутствовала при том, как в коннектикутском колледже в 90-м году, отвечая на вопросы юных американских славистов, он в качестве незаменимого аргумента (речь шла именно об особой поэтической роли, которой была наделена поэзия в советской России) вдохновенно читал им Слуцкого:

Покуда над стихами плачут,  
пока в газетах их порочат,

пока их в дальний ящик прячут,  
покуда в лагеря их прочат, —  
до той поры не оскудело,  
не отзвенело наше дело.  
Оно, как Польша, не згинело,  
хоть выдержало три раздела...

Нынче над стихами все меньше плачут и даже не порочат их в газетах. Широкий читатель от поэзии отошел. И это, как и многое другое, было Слуцким предвидено и предсказано:

До того стихом обожрались,  
что очередное поколение  
обнаружит к рифме отвращение  
и размер презрит.

Он знал цену конъюнктурного и поверхностного союза, заключенного популярными стихотворцами с толпой («Тягостный юмор лакея, выступающего с эстрады», — сказал он, как припечатал, в разгар их, лакея и толпы, альянса), и не заблуждался относительно того, сколь приблизительно, неполно, поверхностно знала та же толпа его. Он вообще чем дальше, тем менее был склонен заблуждаться. Лет двадцать назад у Слуцкого вырвалось едва ли не апокалипсическое пророчество: «Это время — распада. Эпоха — // разложения. Этот век // начал плохо и кончит плохо. // Позабудет, где низ, где верх». Предчувствие катастрофы и хаоса было изматывающей душевной фобией Слуцкого: он спасался то идеей дисциплины и подчинения жестокому общему режиму, то обилием в стихах цифр, чисел, параграфов и пунктов, забиравших его сердечную смуту в самоспасительную «сетку», то мощными историческими аналогиями.

Хаос — насущный и грядущий — настиг поэта при жизни и был обуздан. На этот раз немостою.

Насколько нам известно, последние написанные им стихи датируются апрелем 77-го года (а жить оставалось еще долгие девять лет): они были созданы опять же в преддверии неотвратимой смерти, но при этом пронизаны блаженным чувством предназначения и состоятельности.

...Уйду, недочитав, держа в руке  
легчайший томик, но недалеко  
пять-шесть других рассыплю  
сочинений.

Надеюсь, что последние слова,  
которые расслышу я едва,  
мне пушкинский нашепчет  
светлый гений.

Тут все дышит Слуцким: и мысль о конце, питающая мысль о начале, и неповторимый склад, о коем сам поэт писал так: «польский гонор и еврейский норов вежливость моя не утаит», и скромность, и гордость, и такое характерное «пять-шесть» (педантизм, за которым — дрожь маеты и отчаяния), и упрямое ощущение себя, из рамок выламывающегося, в русской, в пушкинской, в противостоящей хаосу и злу традиции...

### БОРИС И ИОСИФ

Иосиф Бродский, выступая в 1985 году на симпозиуме «Литература и война», сказал:

— Именно Слуцкий едва ли не в одиночку изменил звучание послевоенной русской поэзии. Его стих был сгустком бюрократизмов, военного жаргона, просторечия и лозунгов, с равной легкостью использовал ассонансные, дактилические и визуальные рифмы, расшатанный ритм и народные каденции. Ощущение трагедии в его стихотворениях часто перемещалось, помимо его воли, с конкретного и исторического на экзистенциальное — конечный источник всех трагедий. Этот поэт действительно говорил языком XX века... Его интонация — жесткая, трагичная и бесстрастная — способ, которым выживший спокойно рассказывает, если захочет, о том, как и в чем он выжил.

И еще. Отвечая на прямой вопрос Соломона Волкова:

— А каков был импульс, побудивший вас к стихописанию? — Бродский заявил:

— Первый — когда мне кто-то показал «Литературную газету» с напечатанными там стихами Слуцкого. Мне было тогда лет шестнадцать, вероятно. Я в те времена занимался самообразованием, ходил в библиотеки... Мне все это ужасно нравилось, но сам я ничего не писал и даже не думал об этом. А тут мне показали стихи Слуцкого, которые на меня произвели очень сильное впечатление.

Это признание Бродский повторял, варьируя, не раз:

— Вообще, я думаю, что я начал писать стихи, потому что прочитал стихи советского поэта, довольно замечательного, Бориса Слуцкого (1991).

В «Вопросах литературы» (1999, выпуск III) впервые напечатан полный текст стихотворного послания Бродского — Слуцкому, которое молодой поэт, после встречи со старшим, написал печатными буквами на листках из школьной тетрадки в косую линейку и послал по почте...

А вот что в эту «тему» могу внести я, которая в сентябре 1990 года впервые двинулась в Америку. Мы — я, переводчик Виктор Гольшев и прозаик Валерий Попов — были приглашены неким колледжем (штат Коннектикут, Новая Англия) на творческий симпозиум по теме «Словесность и мораль». Интересно — а у меня сохранилась афиша, — что все мы числились тогда еще как Soviet author или как Soviet poet.

Руководительница симпозиума — славистка в годах, с русскими генами — близко дружила с Иосифом Бродским, который, в свою очередь, очень тесно дружил с «Микой» (Гольшевым), коего не видел воочию лет двадцать. Итак, мы, вылетая, знали, что нам предстоит выступить вместе с Иосифом (плюс — его отдельный персональный вечер), и я этого, к стыду своему, дико боялась. Сей страх даже в самолете доминировал над интересом к неведомой Америке вообще! Замечу кстати, что я совсем не из трусливых и не из трепетных, а авторитетов в таком смысле не признаю даже подчеркнуто, — тут другое.

Опять же много-много лет назад (в 1969-м) Бродский меня, совсем зеленую и неготовую, довольно-таки жестоко обидел — просто так, ни за что, как дочку печатавшегося «совписа», которого он и не читал, но априори презирал. Мы зашли в его «полторы комнаты» на улице Пестеля с нашим общим приятелем — этим летним вечером, плавно переходящим в белую ночь, Бродский был вообще в отвращении к «здесь и теперь».

— Мне, — заметил он, — равно омерзительны все, вне зависимости от знака: что Кочетов, что Солженицын.

Досталось и мне персонально:

— Девочки типа вас отстригают челочки, сами не зная — под колом: под Ахматову или под Цветаеву.

О'кэй?

...Прилетели в Нью-Йорк. Сели. Доехали до места на огромном лимузине. Чудеса американского кампуса. У нас — свой коттедж. Огромные, гипертрофированные ежи и белки. Близость океана.

И вот наутро приезжает Иосиф с красавицей Марией (свадьба произошла неделю назад). О, как они обнимались и мутузили друг друга кулаками с Гюльшевым...

— Старик!

— Чувак!

Бродский все последующие дни был со мною сверхлюбезен: Мика Гюльшев, с которым я поделилась еще в Москве своим страхом, сразу сказал тому, что вот, мол, «нормальная чувиха», но из-за него психует. Замечу, что, встретившись вечность спустя, они не могли наговориться именно на этом языке 50-х годов, на жаргоне стилиг...

Но пока я все равно боялась.

И вот 13 сентября — встреча с учащимися (а также с преподавателями) в большом зале, идущем крутым амфитеатром. На сцене — мы четверо: Soviets authors и Бродский. Мы отвечаем на записки через переводчика. Я, в частности, получаю такую: «Отчего в современной России поэзия неестественно политизирована?»

М-да. Как объяснить? Отвечаю: поскольку журналистика, публичное правосудие, ораторское дело за годы советской власти были начисто изничтожены тоталитарной цензурой и словно бы сучились, то честная поэзия бессознательно начала впитывать в себя нелирические функции, от коих она в нормальном обществе как в контексте свободна... Что-то в этом роде. Вижу: слушают меня (а кто по-русски ни бум-бум, те — моего переводчика) внимательно и понятно. Думаю: пан или пропал — прочту мое любимое из Слуцкого стихотворение, которое отвечает именно на их американский вопрос:

Покуда над стихами плачут,  
пока в газетах их порочат,  
пока их в дальний ящик прячут,  
покуда в лагеря их прочат, —  
до той поры не оскудело,  
не отзвенело наше дело.  
Оно, как Польша, не згинело,  
хоть выдержало три раздела.

Вдруг Иосиф, буквально как известный персонаж из табакерки, вскакивает с места, выбегает к центру сцены, меня отодвигает



чуть театрализованным, иронично картинным («Не могу молчать!») жестом и, с полуслова подхватывая, продолжает со своим неповторимым грассированием:

Для тех, кто до сравнений лаком,  
я точности не знаю большей,  
чем русский стих сравнить с поляком,  
поэзию родную — с Польшей...

Зал ахнул: ну и ну! А Иосиф, стихотворение дочитавши, улыбается и говорит:

— Мои любимые стихи у моего любимого Слуцкого. — А мне незаметно и весело улыбается, даже чуть подмигивая (дескать, здорово у нас с вами получилось, хоть и не сговаривались, да?).

Зал раздражается овацией.

Так я вытеснила обиду и перестала бояться Иосифа Бродского.

...А стихи Бориса Слуцкого (они были написаны в 62-м году и подарены польскому поэту Броневскому в последний день его рождения) кончались так:

Еще вчера она бежала.  
заламывая руки в страхе,  
еще вчера она лежала  
почти что на десятой плахе.  
И вот она романы крутит  
и наглым хохотом хохочет.  
А то, что было,  
то, что будет, —  
про это знать она не хочет.

1999

*Из выступления на вечере,  
посвященном 85-летию Бориса Слуцкого  
(18.05.2004)*

Так много связано со Слуцким, и так много я уже писала и говорила, даже и в этом зале, что боюсь повториться, но постараюсь сказать главное.

Слуцкий присутствовал в нашем доме, в доме моего детства, потому что мои родители часто изъяснялись его строчками, как мы говорим строчками из «Горя от ума». «Евреи хлеба не сеют» или «орденов теперь никто не носит» — это папа говорил, когда его упрекали в том, что у него нет орденов. У Слуцкого «планки

носят только чудаки», а папа говорил «только дураки», иногда даже грубее. Это признак народности его поэзии. Его строчки уже ходили, особенно в литературном народе — «физики и лирики», «когда мы вернулись с войны, я понял, что мы не нужны» и т. д. Слуцкий присутствовал в доме как фольклор высшей пробы.

Когда Слуцкий узнал, что я пишу стихи, первая оценка его была: «В ваши годы я писал хуже». В этом было для меня что-то обнадеживающее.

Он стал моим любимым поэтом.

Он был величайшим новатором второй половины XX века, в смысле ритмики и рифмы, соотношения прозы и поэзии и документа внутри поэзии.

Главное, что хотелось бы выделить — Слуцкий, если попытаться вытянуть какую-то доминанту, скажем идейную, — был трагическим оптимистом, если лингвисты будут анализировать его стихи, то увидят, что в них очень много глаголов будущего времени.

Он был историком современности. Это почти никому не дано. Он синхронно фиксировал современность, а при этом видел какие-то явления, которые видятся на расстоянии.

По рассказу Бенедикта Михайловича Сарнова, Слуцкий задавал такой вопрос: «Кто прожил жизнь правильнее — Эренбург или Паустовский?»

Не знаю как кто, а я, когда Борис Абрамович задавал подобные, *как бы* простодушные и прямолинейные вопросы, ощущала в них некую «творческую провокацию». Уверена, что, отвечая на им самим поставленный вопрос (Эренбург или Паустовский?), Слуцкий прекрасно понимал, что сие — не единственно возможная альтернатива.

Не верю, что, говоря об Эренбурге: «Хорошо, что он шел на компромисс с властью, зато он помогал людям», Слуцкий сам был полностью солидарен с этой плоской и небезопасной мыслью. Он, повторяю, собеседника попросту, возможно, провоцировал...

Сам Слуцкий лишь однажды пошел против воли на компромисс с властью, выполнив ее приказание (дело Пастернака), — и тяжелейшим, необратимым образом этот компромисс пережил. Чего никогда даже близко не было с Эренбургом, а уж и задания, и близость к власти, и компромиссы там были похлеще.

Вообще, теперь пошла такая мода среди интеллигенции: дескать, можно и нужно идти на компромисс с якобы чуждой тебе властью и идеологией, чтобы потом якобы сделать добрые дела.

Не хотелось бы, чтобы эту позицию связывали с именем Бориса Слуцкого. Она абсолютно чужда его личности и поэзии. Помните стихотворение: «Станет стукачом и палачом, потому что знает что почем...» Как-то далеко от теории полезного компромисса.

И еще. Из современных ему прозаиков Слуцкому, самой его стилистически и философски острейшей поэзии были, как мне кажется, близки вовсе не Эренбург, просчитанно-сервильный интеллектуал, и не Паустовский, благородно-нейтральный романтик, но скорее выламывающиеся из клановых рамок Гроссман, Домбровский, даже Андрей Платонов. Из поэтов — Николай Глазков...

---

*Дмитрий Сухарев*

## **ДЛЯ ПОНИМАНИЯ СЛУЦКОГО НУЖНЫ МЯГКИЕ ПРАВЫ И КАКОЙ-НИКАКОЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ**

Слуцкий по-прежнему, как полвека назад, бесит, восхищает, поляризует собратьев по перу. Диву даешься, когда видишь, как бычата, бодаются стихотворцы последней генерации, которые при живом Слуцком дай бог под стол пешком ходили...

С чего вдруг страсти? Что им в том времени, когда вершилось явление Слуцкого литературе? Они и слов таких не знают — от-тепель, двадцатый съезд, восстановление ленинских норм, забыл, что там было еще в этом роде. Забыты те слова, осмеяны надежды, а Слуцкий актуален.

Подозреваю, что смысл поляризации радикально изменился. Тогда, в 50-х, раскол проходил по линии «ч т о» и определялся отношением к сиюминутному в содержании стихов. Теперь иное. В содержании на первый план выдвинулось вечное. А для стихотворца-профессионала немаловажным становится «к а к».

К некоторым сторонам поэтики Слуцкого привлекают внимание два высказывания Ю. Л. Болдырева, первого публикатора наследства поэта, сделанные им после того, как Слуцкий, став инвалидом, доверил ему распоряжаться монбланами своих неопубликованных стихов.

В инвалидность же Борис Абрамович, как известно, обрушился с высот, на которые его вознесла любовь. Цикл стихов на случившуюся в феврале 1977 года смерть любимой женщины стал одним из вершинных достижений русской лирики XX столетия, но поэт на этих стихах надорвался, стал стремительно терять работоспособность и здоровье. По свидетельству Болдырева, «два с половиной месяца (после кончины Татьяны Дашковской) он в нескольких толстых тетрадах выговорил все, что осталось сказать людям, и ушел в болезнь, в молчание, во тьму — на девять страшно долгих лет».

Болдырев сводил достоинства поэзии Слуцкого к тому, что малоформатными средствами лирики Слуцкий сотворил монументальный эпос времени. Вопросу о поэтике Болдырев как бы не придавал значения, вслед за иными доброжелателями считал перо Слуцкого недостаточно изощренным. Такое впечатление можно вынести из некоторых слов Болдырева, например: «Он (Слуцкий) часто не был уверен в себе как в поэте. Заявлений вроде „Я как писатель — средний“ можно встретить в его стихах предостаточно. В этих случаях его поддерживало и спасало сознание, что ему как бы поручено запечатлеть в стихе историю сегодняшнего дня, историю нашей эпохи, свидетелем и участником которой он был. И с присущей ему честностью, четкостью и дотошностью делал это дело...» («Собеседник», 1988, №2, с. 24–31)

В моем понимании извинительные рассуждения о честности и дотошности среднего поэта Слуцкого выглядели полной галиматией... У самого Слуцкого самооценка была достаточно трезвой, хотя иногда он почти всерьез над собой подшучивал, как было в последний, кажется, перед болезнью раз, когда мы встретились: «Очень много пишется — может, я графоман?» Если и ощущал себя средним писателем, то исключительно в сравнении со своими многолетними кумирами, Пушкиным и Толстым.

Небезупречен, на мой взгляд, и другой болдыревский тезис: «В поэзии и личности Слуцкого нам явлен благой и строгий пример возвращения от человека сугубо политического к человеку естественному, пример содрания с себя ветхих одежд, пример восстановления доверия к живой жизни с ее истинными, а не фантомными основаниями» (Слуцкий Борис. Собр. соч. в 3-х тт. М. 1991. Т. 1. С. 26).

Мне это дело представляется совсем иначе. Своих главных ценностей Слуцкий не пересматривал. Он, в отличие от многих, кого считал товарищами, сохранил верность идеям социальной справедливости. Сознавал, что они старомодны, что в литературе, как и в жизни, уже гонятся за другим, но сам гнаться не собирался.

...Словно сторож возле снесенного  
монумента «Свободный труд»,  
я с поста своего полусонного  
не уйду, пока не попрут.

Он не стал, как многие, приверженцем еврейской, русской или какой иной национальной фанаберии и не сдирал «ветхих одежд»

своего природного, органического интернационализма. Над гробом Слуцкого справедливо было сказано Давидом Самойловым, что «черты жалости и сочувствия, столь свойственные великой русской литературе, делают поэзию Слуцкого бессмертной». Милосердным Слуцкий тоже был смолоду, а не стал в результате пересмотра фантомных оснований. Плянем в раннее, еще из первого сборника, стихотворение с одиозным (с сегодняшней жлобской точки зрения) названием «Как меня принимали в партию». Какую-нибудь из заявленных здесь ценностей Слуцкий пересмотрел? Решил, что можно врать и разрешается быть трусом? Нет, конечно. Если на чем и поставил крест, так только на единственной (действительно фантомной) надежде — надежде на то, что эта партия когда-нибудь всерьез разделит его идеи и порывы.

Наверно, у каждого из нас имеется какое-то представление о хорошем и плохих стихах. Хороший вкус многолик. Выбор любимой поэзии, как любое другое проявление личного вкуса, совместим с широким разновкусием. Если что и существует объективно, так это генетически обусловленные различия между людьми на уровне психики. Их, этих различий, уже достаточно для того, чтобы единый хороший вкус стал принципиально невозможным.

Но и сознавая эти простые истины, не перестаешь удивляться неприятию Слуцкого. Какой только напраслины не возводили на его поэзию. В ней-де нет чувств. В действительности в стихах Слуцкого, как правило, отсутствуют названия чувств. Спору нет, обозначить чувство названием было некогда рутинной практикой изящной словесности. Но это, мягко говоря, пройденный этап. И разве вывеска с названием чувства ценнее, чем оно само?

Коли нет чувства, значит — стихи от ума. Тут и вовсе смешение понятий. Да, Борис Слуцкий был умным, так что его стихам органически трудно выглядеть глупыми или малограмотными, но ум и образованность присутствуют в них не вместо чувств, а вместе с чувствами.

С особым усердием писали, что стихи Слуцкого неблагозвучны. Дескать, нет в них красоты, которая, дескать, по определению присуща настоящей поэзии. Красота красоте, однако, рознь. Мусоргский был неблагозвучен для тех, кто считал, что красота исчерпала себя в Верди. Но в свое время и Верди был встречен с неодобрением. Да и к Мусоргскому со временем привыкли, но неблагозвучными объявлялись другие — Прокофьев, Шостакович... А музыка живет себе, живет — и никому ничем не обязана.

Мне кажется, что переизбыток отрицания достался Слуцкому отчасти потому, что в его поэтике присутствует нетривиальная черта. Коротко об этом можно сказать так: у Слуцкого изощренные средства, но они замаскированы, не лежат на поверхности, притворяются отсутствием или неумелостью средств. Не знаю, есть ли для этого название у литературоведов. Меня бы устроило слово с к р ы т о п и с ь. Поэтика Слуцкого криптографична.

Поэтика Слуцкого не была, я думаю, основана на разумном выборе и трезвом расчете. Она, включая скрытопись, просто соответствовала творческому естеству поэта. Писать стихи, щеголяя великолепием художественных средств, Слуцкий просто не мог бы, хотя у многих стихотворцев это получается. Скажу так: ясность приемов была этически неприемлемой для его эстетики.

В принципе, скрытопись доступна анализу. Неявные приемы, пусть не так легко, как явные, можно выявить — были бы мягкие нравы и какой-никакой профессионализм. Но именно этого не хватало недоброжелателям Слуцкого.

Не видя, но ненавидя, как за забором пес,  
он в наилучшем виде облаял меня, понес.  
Моталась цепная злоба, тяжелой цепью звеня.  
Не видя — глядела в оба, облаивала меня.  
Облаивала, обливала,  
презреньем через забор,  
горела и не истлевала,  
наверно, горит до сих пор...

Конечно, отрицание стихов, написанных нестандартно, не всегда сводилось к «облаиванию через забор», то есть к нежеланию прочесть, вчитаться. Иным критикам поэта просто не хватало культуры признать «не мое» объективной ценностью. Такой, пытаясь, бежал за мнимо слабеющей птицей, пытаясь накрыть ее своей дурацкой шляпой и уговаривал себя, что этой калеке небес сроду не видать, потому что она и рифмовать-то толком не умеет. Плата за мастерство.

У поэтов принято обижаться, когда им говорят, что они занимаются игрой в слова. Я не вижу здесь причины для обид. Поэзия и есть игра в слова. Просто это игра кровавая. За стихи памяти Тани Слуцкий заплатил остатком здоровья, одиноким и безлитературным остатком жизни. А так все правильно: игра.

Далеко это было, году в 57-м или около того, — Слуцкий пришел к нам в университет на лито. Вид у Слуцкого был самый деловой, он сел во главе стола и велел: «Читайте».

Мы оробели, но прочитали по стихотворению. По кругу, как положено. Слуцкий молча и так же мрачно выслушал. Поразмышлял немного. Может быть, обдумывал программу. А скорее, ему нужна была пауза.

— Лошади умеют плавать, — вдруг сказал он пресным голосом. Таким голосом и с таким выражением лица уместнее было бы объявить, что лошади кушают овес. — Но — нехорошо. Недалеко. «Плория» по-русски значит «слава». Это вам запомнится легко.

Я уже знал эти стихи, уже любил. Но на лице у сидевшего напротив изобразилось изумление: это — поэзия?! Парень только что поступил на геофак, приехал издалека, пробовал сочинять по-русски и на своем родном белорусском.

Между тем Слуцкий продолжал ровным протокольным голосом:

— Шел корабль, своим названьем гордый...

И так до самого конца великого стихотворения. Без эмоций. Без аффектации, завываний, шаманства, даже без подъема голоса. До самых последних слов: «Вот и все. А все-таки мне жаль их, рыжих, не увидевших земли». Все-таки.

Белорус поднялся со стула, встал, его колотило, а он не понимал в чем дело. «Я не понимаю, — повторял он, мучительно поворачивая голову из стороны в сторону, ища то ли помощи, то ли сочувствия. — Я не понимаю».

Он что-то хотел объяснить о себе, но не умел. Его колотило, а он не понимал в чем дело. Не знал, как это назвать. Погибли кони — эго диво, в Белоруссии погиб каждый четвертый человек, в каждой семье погибли, а тут лошади, но стихотворение и не взывало страдать по этому поводу, хотя и коней все-таки жалко, так и сказано. Вот и все. Всего-то. Плавное, не было в стихотворении ничего такого, чем должна пробираться настоящая поэзия. Ни звуков сладких, ни молитв.

Даже образов не было, а ведь объявлено, что образы основа основ.

Колотило против правил.

...Говорили не похож! Хорош —  
этого никто не говорил.  
Собственную кашу я варил.



Свой рецепт, своя вода, своя крупа.  
Говорили, чересчур крута.  
Как грибник, свои я знал места.

Собственную жилу промывал.  
Личный штамп имел. Свое клеймо.  
Собственного почерка письмо.

Есть вариант последнего трехстишия:

Собственную жилу промывал.  
Личный штамп имел. Свое клеймо.  
Ежели дерьмо — мое дерьмо.

Тоже красиво.

*Из статьи Дм. Сухарева «Скрытопись Бориса Слуцкого».  
«Вопросы литературы», 2003, № 1.*

\* \* \*

— Кто ваш любимый поэт в XX веке? Спрашиваю, а сама знаю. Ну уж ответьте вы сами.

— Да, Слуцкий. На самом деле я уже писал, что Слуцкий — самый крупный русский поэт XX века. Не только по объему сделанного, но и потому, что именно он довел до ума гигантскую реформу, которую начал Хлебников. Но, по-видимому, он и самый любимый тоже. Чтобы любить, реформы мало — тут еще просто чувство.

— Вы были лично знакомы со Слуцким?

— Был. Конечно, не так близко, как Володя Корнилов. Когда случалось его встречать, мне казалось, что он мне симпатизирует. Мы иногда даже прогуливались долго, и он делился чем-то своим. Например, говорил, что страшится того, как много у него пишется стихов. Может, говорил, это графомания? Я не знал, что ответить. Это теперь мы прочитали оставленное Слуцким и знаем, какая стоит за этим музыка, какая страсть, какая сила гуманизма. Завидую Корнилову — он сделал сейчас то, о чем я могу только мечтать: составил избранное Слуцкого.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> К сожалению книга Бориса Слуцкого, составленная Вл. Корниловым не была издана. — *Примеч. сост.*



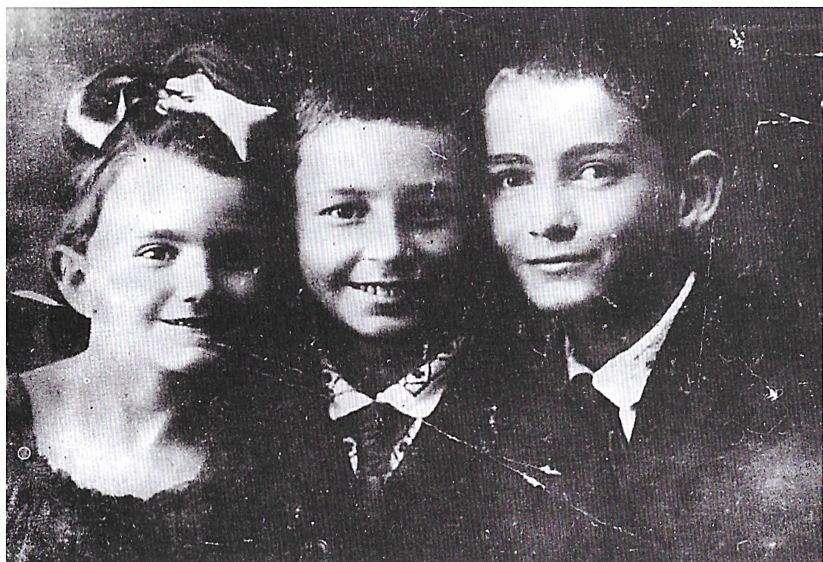
*Родители Бориса Слуцкого*

*Отец — Абрам Наумович*

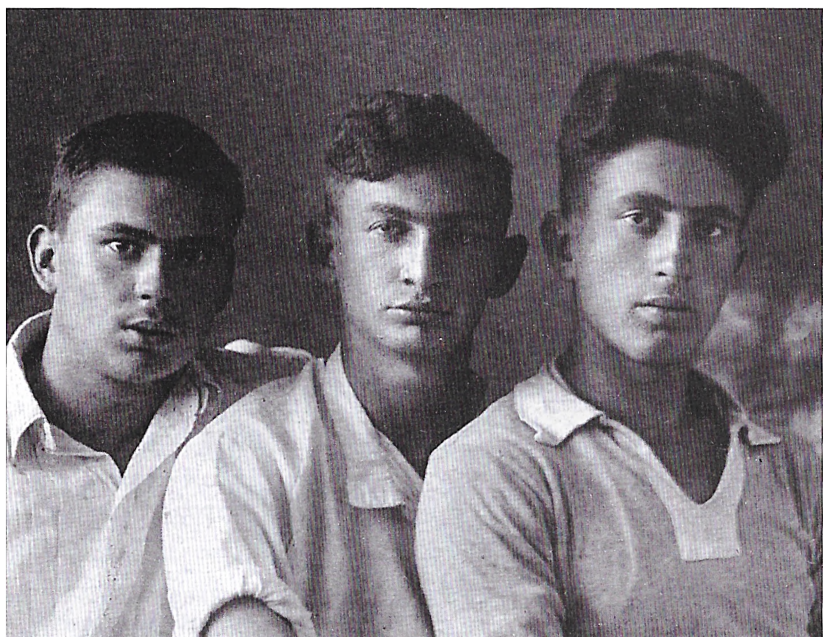
*Мать — Александра Абрамовна*



*Боря трех лет*



*Борис с сестрой Мурой и братом Фимой. 1930 г.*



*Со школьными друзьями после выпуска 1937 г.*



Поэты предвоенной московской группы  
(ифлийцы и студенты Литинститута ССП)



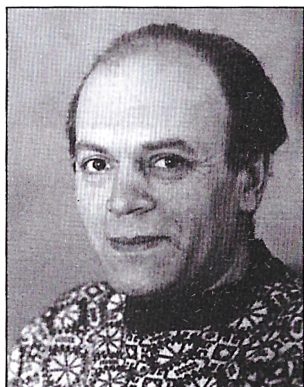
*Павел Коган*



*Михаил Кульчицкий*



*Борис Слуцкий*



*Давид Самойлов*



*Сергей Наровчатов*



*Михаил Львовский*



*Капитан Б. Слуцкий.  
57-я армия, 1944 г.*



*«Я в представлении венгерских  
провинциальных ретушеров». 1945 г.*



*С братом Ефимом. 1946 г.*





*Борис и его жена  
Татьяна Дашковская*



*С Таней на отдыхе*

Друзья со времен поэтической молодости



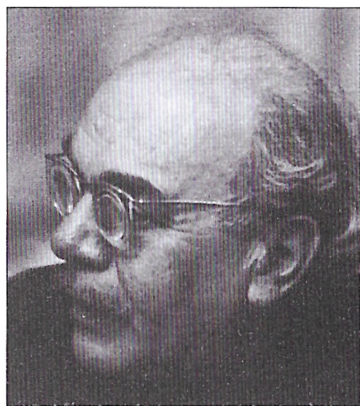
*Елена Ржевская*



*Исаак Крамов*



*Наум Коржавин*



*Давид Самойлов*



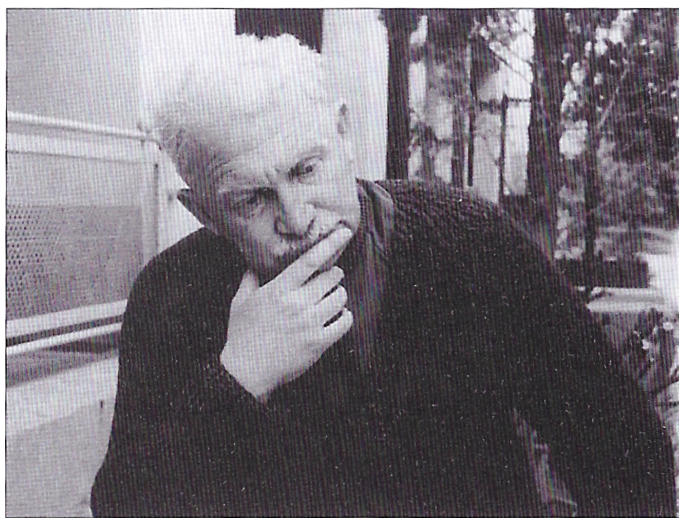


*Б. Слуцкий, Д. Самойлов, И. Крамов, П. Горелик. 1963 г.*



*Б. Слуцкий председательствует  
на творческом вечере Булата Окуджавы*





*Борис Слуцкий до болезни (70-е годы)*



*Б. Слуцкий, И. Эренбург, Т. Дашковская, Л. Мартынов*

При всем обилии написанного у Слуцкого нет равнодушных стихотворений. Это удивительно. Возьмем предельно однозное уже по названию: «Как меня принимали в партию». Куда, как говорится, дальше.

«Я засветло ушел в политотдел и за полночь добрался до развалин, где он располагался. Посидел, газеты поглядел. Потом — позвали».

Дочитываешь до конца — и берет за живое, такая за этим страсть, такое желание, чтобы партия состояла из нелживых, нетрусливых, хороших людей. Желание по тем временам антипартийное. Он верил, что это возможно.

— Тут я с вами поспорю. Потому что при своем историческом уме и прозрениях, проявленных в других стихах, он не мог после 37-го, 41-го, 49-го верить, что это не страшная организация. Она уже столько наделала, что это все же скорее был самообман, самовнушение.

— Да, страшная, но не было же зримой альтернативы ее реформированию. Никто не помышлял — и Слуцкий тоже, — чтобы сбросить. Силы такой не было. Никто не мог вообразить, что она развалится сама.

— Но были же диссиденты...

— Не было никаких диссидентов! То есть было, конечно, полдюжины замечательных людей, вроде того же Корнилова или Кима, но в основном же это — так, пена.

— Среди них очень много разных людей. Диссидент это кто? — инакомыслящий. Но вернемся к Слуцкому. Его стихи «Хозяин» или «Евреи» говорят о том, какой огромный жил у него внутри протест.

— Конечно, он был поэт протеста. Но альтернатива, которая стояла за протестом, — хорошие коммунисты. Это была единственная надежда. Вранье, что в обозримом будущем обозначалось что-то иное.

— Почему же вы тогда не вступали в партию?

— Потому что понимал, что из меня не получится хороший коммунист.

*Дм. Сухарев. «Семантику выводим из поэтики...».  
Беседу вела Т. Бек. «Вопросы литературы», 1996, № 3.*

## МОЙ ДРУГ БОРИС СЛУЦКИЙ

У меня было в жизни только два настоящих друга. Если — по гамбургскому счету. Один погиб на фронте. Другой был Слуцкий.

Боря был человеком общительным. Когда он умер, я не без удивления узнал, что его хорошо знали многие. Широко и разнообразно был круг знакомых. Некоторые, особенно после смерти Слуцкого, обозначили свое место в кругу друзей. Известно и то, что Борис был доверчив, как все благородные люди. Он дал входные билеты в литературу и тем, кому бы не следовало их давать. Имена называть не хочется. Сегодня важно, кто впускал, а не кто влез.

Но широта общения Слуцкого — знак его жадного любопытства к жизни, напряженного духовного поиска истины. В ней не было неразборчивости. Был интерес, было желание понять человека.

Определенность, точность, известная императивность его выводов-формул иногда воспринимались как ригоризм, поучительство. Даже близкий друг Бори, Давид Самойлов, добродушно, но и язвительно называл Слуцкого «ребе-комиссаром».

Слуцкий внимательно слушал других. Спорил тактично. Тот же Самойлов на мой возмущенный комментарий к словам одного литчиновника: «Некого поставить во главе Союза?.. Да Слуцкий, Слуцкий, что они ищут в одном углу!» — рассмеялся: «На следующий день после того, как Слуцкий возглавит Союз писателей, на фонарях будут висеть все, кто пишет яббом!» В шутке Самойлова был свой резон: Слуцкий был тверд и неуступчив.

«Надо думать, а не улыбаться». Улыбался он нечасто. Но любил веселых и находчивых. «Дезик легкий», — говорил без осуждения, почти с гордостью.

Его всегдашняя серьезность смущала. Сам себе и я казался легкомысленным, когда смеялся. Как-то я напомнил Борису, что средневековые французские врачи учили своих учеников: «Молчите, щупайте пульс и не улыбайтесь». Это — как Слуцкий. Борис неожиданно рассмеялся...

Среди своих Слуцкий был известен кодом: «Деньги нужны?» С этого он обычно начинал разговоры с друзьями. Деньги кому-нибудь всегда почему-то были нужны. Иные так и не рассчитались с ним до его смерти.

Слуцкий, несмотря на свой предельно серьезный вид, был своеобразно ироничен.

В одном из писем мне: «Здесь Степанов, Аникст, Зонина... а также О. Михайлов, Сквозников, Петелин. Западники читают Достоевского и купаются в море. Почвенники играют в теннис».

О писателе Н.: «Этот Катон согласен подождать с разрушением Трои».

«Вашу статью в НМ вся литературная публика прочла и обдумала (в том числе иногородние)».

Чего стоит один только его рассказ о том, как он, практикант юридического института, описывал имущество у Бабеля. Старичок судебный исполнитель сказал:

«— Сегодня иду описывать имущество жулика. Выдает себя за писателя...

— Как фамилия жулика? — спросил я.

— ...Бабель. Исаак Эммануилович.

Мы вдвоем пошли описывать жулика. По дороге старик объяснил мне, что можно и что нельзя описывать у писателя:

— Средства производства запрещено. У певца, скажем, рояль нельзя описывать, даже самый дорогой. А письменный стол и машинку — можно. Он и без них споет.

У писателя нельзя описывать как раз именно письменный стол и машинку, а также, кажется, книги. Нельзя было описывать кровать, стол обеденный, стулья: это полагалось писателю не как писателю, а как человеку...

В сентябре 1938 года в квартире Бабеля стояли: письменный стол, пишущая машинка, кровать, стол обеденный, стулья и, кажется, книги. Жулик знал действующее законодательство. Примерно в этих словах сформулировал положение судебный исполнитель».

Этот рассказ, полный лукавства и иронии, несмотря на трагический контекст эпохи, Слуцкий записал. Горький юмор.

А этот его прозаический отрывок под названием «Вещмешок». Он начинается фразой: «На следующую войну я буду собираться умнее».

В жизни Борис не изменял этой манере самоиронии тоже. Признак целомудрия и таланта одновременно.

Письма, как уже сказано, писал по обыкновению в том же стиле. И любил заканчивать «комплиментами» близким людям.

Когда я познакомился с Борисом Слуцким полвека назад, он уже был легендой Литинститута и Константин Левин читал мне наизусть стихи Слуцкого про то, что таких, как он, «хозяева не любят». Сейчас не верится, но Слуцкий первый позвонил мне. И мы встретились. Борис, как известно, много читал, а я тогда много писал. Мы подружались как-то легко и навсегда.

Свой чемоданчик, чудом сохранившийся с фронта, он раскрыл не сразу. Там хранились стихи и проза, которую он доверил еще позже. В начале 1957 года Борис торжественно вручил мне толстую папку стихов: «Донесете?» Он сказал, что позвонил в «Советский писатель» и попросил, чтоб я составил и редактировал первую его книгу. Там согласились. Речь шла о сборнике избранного листов в десять.

Каково же было удивление Бориса, когда я, придя к нему — тогда он снимал комнату где-то в районе Неглинной, — предложил свой состав всего из... 39 стихотворений. В книге «Память», которая была подписана в печать — какая символика! — 22 июня, значится 40.

Слуцкий задумался. Потом твердо сказал: «Хорошо. Только я бы хотел добавить одно стихотворение — «Последнею усталостью устав...». Пожелтевший листок лег на свое место. Слуцкий с церемонной важностью пожал мне руку, как будто мы подписали меморандум. Сознаюсь, я был бледнее Слуцкого в тот момент. Идя к нему, я был готов к худшему. Почти не верил в то, что работа будет продолжена.

В самом деле, Слуцкий, как уже говорилось, был легендой. Стихи его ходили по рукам. Наконец дело дошло до печати, и вот человек, на которого поэт надеялся, кому доверил свой первый выход к читателю, отбирает стихи на тоненькую брошюрку, словно он начинающий, никому не известный стихотворец!

Но то, что случилось — случилось. Мне не пришлось ничего объяснять ему. Кажется, он понял мой замысел. Первый удар должен был быть безукоризненно точным. Каждое стихотворение — шедевр. Никаких эскизов, вариаций однажды сказанного. Все не похоже ни на кого. И все не похоже на рядом напечатанное.

Слуцкий разложил отобранное на столе — не хватило места, — перешел на кровать, покрытую серым суконным одеялом. Разделы назвал сам: «Четыре военных года», «После войны», «Музыка на вокзале». Всё.

А первый печатный отклик на первые печатные стихи Бориса, как и стихотворение «Памятник», мы напечатали в ЛГ. Краткая заметка моя называлась «Стихи в „Октябре“», я написал и большую статью, но Илья Эренбург предложил свою, ставшую знаменитой и определившую судьбу поэта в дальнейшем.

Насчет «музыки» и «вокзала». Это были слагаемые нашей жизни, молодости, войны, бездомности.

Вопрос пристанища долгие годы был главным бытовым для нас обоих. Я перебивал в разных его квартирах. Тогда многие снимали углы — в Москве был квартирный голод. Сам я, хотя и был выжит из ЛГ, отказался уехать с дачи в Шереметьевке. Дача принадлежала газете. Крыша, хотя и дырявая, была.

Слуцкий часто навещался ко мне. До Тани, то есть до середины 50-х, он был вроде как членом семьи, это был хороший период.

Из поездки в Италию, ухлопав валюту, привез отрез парчи из Венеции. Мы смеялись, не знали, что с ней делать.

Верность слову, верность дружбе — он был наделен этими качествами, как никто другой на моем жизненном пути. Почему-то навечно отпечаталась одна картина — как символ этого качества его натуры. Страшный мороз. Срочно нужно редкое лекарство. Борис звонит, что в полдень будет ждать меня с лекарством, которое он достал, в Петровском парке, у «порохового склада». Я почему-то помчался в Покровское-Стрешнево и, не найдя порохового склада, только через два часа добрался, поздно догадавшись, к Петровскому замку. Бориса я увидел издали. Он стоял как соляной столб, с обледенелыми усами, в завязанной под подбородком трикотиновой ушаночке...

Когда заселяли дом на Ломоносовском, Слуцкий попросился в одну с нами квартиру. Она была трехкомнатная (одна комната ему, две мне с женой). Но накануне заселения партком задержал мой ордер, и Бориса спешно подселили к Бакланову.

Видеться стали реже, но звонил он ежедневно на мою новую работу, потом нашел мне временное жилье. Жил я голодно, но зато бесплатно вдыхал запах лука и шашлыка двадцать четыре часа в сутки — квартира была во дворе «Арагви»... Хозяйка была подружкой Бори по Харькову.

По утрам он звонил непременно. Требовал новостей, хотя узнавал их раньше других. Потом он перебрался, уже с Таней, в Балтийский переулок. Виделись часто, но больше на улице. Звонил: «Буду в 8.32 на углу у почты». Шли пешком километров пять. Он знал свои необходимые 22 км. Я выдыхался раньше. «Двадцать два километра равняется двум часам сна в сутки», — уточнял он. Бессонница мучила. Приучил ее отступать.

Он очень не любил округленных чисел. Назначал встречи на 8.32 минуты, на 8.23, никогда — на 8.30, тем более — на 8. Левитанскому-сибариту, вечно одалживающему деньги, Слуцкий строго заметил: «Так нельзя жить. Вы обязаны переводить в месяц 3572 строки». Мы удивлялись, но цифры магнитно держали внимание.

Рекорд же дальности пешей ходьбы мы поставили в день похорон Твардовского. Слуцкий предложил идти от Новодевичьего в ЦДЛ выпить водки за упокой души Александра Трифоновича. Третьим был Юрий Трифонов, который дошел с нами до ближайшей остановки автобуса (болели ноги).

Юра был одним из самых близких друзей Бориса. Они обычно встречались в ЦДЛ, за обедом говорили обо всем, а чаще — о русской истории, о революции. В тот день печали — только о Трифоновиче. Помню — физически — ощущение пустоты, ошеломившее нас в многолюдном дубовом зале, где с некоторых пор постоянно было шумно и пошлово. Время писательского клуба, где еще можно было застать одновременно Кирсанова, Антокольского, Олешу, Шкловского, Светлова, Смелякова, Казакова и Винокурова, шло на убыль... Сборище молодых торгашей, завистливой околотитературной публики с ее комичными претензиями и трусоватой нагловатостью все больше завладевало историческим «домом Ростовых»... В день смерти Твардовского это вдруг стало предельно ощутимо. Мы поднялись после первой же рюмки, как сговорившись.

Посадив Юру на такси, пошли пешком. Борис был подавлен и молчалив. На площади Маяковского он вдруг остановился и сказал: «Живем недолго. Это хорошо. Жизнь все чаще напоминает большой вокзал». Я, стараясь уйти от серьезности тона, пошутил: «С детства не любил пересадок». Боря не принял этого тона: «Да, большой вокзал. Но с хорошей музыкой...»

«Музыкой» для Бориса была жизнь в полном объеме. Но где-то в 50-х музыкой стала и единственная любовь. Почти средневе-

ковая. Таня Дашковская, став женой Слуцкого, получила все, как говорится, по «первому классу». Борис одевал ее, как дети одевают куклу, любуясь и сдержанно восторгаясь, возил по заграницам, модным курортам, покорно следуя за своеобразным обществом жены, в каком до женитьбы не имел ни интереса, ни надобности. Светская жизнь Тани Слуцкой никак не гармонировала с суровым стилем его прошлой жизни.

Сейчас уже можно сказать: мы с женой не приняли Таню сразу и навсегда. Хотя, разумеется, не показывали виду, и до конца жизни Тани Борис не имел повода заметить разницы в наших отношениях с его избранницей. Мы понимали, что он счастлив, и этим все было сказано. Насколько, по нашему мнению, Таня *не подходила* Борису, настолько, видимо, она *подходила* ему. Так бывает.

Богатство души моего друга проявилось и здесь. Ни разу не поставил он наши взаимоотношения с ним на грань *выбора*. Он умел делать вид, что ничего не изменилось. И не изменил ни одной, ни другой своей привязанности.

Нашу дружбу оборвала лишь его смерть.

Как я уже писал, круг знакомств его был обширен. Но четко очерчен был другой, более узкий круг — избранных, незваных.

О Трифонове я уже говорил.

Особые отношения были у него с Эренбургом. Как Илья Григорьевич познакомился с Борисом — известно. Как они дружили, довелось наблюдать и мне.

Эренбург слушал Слуцкого внимательно и без обычной своей ироничной улыбки, спорил уважительно, нередко оставляя спор неоконченным. Я удивлялся. Почти всегда последнее слово Эренбург оставлял за собой. Впрочем, я знал еще одного человека, который мог с ним не соглашаться без угрозы получить ядовитый укол тщательно подобранным небрежным словом... Это был Овадий Савич.

Незабываемы беседы у Эренбурга, когда встречались Слуцкий и Савич. Савич не любил говорить о политике. Слуцкий обожал. Эренбург накалывал на острие небезобидных афоризмов персонажей литературы. Слуцкий рыцарски вставал на защиту. Савич улыбался смущенно и переводил разговор на высокие темы. Но Слуцкий и тут был на высоте. Он очень хорошо знал философию, блестяще — историю. О живописи они говорили с Эренбургом, во многом сходясь в оценках.



Помню художника Биргера, которого привел ко мне домой Слуцкий. Слуцкий его любил и очень ценил. Биргер смотрел детскую серию «картин» моей дочери. Ей было тогда пять лет. Слуцкий настаивал на признании выдающихся способностей моей дочери, требовал учителя. Биргер сказал, что самое страшное «научить ее рисовать с натуры», хвалил необычность фантазии, недетскость сюжетов. Слуцкий так и не простил мне равнодушия к этим восторгам. Прав же оказался я. Дочь моя нашла себя в другом. Живопись ее осталась в таинственной дали детства, как это нередко случается в жизни...

Нежная верная дружба связывала Бориса с Мартыновым. Слуцкий держался покровительственно, хотя был моложе на четырнадцать лет. Беззащитность Леонида Николаевича покрывалась рыцарством Бориса. Он опекал его и в быту, и в творчестве. Когда я редактировал и составлял антологии иностранной поэзии, Слуцкий ревниво следил: не обделю ли я Мартынова лучшими стихотворениями и поэтами.

Уважал Слуцкого Тихонов. Встречались они редко, но часто общались по телефону, больше по сугубо деловым поводам.

Асеев любил и ценил Слуцкого, хотя они были очень разные во всем.

Лиля Брик подарила Борису кровать Маяковского. Узкую, неудобную, но более чем знаменитую, Борис на ней не спал и никому не проговорился. Не любил дешевых эффектов, но не мог и обидеть Лиллю Юрьевну.

С удивлением узнал я о тесном контакте во время поездки в Италию Бориса с Твардовским. Возможно, Твардовский, сам большой умница, человек образованный и начитанный, не мог не оценить прежде всего незаурядный ум «модного», как тогда писали, поэта Слуцкого. Стихи Слуцкого, конечно, не были близки А. Т. В вопросах эстетики тут все было глухо. Двери закрывались перед носом раз и навсегда.

По отношению к товарищам «по поколению» Слуцкий был предельно тактичен. Никогда ни словом, ни поступком не показал он, что ему принадлежит первое место в поэзии военного поколения. «Я желаю стоять как все». И когда по привычке и не без корыстного расчета принято было характеризовать их «обоймой», вряд ли это могло ввести в заблуждение истинных ценителей поэзии.

Дезик Самойлов немного ревновал меня к Слуцкому. Все, разумеется, подавалось шутейно. В Шереметьевке, в 60-е, мы жили

одной семьей — бесквартирные, но счастливые — Окуджава, Левитанский, Берестов, которого я прозвал Флоберестовым (он дольше других просиживал за работой), часто заезжавший на огонек Самойлов. Однажды зимним утром я бежал с ведром воды от колонки. Открылась форточка, и Дезик с клубами пара выронил: «Опять торопишься лить воду на мельницу Слуцкого?» Но за иронией — мы знали это — жила нежность к Борису, особая дружба единоверцев «сороковых, роковых».

Когда Наровчатов, а затем и Луконин выбились в начальство, Слуцкий ни разу не воспользовался своей товарищеской близостью к ним, держался подчеркнуто поодаль, ровно со всеми. Бог судья иным из его однополчан, только что было — то было: они не очень старались помочь Борису. А бед и обид у того всегда хватало. К молодым Борису тянуло. Он был «учитель школы для взрослых, так оттуда и не уходил». Евтушенко и Вознесенского, равно как и Ахмадулину, Рождественского, пропагандировал и всячески рекламировал на родине и за рубежом. По-отцовски, ворчливо говорил и вещи неллицеприятные.

Как-то сидели мы с женой, Борисом и польской писательницей А. Л. в ресторане. А. Л., по уши влюбленная в Андрея Вознесенского, щebetала: «Ах! Какой он трогательный, с этим вихорком, с этим носом — ну прямо гадкий утенок!» — «Да, — усмехнулся в усы Борис, — но утенок, уже знающий конец сказки...»

О Евтушенко добродушно сказал мне: «Это — МАЗ, везущий коробку с эскимо». А писал о них хорошо, точно, доброжелательно, выделяя с графической отчетливостью главное, новое, перспективное.

«В педагогах служит поэт». И Слуцкий увлеченно вел семинары молодых поэтов. Например, в «Зеленой лампе» семинар Б. Слуцкого был переполнен. К делу отнесся он по-военному.

Почему-то к нему охотно шли девушки. Он был с ними терпелив и не очень строг.

Застенчивость и неумение свободно общаться с женским контингентом маскировалась мрачноватой бравадой. Когда я рекомендовал в семинар какую-нибудь девицу, он спрашивал: «Красотка?» Удивительно целомудренный, чуждый всякой пошлости, нахмутив брови, мог шутить порою по-армейски, на грани: «Как романы-адюльтеры?» С этой дежурной фразы начинал при встрече со знакомыми подругами весьма серьезные разговоры. Подруги не обижались — говорил-то Слуцкий. Другому так просто не сошло бы.

А он был нежен, раним, мнителен, напоминая этим «хулигана» Маяковского. Он дружил с покалеченным на фронте оптимистом Сидуром, мужество которого и путь испытаний были сродни судьбе Бориса. Молчаливый крик фигур Сидура, их героическое начало, упрямо-прямая линия к цели, лаконизм формы, обобщенность образа — идеал Слуцкого.

Жесткие Биргер, Краснопевцев, скупые на эмоции, сосредоточенные на внутренней неподдаваемости миру, по-своему оттеняли трубные зовы патетичного Сидура. Слуцкий ценил их, чувствуя свою близость их общей эстетике сопротивления действительности, где царили фальшь и ложная красивость, поза, мнимая монументальность.

...Окружение Слуцкого, ближайшее окружение не было ни случайным, ни неожиданным.

Но сам Слуцкий неожиданным бывал.

Зима, точнее — январь 1964 года. Наконец я получаю свой угол. Борис с Таней пришли на новоселье. Мы сидим на газетах (мебели нет) на только что отциклеванном полу, пьем «гурджани». Закуски нет.

Темнеет. Мы с женой идем провожать Слуцких. В переулке, по пути на Балтийский, какие-то парни останавливают нас. Их шестеро, нас двое.

На Бориса насели четверо. Я едва отбиваюсь от двух. Как он дерется! Приговаривая: «Трое на одного!» Я кричу: «Четверо!» Но он упорно повторяет: «Трое!» Благородство и тут не подводит Слуцкого. Он делит поровну противников, спасая мою гордость.

Слышу крик: «Очкарик Кольку убил!» Оказывается, поскольку визави и без моей помощи ушиб голову о край ледяного тротуара. И лежит.

Свист. Все разбегаются.

Потери: огромный фингал у Бориса. Распоротый на спине (просторный на счастье) гуральский кожушок, купленный в Закопане, спас меня — финка задела мышцу у позвоночника.

Дома у Бориса. Слуцкий с интересом смотрит в зеркало: «Самое пикантное — я завтра выступаю по телевидению».

Утром я делюсь с Аркадием Адамовым подробностями происшествия. Тот рвется оповестить милицию.

Звонит Борис: «Перестаньте делать из нас героев». Жестко и сухо. Я перестаю.

Через тридцать лет Юра Болдырев показывает мне ненапечатанное стихотворение Слуцкого «Драка». Что вы думаете, о чем оно? О стыде. Стыдно ощутить в себе это чувство — бить, бить, бить! Бить человека...

...Литва. Светлов, Рождественский, Лев Озеров, Слуцкий и я поднимаемся на сцену в Вильнюсе. Телевизионщик подбегает с камерой, направляя ее на Бориса. «Прекратите!» — вдруг кричит Слуцкий, краснея, и закрывает лицо. Все в смущении. Телевизионщик что-то говорит Межелайтису, тот смеется. «О чем он?» — спрашиваю я. Эдуардас не сразу переводит: «Наверное, он был полицаем и боится, что его опознают».

А Борис вдруг успокаивается и просит извинения. Теперь очередь смутиться телевизионщику.

Я писал в воспоминаниях о Пастернаке, как Евтушенко на моих глазах подал Слуцкому «тридцать сребреников» — две пяташки. За его выступление против Пастернака. Тогда я был поражен неожиданностью поступка Бориса. Теперь я жалею Слуцкого и смущен эффективной жестокостью Евтушенко. Кстати, потом в «Юности» я напечатал статью Слуцкого о Евтушенко — благородную и умную, как все, что выходило из-под пера Слуцкого.

Он оставил статьи и о моем «Югославском дневнике», о фильме «Ночи без ночлега», поставленном на литовской киностудии по моему сценарию. Я горжусь этим. Отзывы Слуцкого честны, непредвзяты, а масштаб его мысли делает честь адресату.

Немало написано о болезни Слуцкого. Почти все писавшие прямо связывают уход Слуцкого из жизни со смертью жены. Да, этот мучительно долго готовившийся удар судьбы Бориса добил. Он знал, что Таня смертельно больна, не один год. И чего ему стоило это знание, можно представить.

Однако первопричиной болезни были: тяжелое черепное ранение на фронте,<sup>1</sup> многолетняя бессонница на этой почве, нервное перенапряжение, связанное с крахом идей и борьбой за их сохранение в своей душе.

Это последнее обстоятельство забывать нельзя. Цельная личность не в состоянии приспособиться к эпохальным переменам с легкостью, свойственной умам поверхностным и внушаемым. Увы, трагедия Маяковского, по-своему Есенина — всё прочитывается

---

<sup>1</sup> Слуцкий был ранен в июле 1941 г. (Осколочное ранение под лопатку), перенес несколько контузий. — *Примеч. сост.*

мелко, на уровне: любила — не любила,пил — не пил. Депрессия Блока и Слуцкого — одного корня. Время рушилось. А болезни только догоняли его.

Мы много говорили с Борисом о Революции. И он, и я не дошли до хулы Великой Надежды. Но видимая всем вершина айсберга не ослепила Слуцкого. Тяжело, мучительно переживал и, главное, *передумывал* он судьбу идеи, по последствиям и отзвуку — планетарной. «Смена вех» не коснулась поэта. Пройденный путь остался основой опыта.

Когда ушла из жизни жена, Борису уже не за что было держаться — исчезла последняя связь с действительностью. Только и всего. Татьяна Дашковская была спасательным кругом в ночи, когда тонул «Титаник»...

Девять лет — в это трудно поверить — Слуцкий был выключен из нашей жизни. 1-я Градская, Кунцево, краткое лечение дома, Кащенко. Потом Тула, семья брата.

В Градской он лежал в отдельном боксе, рядом с туалетом, дверь всегда была открыта. За зарешеченным окном — выбитая земля и жалкий кустик. Я приходил один, потом — с Межировым, Руниным, Винокуровым. Не пускали — использовал ключ для вагонов.

Однажды, когда мы остались вдвоем, он, волнуясь, рассказал свой сон. Газета. Рисунок: он в полосатой арестантской пижаме (так он сказал), над ним склонилась я с лейкой. Заголовок — черным крупным шрифтом: «Огнев поливает ядовитые цветы». Я пытался превратить все в шутку. Он не принял этого тона. Был серьезен и мрачен. «Я боюсь...» Его не раз преследовали видения ареста. Он говорил мне в больнице в редкие минуты просветления и спокойствия, что его всю жизнь преследовал страх, но просто никто этого не знал. Я говорил, что время сейчас совсем другое, что страхи наши позади. Но он недоверчиво смотрел мне в глаза и спрашивал: «Поклянитесь, что в газетах не было ничего подобного!» Я клялся.

Межиров, которому я рассказал про сон Бориса, ответил: «Он притворяется. И вся болезнь его — притворство. Он нас дурачит. Почему? Потому что подвел черту. Ему неинтересно жить». Межиров же рассказал мне такую историю. Он приехал к Борису и предложил погулять во дворике. Разрешили. Тогда Борис якобы попросил Сашу покатать его по Москве. И прямо в больничной одежде Межиров возил Слуцкого в течение часа, а Борис смотрел

в окошко жадно и с интересом. «Вот увидите, скоро его выпишут. Ему самому надоела эта игра». Зная Межирова-мистификатора, я не поверил в то, что Слуцкого катали по Москве. И ни на минуту не подвергал сомнению тяжелую депрессию Бориса, перешедшую в необратимую болезнь. Сюда, в Градскую, принес я маленькую книжку его «Избранного», выпущенного с моим предисловием в Детгизе. Борис взял ее спокойно и медленно прочитал всю. Потом попросил ручку и написал. Я вздрогнул. Надпись зеркально повторила первый автограф на первой книге: «Владимиру Огневу. — Без Вас, Володя, эта книга не вышла бы. Борис Слуцкий. 21.11.1977».

«Не пишутся стихи. Это главное», — серьезно говорил он. В другой раз, когда мы были с Руниным: «Иногда две-три строчки... И не могу». Стал говорить странные вещи. Когда я начал толковать о его месте в русской поэзии, покачал головой: «Нет, Володя. Если бы я начал сначала, я хотел бы писать как Самойлов, Межиров». Меня это поразило еще и тем, что рядом поставлены были разные художники. Писать так, как они оба, — значило бы не писать никак.

Нет, Слуцкий был Слуцким! Не умаляя значения в нашей поэзии Межирова и Самойлова, я не могу поставить их рядом со Слуцким по одной лишь причине: Слуцкий — большой поэт, и место его в большом ряду вершин русской поэзии. Теперь, кажется, в этом сомневаются немногие из авторитетных литераторов.

Как всякий настоящий поэт, он был как бы и над временем, поскольку знал, что надо всяким временем царят вечные понятия Добра, Справедливости, Чести, Достоинства Человека. Или — не царят.

Скоро мне или не скоро  
в мир отправиться иной —  
неоконченные споры  
не окончатся со мной.  
Начаты они задолго,  
за столетия до меня,  
и продлятся очень долго,  
много лет после меня.

И хотя многих вводило в заблуждение то качество его поэзии, которое Симонов назвал «принципиальной достоверностью», а других коробила минутная стрелка на часах его поэзии, оно, это качество,

никак не лишало его стихи духовного простора. И хотя Слуцкий говорил, что душа «вещественна», он самой этой вещественностью подчеркнул, что она в центре его поэтической вселенной.

Слуцкий был поэтом-солдатом, а не поэтом-генералом. Он хотел стоять как все. «Кто тут крайний? Кто тут последний?»

«Последнею усталостью устав...» И сегодня, перечитывая его любимое стихотворение о солдате, который лежит в «большой крови», я понимаю, какой масштаб крови виделся поэту, и как молчал Борис последние годы, «последнею усталостью устав», и как он умер...

В том стихотворении была еще одна характерная строка: «А жаловаться ни на что не хочет».

Я думаю, Слуцкий был прежде всего поэтом достоинства и трудного долга. Он знал, что истинно гражданский поэт — это поэт правды и предельного мужества. Он писал о неумении гнуть-ся и предавать:

О вы, кто наши души живые  
Хотели купить за похлебку с кашей...

Он верил твердо:

Но все остается — как было, как было! —  
Каша с вами, а души с нами.

Он был рыцарем отечественной поэзии. Ее непоказной совестью.

В Кунцеве я не был ни разу. Пропуска заказывать мог только Борис. А он не хотел никого видеть.

Когда он был дома, он отвечал на звонки, сам не звонил. Потом вдруг стал звонить часто, неожиданно обрывая разговор на полуслове.

В Кашенко я бывал уже ежедневно, носил еду. Готовила моя жена специальные блюда, которые он любил. До этого предпочитал еду солдатскую: щи да кашу. Был непривередлив. Но в Кашенко, то ли под влиянием неких препаратов, то ли еще почему-то, вдруг стал капризен в еде и даже... жаден. Съедал принесенное мною, быстро заглатывая пищу, вытирал рот салфеткой и, не прощаясь, молча уходил в палату. Когда я опаздывал — такое случилось дважды, — он говорил ворчливо: «Я умираю от голода!» Все было не так. Не тот становился Слуцкий.

Какое-то время его ужасала бедность. Он твердил, что нет денег, хотя в чем в чем, а в деньгах он нуждался меньше всего.

Как-то он жаловался, что нечем побриться. Но, открыв тумбочку, чтобы положить электробритву, я обнаружил там... четыре других, таких же...

Однажды он позвал меня в палату, попросил поговорить с врачами. Тут он оставаться не может. Хочет в Кунцево (а как торопился оттуда!). Палата в Кащенко была действительно страшная. Огромная казарма с одинаково заправленными кроватями. Днем всех выгоняли в коридор, и они стояли там молча и страшно.

Последний раз я видел его так. Вошел в палату, он был один, лежал с капельницей. Долго смотрел на меня, взял за руку. Потом сказал: «Володя, наклонитесь». Я наклонился. «Поцелуйте меня». Я поцеловал его. Он плакал. Слуцкий плакал!

Я говорил с врачами о переводе. Просил Верченко. Он разводил руками. Чазов отказался вернуть Слуцкого в Кунцево. Наконец удалось договориться, что переведут в домик, вроде отеля, на территории той же Кащенко. Я был там, осмотрел одиночную палату, ковры, вернулся довольный. Но Борис, услышав про ковры, испугался — отказался наотрез. Теперь это был прежний Слуцкий: «Ковры, говорите... Нет. Я хочу быть со всеми». И остался. Потом звонок: «Володя, — говорил Ефим, брат Бориса, — я забираю Борю. Привез теплые вещи. Он больше не может». Я схватил такси. Мы разминулись. Из Тулы часто звонил Ефим. Писал письма. Я писал Борису. По свидетельству брата, он держал их под подушкой и перечитывал. Но согласия на мой приезд не давал. Потом сам попросил, чтобы я приехал. Перед самой смертью. Но я не успел... Вот его последнее письмо мне:

Дорогой Володя!

Спасибо за замечательную книгу. Это первая панорама многих поэзий. Первая попытка уяснить их общие законы. Очень хороши и важны куски об Ийеше, об Исаковском и многое, многое другое. Особое спасибо за страницы обо мне. Так основательно обо мне еще не писали. Целую Надю и Леночку. Брат и его семья кланяются Вам.

Ваш Борис Слуцкий.

Штемпель: получено 25.02.83.

Легко убедиться: письмо психически вполне здорового человека. Ефим привез тело Бориса в Москву. Остановился на квартире Евгении Самойловны Ласкиной, с которой Борис был дружен.



Холодным ранним утром 27 февраля 1986 года я пошел к врачу рвать зуб. Через час надо было ехать в морг, а оттуда — в крематорий. Мне предстояло вести траурную панихиду. И какой ужас! Заморозка не действовала. Врач всадила мне три шприца подряд. Нервное ожидание похорон друга или что другое — не знаю. Велел рвать, не дожидаясь эффекта заморозки. Но какой страх сковал меня потом... Всю дорогу в крематорий я смотрел в замерзшее окно автобуса, чувствуя, как запоздало немеет челюсть. Я не мог не то что говорить — открыть рта.

Чудо случилось уже в тесном помещении морга, где люди стояли и снаружи, в открытых воротах.

Я шагнул к гробу. И... как говорится, разверзлись уста.

\* \* \*

...Слуцкий любил рекомендовать разных людей. Однажды ко мне пришел Юра Болдырев. Скромный, без претензий, начитанный человек из провинции. Слуцкого — боготворил. Я стал его печатать в «Юности», дал рекомендацию в Союз писателей. После смерти Бориса помог с пропиской в Москве, предложил, с согласия Ефима, поселить «поближе к архиву», в пустующую квартиру Слуцкого. Постепенно энергией и ревнивым упорством Болдырева все хозяйство Бориса перешло под его личную опеку. Можно без преувеличения сказать, что посмертными публикациями поэта, сенсационными открытиями как бы во многом нового Слуцкого мы обязаны ему, Болдыреву, не говоря уже о подвиге кропотливой работы по подготовке и публикациям новых томов изданий Слуцкого.

Для меня лично ничего сенсационного в обнаружении рукописного Слуцкого не было. Не все, но очень многое я знал, к вопросу публикации многих стихов относился сдержанно. Возможно, и потому, что Борис читал мне обычно стихи выборочно, откладывая некоторые, как он говорил, «на потом». А то, что я читал, как правило, требовало либо доводки по качеству, либо какого-то нового идейного фокуса. Мне казалось, и я говорил об этом Борису, что он не решил для себя главного: признает ли наше время то, что оно было рубежом, историческим перевалом, за которым может открыться новая действительность, или будет защищать свои рубежи от грядущих перемен. Мне представлялось, что изображение на полотне Слуцкого двойится, что он в разных стихах противоречит себе, *недоговаривает*, а для стиха Слуцкого опаснее недого-

воренности нет ничего. Отсюда и зыбкость, эскизность острого лишь местами слова.

Теперь мне кажется, что я был не прав. В мощном потоке посмертных публикаций перед читателем явился новый Слуцкий, а путь к иному качеству обозначен именно противоречиями, какие и составляют движущую силу его стиха. Конечно, плохо, что публикатор совершенно не признавал хронологии, как бы спрямив путь поэта к достижениям последних лет. Но таким, каким он предстает в посмертном облике своего творчества, он и останется в памяти поколений.

Состоявшимся поэтом.

*Из книги: В. Огнев. Амнистия таланту.*

*М.: Слово, 2001.*

## ГODOВАЯ СТРЕЛКА

(О Борисе Слуцком)

«Думаю, что мои сорок лучше, чем будут мои шестьдесят», — сказал он, когда ему и в самом деле было сорок. Мы неторопливо шагали по новым, еще не обжитым, не замызганным проходным дворам тогдашнего Юго-Запада, который в те дни казался краем света, а теперь считается сравнительно близким к центру районном Москвы.

И без паузы, не дав мне задуматься, сурово и требовательно спросил: «А вы как думаете, ваши шестьдесят будут лучше, чем ваши сорок, или хуже?»

Меня тогда такие сопоставления, каюсь в своем недомыслии, не занимали, мне и сорока-то еще не было, и я чистосердечно ответил, что не знаю. Впрочем, и теперь, уже по размышлению, а главное, уже задним числом, то есть имея опыт обеих дат, я могу только повторить свой тогдашний ответ...

Но речь сейчас не обо мне, я начал свои воспоминания о Слуцком с этой его фразы, потому что в ней произвольно выразилась очень важная, как мне кажется, особенность его взгляда на мир. Ход времени, превращения, перемены, неизбежно, к лучшему они или к худшему, уготовляемые нам историей и возрастом, — их приметы он всегда отмечал в людях, в языке, в быте с большой зоркостью. Он, должно быть, с детства, во всяком случае смолodu, как бы кожей чувствовал всю реальность, весь трагизм и комизм гераклитовской истины «все течет», которую обычно принимают бездумно, как правило игры, как общее место, как поговорку.

У больших поэтов существование и творчество, собственная человеческая судьба и стихи, нерв личного бытия и нерв поэзии теснейшим образом связаны, сплетены. С особенной очевидностью это обнаруживается после смерти, когда жизнь и работа закончены и обозримы для заинтересованных глаз. Чуткость Слуцкого к ходу времени — есть еще то, что другой поэт назвал «шумом времени», но я говорю именно о ходе, движении — эта чуткость поистине водила его пером. «До сих пор меня не устали

тешить серии „были — стали“, — сказал он однажды стихами, и если сказал неуклюже, то косноязычен он здесь как раз, может быть, потому, что коснулся чего-то очень важного для себя и сокровенного. Самое, пожалуй, выразительное и емкое литературное проявление первостепенности этого нерва для Слуцкого — почти все названия его прижизненных сборников. «Память», «Время», «Сегодня и вчера», «Современные истории», «Годовая стрелка», «Доброта дня», «Продленный полдень», «Неоконченные споры». Каждый заголовок как бы напоминает о движущейся стрелке часов, о сегодняшнем листке календаря, который не был действителен вчера и не будет действителен завтра.

Этот же интерес к «сериям „были — стали“» видится мне и в его упорном обыкновении ходить на похороны писателей, даже лично едва знакомых или совсем незнакомых. Тут не было ни сентиментальности, ни дешевого «светского» любопытства. Он прекрасно знал современную литературу, знал сделанное и самыми маленькими ее творцами, знал их общественное лицо, их биографии. Гражданская панихида в Доме литераторов — довольно верный показатель истинной, не номинальной популярности покойного, искренних или официальных симпатий или антипатий к нему. Это многозначительное завершение его земного пути, последняя встреча его «был» с его «стал». О похоронах самого Бориса Слуцкого — ниже...

Мог ли он думать, предположительно сравнивая тогда разные свои возрасты, что его замечание окажется вещим в таком ужасном смысле? Когда его «годовая стрелка» не остановилась, нет, а споткнулась и побежала, уже спотыкаясь, неравномерно отсчитывая месяцы и недели, шестидесяти ему еще не исполнилось. Вдруг все покатилося, не найду лучшего слова. Новый 1977 год мы тихо, всего впятером, встречали у нас дома с ним и с его женой, а 8 февраля ее хоронили. Потом, в апреле, он еще показывал мне свои новые стихи, а уже в середине лета лежал в психосоматическом отделении 1-й Градской больницы. Те девять лет, что он потом еще прожил, время отсчитывали ему уже такие стрелки, в которых не то что читателям, а и тем, кто знал его и любил, не дано разобраться.

Впервые я увидел его и познакомился с ним весной 1940 года в Харькове. В небольшой аудитории университета выступал Эренбург. Он читал свои стихи об Испании и намеками (иначе после пакта с Риббентропом нельзя было) говорил о предстоящей

войне. Он сравнивал наступившую у нас тишину с тишиной между артиллерийской подготовкой и атакой и признавался, что, когда начнутся те бои, которых он ждет, он забросит стихи и прозу и станет военным корреспондентом. Слуцкий держался сурово, как-то одновременно важно и скромно. Он прочел, как и все, кто читал тогда при Эренбурге, только одно свое стихотворение — «Генерал Миаха», но вдобавок и одно стихотворение своего друга Кульчицкого, и уж не помню чем, манерой ли чтения, выражением лица или просто словами, показал, что ставит Кульчицкого выше себя как поэта: я, мол, что, а вот, смотрите, Кульчицкий... Эренбург, делавший по ходу чтения заметки в блокноте, в своем заключительном слове выделил с похвалой их обоих. Слуцкий просиял, но мгновенно принял прежний суровый вид, такой вид, как будто выделяющей похвалы и следовало ожидать и вообще все происходящее здесь несущественно, а существенно что-то другое, что вершится сейчас где-то в другом месте, то ли в Москве, откуда он приехал на несколько дней в родной город, то ли в Испании, где среди развалин, «повинуясь старческой ладони, из темноты рождается кувшин», то ли в океане, где гибнут английские суда от немецких торпед. И толкуя его суровость именно так, я внутренне принимал ее, сочувствовал ей, соглашаясь, что и правда, есть сейчас вещи поважнее, чем это наше чтение.

Какой он поэт, я смог увидеть и понять только через много лет. Он жил тогда одиноко, снимал комнаты у разных квартировладельцев. В тот вечер, когда он позвал к себе в гости, чтобы почитать стихи, кроме меня, еще четырех литераторов, его жилье находилось в переулке у Девичьего поля. Каждому входившему он гостеприимно говорил:

— Если хотите есть, то вот в кастрюле борщ, вот хлеб на доске, вот пила для хлеба, устраивайтесь на подоконнике. А не хотите, так пока все не собрались, садитесь за стол и читайте.

И выгаскивал наугад из растрепанных стопок два-три десятка листков с переписанными на машинке стихами. Меня в этот раз поразила не самобытная их интонация, ее я уже знал и уже различил бы его неподписанные строчки среди любых чужих. Я был поражен, нет, не боюсь сказать, — потрясен широтой его кругозора, смелой прямоотой прикосновения к самым, казалось бы, далеким от лирики темам, потрясен его плодовитостью, таким огромным количеством сделанного, таким осязаемым — ворохи, кипы! — выражением спонтанности этой работы. Недавно я услышал от

Юрия Болдырева, благодаря которому стихи Слуцкого то и дело публикуются после рокового 1977 года, что пока напечатано приблизительно две пятых написанного, так что щедрость его дара еще удивит многих и многих... Очень хорошо помню, как я тогда, в восторге, не постеснялся сказать ему в лицо: «Боря, вы, оказывается, большой поэт» и как он принял мои слова: в ответ он не произнес ничего, только пожал плечами, спокойно, разве что с крошечной долей скепсиса, но в глазах у него промелькнула веселая искра. Сорока ему тогда еще не было, и от него веяло убежденностью, что главное на его поэтическом пути еще впереди, что лучшее — не эти листки, а то, что он напишет, может быть, завтра же, когда останется снова один. С таким, во всяком случае, ощущением, разделяя эту почувствованную мной убежденность, уходя от него в ту ночь и до сих пор помню, в каком радостном потрясении пришел домой.

Первый раз в столь большом количестве сразу мне довелось, таким образом, прочесть Слуцкого по рукописям и в присутствии автора. Последний раз я читал его стихи подряд в таком же обилии, тоже по рукописям и тоже при нем и у него дома: В отличие от многих пишущих, он не испытывал, по-видимому, никакого неудобства от того, что его работу кто-то читает, сидя в одной с ним комнате, в двух шагах от него. И даже реплики или вопросы в процессе чтения не вызывали у него раздражения — во всяком случае, в тот первый раз. Последнее мое чтение, как и все четыре часа, вероятно, моей последней с ним встречи до больницы, проходило почти в молчании.

Это было в середине апреля, через два с лишним месяца после смерти его жены. Он позвонил мне по телефону и пригласил прогуляться по Тимирязевскому лесу, очень близкому к нашим домам. В лесу еще не совсем сошел снег, стояла вода, ходить по кочкам, выискивая более или менее сухие места, было довольно трудно, но это облегчало преобладавшее молчание, оправдывало долгие паузы и давало естественный повод обмениваться изредка пустяковыми фразами. Сравнительно скоро он предложил закончить прогулку и зайти к нему, почитать его новые стихи.

Последнее московское жилье Слуцкого было мрачноватой двухкомнатной квартирой на втором этаже унылого, чем-то похожего на барак дома, навсегда сохранившего печать скудости начала тридцатых годов, — да, именно тех лет, хотя не поручусь, что это постройка не послевоенная. Почти рядом проходила

железная дорога, и дом принадлежал какому-то железнодорожному ведомству. Вид окрестных переулков был очень характерен для некоторых фабричных предместий Москвы, где столько лет все оставалось провинциальным, но без провинциальной уютности, где все дышало металлом, углем, ацетиленом. Комнаты выходили окнами на тихие места, но изредка доносились из громкоговорителей обрывки команд путейских диспетчеров и низкий тяжелый гул товарных составов. Местность эта вполне могла бы настроить на волну той тоски, которая слышится мне в полном глубочайшего смысла повторении одного слова в предпоследней строке стихотворения «Зал ожидания»:

Ожидаешь

с железной, железной дороги  
Золотого, серебряного звонка.

Машинописных листков было на этот раз втрое, вчетверо больше, чем тогда в доме у Девичьего поля. Некоторые он еще не успел «считать» после машинки, на иных были только заготовки, только куски будущих стихотворений, напоминавшие торсы незавершенных скульптур.

— Я много написал за последнее время, — сказал он очень спокойно, ни одной ноткой не намекая на то, что под «последним временем» подразумевается его начавшееся вдовство.

Потом я увидел его уже только в той палате с решеткой, когда болезнь успела увести его в такую даль страдания и одиночества, где, может быть, и самые прекрасные стихи кажутся одной из множества ненужных мелочей жизни.

То, что случилось с ним, поддается, вероятно, медицинскому анализу и объяснению. Но не будучи врачом, а только зная жизненный путь Слуцкого, можно довольно ясно представить себе, что вело и привело к непоправимому срыву. Голодная студенческая жизнь, фронт и армейская служба, ранения, контузия, госпитали, постоянная бессонница, постоянные таблетки снотворного. И многолетняя, то острая, то притупляющаяся, но никогда целиком не отпускающая тревога, которую потом навалила на него тяжелейшая болезнь жены. Забота о ней, бесчисленные хлопоты, связанные с ее лечением, форсированное зарабатывание денег, чтобы всячески скрасить жизнь обреченной, — это стало его бытом на десять с лишним лет, не вошло в привычку, нет, привычка

уничтожает тревогу, но сделалось стержнем существования, каждодневной задачей, которая не позволяет расслабиться, сбросить упряжку. Когда Тania умерла, стержня не стало, механизм, двигавший годовую стрелку, сломался. У Слуцкого есть стихотворение «Счастье» — о человеке, который шел и пел «в центре городского быта»:

Все решили вдруг:  
Так поют после большой удачи, —  
Скажем, выздоровел друг,  
А не просто выстроилась дача.  
.....  
Так поют,  
Если с плеч твоих беда свалилась, —  
Целый год с тобой пить-есть садилась,  
А свалилась в пять минут,  
Если эта самая беда  
В дверь не постучится никогда.

В жизни автора все вышло прямо противоположным образом. Друг не выздоровел, дача вообще не «выстраивалась», беда, садившаяся рядом пить-есть не год, а годами, не свалилась, а уйдя, привела другую беду.

Но это по-человечески понятное объяснение его судьбы кажется мне тоже недостаточным и однобоким, как и возможное сугубо медицинское. Мы тут имеем дело с жизнью поэта, это случай особый. Когда он сравнивал свои сорок со своими шестьдесятю, он-то, конечно, имел в виду личное старение, спад творческой энергии, простую физиологию. Он говорил тогда исключительно о своей индивидуальной, действительной только для него, выражаясь его языком, «годовой стрелке». Да и в сборнике, названном этой метафорой, есть в самом деле стихи о старости, есть ее сопоставления с юностью, с молодостью.

Старость — равнодушие. Постепенно  
не касаются, не задевают,  
попросту не интересуют  
те дела и люди,  
города и годы,  
что когда-то интересовали.

Но есть в этой книжке 1971 года и стихи о некоем общем, касающемся сограждан всех возрастов отличии текущего дня от



вчерашнего, есть ощущение, что лицо сегодняшней реальности гораздо противоречивее, грубей, беспощадней тех ликов будущего, которые рисовала вчера идеалистическая или, печальней того, догматическая надежда.

Трибуны кричали: «На мыло!»  
 Я соображал пока,  
 Какие слова намыло  
 На мол моего языка.  
 .....  
 Смягчила ли нравы культура?  
 Напрасен смягчителей труд.  
 Где прежде орали «халтура»,  
 Там ныне «на мыло» орут.

Слуцкий однажды сказал о себе: «Я здешний и тутошний весь». Это правдиво не только по существу, но и по форме, по тем ассоциациям, которыми заряжено нелитературное слово «тутошний». Ближе всего ему была «масса» — масса не в смысле толпы, скопления людей, а как обозначение самой гущи отечественного населения, самого многочисленного социального слоя — обыкновенных трудящихся, не очень-то много читающих, не очень-то легко живущих, выносящих на своих плечах все тяжести «истории мировой». Это те, кого «от Белорусского и Курского» везут «смотреть Москву за пять рублей», это посетители бани в районном городке: портной со своими мозолями и горновой со своими ожогами, это вдова Ковалева, который уже год тоскующая по убитому на войне мужу, это — девчата, с большим толком использующие свой обеденный перерыв, это пассажир, которому «не положено» иного зала ожидания, чем тот, где скамейка «узкая, жесткая», это ученики школы для взрослых, которым с большим трудом дается наука, — короче говоря, простые, честные российские граждане. Он знал все тонкости их языка, любил их юмор.

В своих воспоминаниях Л. Лазарев очень верно и точно, по-моему, сказал о Слуцком, что «он, хорошо зная повседневную жизнь обыкновенных людей, понимал, какое малое место занимает в ней искусство, а тем более поэзия того направления, которое ему было ближе всего. Он считал, что представляет в поэзии их взгляд на мир, а для них родовым признаком поэзии были те затасканные „поэтизмы“, которые он решительно отбрасывал как антипоэтические».

В том, что его поэтика, его одержимость искусством и представление о поэзии тех, чьими устами он себя считал и в чьей жизни искусство второстепенно, так расходились, мне видится только один из его, поэта, конфликтов со временем, со средой. И если мне возражат: «Какие там еще конфликты, он был сыном своей эпохи, ее прямо-таки выразителем», то я отвечу, что поэтов, не вступающих в столкновение с эпохой, со средой, на мой взгляд, вообще не бывает, что поэзия — это подобие электрического тока, она возникает только тогда, когда есть напряжение между личностью поэта и современным ему обществом. Я думаю, что трагические судьбы многих русских поэтов объясняются тем, что это напряжение оказывалось выше их человеческих сил. И мне кажется, что судьба Слуцкого не составила тут исключения.

Надо думать, а не улыбаться,  
Надо книжки трудные читать,  
Надо проверять — и ушибаться,  
Мнения не слишком почитать.

Мелкие пожизненные хлопоты  
По добыче славы и денег  
К жизненному опыту  
Не принадлежат.

«Хлопоты по добыче славы и денег». Вот уж они-то не были его стихией — не только претили его нравственно-взыскательному уму, но вообще не вязались с его натурой, с его прирожденным аскетизмом. Однажды в конце пятидесятых годов, вскоре после того как его стали понемногу печатать, я неожиданно встретил его на улице — лучезарного, разговорчивого. «Я живу прекрасно, — сказал он, как всегда подтрунивая над собой, — все у меня есть — деньги, слава, женская любовь». Фраза эта мне хорошо запомнилась, я уверен, что привожу ее слово в слово, запомнилось мне также, что тогда я сразу подумал: главное для него, конечно, третья, и это у него сейчас действительно есть, а слава пока только «в узких кругах», а деньги... после полного их отсутствия и небольшие деньги кажутся настоящим богатством. И тогда же я уверенно почувствовал, что он нарочно, чтобы спрятать серьезное, упомянул сперва о деньгах и о славе, а уж затем, и притом отстраненно-шутливо, словно довершая образ бонвивана, словно

имея в виду mille e tre <sup>1</sup>, — о женской любви. Я знал, что легче ему было бы стать марсианином, чем бонвиваном.

Он действительно ценил, потому что знал их первичную, сохраняющуюся в любых обстоятельствах ценность, такие простейшие вещи, как хлеб, вода, тепло, свет, крыша над головой, нож, ложка, — тот минимум, который и в мирное время, и на войне, и на свободе, и в лагерях был пределом жизненных благ для миллионов его соотечественников. Его природному аскетизму соответствовал быт, господствовавший в обществе времен его детства, юности и молодости. А зрелость его пришлась на годы, когда в наш язык прочно вошло слово «хапать», когда «хлопоты по добыче славы и деньжат» — слава, впрочем, на поверку оказывалась дутой, а деньжата у иных заводились и правда немалые — утвердили в правах гражданства другую шкалу ценностей, мелкая мещанская сущность которой прячется за официальной лицензией, притворяется праведной и притязает на большее, на авторитет по части идейно-нравственной.

Люди сметки и люди хватки  
Победили людей ума —  
Положили на обе лопатки,  
Наложили сверху дерьма.

Люди сметки, люди смекалки  
Точно знают, где что дают,  
Фигли-мигли и елки-палки  
За хорошее продают.

Люди хватки, люди сноровки  
Знают, где что плохо лежит.  
Ежедневно дают уроки,  
Что нам делать и как нам жить.

Напряжение между собой и средой он ощущал, я думаю, уже в детстве, когда на «медную мелочь учился стиху» и покупал на отпущенные матерью гроши вместо булки дешевые тогда книги. Жили скудно и его семья, и все кругом, быт был суров, и если человеку, только вступающему в жизнь, чувствующему лишь первое влечение к слову, к поэзии, вообще трудно, вообще неловко признать в этом даже близким людям, то приносить своему влече-

<sup>1</sup> Тысяча и три (итал.).

нию, да еще при нехватке самого насущного, материальные жертвы, платить деньги за то, что он позднее иронически сравнит с «дыркой от бублика», — это в его глазах, безусловно, нечто непозволительное. Не сомневаюсь, что и юридический факультет, а не литературный, он выбрал главным образом потому, что тут маячила какая-то практическая, понятная всем и каждому специальность, профессия, а вовсе не из-за повышенного интереса к науке о праве. И будь его тяга к слову, к творчеству не так сильна, не так ограничена, он, может быть, и закончил бы свое юридическое образование, как-никак тоже гуманитарное. Впрочем, профессия юриста во второй половине тридцатых годов имела уже весьма извращенное отношение к праву, к гуманитарным наукам, к гуманности и вообще гуманизму...

Роль судьи, однако, как явствует из его посмертно опубликованных стихов, ему позднее все-таки пришлось выполнять.

Я судил людей и знаю точно,  
Что судить людей совсем не сложно, —  
Только погода бывает тошно,  
Если вспомнишь как-нибудь оплошно.  
Кто они, мои четыре пуда  
Мяса, чтоб судить чужое мясо?  
Больше никого судить не буду.  
Хорошо быть не вождем, а массой...

Стихотворение о самостреле, чьим судьей ему довелось быть, он закончил словами о «страшных правах», которые не хотел бы брать на себя. Но жизнь назначила его на роль если не судьи, то присяжного и после войны, и оказалось, что исполнять эту роль в амплу именно не «вождя», а «массы», подчиняясь дисциплине, приказу, манипуляции, ничуть не легче. Я ни разу не заговаривал с ним о его выступлении на собрании писателей, поносившем Пастернака, и вообще остерегался произнести это имя при нем. Кто хоть сколько-нибудь знал Слуцкого, тот не сомневается, что он мучился этой своей виной безысходно и, в отличие от некоторых других тогдашних ораторов, не успокаивал себя впоследствии дешевой ссылкой на то, что такое уж, мол, было время. Почему он, поэт, присоединился тогда к хору хулителей? Скорее всего, он сделал это «в порядке партийной дисциплины», думаю, что ему в ультимативной форме предложили выступить на собрании. Вполне допускаю, что он и в самом деле был ошеломлен тем, что

Пастернак напечатал свой роман за границей. В истории советской литературы уже добрых три десятка лет такая публикация была событием беспрецедентным. Слуцкий, выросший в сознании особой идейной миссии нашей страны, «пришедший в Европу» военным политработником, услышавший в гудках европейских заводов напоминание «про русское слово „пролетариат“; про коммунизм (тоже русское слово)», убежденный интернационалист, — привык думать категориями «у нас» и «у них», и сам факт, что книга, написанная под Москвой, вышла первым изданием в Италии, конечно, мог вызвать у него неприязнь. Вполне допускаю, что и в присуждении Пастернаку Нобелевской премии Слуцкий мог увидеть акцию политическую, а не свидетельством того, что мир восхищен этим поэтом, ведь и правда, стихи его поражают только когда их читаешь в оригинале. Да, эти обстоятельства, может быть, и дали какой-то мотив для того выступления, но мотив, думаю, уже дополнительный, подброшенный беспокойной «совестью исполнителя директивы». Слуцкому по натуре его претила поза обличителя и карателя, тем более обличителя и карателя поэта. Если стихи Слуцкого иногда дышат гневом, обидой, негодованием, то в жизни, сталкиваясь с неблагодарностью, корыстолюбием, чиновным чванством, шовинизмом и прочими гнусностями, он держался подчеркнуто спокойно, насмешливо, презрительно-иронически. Я думаю, что выйти тогда на сцену его заставили не те возможные внутренние мотивы, о которых было сейчас сказано, а нажим извне, задание. Стихотворение «Как меня принимали в партию» (произошло это событие на фронте, в 1943 году) Слуцкий кончил строфой:

Руку крепко жали мне друзья  
И говорили обо мне с симпатией.  
Так в этот вечер я был принят в партию,  
Где лгать — нельзя  
И трусом быть — нельзя.

Не думаю, чтобы после той злосчастной короткой речи кто-нибудь из настоящих друзей «крепко жал ему руку», а уж за глаза говорили о нем тогда, хорошо помню, с недоумением и горечью.

Стихотворение с этим заключительным четверостишием я цитирую по второму сборнику «Память», вышедшему в 1969 году, то есть через девять лет после смерти Пастернака и через тринадцать — после XX съезда. Сейчас у нас с грехом пополам

утверждается нетерпимость ко лжи, десятки лет процветавшей в публичных речах, в печати, в общественной жизни. Но разве в конце шестидесятых годов не было видно, сколько лжи, сколько трусливых умолчаний накапливается изо дня в день на газетных страницах, на собраниях, «активах» и «встречах»? Что же, Слуцкий был конъюнктурщиком, лицемером, когда включил в книжку шестьдесят девятого года эти стихи? И забыл о том предании поэта анафеме, о том радении под знаком лжи и трусости, участие в котором столько лет лежало тенью на собственной жизни?

Надо совершенно не знать его, чтобы в это поверить. Строчки о недопустимости лжи и трусости — некое напоминание, некое, если угодно, заклинание. Они воскрешают чистую атмосферу справедливой войны, напоминают о честности и демократизме, приличествующих победившим фашизм. В этом же сборнике «Память» есть стихотворение «В батальоне выздоравливающих» об одном, как сказано там, «политразговоре», в котором были произнесены слова «идеи у нас милей». «В общем, этот политразговор — во мне», — говорит автор. Строчки «лгать нельзя и трусом быть нельзя» внутренне связаны с убежденностью в чистоте идеалов революции, в превосходстве ее демократических и человеческих идей над идеологической оснасткой фашизма. Но земная жизнь идей непредсказуема. На исходе шестидесятых годов эти строчки можно было напечатать и прочесть без сарказма только как призыв вспомнить о чистоте побуждений, об идеализме и самоотверженности поколения революционеров и поколения победителей Великой Отечественной войны.

О нет, он вовсе не был догматиком, его верность идеалам молодости не надо понимать так узко и плоско. У него это доблесть, а не порок. О догматизме он написал балладу («Немецкий пролетарий не должен»), в которой слышится смех сквозь слезы. Герой этой баллады, майор Петров, жертва собственной слепоты, и гейневский *Enfant perdu* — очень разные человеческие типы. Слуцкий был ближе, конечно, ко второму, но и от него существенно отличался. Ведь смотреть на себя со стороны он умел не только под конец, когда родились строки: «Я был в игре. Теперь я вне игры» и «Уценяйтесь, переоценяйтесь, реформируйтесь, деформируйтесь, пародируйте, деградируйте, но без меня, без меня, без меня». Нет, задолго до того, как *das Herze brach* («разбилось сердце»), можно сказать, на всем протяжении своего поэтического пути, он умел направлять на себя самого весьма скептический или

горько-иронический взгляд. В 1952 году (под этими стихами, не в пример другим, стоит дата) он оставил выразительнейший образец такого умения:

Я строю на песке, а тот песок  
еще недавно мне скалой казался.  
Он был скалой, для всех скалой остался,  
а для меня распался и потек.

.....

Но верен я строительной программе.  
Прижат к стене, вися на волоске,  
Я строю на плывущем под ногами,  
На уходящем из-под ног песке.

Стихи эти написаны в предпоследний календарный год кровавого сталинского разгула. В марте следующего, 1953 года у многих появилась вера в скорые перемены к лучшему. Литературную судьбу Слуцкого год смерти «бога в хромовых сапогах» повернул со знаменательной незамедлительностью. Именно в этом году уже в августе, поэт, наконец, вышел на публику, напечатался по сути впервые: ведь одна предвоенная публикация, да и та в подборке, рядом со стихами других студентов, и забылась, и вообще принадлежала как бы другой эпохе, автору с совсем иным жизненным опытом. Стихотворение «Памятник», вышедшее внушительным тиражом, в большой газете, заявило всем, кого это касалось, что существует еще один настоящий, ни на кого не похожий поэт.

Нелепо думать, будто «песок» стал для него снова «скалой», как ни в чем не бывало, догматиком он, повторяю, не был, но ощущение, что песок перестал «плыть под ногами», «уходить из-под ног», надо полагать, появилось. «Эпоха зрелищ кончена. Пришла эпоха хлеба». В этом его афоризме той поры слышалась какая-то удовлетворенность, умиротворенность. Мог ли он, могли ли мы все тогда оценить значение следа, оставленного в душах «эпохой зрелищ», понять, насколько затяжной характер носит простуда, после того как мир был «просквожен и продут бурей страха»? И «эпоха зрелищ», и эта простуда оказались куда более живучими, чем думалось, и пастернаковская история была тому ясным свидетельством, но она-то произошла еще сравнительно скоро после смерти «бога», жутковатых «зрелищ» хватало и много позднее. Впрочем, «эпоха хлеба» действительно наступила, но

она как-то не торопилась и впрямь покончить с предшествовавшей, она как-то уживалась с ней, да и сама не отличалась благообразием. «Социализм был выстроен, поселим в нем людей», — заканчивал Слуцкий то стихотворение, откуда пошел гулять афоризм о смене эпох. «Эпоха хлеба», вскармливавшая и раскармливавшая всеильную чиновную братию, вовсе, оказывалось, не спешила поселить в социализме людей.

Для того напряжения между личностью поэта и его обществом, благодаря которому возникает электрическая энергия поэзии, генераторы и в «эпоху хлеба» отнюдь не переставали работать.

Быше я говорил о противоречии между его поэтикой и представлением о «поэтичном» обыкновенных людей, читающей массы. Но при всем соответствии его поэтики, его творческой манеры сурово подчеркнутой прямоте Слуцкого в разговоре, его неприязнительности в быту, его органической нелюбви ко всяческим излишествам и прикрасам — существовало, мне кажется, и напряжение внутреннее, глубинное противоречие между этой поэтической формой и сложностью душевного уклада, его редкостной чуткостью к нюансам политики, языка, человеческих отношений, его недюжинной начитанностью. Поэт от природы, Слуцкий не выбирал этой формы, нет, она выбрала его, пожелала получить именно в нем свое воплощение и тем самым обрекла быть резким, прямолинейным, поступаться в своих оценках оттенками, представлять вещи проще, чем они есть. А это конфликт с собой и опять-таки со средой, это дополнительная тяжесть времени, создаваемая природой дара.

Всем лозунгам я верил до конца  
И молчаливо следовал за ними,  
Как шли в огонь во Сына, во Отца,  
Во голубя Святого Духа имя.

И если в прах рассыпалась скала,  
И бездна разверзается немая,  
И ежели ошибочка была —  
Вину и на себя я принимаю.

Как характерно здесь слово «ошибочка»! Как не соответствует оно своей простецкостью, своей преуменьшающей полушутливостью, своей далекостью от всякого пафоса библейской образности



предшествующих строк! Это не та холодноватая сдержанность в суждении, которая называется у англичан *understatement*, а какая-то, наоборот, теплая уютность, хотя в то же время и явное желание поставить точку, не распространяться далее, свести высказывание о случившемся к примирительному: «Ну что ж, бывает, дело житейское». Это не интеллигентская ирония, не подмигиванье, а упрощение, идущее от привычки и потребности смотреть на вещи глазами массы, говорить ее языком и от ее имени.

Упрощение и простота — слова одного корня. Ради того, чтобы говорить просто, прямо, доходчиво, он отказывался в стихах от всякой рефлексии и то, что выливалось в зрительные образы, метафоры, картинные афоризмы, выражал расхожими словами, даже просторечиями. Так выходило у него само собой, другого поэтического языка у него не было, и, наделив его, при его чувствительности к тончайшему оттенку мысли, при его аналитическом, склонном к поправке и оговорке уму, даром выражать себя в стихах только так, судьба наделила его и беспощадностью к себе, способностью смотреть на вещи прежде всего глазами массы, даже массы темной, косной, обманутой.

Все это — и прямотинейность, и простецкость, и конфликт со средой, и беспощадность к себе, и боль вмещающей в себя все это души — очень явственно выразилось в стихах, где он касался еврейской темы. Тема эта всегда была болезненной, деликатной, в поэзии ее чаще всего избегают, обходят. Пастернак затронул ее в стихах начала тридцатых годов — затронул мимоходом, намеком, как бы на секунду высветив лучом, но не задерживаясь, не пускаясь вглубь вопроса о зависимости широкого признания писателя от его укорененности в почве. Вопрос этот, как показывает одно из его писем к Ариадне Эфрон, волновал Пастернака и в последние годы жизни.

А слава — почвенная тяга.  
О если б я прямой возник!  
Но пусть и так — не как бродяга,  
Родным войду в родной язык.

Я привожу эти строчки, разумеется, не затем, чтобы поставить Слуцкого выше Пастернака — надеюсь, такого нелепого подозрения не возникнет, — а потому что, может быть, как раз в сравнении с этой перифразой, приглашающей сначала понять ее смысл,

а потом задуматься над ним, согласиться или не согласиться, как раз по контрасту с ее цивилизованностью, камерностью ясно видна простейшая прямота Слуцкого. «Евреи хлеба не сеют, евреи раньше лысеют» — и так далее, вплоть до заключительной строфы:

Пуля меня миновала,  
Чтоб говорили нелживо:  
«Евреев не убивало!  
Все воротились живы!»

Он начал и кончил это стихотворение прямой речью, цитатой, не от первого лица, а словами, подхваченными где-то в толпе, в очереди, в вагонной давке. Первое лицо, его «ношу в себе, как сразу, эту проклятую расу», словно бы отступает на второй план, собственный голос поэта слышен лишь как фон тупой брани. А среди найденных после его смерти стихов и набросков есть строки о крестившихся евреях, присловья, записанные тоже как бы с голоса массы: «жид крещеный — что вор прощенный», «жид крещеный — конь леченый». Опять взгляд извне, опять ирония, опять простоватая прямота. Все это очень напоминает мне насмешливую снисходительность, не злую, а именно насмешливую, веселую (мол, бедный ты, бедный, на чем свихнулся), с какой он говорил об одном бесцветном стихотворце, известном в основном своим юдофобством. Но за такой литературной интонацией, совершенно так же, как за этим насмешливо-снисходительным тоном отзыва о знакомом антисемите, пряталась, какие тут могут быть сомнения, самая настоящая боль. Нужен, как теперь говорят, большой потенциал благодушия или лицемерия, чтобы не почувствовать в стихах и на эту тему все того же конфликта между личностью поэта и современным ему обществом.

С древнейших времен люди верили, что поэты — пророки, что они обладают даром предвидения. На похоронах Слуцкого многим приходили на ум его стихи о «перепохоронах Хлебникова». Строчками со словами «стынь, ледынь и холодынь» он и вправду предвосхитил погоду собственных похорон. Но подтверждением его провидческой правоты показалось мне тогда не это внешнее совпадение. Я вспоминал тогда об его обыкновении ходить на гражданские панихиды по писателям из-за частого соответствия последнего пути умершего его жизненному пути и думал, что в этих похоронах все как раз отвечало отметкам жизни. «Широко

известного в узких кругах» провожала большая толпа, в ней было много пишущих, много друзей и знакомых, но мало просто читателей. В доме литераторов готовились к какому-то очередному «зрелищу», поэтому там места не выделили, и панихида состоялась сначала в морге 71-й больницы на Минском шоссе, затем в крематории-новостройке. Речей было много, все, как один, говорили искренне, честно, просто, без казенщины, без фальши, без патетических преувеличений.

Широкое, настоящее признание, почетное место в истории литературы многие поэты получают только после смерти и далеко не сразу после нее. Боюсь, что у Бориса Слуцкого такого признания пока нет. Но оно еще придет к нему. Для того, чтобы стихи дошли до потомков, их нужно сберечь, нужен кто-то, кто еще при жизни поэта не только восхитился бы им, но и взял на себя самоотверженную заботу об его рукописях. В случае Мандельштама, Цветаевой, Ахматовой такие люди находились, у стихов Слуцкого тоже нашелся хранитель — Юрий Болдырев, и мне кажется, что факт появления деятельного защитника сам по себе уже знаменателен. В нем есть какая-то закономерность, какое-то предвестие нового открытия Бориса Слуцкого, его совсем другой, чем при жизни, и совсем другой, чем еще сегодня, при нас, славы.

*«Страна и мир». Мюнхен, 1989, № 4.*

---

*Александр Мацкин*

## **БОРИС СЛУЦКИЙ, ЕГО ПОЭЗИЯ, ЕГО ОКРУЖЕНИЕ**

Я познакомился с Борисом Абрамовичем в конце пятидесятых годов, примерно в то время, о котором он впоследствии писал:

Сорок с чем-нибудь годов,  
Я еще не утрачивал пыла...

Знакомство наше было случайным, и его обстоятельства не остались в памяти. Но очень скоро мы сблизились.

В июне 1961 года я с моей покойной женой поехал в Дом творчества Белорусского Литфонда в Кароловищи, неподалеку от Минска. Мы жили в старой усадьбе. Вокруг было несколько коттеджей, преимущественно для семейных. В одном из них жил Слуцкий с молодой женой Таней, милой и очень привлекательной. Места были лесные, ягодные; мы часто гуляли вместе.

Мы сокрушались, как долго земля в этих заповедных уголках не может избавиться от материальных знаков пронесшейся здесь трагедии. С этих лесных прогулок и началась наша дружба. С первого дня общения со Слуцким я поразился широте его интересов. Он полностью завладевал беседой, задавал все новые и новые вопросы. Нельзя было предвидеть, о чем он спросит, темы были непредсказуемы. «Вы были за границей?» — интересовался Слуцкий. Тогда это была редкость. — «Да, был». — «Когда?» — «В Германии, на самом исходе Веймарской республики». — «Ходили там в театр? (Он знал о моих театральных увлечениях.) — «Ходил и познакомился в Берлине с очень популярным в то время Эрвином Пискатором». — «А близость гитлеровского путча вы чувствовали?» — «В Берлине и Дрездене — нет, а в Мюнхене, за фасадом благополучия, были какие-то, предгрозовые признаки, там уже шла мрачная возня будущих фюреров и группенфюреров». И вдруг от Берлина резкий, неизвестно по какой ассоциации, переход к «нашему Харькову» (где я учился и работал, а он провел

юность), к громкому политическому процессу СВУ. «Что вы можете сказать об этом процессе? Вы помните о нем?» Мою жену, Юлию Борисовну, филолога и переводчицу, учившуюся в Брюсовском институте, Слуцкий расспрашивал, что она знает о Брюсове и каким он ей запомнился. Мы долго отвечали на его вопросы и наконец взбунтовались. Нам было интересно не рассказывать ему, а слушать его. Я понял тогда, что для этого есть только одна возможность — перевести наши диалоги на литературные темы. Мы начали с игры: узнавания взятых наугад авторов.

Помню, как Слуцкий говорил: Гастева мы берем, несмотря на скудость его поэтического наследства, и не потому, что он был известным революционным деятелем, впоследствии казненным, а потому, что в шесть раз издававшемся сборнике «Поэзия рабочего удара» с его машинно-индустриальным уклоном, при всей откровенной утилитарности легко просматривается тенденция, характерная для литературы тех лет — это след эпохи. А Рудермана с его известной песней о тачанке опустим — это подробностей эпохи, — неспособная что-либо нам объяснить.

Блок благополучно прошел. С Андреем Белым мне помогла справиться Юлия Борисовна. С Бальмонтом дело обстояло гораздо хуже. Душа к нему не лежала.

Из классиков дореволюционной поэзии лучше всего мы знали Анненского. Когда пришла очередь советской поэзии, Слуцкий нас далеко опередил.

Конечно, эта игра в поэтические цитаты казалась мне забавной, шутивно-занимательной викториной, но Слуцкий, как ко всему на свете, относился к нашему праздному занятию с серьезностью. Не могу сказать, что он обладал универсальной всепоглощающей памятью, какая бывает у некоторых поэтов, знатоков стиха. У него была память рабочая, профессиональная — привязанность к корням, без которой искусство не может двигаться вперед. Мы же были только читателями.

Прослышав, что в Кароловицах живет известный поэт, к нему приезжает из Минска представительный мужчина лет сорока пяти и просит написать стихи то ли для спортивного праздника, то ли к юбилею какого-то ведомства. Разговор происходит при мне. Слуцкий меняется в лице, но ничем не выдает своего раздражения и говорит, что таких стихов не пишет. Заказчик сулит ему высокую оплату и упоминает, что известный поэт имярек для них

писал. Слуцкий теперь уже устало говорит, что к такого рода литературному сервису относится отрицательно, и раскланивается. Беседа на том и кончается. Когда мы остаемся вдвоем, он сокрушенно говорит, какой вред приносит литературе принцип подряда. Так называемый социальный заказ, когда-то придуманный ЛЕФом.

Народу в Доме творчества было немного, люди все больше местные и несколько москвичей. Там мы жили вместе и врозь — очень непохожие и в чем-то похожие, в силу самой общности профессии. Но был среди нас один незнакомец, о котором ничего не было известно. Слуцкий, с его неутоленным интересом к людям, заинтересовался немолодым и усталым человеком;

Через два дня Слуцкий поделился со мной первыми добытыми им сведениями. Наш новый знакомый был в прошлом военным; ученый инженер, он преподавал в одной из столичных академий, довольно долго сидел в дальних лагерях и чудом выжил... Викентий Викентьевич — я запомнил его имя — перестал нас чураться. Перед нами был один из вариантов бесчисленное множество раз повторяющихся трагедий, однако со своей особенностью. Викентий Викентьевич долго и упрямо отрицал свою вину, несмотря на «крутые допросы» и пытки, но в какую-то минуту, в почти бессознательном состоянии, подписал подsunутую бумажку. Его следователю только это и было нужно. Сколько лет прошло с тех пор — хрущевская оттепель, массовый исход из тюрем и лагерей, а ему кажется, что такие раны не заживают и что вынужденное признание лежит пятном на его совести; что разлагающее чувство страха может войти в состав нашей крови, так сказать, генетически, а это уже опасность национального вырождения. Ни о чем другом он не может думать.

Слуцкого эта исповедь глубоко задела, и потом тема самооговора и связанного с ним мучительного стыда пройдет через многие его стихи.

Спустя более четверти века я прочел в одной посмертной публикации стихов Слуцкого, как всегда подготовленной ныне покойным Ю. Л. Болдыревым в журнале «Дружба народов» стихотворение, которое приведу полностью:

От ужаса, а не от страха,  
от срама, а не от стыда,  
насквозь взмокала вдруг рубаха,  
шло пятнами лицо тогда.

А страх и стыд привычны оба.  
 Они вошли и в кровь, и в плоть.  
 Их  
     даже  
         дня  
             умеет  
                 злоба  
 преодолеть и побороть  
 И жизнь являет, поднатужась  
 бесстрашным нам,  
 бесстыдным нам,  
 не страх какой-нибудь, а ужас,  
 не стыд какой-нибудь, а срам.

В этих горьких стихах я услышал голос нашего давнишнего знакомого Викентия Викентьевича. И так, глубина падения, настолько зияющая, что даже такие обличающие слова, как *стыд* и *страх*, показались бледными и недостаточными; нужны слова более внушительные и оглушительные — *ужас* и *срам*. Иная степень муки, иная степень покаяния.

Страх сбил с ног и самого Слуцкого; его терзала мука отступничества. Я хорошо помню постыдное собрание писателей в помещении старого Дома кино, где был предан отлучению и анафеме Пастернак. Председательствовал на судилище человек, безусловно, порядочный, но слишком легко поверивший в свою прокурорскую миссию и задавший тон всему позорному действию — Сергей Сергеевич Смирнов. Хотя это был конец пятидесятих годов, расправа шла по ритуалу процессов тридцатых годов. Ораторы, сменяя друг друга, неистовствовали, и каждый старался превзойти другого в своем трибунальстве.

И вдруг в эту оргию включаются два достойнейших поэта — Слуцкий и Мартынов. Для нас, «молчаливого большинства» (а может быть, его правильное назвать болотом), это был удар. Как мы могли выразить свой протест против всей этой расправы? Когда кончилось голосование, некоторые из нас не подняли рук. Но это символическое умолчание никто не заметил. Поднятых рук было так много! Стихия бушевала, и ей не было досуга следить за реакцией немногих из числа «малых сих». Удивительная была аудитория — все дурные инстинкты, внушенные сталинской деспотией, обнаружили себя в этой вакханалии, запомнившейся на всю жизнь. А для Слуцкого его выступление стало трагедией до конца дней.

Мучившая его и прежде бессоница стала невыносимой. Это был первый толчок в сторону ожидавшей Слуцкого болезни.

За все время нашей дружбы мы ни разу не упоминали этот черный день. Я — по соображениям элементарного такта. Он явно избегал этой темы. Только в одну из последних встреч, когда я пришел к нему в психосоматическое отделение 1-й Градской больницы (он лежал один в маленькой комнатке с зарешеченным окном — сквозь тяжелую каменную стену доносился нечеловеческий вой), Слуцкий сказал мне, что не может ни читать, ни писать при незатемненном сознании. И добавил, что не ждал такой развязки, хотя поводов к тому было предостаточно. Я спросил: это смерть Тани? Он ответил: да, но не только это, и после короткой паузы продолжал: вы ведь знаете, что уже много лет я не выступаю публично. Я этого не знал, но легко было догадаться, что имеет в виду Слуцкий. Очевидно у него произошел какой-то инцидент на публике, связанный с его несчастным выступлением, хотя данных, подтверждающих это, у меня нет. Конечно, это была серьезнейшая душевная травма, и все-таки, на мой взгляд, не потому произошла катастрофа. Я позволю себе высказать предположение, что окончательно привело его к беде. Теперь, когда опубликованы и продолжают публиковаться его стихи, мне кажется, главная причина болезни в том, что его щедрое поэтическое слово было замуровано и утаено от читателей. Это нельзя назвать трагедией невысказанности, это скорее трагедия безадресности, безответности, когда слово остается неуслышанным и мало надежд, что оно когда-нибудь обретет свободу. Для деятельно пишущего поэта такое безмолвие — пытка и безысходность.

Наконец, последняя страница о нашей встрече летом того далекого 1961 года. Газеты в Дом творчества приходили нерегулярно, с трехдневным опозданием. Выручало местное радио, по которому в один жаркий июньский день мы услышали о смерти Хемингуэя. Внезапную весть о самоубийстве писателя мы пережили как горькую личную потерю. Отныне и до дня отъезда эта драма стала главной темой наших бесед. Я был страстным и убежденным поклонником американского классика еще со времен «Фиесты». Да и Слуцкий говорил, что до края загруженная смыслом изысканная проза Хемингуэя граничит с эпической поэзией. Но его интересовали не только книги Хемингуэя, но и он сам. В сборнике «Современные истории» у поэта есть стихотворение «Четверо», его тема, как почти всегда у Слуцкого,



неожиданная: речь идет о четырех великих писателях, служивших санитарями в армейских госпиталях, — Уитмене, Есенине, Брехте и Хемингуэе: кровь, бинты, карболка, гной застряли в памяти всех четырех.

И развивая этот сюжет, в котором видит знак общности, он пишет:

Тот, кому хоть раз запа́х  
за́пах милосердия для широких масс,  
тот этим запахом так пропах,  
как войной планета Марс.

Я не знаю, когда было написано это стихотворение, как обычно, у Слуцкого нет даты. В симпатии автора к Хемингуэю нельзя усомниться. Но тогда, сразу после смерти писателя, позиция Слуцкого не отличалась прямоотой и категоричностью, у него были и сомнения, и он этого не скрывал. Образ писателя в его глазах двоился, к безусловному признанию величия примешивались и некоторые упреки. Мне трудно восстановить слова Слуцкого, но попытаюсь. В «Зеленых холмах Африки» Хемингуэй отдает дань гению Толстого и говорит о его повести «Казаки»: «Это очень хорошая повесть». Я уверен, — рассуждал Слуцкий, — что эти слова вспомнят наши американисты в своих некрологах и найдут «толстовский элемент» в его военной прозе.

Но если это действительно так, давайте будем судить о Хемингуэе в свете толстовской требовательности и нетерпимости к литературным оценкам. Давайте присмотримся, как Хемингуэй выбирал героев, как понимал демократию и как показывал самого себя в своих книгах. В самом деле, можно ли представить любовь Толстого к такому воспетому американским писателем зрелищу, как коррида, и признал ли бы автор «Войны и мира» романтику профессии матадора, если вспомнить испанский корень этого слова: matar — убивать. Конечно, это частность, но весьма знаменательная. Слуцкому казалось, что герои Хемингуэя весьма агрессивны, даже когда они занимаются таким мирным делом, как ловля рыбы, что великий писатель не устоял перед соблазном суперменства. И можно ли передать в толстовских понятиях такое свойство характера, как мужество, независимо от того, чему оно служит. Что же касается демократичности, действи-

тельно, в его рассказах было много, очень много простых людей, но они все, если присмотреться к ним внимательно, отмечены знаком сверхобыденности — быть только простым для Хемингуэя недостаточно. И есть принцип избирательности, даже у большинства из тех, кто находится на низших ступенях социальной лестницы, есть чувство жребия, чувство миссии. Не ищите здесь плебейства, это круг посвященных. Да и он сам — великий талант, что вне дискуссии, но и он не скрывает своего превосходства, своей особенности, своей богоизбранности, возвышаясь над читателем. <...>

В Москве наша связь не оборвалась. Слуцкий жил поблизости и иногда по вечерам забегал, чтобы поделиться впечатлениями о каком-то очередном событии. Например, произошла перетряска в Министерстве культуры, несомненно свидетельствующая о тенденции ужесточения идеологической политики, о наступлении эпохи, которую мы теперь называем застоем. Однажды он пришел ко мне, взволнованный шумной кампанией, связанной с делом Синявского и Даниэля. Чем может кончиться этот взрыв ярости? Впрочем, не надо было обладать особой догадливостью, чтобы ответить на этот вопрос.

Потом, после смерти Тани, когда Слуцкий звонил мне, он обязательно спрашивал: «У вас никого не будет? Тогда я приду», — и приходил поздно вечером. А до беды, с которой он так и не примирился, он не задавал подобных вопросов и был рад всякому общению, если незнакомый человек был ему по душе. А узнавал он людей с первого взгляда и избегал контактов с самоуверенными всезнайками, которые задают вопросы и не слушают ответов. Или с трусливыми и перепуганными, озирающимися по сторонам, которые при всякой непростой ситуации, когда нужна неуклончивая прямота, говорят о диалектике и выбирают спасительные варианты. Впрочем, таких людей я сам остерегался.

Самым коротким было его знакомство с моим близким другом А. С. Гурвичем. Имя его стало известно во время антикосмополитической кампании 1949 года, когда он был объявлен лидером злонамеренных критиков, подрывающих основы советской литературы и театра.

Слуцкому импонировала биография Гурвича, но с чем-то подобным он уже встречался. А вот шахматное увлечение привлекло его особое внимание. И он угадал, что это второе призвание, возможно, было для Гурвича самым главным. Да, это было именно

так, потому что, погружаясь в стихию шахматного творчества, он чувствовал полную, ничем не стесненную свободу. В том единственном разговоре Слуцкого с Гурвичем у меня в доме поэт говорил, что ему никогда не приходила в голову мысль о существовании такого вида творчества, как шахматная композиция. Что это такое? — задавал вопросы Слуцкий. — Особый вид мышления? Нужна ли для этого сумма знаний или это плод чистейшей импровизации? Его интересовало, доступно ли композиторство любому гроссмейстеру, может ли сочинять этюды мыслящая машина (слово компьютер тогда еще не вошло в обиход). Гурвич стойко выдержал натиск и ответил, что для такого рода сочинительства главное — воображение. Это игра ума, при которой нельзя идти по чужому следу. Нужно обязательно открытие, неразделенное авторство, собственная версия. Слуцкий так увлекся разговором, что я подумал, не попытается ли он заняться этой игрой. Этого не случилось. Разговор происходил в 1962 году, в том же году Гурвич умер, и мне рассказывали его коллеги, что в каком-то американском шахматном журнале появился некролог, автор которого писал: он счастлив, что жил в одно время с Гурвичем. Видимо, Слуцкий не ошибся, когда с первого взгляда распознал дарование незнакомого ему человека.

Летом того же 1962 года в одном из залов ресторана «Прага» отмечалось пятидесятилетие моего друга, ученого-экономиста Я. А. Кронрода, ныне забытого. На вечере присутствовали многие из знаменитых его коллег того времени и два моих знакомых поэта — Д. Самойлов и Б. Слуцкий. Мы сидели в конце стола; хорошо помню, как Самойлов сказал вполголоса: вы думаете, что Слуцкий умный, а я талантливый, на самом деле он талантливый, а я — умный. В тот вечер я впервые узнал, что Слуцкий давно знаком с Кронродом. С тех пор наша дружба стала общей, и иногда мы встречались у меня дома. Мы были люди разных поколений и разных занятий. Я встретил войну зрелым 35-летним человеком, Кронрод был на шесть лет меня моложе, а Слуцкий пошел на войну совсем еще юным, в 22 года. Война — великая уравниленица, хотя на долю Слуцкого выпали гораздо большие испытания, он был израненный солдат и по праву стал одним из основателей нашей фронтовой поэзии. Но при всем резком различии в возрасте, мы все были сыновьями нашего века и война стала нашей общей судьбой. У Слуцкого в сборнике «Современные истории» есть стихи, озаглавленные «Двадцатый век»:

«В этом веке все мои вехи, // все, что выстроил и сломал... Век двадцатый! Рабочее место! // Мой станок! Мой письменный стол! // Мни меня! Я твое тесто! // Бей меня! Я твой стон»

Слишком много восклицательных знаков, но суть схвачена. Слуцкий был стоном века, Кронрод — его истолкователем...

Я читал его книги и, несмотря на их специфичность и мою неподготовленность, чувствовал самостоятельность автора. Но, как мне кажется, в них был и момент тактики. Кронрод не мог подняться над прочно установленными догмами. Да это и было невозможно. Вот почему он, человек мыслящий и рассуждающий, свободный от опеки, от давления охранителей, был много интереснее и глубже, чем человек пишущий и подотчетный. А таким, нестесненным, мы его видели во встречах со Слуцким. Там он был самим собой, таким, как он есть — с присущим ему размахом мысли. Тогда, в период губительной инерции удручающего чиновничества и возрождения идеи верхов и низов, хозяев и винтиков, он понял, с какой стремительностью мы движемся к всеобщему тупику и кризису. В суждениях Кронрода была система, и его заразительная тревога не могла не задеть Слуцкого. Конечно, у него было множество друзей и знакомых, на недостаток информации он не мог жаловаться. Но во всезнании Кронрода было что-то трагическое, и в некоторых стихах Слуцкого я как бы слышу отклик на наши исповедальные беседы,

В неистовом собирательстве, я бы даже сказал жестче, коллекционерстве человеческих судеб Слуцкий не мог пройти мимо во всех смыслах неординарного и неповторимого Е. А. Гнедина. Они были знакомы еще до того, как в конце шестидесятых годов встретились у меня в доме. Слуцкий не скрывал настоятельной потребности послушать его, сблизиться с ним. Чем был ему близок Гнедин? Евгений Александрович боролся за свою идею правды и правоты по внутренней необходимости, в его взглядах не было ни тени фанатизма, он не чувствовал себя героем, борцом Сопротивления. Одну из наших нечастых встреч я хорошо запомнил. Шел 1968 год. Мы говорили о студенческих волнениях во Франции. Эта тема была у всех на устах. Основная масса этих бунтующих студентов, сгоняющих своих профессоров с кафедр, по мнению Гнедина, мучительно ищет истину в мире, отравленном ядом конформизма и потребительства. Все они знают, что надо разрушить, и не знают, что надо предложить взамен руин. И особенно запомнилось в словах нашего собеседника: не надо

драматизировать эти события, в них есть закономерность истории, но они не несут исторических перемен. В политической хронике шестидесятых годов они займут одну строчку. Молодые люди со временем образуются, уgomонятся, кое-кто вернется в университеты, другие займутся делами, обзаведутся семьями. Всё войдет в давно проложенное русло. В этот момент в разговор вмешался Слуцкий. Он произнес монолог о том, как у нас держат в узде историю уже очень много лет. В стихах у него есть строчки:

Даже если стихи слагаю,  
Все равно — всегда между строк  
Я историю излагаю.

Нет, с историей у нас совсем плохо. Прodelайте такой эксперимент. Возьмите энциклопедические словари, вышедшие в разные годы. Самый первый, наиболее полный (где вы найдете еще не запятнанные имена Бухарина и Рыкова), который пошел в переработку, как бумажный утиль. Или Малую энциклопедию 30-х годов, наспех переписанную, с зияющими провалами и спасительными умолчаниями. И, наконец, пятидесяти томную, вышедшую в разгар культа Сталина, своего рода памятник узаконенной тогда лжи и фальсификации. Сравните эти издания и вы поймете, что такое подмена понятий в истории. Есть эпохи, — рассуждал Слуцкий, — итогов, надежные и стабильные, когда на сцене появляется статистика и неоспоримые факты справочной литературы. И есть эпохи крайней неустойчивости и фабрикации фактов по минутному требованию все сильного редактора, божества в мягких сапогах. Время, которое мы прожили, трудно укладывается в рамки энциклопедии с ее окончательными суждениями. Тем важнее непредвзятые показания очевидцев. Этому стоит посвятить жизнь. Напомню, все это говорилось в конце 60-х годов. <...>

Слуцкий, как-то зашедший ко мне, застал Савича и засыпал его вопросами. Речь о войне в Испании. Слуцкий, со слов Эренбурга, несомненно, знал все перипетии испанской войны, но общий итог у него не складывался. Была в летописи тех лет какая-то несогласованность.

Слуцкий задал Савичу вопрос, ради которого он, видимо, и затеял диалог: «Как вы думаете, был ли Сталин заинтересован в победе испанской республики?» — «Откуда у вас такие сомнения?» — заинтересовался Савич. Слуцкий ответил, что недавно сведущие люди изложили ему такую версию — для Сталина Испания была

удобным полигоном, где проходили проверку наши военные. Репетиция нашей готовности. А идти дальше Сталин не хотел, так как, по его логике, победа республиканцев могла приблизить войну. Чего он опасался... Смелость вопросов Слуцкого застала нас врасплох. Он забежал на несколько десятилетий вперед. Может быть, теперь пришел час ответов.

Последний в ряду наших собеседников, о котором я хотел бы упомянуть, — А. М. Марьямов. В то время он был членом редколлегии «Нового мира» и вел там отдел публицистики!

В середине двадцатых годов у Марьямова установились тесные отношения со многими деятелями украинской литературы. К тому времени она разветвилась, развилась, появились новые привлекавшие внимание имена, несмотря на острые противоречия и борьбу как политических, так и художественных ориентаций.

И сколько было среди них пострадавших от чисток и репрессий!

«Как вы думаете, — спросил Слуцкий Марьямова, — какой процент этих уничтоженных карающей рукой власти составляли люди ни в чем не виноватые?» — «Безусловно, очень большой, хотя на волне революции к нашему берегу пристали и агрессивные самостийники, и вчерашние петлюровцы, и шовинисты — враги русской культуры и всякой причастности к ней. И все же теперь, спокойно оглядываясь на прошлое, приходишь к выводу, что преступники и заговорщики были в явном меньшинстве и что меч правосудия сносил головы скопом, явно пренебрегая справедливостью и законом».

Все названные здесь участники бесед были люди с яркой выраженной индивидуальностью, с определившимся призванием, но у всех у них не было простора для развития. Была осознанная, а иногда и неосознанная стесненность, было мучительное чувство неполноты выражения, невысказанности, вынужденного молчания. И никто из них не сделал того, что мог. После потрясений 1949 года Гурвич уже не мог оправиться. О Кронроде уместно сказать словами Слуцкого: «прогнозисты не смели пророчить». Лучшие годы Гнедина были загублены. Писательский талант Савича был задушен в самом зародыше. Марьямов занимался журналистикой и редактурой и писал случайные книги, несмотря на свое художественное дарование. Более четверти века я прожил в одном доме с В. Б. Шкловским и время от времени бывал у него, особенно в шестидесятые годы. Я часто спрашивал, сколько книг он издал за свою, тогда уже долгую жизнь. Он отвечал неуверенно и всегда

по-разному, но число никогда не опускалось ниже шестидесяти. А однажды, расщедрившись, он сказал: девяносто.

Книги у него были разные, но о стихах он никогда не писал, прошел мимо, насколько мне было известно. Слуцкого тоже это удивляло, и я предложил пойти к Шкловскому и спросить, почему при универсальности его занятий литературой он обошел поэзию? Повод заслуживал внимания, и как-то летним вечером мы пошли к нему. Слуцкий уже пользовался заслуженной известностью; я не знаю, читал ли его Шкловский, но про его физиков и лириков был наслышан. Мы обменялись несколькими любезностями, и Слуцкий с присущей ему прямоотой спросил: почему среди его бесчисленных книг нет посвященных поэзии? «Это не так, я писал о Маяковском», — ответил хозяин. Слуцкий не уступал: «Это книга о поэте, а не о поэзии». Шкловский возразил, что Маяковского нельзя делить на части и, подумав немного, заметил, что, пожалуй, сам не может ответить на этот вопрос: «Но я ведь не писал и о музыке, хотя любил ее слушать». И (явно уклонившись от темы) произнес монолог о все растущей неравноправности физиков и лириков. Теперь это очевидно, тогда было прозрение. «Мы вломились в уэллсовскую эпоху, — размышлял вслух Шкловский, — с очень ненадежным запасом гуманитарных знаний. Можно подумать, что тем, кто движет технический прогресс, не нужен Толстой. У меня есть давний знакомый, почтенное лицо в системе Академии наук, спросите у него, — говорил Виктор Борисович, — он вам скажет, что люди, изучающие древние языки, — старомодные чудаки, опоздавшие родиться на целый век». Мы быстро справились с темой поэзии. Ничего чрезвычайного, удивившего нас, от Шкловского не услышали. Он сказал, что, кажется, знал всех известных поэтов нашего «серебряного века», начиная с Блока. Поэзия у нас задыхается и вянет от абстракции, ей нужна почва и предметность в образной плоти, как в «Медном всаднике». Потом он упомянул о достоинстве искусства и непригодности принципа заказанности. Как это было далеко от эстетики ЛЕФа. Вот, собственно, и все.

Последовательность моих воспоминаний еще раз будет нарушена, но если я сейчас не коснусь его (Слуцкого) признаний о власти, которая была ему предоставлена на фронте (где в ранний период войны он попал в прокурорский надзор), то потом у меня уже не будет повода сказать о его совестливости и ненависти к насилию.

Сошлюсь на два стихотворения о судеистве, в котором Слуцкий, можно полагать, принимал участие <sup>1</sup>. У него не было профессионального отношения к этим обязанностям. Известно, какова судьба самострельщика — он ждет своего часа. Есть закон, есть неумолимость войны. Но с какой внутренней мукой боевой офицер принимает окончательное решение.

Возникает мучительное сомнение и обостренное нравственное чувство:

Кто они, мои четыре пуда  
Мяса, чтоб судить чужое мясо?

Что поделаешь, если он не может рубить головы даже виноватым? Но не хочет и не может быть полновластным хозяином чужих жизней. Его позиция укладывается в одну фразу: «хорошо быть не вождем, а массой» —

Хорошо быть педагогом школьным  
иль сидельцем в книжном магазине...

А если уж судьей, то «футбольным», они во сне «кричать не станут». А он будет кричать, «вспоминать бывшее неустанно»

Опыт мой особенный и скверный —  
как забыть себя заставить?  
Этот стих ошибочный, неверный.  
Я неправ, пускай меня поправят.

Покаяние поэта. Конечно, эти стихи могли быть напечатаны только в 1987 году. А между тем вечер у Шкловского продолжался. Слуцкий в заключение рассказал, правда, коротко, в нескольких фразах, о недавно прочитанной книге французского философа Тейяра де Шардена «Феномен человека» (изданной у нас в 1965 г.). Из многих идей французского ученого, работавшего на стыке разных наук, Слуцкий извлек, как мне кажется, самое фундаментальное — появление человека в его современном облике нельзя считать завершением эволюции земной жизни. Это одно из ее звеньев, одна, важнейшая, ее веха. У человека нашей геологической эпохи и окружающей его вселенной есть ободряющая

<sup>1</sup> Автор ошибается. Слуцкий был следователем и ни одного дня не служил в трибунале. — *Примеч. сост.*



надежда — возможность бесконечного совершенствования при непрерывном движении времени. Что это — утопия или научное предвидение, открывающее нам неизвестные резервы, заложенные в природе человека, — спрашивал Слуцкий, чрезвычайно захватив Шкловского грядущими космическими переменами. На этом мы расстались.

По пути домой Слуцкий сказал, что можно было бы написать стихи о глазах этого старика, в которых отразился целый век.

— Заметьте, что огонь в его глазах появляется, когда он чем-то особенно задет и вскидывается. Как только в разговоре появляется пауза и вялость, искра гаснет и он отключается от нас и всего, что происходит вокруг. Удивительный перепад от громогласия к нескрываемой усталости.

Я заметил, что Шкловский не раз говорил, что хочет дожить до возраста Толстого, до 82 лет.

— Он обойдет Толстого, — продолжал Слуцкий, — у него большой запас прочности, поглядите, какой у него ритм: после вспышек — обязательный покой; экономия мозговой и просто физической энергии страхует его от стресса [слово, только тогда вошедшее в обиход. — А. М.].

Слуцкий угадал: Шкловский умер на десятом десятке.

Я был на новоселье у Слуцкого в доме в Балтийском переулке. Он приглашал гостей в несколько приемов. На этот раз народу собралось немного. Настроение у хозяев было приподнятое, гости это почувствовали и держались непринужденно. Слуцкий говорил, что не может сосчитать, сколько квартир он сменил за свою московскую жизнь. Куда только не бросала его судьба! Был среди его пристанищ и угол у старой немки по паспорту, родившейся и всю жизнь прожившей в Москве и, вопреки предписаниям военного времени, не покинувшей свое убогое жилище для чего пришлось обречь себя на затворничество, оборвать связь с внешним миром и жить в не слишком надежной пустоте, хотя по крайней необходимости она сдавала угол, куда занесло Слуцкого. Все это было позади. Теперь, кажется, он обосновался надолго, появился быт — потребность в том у него была. Таню это устраивало, и его тоже, хотя квартира досталась не слишком комфортная, в старом доме. В те далекие годы Слуцкий увлеченно собирал современную живопись и показывал нам свои находки, вкус у него был хороший, с уклоном в авангард. Он любил среду художников и часто служил им моделью.

В тот вечер все в квартире сулило долгую оседлость и покой для творчества. Какой хрупкой оказалась эта надежда.

Он всегда мне задавал вопросы на театральные темы. Так было и в этот раз, в день новоселья. Слуцкий спросил: как, по-вашему, почему Сталин не любил Гамлета? Я ответил: «в этом нет загадки, Гамлет, по распространенному когда-то у рапповцев термину, размагничивал публику, внося смятение в умы, дестабилизируя привычность, нарушая неподвижность, которая была Сталину пужна».

Я вспомнил наш разговор со Слуцким о Гамлете четверть века спустя, прочитав в «Дружбе народов» стихотворение «Гамлет этого поколения». За долгие годы жизни я видел нескольких великих Гамлетов. В первом ряду назову Михаила Чехова и Пола Скоффилда. Для меня это были счастливые дни. Но Гамлет, как то хорошо известно, служил предлогом для многих режиссерских мистификаций и даже для оголтело грубой маскировки. Я помню Гамлета — веселого и полнокровного толстяка; это была озорная шутка Н. Акимова. Я знаю о Гамлете — остервенелом завоевателе, закованном в латы, человеконенавистнике, которого геббельсовская пропаганда наградила свастикой. Можно назвать и другие оскорбительные метаморфозы гамлетовской темы. Что получилось в сатире Слуцкого? Могу высказать только предположение: Гамлет, покончивший с сомнениями, стал единодержавным и всевластным королем. Какое смещение, опустошение и какая кровавая подтасовка понятий: «Ни сомнений, ни угрызений, // ни волнений, ни размышлений // знать тот Гамлет не знал ни о чем, // прорубаясь к победе мечом».

История предлагает свои варианты: порабощенный, изуродованный жестокостью, кривозеркальный мир и его видения. Похоже, что у Слуцкого речь идет о бремени власти, под тяжестью которой ломается человек, будь он и Гамлет, о тиранстве деспота, для которого нет запретов, — он хочет переделать и самого себя, в чем и преуспевает.

Не любил он свои монологи  
и десятки выбрасывал строк.

Воистину этот Гамлет хочет превратить воображаемую Данию в тюрьму суровейшего режима.

В 1969 году Слуцкий пришел ко мне в больницу на Госпитальной. Он всегда посещал друзей в критические минуты жизни... Палата, в которой я лежал, была двухместной. Мой сосед, старый заслуженный машинист, принадлежал к той породе московских рабочих, о которых Слуцкий писал в посвященном им стихотворении:

в семи водах изрядно кипяченных,  
в семи дымах солидно прокопченных.

Человек с трехклассным образованием поразил меня своей интеллигентностью и бескорыстностью, Слуцкий произвел на него сильное впечатление: из нескольких наших фраз он понял, чем тот занимается, и, извинившись, сказал, что первый раз в жизни видит живого поэта. «Вы любите стихи?» — спросил Слуцкий. — «Я их мало читал: Пушкина, немного Некрасова, и в юности Демьяна Бедного. Пушкина хорошо помню, Демьяна забыл, только фамилия осталась в памяти». И стал спрашивать: как пишутся стихи, откуда берутся темы, как приходят слова. Он видел в этом таинство и хотел прикоснуться к чуду. Я попросил Слуцкого что-нибудь нам почитать, он согласился и спросил — а что? Я предложил «Старух было много, стариков было мало», ведь там речь идет о смерти, а смерть только что была с нами рядом. Поэт спокойно, вполголоса, почти не меняя интонации прочитал стихи, и горевая эта повесть потрясла старого человека, самого неискрушенного из возможных его слушателей. И он отозвался: это не сказка, это беда. Потом, когда Слуцкий ушел, попросил меня переписать для него эти стихи.

Работая над этими воспоминаниями, я перечитал некоторые книги Слуцкого и заметил, что много места во все годы его писательства занимала тема старости. Старики у него были разные, просто долгожители, не изменившиеся с возрастом, и такие, кто стал получше, Есть у него старики, составившие целую социальную прослойку, люди с прерванной биографией, поколение лагерников. И особая категория — боги и педагоги, олицетворяющие свой век в его высшем взлете — мудрецы, всезнающие наставники, пророки. Я так и не разобрался до конца, что привлекало Слуцкого в старости: нажитый опыт, живое предание о том, что безвозвратно ушло, беспомощность, требующая защиты, постоянство даже в заблуждениях или, может быть, близость неотвратимых сроков.

Что же сказать в заключение? На мой взгляд, Слуцкий по преимуществу, по главному признаку поэт беды и неблагополучия. Круг его интересов — неизбежность циклов бытия человека и круговорота природы и попытка проникнуть в их законы и тайны. Он хочет прикоснуться к ранам, которыми наделила нас история, задевшая почти каждого. Он хочет разгадать драмы несбывшихся, но все-таки не оставленных надежд. Его императив не уступать в правом деле, когда ты чувствуешь свое бессилие и тем не менее не сдаешься, не капитулируешь. Описательная литература, просто фиксирующая события, какой бы занимательностью она ни обладала, нейтральная живопись с натуры без детонатора, без сигнала тревоги редко привлекали его внимание. Установления сущего ему мало; его стихам-поступкам нужны боль и соучастие, иначе они не пишутся. В своей лирике он всегда действующее лицо, он жертва и он ответчик.

Недавно я прочитал в «Дневнике писателя» Достоевского, что «воспоминание равносильно страданию и даже чем счастливее воспоминаемое мгновение, тем больше от него и мучения». Справедливые слова. Я в этом убедился, готовя эти заметки.

*Из книги: А. Мацкин. По следам уходящего века.  
М., 1999.*

---

*Андрей Турков*

## **ЕГО ИМЯ — ОДНО ИЗ ДРАГОЦЕННЕЙШИХ ИМЕН РУССКОЙ ПОЭЗИИ**

Решительно не могу припомнить, когда и как я познакомился с Борисом Слуцким и почему мы довольно быстро перешли с ним на «ты» (хотя с некоторыми куда более близкими ему людьми он всю жизнь оставался на «вы»).

Не могу сказать, что мы часто виделись, хотя была пора, когда жили совсем по соседству.

И больше всего разговоров было у нас, пожалуй, во время поездки в одной писательской делегации в Болгарию осенью 1962 года.

Как-то так вышло, что по большей части мы ездили по стране в одной машине и вместе жили в гостиницах. Совсем случайно это, конечно, не было. Позади были какие-то совместные выступления (хорошо помню, что в том числе — в музее Маяковского, еще в старом помещении его), а главное — треволнения, связанные с нелегким прохождением в печать первой книги Бориса «Память» (1957).

Редкая среди прочих его кратких дарственных надписей патетическая фраза: «Андрей! Ты делом доказал свое отношение к этой книге, как впрочем не раз делом доказывал свое отношение к искусству» — «оправдывается» тем, что одна из положительных внутренних рецензий на представленную Борисом рукопись была написана мной.

В Болгарии его принимали особенно тепло, потому что он участвовал в ее освобождении в 1944 году. Знали его стихи не только об этих событиях и не только напечатанные, но и такие, как «Бог» и «Хозяин», которые в Софии его как-то раз просили прочесть — конечно, в узком дружеском кругу.

Знаток живописи, он во время посещения местного художественного музея безошибочно устремлялся в каждом зале к самой лучшей картине, что произвело большое впечатление на сопровождавшую нас с ним сотрудницу.

Однажды во время наших затягивавшихся часто заполночь разговоров Борис со свойственным ему сдержанным юмором

живописал эпизод, случившийся с ним во время поездки в Италию нескольких известных советских поэтов.

Был среди них и Твардовский, стихов Слуцкого не любивший и не печатавший. Борис относился к этому хладнокровно, а сам некоторые произведения Александра Трифоновича весьма ценил и даже порой читал во время своих выступлений. Но, в общем, их литературные пристрастия и вкусы решительно различались.

И надо ж было так случиться, что на обратном пути оба оказались в одном купе со случайным попутчиком, дипломатом-казаком, в придачу.

В разговоре Твардовский очень резко высказался об одном из любимых Борисом поэтов и внезапно воззвал к «нейтральной» стороне — соседу-дипломату: «Вы знаете стихи такого-то?»

Оказалось, что нет. Тогда Александр Трифонович спросил, а знает ли он его, Твардовского. И тот с восторгом припомнил «Василия Теркина» и заявил, что его автор — великий поэт.

«Великий» восторжествовал, но, как оказалось, ненадолго. При всей своей корректности Борис в таких вопросах был неколебим.

Тогда я решил, — рассказывал он, — воспользоваться запрещенным приемом. А Ошанина, — спрашиваю, — вы знаете. О да, — отвечает. — Великий поэт!

И посрамленный Твардовский выругался и залег на свою полку.

А ведь, в сущности, своя своих не познаша! Как и его «оппонент», Слуцкий был в высшей степени привержен благороднейшим гуманным традициям отечественной литературы. Совсем в иной поэтической манере, но и он восславлял и оплакивал героев и мучеников войны, сострадал «девчонкам» в военной форме, солдатским вдовам и тем, которые были обречены на одиночество из-за зиявшей «недохватки» мужчин.

Помню его рассказ о своих соседках по коммунальной квартире на Университетском проспекте, их несбывавшихся надеждах даже на то, чтобы хоть на праздник залучить в свою компанию кого-либо из «сильного» пола, и печальных посиделках.

А как пронзительно стихотворение Слуцкого «Мальчишки» — о первом, не тревожимом заводским гудком мирном сне ребят, не по возрасту рано вынужденных встать к станку:

Мальчишки в форме ношеной,  
Шестого срока минимум.  
Они из всей истории учили подвиг Минина

И отдали отечеству не золото-серебро —  
Единственное детство,  
Все свое добро.

Не миновала поэта и трагедия разочарования в «реальном социализме», подменившем изначально благородные идеи. Трагедия многолетних надежд на оздоровление общества. Какой страдальный путь угадывается между строками: «Ожидаемые перемены окочачиваются у ворот» и более поздними: «В ожидании перемены жизнь, как есть, напролет прошла». Или еще такими:

Эта песенка спета.  
Это громкое «да!»  
тихо сходит на «нет».

Я цветов не ношу,  
монумент не ваяю,  
просто рядом стою,  
солидарно зияю  
с неоглядной,  
межзвездной почти  
пустотой,  
сам отпетый, замолкший, поблекший, пустой...

Он как-то выразил надежду, что люди его поколения нет-нет да обмолвятся его строкой. Но думается, что многие даже из следующих читательских волн расслышат его благородную боль за всё, что было пережито его страной и народом.

Не знаю, великий он или не великий. Знаю, что он — из тех, кого ровесник называл «золотыми ребятами сорок первого года», а его имя — одно из драгоценных имен русской поэзии.

## РЕЗКАЯ ЛИНИЯ

До студенческого общежития в Останкино и до института в Сокольниках доходили слухи: студент-юрист, угловатый в движениях, не обученный приличным манерам, режет правду-матку, кажется, Слуцкий, кажется, Борис, кажется, из Харькова. Походка уверенная. Стихи крепкие. Выступает в различных домах. К обеду, к ужину, в полночь. Можно не за столом, а в креслах или на стульях, можно на кухне. Годится любая аудитория. Быстро налаживается контакт с отдельным слушателем, с человеческим множеством, особенно с молодежью.

Впервые вижу и слышу его в сороковом году в Клубе Московского университета. Выступает вместе с Лукониным и Кульчицким. Были ли другие выступающие, не помню. Слуцкий подошел к трибуне быстро, уверенно и стал читать голосом убежденного в своей правоте человека, четко, угловато, немного по-прокурорски. Никаких сантиментов. Резкий жест. Резкий переход от торса к шее, от шеи к голове.

Он читал стихотворение «Инвалиды».

На Монмартре есть дом, на другие дома непохожий,  
Здесь живут инвалиды, по прозвищу «гнусные рожи».  
Это сказано резко, но довольно правдиво и точно.  
Их убогие лица настолько противны природе,  
Что приличные дамы обычно рожают досрочно  
При поверхностном взгляде на этих несчастных уродин!  
Это сказано резко, но довольно правдиво и точно.

Слуцкий читал наизусть, и вслед за ним через несколько строк повторял я рефрен, который с легкостью можно обратить к нему самому: «Это сказано резко, но довольно правдиво и точно».

Резко. Правдиво. Точно. Три пункта молодой эстетической программы Слуцкого. Кстати, они остались на всю жизнь.

Стих — графически определенный, шершавый, если глядящий, то против шерстки. Понравился. Сказал ему об этом тогда же.



Знакомство началось со стихов. С его дружелюбно-недоверчивого взгляда. С его броского «надо встретиться!».

Я предсказал ему, что долгое время он будет устной словесностью.

— Не пугает. Надо определиться. Что пишешь? — сразу начали обращаться друг к другу на «ты».

— Надо прочитать. В пересказе стихи не существуют.

Вскоре прочитал.

— Мы антиподы, но врагами, кажется, не будем.

Так оно и случилось.

Большая, старомодная, затененная квартира Самойлова на Мархлевского, с выходом на улицу Кирова, в Кривоколенный переулок, к Лубянке. Здесь мы втроем — Самойлов, Слуцкий и я — подолгу говорили о литературе, отшучивались, ссорились. Нас кормила молчаливая красавица Ляля, жена Самойлова, привыкшая к тому, что эта квартира — проходной двор.

Самойлов, которого я пристрастил к переводам, возился со своими албанцами. Слуцкий к переводам еще не подошел, за ним тянулась война, он одолевал ее стихами. Они шли густо. Борис едва справлялся с этой лавиной. Завел гроссбух для стихов. Не альбом, а именно гроссбух. Из одного стихотворения рождалось другое.

Умел слушать. Я охотно читал ему. Он говорил тут же — строго, резко, беспощадно, порой безапелляционно.

— Это на четверку с плюсом. А это заслуженная тройка.

— Здесь надо оставить две строки.

— Не сложилось.

— Много берешь на себя, — не выдерживаю, выпаливаю. Однажды я прочитал Борису цикл пейзажей. Он ничего не ответил. Назавтра прочитал свой стихотворный ответ на мои пейзажи:

Солдату нужна не природа,  
Солдату погода нужна...

У него крепкая красная широкая шея. Как у римских императоров и харьковских сапожников. Он сам говорит об этом:

Много сапожников было в родне,  
дядями приходившихся мне —  
близними дядями, дальними дедами.  
Очень гордились моими победами,

словно своими и даже вдвойне,  
и угощали, бывало, обедами.

Не было в мире серьезней людей,  
чем эта знать деревянных гвоздей,  
шила, и дратвы, и кожи шевро.

.....  
Их, что отбросили долгую тень  
на мою жизнь, забывать мне негоже.

У Бориса резкая линия, упрямая линия идет от затылка к шее, от темени к спине. Упорство, сила, непреклонность.

Он прав: «Немаловажно, с каких книг начинаешь». Слуцкий начал с Михаила Илларионовича Михайлова и Маяковского. После этого Пушкин и Лермонтов казались отклонением от настоящей поэзии. «„Демон“; наверно, и сейчас кажется отклонением», — пишет Слуцкий.

Важное признание!

В зрелые годы он отлично знал и Пушкина, и Лермонтова, мог участвовать в спорах специалистов. Но особенности воспитания сказались на всем облике Слуцкого, на всех его стихах. Не обязательно они должны напоминать о Михайлове и Маяковском. Но что-то в них «не так», как положено при нормальном, что ли, классическом воспитании.

С точки зрения филолога-классика, словесника-каноника, стихи Слуцкого могут быть признаны не стихами. Чем-то другим. Ближким к прозе, к публицистике, к трибуне и к газете. Но, к счастью, не филологи-классики и словесники-каноники, не только они решают судьбы поэзии.

Лучше других понимал, что ему и поэтам его круга нужна не только грамотность, нужно образование, и не только высшее, но особое. Нужен культурный ценз не ниже поэтов-предшественников. Знание языков, истории, философии. Он требовал от себя и от своих друзей знания не только Маркса и Энгельса, но и Гёгеля, Канта, Фихте, Шеллинга. Не в пересказе и цитатах, а в оригинале. Иначе — нельзя работать в современной поэзии.

Помню: несет под мышкой «Закат Европы» Шпенглера.

— Читал?.. То-то же...

Если рисовать голову Слуцкого обычными, малого и среднего нажима штрихами, то эту линию — от затылка к шее — надо делать подчеркнуто резкой, жирнотушевой.

Такие люди не гнутся.

Таких можно сломать. Трудно, — но можно.

Как показала жизнь, он был сломлен.

Он любил бывать и часто бывал в Гюлицыне, на даче, которую мы из года в год снимали. Здесь он перезнакомился со многими дачниками и жителями Дома творчества: Благинина, Оболдуев, Арго, Рита Райт, Петровых, Тынянова, Поступальская, Живовы, Гребнев, Ангарова. Стихи свои читал всем им охотно и часто. Упрашивать долго не надо. Я при этом присутствовал. От многократного прослушивания я многое знал наизусть.

Резкость бывает грубостью, бывает четкостью, бывает определенностью. Профили кисти Дюрера и Гольбейна четки. Классически-образцово четки.

Когда я называю словесную линию Слуцкого резкой, я имею в виду именно это — четкость. Он не любил размытости акварели, туманности символистов. Ему нужна была внятность до резкости.

Поначалу чтение стихов сопровождалось взмахом руки, словно бы держащей молоток и забивающей гвоздь по шляпку. Со временем этот жест смягчился, а потом был и вовсе отменен. В самом слове содержался жест.

Оба мы сходились на том, что поздние стихи Волошина о гражданской войне, о терроре — лучшее из написанного в эту эпоху и об этой эпохе.

Любуясь Волошиным, читали друг другу его стихи. Когда у нас напечатывают их? Это время казалось далеким — полстолетия по крайней мере. Слуцкий не отрицал влияния на него Волошина, конечно, не «Демонов глухонемых», а стихов позднего периода, которые напечатаны с таким опозданием, уже после смерти Слуцкого. Но он их знал отменно по машинописи, которую давал и мне.

Вынужденно менял он места жительства... Койки, углы, комнаты. На срок. Разные типы «хозяев». Со вкусом рассказывал о нравах хозяев. Четкие, немногословные характеристики. С некоторыми из них дружил. Уставал от переездов, но не жаловался. Вообще при всех болезнях, треволнениях Борис никогда не жаловался. Был подтянут, внимателен, прямодушен в общении,

Один-два раза он помог мне перевезти мою мать и моих сестер с одной чужой квартиры на другую чужую квартиру. На все неудобства переезда, перепрописки он смотрел как профессионал,

часто ему приходилось переезжать. Транзитный москвич, он любил Москву и знал ее.

Мы нередко встречались у Ильи Эренбурга. Мы любили слушать этого круглосуточно бодрствовавшего человека. Всегда озабоченного. Чрезмерно занятого. Был такой эпизод. В прессе появились разнородные статьи о Цветаевой. Особенно неистовствовал И. Рябов в «Правде».

Дело в том, что Эренбург готовил книгу Цветаевой и написал к ней предисловие. Он поспешил напечатать его задолго до выхода книги. Статьи в прессе направлены на то, чтобы сорвать выход книги. И выход книги был сорван. Эренбург вызвал Слуцкого, Межирова, меня и просил нас, каждого в отдельности, заступиться, не за него — за Цветаеву. Каждый из нас должен был связаться с кем-либо из тогдашних корифеев и убедить его написать хотя бы небольшую статью в защиту Цветаевой.

Меня просили связаться с Твардовским. Вскоре я был у Александра Трифоновича.

— А что я могу сделать? Ты думаешь, что я могу повлиять на ход событий? Время свое дело делает. Без прессы, без шума имя будет восстановлено. Наберись терпенья.

Так никто и не откликнулся. Но время свое дело сделало...

Юбилей свой Эренбург не пожелал отмечать в Центральном Доме литераторов. Он предпочел Литературный музей. Было сказано много интересного и важного. Количество приветствий не поддавалось подсчету. Мне Эренбург показал длинную телеграмму Михаила Шолохова. Она была выдержана в дружелюбных тонах, никак не показанных в прессе. Сожалею, что тогда не писал текста телеграммы. Помню только, что Шолохов обращался к юбиляру по имени «Илья» и заверял в своем добром отношении.

Со Слуцким много лет беседовали мы на историко-литературные темы. Беседы за полночь. С продолжением на следующий день. Он был начитан и держал в голове множество произведений и имен. Его занимали литературные репутации. Как складываются, как меняются, как исчезают.

Однажды мы заговорили на деликатную, хотя с виду и честолюбивую тему: на какого из русских писателей прошлого всего больше хотелось бы походить. Одно имя, другое, пятое, двадцатое. Недостигаемо. Невозможно. И вдруг почти одновременно мы оба воскликнули:

— Короленко!

В чем дело? Нет глубины Достоевского, широты Толстого, тонкости Чехова. Но именно он — Короленко. Стали выяснять и оказалось: бесстрашие, совестливость, действенная доброта, прямота. Вспомнили его письма к Луначарскому, в которых он может сравниться разве только с Герценом. Эти письма у нас напечатаны с огромным опозданием, но все же произвели сильнейшее впечатление.

Итак, Короленко. В нашем выборе оказалось не только личное пристрастие, но и общественная потребность той поры, когда мы вели беседу. Это было в начале 70-х годов.

В число едущих в Литву на дни русской поэзии я рекомендовал Слуцкого. С нами ехали Светлов, Тушнова, Старшинов. Я рекомендовал включить в эту бригаду и Слуцкого. Он согласился.

В Литве Слуцкий оживился. Я познакомил его с литовскими поэтами, в частности с Межелайтисом. Они подружились. Слуцкий скомпоновал его книгу «Человек», с несколькими друзьями перевел ее. Обо мне забыл. Я не напоминал. Когда книга вышла и имела большой успех, Слуцкий сказал мне:

— Это было свинство с моей стороны, я не пригласил тебя переводить Межелайтиса.

Лет через десять после этого при подготовке книги того же Межелайтиса «Алюлюмай» я, преодолев обиду и поборов злопаметство, пригласил Слуцкого участвовать в переводе книги.

— Ты должен был отомстить мне. — И он повторил давнее. — Ведь тогда я поступил по-свински...

Я ничего не ответил. Слуцкий перевел стихи для «Алюлюмай».

В 1964 году, когда мне исполнилось пятьдесят лет, Слуцкий в газете «Труд» напечатал о моей работе небольшую, но внятную статью. Она была безусловно дружелюбна. Это была рука друга, решительно протянутая в мою сторону. Слуцкий советовал мне оторваться от текучки и писать свое.

Он искал способа приложения сил. Его стихи не печатались. Он искал переводы. Я привлек Слуцкого к переводу стихов Тычины, рекомендовал его Семену Липкину, готовившему антологию татарской поэзии. Постепенно он втягивался в эту работу, обретая в лице разных редакторов — своих друзей, в лице друзей — своих доброжелателей.

На серьезное Слуцкий часто реагировал неважно, походя, шутливо. Вместо просьбы прочитать новые стихи говорил — так, между прочим:

— Какие духовные ценности можем показать?

- Что показывает биржевой листок?
- Что можем положить на бочку?
- Услышу ли сегодня какие-либо из маловысокохудожественных произведений?

Иногда после паузы добавлял — другим, уже деловым, дружеским тоном:

- Прочитай строк двадцать, послушаю. Не больше двадцати. И в ответ сам читает.

Так впервые я услышал «Кельнскую яму», «Хуже всех на фронте пехоте», «Писаря», «Все спали в доме отдыха» («Мальчишки»), «Память», «Баня», «Лошади в океане» и многое другое.

Мы хотели обменяться посланиями.

Напряженный человек, человек, со всех сторон тесным бытиями, прошлым, замыслами, политикой, юриспруденцией, версиями, теориями, осколком, оставшимся в теле, невниманием издательств, дурными предчувствиями, как мог боролся со всем этим. И писал, писал, писал в свой гроссбух. Писал стихотворную летопись, мысленно запихивая ее в бутылку, которая должна будет выплыть в будущем.

Любимец Литвы, художник и композитор Чюрленис, был объявлен модернистом и декадентом (тогда это звучало, как брань), отцом абстрактного искусства. О нем не упоминали, музей его закрыли. Хлопоты деятелей литовской культуры не принесли результатов. Тогда, в дни русской поэзии в Литве, к нам неофициально обратился Антанас Снечук с предложением: от имени русских поэтов написать в центральных газетах, выступить по радио со словом о Чюрленисе. Мы откликнулись на это разумное предложение. Для нас было честью принять участие в восстановлении справедливости в отношении Чюрлениса. Мы горячо взялись за дело. Слуцкий принял в этом деле самое живое участие. Доброе имя Чюрлениса было восстановлено. Это было наше с литовцами совместное культурное дело.

— Думаю, что это запомнится на всю жизнь, — говорил Слуцкий, испытывая удовлетворение от сделанного сообщения.

Он хотел оседлости. Но кочевал. Из угла в угол. Из комнаты в комнату. Знакомства его множились, хотя быт не улучшался. Чужие жизни, сюжеты, характеры. Он запоминал подробности быта, черты характера тех или иных людей, острые словечки. Собирались записывать притчи и анекдоты, в которых отражалось время, но так и не знаю, сделал ли он это.

Я в комнате, поросшей бытнем  
 чужим,  
 чужой судьбиной пропыленной,  
 чужим огнем навечно опаленной.  
 Что мне осталось?  
 Лишь ее объем.

Комнаты просить — не просил ни у кого. «А мой хозяин не любил меня». Бездомности он хлебнул вволю.

Когда 23 июня 1959 года в «Литературной газете» появилась моя статья об Ахматовой, преданной анафеме, еще опальной и ошельмованной, Слуцкий приехал ко мне и, переступив порог, крепко пожал мне руку.

— Это событие. Только что мы говорили об этом с Межировым, Самойловым, Петровых, Мартыновым. Все так считают. Спасибо. — Крепкое резкое пожатие руки.

После войны у Слуцкого было настроение, выраженное в таких его строках:

Когда мы вернулись с войны,  
 Я понял, что мы не нужны...

Это настроение многих воинов. Об этом в свое время Эренбург сказал мне: «Я думал, что буду не нужен через две недели после войны, а оказался ненужен за две недели до окончания ее».

Это сказано по поводу статьи Александрова «Товарищ Эренбург упрощает». Слуцкий знал эти слова Эренбурга.

В Большом Зале ЦДЛ заседали поэты. О поэтах грешно говорить «заседали». Но по-иному и не скажешь. Сурков в своем вступительном слове на заседании заявил, что война дала поэзии много прекрасных стихов, все уже сказано, а сейчас нет ничего подобного, нет никого, кто заставил бы себя слушать. Исчерпаны краски.

В прениях я отвечал Суркову. Возражал ему. Он не прав. Есть краски, есть люди, которых можно слушать. Но места для них нет. Не пускают. Вы не пускаете.

Сурков обиделся. Обида генсека опасна. Съест с потрохами.

— Кого вы можете назвать? — спросил он, напирая на «о».

— Имени не назову, сперва прочитаю стихи. А вы можете судить, каковы стихи.

Я прочитал несколько находившихся при мне стихотворений. Овация. Потом я назвал имя автора. Слуцкий отводит меня в сторону:

— Я никогда в жизни не забуду этого.

Приучал себя к односложным ответам, репликам, высказываниям. После многословного периода собеседника резко отвечал:

— Вполне посредственно.

— На крепкую троечку.

— Было!

— Ловкачество!

— Показывать людям нельзя.

И многое другое в том же духе.

Любил повторять запись из книжки Ильфа: «Широко известен в узких кругах». Особенно эта формула его увлекала в ту пору, когда он был устной словесностью.

Широко известен в узких кругах,  
Как модерн старомоден,  
Крепко держит в слабых руках  
Тайны всех своих тяготиин.  
Вот идет он, маленький, словно великое  
Герцогство Люксембург,  
И какая-то скрипочка в нем пиликает,  
Хотя в глазах запрятан испуг.

Антиномия, противоречия, взрыв смысла: «широко известен в узких кругах» и «маленький, словно великое».

Слуцкий вобрал в себя это достижение художественной мысли. У Маяковского: «если б я ниц был, как миллиардер», или — у него же — «если бы я был маленьким, как Великий океан».

В моей книге статей «Работа поэта» в очерке о Слуцком я называю некоторые его стихи «трагическим плакатом». Борис обиделся, считая, что он далек от плаката. Но я просил обратить внимание на эпитет — «трагический». Не помогло. Был обидчив, хотя сам умел обижать.

Сельвинского считал учителем, («Учитель! К счастью ль, к сожаленью, учился — я, он поучал»).

Я лекции за ним записывал,  
Он выставял отметки мне.

и далее:

Мы отвечаем друг за друга.  
Его колотят — больно мне.



Он не только восхищается — он рассуждает: «Сельвинский — брошенная зона геологической разведки, мильон квадратных километров надежд, оставленных давно». Замысловато. Видно, много раздумывал Слуцкий над судьбой и наследием своего учителя.

Дома, в Лаврушинском, мертвый Сельвинский лежал на скамье. Вошедший в квартиру Слуцкий, ни с кем не здороваясь, направился прямо к Сельвинскому и поцеловал его в лоб.

Он боялся сантиментов, восторгов, радушия. Но бывали минуты, когда чувствовал себя ответственным за гуманность нашего общества. Воспитанный на доктринах ненависти, классовой борьбы, на словах «корифея науки» о «вражеском окружении» и бдительности, Слуцкий давал волю своей благоприобретенной прокурорской сухости. Он иногда делал поклон в сторону высокого начальства. «А мой хозяин не любил меня» — это о Сталине, которому Борис отвечал взаимностью, т. е. тоже не любил его. Десятилетие Хрущева предлагал назвать «великим десятилетием» и создать о нем коллективную книгу. Речь на XX съезде определила отношение к Хрущеву многих, в том числе Слуцкого. Он воспрянул духом.

Любил открывать художественные выставки — главным образом молодых неизвестных художников. На одном таком открытии выставки он сказал:

— Желаю художнику всегда иметь большие стены и то, что на них следует вешать.

Музыку обходил молчанием. На прогулке обмолвился:

— Мне медведь на ухо наступил. Ну что ж, тебе музыка, а я еще поищу кое-кого из живописцев, открою Тициана.

Признается:

Все умел.

Не умел созерцать.

Не гордится этим, а хочет понять природу этой непривычки к созерцанию. И вот как тонко понимает:

Не хватало спокойствия, сосредоточенности,  
не хватало умения сжаться и замереть.

Не хватало какой-то особой отточенности,  
заостренности способа  
видеть, глядеть и смотреть.

Добавить к этому нечего.

Если мы не изобразим, не выразим наше время, то кто же это может сделать? Так рассуждал Слуцкий. У иных все кончается на этом — на рассуждении. А Слуцкий делал — изображал и выражал.

Как это выглядит?

Конный базар, утиль, анкеты, бритвенные лезвия, кнопки, портянки, смывка киноплёнки, почерк, баня и многое другое.

Слуцкий стремился делать предметом поэзии дотоле непоэтическое. Все может стать поэзией, если к новому материалу прикасается поэт. Возможно ли было прежде, до нас, такое явление — ребенок для очередей. Его берут взаймы, чтобы пройти без очереди.

— Простите, извините нас.  
Я рад стоять хоть целый час,  
Да вот малыш, сыночек мой,  
Ребенку хочется домой.

И — проходит вне очереди. «Один малыш на целый дом». Явление, которое мы все наблюдали, но только один Слуцкий его запечатлел.

Как будто некий чародей  
Тебя измазал с детства лжой,  
Ребенок для очередей —  
Ты одинаково чужой  
Для всех, кто говорят: он — мой.

Еще никогда не было экскурсий по Москве для транзитных командировочных. У них 2–3 часа времени. Их возят в «Икарусе» по столице. Они в изумлении стоят перед квадригой на Большом театре.

Здрав башку и тщетно сиясь  
Запомнить каждый новый вид,  
Стоит хозяин и кормилец,  
На дело рук своих глядит.

Слуцкий подмечал именно то, чего не было прежде, и чего, быть может, не будет завтра. Он летописец. Он хочет оставить потомству свою летопись.

Он был занят чужими судьбами. Кочевавший из угла в угол, с квартиры на квартиру, он быстро вбирал в себя черты облика, судьбу, помыслы и поступки владельцев этих углов и квартир. Не только их. У него было множество знакомых среди ученых, юристов, литераторов, живописцев, газетчиков, актеров.

Вот и проросла судьба чужая  
сквозь асфальт моей судьбы,  
истребляя и уничтожая  
себялюбие мое.

На такое нагладишься, такого наслушаешься, что себя забываешь. К этому надо добавить живой интерес к информации, поступающей по радио, от людей, из газет. Он наполнялся заботами мира и истреблял и уничтожал себялюбие — редкое у поэтов явление.

Он не только смотрел. Он видел. Из этого видения рождалось предвидение.

Все меньше решающихся на решение.  
С принятием ответственности — беда.  
Все чаще становится отложение  
вопросов  
на день, на год, навсегда.

Не надо устанавливать даты этого стихотворения. Оно написано только что.

Мы ходим в Лавку писателей на Кузнецком «пропивать полученное». Это было действие, необходимое душе. Борис любил и ценил книги. Но строго отбирал их. С годами, беря в руки книгу, повторял четко, без элегических ноток:

- Эту я уже не успею прочитать.
- Почему?
- Знаю. Время поджимает.

Умолкал, перебирая книги, сортировал. Первого сорту мало, очень мало.

Однажды в Лавке писателей он пробрался сквозь толпу и, не поздоровавшись, спросил:

- Как Софья Григорьевна?

Он был знаком с моей матерью. Она тяжело болела. Борис попросил мою записную книжку, раскрыл ее и сделал запись: «Желаю Вам быстрого и окончательного выздоровления».

О смерти говорил мало, но сильно. Готовил себя к смерти с давних времен. Обращался к судьбе:

Отзови ты меня в сторонку,  
дай прочесть мою похоронку.

Осколок в ключице. «Полтора на полтора». Кончилась война, а в организме человека, в его ключице война продолжается.

Продолжается война,  
вроде ни к чему она,  
но ее врачам не вынуть  
и хирургам не извлечь.  
С нею мне и жить и сгинуть,  
без нее ни сесть, ни лечь.

Дичайшие головные боли. Терпел. Редко говорил о них. Молчал, сжав зубы.

В «Литературной Армении» (№ 5, 1989) я прочитал цикл из четырех стихотворений Бориса Слуцкого и несколько раз проверял себя: он ли это? Он. Это ли он? Он.

Я услышал из его уст несвойственное ему — молитву:

Господи, больше не нужно.  
Господи, хватит с меня.  
Хлопотно и недужно  
день изо дня.

Если Ты предупреждаешь —  
я уже предупрежден.  
Если Ты угрожаешь —  
я испугался уже.  
Господи, неужели  
я лишь для страха рожден?  
Холодно мне и суетно  
на роковом рубеже.

Такого Бориса Слуцкого я не знал. Можно ли было ждать от него молитвы? Нет! Антирелигиозник 30-х годов, интеллектуал, физик и лирик без божества, политработник, юрист. Отсюда жанры: этюд, рапорт, инвектива, все что угодно, только не молитва. Истрадался. Все перепробовал. Хотел спасти душу.

В его натуре, в посадке его головы, в жестах была отработанная годами собранность и естественность. Он интересовался не только собой, он не хотел быть нянькой своей души. Его интересовало все то, что было не им, что жило вне его, оттого его лирику можно назвать объективной. Эпическая лирика. Название условное, но оно должно подчеркнуть интерес к тому, что происходит в мире, в людях, в близком и далеком окружении.

Асеев, прерывая общий разговор:

— Забавно сказано у Слуцкого: «Сперва я был политруком, ну а потом я стал попом». Это не только о себе. Каждый из нас может к себе отнести эти слова.

Отталкиваясь от образа Сталина, он много думал о природе тирании. Он много думал о «хозяине». Можно было бы составить большую подборку стихов, которые сейчас получили название антисталинские и которые Слуцкий писал тогда, когда на эту тему вслух не говорили.

Смерть Сталина описана многими. Слуцкий сказал свое и своему: ночные улицы, где же на них скорбь? неожиданный ответ:

Москва была не грустная,  
Москва была пустая.  
Нельзя грустить без усталы.  
Все до смерти усталы.

Наблюдение верное и не устаревшее. «Все до смерти усталы».

В Центральном Доме актера в «Устной библиотеке поэта» я задумал вечер Семена Липкина, который в ту пору был известен как переводчик и никак не воспринимался как сильный оригинальный поэт.

Липкин читал лирику и поэмы. Вечер предварил вступительным словом Борис Слуцкий. Я ему много раз предлагал вечер в ЦДЛ. Он отказывался. А тут в качестве автора вступительного слова он сразу согласился. Речь краткая, лапидарная, точная по характеристике. Речь, давшая вечеру настрой. Это было устное эссе. Угловатое, точное, некомплементарное.

Вечер удался на славу. На вечере присутствовала Анна Ахматова. Это придало вечеру значительность.

Меня подчас коробила и корежила его немелодичность, его антимилодичность, его зависимость от шлама разговорной речи, от нежелания отбирать: «но этот повышенный сработал надлитературный процесс» или «двадцать три приблизительно через

года — следующий век...» Ужасала меня рифмовка — далеко не всегда, но ужасала.

Он отбирал слова по-своему. И музыка у него своя. Это не мелодизм Чайковского и Рахманинова, а — допустим такое сравнение — колючая ирония Прокофьева и смятение чувств Шостаковича.

К Слуцкому надо привыкнуть. Из отобранного им отбирать свое. Впрочем, это применимо и к другим поэтам.

Он писал:

Нелюдские гласы басов,  
теноров немужские напевы —  
не люблю я таких голосов.  
Девки лучше поют, чем девы.  
Я люблю не пенье, а песню,  
и не в опере, в зальную тьму —  
в поле, в поезде, в дали вешней,  
в роте и — себе самому.

Это сугубо *слуцкое* стихотворение: «Девки лучше поют, чем девы». «Я люблю не пенье, а песню». Что же, кантилена, бельканто, классический распев не для него. Это видно не только по декларациям — по стихам.

У него для каждого человека был заготовлен вопрос. Он следовал после «Здравствуй!»

- О чем шумят народные витии?
- Ну как романы и адюльтеры?
- Какие будут указания?
- Есть ли порох в пороховницах?
- Что сделано для славы и бесславия?

В молодые годы он принимал Хлебникова и Маяковского, не принимал Пастернака. Отдавал ему должное, но не бредил им, более того — зная тексты, не разделял нашего восторга. Не его поэт. Только и всего.

Мы говорили о так называемом чувстве нового у Слуцкого. Здесь важно одно уточнение, которое делает он сам:

В конце концов не нового же мы,  
а лучшего, не уставая, ищем,  
и радуемся гибели зимы,  
и соловью вослед тихонько свищем.

Не нового, а лучшего. Не нового в искусстве, а лучшего в жизни. Это существенное уточнение.

Не дожил Слуцкий до прозы, которую много читал, любил, готовился к ней. Зато в его стихах много прозы — не только крупницы («прозы пристальной крупницы»), но и целые глыбы.

Есть проза поэта.

Есть стихи прозаика.

Слуцкий явил миру нечто третье, непередаваемое в слове. Поэт и прозаик в нем соединились.

Его сознание было всегда настроено на волну политики. Он жадно жил новостями. Любил, чтобы ему сообщали то, чего он не успел узнать. Читать газеты и застревать на них было жизненной потребностью.

Напомнил я Борису стихи Цветаевой:

Читатели газет —  
Потатели пустот.

Он махнул рукой и отвернулся. Устыдился? Ему это не было свойственно.

С охотой переводил Брехта. Объяснил — почему с охотой. Приятно переводить автора, который умнее тебя. Переводишь и учишься.

Разговор о тщеславии и честолюбии. Тонко отличал одно от другого. Честолюбие — выше рангом. Оно не такое суетное, как тщеславие. Оно не стоит в очередях и не дышит в затылок соседа впереди.

Вдвоем со Слуцким ходили к Мартынову. Вместе с Мартыновым ходили к Асееву. Вместе с Асеевым никуда не ходили. Все вместе бродили по взгорьям и долинам русской поэзии. Увлекательные путешествия. Иногда прерывали их (на привале) чтением своих стихов. Начинал Асеев. Он щедро одарял нас Соснорой.

Асеев верил в то, что мы самые лучшие, передовые, совершенные. Слуцкий не верил, что мы самые лучшие, передовые, совершенные, что с нами окончатся все беды человечества.

Сказывалась разница в возрасте и воспитании.

Скоро мне или не скоро  
в мир отправиться иной —  
неоконченные споры  
не окончатся со мной.

Это — Слуцкий, понимавший, что «несокрушимое единство» ненадежно. Он чувствовал себя звеном в цепи. Звено хочет осознать свое место и значение. Надрывается — хочет осознать, но — не может. Нужны еще годы жизни, а где их взять?

Он писал много, систематически, впрок. Отбирал строго.

Лучше этот стишок вручу —  
для архива, не для печати.

Уничжительное «стишок» — о себе. Помнил об архиве.

Теперь Слуцкий публикуется густо. Рядом со стихами высокого класса попадают проходные. Этого не надо пугаться. Это бывает со всеми.

Слуцкий, вероятно, недоработанные свои стихи либо доработал, либо отверг. Это право автора.

Так ли это? Думаю: в манере Слуцкого — незавершенность, явное, почти программное нежелание окончательно отделять. Порода камня должна чувствоваться. Не вся его поверхность нуждается в шлифовке. Хорошая часть остается неприкосновенной. Слуцкий хочет, чтобы чувствовалась порода его поэтического камня. Вот почему некоторые беловики его кажутся черновиками. Но, если говорить всю правду, попадают и черновики.

Это происходило после войны, в конце сороковых — начале пятидесятых годов. Борис Слуцкий, ежегодно перечитывавший «Евгения Онегина», однажды сказал (дело происходило на улице Мархлевского, где жил тогда Самойлов):

— Давайте, поначалу втроем, ежегодно одну нашу встречу целиком посвящать «Онегину». Мы не пушкинисты, мы писатели, вернее — поэты, еще вернее — читатели, будем говорить о том, что всего интересней для нас.

Не ручаюсь за точность приведенных слов, но смысл высказывания передан точно. Самойлов заметил:

— Пройдет полгода, и мы забудем об этом замысле. Затея старомодная, но ничего — Пушкин вытерпит и это...

— Я напомним, — строго ответил Слуцкий.

Мы договорились, и через год Слуцкому незачем было напоминать о нашем замысле. Мы читали. Мы сошлись для беседы.

Самойлов пожаловался, что читать «Онегина» хотя и упоительно, но читаешь глазами то, что почти целиком знаешь



наизусть. Трудность нового чтения заключается, как это ни странно, в его легкости. Все идет, как по накатанной дороге. Этой накатанности надо бояться, как боится водитель задремать (в силу той же накатанности дороги). Углубляться в стихи, которые с детства живут в тебе самом, очень трудно. Останавливаешься. Переводишь дыхание.

Это была удача: поставить в центре беседы «Евгения Онегина» и обо всем прочем говорить только в связи с ним. Оказалось, что это не только возможно, это необходимо. «Онегин» выдержал нагрузку несвойственного ему житейского содержания. Все это можно было бы выразить четверостишием, которое я услышал после наших бесед, уже в шестидесятые годы из уст Анны Андреевны Ахматовой:

И было сердцу ничего не надо,  
Когда пила я этот жгучий зной.  
«Онегина» воздушная громада  
Как облако стояла надо мной.

Эти строки написаны в июне 1964 года и вошли в цикл «Вереница четверостиший» (книга «Бег времени»).

Рассказал Анне Андреевне о наших со Слуцким и Самойловым собеседованиях. Она одобрительно кивнула:

— Понимаю: у меня это происходило чаще.

Не раз Анна Андреевна возвращалась к «Онегинской» теме, к одному из самых волновавших ее аспектов: судьба «Онегина» — судьба русского романа в стихах. Пушкин своим произведением на многие десятилетия лишил поэтов возможности возвращаться к этому жанру. Решительная победа Пушкина обернулась безмолвием и пустыней. Так ли это? Возможно, «Онегин» открыл доступ к психологической прозе — от «Героя нашего времени» до «Отцов и детей». Возможно, был найден секрет семейно-бытовой повести? Всякий раз приходили все новые и новые ответы на эти вопросы.

Так или иначе, воздушная громада «Онегина» стояла над всем двадцатым веком, оставив некие доводы и догадки для следующего, двадцать первого века.

У всех троих, Слуцкого, Самойлова и меня, были при всей разности литературных судеб одинаково трудные выходы в печать. Печатание каждой строки давалось мучительно. И многое у нас выходило в свет с большим опозданием.

И тут уместно вспомнить о нашем собеседовании на щепетильную тему: рукопись становится книгой. «Евгений Онегин» по мере написания выходил в свет по главам и, когда был завершен, вышел отдельной книгой и перепечатывался.

Читающая публика узнала и полюбила «Онегина» вскоре после того, как Пушкин написал его. Молодые люди того времени подражали герою романа. Он участвовал в становлении их характеров.

После Онегина стали появляться более или менее близкие ему по духу герои других авторов: Печорин, Базаров, Рудин, Лаврецкий — целая галерея так называемых «лишних людей». Это коронные действующие лица большой русской литературы. Они оказывали самое действенное влияние на новые поколения людей России.

Допустим, случилось бы так: роман Пушкина не был бы издан. Допустим, он был бы найден в архиве и открыт в начале двадцатого века исследователем из славного племени пушкинистов. Было бы признано, что найдено еще одно гениальное произведение. Оно было бы издано и переиздано, о нем появилось бы много монографий. Хорошо! Но не было бы того, что было: долговременного бытования романа в русской жизни, теперь можно сказать — в русской истории. Мы делали решительный вывод: достойное печати произведение должно выходить своевременно. Опоздание с выходом его — ущербно.

Я приводил в доказательство этой простой мысли множество фактов, почерпнутых в истории русской литературы нашего столетия. Они теперь становятся известны всем.

Через некоторое время после кончины Бориса Слуцкого мы встретились с Давидом Самойловым в Вильнюсе на совещании переводчиков. Мы вспомнили о многом и многих, в том числе наши беседы об «Евгении Онегине». Без Бориса, оказалось, нам будет невозможно продолжать нашу серию «Ежегодный Онегин». Она оборвалась.

Чаще всего Слуцкий обращался к воспоминаниям о поездке в Италию. После Италии долго рассказывал о ней, о себе, о Заболоцком, с которым находился в одном номере («У пригласивших было мало денег, и комнату нам сняли на двоих»).

Он подружился с Заболоцким. На похоронах его Слуцкий произнес глубоко прочувствованное слово.

С Мартыновым дружил долго. Начиная со времен Сокольнической, 11. Встречались часто. Когда Мартынов умер, Слуцкий

тяжело болел. Он никого не хотел видеть. Все мы гадали — в чем дело? Он хотел умереть, сутками лежал лицом к стене. Причин его болезни много, объяснений еще больше. Смерть жены его Тани, металл в ключице, двигавшийся в организме осколок. И еще. Раньше, во время войны, он мог сказать:

Я говорил от имени России,  
Ее уполномочен правотой,  
Чтоб излагать с достойной прямою  
Ее приказов формулы простые,  
Я был политработником. Три года —  
Сорок второй и два еще потом.

В позднюю свою пору он уже не мог говорить «от имени России». Изменилась обстановка. Он говорил только от своего имени. Ему было обидно. Он хотел быть полезным. Ему напоминали:

Еврей хлеба не сеют,  
Еврей в лавках торгуют,  
Еврей раньше лысеют,  
Еврей больше воруют.

Его сокрушал набравший все большую силу антисемитизм. К этому добавилось выступление (совместно с Мартыновым) на заседании, клеймившем и изничтожавшем Пастернака. Его вынудили выступить. Все вместе взятое плюс еще неизвестное нам, соединившись, создало невыносимую для его жизни ситуацию. Проявлявший интерес ко всему и ко всем, Слуцкий потерял этот интерес.

На похоронах Мартынова он подошел ко мне, крепко пожал руку.

- Здравствуй, Лева!
- Приходи, поговорим, — начал было я.
- Нет, не могу, нет сил... — и отошел.
- Отошел — и вскоре — навсегда...

*Из книги: Л. Озеров. Поздняя оглядка.  
М.; СПб., 1998.*

## **КРАТКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ О СОРОКАЛЕТНЕЙ ДРУЖБЕ**

Я познакомилась с Борисом Слуцким в ноябре 1945 года, когда он приехал в отпуск из Австрии, где продолжал служить еще в армии. Остановился он у Елены Ржевской, только что вернувшейся с войны. В нашу квартиру приходил почти ежедневно к своему другу Петру Горелику, с которым дружил со школьных лет в Харькове. Петя снимал в нашей коммунальной квартире маленькую темную комнату, как-то сразу сблизился с моими родными, а за мной стал ухаживать.

Приезд Бориса стал для нас событием. Борис еще не был демобилизован и называл себя не без иронии «майором и кавалером». Радостно-взволнованный и франтоватый, он нравился всем и себе тоже. Часто, взглянув мимоходом в зеркало, шутливо вопрошал: «Каков?» — за что получил от меня ласковое прозвище «каковчик». К слову сказать, меня он называл «матушка», что всех сместило — «матушке» было 19 лет.

Боря был действительно хорош в военной форме с боевыми орденами. Очень гордился болгарским орденом «За храбрость», произносил его название, по-болгарски опуская гласные. Его светлые кудри выбивались из-под фуражки, которую он носил набекрень. Пшеничные усы тоже ему очень шли.

Борис был весел, остроумен, энергичен и добр ко всем. С интересом расспрашивал о нашей жизни в военной Москве и много рассказывал о своих военных годах и послевоенной службе в Австрии, где для него закончилась война. Меня, конечно, удивляло то, как он рассказывал или задавал вопросы, слушая кого-то. Сразу чувствовалась глубина его интересов в самых разных сферах. Его память поражала всегда. Я впервые видела человека с такой феноменальной памятью. Видя, что меня это удивляет, он спрашивал, например: «Ну, хочешь, я назову тебе 50 городов Франции, пока выпью стакан чаю?» Разумеется, я соглашалась, и, к моей радости и удивлению, так оно и получалось.

Конечно, к встрече я была подготовлена Петиными рассказами о нем и об их общих довоенных друзьях — Павле Когане, Давиде Самойлове, Елене Ржевской, Исааке Крамове, Михаиле Кульчицком, Сергее Наровчатове, Семене Гудзенко. С ними Борис познакомил Петю в Москве еще до войны. Я никого из них пока не видела, но уже из рассказов понимала, что познакомлюсь с людьми необычными, и с трепетом ждала встречи с ними. С трепетом, потому что не знала, как такие талантливые, побывавшие на фронте Петины друзья отнесутся ко мне, ничего из себя не представлявшей. К несчастью, Павел Коган и Михаил Кульчицкий погибли до того, как я успела их узнать.

Сразу скажу, что, к моему удивлению, Петины друзья меня приняли, некоторые из них — навсегда. Лена (Е. Ржевская), Дезик (Д. Самойлов), Изя (И. Крамов) и, чуть позже, Эма (Н. Коржавин) стали для меня близкими и любимыми. Их влияние на меня было огромным, многолетнее общение с ними — большая удача и радость в моей жизни.

В апреле 1946 года мы с Петей поженились. Осенью Борис демобилизовался и приехал в Москву. Он жил у нас. Это был уже другой Борис. Мы знали, что после возвращения в Австрию из отпуска Борис болел. Его мучили головные боли и бессонница. Еще в феврале он писал Пете: «Зиму проболел (пансинусит со многими осложнениями). Болею и сейчас. Честно пытаюсь вылечиться, тем более, что ничего серьезного делать не могу уже два месяца — даже читать. При первой возможности (хорошие врачи) буду оперироваться».

Горько было смотреть, как он мучается от постоянной головной боли и бессонницы. На этом грустном фоне началась его московская жизнь. Предстояло пройти комиссию на получение инвалидности. Отчетливо помню вечер, когда он пришел после этой комиссии, измученный многочасовым стоянием в очереди. У него был какой-то растерянный и отрешенный вид. Поев и немного отдохнув, он сказал: «Мне дали инвалидность II группы. Я потрясен. Ты знаешь, кому дают II группу? Обрубкам без ног и рук, а я? Я-то ведь с руками и ногами»<sup>1</sup>.

Получив инвалидные продовольственные карточки, Боря тут же отдал их в нашу семью. Питались мы вместе. Он был заботлив

---

<sup>1</sup> Позже ему была удачно сделана операция, и некоторое время спустя Боря сам попросил снять с него инвалидность. — *Примеч. авт.*

и внимателен. Часто спрашивал, чем бы мог помочь. Возникшее тогда родственное чувство оставалось всегда и много раз проверялось и подтверждалось жизнью, даже тогда, когда мы уезжали из Москвы к месту Петинной службы (преподавание в Военной академии): сначала на несколько лет в Калинин, а затем навсегда в Ленинград...

Несмотря на жизненные трудности и плохое самочувствие, Боря всегда радовался, когда к нему приходили вернувшиеся с войны поэты. Всё в той же темной комнатке они читали свои стихи, спорили. Часто я присутствовала при этих интересных и новых для меня разговорах. Обсуждали они и свои радужные надежды на будущее. Чувствовалось, каким важным было для всех мнение Бориса. К тому времени я слышала уже не раз, что его называли «комиссаром» — в довоенном романтическом смысле этого понятия, и таким комиссаром я его и увидела.

Бывали у Бори Семен Гудзенко, Наум Коржавин, Виктор Урин, Александр Межиров, Сергей Наровчатов и другие поэты и друзья. Отчетливо помню, как поразил меня Николай Глазков. Он сел на пол, прислонившись к стене, вытянув длинные ноги в огромных грубых ботинках, заняв весь пол крохотной комнатки. Он был в белой чистой рубашке с заплатами на рукавах. Я видела, что он очень стесняется. Читал свои стихи, смотря как-то в сторону, потом молчал, ожидая, что скажет Борис. Боря относился к Коле с уважением и нежностью. Высоко ценил его поэзию. Позже, когда Боря уже не жил у нас, Глазков продолжал к нам приходить. Приходил неожиданно, чаще всего во время дружеских застолий. Неизменно шел в темную комнату, садился на пол. Ему приносили туда еду и выпивку, и все, кто хотел с ним общаться, шли к нему со своей рюмкой поговорить и выпить. За общим столом он никогда не садился. Как он узнавал, что именно в этот вечер у нас собирались, оставалось загадкой. По этому поводу было много шуток.

Борис нашел себе «угол» и уже не жил с нами. В течение следующих двух лет он еще много болел, был оперирован, и мы не только часто общались, но, как могли, помогали ему все это время.

Еще раз Боря, уже вместе с Таней, жили у нас в Ленинграде в августе-сентябре 1958 года. С Таней мы уже были знакомы: приезжая после Бориной женитьбы в Москву, мы встречались у них или у нас дома. Через несколько дней после приезда Таня сказала мне: «Теперь я понимаю Борины слова: „Если со мной что-нибудь случится, сразу поезжай к Гореликам“». И все же близкими друзьями

мы с Таней не стали. Может быть, потому, что мы жили в разных городах, а может, потому, что она не была с Борисом в наши общие трудные годы. У Тани сложился свой круг общения...

В их приезд в Ленинград Таня была красивой, веселой, здоровой. Боря называл ее «образцом здорового человека» и добродушно продолжал: «Как всякий здоровый человек, она засыпает, когда я читаю ей стихи».

Невозможно было представить, что через несколько лет она заболает и их совместная жизнь будет проходить на фоне ее неизлечимой, мучительной болезни (лимфогранулематоз). Боря делал все возможное, а порой и невозможное, чтобы вылечить Таню или хотя бы продлить ее жизнь. А его жизнь в эти годы была очень трудной. Умер отец, позже стала болеть мама Александра Абрамовна. Ее привезли из Харькова и поместили в одну из московских больниц. Борина жизнь довольно долго протекала между больницей, где лежала мама, и домом, где тяжело болела жена. Надо было много работать, чтобы были деньги на поддержание Таниного и маминого здоровья. Мама умерла значительно раньше Тани.

Но наступил 1977 год. Шестого февраля не стало Тани, и Боря не выдержал и заболел. Мы часто звонили ему из Ленинграда. Он жаловался, что совершенно перестал спать, «весь разладился», чувствует пустоту и неприкаянность. Длительные бессонницы бывали у него и раньше, и переносил он их всегда мучительно. На этот раз все обстояло хуже, чем обычно. Нас очень тревожило его состояние. Предлагали ему приехать к нам. Он ответил в письме: «Лучше мне все-таки дома. Так что покуда не поеду». В мае он сообщил, что едет в Дом творчества в Дубулты. Надеялся там отдохнуть и прийти в себя. Однако уже через две недели позвонил из Риги: ему очень плохо, стало даже хуже, и он летит в Москву.

Нас успокоило, что в Москве с ним все время находились наши общие близкие друзья, Лена Ржевская и Изя Крамов. Им выпали очень трудные дни, пока Борю не поместили в психосоматическое отделение 1-й Градской больницы. Сразу же приехали из Тулы брат Бориса Ефим с женой, и все больничные хлопоты легли на них.

В начале июля приехали в Москву и мы: Петя в командировку, а я — повидаться с родными и помочь Боре. Через брата Борис передал, что никого к себе не пускает, но «Петька пусть приходит». Вскоре у Фимы кончался отпуск, и он должен был возвра-

щаться в Тулу. К счастью, мы могли взять на себя заботу о Боре. Я готовила еду, а Петя после работы отвозил ее в больницу.

Но 9 июля Петя заболел, и мне пришлось пойти к Борису самой. Пишу «пришлось», так как Боря по-прежнему просил меня пока не приходить. Я несла ему обед, и это делало мой визит необходимым. Волновалась очень: давно не видела его, еще дольше не разговаривала с ним по-настоящему; смерть Тани, его болезнь, отделение, в котором он лежит... И хотя я была уверена в хорошем и добром отношении ко мне, я нервничала.

Когда я пришла, мне показалось, что он не очень удивился моему приходу, скорее даже обрадовался, хотя и сказал:

— Я не рад тебе.

Пришлось объяснять ему, почему пришла я, а не Петя. Он встревожился, но тревога его была мимолетной. Обед съел быстро и с видимым аппетитом.

— Ты кормишь вкусно, но не знаю, как я могу тебя отблагодарить.

Сразу стал рассказывать, как и почему оказался в больнице. Мне пришлось прервать его:

— Я все знаю от Изи и Лены. Не стоит возвращаться к тому, что уже прошло.

Тогда он стал говорить о своих постоянных тревогах:

— Жить незачем, писать уже никогда не смогу. Лежу и пытаюсь рифмовать, но ничего не получается. Переводить тоже не смогу. Памяти нет. Ты помнишь, какая у меня была память? А сегодня потерял полдня, чтобы вспомнить, что Сониная фамилия была Мармеладова. Нет интереса ни к чему, да, пожалуй, почти и ни к кому. Читать не могу совершенно. Беспомощен. Начнется жара, и вернутся кошмары. Нет денег, чтобы оплачивать Лидию Ивановну<sup>1</sup>.

Все старался убедить меня, что его состояние вызвано не смертью Тани, что он уже и раньше был близок к этому, а смерть Тани стала лишь толчком.

На мой вопрос, как он чувствует себя сейчас, тут же ответил: плохо.

— Что же плохого?

— Всё. Не сплю, слаб, открывается язва.

---

<sup>1</sup> Лидия Ивановна готовила обеды в доме Слуцких во время болезни Тани и иногда приносила обеды в больницу Борису. — *Примеч. авт.*



— Сильные боли?

— Нет, но я чувствую: будут.

Разговариваю и потихоньку оглядываюсь: откуда-то доносится бесперерывный шум воды. Борис бросает:

— И так все время. Днем и ночью. С ума можно сойти, когда не можешь уснуть. Днем еще что-то отвлекает.

Оказывается, это льется вода из испорченного бачка в туалете, который рядом, перед входом в комнату, где лежит Боря. А дверей нет ни в комнате, ни в туалете. Я так волновалась перед встречей с Борисом, что не увидела ни этого туалета, ни ужасной обшарпанности всего помещения. И все же я внутренне поблагодарила заведующего отделением доктора Берлина за то, что он сумел найти для Бориса хоть какое-то отдельное помещение.

Слушаю короткие, ясные Борины ответы и понимаю: не все так, как он говорит. Спит мало ночью, но добирает днем. Язва спокойна, и доказательство тому — аппетит, с которым он поел принесенный ему обед. Страшно, что он убежден в том, чего нет или почти нет. Я почувствовала: разубеждать его ни в чем нельзя. Надо только слушать. Говорил много, удивлялся хорошему отношению к нему людей.

— Я даже не мог предположить, что ко мне так отнесутся и будут так много делать для меня.

— Кого ты имеешь в виду?

— Изю и Лену. Тебя и Петю. Даже Фиму и Риту.

— Но ведь Фима — твой брат. Изю и Лена — твои давние и близкие друзья, они так любят тебя и так дорожат дружбой с тобой. А наша дружба с тобой ближе родственных отношений. Здесь все естественно.

— Все равно, меня это удивило.

Поразительно, что это говорит Борис, который так много сделал хорошего людям, так часто приходил на помощь другим. Его постоянная готовность материально помочь близким и не очень близким людям была широко известна. Даже в то время, когда он сам после войны жил на инвалидную пенсию и небольшие заработки на радио. Думаю, в этом отразилось глубоко присущее Борису бескорыстие: делать добро не в обмен на добро, не в ожидании благодарности.

— Боря, ты счастлив друзьями.

В ответ он молчит. Я рассказываю, как много людей тревожатся за него, как хотят помочь. Звонят Юра Трифонов, Галя Евту-

шенко, Витя Фогельсон<sup>1</sup>, Саша Межиров, его фронтовые друзья. Всегда подробно расспрашивает о нем Дезик (Давид Самойлов). Говорю, что наш телефон бог знает как нашел его политотдельский товарищ Петр Львович Лещинский и предлагал свою помощь. Он слушал с интересом, но продолжал свое:

— Я не заслужил такого внимания и не знаю, как отблагодарить всех.

— Боря, о чем ты говоришь? Мы все любим тебя, и причем тут какая-то благодарность! Разве ты не так же поступал?

— И все-таки это неожиданно. Я не могу допустить, чтобы ты ездил через весь город, носила тяжести, тратила столько денег. Пора переходить на больничный стол. Пора отказаться от услуг Лидии Ивановны, каждый ее визит стоит 20 рублей. У меня на это нет денег. Я ем один раз в день, когда приносят обед, а вечером и утром пью кефир.

Время от времени он говорил, чтобы я уходила, и тут же добавлял:

— Ты уйдешь, я останусь один, и черные мысли, как черные мыши, будут все время пробегать.

И я снова оставалась. Погодя спросила его:

— Ты все-таки рад, что я пришла к тебе?

— Да, конечно, рад.

Он погладил мою руку и поцеловал.

Во время нашего разговора он все время прислушивался к резким шумам в коридоре и во дворе, настораживался, становился напряженным и объяснял, что вот, наверное, привезли несчастного. Рассказывал, какие здесь бывают вопли, что чаще это бывает ночью, когда привозят больных, что мне повезло, что я не слышу ничего такого. В дальнейшем, когда я слышала плач или шум, я тут же придумывала им объяснение. Борис мне верил и успокаивался.

Раза два он выходил в коридор, и меня поражала не только его худоба, но и то, как он за что-то извинялся и за что-то благодарил, обращаясь к кому-нибудь из персонала. Все сжималось и все протестовало во мне при виде этой скорбной сцены.

---

<sup>1</sup> Виктор Сергеевич Фогельсон (1932–1995) — редактор издательства «Советский писатель» по отделу поэзии. С ним связан выход в свет большинства поэтических сборников Бориса Слуцкого, он был почитатель и друг Бориса. — *Примеч. сост.*

Я ушла, просидев с Борисом три часа. Шла домой разбитая физически и в полном душевном смятении, потрясенная увиденным и услышанным. Я мысленно прокручивала разговоры с Борисом, а перед глазами стояло его лицо, то напряженное, то отсутствующее, то испытующее. Ни разу не вспомнилось лицо прежнего, спокойного и уверенного в себе Бори. И хотя я была подготовлена рассказами Лены и Изи, знала от Пети и Фимы подробности больничной обстановки и его физического состояния, встреча с ним меня потрясла. Так кончилось мое первое посещение Бориса.

В тот же день мы с Петей обговорили наши впечатления и впечатления тех, кто видел Бориса в больнице. Все говорило о том, что у Бори, кроме общего депрессивного состояния, имеются выраженные «пункты». Этих «пунктов» несколько: утрата работоспособности, потеря памяти, бессонница, боязнь жары и особенно отсутствие денег. Мы знали, что его лечат от депрессии и лечение должно снять эти тревоги, но решили попробовать и сами постепенно, исподволь разбивать Борины страхи, помогать ему избавляться от них. Мы понимали, насколько это трудная задача, но бездействовать было нестерпимо.

Его надо было усиленно питать, как велел врач. Поскольку он не хотел, чтобы Лидия Ивановна приезжала каждый день, Борис в основном оказался на моем попечении. Много времени надо было проводить у телефона — квартира моей семьи стала своеобразным штабом: сюда звонили все, кто хотел узнать о состоянии Бориса и предложить помощь. Сюда приносили трудно добываемые лекарства.

В следующий раз Борис встретил меня снова без радости.

— Твой вчерашний приход расстроил меня, — сказал он. — Я плохо спал и чувствовал себя хуже обычного.

— Обещаю тебе, что мы не будем касаться вчерашних тем.

И вдруг, как будто не было этого короткого вступления, он спросил, что я ему принесла. Это было по-детски трогательно.

— Я поем — и ты сразу же уходи.

— Хорошо, — пообещала я, — но только я должна у тебя отдохнуть.

Он посмотрел на меня удивленно и сказал с безразличием:

— Это твое право, — и стал есть. Поев, спросил: — Что значит «отдохнуть» здесь у меня, в этих жутких условиях?

— Для того чтобы прийти в больницу к часу дня, мне приходится быстро все делать, а сердце это выдерживает с трудом. Здесь я сижу и, следовательно, даю отдых сердцу, да и разговор с тобой мне приятен. А приятный разговор — тоже хороший отдых.

Через некоторое время я сказала ему, что отдохнула и могу идти, на что он сразу ответил:

— Посиди еще, если не торопишься.

В этот день мы говорили о разном. Борис говорил, что я почти не меняюсь, вспоминал меня в какой-то черной кофточке. Говорил, что Петя прекрасно выглядит: молод, интересен и умен. Много спрашивал, поражая своей памятью о далеком и близком, хотя жалобы на ослабление памяти повторялись. Спрашивал о моих подругах, с которыми был знаком. Вспоминал разные случаи с такими подробностями, которые не были на поверхности моей памяти.

Следующие мои посещения были более спокойными для меня, да, пожалуй, и для Бориса тоже. Он уже всегда радовался моему приходу. Ждал меня и вкусную еду. А я старалась приготовить все то, что ему нравилось. Стал спрашивать, как спрашивал всегда до болезни: «Какие новости?» Это означало: кто звонил и интересовался им, у кого что происходит, поправляется ли Петя, спрашивал о моем отце, сестре. Все это обнадеживало: еще несколько дней назад он был совершенно безучастен ко всем и ко всему. Но Борис по-прежнему не разрешал приходить к нему, если об этом его спрашивали, и тем не менее — вопреки его постоянному «нет» — у него были Вл. Корнилов, В. Огнев, Ст. Куняев: их я видела выходящими от Бориса. Мне хотелось не только расширить круг посетителей, но и смягчить это категорическое «нет». Доктор Берлин поддерживал меня в желании активизировать Бориса и приветствовал мои «хитрости».

Вот один пример такой «хитрости». Борис уже давно, после отъезда брата, был небрит. Выросшая щетина его раздражала. Сам себя побрить он не мог. Я попросила Бориса разрешить Юре Трифонову, с которым он дружил, прийти для того, чтобы только побрить его. Боря согласился, и Юра стал приходить. Конечно, он оставался подольше. Под разными предложениями, часто придуманными мною, приходили и другие приятные Борису люди. Иногда, когда у Бориса был посетитель, к ним присоединялся доктор Берлин и участвовал в общей беседе. Доктор был широко образован,

многим интересовался, любил и почитал поэта Слуцкого еще до того, как тот попал к нему в отделение. Ему был интересен Борис как пациент и как личность.

Сам Боря интереса не проявлял, как правило, сидел с безучастным видом, явно не желая участвовать в разговоре, но, когда это требовалось, очень точно вставлял забытые собеседниками факты, даты, фамилии известных людей. Это поражало. Ум и память Бориса были в порядке. Как писал позже в одном из писем к нам Давид Самойлов: «Болезнь Бориса не умственная, как бывает у сошедших с ума, а душевная. В первом случае можно принять за человека решение, а за душу решения принять никто не может...» Однако я интуитивно подводила Бориса к принятию, может быть, на первый взгляд мелких решений, но, как мне казалось, жизненно необходимых.

К этому времени доктор Берлин настаивал на ежедневных прогулках в больничном саду. Борис не хотел. Он сопротивлялся любым переменам в своей жизни. Дни стояли жаркие, в палате было душно, так как окна были закрыты, да еще — постоянно льющаяся вода рядом. Как-то я попросила Борю выйти со мной в сад, поскольку мне очень душно, а предстоит еще возвращаться домой. При этом присутствовал доктор. Он горячо поддержал эту идею. Боря нехотя согласился. И мы пошли в сад, где немного побродили и посидели. Потом я заметила, что Боря ждет наших прогулок. Мы делали пару кругов, потом сидели, молчали или говорили, потом опять ходили и возвращались в палату.

Темы разговоров были разные. Привожу записи некоторых из них.

— Ты думаешь, — сказал он как-то, — мы с Таней широко и открыто жили, что у нас бывало много людей? Мы жили замкнуто и, в общем, одиноко. Может быть, это объясняется тем, что мы подолгу жили в домах творчества и уставали там от людей.

— Но я же знаю, что в городе у вас часто бывали люди.

— Пожалуй, ты права. А люди к нам приходили почти одни и те же. Последние годы это были Трифонов, Корнилов, Огнев, Мартынов, еще несколько человек, с кем хотелось общаться. Таня мало кого хотела видеть. К Пете она хорошо относилась и к тебе тоже...

Особое место в наших разговорах занимал Давид Самойлов, его стихи, семья, денежные дела, пярнуская жизнь. Боря знал, что в октябре прошлого года мы проводили отпуск в Пярну. Самойло-

вы сняли для нас комнату в соседнем с ними доме на улице Тоо-минга. Общение было ежедневным по многу часов. Послеобеденные прогулки, а затем долгие ужины с разговорами. Время, проведенное с Самойловым, для меня и сейчас незабвенно, а тогда я с удовольствием рассказывала Боре свои впечатления о пярнуской жизни. Боря слушал с вниманием и интересом. А я радовалась, что он проявляет живой интерес. Ведь Боря всегда был искренен.

Однажды вошла в палату, а Боря сидит напряженный и сразу говорит:

— Нет памяти. Все утро не мог вспомнить строки из Дезькиного «Я — маленький, горло в ангине...». Как я мог забыть, ведь это классика!

— Но ты же вспомнил.

— Все равно памяти нет.

Я молчала, твердо зная, что разбивать его представления о себе нельзя.

Дезик всегда интересовался новостями о Борисе. Когда мы виделись, просил рассказывать о нем со всеми подробностями. И я рассказывала. Как-то я рассказала о приведенном выше эпизоде. Он поразился. Было очевидно, как этот рассказ дорог ему. Уже когда Бориса не стало, Дезик в очередной приезд к нам в Ленинград снова попросил меня рассказать этот эпизод. И на этот раз был также взволнован, долго молчал, и я чувствовала, что ком стоит у него в горле. Они любили друг друга.

Много интересного было в наших разговорах, особенно во время прогулок, и я очень жалею и корю себя, что мало записывала в то время. Я надеялась на свою память. А получилось так, что некоторые темы я помню, но что и как именно говорил Борис — точно передать не могу. Помню, как поразили меня рассуждения Бориса и его оценки «городской» и «деревенской» прозы на примере романов Ю. Трифонова и В. Белова...

Как-то, когда снова зашел разговор о деньгах, я сказала:

— Но ведь у тебя идут две книги, значит, деньги будут.

— Нет. Это все потеряно. Я не способен работать. А рукописи надо дорабатывать.

— Боря, кстати, Витя Фогельсон звонит и очень просит, чтобы ты разрешил ему прийти. Он тебя любит и хочет навестить. Он захватит с собой рукопись, и вы немного поработаете, у него есть вопросы.

— Я никого не хочу видеть и не смогу быть ему полезным. Мне пришлось прибегнуть к последнему доводу:

— Боря, книга уже почти готова, она в плане, и от ее выхода зависит зарплата редактора и премии в издательстве и типографии.

Я желала, чтобы книга вышла, понимая, что это принесет Борису радость. Но еще больше мне хотелось дать ему повод убедиться в том, что он не потерял для литературы и способен работать. Я надеялась, что это может избавить Бориса сразу от двух навязчивых «пунктов»: потери работоспособности и безденежья. Мои усилия не пропали даром, Борис согласился.

Витя приходил к Боре несколько раз, и в следующем году книга вышла. Это были «Неоконченные споры».

Борис, обычно даривший книги Пете или нам вместе, «Неоконченные споры» написал мне отдельно. Так в нашей семье остались две одинаковые подаренные им книги. На одной написано: «Пете — первому другу», на другой «Ире Гурелик — с предками и потомством. С любовью. Борис Слуцкий. 9.11.1978».

В августе Борис сильно улучшился, и доктор Берлин стал говорить о возможной выписке, как только будут сняты соматические недуги.

В выписку, тем более скорую, Борис не верил: в его словах чувствовалась обреченность на долгое пребывание в больнице. Каждый раз, когда он говорил, хотя и вяло, что больница надоела и хочется домой, за этими словами чувствовалось нежелание выпиваться, страх.

Мы звонили из Ленинграда доктору Берлину, и однажды он сказал, что Борис Абрамович категорически отказывается выписываться, а сам он не хочет настаивать, так как боится резкого ухудшения депрессии.

Это было горькое известие. Конечно, решение доктора было правильным. Но так хотелось хотя бы попробовать вернуть его к обычной жизни, помочь ему пересилить страх перед ней.

А дальше были годы глухой депрессии. Каждый раз, бывая в Москве, я ездила к Борису, где он был в это время — домой или в больницы. Иногда он бывал рад мне, а иногда — нет. Были мы и в Туле, когда он уже жил в семье брата. У меня уже не было того отчаяния и бурного внутреннего протеста, как в первое время. Привыкнуть к новому Борису было невозможно, но смириться с болью за него пришлось.

На панихиде, слушая умные, добрые, горькие слова выступающих, я вспоминала Борины стихи:

Умирают мои старики —  
Мои боги, мои педагоги,  
Прологатели торной дороги,  
Где шаги мои были легки.  
Вы, прикрывшие грудью наш возраст  
От ошибок, угроз и прикрас,  
Неужели дешевая хворость  
Ододела, осилила вас?

Стариком Борис для меня не стал, но моим богом и педагогом был безусловно.

*«Вопросы литературы», 2002, № 2.*



## «ТО, ЧТО УЖЕ СТИХАЕТ...»

«Всё, всё вокруг тебя звучало обо мне...»

Вот уже из «неизвестного» он, пройдя ступени «крупного», «выдающегося», дошел до замечательного. Теперь уже говорят «Слуцкий» — и сразу ясно какой!

Посмертная слава пришла к нему. Хотел ли он ее? Да. Несомненно. Он и не скрывал этого.

Знал ли он, что будет с его стихами? Гадал, старался угадать. И в большой степени угадывал. Иначе зачем бы это на мое замечание, что надпись на книге «Память» сообщает мне о том, что я сама хорошо знаю («Вы слушали все это, когда не было никакой надежды»... Конечно, слушала! И что? Мне хотелось бы чего-нибудь более лестного, индивидуального), — зачем бы тогда в ответ он сказал, что это письменное свидетельство, которое, кто знает, мне когда-нибудь может пригодиться? Мы проговорили с ним на протяжении почти трех десятилетий сотни километрочасов.

Несколько раз он говорил мне:

— Вы, голубушка, придя домой, взяли бы и записали эти наши нескончаемые разговоры.

— Что, опять-таки вы полагаете, что мне это когда-нибудь будет в помощь?

— Именно, — очень серьезно говорил он, так же серьезно, кивком головы, жестко и уверенно подтверждая значение сказанного. Но я ничего не записывала, хватало меня только на то, чтобы не смеяться, а считать это своеобразием его характера и особой манерой поведения.

Есть у него такие строчки об официанте ресторана и о себе, нищем студенте 38-го года. Официант смотрит на него... А может, сквозь даль годов прозревает ум, успех, известность, талант.

Мы познакомились в 47-м. Ум был блестящим — ощущался сразу. С успехом было скорее плохо. Когда я спросила общих знакомых, кто он такой, мне сказали, что он что-то пишет для радио. Был, наверное, круг людей, уже в 47-м знавших его стихи, но для

большинства он был скорее человек окололитературный, с таинственной военной биографией. Так же было и с известностью: ее еще не было. Про талант я поняла тоже сразу, но только не знала, в чем он, этот талант, воплощается. Сама личность Слуцкого вызвала у меня окончательное доверие, и было в нем нечто рыцарственное (от пушкинского «рыцаря бедного» и блоковского «Рыцаря-Несчастия»). Несмотря на уверенность и энергичность манер, я всегда ощущала в его душе тяжелый и неподвижный массив трагедии. Потом были и успех, и известность, но масштаба его поэзии я не понимала, хотя многое из его стихов любила. Все же человек Слуцкий был для меня крупнее собственной поэзии. Он знал это и с усмешкой иногда говорил:

— Ну, от стихов моих вы не ах в каком восторге! Вы относитесь ко мне скорее как школьник к любимому учителю географии, который просто ужас как много знает.

Наверное, если бы я «прозревала» его масштаб и помнила бы об этом всегда, наши разговоры были бы лишены равенства и взаимного интереса. Хотя я бы, наверное, что-то и записала. А теперь вот мучительно пытаюсь передать ощущение значительности и глубины его влияния.

По форме нашего общения мы были собеседниками. Никакого практического значения наши отношения не имели. У меня своя жизнь, работа, друзья, интересы, вкусы. У него — свое. Словно я жила, к примеру, в Индийском, а он в Атлантическом океане. Потом где-то встречались, но только не в Индийском и не в Атлантическом, а в никаком океане. И рассказывали друг другу, как там, у нас. Какие-то события, оказывалось, наблюдали мы оба и тогда — сводили мнения. Беседы были хороши возможностью полной моей искренности и его заинтересованностью. (Впрочем, далеко не всегда он бывал мною доволен, проявлял это чрезвычайно жестко и даже неприятно.)

У меня есть приятельница, очень хорошая портниха-модельерша, виртуоз швейной машинки. По-моему, способна прострочить еще несколько линий на крыльях стрекозы — и та после этой операции полетит как ни в чем не бывало, даже станет красивее. Когда мне удастся упрямить ее сшить мне что-нибудь, она говорит:

— Хорошо, завтра поработаем.

Она считает шитье нашей общей работой.

Общей работой были для меня разговоры со Слуцким. Он считал, что у меня хорошо обстоит дело с интуицией, но ему этого

было мало, и он добивался от меня формулировок и аргументации «ощущений». Если я долго не «работала», он говорил:

— Вы на уровне подвязки и прыжки. Поднапрягитесь-ка, ма-тушка.

Если мне удавалось облечь неясное в стройную, понятную мысль, он говорил:

— Да... высекли в мраморе.

Так что беседа с ним была увлекательной, но трудной «работой». Было похоже на экстрасенсный сеанс. Словно где-то стучало: «Думайте, думайте». И это было и радостно, и интересно.

Как-то он прочитал мне портрет в стихах. Мой портрет. Я про-реагировала вяло, по чисто женской привычке смотреться в людей, как в зеркало, — «хороша ли?», — а там про это ничего не было. Стихи были вовсе не альбомные. Он больше мне их не читал, я их не слышала. Помню только первые строки:

Часов она не носила:  
К чему ей такое время?  
Ей, обладавшей силой  
Угадывать точное время <sup>1</sup>.

Я действительно периодами способна угадывать время до минуты. Это очень забавляло Слуцкого, и он все спрашивал: «А теперь сколько?» Я чеканила ответ, понимая, что это он про время, — он сверял по часам и говорил торжественно: «Да, это у вас получается».

---

<sup>1</sup> Юрий Болдырев, прочитав мои воспоминания, нашел в архиве Слуцкого стихи, которые, вероятно, являются позднейшей редакцией того стихотворения:

Часов она не носила,  
Часы — ненужное бремя  
Ей, обладавшей силой  
Отгадывать точное время.  
Бывало скажешь ей: — Ну-тка! —  
И точный ответ до минуток.  
Но это, собственно, шутка.  
А мне не совсем до шуток.  
Мне просто легче стихами  
Вспомнить то, что забыто,  
То, что уже стихает,  
То, что уже за бытом.

А многое у меня, конечно, не очень получалось! И он говорил: «У вас, Наташа, ума палата, но все пристройки к ней заняты глупостями».

Ему нравилось, я думаю, дело воспитания моего достаточно недисциплинированного и строптивого мыслительного аппарата, где всё вразброс, что давало ему основание называть меня «Ваше необразованность» и говорить: «Вы похожи на подмастера, который думает про себя: «ты только покажи, как ты это делаешь, а уж я тебя обштопаю»...»

Я действительно рада была что-то знать, понимать или делать лучше его. Мне это редко, но удавалось — там, где нужна была пластичность, вспышка интуиции, просто мысль «очертя голову». («Вот так вылилось, и всё тут».) Его это веселило, и он говорил: «Да, вы что-то очень разгулялись, не пора ли вас пообидать?» Но я не обижалась, мне тоже было весело, что сейчас он меня «умоет» — задаст несколько простеньких конкретных вопросов «по фактам истории и культуры», а я, конечно же, попытаюсь отбиться, но потом он мне все как надо сформулирует, да так, что дух захватит, и скажет: «Я бы книжечки читал посерьезнее, а то читаете, знаю я вас, что в руки попало и — по диагонали».

Что правда — то правда.

Были в стихотворном портрете, помню, и такие строки: «...И когда, бледнее мела, она блестяще болтала...» Действительно, когда после многочасового разговора мне случалось глянуть на себя в зеркало, я видела, что я «бледнее мела». Таким трудным и высоким был для меня уровень разговора, так нельзя было в нем фальшивить, халтурить и выпендриваться, а только — «раскопаться» и быть как на духу.

Он часто заставлял меня думать о том, что я старалась недодумывать. И не только думать, но и давать оценку — самой себе в частности. Помню, во время борьбы с космополитизмом я в какой-то момент перестала читать газеты: далеко не все «выкрикнутые космополиты» и до этого были мне симпатичны, — в общем, попробовала жить так, как будто меня это не касается. При встрече он быстро уловил

За бытом, как за океаном.  
Ведь, если я верно понял,  
Все это — старинная песня.  
Где слов я уже — не помню —

это мое «облегченное состояние» и безжалостно заставил меня признаться себе и ему, что я боюсь, трушу, «а дело заваривается подлое, страшное, и вы не смеете этого не понимать». Я уставала от необходимости держаться, мне очень хотелось закрыть глаза и не заметить падения. Много позднее он сказал, что тогда уберет меня от большой беды.

Он часто говорил, что «набит тайнами». Конечно, не только я, но и многие, многие другие грузили на него свои беды, ужасы, горести и сомнения. Человек Слуцкий, наверное, изнемогал под этой, своей и чужой, тяжестью. И вот ушел, вдавленный этим грузом в безвоздушную немоту, — его нет, но всплывают теперь на месте крушения его стихи: то, что следовало сохранить, он сохранил и даже знал и точно определил, кому доверить самое ценное. Его душеприказчик — Юрий Болдырев — поразил меня при встрече духовным родством со Слуцким и способностью к самоотреченному служению. Он Слуцкого воистину жалел и любил.

Однажды в 70-х годах в одном доме на веселой пирушке я почувствовала показавшееся враждебным внимание незнакомого мне прежде дальнего родственника хозяев. На следующее утро мне позвонили хозяева дома. Этот человек, когда все ушли, долго расспрашивал обо мне, потом очень сбивчиво рассказал, что мальчишкой был в одной камере с моим отцом на Лубянке, был посажен; что отец — опытный подпольщик — сразу понял это и жалел его, несмышлениша, делился с ним тем немногим, что у него было, пока не ушел навсегда. Отец поразил его своей человечностью и мудростью.

— Передайте ей, что она дочь замечательного человека, она должна это знать.

Он собирался побывать в Москве еще, но уехал, потрясенный этой встречей. Я понимала, что его потрясло. Я показалась ему нарядной, благополучной — беспамятной. А он помнил уход из жизни моего отца, и ужасен ему был этот контраст, да и совесть мучила...

Будучи в полном смятении, я позвонила Слуцкому. Он был занят, но, по голосу поняв, что «надо», вышел — мы встретились на середине «нашего» пути в Тимирязевском парке, сели на пеньки, стоявшие поодаль друг от друга. Было начало лета. Зелень была легкая, сквозная. Гуляли дети и пенсионеры, белки выступали за угощение перед толпой. Я сказала ему про эту встречу. Он выслушал, глядя перед собой, не повернув ко мне головы, потом промолвил:

— Ну что ж, все очень вероятно, даже, скорее всего, так и было.

Вот и все... Он не произносил никаких слов убеждения, и мне не они были нужны, нужно было при нем понять себя и сверить мою беду с масштабом общей беды. Надо было услышать: «Мы еще добреем». Он встал первый и сказал: «А теперь я вас покину, а вам нужно выпить крепкого чаю... и хорошо бы пошел дождь... насколько я знаю, вы любите дождь, летний... впрочем, снег вы тоже любите. Но это метеорологически мало вероятно сейчас».

Моя беда поступила на общее вечное хранение.

Осенью 47-го года я с моей подругой и однокурсницей Дорой с огромным удовольствием прогуливалась вечерами по улице Горького. Еще той улице Горького, где можно было вечерами встретить всю Москву, «знатных» людей, замечательных актеров и режиссеров, которые особенно были нам, студентам режиссерского факультета, интересны, и просто знакомую молодежь.

Бедны мы были очень, в буфете ГИГИСа давали суфле и бутерброды с перловой кашей, — значит, были и не очень сыты и вовсе не одеты. Что-то такое перешивали, перекрашивали, перевязывали и донашивали. А доносив, снова перешивали и перекрашивали и опять носили. Но были крайне независимы, самонадеянны, как подобает студентам начальных курсов творческих вузов, и полны жадного интереса к людям, который мы считали к тому же еще и «профессиональным».

Обе мы были в искусстве людьми «безродными» — никто не был с нами ни в родстве, ни в знакомстве. Никто из близких и родственников не имел ни малейшего отношения к театру, и, может быть, поэтому для нас трагедии и катастрофы этого мира были еще несущественны и ограничивались песенкой «Чтобы большим актером стать, да, да, стать, да, да, стать, всю систему нужно знать, нужно знать, да. Где, как и в чем играл Качалов, да, да, Качалов, да, да, Качалов, каким нутром играл Мочалов и в чем Охлопков виноват?»

Мы всё это знали и очень звонко могли петь. Юношеский нигилизм и насмешливость бушевали в нас вовсю, а в орбиту непесенного, некуплетного жанра мы попали чуть позднее, в 48-м, и до конца последующих лет.

Все пережитое мною, все мои потери казались мне надежно и глубоко упрятанными от «чужих», и оптимизма и уверенности во мне было значительно больше, чем полагалось нормальному благополучному человеку.

Вот таких два «персонажа» шли мимо нынешнего магазина «Подарки» по правой стороне, если от Кремля, по вечеряющей улице Грького. Мы были очень молоды и, конечно, не только людей смотрели, но и себя «казали». Тут-то Дора и засекала, что кто-то явно обратил на меня внимание. «Поглядел и остановился, — сказала она тихо. — Теперь идет, по-моему, за нами».

Мы слегка замедлили шаг, вынудив того, о ком она говорила, обогнать нас. Это был, как я теперь понимаю, вполне еще молодой человек (но нам он показался взрослым — «плоский, как нож, как медаль») в очень хорошем, даже щегольском светлосером костюме. Очень светлый блондин со светло-голубыми глазами.

— Джульетта... — фыркнула насмешливая Дора. — «Глаза, как небо, и золото волос».

То ли грузин, то ли поляк. Мы снова ушли вперед, дав ему возможность идти за нами, и он шел до ВТО, а потом мы перешли на другую сторону, он — тоже. Впрочем, у Бориса есть стихи «Как я знакомился с незнакомыми женщинами...». Все было, как обыкновенно бывает. Мы зашли в кондитерский магазин на углу и купили самое дешевое, что было нам доступно: 100 граммов драже «морские камушки». Он тоже купил что-то. Вышли. Нам было ясно, что он «влюбопытствован всерьез», но наше хищное удовлетворение этим фактом и нелепость его положения вдруг толкнули его на совершенно неожиданный ход, вернее, выход. Он резко обогнал нас и стал уходить. Рвался сюжет. «Морские камушки» даже нам, неизбалованным, явили полную свою несъедобность, — это было несправедливо. Я догнала его и, поравнявшись, протянула пакетик с «камушками».

— Мы купили их из-за вас. Они совершенно несъедобны — возьмите.

Он остановился и сказал:

— Вот эти конфеты я купил тоже из-за вас, может быть, они лучше, попробуйте.

Я попробовала, конфеты были лучше.

— А интересно, за кого вы нас принимаете?

У него задрожал подбородок, ему было смешно, и он очень вежливо сказал:

— За двух девушек из хороших семей.

Нас это ужасно рассмешило. Дора жила в общежитии и хотя была действительно из благополучной днепропетровской семьи,

но чувствовала себя совершенно вольной птицей. Я была вроде как, с моей точки зрения, вообще не из «семьи». Те, кто был моей семьей, сами были по природе бунтарями. И такое буржуазное провинциальное понятие в приложении ко мне насторожило. «Не дурак ли? А может быть, процветающий обыватель? Почему так хорошо одет? Почему не чувствует пошлость заявленного им?» Он, видимо, понял, что произошло что-то неправильное, и через паузу четко и даже с некоторым высокомерием предложил:

— Вы дайте мне минут двадцать, этого хватит на дорогу до противоположного конца улицы. За это время я рассказываю вам, — он подумал, — две истории. После этого мы либо расстанемся, либо продолжем разговаривать и выяснить дальнейшее.

Одну историю я совершенно забыла, другая о Франческе Гааль и ее нежелании сообщить советскому офицеру свой паспортный возраст — пришлось написать наугад, а она все старалась подсмотреть, сколько же он там записал? Была там изложена и одна из любимейших Борисом формулировок — директива начальника, собравшего офицеров при переходе границы: «Товарищи офицеры, прошу соблюдать тон и такт». Мне не очень понравился рассказ — наверное, многократно рассказанный и уж очень литературно законченный, — и я довольно зло сказала, что такие рассказы нужно печатать сразу на машинке и нести в какой-нибудь популярный журнал, не тратя такое в обиходе. У него снова задрожал подбородок. Но к этому моменту мы уже дошли до Александровского сада и сели на скамью. Он внимательно рассмотрел меня и сказал, что сейчас в моде совершенно другой тип женщин — высокие, длинноногие блондинки. Хемингуэвские. Хемингуэй — имя это только-только начинало мелькать, я его, конечно, не читала — откуда бы я его взяла? — но модный тип женщин — это мне было понятно. Конечно, я не высокая, не длинноногая и, конечно, не блондинка. И с этим ничего нельзя поделать, о чем я и заявила, прибавив, что я совершенно не считаю себя обязанной таковой быть, равно как и отвечать за свое соответствие вкусам. Он с удивившей меня серьезностью сказал:

— Ну что ж, тут вы совершенно правы и, как говорится, имеееете свой резон.

Такой вот глупый был разговор. Болтая все это, я испытывала страшное напряжение, словно ошибешься — и что-то взорвется. Человек-то, в общем, скорее не нравился и ничего такого особен-



ного не сказал. А вот почему-то понимала, что худо будет его разочаровать, хотя он вроде и очарован-то не был.

Дома сказала маме, что познакомилась с очень интересным и значительным человеком.

— А кто он?

— Никто.

— А где он служит, где живет?

— По-моему, нигде.

— Ну и что же?

— Естественно — ничего.

Действительно ничего, но вместе с тем часть жизни, ее главной сути. Одна из составных работы души, не только пока он жил, но и теперь, после его смерти. Я все держу и держу этот экзамен, на который сама напросилась столько лет назад.

Внезапный и весомый груз наших отношений был с маху брошен на весы, стрелка металась туда-сюда и наконец остановилась где-то посередине. Он называл это «ходите так».

Как-то обратилась к нему с вполне дурацкой практической просьбой. В Музее Пушкина была выставка японской классической графики. Мне чрезвычайно, как-то почти физически (без него ни пить, ни есть, ни дышать) понравилось большое, — не знаю, как назвать, — скорее, ланно — монохромное, вертикальное, теперь мне кажется, почти в натуральную величину. «Тигрица несет детеныша через поток». Голова внизу — хвост наверху. Внизу камни, и сильные лапы осторожно по ним, скользким, ступают, светлые огромные глаза отчужденно и бесстрашно смотрят — «не приближайся!», вода бежит через нее, вороша ее шкуру, рассеиваясь брызгами, в зубах загрюк тигренка. Он весь мягкий, спокойно повис. Только слегка недоволен — вода брызжется.

Я вспомнила, что у Бориса множество знакомых искусствоведов, и решила, что он поможет мне достать снимок. Позвонила, рассказала, какая замечательная тигрица. Он выслушал, сказал, что эта тигрица называется «Тигрица несет детеныша через поток», назвал имя художника и, помолчав, спросил: «А зачем вам тигр-то?» Серьезных доводов у меня не было. Тигра я не получила — на том и закончилось.

Была у нас такая игра. Мы часто встречались в музеях. Он подводил меня к мужскому портрету и спрашивал, возможен ли «роман» с этим персонажем, а я давала «заключение» с мотиви-

ровкой и «живым доказательством» (разыгрывала сцены, сюжеты, диалоги). Помню наш разговор перед портретом Льва Толстого. Я категорически отказалась от «романа» — он удивился. Я объяснила, что не тщеславна, вряд ли ему нужна и, кроме того, он замучает. «Что ж, вы думаете, он будет груб и станет ссориться? Ведь граф же все-таки?» — «Нет, конечно, он, скорее, будет молчать, но как будто бы можно не понять, о чем Лев Толстой про тебя молчит». Потом он по разным поводам говорил: «Да, тут совершенно понятно, о чем Лев Толстой молчит».

Однажды мы подошли к «Демону» Врубеля — я только было собралась что-нибудь сочинить, но вовремя спохватилась. «Уже было — Блок, да и, пожалуй, Лермонтов». — «Да, — очень серьезно согласился он, — сюжет исчерпан».

Были у Бориса странные для меня представления. Например, его пристрастие к цифровым оценочным категориям — «первая пятерка», «первая десятка». Я очень против этого бунтовала и иногда выражала это довольно бурно. Помню, мы встретились как-то у ВТО. Он был в то время в «зоне успеха» — все ладилось: книга, Союз писателей, квартира, жена...

Встретились, обрадовались. Ну, он, по обыкновению, предлагает погулять. Я тоже с радостью, но были какие-то дела в ВТО, и я ему говорю: «Подождите, я быстро, и пойдем гулять». А он мне: «Наташа, поэту из первой пятерки не говорят „подождите“...» Я разозлилась и обратила его внимание на то, что поэту из «первой пятерки» невместно гулять с женщиной, которая не числит себя в первом миллионе. Он стал мне объяснять, по каким показателям я имею льготы, но тут уж я решила довести дело до конца и ушла. Несколько месяцев не перезванивались. Позвонил он.

Он очень любил некоторые свои формулировки: «Ну что, звал бросить все и уехать на юг?», «Нужно есть меньше котлет и компота». С этой последней фразой случилась смешная история. Борис сказал мне ее по поводу одного очень хорошего поэта, считая, что благополучие начинает угрожать таланту. При встрече я предостерегла этого поэта насчет котлет и компота. Подняв одну бровь, поэт лениво процедил: «А ты передай им, что только непородистые кошки ловят мышей с голодухи».

Я передала.

Я никогда не видела Слуцкого смеющимся, даже открыто улыбающимся, но его лицо было тем не менее очень выразительно.

Когда его что-то смешило, «нечто» соскальзывало из-под усов на нижнюю губу, затем на подбородок и слегка подрагивало, пытаясь удержаться, но все равно он в конце концов приводил все это в порядок — губы неподвижны, глаза внимательны, подбородок спокоен. Чем дольше продолжалась эта процедура, тем, значит, ему смешнее. Это было абсолютно понятно, ясно и даже заразительно. Так же где-то у носа и края губ селилась усталость, раздражение и отражение просто мучительной боли: она на мгновение искажала ровное спокойствие — выражение, которое он считал единственно возможным, достойным. Я не думаю, что он выбирал себе облик, этот самый пресловутый «имидж», но у настоящих поэтов всегда присутствует некоторый артистизм, ставящий границы: это можно, а это мне нельзя. Было это и у Бориса.

Я отношусь к стихам, как к тексту действующего лица в пьесе, пьесе жизни.

Он говорил: «Вы берете стихи с какой-то совершенно другой стороны». Ему казалось — внешней. Я думаю, как раз изнутри: стихи — свидетельство души, личности. И мне всегда это было дороже всего и интереснее всего. Конечно, при таком подходе многое теряется, но ох как много понимаешь. Вот поэт заболтался, вот вырвалась из глубины души скрываемая боль, вот спешит зарифмовать удачную мысль, вот успокаивает себя, а вот вылилось свободно и вольно то, что радовало и мучило, — и тогда стихи — это музыка.

Наверное, только теперь, после стольких посмертных публикаций, можно говорить об объеме поэта Слуцкого. Тогда же мне он — человек — казался значительнее поэта, я все время ощущала громаду скрытых возможностей и все пыталась вытащить наружу, услышать, понять, что там кроется. Иногда даже просто спрашивала его:

— О чем вы думаете? Я очень хочу знать.

Он говорил полушутливо, полусерьезно:

— Еще чего? Как бы не так!

Как-то после концерта в Зале Чайковского я подслушала разговор какой-то пары возле афиши с большим портретом моего мужа (чтеца Николая Бармина). В семье эту афишу называли «мордовая с улыбочкой».

— Улыбается... — сказала она.

— Хрен ли ему не улыбаться, — сказал он, — деньжищи огреб и улыбается.

Наивный, он не знал, что ни размер зала, ни количество зрителей на «деньжищах» не отражаются: что три пенсионера в жэке, что Зал Чайковского — всё одно. Я рассказала это Слуцкому, и он потом часто повторял по разным поводам: «Хрен ли ему не улыбаться». Так же почему-то ему очень понравилось: «Такие случаи должны происходить». Он рассказал мне, как взбунтовался Арагон после совсем уж наглых предложений поддержать что-то из обреченных на провал идеологических демаршей. Мне Арагон по тому немногому, что я могла знать (в общем, то же, что и все), казался очень во взаимоотношениях с нами смиренным. Я подумала, что долгое подчинение рождает сопротивление, что однажды наступает момент невозможности этого подчинения и неодолимой потребности стряхнуть с себя оцепенение и многое другое в этой логической цепи эмоций, впрочем, — даже не мыслей. Но вместо всего я сказала: «Такие случаи должны происходить».

Он долго повторял это на разные манеры. Чаще торжественно, нараспев. Недавно в журнале я прочитала симоновскую публикацию с осуждением Солженицына, оправдывающую и придающую даже известное патриотическое и мужественное благородство последующим преследованиям и высылке из Союза. Симонов на такие дела был мастер, и Бог ему судья. Наверно, трагедию таких людей, как он (а я уверена, что он должен был тратить много душевных сил на борьбу с осознанием своего положения), мы еще даже не начинали понимать как трагедию отдельного человека и не описали. Очень «неоднозначно» Слуцкий Симонова уважал, хотя, думаю, многое про него понимал. Не знаю, можно ли говорить об их дружбе, — слишком сложны были эти фигуры, чтобы употреблять такое простенькое «дружили». Но готовы были помогать и защищать друг друга. Симонов очень много сделал для больного Слуцкого.

В истории с Пастернаком они выступили как единомышленники, правда, Слуцкий, как теперь отмечают, «по минимуму», но все же с тех же позиций, из того же окопа, что и Симонов.

Но вот уж когда началась кампания по битве с Солженицыным, Слуцкий был другим. Я помню, как он рассказывал мне, что его вызывали в ЦК и проводили с ним беседу по Солженицыну, сколачивая «писательское мнение». Он очень выразительно

разыграл мне этот диалог. С ним говорили весьма доверительно:

— Но ведь он не очень большой писатель? Ведь правда? И характер неприятный, трудный. Ведь так? Ну несимпатичный человек, ведь правда? Ну трудно же с ним...

Слуцкий с Солженицыным не был близок. Наверно, они друг другу не должны были очень уж нравиться и, насколько я понимаю, не нравились. Но Слуцкий прочитал в ответ на ласковое, но настойчивое приглашение в союзники небольшую, как он ее назвал, «культурно-просветительскую лекцию на тему: власть и писатель» с примерами из истории русской литературы, напомнив, что с большим, настоящим писателем власти всегда трудно. С Толстым, например, очень трудно. И с пониманием, что можно, чего нельзя, и с пониманием политических задач руководства, и, наконец, просто с характером и неприятной манерой отстаивать свои мысли, даже видя, что это бестактно.

— Ну, зачем же вы сравниваете Солженицына с Львом Толстым?

— А с кем же еще мне его сравнивать?

У меня тяжело много лет болела мама, у Бориса болела Таня. И наступил тот тяжкий день ранней весны, когда, перезвонившись, мы встретились и шли по Останкинскому парку по мерзлой, местами оттаявшей земле, отчего казалось, что земля непрочна, зыбка и идти словно бы опасно. Я похоронила маму, он — Таню. Борис и раньше часто спрашивал меня в предвидении ужасов, есть ли у меня, например, такое умение, ремесло, которое выручит в любой ситуации. У меня такого не было. Есть ли у меня какая-нибудь вещь, ну, например, очень крупный драгоценный камень, который я отдам и буду спасена. «Нет у меня камня». Есть ли такое место, где меня спрячут и никто не найдет? «И места такого нет». Но это были для моего легкомыслия просто странные разговоры. Теперь же он спросил, что я думаю о смерти и есть ли у меня средства оборвать жизнь по собственному хотению. Я сказала, что знаю о смерти две вещи, которые позволяют мне дальше не додумывать. Я знаю, что умру, и не знаю, когда и как. Так что же думать? Средства для самовольного ухода из жизни у меня нет, да и зачем мне оно? Я все-таки люблю жизнь саму по себе, и мы на земле такие недолгие гости! Я добавила, что понимаю пошлость выражения «гости». Он сказал:

— Почему же пошло? Так говорил Гёте. А яд какой-нибудь безболезненный лучше иметь.

...Он совсем не спросил меня о маме и не говорил о Тане. После этого разговора — все больше так, о литературных и общественных разностях. Сухо и энергично, не давая распускаться ни себе, ни мне. Позднее врач, лечивший его, сказал:

— Человеческая душа — очень нежный и хрупкий материал, ее нельзя безнаказанно завинчивать и замораживать.

Он пытался справиться с болью именно так — в одиночку, никому не застя солнца, беспощадно, «не прощая даже себе». Сказал, что по утрам делает очень сильную зарядку и хватает его только до трех часов.

— А потом? — спросила я. Он не ответил. Собирался в Прибалтику. В Дубултах произошло что-то ужасное. Мне страшно было спрашивать. Да и кого?

«Скажите, вы не знаете, что случилось со Слуцким в Дубултах?» — это и выговорить-то было невозможно.

Он позвонил. Это был очень страшный разговор. Объяснил, что его, в сущности, уже нет, что видеть его и разговаривать с ним нет никакого смысла («Даже моя хваленая память рассыпалась»), но он будет звонить... Голос, тон были ровные, безжизненно спокойные. Он был жив — и его не было. Я отчаянно заплакала, как только положила трубку, но... как было заведено... только потом. Да, говоря с ним, еще и не знала, что напряжение этого разговора, тщетные мои попытки разбить стену, доцарапаться, докопаться до живого, слабого, обыкновенного взорвутся слезами бессилия и нежелания принимать происходящее как реальность.

Но это была реальность. И разговоры вокруг этого тоже были вполне бытовые.

Величие и тайна того, что было с ним, того, где он теперь находился, превращались в нечто (дурдом, психушка) скандальное и вроде бы даже стыдное. Говорить с ним было страшно — говорить о нем было бессовестно и потому противно.

А он, по моему разумению, казнил себя. Однажды он сказал мне по телефону: «Наташа, я страстно не хочу жить». А я могла только пытаться войти в его мир со своим «это надо перетерпеть, так не может быть вечно...» и всякими другими, гроша не стоящими сентенциями. Так... барахталась где-то у подножия Гюря.

Потом было лето, и я приехала на Ленинский проспект и стала искать психосоматическое отделение 1-й Градской. Оно спрятано в чахлах зарослях. Даже вековые деревья и старинность больницы здесь уходят и остается мусор, задворки и глухая закрытая дверь. Все отгорожено от нормальной жизни. Когда-то Борис говорил, что я очень вынослива, выдерживаю постоянную стиснутость своей души надеждой и отчаянием, ее обвалы и землетрясения. Я удивлялась и не очень верила ему, мне казалось, что все не так уж плохо, что все это — свойства живой человеческой души. Теперь моя душа, действительно стиснутая надеждой и отчаянием, дрожала, готовясь к встрече с другой душой, перешедшей грань и живущей в других измерениях. А это была сильная и большая душа. Я написала записку: «Борис, пожалуйста, не прогоняйте меня» (мне говорили, что он никого не хочет видеть) — и стала ждать, не видя ничего, кроме каких-то пузырьков, старых бинтов и сломанного стула на замусоренной земле, и слушая, как стучит мое сердце где-то в горле. Меня пустили. На мою записку он сказал: «Эту надо пустить».

Он сидел на кровати, подняв руку — поправить волосы, — и резко прекратил это живое движение. Оборвал себя. Все уже не имело значения. Был вежливый разговор: как дела? Как Коля? Как такой-то? Такие-то? Я отвечала — как могла бодро, не крича, не плача. Стала говорить ему, что не имеет права так вот все бросить, его многие ждут, в него верят, нуждаются в его помощи, что-то о «Зеленой лампе»...<sup>1</sup>

— Наташа, прекратите эту психотерапию. — Это было от прежнего Слуцкого.

— Так научите... что говорить? Что делать?

— Не знаю, — сказал он, — не знаю, чем все это кончится, но я уже больше никогда не буду делать того, что делал до сих пор.

Он сказал мне это строго и глядя поверх меня, не мне, а чему-то сильнее и мощнее его и чему он отказывался впредь подчиняться. Хотел, чтобы я поняла и запомнила. Я запомнила. И, мне кажется, поняла. В палате была еще милая и грустная женщина — Танина тетя. Поговорили о яблочном «экспресс-пироге», который она собиралась принести в следующее посещение. Он долго отказывался, несмотря на ее явное этим огорчение. Прежний

---

<sup>1</sup> Литературная студия, где Слуцкий в 70-е годы вел поэтический семинар

бы себе это не позволил — огорчать, но этот строго держал линию отказа. Когда мы уходили, он хотел положить мою записку в тумбочку, но снова оборвал себя и протянул ее мне.

Больше мы не виделись. Были опять его звонки по телефону из Тулы, вежливые вопросы о делах и здоровье, мои бессмысленные ответы на них и отчаянное желание услышать или сказать что-то главное. Затем я попыталась пробиться к нему в Кашенко, но он не вышел ко мне. Как-то вечером мне позвонил Вадим Сикорский и сказал, что Борис умер, его завтра хоронят, мы встречаемся в ЦДЛ.

Это была последняя встреча.

Нет, для меня, пожалуй, не последняя.

Недавно был в ЦДЛ вечер Владимира Корнилова — «Володи», как называл его Слуцкий. Я пришла рано, долго бродила перед входом, ждала приятельницу с билетом. Прошел Володя, я не узнала его — стремительного, молодо шагающего. Он меня окликнул. Догадалась, что взрослая девушка, окруженная знакомыми, — Даша, та самая маленькая девочка, дочь Володи, которая, по рассказам Слуцкого, любила в раннем детстве читать энциклопедические словари. Прошла почти, как мне показалось, не изменившаяся жена Володи — Лариса. А я с тревогой все ждала кого-то еще. Приятельница пришла и осталась поджидать: не вся компания собралась, а у нее были билеты на всех. Я взяла свой и пошла в зал одна, с ощущением, что мне кого-то надо встретить. Села. И вдруг мне среди входящих почудилось — знакомая фигура! Вгляделась — нет, совершенно непохож. Я отвернулась и снова за спиной почудилось — вот он проходит между рядов, наклонив голову и словно разрезая лбом воздух, словно толкая себя вперед. Было так реально по ощущениям, что я не удивилась себе, когда услышала внутренним слухом: «Здравствуйте, Наташа. Володя уже пришел? Тогда я с вашего позволения пойду к нему».

На сцену вышел Володя, и все было как-то связано с Борисом: вот сын Симонова, вот Татьяна Бек... Нет его, и непоправимо горько.

Во всяком повороте моей и общей судьбы я пытаюсь представить себе, как бы я ему все рассказала, сидя на каком-нибудь пенке или проходя по бульварам, улицам, — это было бы головокружительно хорошо... для меня... Но события и настроения времени рождают грустную мысль, что его могли бы добить и



теперь и что не только благодарность и славу принесли бы «Рыцарю-Несчастию» наши дни.

Я стараюсь не вдумываться в то, что написала, как ни напиши — все не то. Когда-то Борис сказал мне:

— Я знаю двух людей, которые всегда и обо всем имели свое мнение. Это вы и товарищ Сталин. Чаще всего — мнения неправильные.

Он и назвал меня «неправильная женщина».

Возможно, эти воспоминания тоже совершенно неправильные.

*«Вопросы литературы», 1995, № 2.*

## ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ПЕРЕД ИСТОРИЕЙ

Есть люди, которые сделали своим ватным, но пуленепроницаемым панцирем необязательность по отношению к другим. Эти люди могут наобещать что угодно, однако никакое обещание — ни бытовое, ни, так сказать, общественное — не становится для них моральным обязательством, которое следует выполнять. К сожалению, бывают и поэты такого рода.

Борис Слуцкий из поэтов иного, круто замешенного теста обязательности.

Это обязательность по отношению к ближним: «Я найду к соседу, в ночь соседа, // в маету соседскую найду, // в горести соседские — заеду, // в недобро соседа — забреду»

Это обязательность по отношению к дальним. «Не хочу быть вычеркнутым словом // в телеграмме — без него дойдет! — // а хочу быть вытянутым ломом, в будущее продолбившим ход».

Это обязательность перед временем: «Не забывай незабываемого, пускай давно былшем заваленного, // но все же, несомненно, бывшего, // с тобою евшего и пившего // и здесь же, за стеною спавшего // и только после запропавшего; // не забывай!»

Это обязательность перед самим собой: «Мне жаль истратить, строки // и лень отдать в печать, // чтоб малые пороки // толково обличать»

Это, наконец, обязательность свидетеля перед судом истории, обязательность, которая дала Слуцкому прозрение и мужество первому вслед за погибшим еще в тридцатых Осипом Мандельштамом и арестованным в пятидесятых Наумом Коржавиным резко осудить преступление Сталина. Стихи Слуцкого «Бог», «Хозяин», «Современные размышления» еще задолго до напечатания распространялись в списках по Москве, по всей читающей России, жадно глотавшей так много обещавший воздух «оттепели».

Может быть, в лирического героя Слуцкого трудно влюбиться: он слишком резок, порой суховат, подчеркнута неромантичен, будничен, да, собственно, на влюбленность и не напрашивается. Но

зато этому герою можно поверить раз и навсегда, даже если однажды ложно понятая обязательность может толкнуть его на какой-нибудь неверный шаг. Обязательные люди, совершая неверный шаг, уже потом не повторяют его, а искупают всей жизнью.

Такой человек выслушает тебя, с чем бы ты к нему ни пришел, и не оскорбит безучастностью к твоим радостям и горестям. Знаешь, что если он тебе что-то расскажет, то никогда не соврет, а если совершь ты, нелицеприятное понимание твоего вранья мелькнет в его усмехнувшихся глазах...

Потеря Слуцкого невосполнима. Да бывают ли вообще восполнимые потери? Настоящая поэзия из жизни не уходит, но пока поэт жив, всегда существует возможность нового, почти неожиданного подарка... Последнее десятилетие его жизни было тяжким. Он потерял многих друзей, и прежде чем смерть взяла его самого, она отобрала у него прекрасного, нежного, всепонимающего человека — его жену. Отобрала душевное здоровье. Но все-таки он был жив, продолжали печататься его стихи, и во всех нас теплилась хотя бы слабая надежда, что он выздоровеет. Так не случилось. Война догнала его, добила...

Он сам о себе пророчески написал: «Ангельским, а не автомобильным сшибло, видимо, меня крылом». Человек этически безкоризненный, он допустил, насколько я знаю, только одну-единственную ошибку, постоянно мучившую его, мучившую вместе с ежеутренней головной болью, доставшейся от старого фронтового ранения. Но мало ли людей совершают ошибки, а вот мучаются далеко не все. Уровень мук совести — это уровень самой совести. Ошибка, мучившая его, состояла в том, что однажды он выступил против Пастернака. Слуцкий сполна расплатился за это, — но не только своими муками, а несовершенством других подобных ошибок. Я, воспитанный и его поэзией, и им самим, столько раз пригретый, накормленный, снабженный деньгами, которые у него всегда находились для других, оказался по-мальчишески жесток к нему; и на некоторое время наша, почти ежедневная, дружба прервалась. Я забыл о том, что он смертен.

Прав ли был Слуцкий, когда он писал: «Грехи прощают за стихи. Грехи большие — за стихи большие», я не знаю, но его мольба, обращенная к потомку: «Ударь, но не забудь. Убей, но не забудь», пронзает своим предсмертным мужеством самоосуждения.

Теперь его нет, но каждый из нас, кто еще не потерял веры в завещательную силу слова, остался наедине с оставленной им

поэтической исповедью. Теперь можно сказать то, что почему-то не принято говорить при жизни: назвать его великим. Да, я убежден: Слуцкий был одним из великих поэтов нашего времени. Впервые, он создал свою поэтику, и его стихи безошибочно узнаваемы. Но этого мало. Такие талантливые поэты, как И. Северянин или С. Кирсанов, тоже безошибочно узнаваемы, а вот великими их все же не назовешь. Великий поэт — это воплощение своей эпохи. Слуцкий воплотил ту ее часть, которая не была воплощена такими его великими современниками, как Б. Пастернак, А. Ахматова, А. Твардовский, Н. Заболоцкий, Я. Смеляков. Я бы присоединил к этому списку и Симонова, ибо бессмертные его стихи «Ты помнишь, Алеша...» или «Жди меня» при жизни автора были заслонены в глазах послевоенных читателей его публицистикой, его драматургией и прозой — тоже талантливой работой, но отнюдь не бесспорной.

«Кельнская яма», «Писаря», «Госпиталь», «Последнюю усталостью устав...», «Хозяин», «Бог», «Хуже всех на фронте пехоте...», «Я говорил от имени России...», «Давайте после драки...», «Баня», «Лошади в океане», «Старухи и старики», «М. В. Кульчицкий» — это шедевры не только русской, но и мировой поэзии. Слуцкий нашел свою единственную, *слуцкую* форму для тех сторон эпохи, которые не укладывались ни в пастернаковскую артистичную строфику, ни в классицизм Ахматовой, ни в «остраненность» Заболоцкого, ни в фольклоризированный стих Твардовского, ни в «красный, как флаг, винегрет» Смелякова, ни в киплинговскую интонацию Симонова. Сейчас к стиху Слуцкого уже привыкли, а ведь когда-то он шокировал своими якобы «прозаизмами», своей подчеркнутой неизящностью.

Году в пятидесятом, когда я писал бодрые стихи для «Советского спорта», мне впервые попались в руки перепечатанные на машинке стихи Слуцкого. Буквы глядели с третьекопирочной блеклостью. Но их смысл выступал с такой грубоватой отчетливостью, как если бы они были нацарапаны на алюминиевой миске солдатским ножом.

Хотя его первое стихотворение было опубликовано еще до войны, Слуцкий после этого долгое время печатался, в отличие от меня, зеленого юнца, не в газетах, не в журналах, а только на пишущей машинке. Поэзия Слуцкого поразила меня остроугольной костистостью, резкостью, крупностью ни на кого не похожего почерка. В пятидесятых такой почерк не то чтобы пугал многих, но

несколько шокировал. Вообще любой поэт со своей неповторимой интонацией не может немедленно уложиться к умам у читателей, даже подчас достаточно искушенных. Не проводя никаких параллелей, вспомним Маяковского, которому понадобилось немало времени, чтобы убедить в себе людей, воспитанных на Тютчеве, Баратынском.

Помню, как вместе с Фазилем Искандером мы пришли к Слуцкому в комнатку на Трубной. Хотя по молодости лет и я и Фазиль несколько форсили друг перед другом знанием всех отечественных и зарубежных новаций, мы были буквально ошарашены, когда Слуцкий милостиво разрешил нам в его присутствии покопаться в груде перепечатанных на машинке еще никому не известных стихов.

Стихи эти были написаны как будто на особом — рубленом, категоричном, не допускающем сентиментальности — языке. Что-то а этом было бодлеровски жесткое, что-то маяковски ораторское, что-то сельвински конструктивистское — и вместе с тем что-то совершенно своеобычное.

Я был политработником. Три года:  
Сорок второй и два еще потом.

Политработа — трудная работа.  
Работали ее таким путем:  
Стою перед шеренгами неплотными,  
Рассеянными час назад

в бою,

Перед голодными,

перед холодными.

Голодный и холодный.

Так!

Стою.

Так вот каков генезис языка Слуцкого! Это не только литературные учителя помогли выработать ему свой собственный язык, а сама его фронтовая судьба политработника научила резкому стилю приказов, безмишурной информационности оперсводок, где, «попросту говоря, закладывались основы литературного стиля». Приказы и оперсводки не нуждаются в изящности метафор и в мелодраматических пассажах. Главное в них — доложить обстановку, факты, выводы. По такому принципу построены многие стихи Слуцкого. Литература факта? Да, если хотите, — но уже на

новом историческом этапе, обогащенном опытом ошибок этого рода литературы конца двадцатых годов, когда скалькированный факт не становился живописью. Слуцкий применил иной метод; он не использовал факты для иллюстрации идей или для подкрепления метафор, а сгущал сами факты до такой плотности, что они становились идеями.

Поэт, как правило, не только подчиняется уже существующим канонам, но и создает новые — для самого себя. Поэтому слышавшиеся когда-то упреки по адресу Слуцкого в том, что он, дескать, не в ладах с русским языком, отдавали проповедью дистиллированности. Язык Слуцкого откровенно разговорен, а разговор никогда не бывает стерилен, и часто языковые неправильности, разумеется, поставленные в определенный художественный ряд, отражают естественность человеческой речи, ее сбивчивость, неприбранность. Вроде бы нельзя сказать: «Училка бьет в чернилку пером рондо», а по Слуцкому — можно. Или: «Письмо, бумажка похоронная, // что писарь написал вразмашку. // С тех пор как будто покоренная // она той малою бумажкой». Конечно, можно всплеснуть руками: «Как это — быть покоренной какой-то бумажкой?» Но эта «неправильность» необходима — ведь так и видишь женщину, смотрящую покорными, остановившимися глазами на похоронку. Неправильности, употребляемые дилетантски, создают ощущение мусорности; «неправильности», употребляемые с тактом высокого профессионализма, создают ощущение жизни — такой, какая она есть.

Чрезмерная ловкость рук в литературе заставляет усомниться в подлинности переживаний, а неловкость и неуклюжесть нередко служат доказательством этой подлинности. «В дверь постучали, и сосед вошел // и так сказал — я помню все до слова: // — Ведь Ленин помер. — И присел за стол...» Конечно, холодный стилист вместо «помер» поставил бы «умер» и вдобавок обязательно выбросил бы слово «ведь». Но правдивость в описании трагизма исчезла бы. Жизнь, а особенно смерть часто грубы, обнажены и требуют от поэта такой же художественной неприкрашенности.

Многие наши поэты сражались и с пером, и с оружием в руках за одно и то же правое дело на одной и той же войне. Но когда они стали писать о ней, то оказалось, что у каждого поэта была своя война. Своя война у Симонова, своя — у Твардовского, своя — у Межирова, своя — у Слуцкого. Это еще одно из доказательств неповторимости индивидуальности и личностной, и поэтической.

Отличие Слуцкого от многих поэтов в том, что он не стеснялся писать о самых, казалось бы, неэстетических вещах: «Лежит солдат в крови лежит, в большой...», «Смотрите, как, мясо с ладоней выев, кончают жизнь товарищи наши!», «Тик сотрясал старуху...», «Те, кто в ожесточении груди пустые сосал...» и т. д.

Это вовсе не нарочитое нагромождение ужасов, чтобы потрясти воображение слабонервного читателя, — это суровое, простое отношение к жизни, ставшее отношением к поэзии. Это продуманная творческая смелость, противопоставляющая себя слезливой красавице.

Когда году в пятьдесят четвертом Слуцкий читал свои стихи на поэтической секции, встал Михаил Светлов и произнес краткую речь: «По-моему, нам всем ясно, что пришел поэт лучше нас».

Я думал, что Светлов, обладавший драгоценным качеством влюбляться в чужие стихи, кое-что, конечно, преувеличил, потому что тогда были живы и он сам, и Твардовский, и Заболоцкий, и Пастернак, и другие. Но правда в том, что под влияние интонации Слуцкого попадали многие — в том числе и автор этой статьи — и выбирали себе шинель явно не по росту. Однако впоследствии опыт преодоленного влияния внес новые оттенки во всю многообразную молодую тогда поэзию.

Ценнейшее психологическое качество Слуцкого, подмеченное в свое время Эренбургом, — это глубокий внутренний демократизм, не противоречащий тонкой интеллигентности, а, наоборот, цементирующий ее. Но Эренбург не совсем точно ассоциировал демократизм Слуцкого с некрасовским. В поэзии Слуцкого нет такого ощущения крестьянства, как у Некрасова. Но это выношенный под огнем *фронтальной демократизм*, это демократизм нового типа, когда поэт — не просто «страдающий простому люду», а страдающий вместе со всем народом в моменты его бед и даже не желающий выделяться из народа в его будни своей какой бы то ни было личной привилегированностью.

Естественное проявление демократизма — ненасытное любопытство к жизни. Это любопытство — при всей разности художественных манер — сближает Слуцкого с таким, казалось бы, далеким от него поэтом, как Смеляков. Слуцкого интересуют и мальчишки из ремесленных училищ, и испанцы к изгнанию, и Хлебников, и пленный итальянец, и пишевики в доме отдыха, и глухой, слушающий радио, и инженер, сдающий поэту комнату, и еще футбол, хотя, по собственному признанию, поэт совсем не разби-

рается в нем. В таком любопытстве нет праздности. Основа его — неравнодушие, пристальное внимание к людям и ситуациям, которые могут стереться в памяти или ложно воплотиться, если не будут запечатлены непосредственным свидетелем. Поэзия Слуцкого обладает силой документа — и в то же время эмоциональной напряженностью заметок военного писаря, который пишет «монолог в расчете на то, что он сам бы крикнул, взошедши на эшафот».

Поэзия Слуцкого — это драгоценное историческое свидетельство, художественный документ эпохи.

*Из предисловия к книге: Борис Слуцкий. Стихотворения.  
М.: Художественная литература, 1989.*



---

*Андрей Вознесенский*

## НЕПОДКУПНЫЙ «КОМИССАР ЛИТЕРАТУРНОГО РЕНЕССАНСА»

Имя Бориса Слуцкого туманно для нового читателя. А между тем это поэт большой, сильный, рулевая фигура в послевоенной поэзии, неподкупный «комиссар литературного ренессанса». Стихи он выкрикивал высоким голосом, хрипловато, будто отдавал команды на ветру.

Крепкой, уверенной фигурой он походил на римского центуриона. Конечно, спешенного.

Под его пиджаком-букле чувствовались поддегтые классические латы. И стих его был четкий, римский. Он первый после смерти Сталина припечатал его поэтическим циклом. Стихи ходили в списках и бесили власти.

Шевеля рыжими усами, он был поэтическим дядькой для молодых. Скольким он помог! «Вам деньги нужны?» — спрашивал. И всегда давал в долг, не надеясь на возврат.

Склонный к иерархиям, к математическим схемам, он считал первым поэтом времени Мартынова. Себя вторым. Пастернака и Ахматову не брал в расчет, вероятно, как устаревших. Давид Самойлов в своих умных мемуарах, конечно, не во всем объективен к Слуцкому. Разве может быть объективен поэт к поэту! Он считает, что Слуцкий и Мартынов «оступились», выступив против Пастернака, из желания утвердить «новый ренессанс». «Я не смог отказаться, — говорил Слуцкий Эренбургу. — Теперь мне руки не подают».

Давид Самойлов и Борис Слуцкий были парой; в то время литература, как и теннис, признавала парную игру: Винокуров и Ваншенкин, Казаков и Семенов, Аксенов и Гладиллин — общество хотело видеть в литераторах друзей-соперников. Даже если бы Самойлов написал только одно стихотворение «Пестель, поэт и Анна», он все равно бы остался большим поэтом от Бога.

Меня Б. А. признавал, часто звонил. Мы часами бродили с ним по Москве. Про Бориса Леонидовича он говорил сухо: «Ваш Пас-

тернак». Он защитил меня статьей, когда на меня грубо напали за стихи «Похороны Гюголя». Помню, как-то он пришел с яркой идеей: «Давайте напишем реквиемы друг про друга. Пока мы еще живы!».

Литературно-сентиментальное болото считало его рациональным, холодным, мол, ни одно стихотворение его не проходит через сердце, считали его недостаточно сумасшедшим, что ли. Будто они знают, где помещается сердце! Но именно он, а не они, такие нервные напоказ, попал в психушку и погиб от любви к ушедшей Татьяне. Или, может быть, был сломан проступком против Пастернака.

Он лежал в 1-й Градской, в угловой палате. Никого не хотел видеть. Не пускал к себе.

Меня он видеть пожелал. Я вошел, он лежал, уткнувшись к стене. Широкая спина его подергивалась под казенным одеялом.

Когда он обернулся, взгляд его побыл осмысленным. Он без видимого интереса выслушал информацию о литературной жизни. Окатил холодной водой, когда я стал бодро утешать его. Отказался от фруктов, принесенных ему. Прошло минут сорок, он отвернулся к стене, показав, что аудиенция окончена. Спина его несколько раз дергалась — не то конвульсии, не то смех, не то рыдание.

Но до реквиема и до психушки было еще далеко, и мы беспечно дурили и любя подсмеивались над своим суровым и неподкупным дядькой.

Во время съемок в Политехническом мы читали всю неделю примерно одинаковый состав стихотворений. «Андрюша, разряди обстановку», — просила одна слушательница.

Б. А. Слуцкий сидел на сцене, слева от меня, держа на коленях букет. По сценарию.

Я уверенно вышел и начал читать из «Мастеров».

Купец галантный —  
куль голландский.

Так вот, я четко произнес «х... голландский». Зал онемел. Любой профессионал продолжал бы как ни в чем ни бывало. Но я растерялся от эффекта. И поправился: «Извините, то есть куль...» Рев, стон восхищенного зала не давал мне читать минут пять. Потом я продолжал чтение и триумфально сел на место. Лики

моих коллег были невозмутимы, как будто ничего не произошло.

Рядом на стуле из букета торчали красные уши и бровь Слуцкого.

— Андрей, — обратился он ко мне, выбравшись из букета.

— Что, Б. А.?

— Вы знаете что вы сказали?

— Что, Б. А.?

— Вы сказали слово «х...» (я впервые слышал из его уст этот термин).

— Не может быть!

Он посмотрел на меня как на больного.

— Андрей, прошу вас, больше никогда не читайте стихов. Вы всегда будете оговариваться...

На следующий вечер я увидел толпу, склонившуюся над магнитофоном. «Произнес или не произнес?»

Так происходило раскрепощение языка. Мы неловко боролись против стереотипов. Ныне мат заполонил издания, стал официальной феней депутатского корпуса. Думаю, что шок вызвала бы сейчас набоковская заповедная фраза.

Первый блин комом. Как сказали бы теперь: «Первый, блин, комом».

*Из книги: А. Вознесенский. На виртуальном ветру. М., 1997.*

## САМЫЙ КРУПНЫЙ ПОЭТ ПОЗДНЕГО СОВЕТИЗМА

Чтобы поэт состоялся, нужна капиллярная связь между характером и даром. Когда она есть, мы ее даже не замечаем. Но именно когда талантливый человек на наших глазах состоялся, это видно. Скажем, у Слуцкого эта связь — болезненная, но мощная...

Со Слуцким я познакомился, кажется, в 56-м году, когда он приехал на день поэзии в Ленинград. Слуцкий выступал и в нашем Доме писателей, и в книжном магазине на Невском — тогда-то я и мои приятели с ним познакомились. Видимо, он оставил адрес, потому что когда летом 57-го я приехал в Москву, то пришел в его знаменитую комнатуху на бульваре, около Литинститута. У меня даже есть стихи такие (тоже как бы мемуарные) — «Борис и Леонид».

Я зашел к Слуцкому в гости, застал там Мартынова и был ими приветливо встречен. Был я там часа полтора, прочел мало — стихотворения три, а в основном они меня расспрашивали о разном и мы ели арбуз.

Татьяна Бек: Бродский был знаком с Борисом Абрамовичем? Знаю, что Слуцкий едва ли ни единственный «советский» поэт, которого Иосиф признает.

— Да, я их знакомил.

Надо сказать, что Слуцкий всегда чрезвычайно интересовал Бродского, чрезвычайно. Он почему-то за глаза называл его несколько фамильно-иронически «Борух», и, будучи человеком очень пронизательным, он и тут видел гораздо дальше и глубже, чем остальные. Например, он уверен, что Слуцкий сугубо еврейская фигура, отсюда его демократизм, и преданность революционным идеалам, и прямота. Он видел в нем глубинный и сильный еврейский характер. Характер библейский, пророческий, мессианский, понимаешь?

Наверное, это был год 71-й или 72-й, у Бродского уже была большая известность, даже слава. Всякий раз, когда я встречался

со Слуцким (как правило случайно — то в Доме литераторов, то в гостях), он внимательно спрашивал о Бродском. Однажды я сказал: «Когда Иосиф в следующий раз приедет, я вас познакомлю». Иосиф приехал, и я позвонил Слуцкому по этому его странно-домашнему телефону — через коммутатор с добавочным, помнишь? — и он назначил нам свидание, в ЦДЛ, на утро, в раннее время, часов на 12. Мы пришли. Слуцкий очень гостеприимно и без всякого светского шика встретил нас: накупил провизии в буфете, много бутылок пива, двадцать бутербродов с сыром, десять пирожных! Что-то в этом роде. Не как завсегда, который взял бы коньяку и черного кофе, а как добрый дядюшка, желающий накормить молодых.

Я их представил друг другу. Мы сели. И тут трагическая деталь. Он вдруг произнес: «Перед тем, как мы начнем разговаривать, я сразу хочу сказать, что я был тогда на трибуне всего две с половиной минуты».

Татьяна Бек: Не может быть. Считается, что Слуцкий никогда не говорил с собеседниками о своем участии в травле Пастернака.

— Жизнью клянусь, что он с ходу сказал такую фразу, — абсолютная правда.

Наверное, это свидетельство того, что Бродского он воспринимал особо и очень взволнованно. Я даже не сразу понял, о чем речь, и лишь через несколько секунд до меня дошло. И тогда еще я ощутил, какое на всю его жизнь это произвело впечатление и что он пожизненно в плену этой истории...

*Из интервью: «Столица», 1992, № 43. С. 49–50.*

*Беседу вела Татьяна Бек.*

Борис Слуцкий не один из крупнейших, а великий поэт, самый крупный поэт позднего советизма. Самый крупный поэт! Поэзия не связана с содержанием... поэзия связана со звуком и ритмом. Слуцкий, ученик Сельвинского и друг Глазкова, восходит к русскому авангарду. И именно авангард, как направление, как проект, связанный с советской утопией, со сталинизмом, и был наиболее могучей поэзией двадцатых годов, именно он придал Асееву, Луговскому, Сельвинскому, Мартынову некоторое ускорение, потому что поэзия не зависит от содержания. Это явление ритма, это поэтика, звук, и вот этот звук наиболее соответствует странному

советскому времени у Слуцкого. Вот эта невероятная какофония им производится в силу его громадного таланта наиболее близким, наиболее подобающим образом. Никто так не написал, например, о войне: «Вниз головой по гулкой мостовой, вслед за собой война меня тащила...». Это гениальные стихи... Он великий поэт. И его трагическая жизнь, его история с Пастернаком, все это говорит о трагизме, о громадности его фигуры, о том, что он делал ошибки, был доверчив, был иногда слишком идеалистичен в своих отношениях с так называемой компартией, и это все признаки великого поэта. Он и был великим поэтом.

*Из выступления на вечере,  
посвященном 85-летию Бориса Слуцкого  
(18.05.2004)*

## ОН НЕ ЗАИГРЫВАЛ С НЕБОМ

Слабые поэты сбиваются в стаи. Сильные поэты живут одиноко. Борис Слуцкий не любил групповщины, к нему тянулись люди, но в поэзии он был одинок.

Поэтов на «своих» и «чужих» не делил, талантливые — свои, бездарные — чужие. В оценках был категоричен, говорил резко, словно отдавал приказы.

1964 год. Идем по улице Горького. Полувопрос-полуприказ:

— Возьмете у меня в долг?!

Он любил давать займы, спасать, выручать, кормить у себя дома, спрашивать и слушать, но если разочаровывался в человеке, не скрывал этого и сухо прощался.

О его начитанности ходили легенды. Чтобы «развенчать» легенду, при встрече мы придумывали и задавали ему коварные вопросы:

— А вы читали поэта Н.?

— Да, это поэт из Орла, у него есть два хороших стихотворения, — отвечал Слуцкий.

— А вы слышали о художнике М.?

— Да, был такой художник в начале века, но замечательны не его картины, а путешествия...

История, география, факты, имена, события, — казалось, он знает все.

Плохо знал природу, не любил «стихийные тайны», о своих ранних непредметных стихах говорил «слабое», другим поэтам не завидовал, читал их с восхищением.

О себе однажды сказал загадочное:

Ангельским, а не автомобильным  
Сшибло все-таки меня крылом...

То ли признал «Стихи о Прекрасной Даме», то ли что-то услышал в шуме тополей... Когда бессонница берез и тополей в его

переулке стала непрерывной, поэт отстранился от друзей, от мира, он не хотел, чтобы его видели слабым, ушел по законам природы.

Он не заигрывал с небесами в стихах, а в жизни с сильными мира сего, сам себе приказал быть добрым и храбрым, приземляя свою поэзию до крайности, цеплялся мыслями за предметность, как за обломки в океане. Однажды он признался мне в том, что любил заговаривать на улицах с незнакомками... Боролся в своих стихах с напевностью, но все-таки она прорывалась:

Я на палубу вышел, а Волга  
Бушевала, как море в грозу.

И дальше пронзительное:

...и долго  
слушал я это пенье внизу.

Казалось, он сам в себе борется с поэзией, и, когда она его побеждает, получаются такие стихи, как «Памяти Кульчицкого» или «Лошади в океане».

*Из книги: И. Шкляревский. Мне все понятней облака.  
М.: Сов. писатель, 1990.*



## В ЗНАК СТАРИННОЙ ДРУЖБЫ...

С Борисом Абрамовичем Слуцким меня познакомил Александр Коренев.

Первое воспоминание. Небольшая и почти пустая (безбытная) комната. Даже фундаментального письменного стола не вырисовывается. На железной кровати (не нашлось, должно быть, лишнего стула) сидит собранный, плотного сложения человек. Я читаю ему свои стихи. Он не перебивает, не ограничивает. Потом формулирует краткий диагноз: «Ну, что ж. Писать вы умеете (читал я не самые ранние пробы пера, а то, что впоследствии отчасти вошло в мою первую, 1957 года, книжку; и, как я теперь понимаю, словом „умеете“ мне выдавался аванс), но — о чем?»

Слуцкий не вдается в дидактику. И Саша Коренев просит почтить его. Звучат ставшие ныне хрестоматийными строки:

Давайте после драки  
Помашем кулаками:  
Не только пиво-раки  
Мы ели и лакали...

Они заставляют себя слушать. Никакого самозахлеба, инерции распева, привычных «поэтизмов». Циклопическая кладка стиха. Вроде бы — и не стиха... По тогдашним меркам, «Кельнская яма», «Госпиталь», «Последнюю усталостью устав...», «Писаря» резко выпадали из журнальной «стихопродукции». Это была прямая *речь*, обращенная к соотечественникам, к согражданам, связанным общей историей. Победой и Бедой...

Еще находившийся во власти своей первой любви к Маяковскому (в основном таких его произведений, как «Про это»), я уже тогда знал толк в энергетике поэтической строки, в ее интонационной экспрессии. (Наверное, потому Коренев и привел меня к Слуцкому.) Но в его стихах было и нечто еще. Поражала насыщенность («Хлеб наш насущный даждь нам днесь!») высказывания, физически осязаемый *вес* каждого входившего в текст поэтиче-

ского «документа» (или — «приговора») слова. Он понимал его библейскую изначальность и тем самым принимал традиционную для России миссию поэта-пророка. Но — своего времени. («...Готовились бои, // Готовились в пророки // Товарищи мои ».) Слова — как солдаты по команде («В стих! — Вынаю наган!») вставали в неровный строй строки и шли в смертельный бой. За правду. Во имя очищения правдой. Во имя прикосновения к реальности.

В этом и заключался смысл преподнесенного мне урока. Ответ на вопрос: «Если писать, то о чем?»

Когда Слуцкий читал: «Я говорил от имени России», то это не было пустозвонной декларацией. Точно так же, как и признание: «Политработа — трудная работа. Работали ее таким путем...». Эта, казалось бы, тривиально-канцелярская, «писарская» строка, при чтении подтверждаемая жестом рассекающей воздух ладони, оказывалась красноречивой «должностной» характеристикой. Для Слуцкого и поэзия была в известном смысле «политработой», то есть делом, безусловно, гражданственным, ответственным. При этом, однако, он говорил (может быть, кидая камушек в огород одного из собратьев по перу): «Листовок я не пишу!». Поэзия оставалась поэзией именно потому, что она была работой в языке, с языком.

Нет, Борис Слуцкий отнюдь не страдал зашоренностью в своем проповедничестве. Юношески любознательный, он интересовался самыми неожиданными вещами. Умел восхищаться тем, что кому-то могло показаться странным, маргинальным, диковинным. С трогательной теплотой рассказывал он о Николае Глазкове, человеке, конечно же, не вписывавшемся в «госты» представлений о советском писателе. Анекдот относился к довоенным временам их совместной учебы в Литинституте. Однажды Глазков вызвал на тайную сходку — и не куда-нибудь, а к памятнику Гоголю — Кульчицкого и Слуцкого. Встретились в назначенное время. Инициатор встречи объявил: «Я провозглашаю новое течение — „небывализм“ (Присутствовавшие расширили глаза.) Его три кита — алогизм, иррационализм (ну, это было в русле поведения оратора!) и... народность. (Глаза еще больше расширились.) Но — какая? — выдержав паузу, риторически спросил и победно заключил Глазков, — негритянская!». Неожиданная концовка очень радовала Слуцкого. (Как-то он представил и меня Глазкову, который, испытующе глядя в глаза при знакомстве, демонстрировал свое стальное рукопожатие. Кажется, я выдержал испытание.)

О «негритянской» же народности Слуцкий хорошо помнил, должно быть, не случайно. Народность — в его собственном понимании, слагающаяся из трагических судеб обыкновенных солдат («спичек-палочек») — была для него предметом серьезных «поэтических забот», что и давало ему право говорить «от имени России». А Россия — это, в первую очередь, язык, воспринимаемый Борисом Слуцким особенно остро, может быть, именно потому, что он вырос в Харькове: здесь сталкивались две языковые стихии — украинская и русская. Один язык на свой лад отражал и преломлял другой, подвергая сомнению абсолютность его норм. И, наверное, это едва ли не ключевой момент, позволяющий глубже войти в поэзию Слуцкого. Ее тайная взрывная сила — в антинормативности, порой озадачивающей шероховатостью необработанного камня, проржавевшего металла; в сбоях размера — ради живой разговорной интонации; в неправильностях, становящихся выразительностью; в использовании речевых ресурсов, аккумулирующих народную память. Экспрессивными средствами, оказывается, могли быть и старинные речения, те же поставленные в именительном падеже «пиво-раки», и другие языковые «аномалии»: «вспоминая про избы, про жен, про лошада», «патрон не додано», «вынает наган», «не заробили себе на паек» — вульгаризмы, канцеляризмы, украинизмы.

«Широко известный в узких литературных кругах», по характеристике компетентных органов, полученной из «агентурных» источников, Борис Слуцкий был практически еще «непечатным». Я попросил дать мне его стихи, чтобы познакомить с ними питерцев. Он не колеблясь откликнулся на мою просьбу. По возвращении домой я сразу же показал его подборку Плебу Семенову. Стихи Слуцкого «размножились» и стали фактом культурной жизни Ленинграда.

Когда была напечатана известная статья Ильи Эренбурга, сенсационным для нас явилось не имя Слуцкого, а сам факт публикации о нем. В тот период — капризной оттепели — дружеская поддержка, солидарность что-то значили. Мы с Плебом послали Борису Слуцкому телеграмму, поздравляя его, радуясь общему успеху: статья в «Литературке» знаменовала собой взятие еще одной позиции в цитадели официоза. Слуцкий виделся нам одним из безусловных лидеров в отстаивании прав свободного поэтического слова. На подаренной мне своей первой книге стихов «Память» 1957 года в стихотворении «Зоопарк ночью» он восстановил, приписав их от руки, изъятые цензурой строки:

И старинное слово:  
Свобода  
И древнее:  
Воля  
Мне припомнились снова  
И снова задела до боли.

В Ленинграде стихи Слуцкого стали теми зернами, которые упали на подготовленную почву. Тогда, в конце 50-х для нас (я имею в виду питерских молодых поэтов, связанных и дружбой, и учебой с Лебом Семеновым, — прежде всего, «горняков»: Л. Агеева, О. Тарутина, В. Британишского, А. Горюничского, а также органично влившихся в наше, как говаривал Глеб, «дружество» А. Кушнера, Г. Горбовского, Н. Королеву) понятие правды было категорией и нравственной, и эстетической одновременно. И пудовые слова, будто биваемые «по шляпку» в череп: «Мы все ходили под богом, // У бога под самым боком» несли в себе боль настоящей поэзии. И если говорилось: «бог ехал в пяти машинах», то за этим вставала пережитая нами эпоха, ее пронизанная незримыми силовыми линиями и анонимными императивами атмосфера.

Всякий раз, когда я ездил по разным делам в Москву, я старался встретиться со Слуцким. Бывал в Ленинграде и он. Диалог с ним, затрагивавший самые различные темы, не походил на собеседование мэтра с учеником, а напоминал, скорее, нечто среднее между допросом и приемом донесений: он спрашивал, мне надлежало отвечать, докладывать. Даже тогда, когда мы, прогуливаясь, просто шли по Невскому, он не упускал случая выяснить: а кто построил то здание, кто — это? — не то чтобы экзаменуя меня, а как бы уточняя нечто в своих собственных «штабных» раскладах и предположениях.

Почему я с легкостью принимал такой стиль общения? Попытаюсь объяснить свои тогдашние мотивы. Война упразднила традиционную российскую проблему «отцов и детей». Дети разделяли тяготы наравне с отцами. И воспринимали старших как защитников. А те видели в младших свое продолжение, ради которого и шли на смерть... Мой год рождения — 1928 — оказался рубежом истории, разделившим поколения на военное и послевоенное. Для меня и многих моих ровесников фронтовики были не просто победителями, но и людьми, прошедшими сквозь ад, вернувшимися из него. Слуцкий принадлежал к их числу. Поэтому

«военный» стиль разговора даже чем-то импонировал мне. Поскольку обозначал — в моих глазах — не дистанцию между нами, а напротив, утверждал единение соратников, позволяя ощутить себя причастным к «старшим братьям». Мое поколение жаждало встать в один ряд с ними. С другой стороны, то, что Борис Слуцкий знакомил меня с коллегами-поэтами — Леонидом Мартыновым, Давидом Самойловым, со своим давним другом и тоже фронтовиком Петром Захаровичем Гуреликом, кроме этикетной вежливости, являлось и актом доверия, введения меня в круг посвященных, «единоверцев». Для времени забрезживших перемен это было важно и необходимо.

Я не остался в долгу. Познакомил Бориса Слуцкого с Глебом Семеновым, отличным поэтом, мастером своего дела, превосходным педагогом. Его фигура примагничивала, стягивала вокруг себя практически всю творчески потенциальную поэтическую молодежь Ленинграда.

Семенов был поэтом совершенно иного склада, нежели Слуцкий — уже хотя бы потому, что один олицетворял типично питерскую, более интровертную, «книжную» школу, а другой типично московскую, более экстравертную, предполагавшую широкую («всенародную») аудиторию. Речь идет, конечно, об оппозиции относительной, об устремленности преобладающей. Однако, при всем своем отличии, Слуцкий высоко ценил поэтическую культуру Глеба Семенова, его дар беспощадного самораскрытия, чувство слова, выверенного и слухом, и зрением.

И вот они встретились — Борис и Глеб, — в сочетании своих имен (разумеется, с улыбкой) обнаруживая некий знак, символ древнего священного братства. В память врезалась сцена: Борис Слуцкий, Давид Самойлов, Володя Корнилов. Читаются очень сильные, социально заряженные стихи. Наконец, звучит хрипловатый голос Глеба:

Жил человек и нету.  
И умер не на войне.  
Хотел повернуться к свету,  
А умер лицом к стене...

Воцаряется долгая тишина. Все молчат, впитывая услышанное, как будто этой еретической простоты, этого глотка родниковой воды и не хватало...

Семенов, конечно, спорил со Слуцким. Но Слуцкий, несомненно, понимал, что профессионально-творческое братство и должно раскрываться во взаимодополнении. Каждый оставался самим собой. Поэтический суверенитет одного подразумевал аналогичное право другого.

Как искусствоведу мне было ясно, что поэзия Слуцкого во многом созвучна мощно заявившему тогда о себе в живописи «суровому стилю»: творчеству В. Попкова, Н. Андропова, П. Никонова. Борис Слуцкий любил живопись и интересовался моим мнением о том или другом художнике. Однажды он спросил: «А как вы относитесь к Плазунову?». (Незадолго перед этим тот переехал в Москву и устроил персональную выставку.) В свое время с Плазуновым мы виделись довольно часто. Меня привлекали его ранние графические листы — черно-белая «повесть о бедных влюбленных», мотивы их неприкаянной бездомности, свиданий на пустынных набережных петербургских каналов. Все мы прошли через увлечение итальянским неореализмом. Но последующие работы художника настораживали: я не находил в них серьезного отношения к своему, как говорил Врубель, «специальному делу», о чем и сказал Слуцкому. «Да, — возразил он, — но у него [то есть у Плазунова. — Л. М.] есть страдание».

Несколько позже Борис Слуцкий обратил мое внимание на работу Константина Васильева<sup>1</sup>, нашедшую место у него в комнате. Я пожал плечами...

Похоже — как и в поэзии — проблема контакта живописи с аудиторией его не отпускала. Проповедь не мыслилась вне слушающих, зрящих. Вне сопереживания. «Я» обретало свое «самостояние» во взаимодействии с «мы». Мне кажется, Слуцкий искал точки соприкосновения со своими согражданами. С народом. Разумеется, в очищенном от официозного лака значения этого слова.

Все же постепенно художественные пристрастия Слуцкого сместились в сторону Павла Кузнецова, Михаила Ларионова... Первому он посвятил стихотворение. Работа второго появилась в его доме.

Когда у меня вышла — в серии массовой библиотеки — маленькая книжица о П. В. Кузнецове, я послал ее Слуцкому. Он не

---

<sup>1</sup> Мне, часто бывавшему у Бориса, запомнился не Константин, а Юрий Васильев, картины которого и сейчас у меня перед глазами. — *Примеч. сост.*

ответил. Может быть, не получил. А вероятнее, его уже все сильнее скручивала болезнь...

Вообще же, при всей своей старательно подчеркиваемой деловитой суровости он был человеком исключительно отзывчивым и добрым. У него завязались прочные отношения с Володей Британишским. Он переписывался с Леней Агеевым, когда тот после окончания Горного несколько лет работал в далеком Североуральске. И даже приезжал к нему туда специально в командировку. Очень помог Лене в выпуске его первой книжки.

Я неизменно относился к Борису Абрамовичу с естественным — для меня — пиететом. Но, видимо, это тяготило его. И желая подчеркнуть отсутствие возрастного барьера между нами, он как-то попросил: «Лева, не называйте меня по имени-отчеству». Я удивился: «Не могу же я к вам обращаться на „ты“!» — «Пожалуйста! Можно ведь и по имени — на „вы“: Борис — вы». В дальнейшем так оно и сложилось.

Какая-то из программ посещения Питера включала выступление Слуцкого совместно с одним из московских коллег на лито в Доме культуры. Вечером того же дня мы договорились встретиться у Плеба. Борис быстро «отчитался», и я повез его на улицу Жуковского, где тогда жил Плеб. («Досрочный» уход Слуцкого с мероприятия был воспринят как вызов. Назревал скандал. Но — обошлось.) Когда мы с Борисом пришли, все уже были в сборе. В дружеском застолье Слуцкий взял слово: «Мне недавно довелось — от Союза писателей — побывать в Италии. Мы познакомились и разговорились с Александром Прокофьевым. В частности, о ленинградцах...

(Тут необходима моя вставная новелла. Во времена моей еще очень зеленой юности на заседании секции поэзии, протестуя против «гладкописи», я прибег к своеобразной форме критики: прочитал стихотворение Прокофьева не «сверху вниз», а — по строчкам — «снизу вверх». И получилось, вроде бы, не хуже... Когда Прокопу — так его все мы именовали — доложили об инциденте, он, наливаясь пунцовой лиловизной, клокотал: я для него входил в разряд тех, которые «поразбивали строчки лесенкой»... Каюсь, если бы я знал, что и Прокоп, наш царь-батюшка, в те времена тоже чуть не попал под колесо проработки, — кажется, в связи с его переводами «украинского националиста» Сосюры, я бы, разумеется, не возникал. Но что случилось — то случилось. И моя «акция протеста» не была забыта Александром Андреевичем.)

...И вот, когда мы переходили Рубикон (!), — продолжал Борис, — я спросил Прокофьева: Ну, а как там молодая ленинградская поэзия? Что такое Мочалов? — Мочалов? — без запинки ответил он, — это нахал! Так выпьем же, — заключил тостом свою историю Борис, — за нахала Мочалова!»

Это — из области веселого. Но не могу не вспомнить эпизод, уже, наверное, не слишком веселый, хотя, может быть, и смешной. И, по-моему, многозначительный.

Борис приехал в очередной раз в Ленинград. Приехал с Таней, своей женой (их семейный стаж был еще не велик). Мы встретились на Невском, в Екатерининском садике. И я сказал Борису, что хотел бы с ним «серьезно поговорить». Милая Таня деликатно отошла в сторону и присела на скамейке, подальше от нас. А дело происходило поздней осенью. Было холодно. Пробирала питерская промозглость. И был 1962 год. И — Карибский кризис. И мир балансировал на грани термоядерной войны. То бишь, всеобщей катастрофы. Вот об этом-то я, заикаясь, и заговорил с Борисом Слуцким. Заговорил — как будто шагнув в ледяную воду. Слова давались нелегко: «Надо ведь что-то делать! Написать коллективное письмо... Выступить в печати...». (Интересно, кто бы стал печатать предполагаемое воззвание?!) В своем отчаянном побуждении руководимый и сугубо «эгоистическим интересом» (у меня росли две дочери — одной 12, другой 9 лет), я, кажется, был готов на все. Борис слушал меня очень внимательно. Легко оценив мою мальчишескую наивность, он вполне мог отделаться шуткой: похлопал бы по плечу — и гуляй! Но в лице его я не улавливал и тени иронии. Напротив, оно впервые показалось мне несколько растерянным. Он словно бы взвешивал различные субстанции: с одной стороны — чувствуя, что мой порыв порожден верой не только в него как в поэта, принявшего в свои руки знамя гражданской совести, но и во всемогущество Слова; с другой — отлично понимая бессилие слова перед «силой вещей». Властью рока, в конце концов. Минуту-другую длилось молчание. Потом он заговорил мягко и доверительно, с интонацией раздумчивого сомнения и надежды, основанной на этом сомнении. Не берусь точно воспроизвести его речь. Но суть ее можно было бы выразить примерно так: «Знаете, Лева, к счастью есть дистанция между громогласными дипломатическими нотами, политическими заклинаниями и реальным приведением в действие механизма войны...» Именно потому, что слова эти исходили от человека



военного, а к тому же разбирающегося в политике, они меня как-то убеждали. И если не успокоили, то пригласили мой пыл.

Наша беседа затянулась до получаса. Бедная Таня совсем замерзла, но нас не тревожила. Когда мы подошли к ней, я попросил извинения. «Да, — подтвердил Борис, — мужской разговор». Бог смилостивился. Мир, обойдясь без наших подвигов, тогда не взорвался. Впоследствии о произошедшем никто из нас не вспоминал. Борис никогда не подтрунивал над моим желанием «подправить историю», хотя мы еще не раз встречались.

Одна из встреч (присутствовал и Плеб) произошла у Нонны Слепаковой (с 1960 года — моей жены), в квартире на Гатчинской. Нонна читала свои стихи. Слуцкому они понравились. Помнится, уже лежала в издательстве первая Ноннина книжка — «Первый день» (1967). Зашла речь о вступлении в Союз. Нонна попросила у Бориса рекомендацию. Как бы подкрепляя ее просьбу, я заметил: «Ведь *непечатного* ничего нет!» С безупречной, юридически до-тошной логикой Слуцкий парировал: «Но и *печатного* тоже ничего нет!» Конечно, произнес он это с улыбкой и без малейших сомнений обещал написать (и написал) рекомендацию Слепаковой.

Любопытный казус: какие-то из стихотворных текстов Нонны оказались в архиве Бориса. И после его смерти одно из стихотворений было напечатано под его именем. Нонна не обиделась, ей это даже польстило. Но, видимо, публикатор все же небезосновательно приписал стихотворение «Всегда над нами что-то есть», открывавшее книжку «Первый день», Борису Слуцкому. Должно быть, само время связало двух очень разных поэтов некой тайной общностью.

На книге, выпущенной в 1969 году издательством «Художественная литература» и подаренной автором, я читаю: «Нонне и Леве в знак старинной дружбы. Борис Слуцкий».

Июнь 2004.

## ПОЭЗИЯ ТОЧНОГО СЛОВА

Среди книг Бориса Слуцкого, стоящих на моих полках, есть две с дарственными надписями. На книге «Память»: «Нине Королевой дружески и в уверенном ожидании отличных стихов. Борис Слуцкий». На книге «Сегодня и вчера»: «Нине Королевой и Саше — дружески. Борис Слуцкий».

В обоих случаях даты нет. Интересно, надписывая книги другим, Борис Абрамович тоже не ставил даты? Наверное, нет, потому что под своими стихами он тоже дат не ставил. Остальные вышедшие при жизни Слуцкого его книги — не надписаны. В те годы мы мало задумывались об истории и, общаясь со своими учителями, друзьями и кумирами, не стремились получить от них «дарственные надписи» на книгах, купленных нами самими.

В 1966 году меня приняли в Союз писателей. Три рекомендации мне дали московские поэты — П. Г. Антокольский, С. П. Щипачев и Б. А. Слуцкий. Я вступала в ленинградское отделение Союза, и рекомендации москвичей были восприняты как вызов. Мне было сказано: «А в Ленинграде ты никого достойного не нашла?» Не нашла. Конечно, был В. С. Шефнер, но я к тому времени опубликовала в альманахе «Молодой Ленинград» о его поэзии восторженную статью, и мне было неудобно его просить.

Стихи, с которых для меня и для моих друзей в Ленинграде начался Борис Слуцкий — это стихи о войне. Почти тогда же — стихи о Сталине: «В то утро в Мавзолее был похоронен Сталин...», «А мой хозяин не любил меня...». Стихи о поэзии, о честности в стихах — с их прекрасными развернутыми метафорами:

«Стих встает, как солдат. // Нет, он как политрук, // Что обязан возглавить бросок, // Отрывая от двух обмороженных рук // Землю — всю, глину — всю, весь песок...». И еще — стихи о жизненных убеждениях и правилах: «Надо, чтобы дети или звери, // Чтоб солдаты или, скажем, бабы // К вам питали полное доверье // Или полюбили вас хотя бы...», «Мелкие прижизненные хлопоты // По добыче славы и денег // К жизненному опыту // Не принадлежат».

И еще — стихи о евреях — смелые, иронически пересказывающие и опровергающие антисемитские тезисы: «Евреи хлеба не сеют, // Евреи в лавках торгуют, // Евреи раньше лысеют, // Евреи больше воруют... // Я все это слышал с детства, // И скоро уже постарею, // А все никуда не деться // От крика „евреи“, „евреи“: // Не воровавший ни разу, // Не торговавший ни разу, // Ношу в себе как заразу // Проклятую эту расу. // Пуля меня миновала, // Чтоб говорилось нелживо: „Евреев не убивало, // Все воротились живы“». И еще — немногочисленные стихи про личное и «про это»: «У меня была комната с отдельным входом. // А я был холост и жил один... // И каждый раз, как была охота, // Я в эту комнату знакомых водил». И еще многое, многое другое. Привожу все эти строки наизусть, не заглядывая в книги, где они, наверное, все уже напечатаны, — привожу так, как их помню уже более полувека.

Это была удивительная поэзия — поэзия точного слова, собственного жизненного опыта и подлинного наблюдения и факта. Если Слуцкий писал, что он поехал на вокзал, чтобы увидеть, как народ слушает Гимн, — то это значит, что он действительно туда ездил. Если он пишет, что в провинциальном городке, когда нет кино, жители идут рассматривать чужое белье, которое сушится на веревках, — это значит, что ему рассказали об этом, как о достоверном факте.

Старинная знакомая  
Мне рассказала как-то  
Конечно, пустяковые,  
Но, между прочим, факты...

Когда ленинградский поэт Леонид Агеев, окончив Горный институт, уехал по распределению на Урал, Борис Абрамович задавал ему в письмах конкретные вопросы: сколько читателей в местной библиотеке? К каким социальным слоям они принадлежат? Какие книги берут читать? Мне лично он задавал столь же точные вопросы: сколько евреев было на вашем курсе на филфаке Университета? Помню, что я не могла ответить, и он уточнил: «Но вы на собраниях слушали доклады мандатной комиссии?» Я ответила: да, слушала, там говорилось: русских столько-то, еще кого-то — столько-то, а в конце — «татарин один», и мы все смеялись, потому что татарин — это была маленькая рыженькая и изящная Роза Арасланова. Борис Абрамович хмурился, явно

разочарованный моей несерьезностью. Но я забегаю вперед...

Впервые мы увидели Бориса Слуцкого, наверно, в 1956 году — перед вечером московских поэтов в Технологическом институте. Ленинградский поэт, устроитель вечера, сопровождал москвичей — Слуцкого и Евтушенко — в такси и был удивлен, что Слуцкий попросил остановить машину, не доезжая института. «Мы едем к нищим студентам, — объяснил Слуцкий, — и не должны барственно выходить из такси». В тот день Глеб Семенов, секретарь комиссии по работе с молодыми литераторами при Союзе писателей, представил Слуцкому группу своих учеников, поэтов Горного ЛИТО: Владимир Британишский, Леонид Агеев, Глеб Гурбовский, Лина, Нина». Нам — Лине Гольдман и мне — фамилий еще не полагалось. После вечера мы оказались в ленинградской квартире, где читали Борису Абрамовичу свои стихи и напали на только что услышанного Евтушенко, который нам не понравился. «Вы не правы, — возражал нам Слуцкий. — Евтушенко написал: „Походочкой расслабленной, // С челочкой на лбу // Вхожу, плясун прославленный, // В гудящую избу“. Плохой поэт написал бы: „И с челочкой на лбу“. Хороший поэт не поставил „И“, передав ритм пляски и приблатненность походочки расслабленной».

Прослушав стихи и заинтересовавшись ими, Слуцкий включил наш поэтический круг в сферу своих интересов и своего контроля. Мы определили его роль как «комиссар Глеб-гвардии Семеновского полка».

Сейчас трудно распределить по годам наши многочисленные встречи в Москве, в сменяющихся комнатах Бориса Слуцкого, и в Ленинграде — в квартире Леонида Агеева на Садовой, в гостиницах, где останавливались московские поэты, в доме Глеба Семенова на канале Грибоедова. Помню отдельные реплики и суждения Слуцкого, которые не всегда были справедливы, но всегда категоричны. И его вопросы молодым поэтам нашего круга: «Вас никто не знает и никто не печатает. Почему и зачем вы пишете?» «У вас тесный и узкий круг. Ссоритесь ли вы из-за стихов? Из-за печатания? А из-за женщин?» «Самый легкий путь в литературу предстоит Александру Кушнеру. Ему надо только приучить редакторов к своей манере письма». Он был не прав по отношению к Александру Кушнеру, его путь в печать отнюдь не был безоблачным и легким, но так сложилось, что Слуцкий воспринял его при первом знакомстве только как поэта с мягким юмором и радостным

взглядом на жизнь. Позже, в Москве, он многократно спрашивал и меня, и других приехавших к нему ленинградцев: «Как там ваш весельчак Кушнер?» Помню категорическое приказание Слуцкого: «О каждом человеке нужно знать, чем он зарабатывает себе на хлеб».

Из всех молодых ленинградских поэтов больше всего интересовали Слуцкого Британишский и Агеев. Леонид Агеев — больше других. Слуцкому была близка земная, черноземная основа стихов Леонида, его образы — солдат, колонна которых идет на небо, или целинника, засыпающего от усталости в открытом поле под палящим солнцем, или женщин, возвращающихся ночью с кожевенной фабрики. Британишского он ценил за формулировочную точность интеллигентского осмысления мира. В 1962 году Б. А. Слуцкий стал редактором двух первых книг молодых поэтов — Леонида Агеева «Земля» (Москва, «Советский писатель», 1962) и Станислава Куняева «Звено» (там же). Куняева Слуцкий считал в эти годы своим учеником, и в книге «Звено» много стихотворений, написанных на темы Слуцкого и в подражание ему: о вокзалах с их людским водоворотом, о девчонках с комсомольскихстроек, «одетых в робы креозотные, обутых в сапоги кирзовые». Но были в книге и очень хорошие стихи, оправдывающие высокое мнение Слуцкого о молодом ученике: «Добро должно быть с кулаками...», «Мой ребенок кричит по ночам...», «Городкам в России нету счета... // Почта. Баня. Пыль и тишина. // И Доска районного почета // На пустынной площади видна...», «В леса, пустынные и грустные, // Уже не ходят грибники...». Позже дороги ученика и учителя разошлись, народники-«горняки» и московские русофилы оказались во враждебных лагерях, но тогда, в начале 1960-х годов, Борис Слуцкий не видел в нас антиподов. Книга Станислава Куняева «Звено», отредактированная Слуцким, стоит на моей полке с надписью автора: «Нина, я думаю, Тютчев тебе уже надоел. Попробуй почитать меня. Привет питерцам. Станислав». Книга Леонида Агеева «Земля» вышла в московском отделении издательства «Советский писатель», хотя в Ленинграде было свое, ленинградское. Это было сделано Слуцким, выстроившим книгу и заставившим Агеева многие стихи доработать. Сделать это было не просто, Агеев не был покорным автором. Приведу один пример. В книге есть замечательное, горькое стихотворение «Буренка» — о деревенской беспросветной жизни, о старухе-пьянице, срывающей свое горе на безответной буренке:

Плоха хозяйка, непутева,  
Со смерти сына пьет и пьет.  
Когда б ни встретила корову,  
Всегда сукастой палкой бьет.  
Теперь и за порог нередко  
Не в силах выйти, говорят.  
Корову добрые соседки  
Загонят в хлев и подоят.  
Проспится старая — и матом:  
«Кто вас просил? Кто вам велел?»  
Ревут соседские ребята,  
А у терпенья есть предел...  
На этот раз соседи глухи.  
Терпенье лопнуло давно.  
...Никто не знал, что смерть к старухе  
Сегодня стукнула в окно,

Так кончается стихотворение в книге. Это редакция Слуцкого. Но у Агеева была еще одна строфа, — не плохая, но явно ослабляющая воздействие целого:

Несчастье чувствуя иначе,  
Буренка, в окна вперив взор,  
То замолчит, то вновь заплачет  
И трется шеей о забор.

Вкус Слуцкого-редактора, отбросившего эту строфу, был безошибочным.

Женские наши стихи Слуцкий ценил значительно меньше. Впрочем, отдельные — хвалил: из моих — «Инту», «Человек не встал и не завыл, — // Человек с трибуны говорил, — // Не о том, о чем молчат ночами, // Но о чем беседуют за чаями // В четырех стенах с двумя друзьями...», «Сдают бутылки — винные...». Но, по словам дружившего со Слуцким и с нами Владимира Корнилова, добавлял в разговоре с ним обо мне и о другой, гораздо более известной московской поэтессе: «Но им же, матушкам, не о чем писать!» Противопоставлял нам Светлану Евсееву, считая, что за ее стихами стоит биография и судьба, которой мы — вчерашние школьницы — не имеем.

Владимир Британишский несколько раз печатно процитировал слова Слуцкого о его высокой оценке поэзии Натальи Астафьевой как лучшей российской поэтессы. Не буду спорить. Но и я, и многие другие из нас запомнили и другие его слова. На наш вопрос,

почему, переехав в Москву, Рубцов стал писать лучше, а Британишский — хуже, Борис Абрамович ответил: «Потому что в этой семье неправильно сложились отношения: главным поэтом признана Астафьева, а второстепенным Британишский. Правильно было бы наоборот».

Когда я приезжала в Москву, то всегда в первый же день звонила Борису Абрамовичу и всегда слышала в ответ: «Сколько времени вы пробудете в Москве?» Я отвечала, и после секундной паузы мне назначался день и час — иногда назавтра, иногда через неделю. Назначался точно, перезванивать и напоминать было не нужно. Я читала ему свои новые стихи. Он что-то одобрял, что-то не одобрял. Однажды сказал: «Вы неправильно выбрали тему своей диссертации — Тютчев. Вы пишете совсем в другом ключе. Что общего в вашей манере со стихом Тютчева?» Я спорила с ним, доказывая, что анализировать чужие стихи легче тогда, когда они совсем не родственны тебе. Он не опровергал меня, просто выслушивал. Он никогда не спорил, высказав однажды свое суждение в единственной свойственной ему безапелляционной манере. После того как я прочитывала стихи, почти в каждое мое посещение он звонил кому-нибудь и говорил: «Вам следует послушать стихи ленинградской Нины Королевой». Так он познакомил меня с Григорием Левиным, С. П. Щипачевым, П. Г. Антокольским, Евгением Винокуровым, Давидом Самойловым. «Ленинградской Нины Королевой» — потому, что существовала московская Нина Михайловна Королева, партийная поэтесса, которая строила Комсомольск-на-Амуре, училась вместе с женой Наровчатова; при появлении моих стихов заявила, что имеет полное право на свою фамилию, которую носит от рождения, я же — Королева только по мужу. По мнению Слуцкого, ее существование всегда будет мешать мне, и мне следовало взять псевдоним. Про псевдоним он говорил и другим, например хорошему поэту-горняку Грише Глозману: «Место русского поэта с еврейской фамилией уже занято Кушнером». Помнится, что Глозман пожаловался на Слуцкого С. Я. Маршаку, — тот был весьма возмущен мнением Слуцкого и утверждал, что лично он, Маршак, прекрасно прожил литературную жизнь под своей собственной фамилией.

Наконец, при каждом моем посещении Борис Абрамович предлагал мне выбрать из стопки машинописных листов, всегда лежащих на его столе или на подоконнике, те его стихотворения, которые я хочу, и я выбирала многие. Так у меня собралась большая

папка непечатных в те поры стихотворений Слуцкого, многие из которых я, не сознавая в том никакой опасности, перепечатывала на своей машинке и раздавала друзьям — узкому кругу ленинградских поэтов. Мне казалось: если меня спросят, зачем я это делаю, я отвечу, что это нужно нам для профессиональной поэтической работы, и этого будет достаточно. В период «оттепели» конца 1950–1960-х годов, возможно, так и было. Несмотря на то, что тираж второго выпуска нашего «Горного сборника» в 1957 году был сожжен кагэбешниками во дворе Горного института, а ЛИТО Горного института, куда мы все ходили, закрыто, никто из нас тогда не был особенно наказан. Мы продолжали учиться, нас начали печатать, вышли книги стихов — у Горбовского, потом у меня, потом у Кушнера и Агеева. Но — и тогда, и позже — Ленинград, конечно, был очень поднадзорным городом. Мы мало думали тогда об этом, не считали себя ни диссидентами, ни антисоветчиками, и, хотя на вечере Горного института могли вывесить плакат: «В Москве прошел Двадцатый съезд, — Пусть каждый выпьет и заест!», были уверены, что если следить за такими, как мы, то никаких следилок не хватит. Однако о необходимости осторожности нас постоянно предупреждали наши учителя — Г. С. Семенов, Е. Г. Эткинд, Т. Ю. Хмельницкая, Д. Я. Дар. Например, чего не надо читать на публичных выступлениях: не только публицистические стихи, затрагивающие партию, революцию (Октябрьскую, разумеется) или государственный строй, но и стихи о смерти, о Боге, молитвы, «неплатоническую» любовную лирику, чтобы не поставить под удар — не себя лично, но весь круг друзей и учителей. Надо сказать, что выполнить этот завет, а отчасти и приказ, бывало трудновато, у меня, например, если вычесть все вышперечисленные темы, просто ничего не оставалось... Помню и такое предостережение: если после выступления к тебе подойдет некий человек, выскажет восхищение твоими стихами и попросит дать ему текст, делать этого ни в коем случае не следует, т. к. одно дело — он что-то услышал и, может быть, не так понял, а другое дело — дать ему в руки текст, который затем ляжет на стол идеологическому начальству в Большом доме или в Обкоме партии...

Чрезмерная ленинградская осторожность иногда приводила к курьезным случаям, об одном из которых я потом много лет жалею. На улице ко мне подошел незнакомый рыжий молодой человек и сказал: «Нина, я слышал, что у вас самое полное в Ленинграде



собрание непечатных стихов Бориса Слуцкого. Можно мне их прочесть?» Я видела этого молодого человека в первый раз и, конечно, сказала: «Да нет, у меня, собственно, только печатные... и вообще я не помню, где они лежат...» И что-то еще подобное, беспомощное. Это был Иосиф Бродский, который в начале своего творческого пути очень высоко ценил поэзию Слуцкого, посещал его в Москве и сведения о моем собрании машинописей получил от самого Слуцкого.

Выступление Слуцкого на собрании в Союзе писателей в Москве с осуждением Бориса Пастернака мы знали. Мы были огорчены. Но ни в тот момент, ни позже никто из моих друзей не изменил к Борису Абрамовичу своего отношения. У нас было свое понимание проблемы «поэт и власть»: государство печатает и награждает того, кто прославляет и пропагандирует его и партийную политику. Если тебе государство и партия не нравятся, то ты вправе писать вне этих понятий, но тогда не жди от них ни печатанья, ни каких-либо благ. За границей тогда никто из нас не печатался. Факт появления «Доктора Живаго» за границей мы считали жестом смелым и вызывающим, на который поэт имеет право, но и государство имеет право его не одобрить. А руководство московской писательской организации мы считали насквозь продавшимся советской власти и партии за блага и подачки. Борис Слуцкий, в нашем понимании, при всей его смелости и независимости, был комиссаром и политработником — партийным человеком, патриотом и ленинцем. Иллюзия насчет роли Ленина в истории революции и страны была вообще распространена в те годы. Глеб Семенов тоже был «ленинцем», даже многозначительно носил кепочку-ленинку... Многим тогда казалось, что Сталин привел страну в концлагеря, не следуя заветам Ленина, а вопреки им. Впрочем, многие — я в том числе — думали иначе, мне, например, не нравился грубый полемический стиль Ленина в его борьбе со своими политическими противниками, то, что Ленин ненавидел и разорил крестьянство, то, что в партии существовал принцип демократического централизма. На моем столе с детства стоял гипсовый бюст Ленина с прорезью в затылке и надписью, сделанной рукой моего отца: «Ниночке на скрипку», то есть непочтительно превращенный в 1940-м году отцом в копилку... Но — своих учителей-ленинцев мы не судили, а принимали такими, какими они были. Конечно, нам было жаль, что Слуцкий, как и Леонид Мартынов, выступил с осуждением Пастернака, но мы ведь не знали, как

и почему это произошло, насколько в этом была его добрая воля. К тому же на собрании он выступил с осуждением не поэта Пастернака, а факта публикации романа «Доктор Живаго» за границей. Так я рассуждала тогда. Позже, когда нам рассказывали о мучительных сожалениях Бориса Абрамовича по поводу этого своего выступления, мы относились к нему как к человеку — с состраданием, но и с некоторым изумлением: ведь книга «Доктор Живаго» вышла, этого уже никто не сможет отменить, а суждения и осуждения — это преходяще, и Пастернак как был, так и останется великим поэтом. Но Слуцкий помнил о своем поступке и писал о нем как о трусости: «Де-то струсил. И этот случай, // как его там не назови, // солью самую злой, колючей // оседает в моей крови». Мне казалось, что это написано о том собрании. За дорогого поэта было больно.

Наше общение с Борисом Слуцким продолжалось до конца 1960-х годов. Потом мы узнали о смерти его жены Тани и тяжелом душевном кризисе Бориса Абрамовича. Несколько раз на наши звонки он ответил хмуро и односложно, не пригласив нас к себе. Несколько раз не узнал меня при встрече на улице. Мы горевали о Тане, душевную депрессию Бориса Абрамовича связывали и с личным горем, и с последствиями военной контузии, ранений, и с постоянными его головными болями, о которых знали еще с 1950-х годов. Но отнюдь не с «пастернаковской» историей. Ленинградские младшие друзья и почитатели Бориса Слуцкого не отвернулись от него после 1960 года. Для нас он был мэтром. Авторитетом.

Впрочем, мы знали, что в некоторых кругах молодых поэтов и Ленинграда, и Москвы Слуцкого не ценили, — например, в кругу наших московских друзей, куда входили Галина Андреева, Леонид Чертков, Андрей Сергеев, Стае Красавицкий, Михаил Ландман и другие. Для них он авторитетом не был, а Андрей Сергеев даже написал смешную и жесткую пародию на одно из патриотических и коммунистических стихотворений Слуцкого «Когда убили Белояниса...» — в пародии обыгрывалось сходство фамилий греческого коммуниста Белояниса и московской реально существующей поэтессы Бялосинской:

Когда убили Бялосинскую, —  
То есть когда ее убили, —  
Собралися, не поленилися  
Ее подруги на могиле.

И выпили вина московского,  
А после пива ленинградского.  
Они читали Маяковского  
По-правильному, по-солдатскому.  
Они девчата были строгие,  
Они прочли тома немногие,  
Поскольку верчены и кручены  
И к рифмам вроде бы приучены.  
И я без тени умиления  
Люблю вот это поколение.

Пусть простит меня безвременно ушедший Андрей Сергеев, если что-то я процитировала неточно. Пародия, может быть, не самая удачная, хотя и близкая к тексту стихотворения Слуцкого и к его позиции поэта, мыслящего категориями поколений и эпох. Но в нашем ленинградском кругу сама мысль пародировать Слуцкого не возникала. А в том, сейчас уже сильно поредевшем кругу москвичей прочно запомнили слова Бориса Абрамовича: «Я не считаю Пастернака большим поэтом», сказанные им при выходе из зала после «пастернаковского» собрания при большом количестве свидетелей...

Для нас, ленинградцев, пожалуй, более досадным было неприятие Слуцким Анны Ахматовой. В Комарове, например, Слуцкий мог сказать: «К старухе не пойду. Не хочу носить шлейф». И написал стихотворение, в котором отдавал Ахматовой должное за гордую ее позицию, но — не любил:

Я с той старухой хладновежлив был,  
Знал недостатки, уважал достоинства,  
Особенно спокойное достоинство,  
Морозный ледовитый пыл.

Республиканец с молодых зубов,  
Не принимал я это королевствование:  
Осанку, ореол и шествование, —  
Весь мир господ и, стало быть, рабов.

Впрочем, однажды, в поздние годы, он все же взял эпиграфом к стихотворению «В раннем средневековье...» слова Ахматовой «Не будем терять отчаяния», видимо, эту формулировку Н. Н. Пунина она произнесла в каком-нибудь разговоре с ним или при нем... П. З. Гурелик, друг Слуцкого с детских лет, сказал мне, что у Бориса Абрамовича была записная книжка с распределени-

ем мест поэтов по «гамбургскому счету» и что первым там поставлен поэт Рудерман, автор «Тачанки»<sup>1</sup>. Интересно, по какому принципу Слуцкий составлял этот «гамбургский» список? И на каком месте там Ахматова? А Твардовский? Есенин? Впрочем, известно, что Твардовского Слуцкий ценил высоко и это была, что называется, любовь без взаимности... Твардовский стихов Слуцкого не ценил и, кажется, не печатал. Во всяком случае нам была известна шутливая фраза Слуцкого, что в «Новом мире» его печатает Софья Григорьевна Караганова только тогда, когда Твардовский в отпуске или в запое...

В середине 1960-х годов мы, группа ленинградских поэтов, были посланы в Москву для очень престижных выступлений — в Колонном зале, в Театре Эстрады и др. После окончания «гастролей» мы с Агеевым пришли к Слуцкому «для отчета». «Кто пользовался самым большим успехом?» — задал Борис Абрамович точный вопрос. «Щипахина», — хмуро ответил Агеев. «За красоту?» — уточнил Слуцкий. «Нет, за нравоучения...» — ответил Ляня...

Вспоминается, что Слуцкому нравились некоторые стихи Леонида Виноградова — «моностихи», как мы их тогда называли: «Хрущев читал Хемингуэя?» или «В государстве Гана есть своя богема?» Известно, что Слуцкому был интересен Иосиф Бродский. Интересен Евгений Кучинский с его сказочно-политизированной деревней, где старый дед рассуждает о политике: «Вот хоть сегодня поезжай к Де Гюлю, // Стучи по президентскому столу: // „Воюете с вьетнамцами? Доколе // Вы будете измучивать страну?“» Помню его сдержанный, но безусловно положительный отзыв о стихотворении Глеба Семенова «Вот был человек — и нету. // И даже не на войне. // Хотел повернуться к свету, // А умер лицом к стене...»

Из поздних стихов Бориса Слуцкого мне, пожалуй, наиболее дорого стихотворение о женщинах-поэтессах — «Мариэтта и Маргарита // и к тому же Ольга Берггольц — // это не перекатная голь! // Это тоже не будет забыто». Строки нарочито корявые, как бы в стиле протоколов партийных или писательских собраний, на

---

<sup>1</sup> Я рассказывал Нине Королевой о книге «Молодая Москва» (Московский рабочий, 1947). Борис Слуцкий против фамилий авторов проставил номера: первым был Сергей Наровчатов, вторым — Виктор Урин, третьим — Семен Гудзенко и т. д. В «Молодой Москве» не упоминались ни Ахматова, ни Есенин, ни Твардовский... — *Примеч. сост.*

которых бесстрашно выступали эти три самолюбивые, своевольные и гордые женщины:

Исходили из сердобольности,  
из старинной женской вольности,  
из каких-то неписанных прав,  
из того, что честный прав.

В этих словах, конечно, сплошная риторика, но дальше идут абсолютно точные краткие зарисовки поведения трех женщин на партийных трибунах. Я знала этих поэтесс, некоторых близко, некоторых едва-едва, но могу свидетельствовать, что характеры и детали переданы абсолютно точно. Это был замечательный пример поэтики точного факта:

Маргарита губы подмажет  
и опять что-нибудь да скажет.  
Мариэтта, свой аппарат  
слуховой отключив от спора,  
вовлечет весь аппарат  
государственный в дебри спора.  
Ольга выпьет и не закусит,  
снова выпьет и повторит,  
а потом удила закусит,  
вряд ли ведая, что творит,  
что творит и что говорят...

Мариэтта Шагинян в это время закончила свою книгу о Ленине, где подробно рассказала о его предках по материнской линии, что было осуждено партийным начальством. Но она не согласилась с критикой. Спорить с мнением «коллектива», с «партией и народом» не многие решались. Я не знала Шагинян лично, кроме одного, пожалуй, случая. Однажды, предварительно заручившись ее разрешением, я пришла к ней домой на Красноармейскую улицу, мечтая расспросить о Зинаиде Гиппиус, с которой она в юности была близка и переписывалась. Дверь в ее квартиру была приоткрыта — после я узнала, что так бывало всегда, так как хозяйка глуха и не слышит звонков. Я вошла, приблизилась к ней, сидящей за письменным столом, громко поздоровалась. Она обернулась и возмущенно закричала: «Как вы попали в мою квартиру? Как вы посмели войти?» Я не знала, что ответить, и разговор о Гиппиус так и не состоялся. Мелкий случай, но характер Мариэтты Шагинян, описанный Слуцким, я узнала сразу...

Ольгу Берггольц мы, ленинградцы, многократно видели на трибуне именно такой, как ее описал Слуцкий — яростной, искренней, часто выпившей. На торжественных писательских собраниях она появлялась в темном стареньком платье с единственным орденом на груди, никаких украшений, никакой косметики, только осветленные седеющие волосы и ярко покрашены губы. Помните, у Бориса Корнилова: «Я свою называю куклой. // Брови выщипаны у ней, // Губы крашены спелой клюквой, // А глаза — синевы синей. // А душа — я души не знаю. // Плечи теплые хороши. // Земляника моя лесная, // Я не знаю ее души...» Такой мы Ольгу не видели, но как хорош был этот довоенный юный ее портрет! Впрочем, это уже воспоминания не о Слуцком, а другие и о другом... Бывало, что рядом с Берггольц в президиуме оказывалась какая-нибудь поэтесса военного поколения в панбархате и бриллиантах, — на весь зал Ольга могла сказать о ней уничтожающую фразу о том, каким образом зарабатывали в войну такие награды...

Помню, что одному из моих друзей самым значительным стихотворением Слуцкого представлялся «Блудный сын». Моей подруге Лине Плебовой — стихотворение «Засуха»: «Листья желтые, листья палые // Ранним летом сулят беду. // По палате, словно по палубе, // Я, пошатываясь, бреду.» Повторю: раннего Слуцкого мы знали наизусть. Позднего — 1970-х годов — знали мало, он оставался поэтом из нашей юности. Многие поздние стихи мы узнали вообще только из трехтомника, собранного Ю.Болдыревым. Кстати, огорчились, увидев дорогие нам ранние стихи в искалеченных, подправленных или черновых редакциях. Например, приведу подлинный текст одного такого стихотворения:

Ордена теперь никто не носит.  
Планки носят только дураки, —  
Словно бы о чем-то просят,  
Словно бы стыдясь за пиджаки...<sup>1</sup>

Но кое-что потрясало и в поздних стихах — пронзительная боль в строках о болезни и смерти Тани, одиночество поэта, не нашедшего места в чуждой ему эпохе застоя, осознание близости старости и собственной смерти. У Бориса Слуцкого и в 1970-е

<sup>1</sup> В трехтомнике две последние строки «И они, наверно, скоро бросят, // Сберегая пиджаки», как в «Тарусских страницах», которые старательно курировала цензура. — *Примеч. сост.*

годы было много хороших стихов, но все же многие формулы, подведение итогов и отчетливое разочарование в светлой идее коммунистического счастья завершило жизнь чужого нам поколения, от имени которого сказал Слуцкий:

Социализм был выстроен.  
Поселим в нем людей.

Нам же не очень нравился выстроенный социализм. Мы искали какой-то иной, еще не ясный нам путь в будущее из шестидесятых, мы не хотели в наши тридцать лет подводить невеселые итоги и признавать поражение — нам нужна была раскрепощенная свобода, признание народа, читающего наши стихи, правда об истории России и ее настоящем, а коммунистическая идея, так важная для ленинца Слуцкого, главной для нас не была. И все же хочется думать, что, когда Борис Абрамович писал стихотворение «Унижения в самом низу...», он имел в виду и нас, наш ленинградский круг, и меня:

Люди возраста определенного,  
ныне зрелого, прежде зеленого,  
могут до конца своих дней  
вдруг обмолвиться строчкой моей.

И поскольку я верю в спираль,  
на каком-то витке повторится  
время то, когда в рифме и в ритме  
был я слово, и честь, и мораль.

30 мая 2004.

---

*Александр Городницкий*

## ПОЭТ МУЖСКОЙ И СОЛДАТСКОЙ ПРЯМОТЫ

Слуцкий вошел в нашу жизнь в 1957 году, хотя стихи его, конечно, мы знали раньше. Их тогда, практически, не печатали, и распространялись они на слух или в списках. <...> Первые же услышанные — именно услышанные, а не прочитанные — стихи Бориса Слуцкого (это, кажется, были «Евреи хлеба не сеют» и «Нас было семьдесят тысяч пленных...») поразили меня своей истинно мужской и солдатской (по моему тогдашнему мнению) жесткостью и прямоотой, металлической точностью и весомостью звучания, совершенством монолитной строки с единственностью ее грозной гармонии. Впечатление было таким сильным, что до сих пор я читаю стихи Слуцкого с листа вслух.

Мои любимыми поэтами тогда были Редьярд Киплинг, Гумилев, ранний Тихонов, Багрицкий. <...> Борис Слуцкий, которого я сразу же отнес к любимому ряду, произвел на меня сильнейшее впечатление и стал настоящим открытием. То было временем юного идолопоклонничества, и я тут же объявил для себя Бориса Слуцкого первым поэтом. Еще бы! Такие стихи, да еще легендарная биография — боевой офицер, прошел всю войну «от звонка до звонка». Преклонению моему не было предела.<...>

Известие о том, что Борис Слуцкий приезжает в Ленинград читать стихи в Технологическом институте и Университете, мигом облетело весь город, и мы, молодые «горняки» из литобъединения Горного института, решили добиться встречи с ним.

Внешний облик Слуцкого, увиденного на сцене в Технологическом, где он выступал вместе с Евгением Евтушенко, произвел на меня серьезное впечатление, так как полностью совпал с ожидаемым представлением об авторе услышанных стихов. Полувоенный френч, строгий и независимый вид — никаких улыбочек и заигрываний с аудиторией. Седые аккуратно подстриженные усы. Подчеркнутая офицерская выправка, усугубляемая прямой осанкой и твердой походкой. Лапидарные рубленые фразы с жесткими оценками, безжалостными даже к самому себе. Помню, кто-то



попросил его прочесть уже известное тогда стихотворение «Ключ» («У меня была комната с отдельным входом...»). Он отказался. «Почему?» — спросили его, и он строго ответил: «Потому, что это пошляцкое стихотворение». Господи, — подумал я, — если он к себе так безжалостен, то что же он скажет о наших стихах? И непреодолимое мазохистское желание показать этому олимпийскому громовержцу свои несчастные стихи и услышать его пусть беспощадное, но истинное суждение овладело мною и моими товарищами по «горняцким музам». На этом грозном фоне выступавшего перед Слуцким молодого Евтушенко, читавшего, кстати сказать, очень неплохие стихи, мы почти и не заметили.<...>

Не помню уж, кому и как удалось уговорить его встретиться с нами — молодыми ленинградскими поэтами «Глеб-гвардии Семёновского полка», как мы себя называли но имени нашего руководителя Глеба Сергеевича Семенова. Встреча состоялась у Леонида Агеева.<...> В тесной комнатухе набилось человек двадцать поэтов, их жен и подруг. Было закуплено сухое вино, к которому, однако, прикасаться не разрешалось до прибытия высокого гостя. Наше ЛИТО было, кажется, в полном составе:

Кроме меня и хозяина дома были Елена Кумпан, Нина Королева, Олег Тарутин, Володя Бриганишский, Шура Штейнберг, Саша Кушнер, Глеб Горбовский, Яков Виньковецкий и еще несколько поэтов и болельщиков. Все изрядно волновались, хотя вида старались не показывать, поэтому разговор не клеился.

Наконец, прибыл Слуцкий, не один, а со своим старым, как он сказал, другом — полковником Петром Гуреликом. Полковник, снявший штатское пальто и оказавшийся в щегольской офицерской диагоналевой гимнастерке, перехваченной в талии скрипучим ремнем, был для нас, вчерашних блокадных мальчишек, как бы наглядным воплощением того недоступного нам всем фронтового героизма, поэтическим олицетворением которого являлся Борис Слуцкий. Это усилило всеобщее смущение. Борис Абрамович строго посмотрел на нас, прищурился и неожиданно произнес: «Вот вы, ленинградцы, все время без конца твердите, что любите и хорошо знаете свой родной город. Кто из вас сейчас перечислит мне двадцать общественных уборных?» Мы были шокированы этой «чисто московской» шуткой, однако напряжение начало спадать. Пошли в ход сухое вино и самодельный винегрет хозяйки. Разговор, однако, приобрел характер вопросов и ответов, причем спрашивали не мы гостя, а он нас. Строго и пунктуально он требо-

вал немедленной информации о нас самих, о наших специальностях, зарплате, кто где печатается или не печатается и почему. Кажется, не было ни одной мелочи, к которой он не проявил бы живейший интерес. О том, чтобы задать какой-нибудь вопрос ему, не было даже речи. Дошло дело до стихов. Слуцкий вел себя властно и на первый взгляд бесцеремонно. Он мог оборвать читающего, сбить его каким-то совершенно неожиданным вопросом или категорическим мнением. При всем этом стихи он слушал с огромным вниманием, как будто сразу безошибочно определяя их качество. Больше других ему понравились стихи Лени Агеева, и он тут же нам об этом заявил: «Вот настоящий поэт. У него ничего не придумано, а все прямо из жизни, а не из книжек. И стихи жесткие и суровые, в них виден будущий мастер. Вот кто будет большим поэтом!» Как ни странно, стихи Плеба Гурбовского, который тогда ходил у нас в главных гениях, произвели на него меньшее впечатление. Александру Кушнеру он сказал:

— Скудные стихи. Правда, стихи, но унылые. И фамилия плохая — Кушнер. Еврейская фамилия. С такой фамилией печататься не будут.

— Но у вас же тоже еврейская, — возразил кто-то робко.

— Во-первых, не еврейская, а польская. А во-вторых, меня уже знают, — отрезал он.

Спорить с ним, естественно, никто не осмелился.

Когда дело дошло до меня, я дрожащим голосом стал читать какие-то, как мне казалось, лирические стихи. «Ну, это только для Музгиза», — беспощадно сказал Слуцкий, выслушав их. Я попытался прочесть другие, но он перебил меня на середине и заявил: «А вот этого даже Музгиз не возьмет. А как ваша фамилия? Городницкий? Ну, это вообще ни в какие ворота... Мало того, что тоже еврейская, так еще и длинная. Такую длинную фамилию народ не запомнит». Я уже совершенно упал духом, как вдруг он спросил, нет ли у меня каких-нибудь стихов про войну, и я срывающимся от отчаяния голосом, уже ни на что не надеясь, стал читать незадолго перед этим написанные стихи «Про дядьку». Стихи эти неожиданно для меня Слуцкому понравились. Он вызвал из коридора своего друга Гурелика и заставил меня прочесть стихотворение еще раз, сказав: «Повторите — полковникам такие стихи слушать полезно».

О стихах в этот вечер Слуцкий говорил много и увлеченно. Большинство присутствующих были из числа многолетних

«студийцев» Леба Семенова, занимавшихся у него — кто во Дворце пионеров, кто в Горном институте. Мы уже привыкли к его «классическому» ленинградскому стилю бесстрастного и вдумчивого слушания и обсуждения стихов. Здесь же все было совершенно иначе. Уже позже я узнал, что Слуцкий — прирожденный и профессиональный педагог. Действительно, он всю жизнь возился с молодежью и не жалел для этого ни сил, ни времени.

«Если, начиная писать стихи, — сказал он нам, — ты заранее знаешь, чем кончить стихотворение, брось и не пиши: это наверняка будут плохие стихи. Стихотворение должно жить само, нельзя предвидеть, где и почему оно кончится. Это может быть неожиданно для автора. Оно может вдруг повернуть совсем не туда, куда ты хочешь. Вот тогда это стихи».

Рассказывал он и о мало еще известных в то время своих одноклассниках-ифлийцах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Больше всех о Павле Когане — авторе уже любимой нами тогда «Бригантины» и Михаиле Кульчицком, которого он, как и Давид Самойлов, считал самым талантливым из всех своих сверстников. Тогда от него мы впервые услышали широко известные теперь стихи Михаила Кульчицкого. <...>

Рассказывал Борис Слуцкий и о неукротимом характере Кульчицкого. Говорил, что когда Кульчицкого друзья-поэты (им тогда всем было по девятнадцать-двадцать, а многим так и осталось) обвиняли, что он порой брал у них понравившиеся ему строчки и беззастенчиво использовал в своих стихах, тот отвечал: «Подумаешь! Шекспир тоже обкрадывал своих малоодаренных современников».

Потом Слуцкий по нашим усиленным просьбам читал свои стихи. Мне тогда особенно запали в душу строки, посвященные памяти погибшего под Сталинградом Михаила Кульчицкого, о котором он только что вспоминал. <...>

Второй раз я увидел Бориса Слуцкого уже в Москве, в 1963 году, в его небольшой, увешанной картинами без рам квартире неподалеку от метро «Сокол», в Балтийском переулке, где он жил вместе с женой Таней и куда я получил от него приглашение зайти. Все тем же строгим тоном он примерно полчаса выспрашивал у меня все ленинградские литературные и нелитературные новости, а потом сказал: «Ну что ж, читайте, посмотрим, на что вы теперь способны». После недолгой читки последовала прямая и же-

сткая зубодробительная критика, не оставившая от прочитанных стихов камня на камне. Справедливости ради следует сказать, что когда я сейчас перечитываю стихи, которые осмеливался читать тогда Слуцкому, мне становится страшно. Я совершенно не понимаю, как он мог столь терпеливо слушать эти беспомощные, плохо зарифмованные вирши, да еще и обсуждать их. «Из дерьма строишь свои стихи, из песка. Это материал. Учись у Андрюши Вознесенского, как надо работать со словом, как надо ваять его из камня, каторжно работать. Из камня, а не из песка. А не будешь учиться — так Коржавиным и помрешь». Меня эти слова крайне удивили. Я уже знал широко распространяемые в то время в списках стихи Наума Манделя-Коржавина, и они мне как раз очень нравились, чего никак нельзя было сказать о стихах Андрея Вознесенского, которые, несмотря на их внешнюю мастеровитость и сложность, казались мне трескучими и пустыми. Раздражало также его неожиданное взвизгивание посреди строки при чтении стихов. Незадолго до встречи со Слуцким я слушал выступление Андрея Вознесенского по «Би-Би-Си», где он заявил, что учеба в Архитектурном институте и, в частности, изучение теоретической механики, помогли ему понять, как силовые линии дают на стихотворную строчку. Мне, тоже выпускнику технического вуза, заявление это показалось пижонством. А вот Коржавина я любил, и он был мне по духу близок. <...>

Я не стал спорить со Слуцким и только через много лет понял, что он имел в виду. Прощаясь, он неожиданно спросил: «Вам деньги нужны? Если нужны, я вам дам». Оказалось, что он многих молодых поэтов ссужал тогда деньгами, хотя и сам не был особенно богат. Важнее другое: заметив мой интерес к живописи, развешанной на стенах, он спросил: «А вы никогда не видели картины Филонова? Даже не знаете такого художника? Ну, это позор, хотя откуда же вам его знать! Вот что, я вам сейчас напишу записку к его сестрам. Они живут в Ленинграде, на Невском. У них хранятся многие его работы. С моей запиской они вас пустят. Это надо смотреть». И через несколько дней я уже звонил в старую и обшарпанную дверь коммуналки во дворе кинотеатра «Аврора» на Невском, где в страшной нужде жили две пожилые сестры одного из самых крупных художников нашего столетия, основоположника знаменитой «филоновской школы», умершего в блокаду. Меня поразила скромность их быта, отсутствие самого необходимого. Медленно двигаясь и переставляя картины и рисунки, при

слабом свете несильной электрической лампочки, они показывали замечательные работы Филонова, из которых более других поразила меня «Первая симфония Шостаковича». Старухи оказались истинными ленинградками.

С грустной гордостью рассказывали они мне, что Русский музей отказывается брать работы Филонова в свои запасники даже даром, ссылаясь на отсутствие помещения. Что приходили к ним американцы и предлагали огромные деньги в валюте, но что они скорее умрут, чем отдадут это за границу. Что рисунки и картины гибнут здесь, в коммунальной квартире, осыпаются краски и карандашный графит, а у них нет даже бумаги, чтобы переложить рисунки и акварели. Помню, я принес им несколько рулонов кальки и миллиметровой бумаги.

Борис Слуцкий любил живопись и был большим ее ценителем. Правда, нравилось ему не все. Известный художник Борис Биргер говорил как-то при мне, что Слуцкий в живописи ничего не понимал, что «у него были дырки вместо глаз». А я при этом вспоминал историю с Филоновым...

В течение шестидесятых и в самом начале семидесятых годов, до его тяжелой болезни, я встречался с Борисом Слуцким несколько раз. Несмотря на внешнюю суровость, он оказался человеком удивительной чуткости и доброты и крайне ранимым. Все время возился с молодыми поэтами, вел литературные объединения. Работа эта не всегда была благодарной, да и молодые поэты порой посматривали свысока на своего мэтра, совершенно не понимая, видимо, какая бесконечная дистанция их разделяет.

В конце шестидесятых годов мы неожиданно встретились с ним в Коктебеле, где он жил в Доме творчества писателей. Его жена Таня тогда уже была неизлечимо больна, и он как мог окружал ее трогательнейшей заботой. Ходил он при этом по вечерам по набережной все с той же прямой и суровой осанкой отставного генерала. Увидев меня, он потребовал, как и обычно, творческого отчета и потащил к себе в писательский корпус. Кроме него и Тани слушали меня литературовед Апт с женой и поэтесса Юлия Друнина, сделавшая, кстати, несколько дельных замечаний по песне «Романс Чарноты». Большую часть прослушанных стихов он как будто одобрил, но одно стихотворение — «Державин» — привело его в неопишемую ярость. <...>

«Стоп, прекратить читать! — закричал неожиданно Борис Абрамович. — Это безобразные стихи. Полное неприличие». «Почему?» — спросил я, изумленный его внезапным гневом. «А потому, — сказал он сердито, — что Державину было всего лишь немного за пятьдесят, и у него не могло быть дряблой шеи».

Жизнь не баловала Бориса Слуцкого. Судьба отняла у него двух самых близких ему людей — мать и жену. Обе болели долго и умерли у него на руках. Он остался одиноким. Ученики не заменили ему семью. Будучи всю жизнь непримиримо требовательным к себе, честным и прямым, он на фронте вступил в партию, свято верил в конечную правоту ее дела, безусловно подчинялся партийной дисциплине. Наш общий знакомый, тоже фронтовик, Юрий Овсянников рассказывал мне, как однажды встретил Бориса Слуцкого на улице, когда тот возвращался из Союза писателей с партийного собрания. «Зачитывали закрытое письмо ЦК», — сказал Слуцкий. «О чем?», — спросил Овсянников. «А ты член партии?» — в свою очередь спросил Слуцкий. «Нет». — «Тогда я не могу с тобой об этом говорить». Жесткая партийная дисциплина, привычка беспрекословно подчиняться партийному решению, идущему сверху, выработанная им еще в годы войны, привела к трагическому для его последующей жизни поступку: будучи членом парткома Союза писателей СССР, он вместе со всеми проголосовал за исключение из Союза Бориса Пастернака.

Профессор Вячеслав Всеволодович Иванов, единственный человек, нашедший в те темные годы мужество открыто высказаться в защиту Пастернака, рассказывал мне о своем разговоре со Слуцким на следующий день после того злополучного голосования. Слуцкий телефонным звонком вызвал его на улицу и около двух часов говорил с ним, пытаясь объяснить свой поступок. «Он был совершенно убежден, что Пастернака посадят. А с ним вместе, по всей вероятности, и меня», — рассказывал он.

Многие бывшие друзья Бориса Слуцкого, которые и сами не высказались открыто в защиту Бориса Пастернака, осуждали его. Сам он, высоко ценивший поэзию Пастернака и более других понимающий несправедливость происходящего, тяжело переживал свой роковой поступок. Все это: жесточайший разлад с собственной совестью при его органической честности и прямо-те, невозможность предать гласности лучшие свои стихи, которые он писал всю жизнь и прятал в стол, — не могло не привести к глубокому и неизлечимому нервному заболеванию, отнявшему

у него сначала возможность писать, а затем и саму жизнь. Эта трагедия расхождения его яростной партийной веры с реальностью происходящего отразилась в одном из лучших его стихотворений:

Я строю на песке, а тот песок  
Еще недавно мне скалой казался.

*Из книги: А.Городницкий. В близи и в дали.  
М.: Полигран, 1991. С. 364–371.*

## «...УЖЕ ОТКРЫЛ ОДНУ СТРОКУ...»

Мы живем в мире преходящих ценностей. То, что раньше казалось малозначительным, обыкновенным, впоследствии вдруг приобретает невероятную важность, актуальность, весомость и, наоборот: события сиюминутные гипертрофируются до неузнаваемых размеров и только с течением времени приобретают свое истинное значение.

Кто привел впервые в нашу мастерскую Бориса Слуцкого, я не помню. Да это и несущественно. Важно то, что он сразу же прочно занял свое постоянное твердое место в среде наших друзей и знакомых.

Пытаясь охарактеризовать или хотя бы как-то однозначно определить наши взаимоотношения, невозможно подыскать слова или понятия, которые бы исчерпывающе донесли суть нашего многолетнего общения. Все существующие для этого слова в данном случае не годятся. Мы были друзьями — это действительно так, но вместе с тем было и нечто большее между нами. От Бориса Слуцкого исходила какая-то повышенная гражданственность, которая заставляла нас относиться к нему не только как к другу, но и как к общественному деятелю. Для нас он был больше чем друг.

Мы с первой же встречи стали называть друг друга по имени и общались на доверительном местоимении «ты». Слова «товарищ, знакомый, приятель» и тому подобные никак не подошли бы к нашей длительной бесконфликтной связи.

Я не фронтовик и принадлежу к той редкой части поколения, на призывном возрасте которого остановилась война. Борис и мои коллеги (Владимир Лемпорт и Вадим Сидур) прошли ее от начала и до конца. В те послевоенные времена это было весьма важно. У фронтовиков был свой особый статус в этической иерархии общества. Я был не только младшим по возрасту, но и по рангу этого статуса. И вот впервые при знакомстве со Слуцким я этого не почувствовал. Этот рыжий и довольно крупный по размерам человек



вдруг стер грань несопричастности. Приходя в мастерскую, он всегда был добродушно весел. Легкая эйфория не покидала его ни на минуту. Всех нас это настраивало определенным образом, и мы как бы включались в предложенную веселую игру, и беседы проходили легко, непринужденно и весело. Шутки Бориса были несколько тяжеловатыми, но то добродушие, которое за ними скрывалось, смягчало их настолько, что было смешно и трогательно.

За телефонным звонком и первыми приветствиями от Бориса, часто следовала одна и та же фраза: «Ну как, вы еще не начали делать мою конную статую?» Этот юмористически поставленный вопрос имел свою подоплеку. Дело в том, что Лемпорт на всех наших знакомых реагировал довольно необычным образом. Он лепил их портреты или не лепил. По отсутствию конкретного портрета можно было догадаться о том, что думает о данном человеке художник. А так как в то время под всеми работами мы подписывались сообща, то, естественно, отсутствие портрета грехом ложилось на совесть всего коллектива.

Лемпорт сделал все-таки его портрет и не только сделал, а вырубил в камне. Слуцкому ничего не оставалось, как изменить форму вопроса. Теперь он спрашивал: «Портрет мой вы сделали, а как насчет коня?» Мы в тон его шутки отвечали: «Делаем, Боря. Коня сделать значительно труднее, чем твой портрет».

Однажды Лемпорт из янцевского красного гранита довольно быстро вырубил пятинатурный портрет. Увидев его, Слуцкий был очень польщен и, чтобы скрыть свое удовольствие, опять же пошутил по-своему тяжело и простовато: «Я все понял — вы делали портрет Мао Цзэдуна, он у вас не получился, и вы решили назвать его моим именем». Эту шутку он не уставал повторять каждый раз, когда приходил к нам с новым человеком. Мы так и называли этот портрет: фрагмент конной статуи поэта Бориса Слуцкого.

В этом человеке, надо сказать, уживались совершенно несовместимые качества. Простота, доброта, непритязательность в обращении и в то же время застенчивое тщеславие. Именно застенчивое. Ибо что может быть парадоксальнее, чем застенчивость или тщеславие.

Юный Юра Коваль, тогда еще не начавший писать, но уже снискавший славу хорошего живописца, часто, сидя у нас за столом, под гитару исполнял одно из удивительных произведений

Слуцкого «Лошади в океане». Если это случалось в присутствии автора, то Борис сначала круто краснел от удовольствия, а потом с минуту боролся с собою, пытаясь подавить приступ непреднамеренного тщеславия. О достоинствах стихотворения говорить нечего. Оно всегда в любом исполнении вызывало неизменный успех. Борис очень решительно прерывал славословие в его честь и переводил разговор на другую тему.

Все люди различны по степени своей социально-этической структурности. Одни целеустремленно следуют своим внутренним желаниям, другие безропотно подчиняются установленным правилам поведения. Борис не принадлежал ни к тем, ни к другим. Его «рыжий» своевольный темперамент сочетался с какой-то особенной обязательностью в отношении этических норм поведения. Для Бориса не было пустой условностью спросить у человека о здоровье его близких, узнать о материальном положении не только своих друзей, но и о друзьях этих друзей.

Однажды я разговаривал по телефону в присутствии Слуцкого. Речь шла о возможности вступления в жилищный кооператив. За неимением средств для первого взноса я активно начал отказываться. Борис мгновенно включился в разговор и тут же предложил свою денежную помощь.

Вот уже двадцать лет я живу в небольшой благоустроенной квартире, которую я приобрел благодаря моему другу Борису Слуцкому.

«Я на медные деньги учился...» — начало одного из стихотворений поэта. Это не просто красивая фраза. Она выражает гражданскую сущность Слуцкого. Пережив многое, познав лишения, повидав людские несчастья, он проникся высочайшим состраданием к людям, которые, по его мнению, незаслуженно пребывали в забвении или каким-либо образом оказывались не признанными по заслугам. Помогать таким людям он считал своим гражданским долгом. Впрочем, это был даже не долг, а неотъемлемая часть его сущности. Он устраивал встречи, организовывал протекции, хлопотал по поводу попавших в беду, знакомил с нужными и влиятельными людьми. Все это делал бескорыстно, с единственным желанием — помочь. Особенно его тянуло к молодым. Пятидесятые годы нашего столетия отличались от предыдущих тем, что после долгого тяжелого довоенного и послевоенного угнетения вдруг наступило время надежд на просветление. Оно даже и началось, но как-то быстро захлебнулось в круговороте

хрущевской демагогии. «Потепление» сменилось крепким «похолоданием». Слуцкий с риском для своей упрочившейся репутации смело и решительно продолжал борьбу за потепление. Тормозил нас и других художников, подбивал на рискованные выступления, способствовал организации малоперспективных выставок, знакомил между собою близких по духу, но незнакомых друг с другом художников. Благодаря этой его деятельности мы обязаны ему знакомством с такими художниками как Дима Краснопевцев, Володя Вайсберг, Юра Васильев и, конечно же, с Назымом Хикметом.

По его инициативе Назым пригласил нас выставить свои произведения в здании Политехнического музея на его чествовании по поводу семидесятилетия. Сама личность Хикмета была непростая. Он, как истинный борец, сражался с бюрократической мафией от культуры. Не всегда у него это получалось. Не получилось и на этом вечере. Всю нашу экспозицию за полчаса до открытия торжеств сняли под удивительным предлогом «не возбуждать нездоровый интерес публики». Борис Слуцкий был председателем юбилейной комиссии на этом вечере и принял самое активное участие в восстановлении экспозиции ко второму отделению мероприятия. Всенародно с трибуны он объявил о нашем присутствии в зале и о развернутой в фойе небольшой выставке наших работ. Увы! Не он виноват в том, что администрация все-таки не послушалась своего начальства свыше и работы выставить не позволила.

Тогда же в качестве компенсации Борис предложил выставиться каждому из нас поочередно на «четвергах» в ЦДЛ. «Четверги» эти были в его непосредственном ведении. Удалось выставиться одному Лемпорту и то не без скандала.

Вспоминается один любопытный эпизод, не относящийся непосредственно к его общественной деятельности, но характерный для самого поэта. Вдова Марка Бернеса попросила нас сделать памятник на Новодевичьем кладбище всенародному любимцу. Лемпорт нарисовал, а я вырубил в камне, переведя рисунок на язык рельефа. Портрет общественности не понравился. Все оказались во власти того кинематографического стереотипа, который сложился в головах даже близко знавших его друзей. Особенно возмущался на церемонии открытия поэт Костя Ваншенкин. С кладбища мы ушли расстроенные, но не переубежденные. История с портретом возникла вновь, когда однажды Борис

пригласил нас пообедать с ним в ресторане ЦДЛ. Слуцкий любил иногда это делать. Заказывал целиком столик на четыре—шесть, а то и больше персон и угощал друзей. Попытку принять участие в оплате стола воспринимал как личное оскорбление. В меню литературской кухни он разбирался хорошо, и недовольных не было.

В момент одной из таких трапез я увидел, как к нашему столику пробирается взволнованный Костя Ваншенкин. Увидел это и Лемпорт. Борис сидел спиной к подходившему и не сразу смог вмешаться в разыгравшийся скандал. Лемпорт издали понял намерения Ваншенкина и первый перешел в нападение.

— Я знаю, Костя, что ты хочешь сказать, — без предупреждения начал Володя и продолжал: — Ты хочешь сказать, что наш памятник Бернесу — говно. Так вот, стихи твои тоже говно!

Костя затряс контуженной головой и смог ответить только бессвязным взвизгиванием. Все присутствовавшие в зале с любопытством повернули головы в нашу сторону.

И вот каким образом повел себя Слуцкий. Он встал и попытался примиренческим жестом остановить Лемпорта. Но ровно настолько, чтобы не помешать ему высказать еще пару ядовитых фраз. Ваншенкин, видимо, это почувствовал. Повернувшись, молча удалился, предоставив нам лицезреть оскорбленную спину. После инцидента Слуцкий ни словом упрека не обмолвился по этому поводу. Обед прошел в благодушных шутках по поводу случившегося, и нам было ясно, что он на нашей стороне.

Как я уже говорил, Борис испытывал неподдельную страсть к новым людям и к знакомству их с другими людьми. Это была страсть коллекционера. К знакомствам он относился как к антиквариату. Приведя кого-нибудь из «интересных», как он говорил, людей в нашу мастерскую, этот человек получал истинное наслаждение от церемонии осмотра наших произведений. Увесисто шутил, представляя ту или иную скульптуру, и не стеснялся повторять одну и ту же показавшуюся ему удачной шутку. Сам не очень разбираясь в изобразительном искусстве, он подключался к восприятию приведенного им гостя и смотрел на скульптуру его глазами. Перед приходом по телефону всегда следовала краткая, но исчерпывающая характеристика предстоящего гостя.

Так, однажды он затащил нас к Анне Ахматовой, познакомил с Василием Гроссманом, привел Лилю Брик, показал мастерскую Пабло Неруде, несколько раз приходил с венгерским писателем

Анатодем Гидашем. Борис был по натуре и по творчеству монументалист, если выразаться нашим профессиональным языком. И знакомства поддерживал с поэтами-монументалистами. Леонид Мартынов, Эдуардас Межелайтис — эти и многие другие для него были отмечены печатью вечности. Он и стихи свои читал монументально, размеренно ударяя по каждому слову так, будто забивал сваи тяжелой деревянной «бабой»:

Старух было много, стариков было мало:  
То, что гнуло старух, стариков ломало.

Нам не всегда удавалось подбить его на чтение своих стихов. На память он помнил плохо, с записной книжкой или просто со сборником опубликованных стихов не ходил.

Трудно сказать, как он общался с другими поэтами вне нашей мастерской, но у нас, сидя за столом или рассказывая по мастерской, был очень деликатен, вежлив и снисходителен.

Был поэт, который являлся нашим близким другом и вырос в профессионального хорошего поэта буквально у нас на глазах. Купив в качестве новинки магнитофонную приставку, мы первым делом записали стихи Генриха Сапгира. Прямо с голоса. Нам они очень нравились, ими мы «угощали» каждого приходившего к нам.

Познакомили и Бориса Слуцкого. Он сразу признал в нем большого поэта и даже в шутку его фамилию избрал в качестве единицы измерения талантливости поэта. Когда речь заходила о каком-нибудь новом поэтическом имени, Борис кратко определял: «Этот в одну треть Сапгира», «А этот на целый Сапгир тянет»...»

Большим событием в его жизни была женитьба на Тане, милой симпатичной женщине с искрящимися глазами. Встречи в ресторанах сменились обильными домашними ужинами. Квартира его находилась в районе Сокола, неподалеку от рынка. Весь базарный ассортимент продуктов прочно угнездился на хлебосольном столе этой маленькой семьи.

За трапезой Борис обстоятельно сообщал нам о кулуарных событиях писательской братии, рассказывал об историческом прошлом многих видных людей, уничтоженных в период сталинских репрессий. Он хорошо знал все тонкости проведенных тогда процессов над так называемыми «врагами народа». Часто разго-

вор сосредотачивался только на искусстве. Художников прошлого он любил и хорошо знал их историю и биографические подробности. Все стены его квартиры были завешаны картинами современников (в том числе кое-что было и наше). На книжных полках в изобилии были представлены дорогие книги с роскошными репродукциями почти всех современных художников. В один из визитов он познакомил нас с уникальнейшими веркоровскими репродукциями с картин Фернана Леже. Были у него и монографии Пабло Пикассо, тогда еще с трудом пробивавшего дорогу к нашему зрителю. У него же мы с интересом листали книги с фотографиями работ современных скульпторов: Генри Мура, Арка, Джакометти, Манцу и многих других, не получавших у нас широкой известности. В день рождения он подарил мне антикварную книгу с рисунками Хокусая. Слуцкий считал своим гражданским долгом знакомить нас с уровнем мирового современного искусства и, по-видимому, лелеял надежду вывести нас на орбиту общеизвестности.

Не совсем в связи с этим я вспомнил вдруг посещение мастерской Ильи Глазунова. Тот только что закончил институт и уже успел снискать скандальную славу гонимого художника. В мастерской Илья прежде всего показал нам альбом с аккуратно наклеенными на картонных страницах вырезками-публикациями о себе. Кое-что попадалось и из зарубежных газет. Глазунов уже тогда беззастенчиво претендовал на мировую славу.

По выходе из мастерской, как только за нами захлопнулась дверь, Слуцкий ехидно, но без нажима произнес: «Посмотрели россомаху и пошли-ка, братцы, на...»

Излишне переводить окончание этого народного каламбура. Все его знают, и переносный смысл понятен без уточнения.

Однажды он позвонил и загадочным голосом сообщил: «Я сегодня хочу привести к вам очень интересного человека. Будьте к шести часам в мастерской». Но именно на это время у нас был назначен важный визит. Мы взмолились: «Давай перенесем на другое время, Борис, — не можем сегодня».

— Нет, только сегодня или никогда!

Слуцкий иногда мог быть до неприятности твердым и упрямым. Нам пришлось потратить немало усилий, чтобы убедить его в невозможности сегодняшней встречи.

— Ну что ж, — в заключение сказал он, — об этом вы когда-нибудь пожалеете.

Борис оказался прав. Он должен был прийти к нам с Алилуевой — дочерью Сталина. Конечно же, было бы очень интересно соприкоснуться с чудовищем, сыгравшим такую значительную роль в жизни каждого человека, хотя бы через посредство его ближайшей родственницы.

Прощаясь с друзьями лично или по телефону, Борис неизменно соблюдал один и тот же ритуал. Он поочередно перечислял имена близких ему знакомых и дам и каждому просил передать «поклон». Именно «поклон», а не что-либо другое. Перед этим спрашивался о здоровье каждого и об успехах в житейских делах. Это не была простая формальность, затеянная ради того, чтобы доставить удовольствие человеку при прощании. Его эмоциональной памяти хватало на то, чтобы помнить о знакомых и близких своих друзей даже те вскользь рассказанные мелочи, о которых успевал забывать и сам рассказчик. Он помнил о моих переживаниях, связанных с болезнью дочери, держал в памяти все мерзкие подробности моих житейских неурядиц, вызванных отсутствием постоянного жилья. Он помнил о судьбе родственников Лемпорта и неподдельно всегда интересовался их настоящей жизнью.

Мы знали, что интересы Слуцкого-поэта, Слуцкого-человека и Слуцкого-гражданина не исчерпываются только повышенным вниманием к нам, но в то время нам искренне представлялось, что ближе человека такого плана у нас нет, и невольно складывалось впечатление, что и мы для него являемся довольно значительным объектом неформального общения.

Панегирики писать довольно просто. С глубокой древности этот жанр отработан настолько, что не нужно ни о чем раздумывать. Бери бумагу и пиши все самое хорошее, что принято в данное время. Эффект всегда будет однозначным. А главное, по этой схеме как можно больше фанфар в конце панегирика. Борис Слуцкий исключил эту возможность. Лет пять (а может быть, и больше) назад раздался телефонный звонок. Я был в мастерской один. В трубке услышал знакомый голос Бориса. Слегка взволнованный и необычно низкий:

— Вы, наверное, знаете, что Таня умерла. (Короткая пауза.) Ее похоронили («похоронили», а не «похоронил») на Пятницком кладбище. Я хочу, чтобы вы взяли за сооружение памятника Тане. Это должен быть большой черный камень, и на нем должна (должна!) быть изображена бегущая лань.

Предложение это мне сразу же показалось странным и неприемлемым. Неприемлемым хотя бы потому, что с самого начала исключалась возможность творческого поиска. Это уже было не похоже на того Слуцкого, которого мы знали. Чувствуя внутреннее напряжение в тембре голоса говорящего, я не стал вступать в дискуссии по поводу образа (потом разберемся!). Мне важно было узнать некоторые детали чисто профессионального характера: где достать камень, какой камень, габариты участка и так далее.

В качестве поясняющей справки хочу добавить. К мемориальному жанру мы всегда относились отрицательно. Брались за эту работу неохотно и большей частью из чисто гражданского долга. Так было с памятниками Н. Заблоцкому, Назыму Хикмету, Марку Бернесу и другим. В данной ситуации отказаться мы не имели права. Я спросил Бориса, когда мы встретимся, с тем чтобы вместе съездить на кладбище и совместно обсудить некоторые детали предстоящей работы.

— Сейчас, — безапелляционно и даже как-то зло сказал Слуцкий.

— Сейчас невозможно. Нет Лемпорта, а завтра с утра мы на неделю улетаем в командировку на установку нашей работы.

— Нет. Только сейчас! — так же жестко повторил голос из телефонной трубки.

Я несколько растерялся от необычной неделикатности и настойчивости Бориса. Пустился в пространные объяснения причин невозможности нашей сиюминутной встречи. Слуцкий меня не слышал. Не хотел слышать.

— Ну ладно! — с нажимом сказал он и опустил трубку. Это и был мой последний с ним разговор.

Люди по-разному уходят из жизни. Одни легко, другие мучительно. Одни слишком рано, другие слишком поздно.

Слуцкий избрал (если так можно выразиться) смерть необычную.

Он умер дважды. Глубочайшая депрессия наступила вскоре же после смерти Тани. Депрессия клиническая, тяжелая и необратимая. Все наши попытки повидаться с ним, попробовать памятью о прошлом вернуть его к истинной жизни не увенчались успехом. Он никого не хотел видеть. Врачи советовали подождать. В литературной среде непозволительно быстро начали забывать о поэте Слуцком. Людям свойственно любое следствие объяснять ближайшими причинами. Постепенно сложилось банальное мнение, что поэт не смог пережить смерть своей любимой жены и поэтому,



мол, ему ничего не оставалось делать, как впасть в глубочайшую депрессию.

Такого, на мой взгляд, с людьми типа Слуцкого случиться не могло. Болезнь была подготовлена всей суммой обстоятельств, через которые ему пришлось пройти. Говорят, что ничто так не укорачивает нашу жизнь как сама жизнь. Борис жил активно, взваливая на себя порой непосильные ноши. На склоне лет женился и расслабился. Первый же удар судьбы — смерть Тани — оказался для него непосильным. Превысил запас прочности.

Как поэт и как структурная личность Слуцкий умер именно тогда, в семьдесят седьмом году, вскоре же после истинной смерти своей подруги. Весь период после этого, вплоть до реального конца, жизнью в полном смысле назвать нельзя. Это было существование, не больше. Болезнь отняла у него самое основное — волю. А без воли Борис Слуцкий уже не Борис Слуцкий. Возможно, он интуитивно, одним краем сознания это понимал и, может быть, поэтому маниакально страшился всякого общения. Даже с самыми близкими друзьями.

Ушел из жизни Борис тихо, бесшумно и скромно, был похоронен на Пятницком кладбище в Москве. Это была его вторая смерть. Но и она не самая страшная. Все мы смертны и рано или поздно разделим эту участь. Для поэта и вообще для художника страшно забвение. Особенно тогда, когда при жизни не все было опубликовано. Думаю, что с Борисом Слуцким этого не произойдет. Бессмертие он себе заработал.

\* \* \*

О творчестве Слуцкого будет написано еще немало. Оно достойно самого серьезного анализа и внимания. Поэтов, даже хороших — много, таких, как Слуцкий — не было и не будет.

Передо мною небольшой сборник «Работа», изданный в 1964 году. На внутренней стороне обложки дарственная надпись. Это экземпляр, подаренный Лемпорту. «Владимиру Лемпортасу — который первый в мире понял, что лепить меня перспективнее, чем Мао. Борис Слуцкий — 8.1.1967».

Эта шуточная надпись сделана по поводу того же упомянутого выше портрета из гранита, который вырубил Володя.

Борис воспринимал наши произведения только тогда, когда ему удавалось облечь готовую скульптуру в удачную словесную формулу. До этого она для него не существовала.

В свою очередь, и стихи его воспринимаются не емкостью фабульного содержания, не афористичностью крылатых строчек, а всей сущностью крепко сколоченных в единый образ стихов. Его стих — это своеобразное искусное перекачивание валунов. У него нет мелких стихотворений, все они наполнены монументальной тяжестью, все значительны.

Мы все ходили под богом.  
У бога под самым боком.  
Он жил не в небесной дали,  
Его иногда видали  
Живого. На мавзолее.  
Он был умнее и злее  
Того — иного, другого  
По имени Иегова...

Когда их читал сам поэт, становилось страшно от молотоподобных ударов словами по сознанию слушателей.

О своем труде (именно труде) стихосложения Слуцкий рассказывает сам в своих многих стихотворениях. Вот одно из них в том же сборнике:

Изобретаю стихотворение:  
Уже открыл одну строку.  
Но нету у народа времени,  
Чтобы прислушиваться к пустяку.

Меня всегда поражает способность Бориса втискивать в стихотворную строчку почти не уместяющиеся слова. Втискивать, вбивать. Всегда внатяжку, всегда с насилием и всегда навечно. Слушая или читая и вникая иногда в смысловую часть произведения, я всем своим существом ощущаю это упорное намерение вбить в сознание слова, разбухшие до огромного символа. Он, как циркач пудовыми гириями, удивительно искусно жонглирует такими же пудовыми словами.

Я не литературный критик, и мне нелегко подобрать нужные слова, образы, чтобы обозначить ту связь, которая существовала между нами как художниками. Но думаю, что она формировалась где-то на этом уровне — уровне пластического мышления, восприятия действительности как невероятно значительной субстанции. Разница только в том, что Слуцкий это восприятие фиксировал емкими словами, а мы — скульпторы — в глине, в дереве, в камне.

*Июль 1986.*

## **ВСПОМИНАЯ БОРИСА СЛУЦКОГО**

Я познакомился с Борисом Абрамовичем Слуцким в конце 1956 года, но стихи его узнал раньше от моих друзей — членов литературных объединений Горного и Политехнического институтов в Ленинграде. Объединениями руководил поэт и прекрасный педагог Плеб Сергеевич Семенов, воспитавший большую плеяду талантливых поэтов — Александра Кушнера, Плеба Горбовского, Леонида Агеева, Нонну Слепакову, Нину Королеву, Олега Тарутину, Нину Королеву, Александра Городницкого, Владимира Британишского, Виктора Берлина, Елену Иоффе.

После первой встречи с Борисом Абрамовичем он дал мне свой телефон и пригласил меня бывать у него в Москве. Каждый раз, бывая в столице, я приносил Борису Абрамовичу стихи своих друзей, а он передавал для них довольно толстые пачки напечатанных на машинке своих стихов. Борис Абрамович очень интересовался различными группировками поэтического молодого Ленинграда. Кроме упомянутых, в Ленинграде были группы университетских поэтов, в том числе так называемые «формалисты» — Михаил Еремин, Леонид Виноградов, Лев Лившиц (Лев Лосев), Владимир Уфлянд. Были поэты Технологического института — Евгений Рейн, Дмитрий Бобышев, Анатолий Найман. Были поэты и прозаики «Трудовых резервов», которыми руководил Давид Яковлевич Дар. Я давно дружил с Евгением Рейном и, как другие «горняки», был в добрых отношениях с его молодым другом Иосифом Бродским. Стихи Иосифа и его жизнь были очень интересны Борису Абрамовичу. Он спрашивал меня о Бродском с улыбкой: «Ну, как там Бродский — карбонарий рыжий?» Однажды я передал эти слова Слуцкого Иосифу — тот весело парировал: «Молчал бы уж лучше Борух!» Иосиф очень тепло всегда говорил о Слуцком, знал и ценил многие его стихи.

Борис Абрамович не просто интересовался стихами молодых ленинградцев, при мне он звонил в редакции журналов Б.Сарнову, Я.Смелякову, и я сразу отвозил стихи моих друзей тем, с кем

Слуцкий договаривался. Он помогал изданию первых книг Глеба Горбовского и Леонида Агеева, заботился о том, кому их рукописи попадут на внутренние рецензии.

Как-то Борис Абрамович стал меня дотошно допрашивать о нелитературных общениях молодых поэтов «горняков» — дружба, ссорах, вообще о конфликтах в нашем кругу. Чувствуя его интерес, старался что-то вспомнить. Но ничего так и не нашел. «Да, дружба у нас крепкая. Хотя при обсуждениях критикуют друг друга беспощадно. А конфликтов по мелочам нет».

«Это очень хорошо, — сказал Борис Абрамович. — Это важно в будущем, когда пути ваших ребят разойдутся (а они обязательно разойдутся, так как это люди очень талантливые), — так вот, благодаря той атмосфере, которая есть в вашем кругу сейчас, в будущем они сохраняют доброе отношение друг к другу, помня о своей общей поэтической юности».

Однажды, придя к нему, я рассказал, что около его дома идет большая драка. «И вы не остановились и не досмотрели до конца? Зря! Я стараюсь такого рода вещи смотреть до конца. Это пишущему очень полезно».

Как-то в запальчивости я доказывал Слуцкому, что человеку, разбирающемуся в поэзии, не могут нравиться стихи Станислава Куняева. Слуцкий в то время поддерживал молодого поэта и был редактором его книжки. Борис Абрамович доброжелательно, но твердо осадил меня. Я запомнил его слова: «Саша, вы не правы. О стихах нельзя говорить так горячо. Нельзя требовать, чтобы одни и те же стихи были любимы всеми. Поэзия вообще как любовь: одним нравятся блондинки, другим — брюнетки».

Однажды в доме Леонида Агеева шел спор о фильме Алова и Наумова. Я хвалил фильм. Борис Абрамович твердо сказал, что фильм — большая ложь: «В фильме советский солдат, у которого немцы убили всю семью, рискуя жизнью, везет беременную немку рожать в госпиталь. Даже если допустить, что такой факт был, фильм о гуманизме советских солдат, сделанный на этом материале, получился лживым. Но он не мог получиться другим, гуманизм наших солдат заключался не в этом. Нельзя забывать двух вещей».

О зверствах немцев широко известно. Об этом в деталях знали все красноармейцы. Но не менее важно знать, что по мере продвижения Красной Армии геббельсовская пропаганда начала внедрять в сознание населения идею мести — русские будут кроваво

мстить всем немцам. При первых же контактах с нашими солдатами гражданские немцы производили впечатление загипнотизированных. Любая немка при встрече с красноармейцем поднимала руки и молила „Рус, не убивай“. Человечески добрым и во всяком случае жалостливым было отношение наших солдат к детям и старикам. Их кормили и не обижали. Что же касается женщин, то их не убивали, а насиловали. Насилование было массовым. Правда, спустя какое-то время были выпущены строгие приказы, угрожавшие наказаниями за насилие над женщинами, за грабежи и т.п. Факты наказаний доводились до сведения солдат. Но тем не менее все было так, как я сказал».

Слуцкий вспомнил о своем участии в заседании нашей оккупационной комиссии в освобожденной Вене. Руководство комиссии рассматривало проекты первых постановлений Временного Австрийского правительства, состоявшего в основном из антифашистов, только что освобожденных нашими солдатами из концлагерей. Отношения между нашим командованием и этими людьми были, естественно, товарищескими. И многочисленные сложные вопросы разрешались быстро. Неожиданно возникла сложная ситуация. Зачитали предложенный австрийской стороной проект постановления, разрешающего аборт женщинам, забеременевшим от советских солдат. Одобрение этого постановления нашей стороной означало бы формальное признание того, о чем все знали. Австрийские товарищи понимали, что ставят членов комиссии в сложное положение и были смущены, но ничего не могли поделать: по понятным причинам постановление должно было быть принято немедленно. Коллизия осложнялась еще и тем, что в Австрии продолжало действовать гитлеровское законодательство, запрещавшее аборт. В СССР, как известно, аборт тоже был вне закона. Австрийцы и мы старались не смотреть друг другу в глаза. Наконец, руководитель советской комиссии сказал переводчику: «Пусть по этому вопросу австрийская сторона принимает решение самостоятельно». Все облегченно вздохнули, и работа опять пошла гладко.

Вспоминаются некоторые милые мелочи из наших с Борисом Абрамовичем общений и разговоров. Он всегда спрашивал, голоден ли я, предлагал взять у него денег на расходы в Москве. Он всегда внимательно слушал стихи моих друзей, которые я читал ему наизусть, никогда не перебивал. Однажды он заговорил о стихах Александра Кушнера — одного из любимых моих поэтов:

«Кушнеру надо псевдоним — поэту с такой фамилией трудно прорваться в советскую печать. Был такой поэт Семен Корчик. Он взял монографический справочник русских дворянских фамилий и выбрал оттуда себе псевдоним — так появился поэт Семен Кирсанов». На мой рассказ об этой рекомендации Саша Кушнер отреагировал очень спокойно: «Но сам Слуцкий не стал брать псевдоним из этой книги — так что и я не буду!». Я доказывал Слуцкому, что Кушнер русский поэт с большим будущим. Он слушал не перебивая, а потом сказал удивительные слова, которые я хорошо запомнил: «Вы правы — Кушнер поэт очень высокой пробы. Но он не торопясь, чеканит серебряный гривенник высочайшей чистоты. А Евгений Евтушенко за одну ночь рисует фальшивую банкноту ценой миллион, которая жить будет всего один день. Но ведь цена ей — миллион».

Стихи Слуцкого и личное знакомство с ним оказали большое влияние на всю мою жизнь.

*г. Черноголовка  
май 2004.*

## ПЕКЛО

(Из воспоминаний о Борисе Слуцком)

В 57-м году, вскоре после XX съезда, студенты Литинститута зачитывали, что называется, до дыр два недавно вышедших сборника стихов: Леонида Мартынова и Бориса Слуцкого. Последний назывался «Память».

Книга «Память» явилась для меня откровением. Голая жестокая правда войны, обжигающий искренностью стоицизм автора (тогда принято было говорить «лирического героя»), стыдливо-целомудренный при всей своей броскости патриотизм, умение вслушаться в горчайшие переживания современников и особенно современниц, небоязнь бытовой лексики и даже некоторое ее горделивое выпячивание, намеренно угластые образы, послемаяковский, но совершенно самостоятельный распев — все это завораживало одних, вызывало на спор других, поднимало негативные чувства, вплоть до ненависти, в душе третьих. Я относилась, скорее, к числу «завороженных»...

Прошло несколько лет. Я собрала и сдала в издательство «Молодая гвардия» (не путать довольно либеральную «МГ» начала 60-х с нынешней закоснело-языческой «МГ»!) свою первую книгу стихов — «Район моей любви».

И вдруг встречаю Владимира Цыбина.

— Пляши! Твоя книга вошла в план. Внутреннюю рецензию знаешь кто написал?

— Кто?

— Борис Слуцкий.

На другой же день я была в издательстве.

— Покажи рецензию!

Показал. Скромный отзыв на трех страничках. Но с таким пониманием написанный, так доброжелательно. И главное, рекомендует книгу к изданию. И столь уже высок его авторитет, что мой «Район» был издан меньше чем через год — это при рутинной многолетней издательской очереди.

А вскоре я была Слуцкому представлена.

Строгий, совершенно несклонный к сантиментам, будто застегнутый на все форменные пуговицы, Б. А. отстранял от себя при первой встрече. Не знала, о чем с ним говорить, благодарить или нет за отзыв. На мое смущенное бормотание ответ был один — снисходительная усмешка из-под рыжеватых усов. Сколько он повидал нашего брата, нашей сестры на своем веку!

Тут Слуцкий не был добр. Точнее, не был добреньким. Не тешил иллюзиями тех, кто дерзнул взять в руки поэтическое перо. Удивительно, что одна из горячих статей Б. А. того времени была посвящена молодой женской поэзии. Главный упор делался на яркий дебют Светланы Евсеевой, а вокруг нее группировалось еще несколько поэтесс, я в том числе. Одобрив нашу работу, Б. А. приводил стихи Уитмена о красоте старых женских лиц и почему-то ставил на их место лица молодые — речь шла о наших фотопортретах, напечатанных в молодежном журнале.

Помню, я подумала: красота старых женщин — это здорово, а молодых — что в этом оригинального? Я не ведала тогда, что политрук, инвалид Отечественной войны, два года провалявшийся в госпиталях<sup>1</sup>, страдавший жуткими головными болями, долгое время не печатаемый, долгое время одинокий в своей холостяцкой комнате, встретил наконец Таню — жену, любовь, товарища. Это о ней он писал:

Надо, чтоб было куда пойти,  
Надо, чтоб было с кем не стесняться,  
С кем на семейной карточке сняться,  
Кому телеграмму отбить в пути...

Это ей, Тане, Татьяне Дашковской, посвящена книга стихов «Работа», где нет стихов о любви, но есть такое, в чем признаются только близким людям:

Це-го струсил. И этот случай,...

Возможно, Б. А. был размягчен своим запоздалым домашним счастьем, и молодые поэтессы, почти Танины ровесницы, вызывали у него особые чувства — не по заслугам...

---

<sup>1</sup> Борис Слуцкий был ранен в июле 1941 г., а в конце октября 1941 уже был в строю — *Примеч. сост.*



Когда меня принимали на бюро секции поэзии в Союз писателей, Слуцкий прочел вслух два моих стихотворения из первой книги: «Сказки» и «Четыре года». Показать товар лицом он умел. Его послушались. Я стала профессиональным литератором, а не «тунеядкой», по терминологии тех времен.

Теперь я видела Б. А. только издали. Иногда случайно встречала в центре Москвы — он вел подвижный образ жизни. Иногда слушала его четкие, смелые по тогдашним меркам выступления на собраниях, на обсуждениях работы коллег. Что главное, роковое выступление на публичной казни романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» медленно сжигает его изнутри, я не догадывалась. Не о том ли и приведенная выше строка?

Год 68-й. Поздний осенний вечер. В коридоре нашей московской коммуналки раздается телефонный звонок, и сразу из комнаты напротив высовывается соседка: «Кто это глядя на ночь?» Мне (неодобрительно): «Тебя!»

— С вами говорит Борис Слуцкий. Я прочитал вашу новую книгу «Забота». Поздравляю!

Говорил Б. А. интересно, расширительно. О нашем поколении в поэзии, о специфических чертах плеяды: «Симптомы высокой болезни налицо, но они сильно педалируются...» («Высокая болезнь» — это Пастернак; значит, и тогда, во время разговора, думал о нём.) «За то, что вы этого избежали, вам расплачиваться недостатком славы. Но...» Со временем, утешает меня несклонный к утешениям Борис Абрамович, это может компенсироваться...

Еще пара лет отстучала. По поручению Владимира Цыбина составляю сборник «День поэзии» 1971 года. Совершенно неожиданно Слуцкий берет на себя роль моего главного советчика. Теперь он звонит мне чуть ли не ежедневно. Соседи по коммуналке уже смирились с тем, что я по полчаса торчу около общего висячего аппарата.

Необходимо, считает Б. А., сделать наш сборник личностным, потому что в стихах, разумеется талантливых, самое интересное — что за личность стоит за ними. Надо представить щедрыми подборками поэтов якобы второго, а на самом деле первого ряда: Елену Благинину, Семена Липкина, Марию Петровых, Варлама

Шаламова, Аркадия Штейнберга (о каждом читает мне маленькую лекцию). Нужно дать место давно или недавно ушедшим классикам (из длинного ряда названных Б. А. мне удалось «протолкнуть» только М. Волошина и А. Ахматову: неопубликованные стихи последней я добыла с помощью Виктора Максимовича Жирмунского).

«Протолкнуть», «пробить» — эти типично советские глаголы работали и тогда, когда речь шла о молодых, за которых ратовал Слуцкий — А. Величанском, Л. Губанове, — и совсем немолодых, забытых, полузабытых, с изъяном в биографии.

Не могу сказать, чтобы наш «ДП» был на голову выше предыдущих и последующих. Не все зависело от составителя. Но некоторые бои были выиграны.

Б. А. предупредил меня, что занимаюсь я делом огнеопасным. И точно. Один из наших коллег, кстати ровесник Слуцкого, тоже инвалид войны, не найдя своих стихов в сборнике, как-то ночью набрал мой номер и, услышав мужской голос (подошел мой муж), стал смешивать меня с грязью, материть, говорить обо мне гадости. Мне было стыдно перед мужем...

Я так «прониклась» к Борису Абрамовичу за дни нашего совместного служения Поэзии, что абсолютно перестала его бояться. Однажды мы встретились в присутственном месте, и я полусерьезно попросила его показать мне обе ладони на предмет хиромантического анализа личности и судьбы. Он удивился, но выполнил мою просьбу. На поверхности неведомой планеты не нашей галактики, где вздымались горы, лежали цветущие долины, а их прорезали полноводные реки: мощная линия ума, жгучая — сердца, прямая, как стрела, — солнца, она же — таланта. Три сустава большого рулевого пальца — воли, логики и страсти — были уравновешены, и все-таки нижний, плавно переходящий во вздутый бугор Венеры, превалировал над другими. Линия судьбы, тоже чрезвычайно интенсивная, ломалась где-то посередине.

— Ух-х-х! — только и сказала я.

Мне бы остановиться на этом «ух», обратить все в игру, но под вопрошающим взглядом Б. А. я стала расшифровывать эти недаром скрытые от смертных божественные письмена.

Умнейшему человеку я самонадеянно объясняла, как он мудр и одновременно наивен...

— Это пекло! — заключила я отстраненным, несколько механическим голосом профессионалки. — Вы живете в пекле...

«Изменился в лице» — не дает представления о реакции Б. А. Он страшно надулся.

Слуцкий быстро ушел. Я же корила себя за дурацкую старательность. С чего мне вздумалось препарировать большого поэта, как лягушку?

С тех пор в его отношении ко мне появилась некоторая настороженность. Что и говорить! Я бы предпочла, чтобы ее не было...

Литературная среда — замкнутая среда. Каждый звук отражается, как от стенки, и доходит до слуха каждого, кто внутри. Так дошла до меня печальная весть о болезни жены Б. А. Тани. У нее, еще молодой женщины, обнаружили рак, и Борис Абрамович превратился в медбрата, сиделку, лицо, сопровождающее ее по большим мытарствам...

Пока была жива мама, Новый год мы старались встречать дома. А 1975-й решили встретить по-новому в Доме творчества писателей в Дубултах. Дом был оккупирован ребятней и родителями.

Впервые за свои тридцать восемь лет встречаю любимый праздник в таком большом, таком разношерстном обществе.

— Смотрите! — показывает Павел, мой муж.

Через весь зал к нам направляется Борис Абрамович. Он оставил тот стол, оставил Таню и идет на «ны» — так, кажется, по старославянски? Он необыкновенно радушен. Я и не подозревала, что его «походное» лицо может излучать такую приветливость.

Он говорит нам приятные вещи. О стихах, о нашей работе в литературе. Он прочел мою последнюю книгу.

Вокруг елки уже пляшут. Подросток Буля Окуджава (он упрямо называет себя Антоном) бежит к нашему столу за партнершей и на миг замирает, не зная, кого выбрать.

Я ловлю взгляд Б. А. Он смотрит на детей с таким вниманием, так напряженно. Он роняет несколько будничных фраз. О писательских детях — наших и вообще. Им приходится туго. Их заражают окружающее тщеславие, соперничество, вражда. С ранних лет они участвуют в конкурсе, чей папа, чья мама знаменитее, богаче.

Я вспомнила эту сценку, когда годы спустя прочла одно из наименее известных стихотворений Слуцкого, которое начинается так:

У людей — дети. У нас — только кактусы  
Стоят, безмолвны и холодны.  
Интеллигенция, куда она катится?  
Учёные люди,  
где ваши сыны?

Когда, через пару лет после того Рождества, Таню провожали в последний путь, процедура прощания затянулась. Я вдруг представила себе весь ужас свершившегося. Он ждал ее полжизни. С ней, единственной, он мог «не стесняться». Она была ему дитем и матерью. Я приблизилась к Б. А. и не смогла ничего сказать. Может быть, тихонько застонала? Не помню. Сама отошла или меня отстранили? Тоже не помню. Помню только правоту некогда сказавшего: «Как утешить плачущих? Плакать вместе с ними».

После смерти жены Слуцкий тяжело занемог: впал в депрессию, стремился к тому, о чем Цветаева сказала: «Я не хочу умереть. Я хочу не быть». Но перед тем его посетила Эрато, по поверьям древних греков, покровительница любовной поэзии. Всю войну и еще тридцать с гаком послевоенных лет она обходила его дом стороной, как долговременную огневую точку. И вот подарила цикл любовно-прощальных стихов. Все — о Тане.

Я знала, что Слуцкий периодически лежит в больнице, никого не принимает. Я даже не пыталась увидеться с Б. А.

Но однажды мне позвонили.

— С вами говорит Борис Слуцкий... — Дряблый, надтреснутый голос. А был — долгие годы — сплав серебра и стали. — Я все знаю. Одобряю ваше решение. Кто вами занимается?

Я к тому времени была исключена из Союза писателей. Меня не печатали. Имя мое не упоминалось. Такова была кара за мое намерение эмигрировать вместе с семьей. От намерения я отказалась сама, но в СП меня не восстановили, литературной работы не давали. По существу, мной никто не занимался. Но две фамилии осведомленных функционеров я назвала. По мнению Б. А., мое «возвращение в строй» оказалось в ненадежных руках.

С трудом преодолевая невидимую мне стену, так же глухо, тем же не своим голосом Борис Абрамович вопрошает:

- Не пойти ли выше?
- Я подумаю. Можно мне вас видеть?
- Нет!
- Как ваше самочувствие?
- Ужасное. Кошмар за кошмаром...

Почему позвонил? Мне кажется, это был его ответ на ту мою скорбную окаменелость у гроба Тани, на то живое чувство со-страдания, что испытываешь редко и еще реже выражаешь.

Кошмарам тянуться еще пять лет. И за грядущие годы — ни одного стиха! Казнь поэта — его поэтическое безгласие.

Иступленная честность перед самим собой не внушила ли Слуцкому мысль, что в истории с Пастернаком им двигала зависть к свободе великого человека и поэта?

Это было нестерпимо! Это был тот «огонь палящий», о котором говорит Библия. Вот почему, думается мне, он так болезненно прореагировал на мое нечаянное слово «пекло», вырвавшееся во время полунаучного-полушарлатанского сеанса хиромантии...

*«Литература», 2001, № 38.*

---

*Константин Ваншенкин*

## «...ОТ СТАРИННОГО ЧИТАТЕЛЯ И ДРУГА»

Последний год я стал почему-то часто думать о Слуцком, то и дело перечитывать его стихи, С каждым разом они словно обнаруживали новые достоинства, действовали не слабее, а сильнее. Я стал чуть не всем подряд говорить, какой он прекрасный поэт, и многие, кое-кто и с неохотой, соглашались. Выяснилось, что это было почти общее мнение, Образовалась как бы новая волна его признания. И вдруг эта весть...

Хорошо бы жив пока,  
после смерти можно тоже,  
чтобы каждая строка  
вышла, жизнь мою итожа.

«После смерти можно тоже...»

Слуцкий — по-настоящему редкостный художник. Его отличают необычность, неожиданность, парадоксальность. Изощренность под видом корявости. Тонкость под маской прямолинейности. У него, я бы сказал, рустованный стих, то есть рельефный, грубо околотый, — в архитектуре такая кладка или облицовка существует и ценится наряду с камнем полированным. У него яркий разговорный язык — различных групп, слоев. Потребность и умение внедриться в психологию разных людей, неиссякаемый интерес к ним. Множество портретов. Стихи о войне, о жизни, о людях, об искусстве — и все о себе. Забота о Земле, о живущих рядом, боль за них. Любовь к жизни, нежелание уходить. Но что делать! «Вся надежда на человечество, на себя уже никакой» Самоирония — сильнейшая его сторона.

Главный герой Слуцкого — Совесть. Замечательно у него сказано: «Соврешь — и себе же навредишь». Это ведь один из основных законов искусства. В ту пору — кажется, это был пятьдесят третий — мы жили в Хоромном тупике, у Красных ворот. Зрительно помню стенд с еще старой, четырехполосной «Литературкой»

и эти стихи «Памятник» — «Дивизия лезла на гребень горы...» Должен признаться, они показались мне весьма обычными.

В тот же день я встретил Поженяна и он спросил, читал ли я их.

— А кто это? — поинтересовался я. — Молодой поэт?

— Нет! — сказал Поженян. — Это не молодой, это старый поэт. Я давно с ним знаком...

Потом я удивлялся: почему он назвал его старым?

Многие хорошо его знали с еще предвоенных литинститутских времен — Луконин, Наровчатов, Львов, Пазков... Он оттуда. Но войну провел не как большинство однокашников — не уверен, писал ли он стихи тогда, во всяком случае, не печатался. Только воевал. Он по писательской судьбе был ближе мне и Винокурову. Он, довоенный, пришел в литературу даже позже нас.

Но он всегда помнил, думал о своих сверстниках. Они были ему особенно дороги. Замечательна сила его товарищества. И в стихах его живут Михаил Кульчицкий, Павел Коган, Ксения Некрасова...

Он по-настоящему любил, знал и мог оценить истинную поэзию, и все-таки, врожденное ли это свойство, результат воспитания или его политработа на войне, но для него параллельно существовали в этом деле и иные критерии. Вот стихи «Памяти товарища»:

Перед войной я написал подвал  
Про книжицу поэта-ленинградца...

Написал отрицательную, разносную статью. «...Но через день бомбили Ленинград — и автор книги сделался поэтом».

Все то, что он в балладах обещал,  
Чему в стихах своих трескучих клялся,  
Он выполнил — боролся и сражался,  
И смертью храбрых, как предвидел, пал.  
Как хорошо, что был редактор зол  
И мой подвал крестами переметил  
И что товарищ, павший,  
перед смертью

Его,  
скрипя зубами,  
не прочел.

Вот что для него главное!

Поразительно, как Слуцкого сразу приняли — и старики, и молодые. Как он естественно сблизился с Заболоцким, Мартыновым. Как к нему потянулись младшие. Он оказался как бы неким связующим звеном между теми и другими.

Меня привлекало в Слуцком многое. Его убежденность, благожелательность, объективность — как ни у кого. Его благородство. Он был доверчив. Иных идеализировал, они ему казались лучше, чем были, — как люди и как поэты тоже. Однажды Трифонов сказал ему при мне о молодом тогда стихотворце, которого Слуцкий поддерживал:

— Что же твой ученик такие статьи пишет!

Борис ответил:

— Я его этому не учил.

Привлекала его исключительная начитанность, память, знания. Интерес буквально ко всему.

Нравилось, как он говорил — четко, резко, значительно, каждое слово отдельно. Как он протягивал руку, высоко держал голову.

Не помню случая, чтобы Смеляков, или Луконин, или кто другой (а ведь были мастаки на это) отнеслись к нему несерьезно, иронически, просто невнимательно. К нему, к его словам. Слушать его всегда было интересно. Это была яркая, заметная фигура. Плотный, усатый, с рыжизной в волосах.

Мне нравились его стихи, многие задевали за живое, запоминались сами собой.

Конечно, он был органичным, крепко сформировавшимся поэтом, что не все понимали. Он был поэтом подчеркнуто прозаичным. Некоторым своим стихам он давал подзаголовки — определения жанра: «статья», «очерк». Нарочито? Но как же тогда Твардовский с его подзаголовками к лирике: «сельская хроника», «фронтовая хроника», а к поэме «Дом у дороги» — лирическая хроника?

Странно проводить аналогии между этими двумя поэтами, но вот — у Твардовского:

Что-то вяжет девушка,  
Сидя за рулем.

У Слуцкого:

Шоферша вязала в кабине  
Огромного самосвала.



Это не заимствование. Заимствуют строку, манеру.

Это — сходные жизненные наблюдения.

Борис Слуцкий — поэт незаурядной силы, своей интонации, индивидуальности. Суровый, корявый. Но мастер. И, конечно, по натуре комиссар — как мало кто в поэзии.

Я говорил от имени России,  
Ее уполномочен правотой...

И как запомнилось! «— Хуже всех на фронте пехоте!», «Память», «Голос друга» с его хрестоматийными уже строчками:

Давайте после драки  
Помашем кулаками...

А «Баня», «Лошади в океане»! Второе — столь известное и зацепившее многих, — как он сам признавался, целиком им придуманное<sup>1</sup>. Пример художественного вымысла на вполне реальной, правдивой, жесткой основе.

А «Физики и лирики»! Вот формула — надолго. А ведь эти проничные стихи не так просты и однозначны, как может показаться. Некоторые обиделись, даже печатно, сочли их чуть ли не предательством по отношению к цеху. У него есть и другое стихотворение, появившееся значительно позже, — «Лирики и физики». Наоборот!

Слово было ранее числа,  
а луну — сначала мы увидели.

Конечно, главное у него — война, как у многих. И как у большинства, поданная совершенно по-своему. Она — при всех его особенностях, при всей конкретности — наиболее обобщенная, что ли.

Помню, меня удивило, когда я прочел у Симонова, что ближе других стихов о войне для него стихи Слуцкого. Что он считает их

---

<sup>1</sup> В очерке «К истории моих стихотворений» Слуцкий писал: «Как-то вспомнился рассказ Жоры Рублева об американском транспорте с лошадьми, потопленном немцами в Атлантике» (Борис Слуцкий. О других и о себе. М., 1991). — *Примеч. сост.*

сильнее своих собственных и хотел бы быть их автором. И это Симонов с его популярностью! Тогда его слова показались мне некоторым кокетством, но с годами я понял, что такое могло быть. Между ними, пожалуй, существует и определенная связь — между ранним Слуцким и поздним Симоновым.

Немалую роль в дальнейшей судьбе Бориса почти с самого начала сыграла безоговорочно-восторженная большая статья о нем Ильи Эренбурга. Приняли ее по-разному. Одних она обрадовала, других раздражила. Впрочем, со всеми ее формулировками и положениями тогда трудно кому было согласиться. Но статья привлекла к нему всеобщее внимание. Мало того, он стал еврейски известным поэтом.

Он часто выступал, начал изрядно печататься, и, помню, меня всегда удивляло, что он порою соглашался на переделки строк и строф — лишь бы поскорее вышло в свет. Видно, уже надоело ждать.

С самого начала я был с ним на «ты», называл Борисом. Реже Борей.

— Купите триста грамм сыра, бутылку сухого вина и зовите меня, — говорил он нам с Инной. — Мне много не нужно.

Моя жена, Инна Гофф, его землячка, харьковчанка. Иного возраста, другого района — она из центра, с Сумской, а он из рабочего, ремесленного предместья, с Холодной горы<sup>1</sup> (помните? «Я рос в тени завода и по гудку, как весь район, вставал...»). Но все же — одинаковость родного города, названий улиц, особых словечек, деталей и примет.

Было время, нам дали жилье в одном доме. Для Слуцкого это, по-моему, вообще была первая своя комната. Едва он поселился, как сразу уехал — в Италию, в составе делегации поэтов, вероятно, впервые в такой большой и пестрой. Твардовский, Исаковский, Прокофьев, Заболоцкий, Инбер, Смирнов. И вот Борис. Он бегал, покупал чемодан, срочно шил костюм. И многие, наверное, шили. Вот на фотографии: брюки почти у всех широкие, мешковатые, лежащие обшлагами на ботинках, — такие тогда у нас носили.

Делегация летела самолетом, но у Заболоцкого было большое сердце, и ему запретили. Слуцкий вызвался поехать с ним поездом.

---

<sup>1</sup> Борис жил в районе Конного базара и заводов-гигантов (паровозно-го и др.) в стороне противоположной Холодной горе. — *Примеч. сост.*

Объяснил это не своей заботливостью, а тем, что знает немецкий язык. Ехали они трое суток.

Из Италии Борис привез нам сувенир: куколку швейцарского гвардейца из охраны Ватикана, в полосатой форме. Через несколько лет мы увидели их в натуре. Эта фигурка до сих пор стоит у нас на полке. Обнаружил на ней маленькое чернильное пятнышко и вспомнил: Борис рассказывал, что вез ее во внутреннем кармане пиджака, а на обратном пути в самолете у него протекла авторучка.

Он жил наполненной жизнью: вечера, концерты, вернисажи. В современном искусстве знал едва ли не всё, едва ли не всех. Он позначкомил меня как-то с молодыми скульпторами Владимиром Лемпортом, Николаем Силисом и Владимиром Сидуром.

— Вижу, что не запомнишь, — улыбнулся Слуцкий, — но я скажу так, чтобы запомнил:

Лемпорт, Силис и Сидур  
Ехали на лодке.

Мы вместе побывали и потом бывали в их общей, расположенной в подвале мастерской. С той поры у меня сохранилось несколько их работ. Давно уже они едут не в одной лодке, но стишки действительно запомнились. И то время тоже. Я еще расскажу об этом подробнее.

Однажды Слуцкий позвонил в начале дня:

— Костя! Это Борис. — Как будто голос его можно было не узнать. — Если можешь, зайди ко мне с Инной. У меня сейчас интересный молодой художник...

Слуцкий жил в одной квартире с Баклановым, товарищем наших институтских лет. Тогда немало было коммунальных писательских квартир. Баклановы занимали две комнаты, Слуцкий одну.

Держался Гриша исключительно корректно. Он был, по сути, еще неизвестен, а Борис почти знаменит.

Слуцкий сказал мне как-то о Бакланове:

— Пишет по десять-двенадцать часов в день. Почти не вставая.

Сказано это было с уважением. Да и сам Борис был работник, что в стихах вообще редкость. Однако он признался печатно: «выполнив свой ежедневный урок — тридцать плюс-минус десять строк...». Таким образом, он писал в день от двадцати до сорока

строк! Это невероятно, чудовищно много! Обычно пишущие так пишут из рук вон плохо. Здесь — редчайший случай.

Когда он заболел и перестал писать, его запасов хватило на несколько лет регулярных публикаций, да и сейчас не все напечатано.

Критик Ю. Болдырев, — спасибо ему! — занимаясь литературным наследием Бориса, опубликовал сотни стихотворений. А по-смертно составленная из них книга «Сроки», убежден, пока что лучшая книга Слуцкого.

Осталась у него и проза. Когда-то, давно уже, он сказал мне, что сразу после Победы заперся на две недели и записал свою войну в прозе. «Пусть будет»...

Итак, мы зашли к Борису.

Висели на стенах или были прислонены к ним рисунки, акварели, гуаши. Они производили впечатление: тоненькие деревца, огромные детские глаза, каменный колодец двора, блокада. Так запомнилось. Художник с пышно-волнистыми волосами и светлым холодно-вежливым взглядом. Тоже молодая его жена.

А на мольберте был укреплен большой лист с изображением хозяина, правда еще неоконченным (карандаш или уголь). Внешнее сходство было несомненное, но выглядел Слуцкий слишком монументальным, напыщенным, сановитым.

Я сказал об этом художнику.

— Ну почему же, — не согласился тот. — Я хочу здесь показать силу характера Бориса Абрамовича, его твердость, его большой талант. Я хочу показать глубину природы Бориса Абрамовича...

Сам Борис ничего не говорил, но подсознательно все выше поднимал подбородок.

Потом он отвел меня в сторону и спросил, не хочу ли я заказать художнику портрет Инны. Дело в том, что художника нужно бы поддержать, и некоторые по рекомендации Слуцкого подобные работы уже заказали. Я отвечал, что у меня нет свободных денег, но я подумаю. И действительно, вскоре известный профессор-искусствовед заказал ему, после моего рассказа, портрет своей жены, который за два сеанса и был выполнен.

Звали художника Илья Глазунов.

Редкостными был у Слуцкого ощущение собственной причастности ко всему в литературе, широта его понимания.

Весной семьдесят третьего он, Сергей Орлов и я встретились в Останкинском телецентре. Предполагалась какая-то, не помню

уже, съёмка, Должен был участвовать еще Евтушенко, но ему не выписывали пропуск. потому что он предъявлял только водительское удостоверение. В конце концов студия была уже занята другими, все сорвалось и мы, злые, вышли на улицу. Сели в такси, я вспомнил к чему-то и сказал, что тяжело болен Исаковский.

Слуцкий заметил в ответ:

— Жаль. Поэт замечательный...

Не представляю себе, чтобы кто-нибудь из его предвоенной компании, из его генерации, мог так сказать. Даже Серега Орлов глянул на него с некоторым удивлением.

У Слуцкого есть стихи о большом старике, который каждое утро настойчиво требовал, повторял: «Принесли уже газеты?..»

Не о себе, конечно, сюжет иной — но и о себе отчасти. Как-то раз Борис попросил своего почти однофамильца, вильнюсского прозаика Миколаса Слуцкиса, чтобы тот устроил ему и Тане возможность пожить летом на глухом литовском хуторе, хорошенько отдохнуть, Слуцкий выдержал всего несколько дней. Дело даже не в том, что он был сугубо городской человек. Ему было необходимо держать руку на пульсе событий, самого времени, ежедневно читать *все* газеты, перезваниваться с множеством друзей.

То-то удивились хозяева, которым он заплатил вперед, допытывались у Миколаса — чем не угодили.

Вот я сказал: Борису и Тане. Да, он женился; некоторые считали, что поздно. Таня легко и естественно вошла в его круг. Он представлял ее четко и с гордостью:

— Моя жена.

Они жили вблизи от Сокола, в странном, почти барачного типа, доме. Вероятно, он сохранился с первых пятилеток. Даже телефон у них был с добавочным номером.

Иногда Борис как бы давал понять, что он женился не для того, чтобы в доме царил семейный уют или чтобы его обслуживали. Однажды я зашел к нему, он болел воспалением легких, лежал в постели. Таня была в командировке, он не сообщил ей об этом.

— А мне ничего не нужно, — сказал он строго. Собственно, заботящейся, ухаживающей стороной всегда должен был быть он. Так получилось и тут.

У Тани обнаружилась болезнь крови. Боря делал, казалось бы, невозможное — редкие лекарства, лучшие клиники. Безрезультатно. Улучшения если и наступали, то лишь сугубо временные. Они только оттягивали неминуемый конец.

На площади Восстания была оживленная стоянка такси. Там всегда можно было встретить знакомого. Помню, как-то я подошел — машину ждала Таня. Тут появился еще наш общий приятель, драматург Исидор Шток, человек веселый, легкий, общительный.

— Здравствуйте, Танечка! — приветствовал он ее. — Что-то вы бледенькая...

Он ничего не знал. Она стойко выдержала это. В духе Слуцкого.

Смерть Тани сломала Бориса. Может быть, и не только она. Помните, как он обещал в стихах: «не струшу, не сдрейфлю»... Как был уверен. И вдруг — проскользнуло, еще при ней:

Где-то струсил. И этот случай,  
как его там ни назови,  
солью самую злой, колючей  
оседает в моей крови.

Солит мысли мои, поступки,  
вместе, рядом, ест и пьет,  
и подрагивает, и постукивает,  
и покоя мне не дает.

Другой бы, может быть, и внимания не обратил. Или забыл — с кем не бывает! Но не Слуцкий. С ним «этот случай... вместе, рядом, ест и пьет». И тут — потеря Тани.

Видимо, одно наслоилось на другое.

Он заболел, сдал, слег. Стал ко всему безразличен.

После долгих хлопот Симонов устроил его в хорошую клинику. Он часами, сутками лежал, отвернувшись к стене. Но Слуцкий есть Слуцкий. Известна его фраза того времени: «Я говорю, что никого не хочу видеть, и мои друзья этим широко пользуются».

Нет, в нем все-таки жил Слуцкий. Он звонил несколько раз — Инне, когда у меня был инфаркт (она сказала: голос далекий, как с другой планеты); мне, когда умер Наровчатов... Он всегда считал себя обязанным появиться, проявиться именно в трудную минуту.

Он ходил на панихиды, похороны — буквально всех — не только в Союз писателей, но и в морг или на квартиру покойного.

Несколько лет назад я встретил его у нас в поликлинике. Он познакомил меня со своим братом.

— Ну, как ты? — спросил я.

— У меня депрессия, — ответил он и тут же поинтересовался последним собранием, а потом и моим здоровьем.

— Ну, какая же это депрессия, если тебе это интересно! — воскликнул я.

И брат Бориса поддержал меня:

— Конечно.

— Нет, депрессия, — утверждал Борис грустно.

Я знал Бориса Слуцкого более тридцати лет. А кажется, что еще больше, — так время тогда было по-особому сжато.

Мы прощались с ним в тесном морге больницы на Можайском шоссе. А может быть, и не в тесном, просто народу пришло очень много.

Сейчас, рассматривая автографы на его подаренных мне книгах, я обнаружил, что уже через шесть лет нашего знакомства он написал: «Косте Ваншенкину — от старинного читателя и друга». Вот как — старинного! Но ведь и я мог бы так же сказать о нем.

Написал он предисловие к моей книжце в молодогвардейской «Библиотечке избранной лирики». И тут меня остановила несколько, может быть, корявая, но типично его фраза: «Врать в стихах не то что не привычен, а попросту не обучен». Для него это главное — в оценке любого. Сколько у него стихов — о жизни, о людях, о стариках и бабках, — с любовью, сочувствием! Об искусстве. И о недавних временах («Бог»), и о себе тоже («Унижение во сне»)!

Я говорил уже о том, что он очень много написал. Что есть у него и проза. А переводы? В этом тоже был он весь — с его добротой, активным желанием помочь. В этом тоже проявление его гражданственности:

Работаю с неслыханной охотой  
Я только потому над переводами,  
Что переводы кажутся пехотою,  
Взрывающей валы между народами.

И в последней книжке — опять о переводе, как о серьезнейшем, существеннейшем деле.

Выступая на пленуме Московской писательской организации, посвященном 40-летию Победы, я закончил свою речь стихами Слуцкого:

...Мое вчера прошло уже давно.  
Моя война еще стреляет рядом.

Конечно, это срыв, и перебор,  
и крик  
и остается между нами.  
Но все-таки стреляет до сих пор  
война  
и попадает временами.

И вот — еще раз попала.

Борис Слуцкий — пласт жизни, поэзии, мощный, сильный. Его стихам не требуется, чтобы их значение или место преувеличались после ухода автора.

Поэзия Бориса Слуцкого стоит прочно.

*Из книги: К. Ваншенкин. Писательский клуб.  
М.: Вагриус, 1998. С. 243–253.*



---

*Давид Шраер-Петров*

## ИЕРУСАЛИМСКИЙ КАЗАК

Слуцкий приехал в Ленинград летом 1957 года. Он только что издал свою первую книгу стихов «Память». И сразу стал знаменитым поэтом. Слава и признание пришли к нему после долгих лет обдумывания пути в поэзии. Он говорил, что поэт должен появиться, как Афродита из пены морской. Неожиданно и неотвратимо.

Помню Бориса Слуцкого, обороняющегося от толпы почитателей: радикальных студентов и поэтов. Он выступал в книжном магазине на углу Невского и Садовой. Ему была любезнее народная слава, нежели популярность среди узких радикальных кругов. Это понял Эренбург, найдя в поэзии (и я думаю — в позиции) Слуцкого некрасовские тенденции. Тогда ему было лет около сорока. Красивый, крепкий рыжеусый мужик, скорее хохлацкого, нежели еврейского типа. Говорил он резко, точно, инструктивно. Любил спрашивать о вещах социального звучания, нам — молодым поэтам — совершенно неинтересных. Например, какой процент рабочих ежедневно посещает Эрмитаж? А колхозников? А военных? В нем была сложная смесь черт, близких комиссару Когану (Багрицкий) и партизанскому комиссару Левинсону (Фадеев).

Вижу себя вечером того же дня среди поэтов: Кушнера, Агеева (Леонида), Британишского, Тарутина, Рейна, Наймана... Мы идем дружной толпой по Невскому. С нами Слуцкий. Называет самых интересных ему поэтов: Мартынова, Самойлова, Межирова, Глазкова. Презрительно отзывается о ленинградцах Орлове, Кежуне, Дудине, Лихареве, хотя и фронтовиках, но пишущих, по его разумению, банально, традиционно, скудоумно. Всеволода Азарова называет «лысой музой». Вспоминает, как сопровождал Николая Заболоцкого в Италию. «Столбцы» Заболоцкого, по словам Слуцкого, перевернули представления итальянских поэтов о форме стиха. О видении формы. И не только поэтов, но и кинорежиссеров. Он ни о ком из нас не забывает. Дает советы. Иногда роковые. Именно тогда Слуцкий перекрестил меня в Давида Петрова. «Возьмите писательское имя, близкое к народу. Вы же русский

поэт. Как зовут вашего отца?» — «Петром». — «Вот и отлично. Будете Давид Петров. И печататься легче будет. Что говорить, есть еще антисемиты. Хотя партия борется. В Москве — Давид Самойлов, его фамилия Кауфман. А в Ленинграде — Давид Петров». Он подчеркивал свою солдатскую принадлежность к партии коммунистов. Не хотел видеть тиранию партократии, веря в святую необходимость законов военного коммунизма. Ради воображаемой высшей правды, которой он всегда служил. Ради которой он прошел войну.

Еврейская тема была в его душе. Я тысячу раз перечитывал библейское стихотворение «Блудный сын»... Мы ведь все были на излете. Заканчивали институты. Готовились стать блудными сынами. Стихи Слуцкого перекликались с цветаевскими: «Станут девками наши дочери и поэтами сыновья». Поэт — всегда блудный сын.

Однажды в поезде компаньон по купе слишком увлекся рассказыванием еврейских анекдотов... Сыпал и сыпал, как из мешка зерно, и все про Сарру, Абрама, Рахильку. Видно, был любитель-антисемит. Слуцкий ему тактично, но твердо, намекает, что пора тему закрывать. А попутчик ни в какую. Наливает Борису Абрамовичу горилку и, хохоча-закатываясь, отвечает: «Да, ты ж казак, добрый казак. Ну какой казак отказывается анекдот про жида послушать?!» Слуцкий ни слова не говоря надел свой китель, громыхающий орденами и медалями, — единственную одежду, которую он носил несколько лет после войны, достал из кармана паспорт и сунул в красную, распарившуюся от водки и хохота рожу анекдотчика: «Читайте!» Тот прочитал: «Слуцкий Борис Абрамович». — «Дальше читайте!» — «Еврей...да я ж не разобрался. Извините. Я думал — вы казак». — «Я и есть казак. Иерусалимский казак!»

Еврейская тема пробивается в нескольких его книжках. В духе Эзопа. Чаще — откровенно, врукопашную. В конце концов, он надеялся, что добрые силы русского народа преодолеют антисемитизм. Или уговаривал себя. Или заставлял себя подчиниться воле партии, формально отвергавшей антисемитизм, а фактически выращивавшей его в страшном, фантазмагорическом средневековом департаменте, расположенном на Лубянке. <...>

Общаешься с писателем годы. Всю жизнь. Чаще или реже. По делу, по соседству, по зову души. Скажем, Куняев частенько заходил к Межирову сыграть в шахматы. Как Ленин подсаживался к

Богданову на Капри (у Гьрького). Чтобы потом резко разойтись и стать смертельными врагами. Как они теперь в Москве после откровенного присоединения Куняева к «Памяти»?.. Слуцкий вырастил нескольких профессиональных поэтов: Куняева, Шкляревского, Глушкову. Двое из них — Куняев и Глушкова примкнули к лагерю реакционных славянофилов. Откуда корни этой измены памяти учителя — еврея? Скандально обвиняют теперь друг друга писатели в предательстве Пастернака. Как найти разницу между тем, который голосовал против опального поэта, требовал его распятия или заперся в туалете во время прений? Как мне верить речам делегатов съезда писателей 1986 года, проливавших слезы раскаяния по поводу свершившихся во времена оные несправедливостей? Что мне теперь думать о выступлении Слуцкого-коммуниста на антипастернаковском собрании, когда ровно через год после этого я приехал к нему в Москву и принял его покровительство. Я не знал об этой речи Бориса Абрамовича доподлинно. Ходили слухи, но я предпочитал не верить. Такой человек не мог!.. <...>

Зимой 1959 года я приехал к Слуцкому, на Ломоносовский проспект. Открыла жена Слуцкого Таня, и я поразился ее красоте. Совершенно не помню, какой она была, не могу описать. Скорее всего в стиле Натали Вуд: женственная, тонкая, с ямочками, когда улыбалась, с красивой грудью и спортивными ногами. Игорь Шкляревский говорил мне, что Таня до болезни переплывала Москву-реку туда и обратно. Как это хорошо по-русски: переплывать реку туда и обратно. Слуцкий заторопил меня в кабинет. Я почитал ему написанное после встречи в 1957. Одно стихотворение он отобрал, написал записку Бенедикту Сарнову, и тот стихи напечатал. В дверях Борис Абрамович спросил, нужны ли мне деньги. Потом я узнал, что он предлагал деньги всем молодым поэтам, с которыми общался. Многие брали. <...>

Летом 1960 года я послал новые стихи Слуцкому. Он ответил: «14.9.60. Здравствуйте, Давид! Письмо со стихами получил. Стихи куда лучше прежних, особенно «Ты помнишь»; «Говорящая кукла» написана неясно. С моей точки зрения, это недостаток...» <...> Стихи, начинавшиеся словами «Ты помнишь, плясали грузины...» под названием «Танец стройбатовцев» были напечатаны в «Дне поэзии-1970» и отмечены критикой.

Вспоминаю себя вместе со Слуцкими — Борисом Абрамовичем и Таней в такси из гостиницы в сторону аэропорта. В машине

заспорили со Слуцким о военных стихах. Он считал, что стихи об армии мирного периода — это блеф, профанация, попытка сделать литературную карьеру, «паровозное искусство». «Военные стихи должны быть о войне!» — утверждал категорически Слуцкий. Я возражал: «Мирная жизнь армии полна драм. Вспомните „Выстрел“ Пушкина, „Поединок“ Куприна. Не вечно же обойме военных поэтов эксплуатировать военную тему». Это мое «эксплуатировать тему» (тему войны) взбесило Слуцкого, не терпевшего возражений. В аэропорту Слуцкий поостыл и потащил нас угощаться в буфет. На прощанье вдруг сказал: «У поэта должна быть возлюбленная. Чтобы говорить каждое утро: „Ты самый талантливый на свете“: Тогда он будет жив, и ничего страшного».

Встретил Слуцкого на похоронах Ильи Эренбурга... Траурная процессия направилась на Новодевичье. Толпы студентов ринулись к кладбищу, куда их не пустила милиция. Народ возмутился и стал напирать. Вызвали войска. В рифму с оградой Новодевичьего поставили цепь солдат. Толпа продолжала теснить солдат. Из-за оцепления возник Слуцкий и принялся уговаривать народ разойтись. Кладбище, мол, ограничено по территории, всем не поместиться, к тому же — это не просто кладбище, а национальный музей, Пантеон... Я не выдержал и сказал ему: «Зачем это вам, Борис Абрамович, в такой роли?» Он повернулся и пошел к воротам, к хоронившим. Мы поднажали и прорвали цепь. Над могилой рыдала дочь Эренбурга и кричала что-то в лица официальным похоронщикам, от чего они ежились.

Слуцкий несколько лет не мог простить мне моего вмешательства.

Мы встретились с ним в конце сентября 1970 в «Лавке писателей» на Кузнецком мосту. Вышли вместе и пошли к улице Горького. На углу Кузнецкого и Петровки работало тогда кафе. Красные полотняные грибки, как на пляже. Я пригласил Слуцкого посидеть-выпить: «Получил гонорар за переводы Карло Каладзе». «Я слышал от Шкляревского, что вы спасали Россию от холеры. Как это было?» Я рассказал Борису Абрамовичу про Ялту, опустевшую, как во время войны. Про карантинные окруженные войсками. «Военная страна», — ответил он коротко, про все сразу, как только могли он, Мартынов и Маяковский. «Ну вот и вы герой, — сказал он с энтузиазмом. как будто я вернулся с войны. — Герой и поэт. Страна должна знать своих героев. Напишите об этом книгу». Мы пили «Цинандали». Как поэт с поэтом, солдат с солдатом.

Он был первым, кто в январе 1976 года сбежал по деревянной лестнице из Правления московской писательской организации, где заседала приемная комиссия, чтобы поздравить меня с приемом в СП. Мы обнялись. <...>

Однажды он позвонил мне: «Есть ли что новое против лимфогранулематоза?» Узнал и позвонил ему. Он выслушал меня. Горько вздохнул: «Все это перепробовали».

Через год или два мы сидели в ресторане ЦДЛ с Гофманом, Евтушенко и Шкляревским. Заговорили о Слуцком. Как он смог написать несколько гениальных стихотворений войне и перейти к другому материалу для своей поэзии, оставшись для критиков «поэтом военной обоймы». «Он бы и поэзию оставил, если бы долг потребовал, — сказал Гофман, герой войны, летчик, прозаик. — Недаром Борис написал знаменитые стихи „Физики и лирики“». «Абрамыч — народный поэт. У народа теперь другие проблемы: хлеб насущный. Поиски правды в жизни, в науке, в политике, труде, — сказал Шкляревский. — Помните у него: „Я исходил из хлеба и воды, и неба (сверху), и суглинка (рядом), и тех людей, чьи тяжкие труды суглинок полем сделали и садом“ Нет, Эренбург был неправ. Слуцкий — философ. Оригинальный философ одиночка. Вроде Эзопа. Или Диогена». «Народный поэт не может не писать любовной лирики. А у Слуцкого нет любовной лирики», — сказал Евтушенко. «Потому что он любит одну женщину на свете, как она его. Они одно целое. А любовная лирика пишется на изломе», — сказал я. В это время кто-то подошел к нашему столу и сказал, что Таня Слуцкая умерла.

Борис замкнулся. Никого не хотел видеть, как будто умерло его сердце или мозг — та самая часть, которая живет любовью. Тани не стало, и никто не мог говорить каждое утро: «Ты гениальный поэт, Боря. Ты мой самый любимый, самый лучший на свете поэт».

В последний раз я видел, как его вел под руку какой-то человек. Наверно близкий друг. Борис Абрамович шел прямо, зимнее пальто его было застегнуто на все пуговицы, хотя на дворе намечалась весна.

Борис Абрамович Слуцкий был народный поэт, философ, лирик. Он говорил: «Пиши серьезно... Трудись и борись... Рискуй... Горе тому поэту, который не выполнит этих требований».

## БЛИЖНЕЕ ОХО

Осенью 75-го года в Софрине, под Москвой, затевалось совещание молодых писателей. Комсомол отвечал за организацию, СП за семинары. Прошел слух, что с прошлого сборища чуть ли не сто человек приняли в Союз. (Потом выяснилось, что то была единовременная, согласно директиве, кампания по омоложению писательских рядов. Но тогда подобный слух вызвал у нас большой ажиотаж.) Претенденты на участие срочно давали рукописи. Как происходил их негласный «творческий конкурс» — одному богу известно. Так или иначе, меня — отметили. Я посетовал Левину, который рекомендовал меня на это совещание от литстудии «Магистраль», тот позвонил Окуджаве, и оргкомитет приоткрыл дверцу «черного хода» для не пущенного с парадного крыльца: без права жительства, столования и прочее. Только участие в семинаре Слуцкого и Окуджавы. Только! Примчавшись из Москвы с утренней электричкой, я за четверть часа до начала первого обсуждения сидел в назначенном для занятий холле. Слуцкий, уже знакомый мне по фотографии, вошел с тяжелой папкой рукописей и, направившись прямо ко мне, спросил:

— Вы кто?

Я представился и пояснил, как сюда попал.

— Да-да... Я договорился. Все в порядке, — подтвердил появившийся в дверях Булат, дружески мне кивнув, и Борис Абрамович удовлетворенно сел на председательский стул.

Обычно и, как правило, вполне безуспешно мы пытаемся по стихам представить себе внешность поэта. Прослушав пленку песен Окуджавы, я был уверен, что безошибочно определю его в толпе. Не тут-то было. Не то что в толпе, а среди десятка поэтов на литературном вечере я не смог узнать его до тех пор, пока он не вышел к микрофонам. Слуцкий на вечерах выступал редко, пленок не записывал, но виденные прежде фотографии сыграли свою роль. Про себя я отметил только, что он старше Окуджавы не на пять лет календаря, а больше.

Первая попавшаяся мне когда-то в руки книга Слуцкого «Сегодня и вчера» так и поделилась для меня на безусловное «вчера» и спорное «сегодня». Сомнения зашевелились. Не слишком ли автор зависит от времени, от его «принципиальных установок»? Замечалась как бы некоторая раздвоенность между стремлением художника к особому мнению (и тогда это обжигало) и дисциплинированностью солдата партии, не имеющего на такое мнение практически никаких прав. Кроме того, сознательное опрошение поэтической речи, ее суховатость, чересчур последовательное сведение к обыкновенному разговору, а то и к тавтологии, чем дальше я читал, тем более воспринимались как некая преднамеренность. И уж если в своем максималистском задоре, а точнее, в поисках неведомой гармонии я мысленно покушался на неприкосновенность самого Пастернака за чрезмерную сгущенность его фонетики, метафорическую перенасыщенность, то со Слуцким дело обстояло значительно проще. Я почти убедил себя в том, что он выбрал слишком «легкий путь»: пускай точно, но прозаически точно, с дневниковой небрежностью описывать и публиковать все, что с ним происходит: как он следит за своим здоровьем, с кем гуляет, что читает на ночь, на каком боку ему не спится... А моя неискушенная читательская душа жаждала романтических одежд. Я любовался тем, как красиво, с какой нежностью обряжает Окуджаву свою романсовую музу, украшает бусами гитарных переборов; сколько в ней обаяния, изящества, тепла; как прихотлив ее нрав (в ту пору мы склонны были видеть «подтекст» за каждой строкой окуджавской лирики). Куда до нее музе Слуцкого! Она предпочитает серые тона, грубый ворс военной шинели. Она неуклюжа, прямолинейна, как турецкий марш, да и слоненок наступил ей на ухо изрядно... Тем не менее преимущество явной сценичности перед угадывавшимся, но скрытым от меня артистизмом оставалось вещь достаточно спорной. Я это чувствовал и потому не спешил переводить музу Слуцкого во вспомогательный разряд своих читательских пристрастий. Я слишком мало знал ее. Несколько раз она обожгла меня. А самое главное — за ней стоял человек, внушавший абсолютную веру в то, что он никогда не обманет. В его походке, в том, как он держал голову, были прямота и горделивость, несовместные ни с компромиссом, ни с маскировкой. Теперь мне представилась возможность убедиться в этом: в течение недели я видел и слышал его ежедневно.

Он вел семинар, как прирожденный педагог ведет класс; как до тонкостей понимающий свое дело лоцман направляет корабль, миная видимые препятствия и подводные камни. Ершистая команда ловила каждую его реплику. Как бы ни схлестывались мнения, слово Слуцкого было решающим и непререкаемым. Он возбуждал полемику, дирижировал ею — буквально поводя руками в воздухе, он же завершал ее. Безапелляционность железного комиссара, его стремление к духовному диктату могли вызвать, и вызывали внутренний протест; то обстоятельство, на *каких* людей делал он порой ставку, — настораживало, но «прозаизм»? «сухость»? «обыкновенность»? Ничего этого не было и в помине! Я видел перед собой великого книгочеля, умницу и остроумца, мгновенно отзывавшегося на любое живое слово. То он поворачивался влево и делался серьезным, то откидывался назад и уже шутил. Вместе с тем обсуждавшиеся стихи — часто неловкие — становились не мишенью для насмешек, а предметом внимательнейшего слушания, обстоятельного разбора. Когда Борис Абрамович бывал недоволен читаемым, он сердито сопел, нетерпеливо урчал. Казалось, что печатка с убийственным штемпелем «Невыносимо!» уже играет в его правой (как правило, правой) руке. Но «влеплял» приговор он нечасто, смягчал удар шуткой, внезапной параллелью, иногда как бы лестной... Если же стихи ему нравились, он краснел, оживленно ерзал на стуле, всем корпусом поворачивался к Булату Шалвовичу, чтобы убедиться: разделяет ли тот его радость? Окуджава обычно разделял, но внешне почти безучастно, лишь кивком головы. Казалось до некоторой степени странным, что поэт-златоуст, утешитель и упователь столь удивительно сдержан, тогда как поэт-лаконист, суровый солдат, лишенный каких бы то ни было иллюзий, так вдохновенно красноречив, распахнут, горяч! Да, это горячее дыхание живого, страстного, ироничного, отчаянно честного духа, не терпевшего никаких канонизаций, и было, пожалуй, главным впечатлением от соприкосновения с ним, а для меня и вообще главным событием того недолгого общения поэтов.

Не помню, как я читал, готовый к тому, что печатка Слуцкого может оттиснуть свой прожигающий след на любой из моих страниц. Окуджава тоже, видимо, переживал за меня, вышел из-за стола, стоял напротив, прислонившись к колонне, курил, едко шурясь от сигаретного дымка. Борис Абрамович вначале действительно поспеел, что не предвещало ничего хорошего, но потом его глаза повеселели, и он оживленно задвигался.



Пройдясь-таки печаткой по моим расхристанным рифмам, Слуцкий заметил, что поэзия, вообще говоря, не обязана быть доброй. Она может быть и холодной и жесткой — какой угодно! Но если она добра и это состояние для нее естественно, то что же... Можно только порадоваться и поздравить автора. В конце было предложено:

— Булат Шалвович, надо нам Алексея поддержать. Как вы думаете?

— Да, — отозвался Булат. — Что ж?.. Я не хочу петь ему дифирамбы, да это и не нужно... Поэт состоялся.

Книга «состоявшегося поэта» была рекомендована издательству «Современник» и всего через двенадцать лет благополучно вышла в «Советском писателе».

Тогда, в Софрине, я и не предполагал, что, оказывается, давно вместе со всеми вступил в так называемый «период застоя» и потому участь моя решена. Все очень просто и легко объяснимо: «застой», что означает: «стой-за» — за порогом издательства, за чертой литературы, за...

Пусть не так жестоко, но «за» оказалась и поэзия Бориса Слуцкого. Об этом я узнаю в 87-м, в год выхода своей книги. И прежде до меня доходили слухи, что чем больше Борис Абрамович пишет, тем меньше его печатают. Как говаривалось в подобных случаях: «товарищ шел вразрез». Как раздраженно добавлялось: «раскачивал ситуацию». Как признается теперь: готовил общественное сознание к необходимости перемен. Однако я не мог представить себе тогда всю мощь духовного подвига Бориса Слуцкого, ослепительность разрядов, масштабность грозы, разыгравшейся на его творческом небосклоне. Раскаты неопубликованного, гремящие ныне по страницам периодики, целые книги неизданного, звучащие на литературных вечерах, — эхо той недавней грозы.

Ближнее эхо.

Еще не искаженное бесконечными отражениями, не заблудившееся в хитроумном лабиринте ловко расставленных критических плоскостей, тушащих звук, смазывающих его индивидуальность, приноравливающих к некоему усредненному общему гулу.

Чистое эхо эпохи.

И если кому-то оно режет слух, то винить в этом следует не поэта, а время. Поэт же достоин нашей признательности за то, что так точно, не поступаясь ни единой нотой, заставил «благо-

звучное время» выявить всю глубину своей скрытой дисгармонии.

Слушает каждый, но не каждый слышит. Слишком могуч фон, забивающий подлинную мелодию жизни. Чересчур ревностно глушатся ее неуютные обертоны, непомерно усиливаются сомнительные контрмотивы. Не всем легко разобраться в этой «сложной акустике», отфильтровать шумы, прорваться к чистому человеческому голосу, к правде сердца, Вот почему слово поэта современникам представляется порой странным, если не преступным, а потомки восхищаются им, как сбывшимся пророчеством.

Я видел Слуцкого в грозу, в ту последнюю вспышку творческой свободы, когда он работал, не оглядываясь на то, удобен или неудобен он своему времени. И оно мстило ему. Для поэтов, которые особенно чутко вслушивались в биение пульса страны — слабеющее биение, путь к читателю становился все ограниченной.

А пока, осенью 75-го, еще надеющиеся на что-то «семинаристы» толпятся в парке вокруг двух своих наставников. Откуда-то появляется фотоаппарат. Кто-то хочет сниматься, кто-то делает вид, что ему это безразлично. Последние предзимние листья хрустят под ногами. Зима предстоит долгая, а такого не будет уже никогда! Булат поправляет ушанку, Борис Абрамович — шарф. Ушанка сидит еще аккуратней, шарф встает еще вздыбленней. Все смеются. Мгновение остановлено.

Воскресенье. Август. Солнце. Пустынные переулки у метро «Аэропорт». В одном из них появляется знакомая коренастая фигура. Некоторое время идем навстречу друг другу, молча улыбаясь... Хочется, чтобы это продлилось как можно дольше. Идем навстречу друг другу... Навстречу друг другу...

«Как дела? Где отпуск провели?» — «Плавал на яхте к Белому озеру» — «Ого! А как книга?» — «Зарубили». — «Кто?»

Называю. Два удара печаткой. И как бы ища, чем мне помочь, и сразу не находя, спрашивает: «Новые стихи есть?» — «Есть». — «Приходите на семинар. Обсудим».

Семинарская комната в клубе имени Горбунова переполнена. Протискиваюсь к низенькому журнальному столику, за которым, положив перед собой кулаки, готовый к бою, восседает Борис Абрамович. Он плотоядно улыбается, предвкушая грозу. Это его стихия. А я казню себя за то, что с такой легкостью взошел на эшафот, с которого не соступишь. По неопределенному гулу, нервному стуку стульев, репликам отдельных персонажей понимаю, что действующие лица «жаждут крови».

Давая мне возможность собраться с духом, Слуцкий начинает спрашивать о постороннем, пытается меня разговорить.

— Что делали в последнее время?

— Болел, — отвечаю односложно, как будто это и было самым важным из всего, что я делал.

— А чем лечились? — озабоченно интересуется Борис Абрамович.

— Очистками дышал картофельными, — выкладываю всю правду и добавив к ней мне уже нечего.

— Гм. Очистками?.. Ну, читайте.

После одного из стихотворений, затянутость которого автору, увы, не очевидна, Слуцкий в том же ритме и с той же замогильной интонацией беспощадно пародирует: «Вырыта заступом яма глубокая...»

И тут же итожит: «Для чуткого уха это невыносимо».

А потом, раскинув руки, обращается ко всем: «Смотрите, как Алексей вытягивает строку: на километр! Это потому, что у него нелады с рифмой. Он инстинктивно пытается отдалить ее приближение. Но перед смертью не надыхишься. Рифмовать-то все равно приходится...»

Это звучит, как сигнал.

Меня начинают методично рвать на части. И тогда тот же Слуцкий, заваривший всю эту кашу, встает за меня горой.

Он не пускается в рассуждения на тему «что делать, когда наших бьют?», а ввязывается в спор горячо и азартно. Причем не мелочится в поисках аргументов. Его не пугает вся несоразмерность его молниеносных сравнений. И когда кто-то бросает упрек, что все у меня выдуманно, но часто выдумка хороша, и ее не замечаешь, а иногда плоха, слышится голос Слуцкого: «А вы знаете, между прочим, Достоевского тоже упрекали в том, что он все выдумывает... Вообще должен сказать: за Алексея я спокоен. Но рифму надо уважать!»

Февраль в Прибалтике, когда после минус тридцати пяти минут двадцать — просто напоминание о Крыме... Но медные сосны взморья еще натянуты до звона, но море с прибрежными торами похоже на бескрайнюю зимнюю степь.

В заснеженном Буддури с белой-белой обложки своих исчерпанных земных сроков смотрит на меня Борис Слуцкий. Он устал. И взгляд его уже не столько непреклонен и горд, сколько глубок и словно обращен в себя.

Время долго морочило его единственной правильностью своих доводов, и он им верил. Но когда оно унижало его гордость, пыталось побить его совесть, он сопротивлялся, он восставал. Душа, задавленная нашей убогой философией смерти, гнилым материализмом последней ямы, смирившаяся с тем, что «на финишной линии ничего нету», потерявшая веру в свое бессмертие, оболганное и высмеянное временем, находила себя именно тогда, когда восставала против времени.

Унижали во сне. Сколько раз засыпал,  
столько раз просыпался  
от негодованья:

за меня  
в сновиденье  
не много давали.

Ну, я думал, дела!  
Ну, я думал, попал!  
Я бы этого не допустил наяву!  
И, униженный, я просыпался  
в надежде:

Ни за что!  
Никогда!  
Сколько ни проживу!  
Но, едва засыпал,  
унижали, как прежде.

Этот протест и был, может быть, попыткой вырваться из рамок унижительного времени, преодолеть его устои и уставы, стать независимым от них, равно прорываясь и в прошлое и в будущее.

С огромным трудом дается нам теперь понимание того, что мы только-только выходим, кажется, из поры политического язычества. Что невозможно более молиться идолам, курить им фимиам, приносить человеческие жертвы. Сможем ли мы войти в реку нового духовного крещения, снова влиться в ту единую общечеловеческую веру, которая связывает живых и ушедших, небо и землю, Русь и Элладу? Пути времени прочны и сами не разорвутся. Намертво вбитые в нас принципы по доброй воле не дадут сдвинуться с места, не возвратят нам утраченное чувство истории, понимание того, что ее тысячелетнее наследие едино, что бесконечно малый срок нашего земного бытия предложен нам именно для того, чтобы воссоединить ее распавшиеся звенья.

*«Гродское хозяйство Москвы», 1988, № 7.*

## ПОЭТ С РЫСЬИМИ ГЛАЗАМИ

О моем первом приходе к нему домой Борис Абрамович Слуцкий в предисловии к моей книге «Ветка горного кедра» почему-то пишет так: «Однажды ночью, в первом часу, в дверях нашей квартиры раздался звонок. Я открыл и увидел коренастого, крепкого черноволосого веселого молодого человека...».

Хорошо помню, что к Борису Абрамовичу пришел не «ночью, в первом часу», а утром. Было это 6 января 1967 года. Тогда я учился на последнем курсе Литературного института. День и год моей первой встречи с ним точно зафиксированы самим Борисом Абрамовичем. На подаренном мне в тот день сборнике своих стихов — «б.1.67 г.»

Прочитав его предисловие еще в рукописи, которую до сих пор храню, я подумал, что, представляя молодого провинциала, он специально написал шуточные строчки, которые меня очень тронули и до сих пор согревают душу: «В тайге очередей нет. Предварительная запись по телефону в снегах Горного Алтая не практикуется».

Оказалось, Борис Абрамович ошибся «не специально», что и подтвердил через несколько лет, подарив мне свою новую книгу стихов «Память» с надписью: «...на память о той ночи, когда он впервые пришел ко мне без звонка, но с замечательными стихами». <...>

Почему среди московских поэтов я выбрал именно его, Бориса Слуцкого, и заявился к нему, чтобы перевести мои стихи? Выбор пал на двух поэтов — на Леонида Мартынова и Бориса Слуцкого. Долго колебался, не решаясь показать ни тому и ни другому. Отважился поехать на дом к Борису Слуцкому. Ехал в метро и вспоминал одно из его стихотворений:

Работаю с неслыханной охотой  
Я только потому над переводами,  
Что переводы кажутся пехотой,  
Взрывающей валы между народами.

«Может быть, к этим перечисленным народам, — думал я, — добавится и малочисленный алтайский народ, с языка которого прославленный московский поэт переведет мои стихи». И все же, хотя и побаивался, и волновался, — нажал кнопку звонка. Дверь открыл сам Слуцкий, посмотрев на меня при этом удивленными рысьими глазами.

Вспомнились и другие строки, высказанные напрямиком, твердо и даже жестко:

Еще ноги его ходили,  
Еще мускулы были сильны  
И глаза, как у рыси, точны.

Мастер открыл дверь и спрашивает:

— Вы к кому?..

— К вам, — говорю, глядя прямо ему в глаза, — к вам, Борис Абрамович.

— Войдите, — сказал он, пропуская меня вперед, — снимите ботинки, наденьте вот эти башмаки, — точными и, как мне показалось, резко-сердитыми словами, указывая на растоптанные большие тапочки.

Комната оказалась небольшой, забитой до потолка книгами. На рабочем столе беспорядочно лежали какие-то бумаги и опять же книги.

— Ну, что там в вашей папке? — сразу же спросил поэт, садясь на стул, как только вошли в комнату.

— Принес вам показать свои стихи.

— А вы на каком языке пишете?.. На алтайском? Значит, ваш язык входит в тюркскую группу языков?

Услышав удовлетворительный ответ, Слуцкий тем же резким тоном спросил:

— Стихи принесли показать или хотите, чтобы я их перевел?

— Сперва посмотрите...

Он тут же прервал меня:

— Мне некогда смотреть. Я работаю. Нет времени.

Я не знал, как повести себя. «Может, встать и выйти», — подумалось. Видимо, мое состояние не ускользнуло от внимательных глаз Мастера, ибо не меняя тона, он сказал:

— Прочтите самое лучшее, что в вашей папке.

Я, наверно, подумал в этот миг: «Будь что будет» и, набравшись нахальства, брякнул:

— У меня нет лучших стихов и плохих тоже нет.

— Стало быть, все хороши? — усмехнулся он в свои короткие и жесткие усы.

Я молча открыл папку и протянул ему первые же листки бумаги со стихами-подстрочниками «Моя Родина». Он быстро взглянул на заголовки стихотворения, тут же заметил:

— Почти все национальные поэты стараются написать на эту ответственную тему, и у них, как правило, ничего дельного не выходит. Ударяются в голые декларации и громкие лозунги...

— А у меня получилось! — не без вызова буркнул я.

Его рысьи глаза быстро пробежали по бумаге. Стихотворение было большое. Заканчивалось такими строчками:

Моя родина — мой шаг  
От зимы до зимы.  
От весны до весны  
Моя родина —  
Мои стихи.  
Читайте!  
Вот они.

Борис Абрамович прочитал до конца. Поднял на меня глаза, спокойно и убедительно сказал:

— Да, у вас стихи о родине получились. Давайте-ка еще что-нибудь.

Я подал еще несколько страниц. Он так же быстро и молча прочел их, положил листы поверх первого стихотворения. Я же приготовил очередные. Короче, Борис Абрамович пробежал по строчкам почти все стихи, которые я принес и, наконец, спросил:

— А если я переведу ваши стихи, то кто же вам поможет их напечатать?

— Как кто?! — искренне удивился я. — Вы поможете их напечатать.

— Ну, ладно, — примирительно согласился он. — Оставьте их у меня. Позванивайте мне, но только в вечерние часы. С утра я работаю. Звоните после десяти часов вечера.

— У меня нет вашего телефона.

— Запишите. Есть у вас записная книжка? — И продиктовал номер своего телефона... — Когда вам ответят, то скажите, дайте 2-48. Таким путем вы попадете ко мне.

Затем встал, вытащил с книжной полочки свою тоненькую, ту самую молодогвардейскую книжечку в весенней зеленоватой

обложке и, поставив автограф, протянул мне. Я не растерялся, взамен подарил ему свою «Ветку горного кедра», в переводах Фоянкова и Елисеева.

— Значит, вы уже издаетесь на русском языке. Это хорошо. А сколько у вас вышло сборников на алтайском?

— Три. Есть и переводные книги. Я перевожу с русского на алтайский. Перевел рассказы для детей Константина Ушинского; «Ашик-Кериб» Лермонтова; «Мойдодыр» Корнея Чуковского; «Дядю Степу» Сергея Михалкова; «Джамилю» Чингиза Айтматова; сборник стихов Ивана Ерошина «Синяя юрта» и другие.

— А кто такой Иван Ерошин?

Я ответил, что был такой интересный русский поэт родом, как и Есенин, из Рязани, в двадцатые-тридцатые годы жил на Алтае, печатался в журнале «Сибирские огни» и что его стихами восхищался Ромен Роллан, писал ему письма...

Слуцкий поинтересовался, какие книги я читаю, кого больше всего люблю из современных поэтов. Среди перечисленных мной имен, он остановился на Леониде Мартынове.

— Значит, читаете Мартынова. Хороший и серьезный поэт. Трудный поэт, — добавил он. — А Николая Асеева читали?

— Читал. Но как-то стихи его не воспринимаю, — признался я, — очень книжный, что ли, поэт...

— А «Синие гусары» тоже книжные стихи?.. Нет, Асеев хороший поэт, вчитывайтесь и учитесь у него. Среди современных национальных поэтов кого читаете и любите? — продолжал допытываться, выясняя, видимо, мои интересы Слуцкий.

Я сказал, что люблю Кайсына Кулиева, Мустая Карима и...

— А такого поэта, как азербайджанец Расул Рза, читали? Хорошо, что любите его и читаете. Очень большой поэт. Я познакомлю вас с ним. И Давид Кугульдинов большой и мудрый поэт. Вы с ним знакомы?..

Узнал я и о том, что сам Борис Абрамович недавно был в нашем институте, что приглашал его поэт Николай Сидоренко на свой семинар и что ему молодые поэты читали свои стихи.

— Мне понравились, — сказал Борис Абрамович, — стихи Николая Рубцова. Вы знаете его?.. Дружите?.. Вот у него есть настоящие вещи. А Игоря Шкляревского знаете? Дайте, если он согласится, переводить ему свои стихи. Там есть еще Анатолий Передрев. Тоже пишет крепко и хорошо.



Провожая меня, он вдруг спросил:

— А где оригиналы ваших подстрочников?.. Срочно пришлите мне почтой. Я должен глядеть на оригиналы. Без оригиналов я не перевожу...

Я ушел от него и долго, почти два или даже три месяца не звонил. Почему-то боялся. Как-то поздно вечером решил все же позвонить. Услышав мой робкий голос, он, как показалось, обрадованно закричал:

— Это вы, Борис?.. что же вы за человек? То без звонка заявляетесь ко мне, то вас в Москве днем с огнем не найдешь?.. Где же вы пропадали все это время? Я почти всю вашу книгу перевел. Вас хотят печатать почти все московские журналы... Хотите, я вам прочту свои переводы?.. Вот послушайте. — И он начал читать своим четким, резким без надрыва и подвываний голосом.

Я помню, как радовался точности перевода. Мне показалось, что Слуцкий лишь отредактировал подстрочник, оставив слова мои, только найдя соответствующие инструменты и рифмы, как это сделано в оригинале.

— Хорошо, Борис Абрамович, — кричал я в телефонную трубку, когда он закончил читать.

— Завтра чем занимаетесь? — услышал я его вопрос. — Жду. Приезжайте утром часам к десяти. А на такси деньги есть?.. Приезжайте на такси. Мы сразу же поедem с вами в редакции журналов...

Я не знал, что Борис Абрамович, как он скажет потом, «перевел всю пачку» моих стихов. И не только перевел, но и звонил в разные редакции о своей «новой находке». <...>

Когда утром я к нему примчался, он в широко открытое окно (была уже весна), увидев меня, громко сказал:

— Скажите таксисту, чтобы он подождал нас.

Как только я вошел в квартиру, Борис Абрамович усадил меня за низкий журнальный столик и положил передо мной стопку бумаги с аккуратно перепечатанными стихами.

— Читайте... Если есть какие-то замечания, то не стесняйтесь. Скажите. Я их исправлю.

... Мы сели в ожидавшее нас такси и поехали. <...>

По просьбе Слуцкого, шофер тормозит машину прямо напротив дверей редакции журнала «Знамя».

Войдя в какую-то комнату, поздоровавшись за руку с сидящим за рабочим столом человеком, Борис Абрамович указал на меня:

— Вот перед вами Борис Укачинович Укачин, о котором я вам говорил, чьи стихи вы собираетесь напечатать в журнале.

Этим человеком оказался Василий Васильевич Катинов, в то время работавший ответственным секретарем «Знамени». Он встал во весь свой высокий рост и протянул мне руку:

— Вот какой вы есть. Хорошие стихи написали и хорошего переводчика нашли.<...> Скоро увидите подборку своих стихов в нашем журнале...

И действительно, очень скоро в шестом номере «Знамени» появилась большая подборка моих стихов под общей рубрикой «Моя родина».

В квартире Слуцкого по третьему Балтийскому переулку я бывал много раз. Помню как-то, подавая перепечатанные стихи, Борис Абрамович шепнул:

— Все ваши стихи перепечатывает моя жена, Татьяна Борисовна. Скажите ей спасибо. <...>.

Она не однажды сидела со мной и занимала разговорами, пока Борис Абрамович работал в своей комнате. Правда, я стеснялся ее. Она мне казалась очень молодой и красивой... Как-то Татьяна Борисовна завела разговор о Назыме Хикмете:

— Вы, как я заметила, даете Борису Абрамовичу на перевод стихи целыми подборками, — сказала она. — А вот Хикмет, бывало приносил ему даже по одному стихотворению и не давал покоя, часто позванивал, интересуясь, перевел ли он. Очень торопил и торопился сам срочно напечатать свежие переводы.

Появившийся Борис Абрамович поинтересовался, о ком у нас идет такой оживленный разговор.

— О Назыме?.. Назыма он знает неплохо, улыбнулся Слуцкий, а вот о таком поэте, как Велимир Хлебников вы слышали, читали его, Борис?

Спросил неожиданно. Я ответил, что слышал, но где взять его стихи: не издают ведь, кажется, этого поэта. Он молча вышел и через какое-то время принес довольно толстую книгу в темно-коричневой обложке.

— Вот тут есть два его стихотворения, и вообще в этом сборнике напечатаны очень хорошие вещи и очень хороших поэтов. Возьмите. <...>

Вообще, признаюсь, Борис Абрамович очень хотел, видимо, меня «образовать». Поэтому в каждый мой приход к нему,

обязательно дарил какую-нибудь книгу. Однажды, вручая роскошно изданный фолиант, заметил:

— Посмотрите, полистайте, такого издания, пожалуй, даже у москвичей, у самых заядлых собирателей книжной редкости не имеется.

Это был «Каталог выставки современного японского прикладного искусства».

Борис Абрамович, будучи очень строгим и обязательным человеком, в этот раз, мне кажется, явно слукавил, написав на титульном листе этой действительно редкостной книги: «...в знак нашей общей любви к японскому искусству. Борис Слуцкий. 13.8.1973».<...>

Об этом «Каталоге» я вспомнил еще раз в 1981 году, путешествуя по Японии. Если бы был жив и здоров Борис Абрамович Слуцкий, я бы ему непременно предложил «в знак нашей любви к японскому искусству» перевести свои новые стихи, привезенные из этой интересной поездки...

И после Литинститута наши встречи и общение со Слуцким продолжались долго, а в творческом смысле весьма плодотворно. Когда я приехал домой и работал у себя в Горном Алтае, то часто писал письма ему и получал ответы. Письма его были деловыми и рабочими. Он продолжал подсказывать и учить меня.

В одном из первых своих писем ко мне Борис Абрамович пишет: «Я получил из „Советского писателя“ подписанный директором и, следовательно, прошедший через все инстанции, договор на перевод Вашей книги 2100 строк. А у меня переведено примерно 1200 строк, из которых что-нибудь, может быть, и отсеется».

Срок сдачи — 5-го января. Поэтому, прошу Вас сверхсрочно вышлите мне 1000 или больше строк. Не откладывайте. Это дело первоочередной важности».

Далее он информировал: «В „Знамени“, № 9 три Ваших стихотворения. Видели ли Вы их?.. Недавно я получил письмо из „Сибирских огней“ с просьбой прислать Ваши стихи. Советую срочно направить им „Темит Темит“, „Грозу над далекой стоянкой“, „Старика Атраша“. Все это еще нигде не публиковалось. У меня нет экземпляров. Непереведенные подстрочники я посмотрю еще раз. Вот, кажется, все новости. Не медлите. Жму руку. Таня Вам кланяется. Ваш Борис Слуцкий».

Борис Абрамович в то время работал над переводами стихов для моей книги «Земля синего неба». Скажу, что выход любой пе-

реводной книги — дело далеко не простое. Даже, если над переводами работает такой опытный поэт, каким все знали Слуцкого. <...>

Я сейчас точно не помню, какие именно отправлял тогда стихи, но, конечно, ради спасения книги что-то делал, предлагал и в конечном счете в 1970 году вышла книга стихов «Земля синего неба», полностью переведенных Борисом Слуцким.

Тем временем наша с Борисом Абрамовичем переписка и переговоры по телефону велись постоянно.

В семидесятом получаю письмо от Слуцкого и узнаю, что в будущем году издательство «Детгиз» намеревается выпустить книгу моих баллад в его переводе. Он, оказывается, давно сам перепечатал и отнес в издательство очередную книгу моих стихов. И вот он сообщает мне: «... В 1971 году книга должна выйти в свет. Вам нужно срочно связаться с редактором Соломоновым, чтобы расшифровать некоторые алтайские слова, встречающиеся в Ваших стихах, напр., „Канкереди“...»

Книга баллад «Я жду улетевшего лебедя» вышла в 1971 году.

Однако, когда в одном из писем я попросил его переводить мою прозу, то он одной лишь фразой, ясно и конкретно, как поступал всегда, ответил: «Вашу прозу я переводить не буду». Но стихи все же переводить не отказывался. Более того, переводя, он их отправлял мне и по возможности помогал, чтобы они появлялись где-нибудь в Москве.

«Сегодня, 7.12.1975, — сообщил Борис Слуцкий, — были переданы по радио в „Поэтической тетради“ два Ваших стихотворения: „Сын учится говорить“ и „Весенней ночью“ в моих переводах».

Словом, он всячески поддерживал меня. Не давая мне лениться и бездельничать. А когда большой поэт постоянно поддерживает тебя и следит за твоей работой, стыдно транжирить и прожигать столь дорогое время. Я старался не подводить его. Между тем, он не оставлял меня без своего доброго и строгого внимания. «Я за последние дни перевел три Ваших стихотворения: „Люди и время“, „Мне нравится день такой...“ и „Каярлык, Каярлык...“: Переведу и остальные из последней пачки, но если у Вас есть что-нибудь новое — присылайте. Когда накопится несколько переводов, я вышлю вам, чтобы Вы смогли опубликовать их и на Алтае. В „Знамя“ я скоро отнесу подборку сам — там очень просят и каждый год объявляют Ваше имя среди своих авторов».

У Слуцкого я многому научился. Например, документальной точности и зримости в описании портретов конкретных людей и

событий. В его стихотворении так и видишь, как «последнюю усталостью устав, предсмертным умиранием охвачен, большие руки вяло распластав, лежит солдат».

Читая книги Слуцкого, не найдешь, скажем, стихов о женской красоте и любви.

Нет у него почти и стихов о природе. Да он и сам признавался, что «пейзажи солдат заслонил». Но зато как он, повторюсь, умел рисовать портреты и характеры людей.

Описывая в некоторых своих скромных стихах портреты земляков-алтайцев, я старался учиться у Бориса Абрамовича.

Не в первый день встречи, а гораздо позже Борис Абрамович вдруг мне заявил:

— Вы не первый алтаец, с которым я встречаюсь.

Я, не понимая, о чем дальше пойдет разговор, недоуменно посмотрел на него, ибо никогда и ни разу не интересовался встречался ли он, кроме меня, с кем-либо из алтайцев.

— С первым алтайцем я встречался на войне, — продолжил Борис Абрамович. — Это был алтаец, чудом сбежавший из немецкого плена. Буквально с его слов я в свою рабочую тетрадь записал все будущее стихотворение «Кельнская яма».

Я, конечно читал это его одно из самых горьких и страшных стихотворений. Только не знал, что тему его подсказал поэту, в то время замполиту, офицеру действующей армии, алтаец, земляк и брат. Потом я это стихотворение читал еще и еще раз, поражаясь фактографической точности и опять же суховатой резкости слов и фраз этого произведения.

Стихотворение это широко известно. Поэтому я цитировать его не буду. Но все же скажу, что оно, на мой взгляд, одно из самых трагических стихотворений, созданных в годы войны и о войне, кроме, может быть, единственного и великого «Я убит подо Ржевом» Александра Трифоновича Твардовского.

Когда Слуцкий говорил мне о своей первой встрече с алтайцем-солдатом и в связи с этим упомянул о создании стихотворения «Кельнская яма», рядом с нами других свидетелей не было. Мы сидели только вдвоем в его рабочей комнате. Потом все последующие годы я искал удобного случая, чтобы автор повторил и подтвердил этот для меня немаловажный факт при свидетелях. Такое, к моей радости, случилось на встрече Бориса Абрамовича со студентами-алтайцами, которые учились в Москве. Встреча такая состоялась в зале общежития Литературного института.

По моей просьбе, сидящий рядом со мной Бронтой Бедюров, задал поэту вопрос:

— Расскажите, пожалуйста, Борис Абрамович, о том, как и при каких обстоятельствах писалось ваше стихотворение «Кельнская яма»?

Слуцкий, вероятно, понял, почему ему задают этот вопрос и тут же полностью подтвердил то, что когда-то говорил мне в своем доме. <...>

Одна из последних встреч с Борисом Абрамовичем Слуцким у меня состоялась в мае 1974 года в Крыму, в Коктебеле, в тамошнем Доме творчества писателей. В это же время там оказались Борис Абрамович и Татьяна Борисовна Слуцкие.

В первый же день, увидев меня в столовой. Слуцкий сказал:

— Если будете писать стихи, то могу перевести прямо здесь в Коктебеле. Будете работать или отдыхать?

Я работал ежедневно. Стихи шли ко мне, как хорошие рыбы к удачливому рыбаку. Но я не давал Слуцкому подстрочники. Невозможно было делать подстрочные переводы... Спешил писать, пока писалось.

Среди встреч и разговоров более всего запомнился один из коктебельских вечеров. Мы вдвоем шли по берегу моря. Хотя я и до этого в разные дни и в разных обстоятельствах немало общался, но в этот вечер впервые открыл для себя, что Слуцкий не такой уж строгий, оказывается, и весьма разговорчивый человек. <...>

Я попросил его рассказать поподробнее о Назыме Хикмете, как о человеке и поэте: каким он был в жизни, что больше всего интересовало его и как они нашли друг друга. Он не отказался...

— Назым сам захотел со мной познакомиться. Когда он находился где-то на юге, какие-то физики, встретившись с ним, начали читать ему мои стихи... Назым заинтересовался, что это за поэт, стихи которого наизусть знают физики?.. Прибыв в Москву, заговорил об этом Ильей Григорьевичем Эренбургом. А Эренбург в то время хорошо знал меня и мои стихи. Пригласил к себе домой, а у него находился Назым, где мы и познакомились... С того дня я стал переводить его стихи... Жаль, что Хикмет большую часть своего времени тратил по государственным делам, политической работе и руководству. А для поэзии оставлял вот столько, — Борис Абрамович приблизил свои ладони и между ними образовался узенький коридорчик. — Где-то примерно с вершок. Он сильно переживал, когда критиковали его пьесу «А был ли Иван Иванович?».

«Я с первой полосы „Правды“ перешел на четвертую полосу», — как-то пожаловался... Но тем не менее очень любил Россию и русскую жизнь... Был жаден до женщин.

Признаюсь, до этого коктейбельского вечера подобных рассказов и разговоров Слуцкий при мне никогда не допускал. Но в этот раз разговорился. Понятно, что для меня, провинциала, многое из того, что говорил он, было и неожиданным, и интересным, и удивительным.

В тот же вечер Слуцкий вспоминал и об Ярославе Смелякове. Говорил, что Ярослав Васильевич очень большой поэт, но сердитый и резкий человек. Трудно с ним разговаривать... В связи с творчеством Э. Межелайтиса довольно долго и со знанием дела говорил о современной поэзии народов Прибалтики.

— Межелайтис интересный человек и поэт. Я с ним дружил и переводил его. Теперь не перевожу. — И вдруг удивил меня. — А вот вас буду переводить. Во всяком случае, вы мне пока не надоели...

— Спасибо, Борис Абрамович, — невольно вырвалось у меня. — Но вы, мне кажется, преувеличиваете возможности моих скромных стихов...

— Что в голове, о том и говорю. Да, — на миг приостановился Слуцкий, — тут находится поэт, секретарь правления Союза писателей РСФСР Сергей Орлов. Ваш прямой начальник. Я познакомлю вас с ним. Я ему говорил о вас. Он сказал, что знает и читал...

В это время мы проходили мимо дома Максимилиана Волошина. Слуцкий подбородком кивнул в сторону этого дома и сказал:

— Как-нибудь мы с вами туда зайдём. Вдову Волошина увидите, посмотрите библиотеку. Очень богатая библиотека... А Бабеля, книгу которого я вам дал, читаете?..

— Читайте.

— Ну, и как находите? Нравится?

— Да, — сказал я. — Он, мне кажется, похож на раннего Гюголя. В его вещах реальная жизнь и сказка перемешаны.

— Это вы заметили верно. Но я сколько бы раз ни читал Бабеля, он столько же раз интересен мне. Люблю его перечитывать.

В тот вечер мы говорили о многих писателях, затрагивая различные темы. Но меня не покидало ощущение, что я иду хотя и рядом со Слуцким, но почти не похожим на прежнего. <...>

Борис Абрамович тяжело переживал смерть жены. Через какое-то время тяжело заболел и сам. Общие наши знакомые и

друзья говорили мне, что видеть никого не хочет — ушла, исчезла жажда жизни. Затем он уехал к брату и очень редко появлялся в Москве. За годы его болезни, сколько бы я ни пытался, но ни разу больше нам с Борисом Абрамовичем встретиться не удалось. И все же он однажды дал мне знать о себе, прислав почтовую открытку, в которой были, в частности, и горькие для меня строки.

«В эту зиму много болел. Пришлось отложить все дела. Новых обязательств я пока брать не могу — в том числе и по Вашей книге. Поклон Вашей семье...»

Среди поэтов, посвятивших Борису Абрамовичу когда-либо стихи, значится и мое имя. И оно, это стихотворение, связано со стихотворением «Лошади в океане». Когда мое стихотворение Илья Фоянков перевел на русский язык, я его принес и показал Слуцкому. Он тут же быстро его прочитал, на миг бросил на меня *по-слуцки* точный, «снайперский взгляд» своих рысьих глаз и сказал:

— Можете огнести в печать. Получилось...

После эти стихи не однажды переиздавались в моих различных сборниках с посвящением Б. А. Слуцкому, человеку и поэту с которым мне посчастливилось не только встречаться, но и у которого многому научиться за годы творческого содружества.

*Из книги: Б. Укачин. На мой взгляд.  
Барнаул, 1996.*



## ТОВАРИЩЕСКИЙ СУД. УРОКИ БОРИСА СЛУЦКОГО

...В 1972 году, встретив пишущего стихи приятеля, без особых планов на грядущий вечер, я был стремительно завлечен в пустую от учеников школу напротив филиала МХАТ, где базировалась некая литстудия. Приятель занимался в семинаре «имени Евтушенко», как он шутливо называл его, объяснив по дороге, что эгида популярного поэта чисто символическая, по причине многочисленных заграничных поездок Евгения Александровича, но это не суть — занятия идут полным ходом, проводят их известные писатели, обстановка почти камерная, а одно это уже здорово.

На последнем (летнем) занятии студия распускалась на каникулы. В сентябре я уверенно пришел на сбор семинара «имени Евтушенко»...

Перед началом быстро узнали, что нас ожидает: Евтушенко снова уехал, вместо него придет Слуцкий, и пока мы караулили у входа, он уже давно поджидал нас в маленькой комнатенке, монументально восседая за столом, затянутым зеленым сукном. Выдержав паузу, пока мы рассядемся и вдоволь нахохочемся по адресу украшавшей нашу дверь таблички «Товарищеский суд», Слуцкий устало сказал, устремив взгляд светлых глаз поверх наших голов:

— Евгений Александрович попросил меня вести занятия в этом семинаре. Я согласился при условии, что буду заниматься два года, а не год, как хочет руководство, — мы ведь встретились с вами только сейчас, потому для знакомства нам потребуется больше времени. И этого списка, — он похлопал по листу бумаги перед собой, — мы, думаю, придерживаться не станем, сперва запишем всех, кто пришел на семинар сегодня, потом еще будут подходить люди. Отказывать не будем никому, пусть ходят все, кто захочет. Меня зовут Борис Абрамович, а с вами мы познакомимся по ходу дела. Будем работать так, чтобы оправдать назначение этой комнаты, — пусть наши отношения станут действительно товарищескими, без права суда, но с правом труда.

Так в нашу жизнь вошел Слуцкий... Не помню случая, чтобы Слуцкий пропустил хоть одно занятие; до своей трагической болезни, выбившей его из колеи окончательно, он занимался нами как только мог.

Наш семинар, случалось, разбухал до сорока-пятидесяти человек, но к зиме нас становилось около двух десятков — новички, за нечастым исключением, долго не задерживались. Может быть, из-за характера Слуцкого, о котором многие говорили как о тяжелом. Впервые пришедших прослушав раз «по кругу» и получив достаточное об уровне каждого, Слуцкий неизменно предупреждал:

— Вам, конечно, не терпится поскорее обсудиться. Должен сразу огорчить: у нас это право надо заслужить. Походите годик, почувствуйте в разговорах о стихах, там видно будет.

И, глядишь, после такой перспективы семинар быстро худел до прежних размеров. Из тех, кто «походил годик», а потом оказался в постоянном составе семинара Слуцкого на несколько лет, многие сегодня, кто ярче, кто скромнее, профессионально работают в литературе.

Семинарские занятия строились в общем-то традиционно. Очередной обсуждающийся заранее приносил рукопись, размноженную в достаточном количестве экземпляров: руководителю, двум обязательным основным оппонентам, а остальным семинаристам — по возможности. (Слуцкий настойчиво напоминал о необходимости читать стихи глазами, не доверять впечатлению на слух.) Перед началом читки каждый рассказывал о себе, что считал нужным, но Борис Абрамович всегда просил уточнить: давно ли пишете, что читаете, кого из поэтов любите, а кого не признаете (подразумевал, понятно, крупные величины). От выступающих по стихам требовал аргументированности каждого слова, оценок и суждений типа «не понял», «не понравилось», «это плохо» не признавал. Сам обычно говорил последним, подводя черту под всем высказанным, не столько выражая свое мнение, сколько суммируя общее, но, случалось, шел вразрез с оценкой большинства. По ходу читки мог сделать замечание в паузе между стихами, словно боясь забыть после то, что его задело.

Разбирая стихи, говорил и обобщающе, но прежде пробовал каждую строку «на мускулистость», осуждая «поэтический жижок» — проходные и случайные слова, нужные лишь для заполнения строки. И особенно ценил образную точность:

— Освоить метафоричность в общем-то не так и трудно: сравнить одно с другим, да еще по принципу парадоксальности, несложно. Подлинного поэта всегда выдает эпитет. Возьмите, к примеру, Смелякова. У него есть и проходные стихи, но нет ни одного, в котором бы не блеснул великолепный эпитет, И он может даже оправдать все стихотворение.

Слуцкий учил «прозванивать» каждое слово на чистоту звучания, быть бережным к поэтическим деталям.

— Вот у вас в стихотворении все сказано очень точно, — говорил он Виктору Гюфману. — Но в одном случае вы явно обдернулись: «Еще взойдут, еще засветят, // Как две несхожие звезды, // Глаза египетские эти — // В сплошном предчувствии беды». Я догадываюсь о ком вы пишете, — о Татьяне Ребровой. И определение «египетские» к ее глазам вполне подходят, а вот почему «как две несхожие звезды»? У Ребровой глаза абсолютно одинаковые, здесь вы перестарались..

Часто Слуцкий начинал разговор издали:

— Представим, что я, гуляя по лесу, нашел на пеньке тетрадку стихов. Автора, понятно, в глаза не видел — передо мной лишь его внутренний мир, по которому и попытаюсь сложить впечатление об этом человеке. Что я могу сказать по стихам? Определить пол и возраст их написавшего, ночные это стихи или дневные, точнее — утренние... У Пастернака большинство — ночные, на них лежит отпечаток бессонницы. А вот Ахматова почти вся — утренняя...

И начинал разматывать неторопливую нить сложных ассоциаций, вроде бы абстрактных, а на деле подводя нас к разговору о поэте, чьи стихи обсуждались.

Главные уроки, преподанные нам Борисом Абрамовичем, были не только литературными. Он учил нас терпимости по отношению к чужому мнению, такту в обращении друг с другом, уважению к товарищам по литературному цеху — ведь редко какой семинар проходил спокойно: наши поэтические вкусы и симпатии были крайне различны, и несовпадение оценок и суждений часто выплескивалось яростными спорами. Доходило до того, что Слуцкий начинал постукивать по столу ладонью, хоть как-то пытаясь сдерживать не в меру злоязыкого оратора, а потом вынужден был разбирать не столько стихи обсуждаемого автора, сколько неправоту его оппонентов.

На первом же занятии, в день нашего знакомства, Борис Абрамович предложил в конце каждой встречи, если останется время,

говорить на самые различные темы: о новых фильмах, спектаклях, книгах (кроме ТВ — «Я являюсь счастливым необладателем телевизора»), кто что видел, слышал, читал; предложил задавать ему самые разные вопросы, но с одним условием: наше любопытство не должно касаться его, Слуцкого, — ни жизни, ни стихов. И это стало едва ли не самой интересной частью наших еженедельных встреч.

Слуцкий был энциклопедически образован, его начитанность казалась феноменальной, как и память, необычайно ясная и подробная. Не припомню случая, чтобы хоть на один вопрос ответил «Не знаю». А спрашивали его о чем только могли.

В минуты, когда Борис Абрамович, обдумывая ответ, сосредоточенно молчал, он виделся мне универсальной ЭВМ — пожужжит, пожужжит и выдаст необходимую информацию, изложенную столь экономно и точно, будто она записана на некоем «блоке памяти». И всегда при этом оставался невозмутимым, какой бы вопрос ни был задан — серьезный или достаточно анекдотичный, вроде «Кто такой Александр Аронов?»

Впору бы рассмеяться, но Слуцкий никогда не улыбался — слышно «пожужжав», ответил через минуту: «Сотрудник редакции молодежной газеты „Московский комсомолец“: Очень талантливый поэт. Авторской книги не имеет».

Если намеченное заранее обсуждение почему-либо срывалось (нечасто, но бывало и так), Слуцкий тут же находил интересную замену. Например, однажды предложил — по кругу, каждый, как стихи читаем — назвать по одному новому слову, как зацепилось в памяти (из литературы или просторечия) за последние десять лет.

И началось: Эскалация. Синтезатор. Фарцовка...

После каждого слова всем предлагалось подумать: как оно возникло, из какого источника, а также предположить, приживется ли оно, станет ли общеупотребляемым.

Выдал Слуцкий и причину, побудившую к этому разговору — только что вышла книга «Новые слова и значения», которую он очень хвалил, всем советуя приобрести:

— Хорошо, что в словаре отмечено, кто первым использовал в печати то или иное слово. Тут и Боков, и Евтушенко, и Вознесенский... Поэт, как и всякий пишущий вообще, должен постоянно пополнять свой словарь, освежать его, избавлять от пыльных слов. У нас в семинаре нет никого, кто занимался бы словоизобретательством. Это столь же трудно, сколь малоперспективно. Маяковский,

к примеру, придумывал множество новых слов; Хлебников, которому этот эксперимент тоже был не чужд, сумел оставить прекрасное слово «летчик». А вот Северянин, вовсе перед собой подобных задач не ставивший, произвел от слова «бездарность» существительное «бездарь», но сам его употреблял с ударением на последнем слоге... И «эскалация» — прекрасное слово: есть в нем движение, непрерывность потока. А вот «эскалация агрессии» — уже штамп, ничего тут не поделаешь...

Слуцкого интересовал и круг нашего чтения. Он то и дело спрашивал, что интересного отметили из книг, какие из них, мы думаем, не для разового чтения. Сетовал на книжный бум, мешающий приобретению литературы, которая действительно необходима,

— Поднимите руку, кто смог купить Мандельштама в «Библиотеке поэта»! — обводил взглядом аудиторию, считая вслух: — Один, два... Мало. А три романа Булгакова?.. Не густо. Попробую поговорить в «Лавке писателя» с Кирой Викторовной, надо ведь как-то выходить из положения.

И на следующий раз не забывал извиниться:

— Не взывайте, братцы. И там по списку, двести штук на всю московскую братию.

Однажды встретил Бориса Абрамовича у Дома книги на Калининском — оба мы выходили из разных дверей навстречу друг другу из магазина. Слуцкий деловито осведомился о приобретениях, взвесив взглядом пачечку в моей руке (сам он держал под мышкой две одинаковые книги).

— А «Алхимию слова» Парандовского почему не купили? Не заметили или просто не взяли.

Я промямлил что-то неопределенное: подержал в руках, раскрыл наугад два-три раза и отложил обратно — показалась полной чепуховиной.

— Вы не правы, это далеко не чепуха. Парандовский очень хорошо пишет о лаборатории творчества, языке, стиле. А влияние на писателя кофе, чая, табака — просто интересно. Короче, вот вам мой подарок, — протянул книгу. — Взял две, вот и пригодилось.

Отношение Слуцкого к нашим публикациям было своеобразным. Сам выпустив первый сборник стихов около сорока, он, похоже, оставался приверженцем тезы «чем продолжительней молчание, тем удивительнее речь», ставил в пример несуетную музу И. Анненского, оказавшего огромное влияние на Ахматову, Цветаеву, Ходасевича, Набокова... И сам в стихах высказывался на этот

счет ясно и недвусмысленно: «Двадцатилетним можно говорить: зайдите через год». На семинарах это тоже подтверждалось.

— Сколько вам лет? — спрашивал у семинаристки, чьи стихи оценивал очень высоко.

— Борис Абрамович, что за вопросы женщине?

— В поэзии женщин нет. Поэтесса — это морковный кофе, а слово «поэт» существует только в мужском роде. И вы — поэт, мы в этом убедились, так что извольте отвечать.

— Тридцать пять.

— Да, это уже зрелость. Пора делать книгу.

«Пора делать книгу», насколько мог заметить, — единственная формула, признаваемая Слуцким. Эту фразу он повторил и Алексею Королеву — физику, зрелому человеку, чьи стихи, после их одобрения на семинаре рекомендовал в альманахах «День поэзии», а потом многое сделал, чтобы Королев до выхода книги, по рукописи, был принят в Союз писателей.

Случалось, когда коридорные разговоры о том, что печататься очень непросто, достигали его слуха, Слуцкий отчитывал нас:

— Почти все вы, сидящие в этой комнате, люди талантливые. Все пишете хорошо и вполне профессионально. А в том, что почти никто из вас не печатается, вините нерадивость редакторов или свою собственную. Учиться хорошо писать — мало, надо учиться заставить себя читать.

Среди немногих способов заставить редактора быть более благосклонно расположенным к твоей рукописи, как неискоренимо полагают молодые, самый надежный и верный — обзавестись письменной рекомендацией мастера. Однако не могу даже вообразить, чтобы кто-нибудь из наших семинаристов хоть заикнулся Слуцкому о «врезе» или протекции — сама атмосфера нашего общения исключала какие бы то ни было практические вождения. Впрочем, правила (даже неписанные) скучны — интересны лишь исключения. Как-то раз сотрудник «Комсомолки» Г. Жаворонков привел на семинар робкого долговязого юношу — пишущего стихи студента из Ижевска. Борис Абрамович согласился обсудить дебютанта без особого энтузиазма (не любил ломать запланированные занятия), во время читки был хмур и неприветлив, но после того, как все семинаристы, будто сговорясь, сошлись во мнении: это поэт, — лишь руками развел: «Ну, раз вы все так считаете...почитаю дома, глазами». И через неделю, 15 февраля 1975 года, в «Комсомольской правде» вышла первая большая

подборка стихов Олега Хлебникова с щедрым вступительным словом Слуцкого.

Не сомневаюсь, что мнение Слуцкого было непоколебимо. Как не сомневаюсь и в том, что в нашем случае оценка семинара «сра-ботала» на это мнение решающе.

Сегодня, спустя десятилетие с гаком, уже не вспомнишь точно многое из тех давних разговоров, но осталась главная память — память сердца, самая верная и навсегда, как ощущение праздника.

У памяти сердца нет временной протяженности, все в ней — сейчас, как незабываемый давний вечер — яркий, в закатном солнце, затопившем улицу Герцена; у входа в Центральный дом литераторов роится взволнованный люд, собираясь на Пушкинский вечер поэзии (начало июня); Слуцкий подходит с женой Таней — высокой, под стать ему, милой, необыкновенно женственной, улыбка; ты тоже тут, рядом — юный, восторженный, от избытка энергии трещишь по швам; тебя замечает Мастер: шагает навстречу, сжимает левой рукой твое запястье и широкоим жестом, сплеча вкладывает правую в твою ладонь (он — в настроении)...

Не знаю, сохранилась ли хоть одна фотография, на которой бы Слуцкий улыбался. Сам не видел, как не читал ни одного стихотворения Слуцкого о любви.

Не берусь говорить за других, но сам далеко не сразу научился (а может, и вовсе не научился) чувствовать настроение Слуцкого, даже скорее не чувствовать — угадывать по каким-то мельчайшим изменениям его лица, вечно невозмутимого, если не сурового. Он всегда сохранял дистанцию, понятную в отношении с учениками, никогда (почти никогда) ничего не говорил о себе. О чем-то мы узнавали из его стихов («Самый старый долг плачу: с ложки мать кормлю в больнице»), о многом и не подозревали, нередко недоумевая, когда попадали не под настроение, что в последний год нашего общения случалось чаще и чаще. И хотя мы уже знали, что Слуцкий тяжело болен — сознание его расстроено, поверить в необратимость этого было невозможно.

Скоро, весной 77-го года, наши занятия со Слуцким прекратились вовсе. Студия набрала новых слушателей, пришел новый руководитель, но для нашего «первого набора» она лишилась чего-то очень важного. Собственно, мы выросли из нее гораздо раньше, но силу притяжения семинар потерял только с уходом Бориса Абрамовича.

...В стылый декабрьский вечер Слуцкий пришел на семинар с большим опозданием и не извинился, как бывало, не поздоровался, грузно осел на стуле, положил ладонями вниз красные руки и, раздраженно похлопывая по сукну, оглядел нас словно в недоумении.

— Сегодня мы похоронили Семена Кирсанова. Он был по-своему большим поэтом, и я прошу почтить его память вставанием. — И первым поднялся из-за стола. А когда мы сели, продолжил, ни на кого не глядя: — Вы можете любить или не любить поэта, но не уважать не имеете права. И мне сегодня больно и обидно, когда никого из вас не видел на кладбище... Две недели назад я и на похоронах Смелякова никого из семинара не встретил, а это уже странно: Семченко и Гюфман стихи о нем написать не преминули...

И начал рассказывать о Кирсанове — о его юности, выпестованной Маяковским, его непревзойденном версификаторском мастерстве «холодного сапожника», родившем оригинальную книгу за четверых никогда не живших поэтов, а в годы войны — «Заветное слово Фомы Смыслова», о блестящей лубочной стилизации про Макса-Емельяна... И закончил свой великолепный рассказ о покойном поэте, вернувшись к тому, с чего начался разговор:

— Понимаю, все вы взрослые и чрезвычайно занятые, обремененные службой, а кто и семьями, но... давайте договоримся, что будем все-таки учиться выкраивать время и приходиться на похороны друг к другу...

Я вспомню эти слова в солнечный февральский день, когда буду стоять стиснутый в онемевшей от горя толпе, вглядываясь в отрешенное от земных забот лицо Слуцкого. Много друзей пришло проститься с поэтом (он знал это — любил повторять стихи Межирова «Есть товарищ и у меня»), почти всех мы узнавали. И мы тоже пришли — те, кто научился. И все собравшиеся в зале прощания кунцевской дальней клиники — и друзья, и недруги Слуцкого — отдавали отчет: кого не стало и что он оставил нам.

А город был расцвечен флагами — праздновался День Советской Армии.

Десять с лишним лет назад в этот день, придя на семинар, он нашел на зеленом сукне букет алых роз. Неторопливо перечитал поздравительную открытку, сдержанно поблагодарил за внимание, сдвинул цветы на край стола, но то и дело возвращался к ним, поглаживая ладонью хрустящий целофан. И еще сильнее просветлели глаза Слуцкого, когда взгляд его скользнул — поверх нас,



раздвинув скучные стены, — но в прошлое. Он стал рассказывать об ИФЛИИ и ифлийцах, о юности Самойлова, Когана, о литинститутском курсе Луговского, почти полностью выбитом войной, о Кульчицком и как сам едва не погиб в Югославии...

Может наш полуподвал и запал в память столь ярко благодаря этому вечеру воспоминаний? Или другому — трагикомическому эпизоду. Мы уже приготовились к обсуждению, как в комнату, неуверенно постучавшись, просочился старательно одетый человек и, шмыгая сизым носом алкоголика, без вступления принялся рассказывать историю своей жизни и как от него ушла жена... Рассказ был столь жуток по искренности, что оборвать его не виделось никакой возможности, пока Слуцкий не спросил человека, чем же мы можем ему помочь. Человек признался, что уже помог ли — выслушали, и потребовал, чтобы мы рассудили его жизнь.

— Вы, видимо, не совсем по адресу, — огорошил его Слуцкий, — у нас тут поэтическая студия, мы стихи читаем.

— Да? — не поверил тот. — А на двери написано «Товарищеский суд». И я сразу вижу — вы судья, у вас лицо такое...

— Кажется я сам сейчас поверю, что я не я, а Борис Абрамович Годунов, председатель жилтоварищества, — буркнул Слуцкий, вспомнив фразу из записных записок Ильфа.

И когда Егор Самченко, врач-психиатр, кое-как выдворил гостя, Слуцкий начал занятие.

— Ну, посмеялись — и довольно. Не будем отвлекаться и продолжим наш товарищеский суд. Кто у нас сегодня на очереди?..

Сегодня мой черед вспоминать то недавнее время. Странное чувство: лишь десять лет прошло с последних наших занятий, а ты уже пишешь воспоминания. Борис Абрамович Слуцкий снова рядом. Недавно вышел номер журнала «Дружба народов» с его прежде неизвестными (читай — новыми) стихами. Он никогда не датировал своих строк, но снова и снова покажется, что сам ты знаешь, когда они были написаны: перечитывая стихи из подборки, вдруг споткнешься о строки, наполненные для тебя особым смыслом:

Я судил людей и знаю точно,  
что судить людей совсем не сложно —  
только погода бывает тошно,  
если вспомнишь как-нибудь оплошно...

*«Литературная Россия», 1987, 2 октября.*

## ДРУГ, С КОТОРЫМ МЫ НЕДОСПОРИЛИ

Не могу сказать, что Борис Слуцкий был театралом. Когда мы познакомились (произошло это ровно сорок лет назад), к театру он относился прохладно, бывал в театрах редко. Все же помню его в фойе МХАТ, в антракте. Шла пьеса Георгия Березко «Мужество», Н. Боголюбов играл генерала Муравьева умно, сильно. Борис промолвил:

— Да, наверное, он хорошо играет. Только я на какой-то другой войне побывал и таких генералов что-то не видывал.

Стихи Слуцкого тогда еще не печатались, и он охотно читал друзьям свои сочинения. Но их вызывающая простота, их шершавая угловатость приводили нас в оторопь.

Когда он отрывисто, сухо декламировал: «Имею рану и справку, //Палоны на три обеда, //Мешок, а в мешке литровку...» или «Ордена теперь никто не носит, // Планки носят только дураки, // Носят так, как будто что-то просят...» — мне казалось, что все это чересчур прямо, «в лоб» сказано. Слишком наивно, не для печати. Что-то вроде домашней самодеятельности. Рад бы, но нет, не могу похвалиться, будто сразу понял, что судьба свела меня с большим поэтом. Удачливый, бойкий рецензент, который печатался вовсю (вспоминать стыдно, перечесть страшно!), я тогда относился к Борису чуть покровительственно: хороший парень, свой брат фронтовик, досадно только, что неудачник. Иные его строки волновали, западали в душу, поражали подобной выстрелу меткостью формулы («Но все остается — как было, как было — каша с вами, а души с нами»). И все же отделаться от ощущения, что эти стихи какие-то «не такие», не настоящие, мы (говорю не только о себе, но и обо всех наших тогдашних общих приятелях и приятельницах) не могли. Уж очень они были не похожи ни на те «настоящие», которые публиковались, но душу *не* затрагивали, ни на те, которые мы любили — блоковские, есенинские, ахматовские.

А Слуцкий был упрям. Он знай писал свое, невозможное для печати, знай читал нам саднящие стихи и требовательно спрашивал: «Ну как?»

И редкие похвалы, и нередкие претензии выслушивал очень внимательно, с каменным лицом. Однажды кто-то из нас откровенно сказал: «Грубовато...» Он твердо возразил: «Так и надо».

В нашей компании говорили всё больше о театре. Слуцкий иногда, как бы нехотя, вмешивался в эти разговоры. (Вообще он был тогда молчалив.) Мы возмущались Софроновым, восхищались Арбузовым, особенно пьесой «Юды странствий». Слуцкий по этому поводу изрек: «Придумано мило. Но насквозь придумано».

Как я понял, в детстве и в ранней юности, до войны, он очень даже любил театр. Упомянул о Курбасе — я тогда имени этого не слыхивал. Упомянул о Мейерхольде. Если не ошибаюсь, в Харькове в начале тридцатых, мальчишкой, он бывал на гастролях ГОСТИМа. Но мы-то не особенно прислушивались к тому, что он говорил о театре. Мы были профессионалы, как-никак все закончили ГИТИС, а он?

Кто он такой, мы узнали 28 июля 1956 г., когда в «Литературной газете» была напечатана статья Ильи Эренбурга «О стихах Бориса Слуцкого». Эренбург открыл нам глаза на поэта, который все время был рядом с нами и сущность которого мы, как сейчас выражаются, «в упор не видели». Внешне в наших отношениях почти ничего не изменилось. Он опять читал свое, опять требовательно спрашивал: «Ну как?» Но теперь-то мы стали умные. Теперь мы гордились, что наше мнение что-то для него значит. И его высказывания о театре, по-прежнему редкие, теперь уж мимо ушей не пропускали.

В 1957 году в Москве гастролитировал брехтовский «Берлинер ансамбль». Слуцкого эти спектакли, особенно «Кавказский меловой круг», привели в большое возбуждение, Брехт вообще был ему духовно сродни. Поэтому я несколько не удивился, когда узнал, что все зонги и стихи для постановки «Доброго человека из Сезуана», с которой начался театр Юрия Любимова на Таганке, написаны Слуцким. Потом я увидел его на репетициях «Павших и живых». В этом спектакле военные стихи Слуцкого читал Вениамин Смехов.

— Тебе нравится, как он читает? — спросил я Бориса.

— Хорошо читает, — ответил он. — И вообще, это вот — мой театр. Это вот — настоящий театр.

Мы с ним часто вместе оказывались в Коктебеле. Однажды в столовой Дома творчества мне нагрубила официантка. Я вспылил, вышел из-за стола и на эспланаде гневно говорил, что завтра же

дам телеграмму в Литфонд и пусть эту грубиянку немедленно уволят. Борис внимательно выслушал мой запальчивый монолог и сухо сказал: «Конечно, уволят. Но, знаешь, я лично никогда не вступаю в конфликты с теми, кто зарабатывает меньше ста двадцати рублей в месяц».

Этот урок я впоследствии многим пересказывал, и, думаю, не без пользы.

После того как вышла книга воспоминаний «Встречи с Мейерхольдом», а потом и моя книга о Мастере, мы с ним много о Мейерхольде говорили. Спорили. Больше всего Слуцкого занимал внезапный, непредсказуемый, как ему казалось, «прыжок» Мейерхольда из пышного императорского театра — в народный, площадной. От «Маскарада» — к «Мистерии-Буфф». От роскоши — к аскетичности. Мое объяснение этого «прыжка» его не удовлетворяло. Его собственное объяснение дано в «Оде Мейерхольду», здесь впервые печатаемой и написанной, думаю, тогда же, в самом конце 60-х, когда мы об этом спорили. Честно говоря, Слуцкий и теперь не убеждает меня. Но какое это имеет значение? Другое важно: Слуцкий в своей «оде» как бы братски обнимает Мейерхольда, приближает его к себе — и к нам,

В 1977 году, после смерти его жены, нежной и хрупкой Тани, Слуцкий исчез. Душевная болезнь внезапно отрезала его от всех нас. Недавно еще приходил ко мне, и мы яростно спорили о Твардовском: Слуцкий, уважая его как поэта, не мог простить редактору «Нового мира» неприязненного отношения к молодой поэзии 50–60-х годов. Мы не доспорили, разговор оборвался будто на полуслове и — не возобновился. Больше я Бориса не видел.

Но, странное дело, его как бы уже не было нигде, а стихи его изредка появлялись в журналах. Когда он умер, они стали появляться еще чаще. В самое последнее время я впервые глазами прочитал многие вещи, которые раньше знал только на слух, только с его голоса.

Тем, что поэтическое наследие Слуцкого сбережено и теперь уже почти полностью опубликовано, мы обязаны благородному труду Юрия Леонардовича Болдырева. Я смею считать себя другом Слуцкого — хотя бы потому, что в надписях на книгах, которые он мне дарил, неизменно повторяется слово «друг». Но все вместе мы, друзья Слуцкого, не сделали для него столько, сколько один, лишь по телефону знакомый мне Болдырев — вернейший из друзей.

*«Театральная газета», 1988, № 4.*

## «КОГДА Я УЙДУ, Я ОСТАВЛЮ СВОЙ ГОЛОС...»

(О дружбе Бориса Слуцкого с Анатолием Аграновским.)

1957 год. С осени этого года состоялось наше близкое знакомство с Борисом Слуцким. Стихи его любили. Расположение его чувствовали.

И только. А стали соседями, поселились в одном доме — сблизились, подружились. Телефонов в новом доме долго не было, а точнее, были только у «классиков». Поэтому не считалось неудобным зайти друг к другу запросто, без предупреждения. Так и приходили Борис с Таней посмотреть полки книжные, которые мастерил нам доморощенный столяр. Были одобрены полки, дети, угощение. Сидели Слуцкие в тот вечер долго. Нам очень приглянулась Таня. Собой хороша, держится просто. Что я и не преминула сказать Боре на следующий день, встретив его во дворе. На это он, усмехнувшись в усы, произнес: «Долго выбирал».

Сейчас, по прошествии тридцати лет, хочется и нужно вспомнить все связанное с Борисом и Таней. Очень они были красивой парой. Женственная, изящная Таня, мужественный скульптурный Борис. Не про них ли сказано в сказке: «Они жили дружно и умерли в один день». Борис умер в один день с Таней, то есть еще существовал, но уже не жил. Живым я видела его последний раз на похоронах Тани, а после уже нет.

Но до этого дня прошли годы, месяцы, дни нашей молодости, счастья, здоровья.

В день, когда ее не стало, он позвонил и попросил приехать проститься с ней. На улицу Цюрупы, в институт морфологии, в морг. Мы с мужем были потрясены его мужеством, собранностью, способностью заниматься хлопотами, связанными с похоронами. Видно на это ушли его последние силы, физические и душевные...

Борису нравились песни, которые сочинял и пел муж. Они с Таней были, что называется, благодарными слушателями. Да и поэты, которых пел муж, были «штучными», по словам Бориса.

Собирались у нас друзья не к дате, просто посидеть. Друзей было немного, а все же человек пятнадцать садилось за стол... Везло нам на друзей — всё те же, и с теми же женами...

Сначала ужин, немного закусок и выпивки (не в привычке было пить много), а затем традиционная баранья нога, запеченная с чесноком. Вот уже унес баранью кость наш любимец Джонни, дворняга, проживший у нас восемнадцать лет. Муж называл его «интеллигентом в первом поколении». Когда Борис чесал пса за ухом, а тот грыз кость, я останавливала Борю: «Тяпнет он тебя, оставь, он же с костью...» Борис только усмехался: «Интеллигент интеллигента не тяпнет».

Отужинали, потрелились, обсудили последние новости. Уже нетерпеливо ждут гости, когда муж возьмет гитару. «Что сидишь? Давай отрабатывай ужин!» Муж не спеша вставал из-за стола, снимал со стены гитару, настраивал ее, приговаривая: «Негодяи, забыли, кто у кого в гостях! Еще и пой им...» И вот уже первые аккорды и Пастернак: «Засыплет снег дороги, завалит скаты крыш...», и еще Пастернак: «Свеча горела на столе, свеча горела...» А дальше заказы: «Кедрина!» — «Нет, сначала Самойлова!» Слуцкий останавливал: «Не давите на него, пусть сам выбирает». А вскоре и сам просит: «Толя, спой Межирова „Артиллерия бьет по своим“». Борис всегда просил именно Межирова сначала, а потом Тарковского «Вечерний, сизокрылый, благословенный свет, я словно из могилы смотрю тебе вослед...» А на словах Кедрина «Когда я уйду, я оставляю свой голос...» он вскакивал и начинал нервно ходить взад и вперед, пока Таня не останавливала его, тихо говоря: «Сядь, успокойся, ты мешаешь».

И настал день, когда Слуцкий сказал мужу, что бьется об заклад: на его стихи не удастся тому сделать песню, «Я не песенный, тут тебе слабб!..»

Я честно предупредила Бориса, чтоб не закладывался, проиграет, я-то уже знала и слышала; на нас, домашних, Толя уже опробовал «Ордена теперь никто не носит, планки носят только чудаки...»

В тот вечер сцепили они руки в закладе при свидетелях, разбили их, назначили срок — месяц, я попеняла мужу, что нечестно, мол, что ж ты Борю надул, ведь песня-то уже есть. «Ну, какая же это песня? Так, заготовка. Он и впрямь не песенный, проиграю пари...»

Прошло какое-то время, месяц или больше, встретились мы со Слуцкими в театре «Современник». После спектакля поехали к ним. В этой маленькой квартирке было просторно, ничего лишнего. Мы с Таней посмеялись как-то, что наши квадратные метры не дают нам возможности обставляться старинной мебелью и таким образом проявить свой изысканный вкус и аристократизм. А Борис заметил к этому, что, мол, и так хороши будете, повезло вам, за членов ССП замуж вышли, устроились не хуже других. Таня обещала нам ужин с уткой. Борис прибавил: «И еще что-то на десерт». — «Что?» — «Сюрприз».

Мы решили, что он будет читать новые стихи. Вот уж действительно будет сюрприз. Редко он баловал нас, говоря: «Стихи главами надо читать». Оказалось другое: Борис потребует у Аграновского проигранный долг, не получит его и в уплату заставит петь весь вечер по заказу хозяина дома. Но его самого ждал сюрприз.

Пока жарилась утка, муж спел несколько романсов, в том числе и пастернаковский «Стоят деревья у воды...» А потом, через паузу, взял несколько аккордов и начал: «Ордена теперь никто не носит...» Надо сказать, что гитара была плохая, как ее аттестовал Борис, «мосдревовская». Она была куплена Слуцким на Неглинной задешево на случай прихода к ним Аграновского. Но гитара была не главным компонентом, муж, по его словам, знал «полтора аккорда». Главными были стихи и мелодия и, конечно, слушатели.

На словах «в самом деле никакая льгота этим тихим людям не дана» Борис вскочил и зашагал взад вперед по комнате... Один из гостей, небольшой знаток стихов Слуцкого, спросил: «Это что, кто, чье?»

— Это Слуцкий, — сказал муж.

— Нет, это Аграновский и Слуцкий, — так определил песню Борис.

Уходя, в передней муж спросил: «Ну что, проиграл я?» На это Слуцкий ответил: «Не знаю. Еще не понял. Надо подумать...»

Наутро Боря приехал. Я напоила их чаем, поговорили о чем-то, а потом Борис попросил:

— Спой еще разок вчерашнее.

— Что именно?

— Не притворяйся, знаешь что...

Я хотела уйти, оставить их вдвоем, но Борис остановил меня: «Не уходи, будешь членом комиссии по приемке». И вот опять звучит: «Орденов теперь никто не носит, планки носят только чу-

даки, носят так как будто что-то просят, словно бы стыдясь за пиджаки...»

Борис сидит как-то боком, почти спиной к нам. Я не вижу его лица. Кончилась песня. Помолчали.

— Еще раз пой, — просит Борис.

— Не могу, не получится.

— Ну, тогда дай я тебя обниму. И спасибо тебе за то, что ты все понял!

И вот звонит Слуцкий, просит Толю, которого нет дома, деловым тоном велит мне взять карандаш и записать следующее: «Завтра в 12 часов дня в театре „Современник“ будет прослушивание песен Толи. Я уже договорился с директором. В конце месяца будет сольный концерт Анатолия Аграновского. А теперь запиши, что именно он будет петь: Пастернака все четыре романса, Самойлова — обязательно! За Мандельштама и Олейникова я сам буду бороться, может проскочить... Эти песни обязательно! Остальное — как Толя сам решит. Все записала? Я вечером позвоню». — «Что ж ты свои не назвал?» — «Я же сказал, остальное — как решит Толя!» На все это я ответила: «Бог с тобой, Боря! Это же несерьезно. Неужели и ты думаешь, что, даже если бы разрешили, Толя будет петь с эстрады?! Его аудитория — друзья.

Я отговорила его в ЦДРИ петь, для маленькой аудитории, на телевидение его приглашали, тоже отговорила. Он и сам понимает, что не для него это. Тут я тебе не союзница, тут и говорить не о чем». Борис даже рассердился. «Я считал тебя неглупой, все понимающей. Я в тебе ошибся. Когда-нибудь ты будешь жалеть об этом. Вечером позвоню Толе, он сам решит. Надеюсь, он тебя не послушается».

Жалею ли я, что муж меня послушался? Не знаю. До сих пор не знаю.

*«Вечерний клуб», 1992, 1 августа. С. 3.*



## **БОРИС СЛУЦКИЙ, КАКИМ Я ЕГО ПОМНЮ**

С Борисом Слуцким я познакомился осенью 1946 года у Давида Самойлова. В те годы (1946–1953) Давид Самойлов с женой Лялей жили на улице Мархлевского, в просторной комнате большой коммунальной квартиры. Здесь собирались молодые поэты. Приходили сюда актеры, ученые, среди них физик Лев Ландау, доктор экономических наук Яков Кронрод.

Чаще других, почти ежедневно, бывал в этом доме Борис Слуцкий. У него в Москве не было ни близких родственников, ни жилплощади — он периодически снимал комнату, поменьше, подешевле. В доме Самойлова Борис чувствовал себя свободно, хорошо. Он был очень дружен с Давидом. Их дружба была настоящей — равноправной и творческой. Они часто спорили, всегда сохраняя при этом доброжелательное, братское отношение друг к другу.

У Самойлова я бывал часто и почти каждый раз встречал Слуцкого. Сначала у меня сложилось мнение о Слуцком как о суровом, гордом, даже надменном и замкнутом человеке. Гордый непосредственной причастностью к исторической победе, Слуцкий казался мне похожим на прославленных легендарных комиссаров гражданской войны, с которыми, он, комиссар Отечественной, был как бы в кровном родстве.

Худой, несколько выше среднего роста, хорошо и сильно сложенный, всегда подтянутый, с офицерской выправкой, неизменно одетый в военную форму — таким помнится мне Борис в те годы. Черты лица Бориса были рельефны, четко очерчены: крупный с горбинкой нос, мощный лоб с крутыми надбровьями, немного навывкате бледно-голубые глаза. Густые светлые с рыжеватым оттенком волосы и пшеничные усы.

Во время первых встреч Борис внимательно вслушивался и всматривался в меня. Постепенно мы все больше и больше сближались. <...> Он убедился, что я серьезно занимаюсь наукой и искренне увлечен поэзией; почувствовал и доброе отношение к

себе. Он доверительно рассказал мне, как врачу, что страдает приступами сильных головных болей и бессонницей.

Я понял, что первое впечатление о Борисе как о сильном, жестком человеке было ошибочно: позу я принял за характер. Понял, что за суровостью скрыта доброта, мягкость, духовная ранимость.

Ничего вдохновенно-поэтического в облике Бориса Слуцкого я не замечал, богеменность была ему чужда. По складу характера, поведению, интересам, отношению к людям Слуцкий был серьезным, деловым любознательным человеком, склонным к глубокому анализу всех сторон жизни, которые его интересовали. Он был энциклопедически начитан, умел обстоятельно собирать и анализировать факты. Интересы его были прежде всего сосредоточены на русской истории, поэзии, политике, экономике.

О повседневных бытовых делах Борис беседовать избегал.

С женщинами Борис был неизменно предупредителен и любезен. Я не замечал, чтобы какой-нибудь отдавал предпочтение. <...> Я помню Бориса Слуцкого поэтом без пылких романов и без любовной лирики.

Рассказы на мелкие бытовые, особенно сексуальные темы вызывали у Бориса брезгливое чувство. <...>

Значительный интерес он проявлял к истории Отечественной войны. Помню, как с большим вниманием слушал он рассказы Льва Безыменского о допросе попавшего в плен в Сталинграде немецкого фельдмаршала Паулюса. Лев был военным переводчиком и как очевидец рассказывал о поведении фельдмаршала и о содержании допроса. После того как Безыменский завершил свой рассказ, Борис подсел к нему и еще долго расспрашивал о деталях.

Помню, как во время одного из праздничных застолий Лев Ландау был атакован Лялей и подругами. Они спрашивали знаменитого физика о том, что все же будет в случае возникновения ядерной войны. Ландау говорил — будет очень плохо и Земле, и живой природе и, конечно, людям. Этот ответ некоторых, в их числе и Бориса, не удовлетворил. <...> Дальнейшие разъяснения Ландау уже давал персонально Борису, задававшему все новые и новые вопросы.

Среди завсегдатаев дома Самойловых был доктор экономических наук, умный, красивый, хорошо осведомленный обо всех текущих государственных делах Яков Кронрод. Он в те годы был ортодоксальным марксистом — автором книги «Деньги при

социализме». Яков часто бывал собеседником Бориса. Они уединялись и подолгу беседовали. От Кронрода мы все узнавали многие политические новости, иногда задолго до того, как они становились официально известны. Часто Борис обсуждал злободневные вопросы с Петром Гуреликом, школьным другом, в те годы бывавшим у Самойловых.

Я был аспирантом и работал над диссертацией. О своей работе рассказывал Борису. Его искренне интересовало все, чем занимаются знакомые и друзья. <...> Мне Борис задавал весьма содержательные вопросы. Его интерес к медицине был связан еще и с тем, что он хотел разобраться в собственной болезни. Он страдал приступами сильных головных болей и бессонницей. Головная боль бывала столь мучительной, что не давала работать. Я посоветовал обратиться к профессору А. М. Гринштейну. Заключение профессора было простым: «У вас ничего опасного нет». При встрече Борис попросил меня разъяснить этот диагноз. «„Ничего опасного“ означает отсутствие патологических изменений, и твое заболевание вполне обратимо, следовательно, ты должен выздороветь». Профессор Гринштейн в общем оказался прав. И все же, возможно, тяжелое душевное заболевание, омрачившее финал жизни Бориса, в какой-то степени было связано с болезнью, которой он страдал в молодости.

Я не помню, чтобы Слуцкий или Самойлов пытались, как теперь говорят, пробивать свои стихи в печать. Плавным была работа, и они упорно, никогда не сомневаясь в своем профессиональном призвании, писали и писали. Печатать их стали после смерти Сталина.

Борис Слуцкий свои стихи в те годы читал сравнительно редко; скопление слушателей его не вдохновляло, скорее, настораживало. Если читал, то всегда наизусть. Память у него была хорошая. Творчество было для Бориса тяжелой поденной работой и одновременно священным таинством. Читал Борис просто, доходчиво и торжественно.

Лучшие стихи Слуцкого сделаны из мужественных, жестких, ударных слов; ни одной сентиментально звучащей строки; и в то же время стихи добрые, милосердные, полные искреннего сочувствия к тем, кто изголодался, измаялся и умирает, сохраняя достоинство и честь в «Кельнской яме», к тем, кто, до конца исполнив патриотический долг, покоится под «фанерными монументами» в русской земле и в «пяти соседних странах».

В компании Слуцкий вел себя просто, непосредственно и независимо. Когда все пели, а Давид аккомпанировал на аккордеоне, он тоже пел. Наиболее популярной была «Бригантина». Автор слов этой гордой песни Павел Коган погиб на войне. Память о погибших друзьях — Михаиле Кульчицком, Павле Когане — была частью его бытия.

Слуцкий стремился установить подлинную ценность творчества каждого поэта: кто был на самой вершине, кто чуть ниже. Это иногда превращалось в своеобразную игру, в которую он играл многократно и к которой относился серьезно.

Я был знаком с Борисом всего месяц-два, когда он и меня вовлек в эту игру. Помнится его обращение-вопрос: «Кого ты считаешь первым поэтом XIX века?» Я ответил тривиально — Пушкина. «А кого XX века?» Я без раздумий назвал Александра Блока. «Почему именно Блока?» Как мне казалось, я привел серьезные соображения, но они не удовлетворили Бориса, и он попросил меня прочитать что-нибудь из Блока. Я стал читать «Осенний день»: «Идем по жнивью не спеша...». До конца прочесть не удалось. Когда я перешел к финалу, к прекрасным строкам «Летят, летят, косым углом, вожак звенит и плачет», Борис прервал чтение и твердо, убежденно заявил, что этот Блок не из XX века. Поясняя, какие стихи относятся к XX веку, он чеканно прочел «Кельнскую яму». Стихотворение на меня произвело огромное впечатление. Он это понял. И неожиданно, тогда впервые, потом он этот вопрос повторял несколько раз, спросил: кого я считаю более значительным поэтом, его или Дезика? На что, как и в других случаях, я ответил: «Вы очень разные». Ответ его не удовлетворил. <...>

Во время экскурсов в историю поэзии возникали различные мысли о психологии творчества. Я как-то заметил, что у многих самых выдающихся поэтов, да и писателей, был весьма развит «игровой инстинкт». Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Толстой, Маяковский азартно играли в карты, Достоевский иступленно отдавал дань рулетке... Борис признал этот факт, заслуживающим внимания; рассказал, что Н. Асеев, в доме которого он бывал, также подвержен страсти к игре.

Однажды для Слуцкого сложилась игровая ситуация.

В конце 1947 года объявили о предстоящем обмене денег. Условий обмена никто не знал. Возникла альтернатива: класть ли в сберкассу, покупать ли облигации или же тратить, но на что?

В один из этих смутных дней Борис появился у Самойловых. Узнав, что я свободен, попросил пойти с ним в букинистический магазин.

Мы пошли — Борис с чемоданом, я с мешком, который Ляля дала мне, освободив его из-под картошки. По дороге Борис сообщил, что у него есть небольшие сбережения, которые он решил потратить на приобретение книг. Борис отбирал книги с большим знанием дела: приобрел полное собрание сочинений Некрасова издания прошлого века, несколько редких томиков Пушкина, Лермонтова, Некрасова, разрозненные выпуски «Аполлона» и «Гиперборея». В память об этом походе Борис подарил мне томик Некрасова и «42-ю параллель» Дос Пассоса.

Борис осуществил мечту — приобрел книги, которые любил и высоко ценил. Позже выяснилось, что покупка букинистических книг с деловой точки зрения была блестящей коммерческой операцией — лучшим вкладом уже обесцененных денег. Борис, разумеется, об этом не думал.

В 1948 году в стране появилось новое социально остро и зловеще звучащее слово «космополит». Начались борьба с космополитизмом, возобновились аресты. Террор снова набирал силу. Борьба с космополитизмом стала все больше окрашиваться в красный цвет террора.

Борис сначала этого не замечал или не хотел замечать. Позже, когда иллюзия всеобщего коммунистического праведного рая исчезла, Борис стал все более и более реально оценивать действительность.

Настороженность, тревожность, страх, неуверенность в завтрашнем дне нарастали неодолимо. И все же я не помню, чтобы кто-нибудь в доме Самойловых открыто выражал протест, высказывал критические замечания о Сталине, призывал бороться с произволом.

Все индивидуально, по-разному переживали надвигающуюся катастрофу, ощущал ее неизбежность. Это относится и к Борису Слуцкому.

Есть версия, что Слуцкий еще в годы культа писал стихи, обличавшие Сталина: «Бог» и «Хозяин». Она представляется мне неправдоподобной. Он был партийно дисциплинирован и по характеру не способен к опасному противоборству.

Бесстрашные стихи, разоблачавшие Сталина, в те года писали лишь сидевшие в лагерях и тюрьмах поэты да маленький и отча-

янно храбрый Эммануил Мандель, позднее ставший известным поэтом Наумом Коржавиным.

И все же изменения климата общественной жизни — рост бесправия, двуличия и репрессий — находили резонанс среди творческой интеллигенции. <...>

Плазков, Самойлов читали «непроходные стихи», некоторые из них до сих пор не опубликованы. <...> Слуцкий в это время пишет одно из лучших, если не лучшее свое стихотворение «Голос друга».

В 1952 году начались аресты врачей — видных профессоров. Борису сообщили и об аресте А. М. Гринштейна. Эти события угнетающе действовали на всех нас и, разумеется, на Бориса. <...>

Статья «Убийцы в белых халатах» от 13 января 1953 г., явилась кульминацией периода «космополитизма». Всем стало ясно, что вскоре должны начаться массовые репрессии.

На следующий день после выхода в свет статьи я встретил Бориса Слуцкого на Сретенском бульваре. Борис был неузнаваем: растерян, удручен, подавлен. Обычно не склонный к многословию, он безостановочно говорил: о предстоящих репрессиях, о суде над врачами, после которого их казнят, может быть, публично, об «очищении» Москвы, а затем и других городов от безродных космополитов, о страшной участи интеллигенции, особенно людей с гуманитарным образованием. Для них с Давидом это означало гражданскую смерть — унижительное, жалкое существование в полном бесправии. Так, беседуя, шли мы по заснеженному Сретенскому бульвару. Неожиданно Борис как бы спохватившись начал меня утешать: «Твое положение лучше, чем наше, врачи всегда и всюду нужны, и ты еще сможешь быть и полезен людям...» Более всего меня удивляло (об этом я думал и много лет спустя), что он не выражал никакого протеста, не осуждал Сталина, не помышлял ни о каком противоборстве, хотя и не верил сообщению о злодеяниях врачей — «убийц в белых халатах». Со мною шел обреченный человек, смирившийся со своей участью. Так мы дошли до дома Самойлова. Дверь открыл Давид. Не помню, о чем говорили, что делали, но тут безысходность исчезла; думаю под влиянием природного оптимизма Дезика.

5 марта 1953 умер Сталин... С этого светлого дня однонаправленный в бездну поток событий остановился. А затем течение их пошло вспять.

9 марта хоронили Сталина. С женой Линой мы пытались попасть в Колонный зал Дома союзов, но узнали, что путь к центру закрыт, и решили вместо похорон отметить «крестины». У Самойловых родился сын, которого мы еще не видели. Нам удалось дойти до их дома. В комнате уже собралось много людей, кажется, был и Борис. Точно не помню, может быть, он пришел позже. Дезик организовал застолье — поминки, и его друзья и Лялины подруги беспечно пили водку и оживленно обсуждали, гадали, что еще случится на нашем суровом и загадочном веку. Настроение было хорошим, приподнятым. Все интуитивно чувствовали, что худшее позади...

24 июля 1953 года в день именин Ляли на даче Самойловых было многолюдное, щедрое застолье. Собралось человек 25–30. Среди гостей был Борис. Было шумно и весело. Рядом с Борисом сидел Сергей Наровчатов, не пропускавший ни одного тоста и даже полутоста. За ним тянулся малопьющий Борис. Вскоре он захмелел и заснул, но неглубоко — часто пробуждался, включался в застолье и, заметив меня, обращался с просьбой: «Витя, ты опыты проводишь, оживляешь! Прошу тебя, не оживляй товарища Сталина!» Я его заверял, что этого делать не буду. Борис снова засыпал, просыпался, и эта сцена повторялась.

В середине 50-х годов Слуцкий стал широко известным поэтом. Его гражданские стихи были весьма популярны, так как оказались созвучны оттепели, началу официального разоблачения культа Сталина. Борис женился. Его жизнь наладилась. У него появилась собственная квартира.

Ляля, жена Дезика, не раз удивляла и огорчала меня тем, что осуждала Бориса за невнимательное отношение к старым друзьям. Говорила, что Борис стал тщеславен. Этого я не замечал: во время редких случайных встреч он был неизменно доброжелателен, прост — в общем, оставался таким же, как и раньше. Да и Ляля в последние годы, когда их дороги с Давидом разошлись и многие старые знакомые (как-то слово «друзья» не пишется) забыли ее, говорила: «Борис — друг, настоящий друг; он не оставил меня, хотя и бывает редко».<...>

В 1976 году, в одну из последних встреч с Борисом Слуцким, когда мы вспоминали какие-то события далекой молодости, он вдруг, как говорится, «ни к селу ни к городу» сказал: «Знаешь, ко мне на семинар ходит сын Пастернака». Недавно, вспомнив об этом, я позвонил Евгению Борисовичу, с которым много лет зна-

ком, и рассказал об этом разговоре. Он ответил, что, по-видимому речь идет о его умершем брате — Леониде, и потом добавил: «Жаль, очень жаль. Отец, конечно, простил бы Слуцкого».

Да, Пастернак простил бы «заблудшего брата», но Борис Слуцкий этого себе не простил... <...>

В жаркий летний день 1960 года хоронили опального поэта. Открылась возможность покаяния всем, кто поднял руку... Таких оказалось мало. Слуцкого не было. Прийти не решился. Леонид Мартынов, которого по дороге в Переделкино мы с приятелем встретили на улице Гурького, отказался с нами поехать (в машине было место), сказал что-то невнятное. Из знакомых лично мне поэтов на похоронах Пастернака я встретил лишь Наума Коржавина.

Последняя, точнее, предпоследняя встреча с Борисом Слуцким 24 декабря 1976 года. В этот день мы традиционно отмечали день рождения Ляли. На этот раз она пригласила нас, чтобы попросить прощения. Попроцаться навсегда. Пришли близкие ее друзья: Борис Слуцкий, Яков Кронрод, сестры Шор, Нина Дубовицкая, пришли и мы с Люсей. Печально и растерянно встретил нас сын Ляли — высокий, красивый, похожий на Иисуса Христа Саша. Он не мог смириться, поверить в то, что мать умирает. Борис сидел за столом, освещенным лампой. У противоположной стены на тахте, в полумраке лежала Ляля, укрытая меховым пальто. Борис был непроницаемо спокоен. Я и не подозревал, что он переживает последний акт большой личной трагедии. У него в течение многих лет тяжело и безнадежно болела жена. Он делал все возможное, чтобы продлить ее жизнь. Осенью наступило новое обострение, и Борис, по-видимому, знал чем оно закончится.

Это было теплая, хотя и грустная беседа. <...> Вспоминали о добром, даже смешном — пытались приободрить Лялю.

Борис рассказывал, что увлекается живописью и даже начал коллекционировать; сумел приобрести картину Фалька, которого считает выдающимся художником. Рассказывал, что ведет поэтический семинар, назвал несколько талантливых молодых поэтов. Я их не запомнил. Спросил меня, как живу, чем занимаюсь. <...> Настала пора расходиться. Я передал Борису книгу стихов «Доброта дня», и он подписал ее. Я же шутя сказал, что раньше встречался с безвестным поэтом, а теперь встретился с великим. Борис неожиданно рассердился и назидательно заметил: «Я не великий поэт, если хочешь увидеть великого, садись в метро,



доезжай до „Красных ворот“; выйди и посмотри на Лермонтова». Он быстро остыл, и мы еще вполне мирно посидели возле Ляли, а она тихо, как-то застенчиво порою включалась в беседу.

27 февраля 1977 года Ляля умерла, двумя неделями раньше умерла Таня. Ляля хотела поехать на ее похороны. Сын и друзья отговорили ее. Когда я просил ее остаться дома, она возразила: «Это мой долг. Знаю, Борис на мои похороны приедет».

О смерти Ляли Бориса известили по телефону. Он сказал, что присутствовать на похоронах не сможет. Но когда готовились к отъезду, селись в автобус, я увидел Бориса. Он стоял возле Саши Межирова и готовился сесть в автобус. Да, Борис был человеком долга.

Вскоре после смерти жены Слуцкий тяжело заболел. Душевный недуг — депрессия была глубокой. О его болезни я периодически узнавал от врача, Тамары Ю., работавшей в клинике, где лежал Борис. Она с большим состраданием относилась к Борису, считала, что Слуцкий психически полностью сохранен, отлично все помнит; понимает все, может быть, даже глубже, чем раньше, но эмоциональная сфера разрушена, поэтому он тяготится жизнью.

Тамара рассказывала, что Бориса в больнице посещал брат Ефим, которого он очень любил. О нем еще в молодости Борис вспоминал с гордостью. Изредка Бориса навещали поэты. Был у него и Давид Самойлов. Борис ему сказал: «Знаешь, у меня мозги кончились».

23 февраля 1986 года днем мы с Тамарой были в гостях. Я спросил Тамару: «Жив ли Борис?» Она ответила: «Жив, конечно, жив, он у брата в Туле. Там ему хорошо». Позже я узнал, что в этот день, примерно в то время, когда я вспоминал о нем, Борис умер.

*Из воспоминаний В. Малкина.  
«Континент», Париж-Москва, 1992, № 71.*

---

*Марк Кабаков*

## ОДНАЖДЫ В ФЕОДОСИИ

Был июнь 1965 года, блаженная пора оттепели, юго-восточный Крым, Киммерия — Мекка тогдашних вольнодумцев, которые, как бабочки на огонь, слетались на каменные маяки Карадага.

Но для меня ничего такого не существовало. Была служба в Феодосии на одном из полигонов ВМФ, выходы в море, испытания новой техники...

И все же... Мы знали, что в сорока минутах от нас Коктебель, что там отдыхают (слово «работают» как-то не приходило в голову) знаменитости.

Приехать к ним не составляло труда, да и время было какое-то распахнутое... А у меня уже вышли две книжки стихов на Балтике, готовилась третья. И я поехал в Коктебель к Слуцкому.

Без особого труда разыскал коттедж, где он жил. Не думаю, что внезапное появление капитана 2 ранга обрадовало Бориса Абрамовича. Тем не менее он говорил со мной вполне дружелюбно, даже похвалил стихи, которые я ему естественно, прочел,

Все же, вспоминается, что говорил главным образом я: о кораблях, о службе. Слуцкий изредка кивал головой.

Условились о встрече в Феодосии. Но где? К себе не хотелось, чего он не видел в моей пятиэтажке?..

По счастью, в моем доме жил командир подводной лодки капитан 2 ранга Юрий Орлов. И тоже писал стихи.

Пусть читатель не подумает, что в шестидесятых на Краснознаменном Черноморском флоте служили исключительно поэты. Просто так совпало. Юра был человеком действия. Уже на следующий вечер он в Доме творчества встретился с Борисом Абрамовичем и пригласил к себе на лодку.

На лодке Орлова (дизельной, но вполне современной) я увидел другого Слуцкого. Он живо всем интересовался, беседовал с моряками, переходил из отсека в отсек, смеялся, слушая командирские байки...

Через три года меня перевели в Москву. Я захаживал в ЦДЛ и иногда встречал там Бориса Абрамовича. Он был неизменно приветлив.

Запомнилась последняя встреча. Я уже отслужил, стал «полноправным» литератором. И однажды в литфондовской поликлинике оказался в одной с ним очереди. Разумеется, я знал, что он мучительно переживал потерю жены, но то, в каком виде я его увидел, поразило меня. Слуцкий был мрачен. Все попытки хоть как-то «разговорить» его были бесполезны. Больше мы уже никогда не встречались.

## **БОРИС СЛУЦКИЙ В СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ И ПОСЛЕ ВОЙНЫ**

В предвоенные годы (1937–1941) я учился с Борисом Слуцким в Московском юридическом институте, дружил с ним, помню многое о нем такое, о чем никто не написал.

В институте в те годы существовал студенческий литературный кружок. Руководил им Осип Брик. В кружке активную роль играл Слуцкий, хотя на протяжении первых трех лет учебы скрывал от всех, что пишет стихи, известно было лишь, что он прекрасно знает русскую и английскую поэзию. Во время наших прогулок по Москве он часами читал мне стихи разных поэтов, порой незнакомых мне и не публиковавшихся тогда. Очень любил читать мне Пастернака и не скрывал своего восхищения перед этим великим поэтом. Ни он, ни я не могли тогда предвидеть, что этот поэт станет роковым для Слуцкого, что Борис выступит против Пастернака в мрачные для того дни и эта трагедия приведет Слуцкого к тяжелой болезни и ускорит его уход из жизни.

В кружке Осипа Брика Борис, читая свои стихи, выдавал их за стихи своего друга, присланные из военного училища. При этом внимательно прислушивался к реакции слушателей, к их оценке.

Жил Слуцкий в общежитии в Козицком переулке. Студенческая стипендия была весьма скромной. Слуцкий подрабатывал тем, что преподавал историю в вечерней школе рабочей молодежи.

Впервые Борис признался мне, что пишет стихи в 1939 году. Я получил премию на конкурсе научных студенческих работ, и мы пошли тратить эти небольшие деньги в кафе-мороженое на Никитском бульваре. Здесь Борис признался, что не только пишет стихи, но и подал документы для поступления в Литературный институт Союза писателей, представил туда две записные книжки со своими стихами. После я услышал от него восторженные слова о семинарах, которые вели в институте Павел Антокольский, Илья Сельвинский и другие.

Когда мы возвратились после войны с фронта, я увидел на груди Бориса ордена и он рассказал мне о своей работе на фронте, на передовой, — по агитации среди войск противника. Ему помогло знание немецкого. Но об этом достаточно в его опубликованных стихах.

В послевоенное время я помог Борису снять комнату в доме № 16 по улице Чайковского, где я тогда жил. Мы очень часто встречались.

В 60–70-е годы Борис с интересом следил за моей адвокатской деятельностью. Посылал своих знакомых и друзей, и я оказывал им юридическую помощь.

В 1967 году, после смерти Ильи Григорьевича Эренбурга, Борис передал мне просьбу его жены Любови Михайловны Эренбург-Козинцевой и его дочери Ирины Эренбург заняться их сложным наследственным делом. Я провел много часов в кабинете И. Г. Эренбурга в беседах с его вдовой. Она мне рассказывала, каким уважением в семье Эренбургов пользовался Слуцкий, каким он был для них своим человеком, как он подолгу жил и работал на даче Эренбурга в Новом Иерусалиме.

Когда Борис в послевоенное время занял определенное общественное положение, когда многие бывшие однокашники по юридическому институту заняли видное место в столичной адвокатуре, в науке, в различных правительственных учреждениях, Слуцкий искал встреч не с этими преуспевающими людьми. Чаще всего он встречался с институтским другом, судьба которого сложилась трагично. Это был Зейда Фрейдин. В начале войны Зейда был военным следователем (как и сам Борис) в действующей армии. Во время отступления Фрейдин оказался на оккупированной территории, долго пробивался к своим, пришел в свой родной Курск, занятый немцами. Позже он подвергся суровым преследованиям со стороны советских властей и в результате не мог уже работать юристом, стал бухгалтером-ревизором в потребительской кооперации. Вот на его квартиру в Кузьминках, близ Лесной академии, часто приезжал Борис Слуцкий, и наши благополучные однокашники, хотевшие видеть своего товарища, ставшего известным поэтом, должны были собираться у Зейды Фрейдина, чтобы повидать Бориса. Так Слуцкий хотел поддержать нашего общего товарища, которому досталось в жизни много горя, это было доброе дело Бориса. Но не этим и другими добры-

ми делами останется Слуцкий в памяти людей, а прежде всего стихами.

Когда он умер, оказалось, что у него неопубликованных стихов было значительно больше, чем опубликованных.

Мне вспоминаются и его ранние стихи. Например, такие:

Я не делал для лука стрел,  
Не сидел над Эдгаром По.  
Я на голые ноги глядел  
Девушки, мывшей пол.

Не уверен, что эти стихи известны кому-нибудь. Помню и такие его стихи:

Я ненавижу рабскую мечту  
О коммунизме в виде магазина...

Но эти строки известны многим, кто знал Бориса до войны.

Заканчивая воспоминания о Борисе Слуцком и мыслями возвращаясь к пастернаковской трагедии, я мог бы произнести речь в защиту Бориса Слуцкого. Но боюсь, что это не вызвало бы одобрения Бориса. Он не оправдывал себя в этой трагедии. И испил чашу горьких переживаний по этому поводу до конца.

*Из воспоминаний Я. Айзенштадта.  
«Континент», Париж, 1990, № 64.*

## **ЕГО СТИХИ МЫ ЗАПОМИНАЛИ**

В годы юности и многие послевоенные годы Борис Слуцкий был очень дружен с семьей нашего соученика по школе, затем известного харьковского физика Якова Гигузина. К сожалению, Яша рано ушел из жизни, но близость друзей-единомышленников позволяла надеяться на то, что Гигузин оставил воспоминания о Борисе. Я обратился к вдове Гигузина, живущей ныне в США. Ответ на мое письмо публикуется с сокращениями.

*Петр Горелик*

Здравствуйте, Петя! Ваше письмо меня очень обрадовало. К сожалению, я визуально не могу Вас вспомнить, как соученика по школе, но имя Петя Горелик бывало в нашем доме не раз на слуху, то из уст Бориса или Яши, а после их встречи Ваше имя упоминал при наших встречах Юрий Болдырев...

В наши годы забываются не только лица и имена. Но стихи Бориса я помню отлично. И в своих публичных выступлениях в Америке на литературные темы всегда десятками читаю их не глядя в книгу или шпаргалку. К такому запоминанию стихов Бориса мы привыкли давным-давно.

Яша был «секретным» физиком. После войны мы никаких дневников не вели, воспоминаний не писали и писем не хранили. А стихи Бориса, записав наскоро на бумажке, без знаков препинания и с сокращениями слов, просто запоминали, а первоначальную запись через день-два уничтожали. Потом читали их по памяти самым близким друзьям «с глазу на глаз». Таким образом, к великому моему сожалению, в этом плане я теперь Вам помочь не могу.

Дружба Яши с Борисом, их встречи в 60-х и 70-х годах, когда Борис из-за болезни Тани все реже и реже приезжал в Харьков, продолжались. По делам службы и по своим личным делам Яша каждый месяц бывал в Москве. Там они встречались и проводили время вместе.

Однажды, собираясь в очередную поездку, Яша позвонил Борису. На предложение договориться о встрече Борис ответил:

«Яшенька, я теперь людей не принимаю, мне трудно общаться, прости, дорогой». Я до сих пор помню, как побледнело Яшино, лицо как долго он не мог дрожащей рукой положить трубку на место. Это был их последний разговор, после которого мы долго ничего не знали о Борисе вплоть до сообщения о его смерти. Это была огромная утрата для нас обоих

Когда Комиссия по литературному наследству Бориса Слуцкого обратилась через «Литературку» к друзьям поэта помочь в ее работе, мы с Яшей в ноябре 1987 года написали Юрию Болдыреву и представили список имеющихся у нас неопубликованных стихотворений Бориса. Ответ пришел от Ю.Болдырева, когда Яши уже не было в живых. Переписку с Болдыревым и передачу ему всего, что было обещано, мне пришлось взять на себя.

Дорогой Петя! Ваше письмо обрадовало меня еще и потому, что из него я узнала — публикация наследства Бориса продолжается, таким образом продолжается дело продления творческой жизни большого поэта.

Суламифь Лихтарева-Гигузина.



---

## ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

### Елена Ржевская

Прощались с Наровчатовым. Дубовый зал ЦДЛ не мог вместить всех. Люди ждали на улице. В зале были поэты фронтового поколения и те кто помоложе... Давид Самойлов с женой прилетели из Эстонии. Борис Слуцкий пришел превозмогая болезнь...

...Когда кончился траурный митинг, Борис Слуцкий, прямой, напряженный, похожий только на самого себя, военной поступью прошел сквозь размыкавшиеся перед ним ряды людей к гробу, к Лидии Яковлевне, громко и отрешенно сказал:

— Лидия Яковлевна, я Борис Слуцкий, я пришел разделить ваше горе.

Старая мать Сергея узнала его.

Давиду Самойлову она сказала у гроба: «Сережа любил вас».

*Е. Ржевская. Старинная удача.*

*«Новый мир», 1998, № 11. С. 228.*

### Лев Копелев

Стихи Бориса Слуцкого о Сталине мы читали по рукописям, а потом устроили чтение у нас дома. Это было впервые. Собралось больше двадцати человек...

Он читал сухо, деловито, без патетики, и мы узнавали в его сурово-лаконичных стихах свои мысли, свою боль, свои надежды...

Я говорил тогда, что для меня Слуцкий — главный поэт нашего поколения. Со мной спорили...

*Из книги: Р. Орлова, Л. Копелев. Мы жили в Москве. 1956–1980.*

*М., 1990. С. 32–33.*

### Давид Самойлов

Из «Памятных записок»

*(М.: Международные отношения, 1995)*

Слуцкий — «административный гений», как мы его именовали, — организовал поэтический вечер в Юридическом институте.

Первый наш вечер, а для многих единственный. Снова схлестнулись с представителями предыдущего поколения на тему — воспевать время или совершать его...

О вечере много ходило толков среди литературной молодежи, а Слуцкому досталось от институтского начальства, что, ускорило его переход в Литинститут<sup>1</sup>.

С. 135–136.

На семинаре Сельвинского. Павел Коган умел бескорыстно восхититься удачными строками и с беспощадностью... в пыль стереть чуждое, неприемлемое и бездарное. Кульчицкий убивал дурной стих иронической фразой. Четко, с железной логикой и всегда интересно выступал Слуцкий, он часто разил юмором. Увлеченно выступал Наровчатов, умевший воспарить от предмета в высшие сферы. Тонко и остроумно анализировал стих Львовский. Испытуемый защищался... Тяжелое было испытание.

С. 179.

Утро 22 июня. Я готовлюсь к очередному экзамену. Как обычно, приходит заниматься Олег Трояновский, сын бывшего посла в Японии и США.

Он говорит: «Началась война». Включаем радио. Играет музыка. Мы еще не знали о функции музыки во время войны...

Решаем заниматься... Однако занятия все же не ладятся. Я понимаю, что если не сообщу о войне Слуцкому он мне этого никогда не простит...

Через полчаса стучусь в знакомую комнату в общежитии Юридического института...

— Война началась, — говорю я спокойно.

— Да брось ты, — отвечают юристы.

Я не стараюсь их переубедить. На всякий случай включили громкоговоритель... Объявили о выступлении Молотова.

— Сопляк, — с досадой сказал мне Слуцкий. Он никому не успел сообщить о начале войны...

С. 186–187.

---

<sup>1</sup> В 1940 году Б. Слуцкий действительно стал студентом Литинститута, но не оставил Юридического, предпочтя учиться одновременно в двух институтах — *Примеч. сост.*

...Я подумывал, где достать перевод, и тут как раз пришел Борис Слуцкий. Ему дали китайскую поэму вполне юбилейного содержания...

Китайскую поэму мы разделили пополам и разошлись, полные творческого рвения. О чем мы не догадались — договориться о размере. Выяснилось, что Слуцкий свою долю перевел задумчивым амфибрахием, а я бодрым хореем.

Переводить заново не было ни времени, ни художественного смысла.

Подумав, мы приняли решение: перед амфибрахием поставили римскую цифру I, а перед хореем — II. Поэма состояла как бы из двух частей.

С. 296.

Борис Слуцкий, «один из поэтов добрых упований» в ту пору [речь об «оттепели». — П. Г.] сформулировал: «У нас нет спора о путях, а лишь спор о темпах».

С. 345.

Выступления [речь о выступлении на антипастернаковском собрании писателей. — П. Г.] официальных радикалов (Слуцкий, Мартынов) оказались неожиданными и показались непростительными. Объективно они не так виноваты, как это кажется. Люди - схемы, несколько отличающейся от официальной, но тем не менее — люди схемы, они в своей расстановке сил современной литературы, в ее субординационных реестрах не нашли места для Пастернака и Ахматовой.

С. 359.

— Мартынов гораздо выше Пастернака, — уверенно сказал мне Слуцкий.

С. 379.

### Из «Поденных записей»

(М.: Время, 2002)

*Дневники надо читать с поправкой  
на дурное настроение (Т. 2-й. С. 89)*

1946 год.

12 сентября. Вчера приехал Слуцкий [после демобилизации. — П. Г.]

Это замечательный политический ум...

В моих стихах Слуцкий заметил (не только) определенную раскованность и «облик», но и замах на печатность.

20 сентября. Н. Воркунова, бывшая жена Наровчатова, числилась одно время подающей надежды молодой поэтессой... Самое забавное, что Воркунова ни одной строки не написала. Все приписываемое ей было создано Сергеем при участии Слуцкого.

1957 год.

8 апреля. Вечером — рождение у Тимофеева... Около часа высняли отношения с Борисом (Слуцким). Взаимные попреки. Он говорит, что, дескать, в последние два года, трудные для него, меньше всего помогли ближайшим друзьям, я в том числе. Не может простить Пете Юрелику, что тот несколько лет назад посоветовал Борису поступить на работу <sup>1</sup>. Я возражал... Разговор был горячий, но доброжелательный. Мы помирились и расцеловались.

Я его люблю.

17 апреля. В «Новом мире» разговор с Карагановой о Слуцком. Все вокруг осуждают его заносчивую манеру.

— Если бы он не был так доброжелателен к чужим стихам, он был бы просто неприятен...

3 мая. Все труднее находить общий язык с Борисом. Он отчаянно хочет быть «непечатным».

2 августа. Приезжал Борис Сл., сидел и над албанскими поэмами, играли в пинг-понг, долго разговаривали.

Отказываясь от политического взгляда на жизнь, который он в себе культивировал многие годы, которым гордился и к которому он, по существу, более всего приспособлен по складу, — отказываясь от этого взгляда и стараясь принять «поэтический», Борис много теряет.

«Политический успех он принял за поэтический», — сказал о Борисе Межиров.

1 сентября. Вчера приезжал Борис, привез только что вышедшую книгу [«Память». — П. Г.]. Факт ее выхода — положительный...

---

<sup>1</sup> В действительности дело было не так. Хорошо помню разговор с Борисом в начале 50-х. Шансов на публикацию его стихов тогда не было. Он был мрачен и не скрывал, как это его угнетает. Не задумываясь над последствиями, я сказал Борису, что он, по складу характера и таланта, хорошо чувствует драматическую ситуацию — так не попробовать ли ему себя в драматургии. — *Примеч. сост.*

22 ноября. «Борис» Золотухин о Слуцком: на свадьбе он думает, что он жених, а на похоронах, что покойник.

1962 год.

26 декабря. Помирился со Слуцким. Нам в ссоре быть не подобает.

1963 год.

15 февраля. Видел Слуцкого в Юслите. Даже он настроен пессимистически. Прогнозы скверные. Настроение поганое.

9 апреля. Приходил Борис Слуцкий. Юда два у нас не был. Рассказывал об Эренбурге и прочем.

22 июня. Корнилов сказал: «Всем положено писать стихи хорошие и плохие. Слуцкий каждый день садится за стол и пишет. А Самойлов свои плохие просиживает в ЦДЛ».

23 июля. Долго и мирно разговаривал со Слуцким.

Он трезвее обычного оценивает обстановку. Жалуется на дурное самочувствие. И все никак не может избавиться от рефлекса деятельности.

Рассказывал о наследстве Хикмета. Борис предлагает гонорары за стихи, посвященные Вере, выплачивать ей.

3 ноября. Звонил Борис, высказывался о книге <sup>1</sup>. Драма <sup>2</sup> ему не нравится по языку. Стихи за то, что относятся к «вечной поэзии». Нет, нам с ним не сговориться. В его игры я давно уже не играю.

Он: стихи написаны человеком, сбежавшим с уроков. А урок это наша поэзия.

Довольно точно.

26 ноября. Вечером Слуцкий, Петя (Горелик), Лена Ржевская, Крамов. Дружественно и тепло. Говорили о расхожем вкусе XX века, который так же бессодержателен, как любой мещанский вкус.

1964 год

31 мая. Борис человек образцовой порядочности и правил. Давно его люблю.

Со Слуцким поехал к Ляле. Она поправляется и совсем уже хороша.

<sup>1</sup> «Второй перевал». — *Примеч. сост.*

<sup>2</sup> «Сухое пламя». — *Примеч. сост.*

Слуцкий довольно мил, пока не политиканствует. В частности он старается преуменьшить дело Бродского, утверждая, что таких дел много. Чепуха. Важно не только, за что судят, а кого судят.

1965 год.

22 января. Очень кисел Слуцкий, один из всегдашних сторонников чайный.

Его теория «малых дел» смешна и провинциальна.

1968 год.

14 ноября. С Борисом Слуцким отношения все добрее. О стихах не говорим.

27 ноября Долго разговаривал со Слуцким. Снова потянуло друг к другу. Он симпатичен.

1974 год.

21 марта. Слуцкий мил и добр.

1975 год.

17 ноября. Несколько бесед со Слуцким. Дружественно. [На совещании молодых поэтов в Софрине. — П. Г.]

1978 год.

19 февраля. Слуцкого за болезнями не видел. Петя говорит, что ему лучше.

1979 год.

17 мая. 7-го с Витей Фогельсоном у Слуцкого. Ему 60 лет. Явно ждал меня, и более чем всегда похож был на прежнего Слуцкого. К нему братское чувство.

24 мая. Сегодня с Виктором были у Слуцкого. Он интересуется окружающим.

29 мая. Перед отъездом навестил Слуцкого. Виктор не удержался, рассказывал ему о последних литературных происшествиях.

— Я очень огорчен, — повторил он по поводу Куняева и Глушковой.

Глушкову он считает умной женщиной...

2 сентября. У Слуцкого. Седые усы торчат двумя кустами. Говорит невнятно. И как-то странно, по-старчески...

Говорит, впрочем, умно. Спрашивает о событиях и знакомых.

Появились даже проблески планов на будущее.

Очень тяжело все это.

10 октября. Неужели умер Пазков? В болезни Слуцкий — лучшие поэты нашей генерации.

7 ноября. Каждый день звонит Слуцкий. Голос старческий и больной.

— Чувствую себя очень плохо.

При этом какой-то обычный для него прежнего интерес к миру. Вероятно, новая стадия болезни.

Лене советовал работать:

20 ноября. Утром съемка фильма о Борисе.

30 ноября. Слуцкий упорно отказывается от встречи.

1980 год.

12 июня. Стихи Слуцкого в «Дружбе народов». Хорошие.

5 ноября. Слуцкий никого к себе не допускает.

1981 год.

28 июля. Похороны Сергея (Наровчатова).

Слуцкий стоит в почетном карауле. По выходе: «Уйдешь?» — «Уйду». Но не ушел и простоял всю панихиду.

Ввели старую Лидию Яковлевну [мать Наровчатова. — П. Г.]. Слуцкий представился ей: «Я Слуцкий. Пришел разделить ваше горе».

29 сентября Очень плох Слуцкий.

1982 год.

7 мая Звонил Слуцкому в Тулу, поздравлял с днем рождения.

— Как ты себя чувствуешь?

— Плохо.

— Прочитал твою детгизовскую книгу. Это лучшая твоя книга.

— Прислать тебе «Залив»?

— Нет. Я ничего не читаю.

1983 год.

8 ноября Звонил Слуцкому в Тулу. Голос его довольно бодрый. Как обычно, расспросил обо всех. Я спросил о самочувствии. «Плохо».

Разговор скоро исчерпался.

1984 год.

7 мая. Звонил Слуцкому. Он мертв.

1986 год.

20 марта. 23 февраля утром скончался Борис Слуцкий. Одна из самых больших потерь.

1989 год.

15 октября. Обдумывал воспоминания о Слуцком.

10 ноября. Выступал на вечере памяти Слуцкого.

7 декабря. Пишу о Слуцком.

### Из «Общего дневника»

25 декабря 1981 года. Слуцкий свое восхождение воспеваает как социальную норму. В этом он учитель Евтушенко. Но у него есть совесть.

9 марта 1986 года. Разница между мной и Слуцким в том, что он принадлежит к легендам, а я к мифам.

26 апреля 1987 года. Чтобы написать поэму, вовсе не нужен сюжет. Сюжеты подворачиваются сами. Нужно объемное состояние чувства. Нужно «поэзное сознание».

У Слуцкого его никогда не было.

### Из переписки с Петром Гуреликом

(«Нева», 1998, № 9)

5.6.64 Твой друг Слуцкий недавно вернулся из Коктебеля, куда уехал внезапно, повергнув всех в изумление и даже некоторый страх. Вообще в страхе он держит всю литературную Москву, включая даже такого отважного человека, как Илья Григорьевич. Опасаемся, что он скоро начнет пугать и вышестоящие инстанции. Что тогда будет с нами — не знаю. Меня он вряд ли пощадит.

С. 178.

12.6.67 Видел дважды Бориса. Он очень встревожен болезнью Тани. Очень их жалко.

С. 179.

21.2.77 Получил твое печальное письмо о похоронах [хоронили Таню — жену Бориса Слуцкого. — П. Г.]. Жалко, страшно жалко Бориса. Все эти дни пытаюсь написать ему письмо, но так отвык от разговора с ним, что все боюсь — не наткнусь ли на что-нибудь



болезненное и неприятное ему. А пустое письмо писать не хочется. И едва ли оно ему нужно...

Мы, конечно, не представляем себе, каковы были реальные отношения между Борисом и Таней. Но думаю, что для него она огромное переживание. Он натура глубокая, глубинная, и такое не может не оказать сильного влияния на всю его последующую жизнь. Смягчится ли он, захочет ли дружбы? Или, наоборот, замкнется, станет еще (неразб.) и замкнутее. Кто знает!

*С. 183.*

15.10.77 ...Всегда свербит мысль о Борисе. Конечно, хорошо бы было, если бы все трое [Д. С. имеет ввиду, кроме меня, Исаака Крамова. — П. Г.] собрались около него, но кажется, сейчас это невозможно, хотя бы для тебя...

*С. 185.*

8.7.78 Еще одно приятное в твоём письме — сообщение, что Борису получше. То же пишет и Изя. Пришли мне телефон больницы, отсюда же можно позвонить.

*С. 187.*

16.9.79 Был у Бориса. Он физически выглядит очень плохо — стар, слаб... Но впервые услышал от него планы на будущее. Тогда его должны были выписывать через две недели — то есть сейчас. Он собирался поехать к Фиме, но предварительно хотел что-то сделать в Москве. Это меня скорее испугало, чем обрадовало. Меня он встретил очень приветливо. Мы часа полтора с ним гуляли. Два месяца у него никто не был. Мне кажется, что об этом он говорит с горечью. Его идея, что он не хочет никого видеть, видимо, в значительной мере самозащитная. Близких людей он видеть хочет...

*С. 188.*

20.2.1980 Два дня как мы из Москвы... Бориса я не повидал. Дважды убеждал его по телефону встретиться, но он решительно отказывался и, кажется, мало кого или вовсе никого не видит. Как с ним будет, долго ли пробудет с ним Фима — ничего не знаю. Борис как-то твердо (как всегда у него) настаивает на своем сумасшествии, как будто принял решение быть сумасшедшим. Часть ли это болезни или часть Бориса — не могу решить....

*С. 189.*

25.6.1980 Несколько дней назад получил подробное письмо от Шуры Шапиро [друг Д. С., поэт, врач. — П. Г.] с описанием встреч со Слуцким. Грустная, безнадежная картина. Как-то постоянно отгоняю от себя мысли о Борисе, понимая, что здесь ничего не поделаешь. В письме Шуры очень точно передан Борис со всеми прежними свойствами, но деформированный и уже, конечно, не он. Плакать хочется от жалости и бессилия.

С. 190.

25.8.1981 Недавно получил очень тревожное письмо от Шуры Шапиро о Борисе. Тот позвонил ему и потребовал, чтобы Шура помог ему в самоубийстве. Правда, вскоре позвонил снова и сказал, что дело отменяется. Шура в панике написал мне, и я посоветовал сообщить об этом врачу и Фиме. Впрочем, он сам догадался по телефону, что для врача это было неожиданностью и он сильно встревожился. Велел Шуре отговаривать и тянуть, если просьба будет повторена.

Мне кажется, что это не категорическое решение. Зачем тогда было бы ввязываться в это Шуру. Видимо, ему нужен человек, с которым он мог бы прокручивать этот сюжет. И надо сказать, что лучшего чем Шура он не нашел бы.

Там же. С. 191.

### Письмо Борису Слуцкому

*(передано в больницу через П. Горелика)*

Пеца недавно звонил, говорил, что тебе получше. Надеюсь, что ты уже не в больнице.

Знаю, как ты не любишь всякого рода выражения чувств, поэтому опускаю эту часть письма. Могу сказать только, что *всегда помню о тебе, люблю тебя*.

Мы уже так давно не разговаривали толком и так разделили свою душевную жизнь, что трудно писать о чем-нибудь существенном. Не знаешь, с чего начать. А может быть, к чему-то и надо вернуться, потому что во мне всегда жило печальное чувство нашей разлуки. Возвращение может быть началом чего-то нового, которое окажется нужным нам обоим.

Мы с тобой всегда внутренне спорили. А теперь спорить поздно. Надо ценить то, что осталось, когда столько уже утрачено.

Я сейчас продумываю и стараюсь описать свою жизнь. Многое нуждается в переоценке.

В сущности, самым важным оказывается твердость в проведении жизненной линии, в познании закона своей жизни. В этом ты по-своему был силен. И, надеюсь, что и в дальнейшем будешь вести свою линию, которая для многих — пример и нравственная опора. Хотелось бы, конечно, не сейчас и, может быть, не скоро, побыть с тобой вдвоем.

Будь здоров. Обнимаю тебя. Твой Дезик. (Пярну, май, 1977)

### Из переписки с Л. К. Чуковской

В Москве успел навестить Слуцкого. Он сам позвонил и пригласил, а в предыдущие месяцы звонил с просьбой не приходить. Ему явно лучше, и разговаривает он в прежнем стиле, т. е. задает вопросы и выдает формулы.

Подарил мне свое «Избранное». Его сильно пощипали редактора. И все же книга получилась сильная, где главное своеобразие — личность самого Слуцкого. При всех недостатках нашего поколения он его выразил точно, даже недостатки. Он всегда умышленно держался в рамках поколения, и для молодых, наверное, выглядит, как поэт прошлого времени. Мы, особенно до тридцати лет, старались свести концы с концами. Позже многие от этого отказались и, как это ни странно, больше сохранили ценность, чем Слуцкий.

*Середина января 1981*

Очень мне нравятся посмертные публикации Слуцкого. Это поэт, которого надо читать в большем объеме, он накапливается в сознании.

*15.02.89 Пярну*

\*\*\*

Слуцкий высоко ценил и всю жизнь перечитывал Хлебникова. Но для того, чтобы выделить из тугого сплава его поэзии хлебниковские черты, нужно предпринять детальное исследование. Думаю, что оно будет результативным. Уже взрослым поэтом Слуцкий написал стихотворение о захоронении праха Хлебникова на Новодевичьем кладбище. Если память мне не изменяет, он при этом присутствовал, и стихотворение написано по живому впечатлению.

*Д. Самойлов. Хлебников и поколение сорокового года.*

*В «Избранных произведениях в двух томах».*

*М.: Худ. литература, 1990. Т 2. С. 285–286.*

Об одном нашем друге Слуцкий сказал: «Павел Коган его делает таким, каким хотел бы быть сам».

Мне он отводит роль Летописца.

*Д. Самойлов. «Есть в наших днях такая точность».*  
*«Литературная газета», 1985, № 20. С. 5.*

### Виктория Мальт

В. Мальт приводит запомнившиеся ей строчки Слуцкого, написанные до войны и неизвестные современному читателю <sup>1</sup>:

Жизнь — это вещь. И это факт.  
И очень стоит жить.  
И можно многое стерпеть  
и многое простить.

*В. Мальт. О Павле Когане.*  
*«Вопросы литературы», 1995, вып. 2.*

### Николай Глазков

...Кульчицкий познакомил меня с поэтом Кауфманом (то есть с будущим Давидом Самойловым) и отважным деятелем Слуцким. Я познакомил Слуцкого с учением небывализма, к чему Слуцкий отнесся весьма скептически... Был еще Павел Коган. Он был такой же умный, как Слуцкий, но его стихи были архаичны.

Весь Литинститут по своему классовому характеру разделялся на явления, личности, фигуры, деятелей, мастодонтов и эпигонов.

Явление было только одно — Глазков.

Наровчатов, Кульчицкий, Кауфман, Слуцкий и Коган составляли контингент личностей...

*Из книги: Воспоминания о Николае Глазкове. М., 1989.*

### Борис Шахов

Помнится, как Борис Слуцкий, когда его принимали в Союз писателей, в заключительном слове выразил сожаление, что такие талантливые поэты, как Глазков и Самойлов, не члены Союза.

*Там же. С. 171.*

<sup>1</sup> Воспоминания Виктории Мальт, предназначались для сборника «В том далеком ИФЛИ», посвященного памяти погибших на войне ифлийцев. Хотя Борис Слуцкий не был студентом ИФЛИ, В. Мальт не могла обойти его имя — слишком заметным и близким был Слуцкий в кругу ифлийских поэтов. — *Примеч. сост.*

### Юлиан Долгин

Большой известностью в литературных и студенческих кругах Москвы пользовались в ту пору [перед войной. — П. Г.] поэты-литинститутцы Павел Коган, Михаил Кульчицкий, Сергей Наровчатов, Дезик Кауфман (впоследствии Давид Самойлов) и Борис Слуцкий. Даю неисчерпывающий список... Я называю, по моему мнению, наиболее одаренных и перспективных. Правда, Слуцкий в особенно одаренных не значился (впоследствии он опроверг это заблуждение). Но зато ходил в общепринятых жожаках. Энергичный и деятельный, он уверенно командовал парадом и пользовался несомненным авторитетом среди коллег по перу.

...Вся ведущая плеяда молодых поэтов Литинститута участвовала в Отечественной войне, но не все вернулись с войны. Не вернулись романтики — Павел Коган и Михаил Кульчицкий. Оба, как положено романтикам, сложили головы на войне. «Любовь» всё же рифмуется в первую очередь с кровью.

Раньше других вошли в литературу Михаил Луконин и Сергей Наровчатов. Борису Слуцкому и Давиду Самойлову предстоял долгий и тернистый путь, прежде чем они достигли успеха.

...Студенческая аудитория. Выступают молодые поэты. Каждый выдает товар лицом. (Не огрубляю. Слуцкий мне говорил: «Долгин, выдай стих!») Среди плеяды Слуцкого был в моде критерий «Стихи на уровне моря».

*Там же. С. 95–97.*

### Георгий Куницын

...Не они Глазкову, а Глазков им (многим поэтам, дотянувшимся до самых больших почестей) расчищал творческие пути в поэзии.

Один Борис Слуцкий сказал об этом прямо и честно.

*Там же. С. 263.*

### Петр Вегин

Слуцкий его [Глазкова. — П. Г.], по-моему, боготворил. С лица его в момент исчезала комиссарская строгость, когда появлялся Глазков, и Слуцкий розовел и нежнел не то как дед при внуке, не то как отец при дите своем.

Слуцкий председательствовал на вечере, устроенном по случаю пятидесятилетия Глазкова... Жалею — сколько раз прежде и потом! — что не записал хотя бы вкратце выступление Слуцкого. Он говорил о Глазкове с гордостью и большой ответственно-

стью, говорил о большом поэте... и когда Слуцкий закончил, Коля зааплодировал первым. Слуцкому — не себе. Точности мысли, лаконизму и четкости другого художника.

*Там же. С. 389.*

### **Борис Жутовский**

...В то время я всюю «портреты времени» рисовать начал. Слуцкий меня подбил.

— Время, — говорит Боря, — время собирать надо. Леву [Разгона. — П. Г.], Боря, нарисуйте Леву...»

*«Столица», 1992, № 41. С. 60.*

### **Анна Андреевна Ахматова**

По воспоминаниям Лидии Чуковской

*(Л. К. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. М., 1997. Т. 2)*

...На столике и на постели разбросаны тетради, блокноты, листки. Чемоданчик открыт. К празднику сорокалетия советской власти Слуцкий и Винокуров берут у Ахматовой стихи для какой-то антологии: 400 строк. Анна Андреевна перебирает, обдумывает, выбирает, возбужденная и веселая... Отбор совершался под лозунгом: граница охраняема, но неизвестна.

Была раз у Анны Андреевны. Ардовы ушли на именины, и я сидела у нее очень долго, до двух часов ночи, пока не вернулись хозяева. Ей лучше. Она принимает какое-то лекарство, сосудорасширяющее, которое ей привез из Италии Слуцкий. Дай ему бог здоровья.

...Когда я пришла, Анна Андреевна вместе с Марией Сергеевной (Петровых) дозвонилась Галкину, чтобы поздравить с еврейской пасхой.

— Галкин — единственный человек, который в прошлом году догадался поздравить меня с Пасхой, — сказала она.

Потом потребовала, чтобы ей достали телефон Слуцкого, который снова обруган в «Литературной газете». (Слова Ахматовой «снова обругали» — относятся к статье И. Вербитского).

— Я хочу знать, как он поживает. Он был так добр ко мне, привез из Италии лекарство, подарил свою книгу. Внимательный, заботливый человек.

Позвонила Слуцкому. Вернулась довольная: «Он сказал, — у меня все в порядке».

Протянула мне эту книгу (это была первая книга Б. Слуцкого «Память»). Надпись: «От ученика».

— Нездоровится; нет ничего особенного... вот лежу и болтаю [по телефону. — П. Г.] с друзьями. Я решила уехать в Ленинград от вечера Литмузея. Пусть делают без меня... Я их боюсь, они все путают. Маринин вечер устроили бездарно. Приехал Эренбург, привез Слуцкого и Тагера — Слуцкого еще слушали кое-как, а Тагер бубнил, бубнил, бубнил, и зал постепенно начал жить собственной жизнью.

Из воспоминаний Н. Готхарда  
«Двенадцать встреч с Ахматовой»  
(«Время и мы», Нью-Йорк, № 106. С. 251)

Спрашиваю у А. Ахматовой кто из современных поэтов ей нравится:

— Вот московский поэт Давид Самойлов. Жаль, что он передержался в переводчиках.

И уже второй раз слышу:

— Иосиф Бродский. Настоящий поэт. Прочитайте его поэму «Исаак и Авраам».

Спрашиваю о Борисе Слуцком:

— От него ожидали большего.

### Юлий Оксман

...Самое странное — это желание А. А. (Ахматовой) напечатать «Реквием» полностью в новом сборнике ее стихотворений. С большим трудом я убедил А. А., что стихи эти не могут быть еще напечатаны...

Их пафос перехлестывает проблематику борьбы с культом, протест поднимается до таких высот, которые никто и никогда не позволит захватить именно ей. Я убедил ее даже никогда не показывать редакторам, которые могут погубить всю книгу, если представят рапорт о «Реквиеме» высшему начальству. Она защищалась долго, утверждая, что повесть Солженицына и стихи Бориса Слуцкого о Сталине гораздо сильнее рязят сталинскую Россию, чем ее «Реквием».

Ю. Оксман. Из дневника, который я не веду.  
В книге: Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991.

## Борис Пастернак

...У меня лежат книжки многих, в т. ч. Слуцкого, Евтушенко, Берестова и др., даривших мне свои выпуски, и я в них не заглядываю не из высокомерия или недостатка времени и не от того, что не предполагал, что не найду в них ничего интересного, а оттого, наоборот, только заурядное в таких случаях оставляет меня спокойным, все же заметное поднимает бурю противоречивых ощущений, приносящих мне терзание, как терзает меня, и еще сильнее, половина или большая часть сделанного мною.

*Из письма В. Вс. Иванову 1.7.58 г.  
Б. Пастернак. Собрание сочинений. М., 1991.*

## Надежда Яковлевна Мандельштам

Есть рассказы [о последних днях и часах О. Мандельштама. — П. Г.] и «реалистического» стиля с обязательным участием шпаны. Один из наиболее разработанных принадлежит поэту Р. Рассказывал мне эту историю Слуцкий и дал адрес Р, но тот на мое письмо не ответил.

*Из книги: Н. Я. Мандельштам. Воспоминания.  
4-е издание. С. 403.*

## Константин Симонов

...его книга «Память» [1957. — П. Г.] не стала запоздавшей книгой. Все, чем жил этот человек в военные и послевоенные годы, все, что отстоялось в его душе и памяти твердыми взглядами, убеждениями, нравственными оценками, все это было изложено читателю с достойной сдержанностью и прямоотой, с нехвастливой, но непоколебимой гордостью за свою страну, свой народ, сделавший то, что он сделал не только в годы сражений, но и после победы, поднимая из праха и пепла свою разоренную страну.

...мысленно переходя из книги в книгу Бориса Слуцкого... я повсюду вижу все ту же прочную закваску военных лет, все ту же мерку ответственной требовательности к себе и другим, с которой поэт подходит ко всем испытаниям в послевоенные годы.

*Из предисловия к книге: Борис Слуцкий. Избранное.  
М.: Худ. лит., 1980. С. 4.*



### Даниил Гранин

...Признаюсь, когда мне дали эту рукопись, я был убежден, что она устарела.

Времени порча не могла обойти ее, это же не повесть, не роман, это публицистика, тем более, что Борис Слуцкий создавал свои «Записки» сразу после войны. Прошло 55 лет, и каких лет!

...я удивлялся прочности этой неопубликованной книги Бориса Слуцкого. Какое счастье, что она не пропала!

*Из предисловия к книге: Борис Слуцкий. Записки о войне.  
СПб.: Логос, 2000. С. 12.*

Слуцкий, преимущественно поэт, в этих записках утвердил себя и прозаиком, мастером точных, мгновенных зарисовок, характеров, пейзажей.

*Там же. С. 14.*

### Владимир Лакшин

...Стало возможным писать о Сталине и репрессиях. Борис Слуцкий принес в газету [«Литературная газета». — П. Г.] свои стихи 1956 года «Бог» и «Хозяин»...

Борис Слуцкий рассказал, что возвращался с Твардовским в одном купе из Италии. Твардовский читал журнал со стихами Вл. Маркова и вдруг с яростью отшвырнул его. «Что же вы сердитесь, — сказал Слуцкий, — ведь он всюду на вас ссылается как на наставника».

«Мой грех, мой грех, — ответил Александр Трифонович. — Я из жалости напечатал когда-то его стихи».

*Из книги: Вл. Лакшин. Новый мир во времена Хрущева.  
М.: Книга, 1991.*

### Михаил Ардов

...Молчаливый, знающий себе цену Борис Абрамович Слуцкий.

Так и слышу его голос, доносящийся из маленькой комнаты. Он нараспев читает Ахматовой стихи про тонущих в море лошадей и притесняемых на суше евреев...

*Из книги: М. Ардов. Легендарная Ордынка. СПб., 1995.*

### Андрей Турков

...Как характерны неукоснительные, почти педантичные, в прекрасном смысле этого слова, напоминания Бориса Слуцкого о

необходимости собрать стихи погибших, сохранить «эти следы наших святых и героев», помочь их близким (с пунктуальнейшим указанием имен и адресов).

*Из книги: Воспоминания о литинституте. М., 1983.*

### Лев Шилов

...в дружеском кругу я сетовал на то, как мы относимся к своему прошлому и как мы не понимаем, что и наше настоящее станет прошлым и что ни в Доме литераторов, ни в Политехническом (где тогда начались триумфальные поэтические вечера) регулярных записей не ведется.

Но однажды эти разговоры я повел при человеке, который пустой болтовни терпеть не мог, и он мне сказал тоном военного приказа:

— Изложите все письменно.

Это был Борис Слуцкий, большой поэт и храбрый солдат.

*Л. Шилов. Вновь зазвучали голоса.*

*«Советская Россия», 1981, 11 февраля.*

### Варлам Шаламов

Я рад, конечно, возможности выступить [по телевидению. — П. Г.] от имени мертвых Колымы и Воркуты и живых, которые оттуда вернулись...

Слуцкий сделал вступительное слово... в тоне благожелательности, без акцента на прошлое, на лагерь. Характеристик моих трудов он не давал. Затем я прочел «Память», «Сосны срубленные» и «Камею» в полном неопубликованном варианте... Конечно я не мог и не имел права отказать. Устроил это все Борис Слуцкий.

*Из письма Я. Д. Грозденскому 14.5.1962 г.*

*«Знамя», 1993, № 5. С. 130.*

Борис Абрамович, вы рекомендовали мне С. С. Виленского, составителя альманаха «На Севере Дальнем». Мы встретились. Я хорошо знаком с учреждением, которое он представляет. За спиной Виленского стоят самые черносотенные фигуры издательского дела Крайнего Севера... На приглашение Виленского я ответил отказом. Уважающий В. Шаламов.

*Из письма Б. А. Слуцкому 21.12.1962 г.*

*Там же. С. 130–131.*

### Андрей Сергеев

У тогдашнего Слуцкого [после возвращения И. Бродского из ссылки. — П. Г.] была широта и желание что-нибудь тебе дать. Иосифу он понравился: «Добрый Бора, Бора, Борух».

*А. Сергеев. На полпути к гибели  
«Общая газета», 1997, № 4. С. 16.*

### Татьяна Бек

Борис Слуцкий, коего друзья дразнили комиссаром от словесности, уподоблял поэта преподавателю истории, творящейся на глазах.

Даже если стихи слагаю,  
Все равно — всегда между строк —  
Я историю излагаю,  
Только самый последний кусок.

Тем, кто ходил в начале 70-х в его семинар или просто мучил добросердечно-строгую поэта своими стихами, Борис Абрамович говорил то ли в шутку, то ли всерьез: «В вашем возрасте я писал еще хуже», а иногда добавлял: «Станете поэтом — только не пейте водку»... А следом шел скрупулезный разбор.

*Т. Бек. И дружба и служба.  
«Независимая газета», 2004, 20 мая.*

### Бенедикт Сарнов

Борис Слуцкий любил огорошить при встрече вопросом, который задавался обычно непререкаемым офицерским тоном:

— Что пишете?

— Так ...одну статью.

И тут неизменно следовал новый «офицерский» вопрос:

— Против кого?

Вопрос (хоть он и пародировал неволью знаменитый вопрос Остапа Бендера: «В каком полку служили») задавался отнюдь не в шутилом, а в самом что ни на есть серьезном тоне. И вкладывался в него вполне серьезный смысл. Дело было не только в том, что по глубокому убеждению Слуцкого, хорошим критиком следовало считать того, кто хвалит хороших писателей и ругает плохих. Неизменный вопрос этот объяснялся еще и тем, что в те времена (а было это в конце 50-х), что ни день, то появлялась новая

статья, нацеленная против тех, кто вошел — либо вернулся в литературу «на волне» XX съезда.

*«Огонек», 1988, № 6.*

### **Александр Борщаговский**

Даже сегодня нелегко понять, что хотя Сталин и умер, над всем собранием буквально витал дух Сатаны. Была еще инерция страха, порождавшая подлость, а более всего малодушие... Абсолютное большинство в зале составляли люди, не знавшие книгу, о которой шла речь, и в растерянности наблюдали, как те, кого они почитали, кто знал рукопись, резко критиковал роман Пастернака.

Помню, я ехал на это собрание с Ломоносовского проспекта... вместе с соседями Баклановым, Бондаревым, Слуцким. Моей главной тревогой было внутреннее болезненное состояние Слуцкого. Ведь он был секретарем партбюро объединения поэтов, о его согласии или несогласии выступить никто не спрашивал, его выступление было неотвратимо. И он, выступая, даже не назвал ни разу имени Пастернака. Это слабое утешение, но в свои две минуты речи говорил, можно сказать, общие слова о том, как наши идейные противники пользовались любимыми нашими опрометчивыми поступками. И каялся потом, и страдал потом всю жизнь.

*А. Борщаговский. Я баловень судьбы.*

*«Культура», 1998, 22 октября.*

### **Булат Окуджава**

Помню, хоронили поэта Заболоцкого. Вышел Слуцкий и сказал: «Наша многострадальная советская литература понесла тяжелую утрату». Что сказал? Правду. Но у собравшихся был шок: как это советская литература — мно-го-стра-дальная? Шептались: какой он смелый, как он рискнул сказать такое.

*Б. Окуджава. «...Как он дышит, так и пишет,  
не стараясь угодить...»*

*«Труд», 1993, 5 января. С. 3.*

### **Владимир Корнилов**

О лагерных поэтах Слуцкий написал замечательное стихотворение «Прозаики» («Когда русская проза пошла в лагеря...»). Помню, весной 1960 года он утром пришел ко мне и вполголоса, чтобы не услышали соседи, прочел эти строки. Тогда казалось, что

они никогда не попадут в печать. Я попросил его прочесть их еще раз и тут же запомнил на всю жизнь...

На мой взгляд, прекрасные стихи. Собственно, в них нет ничего кроме поэзии. Они созданы одним лишь воображением, хотя помню, что Слуцкий у всех возвратившихся из лагерей выспрашивал подробности тамошнего существования. Оно и понятно. Как поэт он чувствовал подспудную вину перед сидевшими. Впрочем, его не посадили лишь случайно. В марте 1953 года за ним уже следили, и умри Сталин на несколько недель позже, не миновать бы поэту лагеря.

*Вл. Корнилов. Реликвии.*

*«Знамя», 1991, № 7.*

Помню, как в пору первой оттепели мой друг, прекрасный поэт Борис Слуцкий, впервые поехал в Италию. Его там принимали коммунистические издатели, они не жалели фимиама, и он, человек наивный, от этих похвал буквально потерял голову. «Борис, не хвастайтесь, — сказал я ему, когда он вернулся. — Стоит Пальмиро Тольятти выступить против вас — и все эти издатели дружно вас заругают». На что Слуцкий мне ответил: «Если Пальмиро Тольятти посмеет меня тронуть, трудно ему придется в его партии». Тогда я спросил: «А если против вас выступит Хемингуэй?». Слуцкий нахмурился и пробормотал: «Тогда трудно придется мне».

*Круглый стол «Художник и власть».*

*«Иностранная литература», 1990, № 5.*

## **Владимир Огнев**

На Тверской [У И. Г. Эренбурга. — П. Г.] не раз бывали со Слуцким. Помню первый ужин, когда выкатили к столу десертный столик с дюжиной бутылок французского вина. Меня, провинциала, почему-то поразила одна деталь: все бутылки были уже откупорены и уровень жидкости в них колебался от четверти до трех четвертей. Початость бутылок удивила меня. Обычно при гостях откупоривают сосуд, думал я. На деревянных дощечках был нарезан сыр, много сортов сыра. В вазе были фрукты — груша, виноград, еще что-то заморское, чему я не знал названия.

Говорили Слуцкий и И. Г. Я редко вступал в разговор. Стеснялся их эрудиции. Слуцкий, человек чуткий, попытался втянуть меня в спор о роли государственного мышления в произведениях. И. Г. весело-иронически возражал Борису. Тот ссылался на творчество самого хозяина.

— Это не совсем то, о чем вы говорите, Борис, — отвечал Эренбург и вдруг спросил, знаем ли мы оба о том, кто первый ввел в обиход выражение «справедливые войны».

— Сталин, наверное, — недовольно отозвался Борис.

— Фридрих Второй, — победно усмехнулся Эренбург.

Это была на моей памяти первая и последняя промашка Слуцкого.

*«Вопросы литературы», 2000, № 4.*

## Михаил Львов

Как-то (Кульчицкий) спросил меня:

— Сколько стихотворений написал вчера?

— Нисколько.

— А Слуцкий записал четыре стихотворения.

Это был и пример и вызов на соревнование.

... Борис тогда (1940 год) уже был одним из лидеров юного поколения. Был любимейшим учеником Ильи Сельвинского, много работал, писал...

В его взглядах, в поведении его жила «комиссарская жилка». И — яростный яacobинский слог утверждения и отрицания, повеления и приказа звенел в молодых стихах его.

Мы тогда еще не предвидели 41-го года, но ощущали предгрозы. Офицер, политрук, переводчик Борис Слуцкий в полной мере хлебнул из чаши войны.

В Харькове фашисты расстреляли его родных.

С войны он вернулся инвалидом, с огромным грузом трагизма в душе, с орденами и медалями, со стихами и прозой. Но стихи не носил в журналы. Почти никому не показывал. Жил на скудную инвалидную пенсию и скудные заработки на радио (не за стихи). Но война продолжала работать в нем, стихи продолжались, писались, копились, и только через десять лет он выступил с чтением своих стихов на секции поэтов Москвы, и то не по своей инициативе — это было предложение Льва Озерова.

Еще живые тогда классики советской поэзии Павел Антокольский, Михаил Светлов, Илья Эренбург, Ярослав Смеляков, Михаил Луконин и многие другие участники обсуждения выступили с горячими речами.

Светлов сказал в своем выступлении:

— Так появился в Москве когда-то Багрицкий — сразу большим поэтом!

В тот день Борис Слуцкий навсегда вошел в нашу поэзию.

Слуцкого всегда читать интересно, его стихи остросовременны, бескомпромиссны, он старается схватить суть, он пишет о том, что волнует всех.

Его строки обеспечены золотом биографии, ума, таланта, подвига.

*Из книги: М. Львов. И жизни смысл высокий.  
Челябинск, 1987.*

### **Виктор Федотов**

В добротном офицерском полубубке запомнился мне Борис Слуцкий. Ему было интересно познакомиться с теми, кто заменил их [ушедших на фронт. — П. Г.] в Литинституте. Робко, но охотно читали мы свои стихи. Первое знакомство с годами переросло в теплую дружбу.

*Из книги: Воспоминания о Литинституте.  
М., 1983.*

После войны Слуцкий появился в Москве чуть ли не позже всех. Был он уже майором... Запомнился выход его первой книги, разноречивые отзывы о ней. Моя вторая уже книга надолго застряла в издательстве «Молодая гвардия». Мне поставили условие: если напишет предисловие член редсовета Борис Слуцкий, книга быстро выйдет. И Слуцкий написал, чего, видимо, не ждали... Над Слуцким сгущалась гроза местного значения. Искали предлог, чтобы вывести его из редсовета.

Книга все же вышла с дорогим для меня предисловием.

Борис Слуцкий был очень партийным поэтом. Когда меня принимали в члены СП, я пришел в ЦДЛ и увидел Слуцкого. Спросил его, почему он не на приемной комиссии, как мне обещал.

— Там будет все в порядке, — заверил он меня. — О тебе хорошо отзывается Леонид Мартынов, а я спешу на партсобрание.

Еще о партийности поэта. У многих тогда возникло недовольство Брежневым... Я спросил у Слуцкого, какого он мнения о нашем партийном вожде.

— Мы очень многим обязаны Брежневу, — сказал он. — Благодаря ему страна много лет живет без войны.

*В. Федотов. Очень партийный поэт.  
«Литературная Россия», 1998, 1 мая.*

### Галина Аграновская

...Как газетчик Анатолий Аграновский рассчитывал на понимание широкого читателя, но одобрения искал в небольшом дружеском окружении. При том, что был абсолютно не тщеславен.

Помню позвонил Борис Слуцкий:

— Небось гордишься, что сам Брехт тебе стихотворение посвятил?

— Чем гордиться? Книжка плохая.

*Г. Аграновская. Газет много — имен мало,  
«Общая газета», 1995, № 5. С. 10.*

### Генрих Сапгир

В конце 50-х годов я познакомился с другой группой (поэтов). Это были старшие с войны: Борис Слуцкий, Самойлов, Леон Тоом и другие. Борис Слуцкий имел комиссарский характер. И однажды, уставя в грудь мою палец, он произнес: «Вы, Генрих, формалист, поэтому можете отлично писать стихи для детей». И тут же отвел меня к своему другу Юрию Тимофееву — главному редактору издательства «Детский мир». С тех пор я и пишу для детей.

*Сапгир Г. Автобиография*

...Помню, поэт Борис Слуцкий говорил мне: «Вы бы, Генрих, что-нибудь историческое написали. Во всем, что вы пишете, чувствуется личность. А личность-то не годится». Он и для детей по советовал мне писать, просто отвел за руку в издательство.

*Сапгир Г. Андеграунд вчера и сегодня.  
«Знамя», 1998, № 6.*

... Слуцкий был каким-то звеном между нами [неофициальной литературной Москвой. — П. Г.] и «официозом». Он привозил к нам в Лианозово Эренбурга.

*Сапгир Г. В меня был вложен другой заряд.  
«Вечерний клуб», 1992, 4 июля. С. 6.*

### Борис Галанов

Я познакомился с Борисом Слуцким после войны. Военную форму он давно снял. Но военной косточкой остался на всю жизнь. Свое отношение к тому, что порицал, высказывал прямо, не лукавя, с суровой открытостью и резкостью, присущей его стихам.



Имя Слуцкого читатели знали. Он много писал, печатался, еще больше стихов ходило по рукам в списках. Пора было напечатать и в «Литературке»... Но при Кочетове это было невозможно... Слуцкий в его профсоюзе не значился.

*Из книги: Б. Галанов. Записки на краю стола. М., 1996.*

### **Инна Гофф**

...Среди бела дня раздался телефонный звонок. Звонил Борис Слуцкий.

Он сказал: «Умерла Нина Нелина...»

И повесил трубку.

*Из книги: И. Гофф. На белом фоне. М., 1993.*

### **Джон Глэд**

(В «Тарусских страницах») впервые появились такие крупные имена, как Давид Самойлов, Вл. Корнилов, Борис Слуцкий.

*Из книги: Джон Глэд. Беседы в изгнании.*

*М.: Книжная палата, 1995.*

### **Борис Гасс**

...У нас была назначена встреча с Борисом Слуцким. Слуцкий принес с собой несколько стихов. Мы ему передали подстрочники [грузинских поэтов. — П. Г.]... На прощание Борис Слуцкий дал нам еще стихотворение [«Когда русская проза пошла в лагерь». — П. Г.], предупредив: «Навряд ли сможете напечатать, но попробуйте».

Номер был декадный, «русский», и стихотворение проскочило...

Борис Слуцкий в благодарность за публикацию прислал нам книгу с автографом: «Республиканским редакторам от потрясенного их смелостью автора районного масштаба. Борис Слуцкий».

*Из книги: Б. Гасс. Задуй во мне свечу. Лондон, 1984.*

### **Дмитрий Сухарев**

...Согласно статистике, люди бородатые являют склонность к проповедничеству (исключая тех, кто носит не настоящую бороду, а бороденку). Но у Корнилова причинно-следственные отношения между бородой и проповедью остаются запутанными, тем более что он проявлял выраженную склонность к исповеди. На-

смешник Борис Слуцкий имел на этот предмет, как всегда, четкую точку зрения: он говорил, что Корнилов носит бороду «дабы скрыть вялый подбородок постепеновца».

*«Иерусалимский журнал», № 11, 2002.*

### **Евгений Агранович**

...Было у меня стихотворение «Еврей — священник», которое в 60-е годы ходило по рукам... Его приписывали сначала Слуцкому, а через много лет Бродскому. Борис Слуцкий мне рассказывал, что его вызывали «органы», показывали это стихотворение, пытаясь узнать, чье это сочинение. Слуцкий сказал, что не знает, хотя знал прекрасно, потому что я ему первому дал прочесть, но меня он не продал...

*Из интервью (Сайт «Алеф»)*

### **Вадим Кожинов**

...И. Э. Бабель записывает в дневнике об исчезающих на его глазах еврейских местечках в черте оседлости: «Какая мощная и прелестная жизнь здесь была»... Р. И. Фраерман с глубокой горечью говорил о том, что в пределах этой самой «черты» в течение столетий сложились своеобразные национальное бытие и неповторимая культура, которые теперь, увы, безвозвратно потеряны.

Я рассказывал тогда же о сетованиях Фраермана близкому мне поэту Борису Абрамовичу Слуцкому, и он не без гнева воскликнул: «Ну, Вадим, вам не удастся загнать нас обратно в гетто!» Подобное намерение, разумеется, даже и не могло прийти мне в голову — уже хотя бы в силу его утопичности. Тем не менее «реакция» Слуцкого была, несомненно, типичной для евреев, которые не могли иметь представления о реальной жизни в «черте оседлости», — несмотря на то, что жизнь эта нашла художественное и, более того, поэтическое воплощение, скажем, в прозе Шолом-Алейхема и живописи Шагала.

*Из книги: Россия. Век XX-й (1901–1939). М., 1999.*

### **Евгений Евтушенко**

В то время, когда в Союзе писателей шла суетливая возня вокруг золотых и серебряных медалей, по Москве чеканно военной походкой ходил прекрасный поэт Борис Слуцкий, напечатавший только одно стихотворение, да и то в сороковом году. И, как ни странно, он был спокойней и уверенней всех нервничающих

кандидатов в лауреаты. Оснований для спокойствия у него как будто не имелось. Несмотря на свои 35 лет, он не был принят в Союз писателей. Он жил тем, что писал маленькие заметки для радио и питался дешевыми консервами и кофе. Квартиры у него не было. Он снимал крошечную комнатку. Его стол был набит горькими, суровыми, иногда по-бодлеровски страшными стихами, перепечатанными на машинке, которые даже бессмысленно было предлагать в печать.

И тем не менее Слуцкий был спокоен. Он всегда был окружен молодыми поэтами и вселял в них уверенность в завтрашнем дне. Однажды, когда я плакался ему в жилетку, что мои лучшие стихи не печатают, Слуцкий молча открыл свой стол и показал мне груды лежащих там рукописей.

— Я воевал, — сказал он, — и весь прошит пулями. Наш день придет. Нужно только уметь ждать этого дня и кое-что иметь к этому дню в столе. Понял?!

Я понял.

*Из книги: Е. Евтушенко. Волчий паспорт. М., 1998.*

Однажды поэт Борис Слуцкий сказал мне, что все человечество он делит на три категории: на тех, кто прочел «Братьев Карамазовых», на тех, кто еще не прочел, и на тех, кто никогда не прочтет.

*Из книги: Е. Евтушенко. Точка опоры. М., 1981.*

Неожиданным для многих и для меня было то, что на собрании против Пастернака выступили два крупных поэта — Мартынов и Слуцкий.

После этого — единственного в своей безукоризненно честной жизни предательского поступка — Слуцкий впал в депрессию и вскоре ушел в полное одиночество, а затем в смерть. И у Мартынова и у него была ложная идея спасения прогрессивной интеллигенции в период «оттепели», отделив левую интеллигенцию от Пастернака. Но само «дело Пастернака» было страшным ударом по «оттепели».

*Из книги: Е. Евтушенко. Политика привилегия всех.  
М.: АПН, 1990.*

Критики когда-то писали, что интерес к нашей поэзии — это мода и она скоро пройдет. Но прав был Слуцкий, сказав, что если

мода не проходит в течение стольких лет, то это может быть не мода, а любовь.

*Из книги: Трава после нас. М.: АПН, 1988.*

### Маргарита Алигер

...Твардовский не раз приглашал в журнал Бориса Слуцкого, но умный Слуцкий вежливо отказывался, понимая, что добром это не кончится...

*Из книги: М. Алигер. Тропинка во ржи (о поэзии и поэтах).*

*М.: Советский писатель, 1980.*

### Анатолий Найман

...Мы ценили талант сверстников: Горбовского, Еремина, Уфлянда, а в Москве — Красовицкого, Хромова, Черткова. Уважали Слуцкого за серьезность, с которой он складывал бесхозные слова в строчки, считая, что армейско-протокольный способ их соединять ведет к правде.

...Я был захвачен врасплох и обескуражен скандалом, который не ожидая того спровоцировал. Дело было в квартире Алигер, где Ахматова короткое время обреталась. Я навестил ее и был приглашен хозяйкой к обеду. К столу вышли еще две дочери Алигер и украинский поэт, имени которого я не запомнил. В этот день на сценарные курсы приходил Слуцкий, рассказывал слушателям, в их числе и мне, о социальной роли современной поэзии. Сделал упор на том, как вырос спрос на стихотворные сборники: «Пятидесятитысячные тиражи не удовлетворяют его, а всего полвека назад „Вечер“ Ахматовой вышел тиражом триста экземпляров: она мне рассказывала, что перевезла его на извозчике одним разом». В середине обеда я, как мне показалось, к месту пересказал его слова. «Я?! — воскликнула Ахматова. — Я перевозила книжки? Или он думает, у меня не было друзей-мужчин сделать это? И он во всеуслышание говорит, будто я ему сказала?» «Анна Андреевна! — накладываясь на ее монолог, высоким голосом закричала Алигер. — Он хочет вас поссорить с нашим поколением!» Он был я, но эта мысль показалась мне такой нелепой, что я подумал, что тут грамматическая путаница. Я не собирался ссорить Ахматову со Слуцким, но меньше всего мне приходило в голову, что Слуцкий и Алигер одного поколения и вообще одного чего-то.

*А. Найман. Рассказы о Анне Ахматовой.*

*«Новый мир», 1989, № 1. С. 190, 191.*

**Константин Ваншенкин**

...Мне рассказывал Искандер, как он когда-то долго шел со Слуцким по Ленинградскому проспекту (было по дороге) и с колоссальным интересом и притетом слушал его.

В какой-то момент он неожиданно спросил у Фазиля:

— Вы член партии?

Тот, разумеется, ответил отрицательно.

Боря промолвил сухо и твердо:

— Тогда не смогу с вами об этом говорить.

Именно его дисциплинированность сыграла с ним в жизни злую шутку.

*Из книги: К. Ваншенкин. Писательский клуб.*

*М.: Вагриус, 1998.*

...Однажды летним утром 1974 года у меня дома раздался телефонный звонок:

— Константин Яковлевич? С вами говорит старший лейтенант КГБ К. (он, разумеется, назвал свою фамилию полностью).

И после короткой паузы, во время которой я должен был осознать значительность происходящего, объяснил, что он курирует Московский союз писателей и хотел бы со мной встретиться. Но вот где и когда?

Я, понятно, не стал откладывать и назвал ЦДЛ, поскольку сегодня собираюсь часа в два быть по делам в Союзе.

Он ответил, что нет, там неудобно, и предложил увидеться в 13 часов поблизости — в скверике на площади Восстания. Тем более, что погода хорошая. Так вот, если встать лицом к высотке, то на ближайшей к зданию скамье, в крайнем правом ряду. Я вас узнаю, заверил он, а вы — меня: я высокий такой, баскетбольный парень.

В назначенное время, выйдя из троллейбуса, я пересек Садовое кольцо и пошел по правой аллейке. Действительно, с последней скамейки поднялся навстречу высокий, стройный, довольно молодой человек и пожал мне руку. Я попросил предъявить документы, он раскрыл в ладони удостоверение и подержал там несколько секунд. Мы сели.

Ясное дело, я с самого начала понятия не имел, о чем или о ком он хочет со мной говорить, и не пытался угадать — бесполезно. Но напряжение ожидания присутствовало.

Вдруг он спросил:

— Константин Яковлевич, скажите, где вы были летом сорок четвертого года?

— Что?! — едва ли не вскричал я. — Где я был? Я в составе 4-й гвардейской воздушно-десантной бригады находился в Белоруссии. В частности в городе Старые Дороги. И, к счастью, тому есть немало свидетелей...

— Да вы не волнуйтесь! — перебил он меня.

— Я как раз поэтому и не волнуюсь.

Тут он, оправдываясь, начал объяснять, что вопрос к делу отношения не имеет, что это личный вопрос. А именно: его дядя, читая прозу Ваншенкина, решил по каким-то подробностям, что они с Ваншенкиным однополчане, и попросил уточнения...

— Не знаю никакого дяди, — ответил я.

Тогда К., помедлив, перешел к тому, ради чего он меня, собственно, по его выражению, и побеспокоил. Что я могу сказать о Борисе Слуцком?

— О Слуцком? Станный вопрос. В каком смысле — что? Слуцкий — замечательный поэт, один из лучших. И он настоящий коммунист, идейный, принципиальный. Очень честный, болеет за все, что происходит, воспринимает как личное...

Он перебил меня:

— Вы серьезно?

Я удивился:

— Конечно. Прошел войну, несколько наград, вы сами знаете. А как он радуется удачам товарищей, поддерживает молодых! Да если бы все были, как Слуцкий... А почему вы меня спрашиваете?

— Ну ладно, — заключил он разочарованно. — А знаете ли Сарнова?

По его ударению я понял, что он встречал эту фамилию только на бумаге. Знаю и Сарнова. Мы учились в одно время в Литинституте, правда, на разных курсах. Критик, пишет статьи и книги, по моему, о советской классике. Ничего предосудительного сказать о нем не могу. (Забавно, но в ту пору я был с Беном в длительной размолвке, не разговаривал и не здоровался.)

На этом наличие вопросов, как я понял, исчерпалось. Но напоследок К. бодро сказал:

— Константин Яковлевич, а еще у меня к вам будет просьба. Вы человек известный, вас уважают. Вы часто бываете в ЦДЛ, в ресторане. Вот будете как-нибудь сидеть со знакомыми за столиком, я подойду, поздороваясь, а вы меня пригласите за стол.

Потом, если вам нужно уходить, вы уйдете, а я останусь с ними.

Я поинтересовался: а как же я вас представлю?.. Он: да никак, это же необязательно... Я: нет, так не годится. Тогда уж я вас отрекомендую как куратора от вашей организации... Он совсем поскучнел и сказал, что это нежелательно. Тут мы и расстались.

*К. Ваншенкин. В мое время. (Из записей).  
«Знамя», 1999, № 3.*

### **Марк Гольберг**

В Харькове у Кульчицкого было много друзей. Одним из самых близких был Борис Слуцкий. Мне кажется, что именно он повлиял на решение Михаила поступить в Литературный институт.

*Из книги: М. Гольдберг. Вместо счастья.  
Харьков: Прапор, 1991.*

### **Владимир Цыбин**

Здесь, во дворе Литинститута, я познакомился с Борисом Слуцким. Он навещал старших литинститутовцев, своих друзей.

Уже тогда многие его стихи ходили в списках.

Слуцкий был прост, уверен и доброжелателен со всеми и откуда-то знал лучшие наши стихи, иные — наизусть. Это нам льстило. Как же, сам Борис Слуцкий, чьими подпольными стихами Литинститут подпольно зачитывался.

От Слуцкого мы узнали о Гумилеве, о стихах Лозинского. Особенно настаивал Борис Слуцкий на том, что никто не ценит такого поэта, как В. Пяст.

— Его высоко ценили Блок и Гумилев, — со свойственной ему стальной убежденностью говорил он. — Мы все в большинстве растем вширь. А вот Пяст — упорно куда-то в сторону.

*Из книги: Вл. Цыбин. Удивления.  
М.: Сов. писатель, 1991.*

С Борисом Слуцким меня связывало долголетние книголюбческие симпатии. А книгу он любил и хорошо знал, вернее, забытые имена книг. Так, он говорил, что мечтает о том времени, когда появятся у нас в России книги рано умершей в Париже русской поэтессы Ирины Кноринг.

— Это большая поэтесса, — сказал он при встрече со мной.

Впервые я услышал имя Э. Паунда от него.

Мне нравилась эта щедрость делиться открытиями с другими, ведь я был в творчестве и в жизни так далек от него. Он любил и забытые и новые таланты: очень помог (на начальной стадии) А. Передреву, Ст. Куняеву и многим другим.

*Там же.*

### Семен Липкин

Как со сборником — ты не написал мне, как Слуцкий отнесся к нему и какой ему предсказывают гороскоп. (Примечание к письму — «Поэт Б. А. Слуцкий решил отнести сборник моих стихотворений в издательство «Советский писатель». В сокращенном виде этот мой первый сборник «Очевидец» вышел в 1967 году»).

*Из письма В. Гроссману от 13.02.1963 г.*

*С. Липкин. Сталинград Василия Гроссмана.*

*Анн Арбор, 1986.*

### Кирилл Померанцев

...В холле я встретил [ноябрь 1968, Париж. — П. Г.] Бориса Слуцкого. Я знал его стихи и познакомился с ним в «Кайре». Он пригласил меня в бар. Мы выпили по чашке кофе и минут пятнадцать поговорили. Я сказал, что люблю его «Лошадей в океане». Он пожал плечами и признался: «У нас хорошие стихи не печатают и не читают. Хорошие стихи лежат в ящиках столов. Приезжайте в Москву, приходите ко мне, я вам почитаю хорошие стихи». Потом вынул из нагрудного кармана авторучку, черную, грубую, но наверняка «настоящую» и, передав мне, сказал: «Возьмите на память». Я ее бережно храню. Бедный, милый Борис Абрамович. Вскоре он заболел какой-то психической болезнью...

«Горек жребий русского поэта»

*Из книги: К. Померанцев. Сквозь смерть. Воспоминания.*

*Лондон, 1986.*

### Аркадий Штейнберг

Как-то после окончания Великой Отечественной войны проходил очередной прием в члены Союза писателей. Обсуждались бывшие военные журналисты. Когда стало ясно, что кандидатуры проваливаются, попросил слова поэт Борис Слуцкий, и сказал только одну фразу:

— Их назвал кремлевскими шавками сам Гитлер!

Приняли, разумеется, единогласно.



### Борис Ямпольский

Воспитанник хвалынского детдома [Юрий Болдырев. — П. Г.], мальчонка в гипсовом воротнике с книжкой под мышкой, а к моменту встречи нашей (через прилавок) студент-заочник, проживал с бабушкой в Плубучевом овраге, в ее трухлявой халупе. До того трухлявой, что по весеннему половодью половички выжимать приходилось, выбрасывать на просушку. А фотокарточку мне подписывал: «От того, кому на Руси жить хорошо!».

Оно и впрямь было — дай Бог каждому.

По крайней мере, пока не прищучили «за хранение и распространение», не выставили в рубрике «У позорного столба» в областной газете и не выдворили «решением коллектива» с работы. Бодрился: «С Земли не столкнут!» — и утек в Подмосковье, (я — в Петрозаводск). «Зачем тратитесь на авиаконверты, — писал, — что авиа, что не авиа — один черт». «Не имей сто рублей!..» — веселился другой раз.

Очутился литсекретарем Слуцкого.

Борис Абрамович — Тане: «Если ты уйдешь от меня, я женюсь на Юре Болдыреве и буду издавать в год по книжке!». Шутки шутками, но служения своему поэту верой и правдой Юре было не занимать. И уже безвозвратно больной Борис Абрамович оставляет на него свой архив, весь итог жизни своей.

Умоляю вас Христа ради,  
С выбросом просящей руки:  
Прочитайте мои тетради,  
Расшифруйте черновики!

И прочитал, и расшифровал, и вымахал на белый свет *невиданного* Бориса Слуцкого в трех томах — тройкой, сам на облучке!

*Б. Ямпольский. Избранные минуты жизни.*

*«Нева», 1997, № 10.*

### Сергей Наровчатов

Земляк Миши (Кульчицкого) — Борис Слуцкий острит резко и порой обидно.

*Сергей Наровчатов. Избр. произв. Т. 2.*

Слуцкий — будет или не будет писать стихов — хороший партнер и советчик. Думается, он может делать хорошую прозу.

*Запись из дневника С. Наровчатова. Публ. О. Наровчатовой.*

*«Новый мир», 1984, № 10. С. 207.*

**Андрей Вознесенский**

У Бориса Слуцкого фигура и слог римского трибуна, за ним чувствовались легионы.

*Из книги: Трава после нас.*

*М.: АПН, 1988.*

\* \* \*

В ноябре 1965 года я был в Париже с группой поэтов (Сурков, Твардовский, Кирсанов, Слуцкий и др.). Сквозь стекло ресторана заметил в нашем отделе Флегона<sup>1</sup>, беседующего со Слуцким. Я вошел в ресторан и демонстративно сел за тот же стол.

Состоялся такой разговор:

Вознесенский: Здравствуйте, Борис Абрамович! А вы (Флегону) немедленно убирайтесь отсюда.

Флегон: Почему?

Вознесенский: Потому что вы вор, шантажист и провокатор. Вы клеветеете на меня и моих товарищей.

Флегон: Ах, господин Вознесенский, зачем так нервничать...

Вознесенский: Будешь нервничать, когда увидишь такую хамскую рожу как у вас <...>

Слуцкий поддержал меня, и Флегон удалился.

*Из письма П. Н. Романову.*

*«Вопросы литературы», 1995, вып. 1.*

**Андрей Тоом**

В те годы (60-е) было модно спорить на тему: «Может ли машина мыслить?» Спорили и мы с дедом (П. Г. Антокольским). В сущности, предметом спора были не только и не столько роботы, сколько более широкий и важный круг проблем. Ярлыки «физики и лирики» для обозначения сторон в этом споре дало стихотворение Бориса Слуцкого, во многом точное для своего времени... С констатацией этого факта дед был согласен...

Двух ровесников, Слуцкого и Самойлова, было как-то естественно сравнивать. Деду больше нравился Самойлов, мне — Слуцкий. Читая строчки Самойлова «И плачу над брэнностью мира я, маленький, глупый, больной», дед прокомментировал в пику

---

<sup>1</sup> Флегон — румынский эмигрант в Англии, мелкий издатель антисоветской литературы на русском языке. Попытался шантажировать Вознесенского. — *Примеч. Р. Романовой.*

мне: «А для Слуцкого невозможно признание, что он плачет!»; теперь видно, как дед был прав в этом случае.

*А. Тоом. Мой дед Павел Антокольский.*

*В сборнике: Воспоминания о Павле Антокольском.*

*М.: Сов. писатель, 1987.*

### **Виктор Урин**

В декабре 1974 года я вышел на трибуну пленума (Союза писателей) и сказал, что мы, писатели, подвергаемся «ильинчиванию», и в знак протеста положил на стол президиума свой писательский билет, заявив, что ухожу из этого объединения разъединенных.

Борис Слуцкий тут же в коридоре подошел, пожал мне руку и сказал: «Молодец, Витя, хорошо ты их попугал, теперь они всё для тебя сделают».

*Интервью с В. Уриным. В книге: Ф. Медведев. После России.*

*М., 1992.*

### **Владимир Смехов**

Слуцкий и Самойлов были близкими театру [к Таганке. — П. Г.] людьми, даже входили в авторский круг.

*В. Смехов. Записки заключенного.*

*М.: Поликом, 1992.*

### **Петр Митурич**

О том, как быть с захоронением Веры Хлебниковой и Митурича, я советовался с Николаем Леонидовичем Степановым, с Борисом Слуцким, возглавлявшим тогда комиссию по наследию Хлебникова. Шла речь о могиле Велимира Хлебникова, поскольку к тому времени я оказался единственным потомком большой хлебниковской семьи, почему записали родители мои в моем метрическом свидетельстве о рождении двойную фамилию — Митурич-Хлебников.

Удостоверившись, что могила Хлебникова сохранилась, — это подтвердили местные жители, мы вернулись в Москву. И я при поддержке и с помощью Бориса Слуцкого, начал переговоры с Литфондом о переносе праха Хлебникова в Москву...

Так останки Велимира Хлебникова были захоронены на Новодевичьем кладбище...

Борис Слуцкий откликнулся стихотворением «Перезахороненные Хлебникова».

*Из книги: П. Митурич. Записки сурового реалиста эпохи авангарда. М., 1997.*

### **Анатолий Медников**

...всех наших [бывших студентов Литинститута. — П. Г.], кто уже был в действующей армии, словно магнитом притягивало к институту, если они попадали в столицу по какой-нибудь оказии, хоть на день, хоть на полдня.

Бродил в августе по аллеям парка задумчиво-многозначительный поэт Борис Слуцкий — военный юрист. Рассказывал о фронте скупое, со сдавленной болью, по привычке своей глядя не в глаза, а поверх головы собеседника, как будто разглядывал где-то там в дали на горизонте ему одному понятные знамения времени.

*А. Медников. В последний час.  
«Советская Россия», 1968.*

### **Анатолий Аграновский**

...Теперь о соседях: кого бог пошлет, — важно. Очень мне хотелось заполучить Бориса Слуцкого — предел мечтаний! Но его уже захватил Гриша Бакланов...

*Из книги: Воспоминания об Анатолии Аграновском.  
М., 1988.*

### **Лазарь Лазарев**

...Стихотворения Слуцкого так сложны ритмически, так много в них «прозы», что заведомо и твердо они считались «антимелодичными», «антипесенными». Невозможно даже вообразить себе, что их... можно положить на музыку и петь. А какие органические, пронзительные песни получались у Толи!

*Там же.*

(Виктор Некрасов) услышал о выходе «Тарусских страниц» и попросил достать ему альманах. Через несколько дней пришло письмо, там приписка: «Тарусские страницы» получил. Лучше всего, по-моему, Слуцкий и местами Корнилов.

*Из книги: Л. Лазарев. То, что запомнилось.  
М., 1990.*

## Наталья Мостовенко

Здесь приводятся воспоминания некоего Д., которые Н. Мостовенко опубликовала в своей книге.

*Петр Горелик*

«...Был девятнадцатилетний Александр Мостовенко начинающим поэтом, младшим приятелем позднее прославившихся ифлийцев — Павла Когана, Сергея Наровчатова, Давида Самойлова. И вместе с ними был шумным участником бурного литературного вечера в Юридическом институте на улице Герцена, когда впервые громко прозвучал голос тамошнего студента Бориса Слуцкого, а я, университетский студент-физик и начинающий критик, впервые изведal прелести публичного поношения.

У меня сохранилась безалаберная стенограмма того вечера. Сейчас невозможно понять, чего мы все тогда, в 40-м, не поделили. А чего-то ведь не поделили! Но не от того ли, что наши разноречья были совершеннейшей пустяковиной, у меня во все последующие годы оставались наидобрейшие отношения с Борисом Слуцким, Дезиком Самойловым, Сережей Наровчатовым. Думаю, так было бы и с Павлом Коганом — главным моим хулителем в тот вечер. Но он вскоре погиб на войне, и потому тут нечем заменить сослагательное наклонение. Думаю, что дружеская близость возникла бы у меня с Шурой Мостовенко, хотя он был ощутимо моложе. Однако он разделил фронтную судьбу Павла Когана: его тоже очень рано — в феврале 42-го — не стало...

А мир оказывается, не только в пространстве, но и во времени».

*Н. Мостовенко. Дневник оптимистки в интерьере утрат.*

*М., 1995.*

## Александр Гладков

26 сентября 1957. Купил наконец книгу стихов Слуцкого «Память». Очень талантливо. Мне он больше нравится, чем Смеляков, немного слащавый и чувствительный.

*Из книги: А. Гладков. Поздние вечера.*

*М.: Сов. писатель, 1986.*

## Ариадна Эфрон

Что за сукин сын, который написал свои соображения (свои ли?) по поводу Вашей статьи о Слуцком? Для простого преподавателя физики, или химии, или Бог знает чего там еще он удиви-

тельно хорошо владеет всем нашим советским (не советским!) критическим оружием — т. е. подтасовками, извращениями чужих мыслей, искажением цитат, намеками, ложными выводами и выпадками. Кто стоит за его спиной?

А все-таки хорошо! Не удивляйтесь такому выводу — мне кажется, хорошо то, что истинные авторы подобных статей уже не смеют ставить под ними свои имена, ибо царству их приходит конец, они прячутся по темным углам и занимаются подстрекательством, но оружие, которым они так мастерски владели, уже выбито из их рук. И вот они пытаются всучить его разным так называемым «простым людям», той категории их, которой каждый из нас имеет право сказать: «сапожник, не суди превыше сапога»!

Ну, ладно.

*Из письма к И. Г. Эренбургу от 2.09.1956.  
В книге: А. Эфрон. А душа не тонет.  
М., 1996.*

## Владимир Лемпорт

1956 год. Год отречения от Сталина. Год возвращений из мест отдаленных. Год надежд. Всевозможных планов. Даже мы — по-ясяю: это Лемпорт, Сидур и Силис, скульпторы, по тем временам модернисты — даже мы получили несколько залов в Академии художеств.

Появился Борис Слуцкий, высокий, бравый, плотный, похожий на большого сытого кота. Передо мной его портрет в камне и известке.

Точно, похож на кота-копилку.

Без свиты он не ходил, а иногда сам сопровождал известных по тем временам людей. Вот он привел турецкого поэта Назыма Химкета, личность слишком знаменитую, чтобы его описывать...

В другой раз привел огромного и толстого Пабло Неруду, похожего на чудовищного какаду...

Слуцкий поддерживал молодые таланты, был меценатом, покупал картины, продвигал молодых литераторов в журналы. Всегда спрашивал:

— Ребята, как у вас со жратвой? Деньжат не нужно? Не стесняйтесь, возьмите у меня рублей 200–500. Отдадите когда сможете.

И давал...

*В. Лемпорт. Эллипсы судьбы.  
«Время и мы», Нью-Йорк, 1991, № 113.*

## Аркадий Ваксберг

Февраль 1963 года. Москва. Я только что переехал в новую квартиру, оказавшись его соседом. Мы уже не один год были знакомы, встречаясь изредка в разных компаниях. Узнав о моем переезде, Борис пришел без спроса, по-дружески — не званым, но очень желанным — и провел со мной целый день. Далее — запись его рассказа.

«Странно так получилось — в юридическом институте стали учиться и те, кому юриспруденция была как кость в горле. Возможно, потому, что была она сталинской, а другую мы знали только по книгам, да и то по лживым — их называли учебниками истории права. Ты тоже, наверное, учился по ним. Я ходил на лекции, но лектора не слушал, а писал стихи. Другие тоже что-то писали — кто стихи, кто прозу. И тогда мы задумали создать литературный кружок. Это поощрялось. Заводилой был Костя Симис (будущий известный адвокат и правозащитник), не помню, баловался ли он тоже стихами, но литературу любил, и вообще в кружке было интересно, не то что на лекциях.

Как-то получилось, что вести кружок вызвался Осип Максимович Брик. Кто-то его нашел. И он нам сразу сказал: „История повторяется. Я тоже учился на юриста, а стал литератором. Давайте попробуем, может, и у вас получится так“. Кроме меня из его кружковцев профессиональным литератором стал еще Владимир Дудинцев».

*Из книги: А. Ваксберг. Лиля Брик. М.; Смоленск, 1998.*

## Ростислав Александров (краевед)

(Хоронили Алексея Елисеевича Крученых)... Вокруг гроба стояла реденькая группка пожилых людей, над которой зеленела рубашка и звучал глуховатый голос поэта Бориса Слуцкого: «Придет время, и из легенды, в которую Крученых превратился за пятьдесят лет до смерти, он станет книгой». Завершив эту достаточно крамольную для представителя Союза писателей СССР тираду, Слуцкий прочитал тоже не самое лояльное по тем временам, но как нельзя больше соответствовавшее происходящему, ахматовское «Когда погребают эпоху...» и отошел в сторону.

*Из «Интернета»*

## Владимир Бурич

Слуцкий очень любил Ходасевича. Ходасевич очень не любил Маяковского. Слуцкий многие годы, думаю, еще с довоенных лет, приятельствовал с Лилей Брик. Если Глазков «хиппи» русской по-

эзии (нет, не «хиппи», — они презирали работу, а Плязков во время войны работал грузчиком), то Слуцкий был «аутсайдером». Я не был ни учеником его, ни сподвижником, ни однокашником, ни собутыльником, но все же некоторый содержательный контрапункт наших жизней отметить можно...

*Из книги: В. Бурич. Тексты. Книга вторая. М., 1995.*

### **Вячеслав Куприянов**

Особое сладострастие Бурич испытывал, прикалывая кнопками на казенные шкафы свою «типологическую таблицу русской стиховой речи». В ней, как в таблице Менделеева, верлибру отводилось закономерное место. В «Иностранной литературе» Давид Самойлов еще до начала обсуждения встал, назвал предстоящий диспут некомпетентным и никчемным и удалился, о чем весьма сожалел ведущий, опытный дипломат Николай Федоренко. Когда в свой черед на кафедре двинулся Бурич со своей таблицей, Слуцкий громко зашептал какой-то своей соседке: «Это — поэт уитманист!» Звучало довольно зловеще, хотя Бурич утверждал, что он сам это слово и выдумал, как почитатель и продолжатель Уитмена. Буричу же принадлежал парафраз: «Нас всех подстерегает Слуцкий».

Слуцкий председательствовал в приемной комиссии, когда меня принимали в Союз писателей в 1976 году, за пять лет до этого он предварял мои стихи в «Комсомольской правде»: Куприянов соединяет русскую поэтическую традицию со школой Брехта. На приемной комиссии он определил меня как «эпигона Бехера» и полемиста, который в своих статьях топчет беззащитного Вознесенского, пользуясь тем, что последний не является секретарем СП. Ему возразил Кожин, указав, что я топтал ногами еще и Рождественского, который таки является секретарем писательского союза. Потом выступил Томашевский, заметив, что меня принимают как переводчика, а не как критика, на что Слуцкий согласился: против переводчика он ничего не имеет против. На следующий день в ЦДЛ кто-то из коллег поспешил меня обрадовать: «Поздравляю, вчера я встретил Слуцкого, он сказал: я принял в Союз Куприянова».

*«Арион», 1998, № 3.*

### **Владислав Кулаков**

...у Асеева познакомились со Слуцким.

Слуцкий принадлежал к военному поколению, которое среди официальных поэтов нами особенно, с чувством, было нелюбимо.



Вернуться с такой войны и так казенно о ней писать! Слуцкий отличался от всех остальных только тем, что испытывал интерес к непечатающейся литературе, к невыставляющимся художникам.

В 50-е годы, — лучшие его годы — он был в амплуа «добраго человека». Встречаясь, говорил: «У вас рубль есть? Вы сегодня обедали?» И мог накормить и дать рубль.

Мы старались читать свои стихи людям, которые как-то могли нас связать с тем замечательным расцветом поэзии, который был в начале века и который мы обожали.

*В. Кулаков. Поэзия как факт. М., 1999.*

### **Нина Молева**

...1962 год. «Таганская» выставка художников Студии.

Вступительное слово Бориса Слуцкого. Он говорил о надеждах, порожденных войной, и разочарованиях, принесенных ждановщиной. О том, что понять опасность сталинизма для народа, значит, прежде всего, снять всякие оградительные запреты в области культуры; не родился и никогда не родится чиновник, способный понять и оценить постоянный рывок из-под его контроля человека, наделенного творческим началом. Но именно в этом начало прозрения общества в будущее. Да, для него это однозначно: поверить художнику — поверить будущему.

*«Наше наследие», 1989, № 6.*

### **Илья Глазунов**

...Во время фестиваля я познакомился с Борисом Абрамовичем Слуцким. Он был удивлен, что до знакомства с Евгением Евтушенко я не знал о его существовании. Слуцкий, родившийся в 1919 году, прошел фронт... Это был коренастый человек с рыже-вато-русыми волосами, выдержанный и невозмутимый. В разговоре он был немногословен и иногда от внутренней деликатности и смущения становился багровым, отчего усы на его лице светлели, а глаза становились серо-стальными. «Вам, Илья, нужны заказчики, иначе вы умрете с голоду, — сказал он, рассматривая мою „квартиру“: — Я знаю, что вы уже нарисовали портрет Анатолия Рыбакова — он очень доволен вашей работой. Я говорил, — продолжал он, — с Назымом Хикметом, он хочет, чтобы вы нарисовали его жену. Как вы знаете, он турецкий поэт, а сейчас влюбился в почти кустодиевскую русскую женщину, очень простую на вид, — милая баба и его очень любит».

...К моей радости, они остались очень довольны портретом.

...«Теперь вы должны нарисовать жену самого богатого писателя Саши Галича, учтите только, что он, впрочем, как и я, — улыбку Слущкий, — большой коммунист, и у власти, в отличие от меня, в большом почете. Мастерит даже, как я слышал, — какой-то фильм о чекистах. Денег, повторяю, прорва — человек в зените».

*Илья Глазунов. Россия распятая.*

*«Наш современник», 1996, № 9.*

## Александр Глезер

(Из воспоминаний о препирательстве с представителями КГБ перед открытием выставки московских художников в клубе «Дружба» 22.2.1967 года).

...Раздался скрип пружин, словно кто-то поворачивался на старой кровати. Это заерзал в обширном мягком кресле поэт Борис Слущкий. Во время войны он был комиссаром. Ему принадлежат строчки из, конечно, неопубликованного стихотворения:

- Вы верите Гитлеру? — Нет, не верю.
- Вы верите Гёрингу? — Нет, не верю.
- Вы верите Гёббельсу? — О, пропаганда!
- А мне вы верите? — Минута молчанья:
- Господин комиссар, я вам не верю.
- Все пропаганда. Весь мир — пропаганда.

Давным-давно написал такое Слущкий. Ныне он всеми уважаемый член партии и Союза писателей, его отрывчатый голос [в защиту Глезера и выставки. — П. Г.] серьезен, без тени юмора:

— Товарищ майор, Глезер молодой поэт. Скоро мы будем принимать его в Союз писателей. С ЦРУ у него никаких связей нет.

— Значит он слепое орудие в их руках, — упорствует кагебешник...

*Из книги: А. Глезер. Человек с двойным дном (книга воспоминаний). Париж, 1979.*

## Евгений Пастернак

Эренбург упрекал папу, считая, что тот делает все только во вред себе и даже от премии отказался не так, как нужно. Его преврал телефонный звонок Бориса Слущкого, который спросил его, говорил ли он что-нибудь о Пастернаке.

— Я согласился поехать в Швецию, — ответил Эренбург, — только с условием, что ни слова не скажу о Пастернаке.

— Счастливцев, — позавидовал ему Слуцкий, — а я не мог отказаться, и теперь мне не подают руки.

*Из книги: Е. Пастернак. Существование ткань сквозная. М., 1998.*

### **Марк Харитонов**

Историю с выступлением Слуцкого по поводу Пастернака Самойлов объяснял так:

— Когда начался «ренессанс» в поэзии, Мартынов и Слуцкий были поэтами № 1 и № 2. Слуцкий из скромности поставил себя на второе место. Он всерьез говорил, что Мартынов поэт посильнее Пастернака. Пастернак и Ахматова как-то выпадали из «ренессанса». И вдруг во все это непрошено вторгся Пастернак. Я помню знаменитую фразу Мартынова: он нам всем нагадит. Мол, власти теперь напугаются, начнут давить — пропал ренессанс. Этим и объясняется выступление Слуцкого. Он сильно потом переживал. Сразу же после заседания, я помню, он ко мне приходил. Он, в общем-то, за это уже расплатился внутренне. И что самое паршивое: какой-нибудь подлец Е. или С. всегда может его этим кольнуть: я-то не выступал.

Из шуток Давида Самойлова. «Я отпустил усы. Теперь у Слуцкого усы, у Левитанского усы — можно говорить о поэтическом направлении».

*Из книги: М. Харитонов. Способ существования. М., 1998.*

### **Наталья Бианки**

С Борисом помимо редакции я обычно встречалась у Л. Черновой, переводчицы. Был случай, когда мы сидели в Сашиной машине и Борис Абрамович читал свои антисталинские стихи.

Когда умерла Таня, его жена, я спросила кого-то, как он держался на поминках. Ответили, что нормально. Ответ тогда мне не понравился и даже, пожалуй, испугал. И я подумала: худо дело. Такого массивного удара, как смерть любимой жены и свое выступление против Б. Пастернака, его психика не выдержит. Он ведь порядочный человек, и его замучает совесть. К сожалению, я оказалась права. Когда узнала, что он ни с кем теперь не общается, я ему позвонила. Голос был совершенно безжизненный. Я предложила вместе с Ириной Эренбург к нему зайти. Он отказался, заявив, что никого не хочет видеть.

— Я позвоню попозже, — предложила я.

— Не звоните, — ответил тем же тусклым голосом.

Позже узнала, что он попал в сумасшедший дом. В дальнейшем он попадал туда неоднократно <sup>1</sup>.

Последние годы он жил у брата. У него и умер.

*Из книги: Н. Бианки. К. Симонов, А. Твардовский в «Новом мире».*  
*Воспоминания. М., 1999.*

### **Николай Рыленков**

Слуцкий тоже талантлив. Правда, его раздувают сильно. Он пишет о войне так, как мы писали во время войны. После войны многое стали сглаживать.

...Нет нужды противопоставлять Евтушенко, Слуцкого, Мартынова и т. д. Исаковскому и Твардовскому. Консолидация должна идти не по формальным признакам.

*Из книги: Н. Рыленков. Насущный хлеб поэзии.*  
*М., 1989. Из письма 1958 г.*

О Слуцком я боюсь что-нибудь сказать — мало его знаю. А печатается он редко.

*Там же, из письма 1960 г.*

### **Николай Рубцов**

Дорогой Борис Абрамович!

Извините, пожалуйста, что беспокою.

Помните, Вы были в Лит. Институте на семинаре у Н. Сидоренко? Это письмо пишет Вам один из участников этого семинара — Рубцов Николай.

У меня к Вам (снова прошу извинить меня) просьба.

Дело в том, что я заехал глубоко в Вологодскую область, в классическую, так сказать, русскую деревню. Все, как дикие, смотрят на меня, на городского, расспрашивают. Я здесь пишу стихи и даже рассказы. (Некоторые стихи посылаю Вам — может быть, прочтаете?)

Но у меня полное материальное банкротство. Мне даже не на что выплыть отсюда на пароходе и потом — уехать на поезде. Поскольку у меня не оказалось адресов друзей, которые могли бы мне помочь, я решил с этой просьбой обратиться именно к Вам,

<sup>1</sup> Автор не точен. Слуцкий лежал в психосоматическом отделении 1-й Градской больницы. — *Примеч. сост.*

просто как к настоящему человеку и любимому мной (и, безусловно, многими) поэту. Я думаю, что Вы не сочтете это письмо дерзким, фамильярным. Пишу так по необходимости.

Мне нужно бы в долг рублей 20. В сентябре, примерно, я их верну Вам.

Борис Абрамович! А какие здесь хорошие люди! Может быть, я идеализирую. Природа здесь тоже особенно хорошая. И тишина хорошая. (Ближайшая пристань за 25 км отсюда.)

Только сейчас плохая погода, и это меняет всю картину. На небе все время тучи.

Между прочим, я здесь первый раз увидел, как младенцы улыбаются во сне, таинственно и ясно. Бабки говорят, что в это время с ними играют ангелы...

До свиданья, Борис Абрамович.

От души, всего Вам доброго.

Буду теперь ждать от Вас ответа.

Мои стихи пока нигде не печатают. Постараюсь написать что-нибудь на всеобщие темы. Еще что-нибудь о скромных радостях.

Мой адрес... Салют Вашему дому. 5.VII — 63 г.

*Опубликовано в воспоминаниях  
Ст. Куняева «Поэзия. Судьба. Россия».  
«Наш Современник», 1998, № 6.*

Николай Рубцов, конечно же, не случайно написал Слуцкому письмо с просьбой о помощи. Бывая в нашем московском кругу, он не раз, видимо, слышал от меня, от Передреева, от Кожинова, что Борис Слуцкий — «Абрамыч», как мы его называли, безотказно и по-деловому относится и к просьбам подобного рода. Ст. Куняев.

### Самуил Имас

Быть евреем и быть русским поэтом — ноша эта была для души его (Слуцкого) мучительной.

...Текст стихотворения («По отчеству — учил Смирнов Василий...») сегодня может восприниматься достаточно двусмысленно. Как и его выступление с осуждением публикации романа «Доктор Живаго» за рубежом: таковы были его представления о патриотизме и художнической порядочности.

Уменья нет сослаться на болезнь,  
Таланту нет не оказаться дома.

*«Мигдаль Times», № 8.*

**Давид Маркиш**

Бориса Слуцкого я знал и неплохо. Сима с ним дружил. Он иногда приходил к нам домой. <...> Прекраснейший поэт. Абсолютно сам по себе. Он, как Андрей Платонов: за сто километров его интонацию, единственную в своем роде, различишь. Они оба слышали простых людей.

*«Лехаим», июль 2004.*

---

## СОДЕРЖАНИЕ

От составителя . . . . .	5
Давид Самойлов. Памяти друга . . . . .	7
Илья Эренбург. О стихах Бориса Слуцкого . . . . .	9
Юрий Болдырев. «...В самом важном не струсить, не сдаться» . . . . .	20
Петр Горелик. Друг юности и всей жизни . . . . .	26
Юлия Данкова. «Закаленным тоской и бедой укрепленным...» . . . . .	67
Олеся Кульчицкая. Он был другом моего брата . . . . .	70
Давид Самойлов. Друг и соперник . . . . .	77
Владимир Корнилов. «Покуда над стихами плачут...» . . . . .	106
Ольга Наровчатова. «...От Бориса Слуцкого» . . . . .	121
Наум Коржавин. Борис Слуцкий в моей жизни . . . . .	124
Алексей Симонов. «Дело, что было вначале...» . . . . .	133
В. Кардин. «Снова нас читает Россия...» . . . . .	143
Лазарь Лазарев. «С надеждой, правдой и добром...» . . . . .	169
Олег Хлебников. Высокая болезнь Бориса Слуцкого . . . . .	202
Семен Липкин. Сила совести . . . . .	212
Галина Медведева. Жгучая сила . . . . .	219
Григорий Бакланов. В литературу он вошел раньше, чем в Союз писателей . . . . .	226
Бенедикт Сарнов. Занимательная диалектика . . . . .	236
<b>Татьяна Бек.</b> «Расшифруйте мои тетради...» . . . . .	255
Дмитрий Сухарев. Для понимания Слуцкого нужны мягкие нравы и какой-никакой профессионализм . . . . .	267
Владимир Огнев. Мой друг Борис Слуцкий . . . . .	274
Соломон Апт. Годовая стрелка . . . . .	290

Александр Мацкин. Борис Слуцкий, его поэзия, его окружение . . . . .	307
Андрей Турков. Его имя — одно из драгоценнейших имен русской поэзии . . . . .	324
Лев Озеров. Резкая линия . . . . .	327
Ирина Рафес. Краткие воспоминания о сорокалетней дружбе . . . . .	347
Наталья Петрова. «То, что уже стихает...» . . . . .	360
Евгений Евтушенко. Обязательность перед историей . . . . .	377
Андрей Вознесенский. Неподкупный «комиссар литературного ренессанса» . . . . .	384
Евгений Рейн. Самый крупный поэт позднего советизма . . . . .	387
Игорь Шкляревский. Он не заигрывал с небом . . . . .	390
Лев Мочалов. В знак старинной дружбы... . . . . .	392
Нина Королева. Поэзия точного слова . . . . .	401
Александр Городницкий. Поэт мужской и солдатской прямоты . . . . .	415
Николай Силис. «... Уже открыл одну строку...» . . . . .	423
Александр Штейнберг. Вспоминая Бориса Слуцкого . . . . .	434
Тамара Жирмунская. Пекло . . . . .	438
Константин Ваншенкин. «...От старинного читателя и друга» . . . . .	445
Давид Шраер-Петров. Иерусалимский казак . . . . .	456
Алексей Смирнов. Ближнее эхо . . . . .	461
Борис Укачин. Поэт с рысьими глазами . . . . .	468
Георгий Елин. Товарищеский суд. Уроки Бориса Слуцкого . . . . .	480
Константин Рудницкий. Друг, с которым мы недоспорили . . . . .	489
Галина Аграновская. «Когда я уйду, я оставлю свой голос...» . . . . .	492
Виктор Малкин. Борис Слуцкий, каким я его помню . . . . .	496
Марк Кабаков. Однажды в Феодосии . . . . .	505
Яков Айзенштадт. Борис Слуцкий в студенческие годы и после войны . . . . .	507
Суламифь Лихтарева-Гигузина. Его стихи мы запоминали . . . . .	510
Штрихи к портрету . . . . .	512



**БОРИС СЛУЦКИЙ:  
ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ**

*Составитель П. З. Горелик*

*Оформление С. А. Булачевой*

*Макет А. В. Власова*

*Корректор Н. Р. Либерман*

**Издательство «Журнал „Нева“»  
Санкт-Петербург, Тихорецкий пр. 4. Почтовый адрес: 191186,  
Санкт-Петербург, а/я 9**

**Подписано в печать с диапозитивов 12.06.2006. Формат 70×100 в 32°.  
Печать офсетная. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс Тен».  
Печ. л. 35. Тираж 1000. Зак. 1694.**

**Отпечатано с готовых диапозитивов  
в ОАО «Издательско-полиграфическое  
предприятие „Искусство России“»  
198099, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, 38, кор. 2,  
тел. 786-88-74, 786-87-13**

---

**К**нига о выдающемся поэте Борисе Абрамовиче Слуцком включает воспоминания людей, близко знавших Слуцкого и высоко ценивших его творчество. Среди авторов воспоминаний известные писатели и поэты, соученики по школе и сокурсники по двум институтам, в которых одновременно учился Слуцкий перед войной. О Борисе Слуцком пишут люди различные по своим литературным пристрастиям. Их воспоминания рисуют читателю портрет Слуцкого солдата, художника, доброго и отзывчивого человека, ранимого и отважного, смелого не только в бою, но и в отстаивании права говорить правду, не всегда лицеприятную — но всегда правду.

ISBN 5-87516-093-4



9 785901 841938

---